

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

6

---

1993

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 6 (818)

Июнь, 1993 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ  
КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА  
«БИОТЕХНОЛОГИЯ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА  
«ГАРАНТ»  
г-жа Е. А. ЖУКОВСКАЯ

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ — Спички, маленький роман	3
АЛЕКСАНДР КУШНЕР — На черный день, стихи	63
МИХАИЛ КУРАЕВ — Зеркало Монтачки, роман в стиле криминаль- ной сюиты, в 22 частях, с интродукцией и теоремой о призраках. Окончание	67
ЕЛЕНА УШАКОВА — Белые оводы, стихи	132

### ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН) — Рассказы. Публикация, подготовка текста и предисловие Валентина Германа	134
ТРИ ПОЭТА — Евгения Николаева. В веренице разорванных дней. <i>Публикация и послесловие Владимира Глоцера; Анастасия Горнунг. Я знаю, что во мне и на земле. Публикация и послесловие Льва Горнунга; Александр Гладков. Не надо бронзы нам — посейте там траву. Публикация и послесловие Ильи Соломонника</i>	154

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
<b>РЕЛИГИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ МИР</b>	
А. КУРАЕВ — Трудное восхождение	162
<b>ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ</b>	
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Тютчев в «Литературном наследстве»	183
<b>ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ</b>	
А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА — К истокам «Тихого Дона». Окончание	189
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. НЕПОМНЯЩИЙ — Пушкин через двести лет. Глава из книги	224
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	239
Б. Дубин. Конец трагедии. <i>Политика и наука</i>	242
В. Сапов. «С верой в будущее России...».	
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
ОЛЬГА ПЕТРОЧУК — Сюжет о потерянной дочери	246
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	255
SUMMARY	256

---

---

АЛЕКСАНДР БОРОДЫНЯ

\*

## СПИЧКИ

*Маленький роман*

### *Часть 1*

**С**апоги от крема ртутно блестели, расставленные на мокром, металлического цвета асфальте носками внутрь. Галифе обтрепалось — торчали твердые от грязи, крученые нитки.

Тонкая бумажка, приваренная засохшим крахмалом, волнилась стиральной доской, но складки не помешали ему прочесть во второй раз. «Продается Родина, недорого, в хорошем состоянии», ниже — мелкие черные цифры телефонного номера на отдельных тонких полосках. Слово «радиола» какой-то шутник замазал зеленым фломастером.

— Энтузиасты! — Наконец разобравшись в замазанном слове, он зачем-то посмотрел вниз, на носки сапог. — Да их всех здесь!.. За такое... Как Светку — в ящик и похоронить!

Он заметил на пустой улице прохожего и кинулся, бухая по серебряным лужам, догонять.

— Гражданин! Погоди, гражданин, заблудился я... Не московский я, не здешний... — Слова выходили хриплые, с угрозой. — Скажи, мне нужна улица Стеклова, дом один! Где это тут?

Прохожий, ускоряя шаг, махнул деревянно рукой внутрь косого переулочка слева от объявления, и шаги его пропали за шумом автобусного мотора.

— Дочь похоронить опоздаю,— сказал уже вдогонку прохожему немосквич,— понимаешь ты, сводочь, на похороны человек шел и заблудился среди этого кирпичика!

Девки поднатужились и втроем вынесли из подъезда открытый гроб, опять не обнаружили поддержки и поставили его на асфальт в радугой расплывающиеся бензиновые лужи.

— Тяжелая Жанка какая стала! — вытирая зачем-то ладони о шершавую джинсовую юбку, сказала светленькая девица. Она заглянула сверху в лицо покойницы, осмотрелась: ни заказанного катафалка, никого. — Невеста! — зло улыбнулась она. — Ты что думаешь, мы тебя вот так, три дуры, на руках на кладбище в загородную зону понесем?

Покойница не отвечала. Она лежала неподвижно в узком ящике, отделанном белой материей и красными шелковыми цветами. Такого же цвета большой цветок был у нее в сомкнутых руках. Цветок не походил на живой, хотя и был живым, на белом платье лежали опавшие лепестки.

— Пошлая ты стала, Оля! — играя дымящей сигаретой, часто стряхивая пепел, механическим голосом сказала высокая рыжая девица. — Как пакость!..

Третья, толстенькая, небольшого роста, одетая в белую мохеровую кофточку, только вытирала платочком мягкие розовые щеки.

— Слушай! — вспомнила рыжая и уронила сигарету. — А ты дверь-то заперла? Там водки два ящика осталось. — И спросила осторожно, обращаясь к покойной: — Хочешь, Жанка, водки?

Он задумчиво постоял на месте, потом опомнился и побежал в указанном направлении в переулок. Ни одного человека больше навстречу не попадалось. Только стояли кругом запертые разноцветные частные автомобили. Автомобили

блестели, они были разных марок и раздражали приезжего. Косо стоящие баки по левую руку, белая шестнадцатизэтажная башня справа уперлась плоской крышей в серую плоскость неба. Мусор осыпался, и на приезжего посмотрел из бака зеленый кошачий глаз, блестящий, как циферблат модных часов.

— А сколько времени? — спросил он у себя и остановился. — Опоздал я, что ли? Похоронили... Без меня похоронили?

И тут увидел недалеко раскрытую ямой дверь подъезда. У двери три пестро одетых женщины. В ногах у женщин стояло что-то, присмотрелся — гроб. Сразу не догадаешься, потому что неестественно белый, как во французском фильме.

— Нет, не опоздал! — Он, задыхаясь, кинулся к дочери. — Будем в Москве прописываться.

Животное, выскочив из мусорного бака, прыжками кинулось за человеком в коричневом костюме и ртутного цвета сапогах, но моментально остыло догонять и разлеглось на круглом желтом половичке, теплом и сухом.

— Николай Николаевич я, отец, — объяснил приезжий, пристраиваясь встать неподвижно рядом с гробом. — Светка-то, она дура... А почему вы ее наземь поставили? Давайте хоть на стол, что ли, поставим! Никто не провожает? А почему только вы, девочки?..

Втроем (светловолосая Оля только фыркнула и отвернулась) гроб подняли и поставили на длинный стол во дворе. Николай Николаевич пристроился на скамеечке в головах дочери. Ему все хотелось потрогать цветок на ее груди, определить, живой он все-таки или не живой. Толстенная девица пыталась очистить испорченную бензиновой водой свою мохеровую кофточку.

— А почему же Светка, когда она была Жанна? — спросила рыжая девица. — Николай Николаевич, я вас спросила: почему же Светка?

— Мамку ее Жанкой звали, а ее Светкой... Я сам назвал, пьяный был. — Он всматривался в мраморное твердое лицо дочери, и лицо это теперь было похоже на лицо ее матери двадцать лет назад. — Пьяный был!.. — Он хотел заплакать, но не вышло. — Я всегда, девушки, пьяный! И сейчас, ничего не пил с утра, а пьянь пьяная, это от горя, между прочим!..

Лес стоял как часток голый, когда Николай Николаевич с Жанной зачали Светку на тропинке по дороге от станции домой. Точный момент зачатия он понимал однозначно. Теперь, закрывая глаза, сидя на скамеечке в столице в головах умершей Светки, Николай Николаевич в набежавшем кратком сне увидел вторично все, как тогда было, до последней черточки, до короткого движения, до оттенка мокрого, затушеванного косынкой ее лба.

В лоб он поцеловал Жанну, взяв руками тяжелую голову, отстранился и увидел лицо без улыбки, глаза закрыты, на виске синей молнией жилка сквозь кожу вспыхивает. Жанна открыла глаза, и они заблестели в его глазах черным стеклом. «До дому, может, обождем?» — спросила она, развалив одним движением кофточку на груди и дергая замерзшими пальцами белый шелк. А он смотрел, как она раздевается, и ничего не мог сказать, потому что был совсем молодой тогда. «Да ты не надо раздеваться-то!» — хотел опять попросить он и точно знал, что она ответит: «Плывать, что холодно, не мороз!..»

Какое число тогда было, он тоже помнил — 3 октября. Жесткая юбка, серая, как кусок наждака, висела прямою складкой на гвоздике-ветке и колыхалась перед глазами. Рубило в глаза, выламывая слезы, солнце — белый диск, но это все чуть позже... Сперва Жанна сняла сапог, вылила из него воду, сняла другой сапог... Не боясь грязи, присела, сняла чулки и опять встала, потопталась босыми ногами в ожидании. Запомнилась юбка, запомнились белые босые ноги...

Николай Николаевич открыл глаза и еще раз долгим взглядом всмотрелся в неподвижное лицо Светки.

Ветром принесло запах гари. Губы у покойницы были сильно намазаны помадой, а неподвижные эллипсы глаз подведены красивыми линиями, подкрашены даже ресницы.

Окна в доме не открывались, но, обернувшись, он заметил в каждом третьем окне любопытное лицо, а то и два, где-то рожа шторой прикрылась, где-то из-под ладони против солнца смотрит.

— Зачем губы Светке нарисовали? — спросил он. — Кто?

Он встал со скамейки, походил возле гроба, размял ноги. Никто ему не ответил, потому что подходили уже на похороны люди, подъехала даже машина, встала против подъезда. Николаю стало немного душно от тихих голосов. От угля в воздухе, рассеянного тончайшею пылью во всем пространстве двора. Он

встал неподвижно спиной к дому и посмотрел перед собой. Сломанная высохшая рябина, скрещивая многие свои ветви, напоминала схему метрополитена. Торчали редкие красные точки ягод в сети дерева, несколько желтых листочков, несколько зеленых листочков. «„Продается Родина, недорого...”, — повторил про себя текст объявления Николай. — А на самом деле — радиола!»

Хорошая упаковка напоминает формой предмет, для которого служит. Бесшумно подъехавший катафалк напоминал своей формой гроб, но был побольше. Мотор катафалка то мелодично мурлыкал, то сыто пофыркивал голосом станка.

Только что не было во дворе никого, а теперь с трудом поместились в большую рейсовую машину — автобус с рекламой пепси-колы на желтом боку, над стеклянным лбом ветрового стекла в квадратике был даже номер. «Нулевой», — отметил про себя Николай. Он, опасаясь, что придется стоять, поспешил, расталкивая локтями других людей, внутрь, присел на переднее сиденье, и автобус сразу же поехал, правда с открытой дверью.

Катафалк следовал впереди, автобус шел за ним следом. В отодвинутые верхние окошки врвался струями ветер. Музыканты, стоя на задней площадке, тарасились больными от пьянства глазами. Девки запели, сначала — на высокой металлической ноте Ольга. Ее поддержали.

Милиционер махнул палочкой, и стрелка спидометра скакнула к отметке «семьдесят», от нее поехала дальше — до отметки «сто», под песню обе машины понеслись по столице уже иначе — быстро. Музыканты не могли от тряски играть, на них хоть и поглядывали все укоризненно, но не обижались до самого кладбища.

Он нырнул в пустую и темную чужую квартиру, как кирпич в воду. Поцеловав номер отъезжающего похоронного автобуса чистым воздушным поцелуем с расстояния двадцати метров и сделав за открытой дверью небольшую пробежку, бросок тренированного тела, Михаил Михайлович, следователь прокуратуры, находясь на работе, вскрыл реквизированной отмычкой замок. Он вошел в квартиру на первом этаже. Далекой бормашинной въедалась откуда-то сверху музыка из не до конца выключенного радио. Было темно, все окна закрыты, а при свете он здесь никогда не был. Михаил Михайлович остановился в передней, стоя спиной к закрытой двери на лестницу. Остро он ощутил себя вором здесь и подумал: «Зачем же было дело об убийстве открывать, если в квартире покойной так темно?»

Темнота походила на мазут, в котором по мере привыкания глаз потихонечку плавала ржавчина и металлическая рыжая окалина.

Столы при неживом свете сырой спички выплыли в конце коридора, накрытые пустыми кругами тарелок и уже расставленной симметрично «винтовой» водкой. Спичка треснула и погасла. Пламя от второй спички колыхнулось по всей комнате, и следователь зажег свет. Он пощупал у себя в кармане тисненое удостоверение, не допускающее всех этих действий, но гарантирующее от последствий, и уже при скучном ясном освещении двадцатиламповой чешской люстры принялся за осмотр.

Женское белье в шкафах пахло заводской смазкой, шелковое, разноцветное, аккуратно уложенное. Резиночки, тонкий металлический рисунок на выпуклых чашечках бюстгалтеров. Махровое полотенце широким обтирочным концом жестко съездило Михаила Михайловича по щеке, когда он забрался в шкаф. Шкаф скрипел и качался.

Следователь выпил водки со стола, поискал закусить, но только постучал ногтем по блестящей тарелке. Шторы на окнах он потревожить боялся, и обыск продолжался при электричестве. Косметику он рассыпал, рассыпал и фотографии, уронив пудовый альбом. Выскочили и легли на паркетный пол рядом с пружинящей мякотью ковра несколько черно-белых лиц. Присев на корточки, он всматривался: набор женских фигур, ни одной мужской; групповой портрет восьмого класса — судя по расстановке, сельскому пейзажу на заднем плане и физиономии классного руководителя, глухая деревня была родиной покойницы-проститутки.

Очень долго, все то время, что на кладбище произносились речи и лились слезы по погибшей, следователь грустно сидел за пустым столом, смотрел в стену и по духу самого дома пытался определить: коннули все же девицу или сама на

тот свет потопала, испорченная деревенщина? Лежала на полу металлическим цилиндром помада, валялась раскрытая коробочка с красками, и горела люстра.

Он наклонился, взял фотографию покойной: узкое, как тесак, белое личико в шестнадцать лет обрамляли спиральные какие-то колосья, — положил картинку в середину большой плоской тарелки. Губы у Светы чуть приоткрыты, а глаза не то чтобы глубокие или влажные, но похожи на две недопитые кофейные чашки, черные и грустно-мокрые...

Желание провести следственный эксперимент теперь же возникло в нем от состояния неуверенности, от грустного кофейного взгляда покойной. Не стесняясь, не чувствуя себя больше вором, он прошел на кухню, движимый, как станок электричеством, этим желанием (его мозг управлял телом точно, без сбоев), открыл духовку новенькой белой плиты, встал на обшитый линолеумом пол на колени и засунул голову внутрь. Покрутил головой, пытаясь уяснить себе, что видит в точности то, что видела в последний миг своей жизни ушедшая из нее молодая проститутка. Для полноты картины Михаил Михайлович, лежа в темноте головой на ржавом противне, левой рукой открыл на секундочку газ (он хотел ощутить даже запах ее смерти), а правой проник внутрь, в глубь железного ящика. Пальцы наткнулись на что-то шуршащее, мягкое. Михаил Михайлович потянул. «Неужели она спрятала здесь свой дневник? Не расставалась с ним до последней минуты?!» Он сдвинул сухие листья в комок и неожиданно от радостного возбуждения находки полной грудью вздохнул. По глазам ударил ржавый мрак противня. Михаил Михайлович попытался выбраться, но застрял боком в узком черном шкафу.

Из окна как раз подкатившего к подъезду автобуса с нулевым номером и рекламой пепси-колы на свежем железном боку нескольким пассажирам было видно, как дернулись резиновым жгутом ноги, торчавшие из плиты. Песня сразу заглохла, и Оля с грустного женского «Ты прости меня, родная...» переключилась на визг.

Музыканты вышли первыми, встали у подъезда и без всякой причины взяли на всю громкость фальшивить трубами и греметь своими штопаными барабанами.

— Ну, у вас тут... Ах! — буркнул в кулак Николай Николаевич и подумал: «Любопытно, как будет в доме после двух покойников проживать? — Но махнул рукой, задел стекло. — Столица главное! Родина наша ненаглядная, святая!»

В узкий коридорчик набилось народу, но в кухню к плите прошли только двое: полный, похожий на бурдюк с вином, украшенный золотым шитьем плешивый грузин — жених покойной, и хиленький подросток, похожий на бракованную велосипедную спицу. За ноги они вытащили Михаила Михайловича на линолеум и положили лицом вверх.

— Водка-то целая? — спросила Ольга. — Смотри — фотографии рассыпал!

В руке, еще мягкой, податливой, покойник скомкал небольшую тетрадку без обложки. Тетрадка была исписана очень мелко. Тоненькая угловатая ручка потянула листки с одной стороны, обросшая жестким, казалось, металлическим волосом лапа грузина — с другой.

По комнате, по приготовленным поминкам, скинув свою мохеровую кофточку, в истерике металась пухленькая Нина. Наконец, швырнув круглую тарелку в оконное стекло, она вся остановилась и уставилась неподвижно на сломанную рябину. Схема чуть пошевеливалась, и под нею ходили, как разно-размерные рычаги, руки доминошников.

— Милицию надо вызвать, надо же... — прошептала она не своим голосом и сразу поняла, что-то прошептала это голосом Жанны. На руке красной отметиной прилепился у локтя лепесток.

Музыканты не унимались. Окна, не в силах удержать своего любопытства, рвали навстречу солнцу и радуге плотные занавески, из них высовывались по пояс ограниченные металлическими подоконниками жадные до похоронного скандала граждане и гражданки.

— Уймите музыку!

Телефонный аппарат гудел длинным гудком вне зависимости от манипуляций с диском. Наташа села к столу, поставила рядом с собой не работающий блестящий телефон и вертела, вертела, засовывая пальцы в прозрачные дырки, стекловидный диск.

Пока Николай Николаевич осматривал квартиру, музыкантам кто-то заплатил, и они исчезли вместе с музыкой. А вместе с ними исчезли и солнце, и радуга,

и далекий грибной дождь. Сразу заскрежетал продолжительно, отставая от белых сполохов, гром.

В маленькой, похожей на белый пенальчик комнате была узкая железная кровать. В окно полыхнуло, и взбитое постельное белье — простыни и одеяла — показалось ему застывшими волнами гипса. Опять вспыхнуло и опять застрекотало. Николай Николаевич присел на гипсовую волну, и она мягко продавилась под ним. Нос его воспринял запах духов, это было схоже с тем, будто в носу Николая Николаевича ковыряли холодной острой иглой.

Среди понятых выделялась крупная женщина с неживым лицом и блестящими глазами, цвет которых определить было нельзя. Она держала на руках давешнего кота, похожего от влаги на порченую плюшевую игрушку.

— Протокольчик составим, граждане... Протокольчик составим. — Милиционер немного заикался от холода. — А вообще-то следовало бы товарищей с улицы Петровки вызвать, — он вынул из кармана мертвеца удостоверение, — ну, и они налицо. — Он улыбнулся мягкой, как подушка, наивной мордой. — Покойный-то, Михаил Михайлович... А, Михаил Михайлович, — обратился он к мертвецу, над которым сцепились спицы — детские пальцы и рыжие клешни, увитые золотом, — ты зачем, Михаил Михайлович, башкой в духовой шкаф полез? Понимать надо...

Осторожно подступившись к заинтересовавшей его женщине, Николай Николаевич шепнул ей в самое ухо, аккуратно, неслышно для других:

— Нездешний я, девушка! Ты потом, когда утихнет, поговори со мной, не забудь... Коля меня зовут, Николай.

— Поговорю, — шепнула она в ответ, а мокрое животное мерзко мяукнуло

— Отдайте, это не принадлежит вам, — без всякой интонации нажал голосом молодой человек, и гнутые пальцы-спицы вывернули из рыжей клешни мятую тетрадь.

— Слушай! — Заза Акоюн не любил уступать приятного и жуткого, он любил сувениры. — Слушай, отдай! Пятьсот рублей! — Он тащил за шиворот не сопротивляющегося подростка сквозь все откинутые двери. — Пятьсот рублей тебе дам, хочешь? Мотоцикл хочешь?

Нина вошла в ванную. Она долго рассматривала разнокалиберные снаряды из пластмассы, полные разноцветных жидкостей, потом включила воду и попыталась смыть с руки прилипший лепесток.

## Часть 2

Он нырнул в пустую и темную чужую квартиру, как кирпич в воду, перед этим поцеловав номер отъезжающего похоронного автобуса чистым воздушным поцелуем с расстояния двадцати метров и сделав небольшую пробежку — бросок тренированного тела. Шнурок на ботинке Михаила Михайловича развязался, и, неосторожно наступив на него, он проехался обеими ладонями по асфальту, к счастью, не повредив лица. Открывая замок реквизированной отмычкой, он оставил на дерматине двери красные пятна.

Следователь был немного раздражен, он долго мыл руки в маленькой ванной комнате, нашел в кухонном шкафу йод, смазал ладони. Щипало так, будто ухватил горячую сковородку и сразу не бросил. Бегло, не открывая штор, Михаил Михайлович осмотрел комнату: накрытые столы, тарелки, приготовленная расставленная водка, — но выпить не захотел. Он полистал пудовый альбом с фотографиями, аккуратно вернул его на место. «Безусловное самоубийство налицо. Безусловное... Возишься, возишься, как проклятая лошадь...»

На кухне, обследуя старенькую газовую плиту — орудие самоубийцы, — Михаил Михайлович глубоко, по локоть, засунул туда руку и вытащил, к своему удовольствию, сильно помятую тетрадку, лишенную обложки и сплошь сверху донизу исписанную мелким почерком покойной.

Следователь удобно устроился в комнате в кресле, распахнув предварительно шторы на окнах. Он скрестил ноги и углубился в вещественное доказательство. Юный дневник он освоил механически, но со вкусом за сорок минут. После чего не удержался и выпил все-таки немного водки.

В окно было видно, как подкатил к подъезду автобус с нулем на лбу и рекламой пепси-колы на свежескрашенных боках. Высыпались первыми музыканты, но музыки не получилось. Рыжая Наташа, утомленная скрежетом процедуры, еще в автобусе по дороге с кладбища махнула звонкой ладошкой по

резиновой красной щеке музыканта, проколола дамскими ножницами барабан и вылила в большую трубу полбутылки коньяка. Трубач всосал коньяк через мундштук, а барабанщик получил прямоугольный листочек бумаги с изображением Ленина.

— Хозяин, а заплатить? — спросил барабанщик почему-то у Николая Николаевича, поспешившего из автобуса за раскачивающейся толпой музыкантов.

Оля соскочила с подножки за ним.

— Заплатить тебе? — спросила она.

— А как же! За музыку.— Барабанщик вращал маленькими ртутными глазами, переливая их блеск к переносице.

Длинные руки доминошников под далекий скрежет грома выкладывали на столе, где еще несколько часов назад стоял гроб, замысловатый рисунок.

— Закрой глаза и открой рот!

Барабанщик моментально подчинился.

— Теперь сожми челюсти!

Он, не открывая глаз, с наслаждением пожевал вложенную в зубы пачку десятирублевков, потом закатил свои ртутные шарики к небу, и сразу все небо вспыхнуло.

— Володечка, а ты хочешь открыть рот? — спросила Оля у прямого и чистого, как обструганная балка, подростка.— Ах, Володечка... Ты ведь один Жанку любил! Ты один любил!..— Ольга хохотала во весь голос.— Ты любил, а все пользовались!..— Она схватила его твердыми руками за лацканы пиджака.— Ты один любил, мы ее не любили!.. Уходи! — Она отвернулась и сразу вошла в подъезд.

Николай Николаевич посмотрел на носки своих сапог — два черных широко расставленных утюга сорок пятого размера — и вошел в свой будущий дом. В голове его осталась похоронная работа, проделанная только что над Светланой. Он понимал, что не будь сделана эта работа — две острые быстрые лопаты, гвозди, аккуратно в три удара входящие в дерево,— навсегда замуравшая накрашенное лицо, мраморное платье и живой цветок, шанс на квартиру исчез бы: дочь не помнила своего отца.

Угол света, острый белый поток, колот наполовину комнату, как слесарный металлический треугольник. Вторая половина с накрытым столом была в полумраке. В треугольник попадали только закинутые одна на другую ноги Михаила Михайловича. Он, конечно, уже перестал читать и положил дневник не глядя куда-то позади себя на подоконник.

— Мамочки. . Мамочки мои! Клиент, ты что, не знаешь, что барышня больше не принимает? — Ольга опустила голову напротив следователя на стул.

— Именно что знаю,— объяснил Михаил Михайлович.

Гостиная наполнилась людьми и зашумела в приличный полусшепот, как два десятка машин, стоящих еще на месте со включенными двигателями и готовых к чудовищной гонке.

Комнат в квартире было четыре, но приготовили только одну. Николай Николаевич мелкими шагами добирался в остальные, недоступные гостям жилые кубатурки. Он поражался, что человек с руками и ногами может так небедно жить. «Да их всех здесь!..— соображал он.— Если бы меня за чувство пола так кормили... то я это чувство пола хоть каждый день, каждый час...» Он провел рукой по щеке. Щека была немолодой, щетинистой и вздутой.

Удостоверение следователя прокуратуры пошло по рукам. Когда оно показало между золотых перстней Заза, тот пронзительно взвизгнул и сказал с веселой, наигранной траурной ноткой:

— А вы водку с нами пить при вашем исполнении будете? Я угощаю! Это я угощаю,— повторил он — Я любил Жанну. Я угощаю всех и вас. Но всех как друзей, а вас — как сотрудника. Годится?

Михаил Михайлович покивал, как китайский фарфоровый болванчик:

— У меня исполнение вместе с рабочим днем кончилось десять минут назад.

— Она просила, чтобы мы веселились... после...— Подросток чуть заикался.— Ну, в общем, после этого... чтобы мы не плакали..

Заза не смотрел на мальчика, он все еще не выпустил из рук удостоверение Михаила Михайловича. Володечка непроизвольно попятился. Заза был огромен, как манекен, вышедший через сверкающее стекло витрины на улицу. Володечка пятился от, казалось, наседающего грузина, пока не уперся поясницей в пол-

оконник. Под пальцами оказалась мягкая тетрадь. Еще не увидав тетради, только прикоснувшись к ней, Володечка понял. Заза выпил водки, перемешав ее с шампанским, на большом его лице оказалась черная икра, она брызнула из банки под рукой плачущей и смеющейся Ольги. Капельки икры потекли по восточному лицу, похожие на капельки мазута. Акопян широким жестом швырнул об пол желтый мокрый фужер. Фужер разлетелся двумя яркими молниями со звоном.

Мокрые доминошники скомплектовали в прямоугольную черную коробочку пластмассовые кости (коробочка походила на гроб, но была значительно меньше) и рассосались по подъездам.

— «Девки бацают с дробью цыганочку, бабы пьяные «горько!» кричат!», — завела Наташа, проглотив одну за другой четыре рюмочки.

Николай Николаевич только жмурился. Он тоже выпивал и старался изо всех сил ничему не удивляться. В комнате за столом собралось человек пятнадцать, в основном красивые женщины с угрюмыми полотняными лицами. Разрисованными были только те три первые, что на его глазах таскались с гробом.

Широкое прозрачное лезвие прошло по оконному стеклу снаружи. Гром напомнил лязг рухнувшего в глубокую реку моста. И сразу погасла, мигнула и погасла совсем, люстра.

Николай Николаевич тихонечко сидел сбоку, пристроившись к женщине. Он осторожно положил руку ей на плечо и сразу понял — своя, деревенская!

— Вас, барышня, как величать-то? — шепнул он на ухо. — Вы не ихняя, вы ж откуда-то из другого теста.

— Из какого такого теста?

— Ну, я хотел сказать, из, так сказать, теста почище... И вот кошка ваша, вы ж ее не отпускаете, а она когтем царапает... Вон, я вижу, — у вас на ладони кровь!

— Зина меня зовут... Сучки они все здесь профессиональные... Я вижу, ты мужик не отсюда — папа, что ли, умершей?

— Папа, папа, — покивал Николай Николаевич, нащупывая в кармане сигареты, — папа я, не сомневайтесь, и на жилплощадь хочу право получить. Она, Светка-то, здесь разврат устроила, а я чистоту сделаю до упора.

— До чего такого?

— До упора.

— Свечку, свечку! — крикнула Нина, разывая пьяной рукой на груди свою мохеровую кофточку. — Свечку дай! Темно мне... Тошнит меня.

От дождя мрак за окном сделался полной ночью без фонарей, и лица за столом не различались, они появлялись, выпрыгивали из черноты только в моменты молниеносных белых вспышек похоронной грозы. Нашли свечи. воткнули в пустые водочные бутылки, белые и тонкие. Михаил Михайлович ломал и ломал сырые спички, наконец к потолку поднялись четыре желтых острых треугольника пламени, они по неясной причине почти не дрожали, они резали комнату, полную теней, на светлые и темные разноразмерные пространства.

— Ну что, опер, — бесплатно... Сэкономить сто рублей... Давай... Там, — одна из кукольных рук показала на дверь спальни, — кровать Жанкина еще не застелена, пойдем... Да не пиши, брось ты писать, я тебе и так все за сто рублей расскажу...

— Техником я служу в жилуправлении, — шептала безвкусным, как бумага, голосом в ухо Николая плотная женщина. — Думаю, мы с тобой, Коля, подружимся, я больше трешки за это дело никогда не беру, а хочешь — бесплатно. А то и сама заплачу... Ты мужик, смотрю, квадратный, люблю квадратных. — В ее глазах отражались два острых желтых треугольника.

Кот ушел незаметно с рук Зинаиды, погулял где-то по квартире в темноте и притащил женскую черную туфлю; он то пытался ухватить ее мелкими клыками, то пинал лапой, пока обувь на левую ногу со сбитым каблуком не оказалась возле желтого, на липучке ботинка Зазы. Но ботинок, не заметив подарка, растоптал туфлю покойной.

— Я хотел жениться! — Вспышка показала всем большое белое лицо поднявшегося над столом грузного Акопяна. — Я хотел жениться... Теперь мы ее закопали, и я не могу на ней жениться, но моя память, мой мозг... как это по-русски... в моем мозгу Жанночка всегда останется... Девочки, я тост хочу сказать сейчас же... Вы спасители, если б не вы, мужчины смогли бы умереть, не давая друг от друга потомства...

Никто не заметил, как Володечка, уединившись в углу, строка за строкой всасывает в себя текст из мятой тетради, лишенной обложки. По мере всасывания лицо его зеленело, а глаза все больше сужались.

— Она велела нам веселиться! Давайте веселиться, давайте танцевать! Я плачу!... — Заза выдернул из кармана хрустящий коричневый кирпич и кинул его на стол. — Михаил Михайлович, ты прости... Жанна просила — я не могу отказать любимой женщине. Я плачу за веселье!

Михаил Михайлович почувствовал запах газа, но выпил, закусил, и иллюзия растворилась в женских воплях. Нина, срывая свою мохеровую кофточку, полезла на стол расстегивать платье. Она увидела прилепившийся к руке возле локтя белый лепесток и сильно испугалась. Она закричала и присела на корточки.

— Шлюхи! — шепнула Зинаида.

— Они точно шлюхи, — подтвердил Николай Николаевич. — Разве можно столько денег брать, — шептал он в твердое ухо своей новой знакомой. — Помню, хоронили Илью Максимыча, ну, года полтора тому. Нажрались, подрались... Ваську насмерть зарезали. Но голые на стол не лазили.

В отсутствие электричества звенели вилками о тарелки, стучали в ладоши — выходил какой-то общий ритм, прерываемый естественными ударами грозы.

Лакированный ноготь крутил в темноте пластмассовый прозрачный диск, и в ухо со все возрастающей силой вьедался нескончаемый длинный гудок.

— Жанка! — крикнула пьяно в трубку девица, играющая в телефон. — Жанка, как там тебе — удобно лежать? Что делаем? Танцуем... Верно! Лежи, родная, лежи... — Слезы, наполняющие ненакрашенные глаза проститутки, были как восковые капли, они не успевали стекать до подбородка и застывали на щеках.

— Телефонная станция. Девушка, будьте любезны, положите трубочку, ваш аппарат неисправен!

— Жанка!

В трубке послышался смехок.

— Откуда вы знаете, как меня зовут? — И сухое: — Ваш аппарат неисправен, положите трубочку. Завтра мы вам пришлем мастера.

— Ты что, Жанка, мы же тебя хороним... Как велела — весело... Заза речь забавал, Нинка голая на столе, стриптиз у нас! Жанка, ты что, не понимаешь?

— Прошу вас, положите трубочку, иначе мы будем вынуждены вообще отключить ваш телефон.

Снаружи, расплывшись о стекло, прижималось, смотрело внутрь комнаты человеческое лицо. Нина попробовала оторвать лепесток с руки, она отскоблила его ногтями, и на месте белого пятнышка расплылось пятнышко крови. Она поднесла руку к глазам, кровь моментально спеклась, густая, как масляная краска, застыла неприятным бугорком.

— Мы, русские люди, мы понимаем! — опять поднимая бокал, сказал Заза.

— Русский он! — шепнула в ухо Николая Николаевича Зинаида.

Лицо медленно отклеилось от окна и растворилось в мокрой черноте.

Сумасшедшая музыка на губах и тарелках, на вилках и ножах, смешанная с разнотонным пением без слов, заводила присутствующих, объединяя всех в один цельный веселящийся механизм.

— Знаешь, Коля, я не такая, я техником в жилуправлении работаю. Техник я

— И еще один вот этот бокал...

Но Заза Акопян не успел ни выпить, ни досказать. Тихо сидевший в темном углу Володечка поднялся со своего стула, взял со стола нож и, проведя сквозь зубы «Ты ее, бурдюк, и убил, Светку ты убил!» — хотел ударить добровольного тамаду. Остальное он уже кричал, потому что Михаил Михайлович, уловив момент, выкрутил подростку руку. Зажатый в кулаке нож перевернулся и указал в потолок.

— Тут все написано, все! Она из-за тебя, из-за тебя, она газовую камеру во сне каждую ночь видела из-за тебя! Здесь... — Свободной рукой он швырнул мятую тетрадь без обложки в лицо Акопяна. — Здесь правда!

— Ну, не вся, наверное. — Заза выпил. — Ты читал книгу Пушкина, Володя? Нету правды на земле, нет ее и выше... Нигде правды нету! Деньги есть, хочешь, я тебе пятьсот рублей подарю!

У открытой двери подъезда стоял мокрый, как половая тряпка, участковый, он козырнул Михаилу Михайловичу:

— Вечер добрый!

— Это вы заглядывали?

— Так точно, поглядывал за безобразием... Да что с ними тут. — Он развел руками в мокрых белых перчатках. — Проститутки. Не карается законом.

— Слушай, достань-ка мне машину, — Михаил Михайлович все еще продолжал выкручивать руку Володечке, — быстренько.

Гроза унялась, асфальт был завален сбитыми ветвями, и торчал помятый мусорный бачок, издали похожий на кастет на четыре пальца с разноцветными шипами.

— Пустите!

— Никуда я тебя, сучонок, пока не пущу. Поедем в отделение, попьем чайку, успокоимся, поболтаем... Ты ведь лирический мальчик! А то ведь зарежешь...

— Зарежу! — подтвердил Володечка. — Зарежу и сяду! Пусть сяду, ты пойми, Михаил Михалыч, я ее люблю. Люблю я ее, Светку, а он ее убил, он ее, он ее... — От холода и частой икоты Володечка не мог больше придумать ни одного слова. — Он ее так... Он ее...

Ночи еще не было, был гаденький вечер с пустыми мокрыми улицами. Милицейская машина привезла Михаила Михайловича и подростка в отделение. Подросток в бережных руках следователя немного отогрелся и пришел в себя. Небольшое уютное здание имело много комнат. Михаил Михайлович воспользовался самой теплой. Он поставил электрический чайник, достал варенье, галеты, он ласково расспрашивал подростка. Расспрашивал коротенькими вопросами из одного-двух слов, почти междометиями, вытаскивая нужные профессионалу подробности.

— Скажите, а почему мы в милицию поехали? Вы же следователь прокуратуры. Почему мы в прокуратуру не поехали? Или в тюрьму лучше... Я же совершил... Это... покушение на убийство!

— В прокуратуру нас сейчас никто не пустит, там заперто. Понимаешь, Володечка, прокуратура — учреждение, а отделение милиции — вроде как завод непрерывного действия. Там бумажки, здесь непосредственная продукция... Тебе чай, что ли, милицейский не нравится? Могу покрепче заварить.

Михаил Михайлович сперва долго сидел, покачиваясь на стуле, попивал чай из большой чашки, потом встал и заходил по кабинету, он продолжал задавать ласковые свои вопросы, пока его не прервали.

— Миша! Миша. — У милиционера, без стука вскочившего в интим кабинета, было мягкое, будто вылепленное из пластилина, розовое, текущее лицо — Мишенька, — пластилиновый милиционер хлопнул в ладоши, — Мишенька, этого поймали, огнелюбителя, пойдем, Миша, он там, в аквариуме, плавает. Пустой аквариум, одна рыбка миниатюрная, пойдем!

В аквариуме, белой квадратной комнате, куда можно было смотреть сквозь крупную решетчатую дверь, бегал строго из угла в угол маленький мальчик. Мальчик был аккуратно одет.

— Вот, посмотри, — объяснил Михаил Михайлович Володечке, — Гена, пятьдесят четыре поджога. Двери поджигает. Пироман. Я его уже месяц поймать пытаюсь, а тут видишь как...

— Отпустите его, — попросил Володечка. — Возьмите меня. Вы можете меня взять.

Но слабого голоса его за адским гогомом селектора и выкриками дежурных милиционеров никто не воспринимал.

### Часть 3

Хорошо заточенные, блестящие, мелькали лопаты в руках профессиональных могильщиков, а Светлана лежала, не прикрытая еще крышечкой, рядом с геометрически правильным своим последним жилищем. Лежала она, красивая и молодая, в узком ящике, отделанном белой материей, вся в красных шелковых цветах.

Николай Николаевич ломал спички, пытался закурить, но не мог

Кто-то приблизился к Николаю Николаевичу сбоку, от человека пахло чернилами и хозяйственным мылом. Приблизился и чиркнул спичкой. Николай прикурил и сквозь дым, выброшенный из собственных ноздрей, узнал человека, бежавшего за похоронным автобусом и вскочившего в полузакрытую дверь в последнюю минуту. Человек был казенный, вероятно — следователь, и бегал он хорошо

Музыканты заполнили сырой воздух неживою своей оркестровкой. Рука могильщика, испорченная хроническим вывихом, дрогнула, и первый гвоздь вошел криво. Острый блестящий его конец выскочил сбоку, проколов шелковую тряпку и повредив кровавый неживой цветок.

Гроб, уже заколоченный и политый слезами, вдруг упал в могилу боком, оборвалась веревка, и все присутствующие на процедуре, исключая барабанщика, разлились окончательно. Заза вместе с горстью земли кинул в могилу на косо лежащий белый гроб один из своих золотых перстней, и Николай Николаевич подумал: «Ведь выкопают ночью, рублей на пятьсот железяка, домик можно купить, кур... Выкопать — и купить домик, — повторил он про себя. — Выкопаю, домик куплю, кур и петушков». Но вспомнил вовремя, что у Светки новая квартира, а старую ее квартиру нужно захватить, перестроился и даже расплакался.

Кафалк на развилке свернул в одну сторону, автобус — в другую. Какая-то из девиц скрипучим голосом попробовала запеть, но не поддержали. Пронеслись за открытым сквозным окном московские угрюмые под солнцем привычные картины. Дома и домики, белые и красные коробочки, много коробочек, узкие, высокие, низкие и длинные, желтые и коричневые, они складывались в бегущую ленту, пробитую легкой зеленью, как разноцветные программные карты зелеными точками перфорации.

Михаил Михайлович всматривался в город профессиональным механическим взглядом, и когда увидел знакомое лицо, на весь автобус крикнул: «Тормози! Тормози!» — размахивая удостоверением следователя прокуратуры, он по пояс засунулся через окошко в кабину водителя и попытался дотянуться до ручного тормоза.

Подросток, маленький мальчик, стоял неподвижно, как небольшая отлитая из металла статуэтка, на пустом тротуаре и даже не пытался бежать. Михаил Михайлович выскочил из автобуса, махнул очумевшему водителю, чтобы ехали без него, в четыре огромных шага оказался возле подростка. Он взял осторожно маленькую тонкую руку, чтобы тихонечко вывернуть ее назад и вызвать из легких мальчугана неприятный скрип.

— Сука ментовская, — буркнула какая-то из девиц, и до самого дома в автобусе сохранялась тишина. Шум движка да медное постукивание трубы о металлический поручень.

Володечка сидел под струей воздуха, воспринимая ее как струю от вентилятора, сидел с закрытыми глазами, и косо торчавший в могиле, белым шелком обитый гроб пересекал его сознание болью, и моментами казалось, что сидит он у себя дома и играет на клавиатуре отцовского компьютера, ему было жарко, и вентилятор завывал. «Кто виноват? — подумал подросток. — Нет, не так, теперь нужно спросить не кто виноват, а кто победит! Кто победит меня?»

Обнаружилось, что мужчин в процессии маловато — толстый Заза и худенький Володечка, — и девки, когда автобус мягко пришвартовался к подъезду, втащили в дом, в квартиру, к накрытому столу, всю кучу музыкантов. Уже пьяные музыканты для виду немного сопротивлялись, но шли, взятые каждый под локти двумя девицами. Николай Николаевич, никем не замеченный, из автобуса вышел последним и в дом не пошел, а присел на ребристую скамью, покурил недолго. Папироска в пальцах была каменная, и дым через нее всасывался с трудом.

Били в сгущающихся грозовых сумерках по деревянному столу руки-рычаги доминошников. Играли молча и на похороны не смотрели, были в своей игре до конца. Потом в небе взорвалось белым, скрипнуло, и окна в доме позахлопывались, а доминошники зашипели, как проколотые шины.

— А вы родственничек этой девушки? Покойной, в общем... — Рядом, к Николаю Николаевичу впритык, присела квадратная плотная баба.

Он бросил папироску и посмотрел ей в глаза. Глаза блестели, неживые.

— Папа я! — сказал он и закашлялся в резонанс грому.

— А я Зинаида. Техник из жилуправления... Квартирка-то, а? Квартирка-то какая, а? Вам же квартирка интересна, что с нею будет!

— Жить я в ней буду! — рубанул Николай Николаевич. — Ты, Зина, со мной сейчас не надо, я дочку только что в могилу уронил, знаешь, как гробик-то перекосило!

Окна в первом этаже в пику остальным закрывающимся окнам оживали. Проститутки, лишенные макияжа, с серыми лицами недоделанных фабричных

кукол, распахивали шторы и рамы. Были видны в свете электричества и грозы накрытый стол, стулья, даже в глубине тускло поблескивал большой серый экран выключенного цветного телевизора, на него положили барабан, и телевизор выходил двухэтажным.

На колени к Зинаиде вспрыгнула кошка, животное лизнуло, вытянувшись снизу шеи, женскую щеку.

— Приблудная или ваша? — полюбопытствовал Николай, понимая уже, что если он хочет квартиру Светкину заполучить, то получится это только в комплекте с данной Зинаидой, и чем любовь их будет крепче, тем прописка менее временной.

— Приблудная... Но давно приблудилась, лет пять уже за мною ходит, говорят — собачки к хозяину привыкают, а коты к месту. А она вот ко мне, к живому человеку, как к месту прилепилась, любит. — И человек из жилконторы поцеловала холодными губами животное в маленький горячий нос.

За стол как-то специально не сажались, бродили по квартире, хватали в рот куски, пили без тостов, плакали. Заза Акопян с неприязнью заглядывал в широкий блестящий раструб музыкального инструмента и видел там желтое свое вытянутое лицо.

— Девочки! Девочки, миленькие! Давайте сделаем какой-то порядок! — крикнул он в трубу, и получилось довольно звонко.

От удара молнии сломанная рябина загорелась, затрещала, но под струями дождя тут же погасла. Стол после гроба и домино стоял посреди двора пустой и блестел. Блестело стекло в отделении милиции, куда Михаил Михайлович поволок не сопротивляющегося пиромана-подростка. Михаил Михайлович задавал вопросы не поворачиваясь, он пока не вел протокол.

— Так сколько же ты поджег квартир? — спрашивал он уже в пятый раз.

— Семьдесят четыре!

— Зачем ты их, семьдесят четыре, поджег, ты что, советскую власть не любишь, может быть, ты людей не любишь или ты материальные ценности ненавидишь?

— Это три вопроса, — отозвался пироман Гена. — А вообще я все вами перечисленное люблю: и советскую власть люблю, и людей люблю, и предметы обихода.

— А зачем поджигаешь?

— А я еще больше люблю, когда все это горит!

— Слушай-ка, — Михаил Михайлович, ослепленный очередной вспышкой, повернулся к пироману, осторожно стоящему в углу кабинета, — а как ты это делаешь? Может, у тебя прибор?

— Обычные спички. Я с одной спички могу снаружи дверь поджечь! — Мальчик вытащил из кармана коробок и положил его в руку Михаила Михайловича.

— И что, прямо так с одной спички выходит?

— Могу показать. — Гена пожал плечами и перестал походить на отлитый из бронзы маленький монумент, а, напротив, ожил, как машинка, и задвигал ногами и всеми десятью пальцами рук.

Головки спичек были зеленые. Михаил Михайлович понюхал и понял, что это обычная сера без добавки.

— Ну покажи... Говоришь, с одной спички... Если не подождешь, давай договоримся с тобой: я тебя по голому задку ремнем выдеру! — Он распахнул пиджак так, что стал виден фрагмент коричневой кобуры под мышкой, и ткнул прямым пальцем в небольшую острую пружку своего финского ремня.

— Только вы не обижайтесь потом. — Мальчик взял спички, покрутил их в пальцах, тоже понюхал, проверяя что-то. — Загорится — чем тушить-то будем?

Михаил Михайлович наполнил графин из крана в туалете, принес его, поставил на стол на зеленое сукно и демонстративно запечатал скрипнувшей стеклянной пробкой.

— Поджигай!

Широкая пухлая дверь, обитая коричневым дерматином, как магнит потянула к себе бронзового подростка, он опустился у двери на колени, измерил маленькими быстрыми пальцами расстояние от заклепки до заклепки, попробовал на упругость. Лизнул ритуально заднюю стенку коробочки, ловко, в одно касание, зажег твердую спичку и еще до того, как пламя превратило зеленую серу в желтый язычок, проколол маленькой этой деревянной иглой дерматин двери.

— Все? — спросил Михаил Михайлович и с сожалением вспомнил, что ему пришлось бросить самые поминки, остановить на полной скорости похоронный автобус. Он уже расстегивал лениво ремень. — Оголяйся!

— Да вы погодите пару секунд.. Вот вам, пожалуйста! Оно!

Вата, сухая и сбита годами под дерматином, мгновенно вся вспыхнула, и дверь большим квадратным факелом воспламенилась неожиданно и неприятно. Следственный эксперимент прошел удачно. Михаил Михайлович плеснул в пламя из графина, потом швырнул графин в полыхающую дверь и, не заметив даже, что подросток тихонечко выскользнул из отделения, заорал чужим, не милицейским голосом:

— Мирошниченко! Сусликов! Каблучков! Кто-нибудь!..

— Чего случилось-то, Михал Михалыч? — У Мирошниченко было заспанное, со следами кнопок от пульта, на котором он только что спал, лицо, и ему неинтересен был пожар как следственный эксперимент, он для него, как и половина всей собственной бессмысленной жизни, был все тот же сон под звуки милицейской сирены.

— Что! — Михаил Михайлович продолжал зачем-то расстегивать ремень. — Огнетушитель тащи, видишь — горим! — Он вытащил из-под мышки пистолет и со злости выстрелил в горящую дверь. От выстрелов все отделение всколыхнулось, и зашипели, сбивая огонь, в синих от избивений кулаках милиционеров красные бочонки огнетушителей, уничтожая белой пеной желто-красное пламя.

— А пойдемте с вами в квартиру, — предложила Зинаида Николаю Николаевичу, — а то измокнем все, как суслики. Вы же папа все-таки. Нужно вам речь, наверное, сказать. Скажите, — она ухватила его больно за руку и ввела в подъезд, — речь! Нужно речь. — Ей понравилась слово «речь». — Дочка ваша, — продолжала она, — она продажная была... но дорогая! А теперь, когда она в гробу закопана уже, нужно вам как отцу — речь!

Музыканты, волоком прибывшие к похоронному столу, накачались еще в автобусе и были малоподвижны. Недоделанные куклы пытались расшевелить их, они задирала траурные черные юбки, вытаскивая под электрический свет длинные красивые ноги, заголяли частично аккуратные свои, по европейскому стандарту содержащиеся груди с большими твердыми сосками, но ничего не помогало: как выключенные механизмы барабанщики, трубачи и тромбонисты вяло сидели за столом, высились неподвижно и только немного шевелили губами. Помогла водка. Горючее под бравые тосты Акопяна, влитое в эти малоподвижные машины, заставило их сперва сдвинуться с места, а потом заговорить, заготовать. Барабанщик сам потащил одну из девиц, отражая глазами ее плоское ненарисованное лицо и хватая губами ее белые ненарисованные губы, в спальню, на белые взбитые одеяла и простыни, пахнущие еще живым телом Светланы.

— Доллары, фунты проклятые, стерлинги, гульдены, — шептали белые губы. — Иены, марки, лиры... — Нога в грязном ботинке чертила по стене, по белым обоям абстрактную картину. — Доллары, фунты, шекели... — Кукла не хотела вертеться и не вертелась, да это было и невозможно под мощным спиртовым молотом, накрывшим ее всю.

Тихой тенью скользил между женщин и мужчин Володечка, ему не было ни обидно, ни больно. «Света просила, чтобы было весело, а иначе они веселиться не умеют. Для них веселие — это все то, что бесплатно, а все то, что бесплатно, это не работа, а значит -- праздник...» Еще не потух свет, когда он вошел в кухню и присел там в одиночестве на стул. Он долго сидел, смотрел перед собой не видя, потом вдруг понял, что смотрит на газовую камеру Светланы, на четырехконфорочную плиту старого образца. Осторожно Володечка встал на колени, открыл духовку и засунул обе руки внутрь плиты, пальцы заскрипели по ржавому противню, подростку показалось, что внутри у него во всем теле болезненно заскрипела от этой окалины кровь, в глазах чуть потемнело, и он вытащил, держа обеими руками, мятую тетрадку без обложки, исписанную мелким женским почерком...

У работника жилуправления был хорошо поставленный официальный голос, она умела говорить как в рупор, приостанавливая любое чужое действие.

— Всем тихо, бабы! Папа Светкин хочет сказать про дочку! Всем слушать его. Он, папа, должен вам сказать. Всем вам... Он хороший человек, я ему в глаза долго смотрела, могу точно подтвердить — хороший человек. А это редко. Хороший человек и отец родной покойницы!

— Слушай, срочно скажи... Скажи срочно, — поддержал Зинаиду Акопян. — Ты один скажи, а я помолчу. Ты скажи, девочки послушают и поймут, они у меня хорошие девочки!

Ольга пробила консервным ножом банку, и черная икра брызнула мазутной струей в лицо Акопяна, он вытер мазут, слизнул с пухлых губ остаток рыбьего зародыша и повторил:

— Говори! Налейте все по полной водки. Говори, отец моей погибшей невесты!

Николай Николаевич сперва как следует откашлялся, потом сказал:

— Товарищи, я в Москве! Москва — столица. Москва, как горящая спичка, зажигает все наше большое государство пламенем радостного труда, а ваш труд, товарищи красивые женщины, не глядя на то, что центральная пресса слегка против, я тоже одобряю. Моя покойная дочь Светлана — по-вашему, Жанна, но Жанкой маму ее звали, красивая тоже женщина...

Все подняли бокалы, потом погас свет, и вспышка молнии отразилась в бокалах.

— Ну, в общем, это... Выпьем за это... — Николай Николаевич покашлял с натугой и выпил первым глотком.

Свечи втыкали в неподитые водочные бутылки. Распахнув мохеровую свою кофточку, Нина вскочила на стол и под ляг посуды и цоканье языков исполняла неведомый ей самой ритуальный танец, чувствуя, что каждое движение ее верно и абсолютно...

Володечка, медленный и спокойный, поднялся со стула и прошел темным коридором в комнату. Комната дрожала, как желтая вода, звенели ладони беснующихся под музыку проституток. Подросток споткнулся о кота, нащупал не глядя на скатерти металлическую тяжелую рукоять. «Это ты ее убил, — сказал он себе для верности, — ты, Заза Акопян, убил мою Свету... Я на нее смотреть боялся, а ты ее убил». Может быть, он сказал это вслух, потому что большой бурдюк, украшенный золотым шитьем, качнулся, оказавшись совсем рядом.

Мохеро́вая кофта Нины, распахнувшись, зацепила свечу и вся вспыхнула. В комнате сделалось ярче, ее осветила собой танцующая, безумная во вьющихся языках пламени молодая женщина — валютная проститутка, в танце провожающая свою подругу и теперь не чувствующая боли.

Володечка ударил в бурдюк, в самый натянутый живот, в белый батник, ударил во второй раз и почувствовал, как брызнуло ему на руки теплое, хорошо выдержанное вино. Заза тихонечко завыл, два неглубоких удара вилкой не задели ничего в его организме, а только повредили немного верхний слой жира.

Ольга нащупала телефон. Крутанула прозрачный диск красивым, почти прозрачным ногтем и навстречу длинному режущему гудку тихо сказала: «Милиция? Я спрашиваю, это милиция?..» Но гудок, как шум моря в раковине, выедал ее ухо, и никаких слов в ответ не было.

#### Часть 4

Девки поднатужились, но не смогли вынести из подъезда открытый гроб. Они опустили его на кафель лестничной площадки и вытерли пот.

— Тяжелая Жанка какая стала, — брякнула светловолосая девица, слова у нее почему-то выходили грубые и отдельные. — Нам, однако, тебя, невестушка, никак дальше не протащить!

Она зачем-то вытерла руки о шершавую джинсовую юбку и вернулась в квартиру. Походила по комнатам, еще раз осмотрела придирчиво готовый к поминанию стол и тут во дворе заметила стоящего у подъезда прямого, как струганая доска, подростка.

— Володечка! — Она высунулась в окно. — Володечка, миленький, помоги гробик вынести... Помоги девушкам... Ну ведь, правда, не женское дело гробы таскать. А мужиков, видишь, нет еще никого. А катафалк с минуты на минуту подъехать должен.

Вчетвером они вынесли из подъезда открытый гроб и поставили его прямо на асфальт, в разноцветные разводы бензиновых луж.

Покойница лежала неподвижно в узком ящике, отделанном белой материей и красными шелковыми цветами, такого же цвета большой цветок был у нее в руках, этот цветок не походил на живой, но был живым.

— Можно, я немножко там, в квартире, посижу? — спросил подросток, с трудом отводя взгляд от красивого лица любимой своей женщины.

— А чего, посиди. Только водки не пей. А хочешь, выпей. Выпей. Ты хороший мальчик.

— Я на кухне посижу, — сказал Володечка. — Я тихонечко там посижу. А когда грузить... вы позовите тогда.

В квартире он пошел не на кухню, а в комнату и стал звонить родителям, хотел сказать, что задержался на вечеринке у товарища и потому то ли уже не ночевал дома, то ли не будет ночевать следующую ночь, пространство и время немного от ужаса происходящего перепутались в его мозгу. Но телефон давал на любое действие одну реакцию — непрерывно режущий гудок. Долго Володечка стоял у окна кухни и смотрел в окно на двор, на доминошный стол, на гроб (белая шелковая тряпка медленно подпыхивалась снизу бензиновым разводом), на сломанную рябину, похожую на схему метрополитена, потом сел на стул и стал на стуле медленно, со скрипом качаться, он смотрел на черную, старого образца, четырехконфорочную плиту — газовую камеру. «Я сейчас отравлюсь газом, как и она, и все кончится, — решил подросток. — Прямо сейчас — кто меня потом травиться допустит?» Он открыл плиту, встал перед духовкой на колени, но желание отравиться сменилось неожиданной находкой. Мятая тетрадка без обложки, испанская мелким почерком, была засунута глубоко в духовку, и, протискивая тощее тело внутрь плиты, Володечка неизбежно обнаружил бы ее. За окном к девицам присоединился квадратный мужик в сапожищах деревенского вида, и они ставили гроб на доминошный стол. Подросток опустился обратно на скрипнувший стул и залпом в полчаса, пока собирались похоронные гости, музыканты и транспорт, одолел юношеский дневник покойной. Дневник медленно намокал от незаметно текущих из глаз подростка слез. Володечка, заикаясь, поклялся сам себе, не осознавая слов клятвы и не фиксируя их...

Николай Николаевич, стоя во дворе над доминошным столом, заглядывал в лицо своей мертвой дочери и сравнивал его с лицом живой еще ее матери, которую помнил только по молодости. «А вправду вылита, как Жанка, из одной формы. Жанна Николаевна... А на самом-то деле Светлана Николаевна...»

Подкатил катафалк, фыркнул трубой. Вышел в кожаной куртке веселый шофер катафалка и в шутку принялся щупать уворачивающуюся Ольгу. Медленно стегивались за стеклом, как на экране дисплея ожившие в программе рисунки, приглашенные на поминки живые лица. Проститутки, исключая первых трех, Наташи, Нины и Оли, загримированных будто к работе, были как спички с соструганной серой. Володечка в детстве состругивал серные головки, забивал металлические стержни этой серой и, накаляя желтые концы, стрелял по вылепленным из пластилина разноцветным солдатикам и милиционерам, штатских он никогда не лепил. К катафалку сбоку причалили красные «Жигули», мокрые, будто только что залитые дождем, с горящими среди дня фарами. Дверца распахнулась, и толстый, покачивающийся в обе стороны, будто налитый до краев вином, большой бурдюк с лысой головой, похожей на затычку из белого металла, пошел вперевалочку к неподвижно лежащей Светлане. Он приблизился, поблескивая множеством своего золота на руках, кажется, пуговицы на брюхе были золотыми, и большая пряжка с изображением товарища Сталина была желтой, приблизился (Володечка зажмурился: неужели посмеет?) и поцеловал невесту в губы, потрогал толстыми, черными от металлической стружки волос пальцами живой цветок.

— Сейчас! — сказал подросток, распахивая ящики буфета, и в ярком свете дня, идущем в окно кухни, подбирая подходящий для убийства предмет, он разбрасывал вокруг себя тяжелые вилки, консервные ножи, покатились, переворачиваясь, шумовка, упал тесак для отбивки мяса.

На улице медленным-медленным шагом подросток вышел, держа в рукаве длинный нож, сантиметров сорок, тяжелый и острый, он попробовал лезвие пальцем, и палец кровоточил. Николай Николаевич, обиженный, что его Жанну целует кто-то, тоже приложился наждачной щекой к напудренной тоненькой коже невесты.

— Извините, а можно вас, Заза, попросить на одно только короткое слово? — спросил Володечка, и красные «Жигули» почему-то сразу после его вопроса отъехали и исчезли за коробками домов.

— Почему, можно! Обязательно... — Бурдюк качнулся и показал, что отверстие у него не золотое, а белое. Красивые ровные белые зубы, горькая улыбка жениха.

Ольга крикнула и, ухватив себя за волосы еще за несколько секунд до происшедшего, рванула, будто пытаясь приподнять собственное тело собственной рукой к небу, вверх, в синеву.

Нож выскользнул огромной иглой из узкого рукава подростка. Володечка прошептал:

— Ты ее убил! Умри, заразная болячка!

Нож четыре раза вонзился в большое и грузное тело Зазы Акопяна, два раза в живот, заливая асфальт кровью, кровь потекла и моментально затмила в луже бензиновую радугу, один раз в грудь, в стучащее горячее сердце южанина, и потом, когда Заза, уже хрипя, упал перед подростком на колени, целуя ему почему-то вторую, свободную от ножа руку, удар получился в левый глаз. Володечка вогнал оружие по рукоятку, глубоко, и, тяжело дыша, отступил на шаг. Заза Акопян, ослепленный смертью, механически постоял на коленях недолго и упал почти без шума, он не крикнул, и никто не крикнул вокруг. Только Николай Николаевич, не приученный еще к столичной жизни, громко, по-деревенски, крикнул и зачем-то, наверно, ища защиты от новизны, еще раз приложил наждачную шкуру к тонкому листу пудры своей умершей доченьки.

— Беги, беги, малыш, — шепнула медленно отступающему по шагу назад Володечке в ухо Нина. — Беги, ночью ко мне приходи. Приходи ночью ко мне. Бесплатно... Ты за то, что сволочь эту убил... Ты мне пять ночей бесплатно... Я тебе... — Она заикалась, и только когда подросток, упершись спиной в стену и оттолкнувшись от нее, кинулся бежать, ломая на пути погнутую рябину, поняла, что следовало бы ему адресок шепнуть, ей стало жарко в мохеровой кофте, и она закричала во все горло: — Ментов! Похоронная команда... Ментов тащите сюда, Зазу Акопянчика, золотого нашего... — Все остальное вышло у нее неразборчиво.

На минуточку Ольга почувствовала, что ноги ее отрываются от земли, и рука еще больше рванула рыжие длинные волосы, поднятые волной шелка вверх, переплетенные в белых узлах пальцев намертво.

— Чтоб вас всех здесь с вашими альтернативами... — Михаил Михайлович одно мгновение стоял неподвижно, выбирая между преследованием подростка и охраной места преступления, после чего вытащил пистолет и обвел стволом неживые, кукольные лица присутствующих.

Шофер катафалка плюнул и влез в машину. Еще немного порвав свою и без того рваную кожаную куртку, Михаил Михайлович приказал:

— Не подходить на расстояние один метр!

Не выпуская пистолета, он осторожно обвел мелом лежащее на асфальте мертвое тело, еще теплое. Посмотрел на небо — явно собиралась гроза — и всем сердцем пожалел, что меловой след все-таки смоем, а фотоаппарата с собой у него нет.

Маленькие листья резали открытые руки и лицо Володечки ножами, он слепо бежал вперед, пока не стал часто спотыкаться о кирпичи, споткнувшись в очередной раз, он упал и, сев на корточки, прислонившись к чему-то холодному и сырому спиной, осмотрелся наконец. Часы на руке оказались залеплены кровью, зеленью, и разбитое стекло торчало блестящей трещиной, но они шли, они тикали, как тикало и сердце подростка.

Рядом раскачивались и скрипели огромные ржавые ворота, в которые он даже не заметил, как вбежал, а вокруг была высокая красная кирпичная стена. Незавершенное здание имело полтора этажа, и в первом этаже были вставлены стекла. Ни одно стекло не было разбито, многие из них отражали прыгающее в тучах солнце. Подросток медленно распрямился, чувствуя себя отлитым из какой-то невероятной смеси резины и теплого свинца, и подошел к зданию, заглянул в окно.

Подкатил медленно большой автобус с нулевым номером и рекламой пепси-колы на свежескрашенном боку, он загородил проезд, и две милицейские ревушие канарейки не смогли пробиться к месту преступления; придерживая одной рукой фуражки, другой хватаясь за кобуры, милиционеры выскакивали из машин и бежали к уже очерченному и охраняемому Михаилом Михайловичем мертвому телу.

— Ну че? На кладбище гроб повезем или не повезем? Отменять заказ? — спросил водитель катафалка отчего-то у Николая Николаевича. — А то, может, на послезавтра, парой и захватим и захороним. Я так понял — он жених, она невеста, парой дешевле, а за сегодня неустойку можно. Чего без движения стоять!

— Поедем на кладбище, — обещал Николай Николаевич и закричал: — Погружаем, погружаем гроб в катафалковую машину, а всех соболезующих — в автобус!

Музыканты заиграли музыку, и все потихонечку в скрипе тормозов и блеске фотовспышек удалилось.

Захоронение прошло очень тихо, аккуратно. Ольга и Нина смыли с себя весь макияж и перестали совершенно отличаться за столом от остальных девочек. Ольгу вырвало черной икрой с водкой, и ее унесли и положили в отдельной комнате отдохнуть. Гроза оборвала свет, и Николай Николаевич наконец в полумраке приобнял за плечи, решившись, работника жилуправления Зинаиду. Свечи не стали зажигать. Единственный среди оставшихся поминающих музыкант, барабанщик, бил в свой инструмент, давая происходящему подходящий траурный ритм. Водку выпили до грамма всю и пролили ее, пропустив сквозь тела, на скатерти и закуски, соленую и горькую, — только слезами.

— Девочки, — вдруг прошептала слышимо для всех, как радио первой программы, тихо и отчетливо на всю комнату Нина, — девки мои, а ведь он, мальчик-то, он прав совсем... Его, бедного, в тюрьме убьют. Давайте, девки, найдем его и отблагодарим за правду!

— Что мы можем? — ответил шепот на шепот.

— То, что можем, то и можем... Бесплатно, все по очереди... Он ведь девственный ребенок. Он как в рай попадет, я воображаю... Пусть перед смертью как в рай попадет!

Вспышка осветила, ударив в открытое окно, кукольные согласные лица. Все до единой девочки восприняли идею как уже случившийся факт. Как аванс на будущее свое старческое счастье, аванс на кусочек старческой чистоты во всей предстоящей мрази воспоминаний.

Володечка, сдавившись в мокрый, болящий изнутри узел, сидел в первом застекленном этаже недостроенного дома и смотрел сквозь окно на открытые в свободный мир огромные ржавые ворота, за которыми складывались в доминирующий рисунок белые коробочки одинаковых прямоугольных домов с разным количеством точек зажженных окон. «Домой позвонить нужно маме, — подумал подросток. — Она волнуется. Нужно сказать, чтобы компьютер выключили, я ушел, забыл, кажется... Память сотрут... Пусть память сотрут. Зачем теперь память, когда ее нет, и меня, кажется, теперь тоже нет...»

Поминки рассосались постепенно и тихо, в темной пустой квартире остались только Николай Николаевич и работник жилконторы Зинаида.

— А ты мужик ничего себе, телесный! — сказала она, допивая водку и шупая Николая Николаевича сквозь штаны за резиновый упругий зад. — Ты ж прописаться прибыл. В столицу Родины. Обосноваться сюда! Дочка-то с кондратием обнялась, ты и бегом. Угадливая я?

— Вы, Зина, угадливая... Давайте с вами сейчас будем заниматься крепко любовью и пить водку, я так заметил — колечко у вас, Зина, на левой руке, для меня это знак. Можно сказать, знамение... Насчет прописочки и разберем как-нибудь дело... Вы же меня вполне понимаете...

И он увидел, как отражают по-кошачьи сильно в темноте неведомую энергию ее большие глаза.

— Мама, я тебе звоню! Мама, молчи. — Он быстро-быстро говорил плаксивым голосом в трубку. — Мама, это я, Володечка. В общем, ее похоронили, мама, а я его убил... Не спрашивай, мама, кого... прощай, мама...

Он повесил трубку и из кабины телефона-автомата вернулся назад, в недостроенный дом со вставленными стеклами и большими воротами. Вот уже год подросток таскал в кармане небольшую, зеленого цвета упаковку. Всего в комплекте десять таблеток. Таблетки были немецкие, он хорошо читал по-немецки, в аннотации указано жестко и прямо: пачка — смертельная доза.

Дождь перестал. Над городом забились в дрожи зарницы. Подросток разорвал пачку, выдрал из маленькой жесткой упаковки десять красных колесиков, разом проглотил их и запил из лужи, потом лег на холодный бетонный пол на живот и через десять часов, никем не замеченный, умер.

### Часть 5

Нож четыре раза вонзился в большое и грузное тело Зазы Акопяна, два раза в живот, заливая асфальт кровью — кровь потекла и моментально затмила в луже бензиновую радугу, — один раз в грудь, в стучащее горячее сердце южанина, и потом, когда Заза, хрипя, уже упал перед подростком на колени, целуя ему почему-то вторую, свободную руку, удар ножа получился в левый карий глаз, по самую рукоятку вогнал его Володечка и мелкими шагами, еще не успев испугаться, стал отступать назад, пока не уперся спиной в бетонную стену дома. Что-то шептали ему в самое ухо, что-то ненормально-ласковое, но он не воспринял женского голоса. Оттолкнувшись от стены, как с силой брошенный резиновый мяч, он, не глядя, зажмурившись, ринулся вперед, ломая ветви. Лицо било листвою, как ветром, а воздух сжимался от скорости, ноги катились легко, как смазанные колеса, чутье — внутренний автопилот — уведило подростка крутым зигзагом от возможного преследования. Он один только раз споткнулся, но не упал, а ударился лбом о большую железную воротину, оттолкнулся от нее так же, как в первый раз от стены, но уже с меньшей скоростью, полетел по улице, постепенно приоткрывая глаза навстречу холодному, вспыхивающему белым потоку дождя.

— Жить... Жить... Жить... Жить — значит, бежать, прятаться... Умереть. Значит, не бежать... Прятаться, — шептал он, проглатывая большими глотками воду, падающую с крыши. — Я люблю ее, я должен прийти, должен прийти на ее могилу, я должен положить цветы, должен... — Мысль его на миг сделалась иронична. — И папашу этого, из деревни, не худо бы зарезать, если уж так легко у меня выходит...

Володечку затоснило, и он наклонился над какой-то канавой, полной зеркальной воды, из канавы на него глянула кошачья острая морда с красным носом. Животное облизнулось и мурлыкнуло. Подросток сел прямо на асфальт под дождем и погладил кота. «Два раза не расстреляют, — подумал он. — И папашу зарежу! Возьму ножичек и зарежу! Или все-таки лучше убежать, как считаешь?»

В квартире, где после поминок остались только техник жилуправления Зинаида и отец покойной проститутки Светланы Николай Николаевич, происходило движение, текла из крана вода, скатерть, перемазанная черной икрой, слезами и блевотиной, медленно сползала на пол. Много долгих часов она лежала и двигалась, похожая на морской отлив, обнажая темную полировку стола. Николай Николаевич, пьяно взглянув впереди себя, увидел как во сне спокойное море, украшенное стеклянными высокими и полыми кораблями, решил, что пора бы ему в новом доме до утра крепенько заснуть.

— Ты че, Коль? — спрашивала Зинаида, сыто икая. — Ты че, Коль, совсем захмелел?

— До смерти, — признался Николай Николаевич. — Это от горя, Зина, от горя... Зиночка и Зинуля, ты же сука!

Николаю Николаевичу приснилось — он лежал боком, прижатый большим телом товарища из жилуправления к белой стене, — что он все-таки раскопал ночью могилу, достал, пачкаясь в коричневой глине и белом, порванном гвоздями шелке, перстень, брошенный в нее. Только утром, пересказывая за чаем свой сон Зинуле, он сообразил, что перстень южный человек в могилу не кидал, потому что был убит еще до самого акта захоронения. Во сне Николай Николаевич перстень продал, купил на вырученные деньги дом, участочек в десять соток и стал растить почему-то помидоры. Помидоры он растил десять лет, потом все разом красные шары продал и на вырученные деньги купил в Москве самый Большой театр. Так и поставил в паспорте штампель с пропиской с четверкой белых бегущих коней. В Большом театре он поставил мебель и на узкой кровати — другой попервости не купилось — поимел зачем-то некрасивую женщину с яркими, непонятного цвета, в темноте светящимися глазами. Но тут сон перемешался с явью. И Николай Николаевич, все еще чувствуя себя меж высоких колонн, хватал ладонями большие груди и толстый зад и что-то ей

шептал, а она, как кошка, шипела и зелеными глазами сверкала, освещая маленькую комнатку вокруг.

Сидя на постели голый, Николай Николаевич закурил, плюнул дым в кулак вместе с кашлем и спросил, окончательно здесь проснувшись и потеряв и колонны и коней:

— Мы поженимся с тобой, что ли, завтра?

— Поженимся, только не завтра. Завтра заявление сташим. И фотографии закажем. Я заметила: от поминок-то ящик водки остался спрятанный. На свадьбу пригодится, а? Как считаешь, Николай?

— Пригодится... — Он отчетливо понимал, что выпит ящик будет значительно ранее. — А жить... Прописываться здесь будем с тобой.

— Дворником в управление тебя оформлю и кочегаром оформлю... и слесарем-сантехником, — мечтательно завела Зинаида, — и еще кое-кем... Жить? — Она приподняла голову от подушки и сверкнула глазами, осветив эстампик на стене — «Лондонский туман». — А где? Точно, здесь мы будем с тобой жить, Коля! Совместно! Электричество бы только поскорее починили. Не могу без электричества спать. Просыпаюсь — страшно свечку в потемках сальную пальцами ловить...

— Да я сам тебе свечку сальную поймаю, поймаю... — Он ловил ее ускользающую белизну руками и стучал сердцем, пока не заметил, что от холода в такт сердцу стучит и зубами, потом поймал и укусил до полной кровавой сладости. Сердце осталось стучать, а зубы, сдавившись, стихли.

«Куда же идти? — думал подросток, медленно опускаясь по скользкому боку в огромную строительную яму. На дне ямы было озерцо, горячее, как серебряная монетка под утренним солнцем. — Куда мне прятаться? Домой позвонить... Не стану я домой звонить. — В маленькой пустой хибарке возле озерца он застрял почти на двое суток. — Убить кого-нибудь, взять документы. Так это нужно, чтобы примерно одного возраста был со мной. И на комсомольскую стройку до конца жизни... Зачем, можно сразу в отделение, на комсомольскую стройку и по своим документам отвезут...»

Это строительство, моментально начатое, так и не завершенное, сильно отличалось от того, за железными воротами, с домом, в первом этаже которого были уже вставлены стекла. Здесь было голодно и холодно, больно от ужаса и просуществовать длительное время просто не на чем. «На могилу к Светлане сходить нужно и сдаваться потом идти, или прятаться, или с собой покончить. Стану преступником. Или себя убивать, что легче... Или других граждан, что значительно тревожнее для души, пока не образуется привычка... Но на могилу к Свете я пойду... А что на могиле? Нужно к ней в квартиру пойти, поклониться ее запахам, ее вещам. Ее в доме больше осталось, чем на кладбище. Да дом-то я найду, а на кладбище как сыскать? Если б я сначала на кладбище съездил, а потом Зазу Акопяничка убил, то знал бы, где столбик, где крестик, где камушек ее милый... А так — где искать... На такси денег нет. Пойду ночью, залезу в пустую квартиру в окно, может, что в холодильнике после поминок осталось...»

Ночью озерцо в центре строительства сильно отражало полную осеннюю луну, и Володечке хотелось помыть в нем голову и завить, задрав голодное острое лицо в чистое звездное небо, но он так не поступил, не опустился до образа. Только злобно прокричал какие-то неведомые ругательства, никем не слышимый, по-немецки и, убегая от искушения, бросил в желтую воду пачку снотворных таблеток.

Следующая ночь, как мазутная лужа, была без звезд и фонарей: по всему району вырубили кабель. Мазут не пропускал, ослеплял бредущее по родной улице тело напуганного и голодного подростка, мазут втягивал его ноги глубоко в асфальт, и редкие отблески свечей в окнах делали его еще более тягучим и неживым. Ощупью Володечка нашел нужное парадное, отсчитал влево четыре шага и полез в закрытое окно. Он в полном мраке целовал стеклянную преграду, пока ботинок, упершись в рядом растущее, тоже поглощенное мазутом, но находящееся в памяти деревце, не встал на подоконник. Ледяные его пальцы нашли форточку открытой и нашли, что за форточкой другой, теплый воздух, хотя и такой же черный. Пальцы нашли гладкую пластмассовую ручку шпингалета, сперва верхнего, потом все тело перевесилось головой вниз, а пальцы нашли и нижний замочек. Рама поддавалась, и бесшумно убийца жениха шагнул в квартиру покойной невесты, проститутки Светланы.

Володечка первое, что сделал, — лег грудью на теплый гладкий линолеум, дотянулся рукою до железной ножки плиты и заснул, подумав еще, что можно здесь умереть, в этой маленькой газовой камере. Если нет электричества, то всегда в городе работает «ноль-три», газ и канализация.

Обмывали заявку несколько дней, ящика не хватило, не хватило и нескольких рублей, привезенных Николаем Николаевичем, и теперь он спал, похмельный и радостный, на только что днем приобретенной большой софе, не касаясь тела Зинаиды, с похмелья во сне сильно свистящей. Николай Николаевич прислушался, пробудившись, к этому свисту и нашел в нем мелодию. Техник жилуправления, будущая его супруга и товарищ по захвату жилплощади, высвистывала не просыпаясь, со всюю отчетливостью, залихватски «Яблочко», прерывая иногда себя могучими всхрапываниями.

Николай Николаевич походил босыми ногами по теплому полу, наступая на осколки побитых фужеров. Он поморщился, но не от боли, а от сожаления честного человека, уже вступившего в права наследства посудой и уже погубившего ее. Ощупью, не найдя свечи, дошел до кухни, хотелось зажечь четыре газовых горелки и посидеть при голубом золоте полчасика — согреться душой. Никогда в деревне, глядя на красный газовый баллон, не позволял он себе, отец двоих детей, даже и мысли такой, а здесь — бесплатно смотри и грейся, суп вари!

Голая нога наступила, как показалось Николаю Николаевичу в потемках, на живую жабу. Жаба дернулась и прыгнула шлепком по линолеуму кухни в сторону. «Откуда здесь жабы-то? — подумал спросонья Николай — А то не жабы!» Он зажег горелки, один за другим с удовольствием повернув четыре краника из пяти, пятый, красный, он посчитал за опасный, тот был похож на стоп-кран в поезде, готовый остановить любую жизнь и уже остановивший жизнь его дочери. И самой внутренности духовки — боялся.

Посреди кухни лежал лицом вниз неподвижно труп. Человек не шевелился, не дышал, был холодный, и другого определения ему не находилось.

— Мертвяк, ты чей? — спросил Николай Николаевич, в голубом свете разглядывая коротко стриженный черный затылок подростка.

— Как чей? — удивился Володечка. Ему только что приснилось, что он уже отравился газом. — Я ничей, я собственный труп!

— А почему же ты живой и вякаешь? — удивился Николай Николаевич

Кольхался сгорающий газ голубыми тенями по стенам кухни, и в свете его квадратное лицо Николая Николаевича, синее и скуластое, было мертво, Володечке оно показалось лицом выкопанного из могилы покойника, и, подумав, еще почти во сне, он спросил:

— А вас, Николай Николаевич, тоже я убил?.. Если я, то извините Вы знаете... — он поскреб согревшейся рукою себе затылок, — я ведь даже не помню, как вас убил.

Михаил Михайлович продирался сквозь мазут, глотая его едкую густую кашу, он вышел из милицейской машины и не мог найти нужного подъезда, только позади пищала рация, и, обернувшись, он мог увидеть желтую тень освещенных изнутри «Жигулей» «Фары, суки, не включают. Суки ментовские...» Он вышел по вызову, пойманный за руку Геночка ждал его в небольшой уютной квартире главного архитектора города. Гоняясь за пироманом из творческой идеи, Михаил Михайлович позволил разбудить себя ночью. «Суки ментовские. Фары включили бы». Он стукнулся лбом о бетонную стену так сильно, что на минуту потерял сознание.

В темноте в квартире главного архитектора города мелькали сразу четыре ручных фонарика. Дверь на лестницу распахнута, и в ней лицо самого архитектора, подсвечивающего себя фонариком снизу так, что оно походило на искусственный пластмассовый череп из школьной анатомички.

— Наконец-то вы... Наконец... Как! — говорил архитектор бессвязно. — Я чувствовал, что это должно случиться... Я всегда чувствую... проходите, да вот возьмите фонарик, у меня еще есть свечи... Это опасно, а электрификацию города я сам утверждал, вот и запасы... запасы, аккумуляторы, батарейки...

— Где он? — сухо спросил Михаил Михайлович, принимая из теплой руки главного архитектора города теплый фонарик, и опять стучаясь лбом о стену, и опять на миг теряя сознание.

— Я его сразу почувствовал... Вы знаете,— лепетал голос главного, в круге фонарика металось его лицо.— Я чувствую любой пожар как укол на собственном теле... Я поймал его в тот момент...

— А что вы сделаете-то мне, вы, менты и архитекторы, жильцы и товарищи! — невидимый в темноте, усмехнулся прикрученный к мягкому креслу электрическим проводом наглый мальчишка.

Очень далеко, невыносимый от плохой слышимости, раздался за многими стенами женский визг. Михаил Михайлович вздрогнул и вспомнил утреннее убийство. Вспомнил смытую позавчерашним ливнем любовно сделанную вокруг трупа им лично меловую черту.

Зинаида визжала со вкусом, очень долго и пронзительно, меняя тональность, как пожарная машина, потом она перешла, охрипнув, на звук вилки, скребущей пустую тарелку, и спросила последними своими силами:

— А вы чего, суки, водку прячете? Вы чего, суки, жизни меня лишите хотите?.. А вы чего, суки поганые? — И она посмотрела на Николая.— На жилплощадь посягая, ночью на кухне, при газу разговоры умные, что ли, разговариваете?

Николай Николаевич пожал плечами и, поцеловав свою суженую, объяснил, удерживая ее за плечи и стараясь не заглядывать в глаза, от света которых пламя в горелках из голубого стало сперва зеленым, а потом красным и зашипело, как утюг на мокром

— Убийец на место преступления притянулся... Это понимать по науке надо! Притянулся он Место, оно притягивает...

— Убийец! — сбитым шепотом сказала Зинаида.— Точно, он, убийец, Володечка.— Она погладила подростка по голове онемевшей во сне рукою.— Бедняцкий ты мой, хороший мальчик...— И повернувшись к Николаю, донесла смысл: — Сдать его в милицию надо, а то будет нам с тобой свадебный подарок!.. Квартира наша с мебелью и духами... А тут одних бюстгалтеров,— она хрипела,— я посчитала, тыщ на сорок старыми...

Пламя четырех газовых горелок смягчало темноту, и лица Николая Николаевича и Зинаиды показались Володечке лицами очень добрыми, почти родными. Он не видал людей несколько суток и теперь наслаждался, вглядываясь в грубоватые черты будущих супругов.

— Вы знаете,— сказал он шепотом, сидя на полу,— я вас так люблю. Вы такие теплые, живые...— Он ухватил пальцами, велосипедными гнутыми спицами, фиолетово-красную руку Зинаиды и поцеловал.— Вы правы, меня в милицию надо.. Телефон-то починили?

— А тебе какое дело? — озлев от нежности, спросил Николай Николаевич.

— Да я не убегу, я вот что хочу сказать...— Он махнул рукой.— Все равно — и так и так на комсомольскую стройку ехать Я посидел в котловане в самой середине, у лужи, и все понял... Просто если телефон не работает, бежать в такой мрак и дождь к автомату... подождем до утра, попьем чайку!

— Работает, кажись,— резанул Николай, с трудом припоминая, как поили они вчера за компанию и мастера с телефонной станций.— Он чемодан даже свой забыл с инструментами, на случай, если что...— закончил он.— Зинуль, где чемодан-то?

— А можно я домой, мамочке позвоню? — спросил подросток.— Мамочка волнуется Я дома не ночевал... Она всегда боится, когда я дома не ночую. Ведь мне всего семнадцать лет. Если меня в отделение повезут, мне оттуда позвонить будет трудно. А так она будет знать, что я ночую в аквариуме, и будет спать спокойно и адвокатам утром звонить.

В деревне, где жил Николай Николаевич основную часть своей сознательной жизни, слово «адвокат» было ругательным, им обзывали мальчишки старого безногого опера, иногда вылезавшего не без страха на проселок подышать свежим воздухом и прятавшегося от населения в своей хате, как враг народа, чуть ли не под кроватью.

«А ведь богатые! Богатое семейство, таких малахольных только богатые родят,— соображала Зинаида, погасив две из четырех горелок.— Такие богатые, дай ушипну богатых. Спрячем на пару недель уродца, а из него вырастет автомобиль «Жигули» красного цвета». Она представила себе автомобиль «Жигули» красного цвета и велела:

— Звони!

— Мама, это я... — повертев стекловидный, видимый в свете глаз Зинаиды посверкивающий диск, забубнил Володечка. — Мама, я у хороших людей. Они меня сейчас в милицию повезут и посадят за убийство... Да, прямо сейчас... Нет, не так вот. Я его как следует в глаз ножом двинул. Зазой Акопяном звали... А Светочка умерла... похоронили. Мама, прощай...

Ошалело он посмотрел сперва на Николая Николаевича, потом на Зинаиду и сказал:

— Мама просит хороших людей к телефону позвать.

Говоря мало и много слушая нервный голос чужого горя, Зинаида хватала себя за уши и пришепetyвала сорванным голосом:

— Штука мало, дайте две... В неделю две штуки... Нет, две сто... Две штуки и сто рублей в неделю... Захватаем под софой, гости придут — не заметят. Нафталином посыплем, чтоб собака ни одна не нашла носом. Три штуки... Лады, лады, мы тоже понимаем, мы тоже родители некоторого количества детей...

— А что, у тебя деточки? — влез Николай, но на него только махнула разогретая будущим шуршанием купюр женская утончившаяся в возбуждении рука.

— Пошли, — приказала Зинаида, указывая уже зажженной от газовой горелки свечой в комнату. — Мы тебя ховать будем. Нафталина я завтра куплю, а теперь лезь в свою будку. — Она наклонилась, приподняв покрывало и край съехавшей простыни, показывая Володечке большое место под новой, свежескупленной софой. — Подушку и одеяло я тебе завтра в военторге куплю. Там хорошие, с пером, а сегодня ты уж так. Ничего, не бойся, мы с тобой, мы сверху всегда будем.

Володечка послушно вполз под софу и затаился. Николай Николаевич сходил на кухню, выключил остальные горелки, задул свечу и, рухнув задом на мягкие подушки, отчего на подростка сверху надавило до обморока обивкой, развернулся телом и, не в силах подавить желания (мысль о «Жигулях», так же как и Зинаиду, разогрела его тело до степени свежееотштампованного металла), полез обеими ногами на свою невесту, шепча и бормоча, а она в ответ уже не во сне свистела и хлюпала в такт бурной любви, от которой мальчишка ритмично вдавливалось в паркетный пол, квадратною ладонью по стене звонко и весело.

«Завтра нафталину еще насыплют, — подумал подросток. — Комсомольская стройка лучше, там колючая проволока и карабины охранников. — Он задышался от запаха чужого пота. — Там карабины, а здесь подушки из военторга, какая разница...»

Осторожно, не замеченный, механической змейкой выполз он из-под брачного ложа и пробрался ошупью к телефону. «Если нет света, то все равно работает Мосочистводканализация, «скорая помощь» и телефон».

— Милиция? Отделение, что ли? — спросил он неуверенно. — Приезжайте за мной, адрес: улица Стеклова, дом один. Это я, Володечка, говорю, я позавчера Зазу Акопяничка ножом в глаз из ревности зарезал.

## Часть 6

Пользуясь как ориентиром не видом дерева, а только зафиксированным в памяти его образом, Володечка не смог найти окно и тихо вошел в подъезд. Он поцеловал холодное стекло, теперь ему хотелось поцеловать замок двери, к которому столько тысяч раз прикасалась ее легкая рука. Еще продираясь сквозь мазут города, проваливаясь ногами в асфальт, он в одном месте видел сильный свет, это горела квартира архитектора. Где-то на глубине сознания подросток отметил, что тот чужой пожар чем-то поможет ему теперь.

В подъезде было очень-очень тихо, он встал, прислонившись спиной к стене, и по спине пробежала электрическая дрожь, опять захотелось оттолкнуться и бежать, но замок поцеловать хотелось сильнее. Он стоял и ни о чем не думал, пока не услышал на улице далеко плавающие в мазуте ночи милицейские сирены, они смолкли, и через минуту — натруженное детское дыхание после бега. Дверь так же бесшумно прикрылась, и они двое стояли в подъезде, невидимые друг другу, влушиваясь в дыхание друг друга. Чиркнула спичка, и Геночка, как маленький джентльмен, сначала осветил свое лицо, показывая, что он совсем маленький мальчик, а только потом предложил явиться из темноты и Володечке.

— Ты чего? — спросил Володечка. — Ты же маленький... Ты чего по ночам бродишь? Тебе нравится, что ли, по ночам одному бродить?

— Мне двери нравятся. Понимаешь, двери! — искренне признался мальчуган. — Люблю двери, обитые дерматином. Вот эта хорошая, — он указал догорающей спичкой на коричневый выпуклый объем двери в квартиру покойной проститутки. — Мне их жечь нравится. — Он слегка блеснул зубами, в последнем огоньке обжигая пальцы. — Знаешь, как они горят! Мне сейчас же хочется ее подпалить... А тебе чего хочется?

— А мне замок поцеловать... понимаешь, — объяснял подросток ребенку, — к этому замку прикасались ее руки много-много тысяч раз.

— Ладно. Мы другу другу не помеха — сперва ты целуешь, потом я поджигаю. Ты не против, если мы после лобзаний кремируем твой замок?

— Против!

— Почему же?

— Я хочу, чтобы все, чем она жила, в чем она жила, чем дышала и к чему прикасалась, сохранялось вечно!

— Ну, тогда мы с тобой не сговоримся... Погоди, лицо твое мне знакомо, мы с тобой в аквариуме вместе не плавали? Хотя нет, у меня память на двери и лица четкая, это мне в темноте кажется... Я тебя не знаю. Ну чего стоишь, целуй свой замок и уходи! Уходи, говорю, поцеловав, у тебя все равно ключей-то нет!

Володечка поцеловал холодную круглую скважину, ему показалось в ледяном металлическом прикосновении, что целует он женскую мертвую руку, тело его болезненно, как на электрическом стуле, дернулось, и подросток выскочил из подъезда, возбужденный, глотать мазут и грязь этой ночи. Геночка же, напротив, измерил расстояние от заклепки до заклепки своими пальчиками, похожими на маленький точный циркуль, он лизнул ритуально обратную сторону короба, пожелал главному архитектору города про себя спокойной ночи с фонариками. Впервые в жизни он не успел проколоть дерматин: Володечка, подкравшись сзади, выломал руку мальчику и сразу позвонил в звонок. Он позвонил десять раз.

— Вас поджечь хотели, — объяснял он перекошенному в свете свечи лицу Николая Николаевича, — вот этот сучонок квартиру вашу поджечь хотел... А я дочку вашу любил!

Николай Николаевич от неожиданности — он все никак не мог привыкнуть к столице — крикнул, на этот раз дважды, и втащил обоих за шиворот в дом. Закрыл замок и позвал лилейным голосом:

— Зинаида, нас поджечь пытались!

Выскочила голая, в растрепанном халате Зинаида.

— Пытались, да не подождли, — пел Николай Николаевич. — Вот этот сучонок пытался, а я его за руку поймал! Давай сдадим гада в милицию.

— Не надо в милицию, — попросил Геночка, — меня там и так любят как родного.

— Ну тогда скажи телефон мамы, скажи телефон папы. Мы с ними тогда поговорим... А ты чего его ловил, тебе что, жалко нас стало? — спросил он у Володечки.

— Я дочку вашу любил. Чисто, как образ, и я хочу, чтобы все то, к чему она прикасалась, жило вечно. Я пойду, наверно, я-то вам не нужен.

«Штуку получим с папы или с мамы, — подумала техник жилуправления. — Поджечь квартиру, когда люди сон про Большой театр смотрят, это же что... Штуку, штуку...»

— Штуку, — сказала она в телефон, — одну. Можно две, по вашей щедрости. Вы нам штуку, мы вам — сына, он у вас шустрый, академиком потом будет!

Тихонечко пробравшись в комнату, Володечка, принохиваясь к запахам Светланы, еще живущим здесь, набивал карманы косметикой и фотографиями. Он понимал, что увлеченные папа с невестой пока не обращают на него внимания, но действовал быстро.

— Академиком, говорю, будет. Доктором наук... Почему только пару кусков?.. По-моему, три куска. (Николай Николаевич покивал.) Три куска! Куска, три, утром... А если он нас тут ночью подпалит? Сейчас давай, папаша, пусть будет три куска, и сейчас!

Набив карманы запахом и теплом покойной Светланы, Володечка осторожно, чтобы не потревожить хозяев, застрывших в коридоре на финансовом вопросе о поджоге и заседающих на телефон, выскользнул в малютную жигу ночи в окошко. Он пошел не глядя, чувствуя, как бултыхаются в его карманах флаконы с духами, как обжигает красным пальцы невидимая, зажатая в кулаке жирная ее

помада. Мазут рассосался через полчаса после поджога квартиры главного архитектора города. Кабель восстановили, и вспыхнули повсюду, удесятерившись в накале, фонари. Замаячили зажженные окна, блестящие ленты тротуаров и стекляшки пустых телефонных будок.

— Зачем мне телефонная будка? — вслух спросил себя подросток — Маме позвонить, я столько об этом думал, что уже не буду. На себя донести... Это успеется, даром, что ли, им деньги платят, пусть они меня ловят.

Он нащупал в кармане маленькую, с пластмассовой русской красавицей на твердой обложке, благоухающую телефонную книжечку Светланы. Он вошел в прямоугольный стеклянный снаряд телефонной будки, зажег в ней свет. Лампочка с жужжанием мухи мучилась под низким потолком, но хорошо освещала и аккуратно записанные цифры, и аккуратно записанные номера и имена, и черный диск железного зверя для связи с городом внутри города.

— Нина,— сказал он в телефонную трубку уверенным голосом молодого убийцы,— Ниночка, ты обещала меня спрятать... Это Володя. Диктуй адрес, куда мне идти... Да, мне страшно, но я люблю все, что осталось от Светланы, а значит, люблю и тебя... Почему ты спрашиваешь? Нет, мне не стыдно, я могу ответить — да, я девственник... Я считаю, что чистая любовь... Да, по идеологическим соображениям... Я считаю, что чистая любовь, любовь к образу... Ага, я записываю, диктуй... Понял. На тачку денег нет, пешочком я до тебя часов через пять, думаю, дотопаю. Я знаю город... У меня к городу, в котором она жила, тоже есть какое-то чувство... Найду!

Михаил Михайлович спал, выключив телефон, и мертвый аппарат мстил ему во сне: Михаил Михайлович хватал его, не просыпаясь, рукою, и в сон попадал через поры пальцев ядовито-красный цвет пожара. Снился следовательно прокуратуры горящий родной город, и в центре города из огня медленно выделялся огромный памятник бронзового подростка с коробком спичек в руках, а у ног пьедестала было пустое пространство, очерченное мелом и повторяющее положение лежавшего здесь трупа. Потом сон переключил цвет, потому что рука сползла с красного телефона на голубую простыню, и Михаил Михайлович, следовательно прокуратуры, ощутил себя парящим в небесах, он смотрел вниз на маленький, уже потухающий город, покрывающийся очень быстро ржавой окалиной, как проклятый противень в газовой духовке, где погибла проститутка. «Явно же, сама отравилась, но не без принуждения, тут сложно...» В следующую минуту, повернувшись, не просыпаясь, на сердце, на левый бок, Михаил Михайлович увидел, что дельтаплан его красный и что не несется он в небе, а нарисован на коробке спичек. А он сам — спичка, лежащая в коробке, одна из семидесяти штук. Его, спичку, достала огромная рука, огромный багровый язык лизнул обратную сторону коробка (его, гада, ритуал), и Михаила Михайловича зажгли и воткнули головой вперед в коричневый дерматин двери. Тут он проснулся и закричал, разбудив криком генерального прокурора города, живущего прямо за стеной и тоже на ночь выключившего телефон.

Мазут ночи, медленный и густой, всасывался в трубы и канавы, в канализационные лоуки, он всасывался в форточки, добавляя темноты в спящих квартирах, растворялся в лужах и оседал во многих недостроенных зданиях, опадая черной краской на бетонные полы, пачкая стены и на целые месяцы скапливаясь по темным углам, он пачкал лица людей, рано выходявших на работу, и они не могли отмыть его до самого нового вечера. Фонари не гасли в отмеченный час, они, как струи из поливальных машин, поливали, чистили светом немного обгоревший город.

Возле своего дома — сгорела только одна собственная его квартира, все чертежи и планы строительства, все любимые задумки тоже сгорели вместе с нею — метался главный архитектор города, полненький бочоночек, с двумя фонариками в руках. Володечка улыбнулся и в душе простил юного пиромана, подумав, что и неуправляемый огонь может управлять миром в полезном направлении.

Ленивый пожарный с железным белым ранцем за спиной и мордой в противогазе понял Володечку всей душой, потому что только что вышел из огня, где уничтожал ковры и меха из своего мощного шланга — пена губила предметы не хуже огня. Он покивал, подергал длинным резиновым носом, закинутым за спину, и подросток добрался до места на два часа раньше намеченного им срока. Дом Нины был напротив пожарного депо, что, собственно, и привело девочку, каждый день ходившую мимо красных машин и странно одетых людей, к

профессии проститутки. Пожарная машина с сиреной остановилась у своих красноразветных ворот, подросток соскочил с подножки в лужу и опять помянул про себя добрым словом мальчугана-пиромана, второй раз за последние три часа оказавшего ему неоценимую услугу.

Нина стояла у окна и рвала болезненно край тюлевой занавески, все время глядя на улицу. Проститутка увидела, что Володечка соскочил с пожарной машины, и сердце ее забилося некоммерческим чувством. Она отпустила занавеску и кинулась к большому, уже освещенному зеркалу, попыталась нарисовать на своем помертвевшем от горя и валюты лице добрую улыбку.

Коротенький звоночек в дверь дернул руку проститутки, и улыбка вышла грустная и печальная, но исправить времени не нашлось — нужно было успеть еще что-то накинуть на голое тело и найти тапочки. Она застыла у зеркала — небольшого роста, жирненькая, с очень тоненькой талией. «Я не человек, я — робот, мягкий, резиновый, теплый и белый, стонущий в нужный момент... Глаза нарисовать — острые стрелочки ресниц, чтобы они вонзались в мужские глаза и прокалывали их жирные радужные оболочки». В белом халате тело расплывалось, и голое колено своей остротой (она так и не нашла тапочек, ноги заледенели) встретило вместо заточенных стрел одним копьём взгляд Володечки, оно прыгнуло под волной халата. Лампочка, горящая над развороченной бессонницей постелью, проходила светом сквозь три прямоугольника распахнутых дверей и заостряла колено еще больше.

— Здравствуй, Володечка, бедненький мой убийца,— сказала Нина и спрятала колено.— Ты заходи ко мне, не бойся... Ты же сказал, что любишь меня. Вот, по телефону. Ты ведь любишь? Меня никто, кроме тебя, не любит. Проходи, проходи, маленький. Ты не бойся, я тоже человек. И это правильно — меня любить можно. Хоть немножко.

Она закрыла дверь, оставляя на замке следы вспотевших от возбуждения пальцев, и посмотрела на подростка.

— Любишь... Ну хоть в двадцать раз меньше, чем Светку, любишь? Ну хоть в восемнадцать,— улыбнулась она грустно нарисованными губами.— Восемнадцать подружек нас осталось. Любишь?

— Я люблю тебя,— сказал Володечка и сразу от тепла дома, от света, пронзенный пикой на миг выскочившего колена, моментально успокоился, без сознания повалился на ковер у большого, в рост человека, зеркала.

Сознание, как рисунок на дисплее, не возвращалось, оно как бы программировалось в подростке вновь, а электронные схемы оживляли рисунок в движущиеся картины, он создавал их только частично, но они оживали. Наконец открыв глаза, Володечка понял, что плачет голосом пятилетнего ребенка, плачет громко, взахлеб. Он повернулся, сел в чужой, теплой, пахнущей женским телом постели и увидел себя в пустой, изящно обставленной комнате. Разглядывая стулья и шкафы, лампочку, горящую над постелью, свое осунувшееся лицо в зеркале, он наконец сообразил, что плачет не он, а он в силу чужого плача открывает рот,— плачет за стеной ребенок. Рисунок на экране дисплея достроился окончательно, и подросток негромко сказал:

— Нина, где вы?.. Я действительно люблю вас!

В белом халатике, с черным ребенком на руках, Нина выглядела беспомощной маленькой девочкой, нарисовавшей собственный портрет в третьем классе на уроке рисования. Маленькая девочка нарисовала себя с ребенком, случайно покрасила ребенка в черный цвет и теперь сравнивала рисунок с собственным отражением в маленьком карманном зеркальце, где из-за малого объема серебряной площади больше глаза не помещалось.

— Он твой? — улыбнувшись, спросил Володечка.— Здорово как! — Подогнув ноги, он сел в постели и прикрылся одеялом.— Это ты меня раздела?

Нина зачуханно кивнула.

— Я тебя люблю,— повторил он фразу, уже отмеченную в механической памяти, и на этот раз не потеряв сознания.— Как хочешь, но это правда!

Утром Нина отвела маленького Бурунди в ясли. Когда она вернулась, подросток спал, широко улыбаясь во сне.

«Ну, девки,— подумала Нина,— одна восемнадцатая — это мало, должны быть все восемнадцать частей.— Она грустно посмотрела на себя в зеркало.— Извини, но другого придумать ничего нельзя. А что,— она улыбнулась улыбкой, нормально нарисованной утром, и вонзила в зеркало стрелы ресниц,— секс это профессия, и в нем очень многое... Такое многое не во всем есть...»

Она поставила на стол перед собой телефонный аппарат, положила записную книжку и методично один за другим пробила восемнадцать номеров на белых кнопках американского изобретения с памятью.

— Почему ты не можешь? Клиент?.. Сколько?.. Ладно, понятно..

— Сколько у тебя? Тридцать восемь и шесть... Ну, горячее будешь. Да не кашляй ты в трубку, не злая я, не злая... Неужели ты не понимаешь?.. Ладно...

— Оленька, он у меня спит. Володечка спит. Я хочу собрать всех наших... Бурундика я в ясельки отнесла на неделю... А с твоим что? Господи! Ладно, потом позвоню...

— Чего так долго трубку-то не снимаешь? Не пойму — что?.. Что? Повтори еще раз... Ты что, пьяная, что ли?.. Я спрашиваю: ты пьяная? Пьяная, спрашиваю?.. Какие ландыши в сентябре... Ладно, потом позвоню...

Когда в трубке прозвучал малознакомый хриплый мужской голос, Нина сильно всем телом вздрогнула и сразу поняла, что по инерции набрала телефон покойницы Жанки.

— Николай Николаевич?.. Да, Ниночка... А почему я должна знать, где он прячется? Чего вы вообще от него хотите?.. Почему? Что?.. Не дал квартиру поджечь? Так вы отблагодарить... Нет, что, правда? Я посмотрю... Вы знаете, он, кажется, у меня где-то здесь в постели лежит. Могу привести... Вы обещаете? Сами приедете? Ладно, тогда мы — к вам. Когда?.. — Она посмотрела на золотого краба часов, ползущего по полировке стола в такт работающему мотору кофемолки за стеной. — Часика через четыре... Но вы клянетесь? Ладно, мы приедем... Но, Николай Николаевич, если вы милицию вызовете, я вас так же, как он Зазу Акопяничка, ножиком, не сомневайтесь! Мне терять нечего, у меня ребенок шестимесячный, негр, Бурунди!.. — «В отсутствие гербовой пишут на туалетной, — сказала она себе и положила трубку. — Поедем к Жанке, он ее сильнее всех нас любил!»

Николай Николаевич был уже веселый, напившийся одеколону до открытия магазина, когда Нина и Володечка осторожно вошли в комнату. Он раскладывал на столе поодному картам мятые, салные, очень мелкие фотографии, выгребая их попеременно из внутренних карманов пиджака, висевшего на спинке стула, и из кармана галифе, одну он нашел даже в сапоге. Сапоги он по деревенской привычке надевал с петухами и не снимал до самого сна, а иногда и вообще не снимал.

— А где эта?..

— И, кто? — икнул Николай Николаевич.

— Ну эта, товарищ из жилуправления.

— Моя будущая половина, а на теперешний момент, скажем, четверть моя — заявку мы уже отметили, — в конторе. А я сам — по вызовам, девушка, слесарь я и кочегар... Да вы садитесь, тошно мне тут одному, а эти, — он указал в окно на стучащих резво доминошников, — за своего не берут, говорят, по столу шибко сильно хлопаю, стол портится, кости трескаются... — Он потянулся. — А кости, ой, косточки, они болят... А вы — друзья, мы с вами дочурку мою Светку совместными усилиями захоронили в белом гробу. Садитесь, ребята. Водки нету пока — закрыто. Одеколону хотите? Хороший одеколон, французский. Говорят, три месяца приятный запах от человека держится!

На столе рядом одна с другою лежали три почти одинаковых фотографии, только прически у девушек были разные и цвет глаз. Глаза Светланы — две полупустые кофейные чашечки — Володечка узнал сразу и отделил крайнюю справа от остальных двух женщин.

— А это... это... кто это?

— Не кто, а что, — пояснил Николай Николаевич. — Это мое родовое древо, я его всю жизнь с собой таскаю, и когда выпить не с кем, так сказать, меж ветвей его пью один! — Он вглядывался во множество лиц своих сородичей. — Один, а на дереве, во как!

— Я спрашиваю — наливайте одеколон, люблю хороший от себя запах, — я спрашиваю: эти две девушки — кто?

— Ента — Светка-покойница, — толстый ноготь ударил покойницу в лоб, — ента — Жанка, супружница моя, одна из первых. — Он стукнул ногтем в лоб и свою супружницу. — Там не на четверть было, там целиком, только вместо квартиры с батареями — изба-четырёхстенка без одной стены. А это — Сонька... Я ведь папа не одного ребенка, я папа двух, по крайней мере, законных — двух

имею... Остальные так, примеси,— он махнул руками,— они двойняшки-близняшки, только Сонька в деревне корову доит, а Светка-покойница тут вашего брата иностранного туриста и южного человека доит... Вот и подошла...

Он налил одеколону в хрустальные рюмки, и они с Володечкой не чокаясь выпили.

В желудке у Володечки, проглотившего стопку одеколону, неприятно зашевелилась будто целая парфюмерно-косметическая фабрика. Сильная и грубая волна, прокатившись по пищеводу как по фабричной трубе, ударила изнутри подростка в затылок, отчего он перестал соображать и, растопырив пальцы, протянул руку к одинаковым лицам.

— Отдай ее мне! — попросил он хрипло, выбросив с голосом волну «хорошего запаха». — Я ее люблю!

Нина переводила довольные глаза с Николая Николаевича на Володечку и обратно. Она отобрала у подростка стопку и без всякой компании тоже хлопнула одеколону. Лицо ее сжалось в мягкую бурую гармошку.

— Отдай ему Светку,— попросила она певуче, выдыхая, и лицо расправилось — Пусть наша Света под сердцем у мальчика живет.

Володечка схватил фотографию, одну из трех, и тут же расцеловал сухие черные маленькие губы.

И тут вдруг, охмелевший не столько от одеколону, как от всей своей новой жизни, Николай Николаевич зарычал. Перед глазами его разлилась болезненно-сухая зелень

— Не дам древо портить! — Он вскочил, опрокидывая все вокруг, и бросился на подростка. Имея вес втрое больше Володечкиного, он легко подмял его под себя. Чувствуя грудью болезненный рычаг позвоночника, нажимающий в сердце, скрипнул зубами и заломил ему руку. — Убивец! — хрипел он. — Я тебя властям сдам. Ишь, выдумал: с моего древа плоды рвать!

### Часть 7

Медленно, по шагу, Володечка отступал назад, пока не уперся спиной в бетонную стену. Руку его все еще жег поцелуй южанина, подросток прилепился спиной к стене. Будто промазали куртку его крахмальным клейстером — он моментально застыл и намертво приварился к штукатурке.

Истошно визжа и не замечая за собою этого, Ольга тянула себя за волосы вверх, пытаясь оторвать ноги от проклятой земли. Ее визг прорезал ножом мозг Нины, она почувствовала непонятного свойства ожог на своей руке и приняла сразу в несколько коротких мгновений десятков решений, точных и выверенных ходов

Пошли со мной, дурак, малахольная тряпка,— сказала она Володечке, взяла его за руку и потащила сквозь сломанную рябину, похожую на схему метрополитена, за собой.

Подросток легко, как объявление о продаже радиолы, оторвался от стены и послушно проследовал за проституткой.

«Чтоб их всех с их альтернативами,— подумал Михаил Михайлович, он выронил мелок, музыканты ни к селу ни к городу заиграли похоронный марш, и довольно слаженно. Но выбор был прост: труп в одном лице, преступники — в двух. Тут следователя прокуратуры заклинило.— Трупов-то тоже налицо — два! Правда, один из них уже вполне официальный труп, это тот, что женский...»

Когда, выдвинув из-под мышки пистолет Макарова, которым в прошлый раз колот в отделении орехи и приколачивал у себя дома над софой литографию с картины «Явление Христа народу», он кинулся догонять, то догонять было нужно уже салатный зад такси

Нина рылась обеими руками в бюстгальтере, добывая купюры с портретами и уговаривая ехать побыстрее молодого небритого таксиста.

Михаил Михайлович наступил на развязавшийся шнурок, упал, выронил пистолет, подняв окровавленное лицо, он попытался запомнить номер, но тот был залпан его собственной кровью, идущей из рассеченного лба. Музыканты нажали пуше, и гроб уже грузили в катафалк. Вернувшись к первой задаче, Михаил Михайлович заметил, что тело Зазы Акоюна уже перевернули на спину,

сложили ему на груди руки и собираются грузить его в похоронную машину вместе с невестой.

— Зачем? — горестным голосом спросил он, утирая кровь.

— Пусть проводит со всеми, — объяснил папа Николай Николаевич.

— А оформить! — взвыл следователь прокуратуры. — Оформить надо!

Похоронный автобус с рекламой пепси-колы на боку и нулевым номером заклинил проезд, и милицейские машины смогли пробиться к месту преступления только тогда, когда ни места, ни трупа на месте уже не было, а стоял один только Михаил Михайлович и долбил по деревянному столу в такт отъезжающему барабану рукояткой пистолета Макарова.

Такси сменили два раза, отчего грудь у Нины немного уменьшилась, но сердце стало биться спокойнее. Из третьего такси она вышла, уложив всему послушному Володечку плашмя на мягкое сиденье, и из автомата стала кому-то дозваниваться, не дозвонилась, вернулась в машину разоденная и продиктовала таксисту новый адрес.

— Ко мне пока пофдем. Наверное, они сразу по адресу не чухнутся. Милиция и адресный стол, они, как кошка с собакой, грызутся... Как прокуратура с КГБ...

Мелькнули красноезвездные ворота пожарного депо, такси с треском въехало во двор. Нина расплатилась, на этот раз уже из чулка, и они поднялись к ней в квартиру. Володечка все так же ничего не говорил, ничего не думал и подчинялся абсолютно.

Не стесняясь подростка, Нина бегала по квартире, переодевалась, звонила в ясли, чувствуя, как не может найти выхода и растет в ней истерика, но Бурундик был жив-здоров, ел манную кашу, и это немного успокоило проститутку.

— Боже, да ты весь в крови, оказывается, — прошептала она, наконец разглядев подростка, неподвижно сидевшего на стуле. — Мыться! Мыться, и что-нибудь придумаем...

Она сама раздела Володечку, поставила его в пенную ванну, вымыла и, не удержавшись, тут же лишила его среди зеркал и кафеля девственности. Лишившись девственности, Володечка немного ожил и завертел головой.

— А что, я правда его убил, или мне это приснилось? — спросил он, разглядывая голые груди проститутки в распахнутом халате.

— Приснилось! — Нина потащила его за руку, опять послушного, в комнату. — Придумаем что-нибудь.

Она бешено листала телефонную книжку, наконец нашла.

— Сюсюльчик, — сказала она, одной рукой приобнимая голову плохо вытертого подростка, а другой зажимая телефонную трубку, — Сюсюльчик, это Нина. Сюсюльчик, у меня экстренное деньрождение... Ну да, естественно, нужны ключи от твоей машины. (Володечка дрожал крупной дрожью, он рассматривал свое синее, тощее тело в зеркале и лязгал зубами.) И от дачи ключики... Сюсюльчик, ну ты знаешь, я никогда не разбивала тебе ни одной фары!

— А кто это — Сюсюльчик? — полюбопытствовал Володечка, когда она наконец повесила трубку.

— А так, один мэн, генеральный прокурор...

— И кто?

— Не бойся, он старенький, он на ленсии, мы сейчас на его машине на его дачу поедем, там тебя ни одна собака не найдет, там паровое отопление, телефон, — Нина бродила по квартире, разбрасывая тряпки, — телевизор, видеоманитофон...

— А кто такой тогда Бурунди?

— А это мой сынишка, он негр! Нормально, да? Я вот не пойму две вещи Во-первых, как тебя замаскировать. Они, наверное, розыск-то объявили уже. А во-вторых, что-то я никаких денег больше не найду. — Она скривила рожицу. — Натурой расплачиваться — хуже нет... Всегда деньгами лучше. Я тебя отвезу, а сама на поминки. Пусть допросят, скажу — обезумела от любви к Зазе, хотела тебя, убийцу, догнать, но не догнала... Скажу, убежал ты от меня... Вот что мы сделаем... Тебе какой номер? — Она достала из шкафа розовый бюстгальтер и покрутила им в воздухе, разглядывая голого подростка.

— Вероятно, нулевой, — улыбнулся Володечка. — А давай мы его

— Давай.— Нина нашла чулки, туфли, юбку, она уложила сама подростку волосы и разрисовала французской косметикой лицо.— Вот так. Ну ты красавица, мой милый, а еще убийца...

— Никогда не чувствовал себя женщиной,— признался подросток, вышагивая за Ниной по тротуару.— И теперь что-то не то...

— Мешает? — посочувствовала Нина.

— Туфли жмут.

— Ерунда, туфли всегда жмут.

Она легко нашла на стоянке черную «Волгу» бывшего прокурора города.

— Жди здесь, я поднимусь к Сюсюльчику за ключами. Если будут приставать — посылай грубо и уверенно, можно матом.

— А что, будут приставать? — удивился Володечка.

— А ты думаешь! — Нина еще раз окинула взглядом свое произведение.— Вон я какую красавицу из тебя сделала. Таких как раз особенно негры любят из Замбези...

Черная «Волга» уже летела стрелой по черному загородному шоссе, унося убийцу в надежное место, а Заза Акопян лежал, подскакивая, мертвый на резиновом полу похоронного автобуса, шофер катафалка категорически отказался грузить к себе в машину тело без гроба.

— Зря мы его взяли,— сказал Николай Николаевич барабанщику, стоя рядом с ним на задней площадке и разглядывая покойного.

— Зря,— подтвердил барабанщик и выпил одним глотком половину четвертинки, согретой на груди.

Николай Николаевич, вдруг опять ощутив себя отцом, отобрал у барабанщика четвертинку, допил и даже не поблагодарил.

— Ну ты, папаня,— озлился барабанщик, но вспомнил о грядущем даровом угощении и больше ничего не добавил.

Проститутки задели жалостную песню, стрелка спидометра катафалка скользнула вправо, за ним увеличил скорость и автобус. Маленький Гена, забравшись с ногами на переднее сиденье, с удовольствием подставлял лицо свежей струе воздуха, идущей из окна, он жмурился и изучал большие двери правительственных учреждений.

Нина сама вошла во двор — огромный двухэтажный особняк был обнесен красной стеной,— открыла ворота, вернулась за руль, вогнала машину внутрь двора, но ворота закрывать не стала.

— Мне на поминки бегом надо! Но я вечером вернусь, и, наверное, не одна.— Она чмокнула Володечку в напудренную щеку.— Держи,— она отдала ему ключи от дома,— закроешь ворота и ничего не бойся.

Подросток неподвижно стоял посреди двора, густо заросшего неухоженными опадающими деревьями, посмотрел, как черная машина подала задом и исчезла, лихо развернувшись, пыля по поселку. Он закрыл ворота и вошел в дом бывшего генерального прокурора города. Комнат здесь меблированных оказалось семнадцать и пустых еще четыре, везде висели ковры и зеркала, везде окна можно было плотно закрыть ставнями из металла, что он и сделал, после чего во всем доме включил электричество. Володечке казалось, что по огромной генеральской усадьбе ходит, отражаясь в полировках и зеркалах, мягко ступает туфельками по коврам какая-то незнакомая красивая женщина. Только спустя несколько часов он понял, что красивая женщина — это и есть он сам, после чего поспешно и стыдливо в большой ванной комнате догола разделся и пошел голый, опять отражаясь в зеркалах, но не как красивая женщина, а как синий, тощий подросток, сегодня совершивший убийство и потерявший девственность, искать одеться во что-нибудь мужское. На удивление забытый хрусталем, золотом, сухими икебанами, электроникой, свежезастланными кроватями, чучелами крокодилов и обезьян дом не имел в себе никакого элементарного шмотья. За несколько часов Володечке удалось найти только шлепанцы черного бархатного тона, пижамные полосатые штаны и объемистый пиджак, от которого никак не хотели отстегиваться медали и орденские планки.

«Я — убийца,— сказал он своему отражению в зеркале и потрогал пальцем самый большой и блестящий орден на груди.— Но красиво жить не запретишь!»

— Он должен стоять! — отчего-то решил за всех Николай Николаевич, и покойного Зазу Акопяна прислонили, придерживая с двух сторон, к какому-то безмянному гранитному надгробию. Он стоял так, с не закрытыми никем глазами, с уже закостеневшими на груди руками, и смотрел на то, как мелькают лопаты и как медленно и чинно опускается в узкое черное пространство своего последнего жилища белый гроб, увитый красными искусственными цветами. Единственного живого цветка видно не было — он раньше других цветов исчез под надвинутой крышкой.

— А вас за это, папа, посадят, — пискнул сбоку от Николая Николаевича детский неуверенный голосок. — Посадят за издевательство над прахом!

— Ну ты что, — Николай Николаевич погладил мальчугана по голове, — какое тут издевательство, если жениха привезли проводить его невесту в последний путь. У нас в деревне всегда так делают. — И вдруг испуганно спросил: — А что, здесь, в городе, за это посадить могут?

— Могут! — подтвердил Геночка, у него возникло острое желание вонзить зажженную спичку в коричневые, натянутые на квадратном заду Николая Николаевича галифе, но он подавил желание, не изменил своей исконной страсти.

Володечка обнаружил телефонный аппарат и позвякивал над ним медалями, осторожно набирая номер квартиры покойной Светланы. Попросил женским голосом — моментами на него все еще накатывал чудесный образ в зеркалах — позвать Нину.

— Мы приедем, ты не бойся там, красивая моя, — сказала Нина, было слышно, как за ее спиной гремит похоронный барабан. — Мы, наверное, к тебе все приедем. Я с водителем договорилась уже. Девки не против, я им шепнула...

Подросток опять обследовал дом. Видеоманитофон — огромный катушечный монстр с запасом фильмов тридцатых годов и милицейских детективов — раздражал его своим черно-белым изображением и режущим звуком. Двадцативаттная радиолка была не лучше, она только хорошо блестяла, отражая глаза подростка и его пиджак с медалями. По винтовой лестнице забравшись на чердак, он долго чихал в пыли и паутине, пока не нашел выключатель.

Вспыхнула под косым потолком слабенькая лампочка, выдергивая как бы по одному, как бы постепенно, но и все разом за тонкие желтые ниточки кучи велосипедов, сваленные грудой, старые сундуки, тряпки, статуэтки — мраморные и гипсовые боги, все как один безголовые, в углу грудой черепов лежали отдельно их головы, они напомнили подростку смутно какую-то картину и строчку «И ядрам пролетать мешала...». В хламе Володечке удалось, растворяя один за другим сундуки, обнаружить несколько хороших еще, его размера рубашек, офицерскую крепкую форму с уже привинченными лейтенантскими погонами, но еще без орденов, мягкие кожаные сапоги, ремень со звездой.

Внизу в ванной он переделся, причесался, смазал голову брилантином, сделал железной расческой пробор, застегнул ремень. Осмотрелся. Только через час он понял, чего именно не хватает bravому офицеру, и это что-то — тяжелая кобура с пистолетом Макарова внутри — нашлось в ящике огромного дубового стола. Ящик офицер сломал интуитивно, с первого раза — кухонным тесаком, и не ошибся. «Застрелиться, что ли, — подумал весело, приставляя заряженное оружие к виску и разглядывая себя в этот момент в одном из зеркал. — Застрелюсь, пожалуй. Девственность потерял... Убийство совершил... Теперь с полным удовольствием...»

Громко гудел, желая въехать во двор, какой-то упорный клаксон. «А ведь это не „Волга“», — подумал с сомнением подросток, но офицер уже вложил оружие в кобуру и, выйдя из дома, отворил большие ворота.

Во двор вкатил уже знакомый автобус с нулевым номером над стеклянным лбом и рекламой пепси-колы на свежевыкрашенном боку. За автобусом въехала черная «Волга».

— Да погоди ты, погоди, девушка, — отбиваясь от выскочившей из «Волги» и кинувшейся ему на шею Нины, веселым голосом сказал офицер. — Дай я хоть ворота-то запру... А как там Заза? — спросил он, галантно раскрывая парадные двери.

— Да хотели его взять. Он ведь на кладбище с нами ездил, все посмотрел, на поминках в углу постоял, — объясняла возбужденно Ольга. — Но приехали какие-то люди и увезли нашего Зазу в морг судебную экспертизу делать!

Совершенно одинаковые — одинаково одетые, с кукольными смытыми лицами,— проститутки посыпались из автобуса. Водитель обернулся, Володечка это хорошо видел за ветровым стеклом, широко потянулся, зевнул и бесчувственный завалился спать на сиденье.

— Что с ним?

— А так, я ему в водку снотворного подсыпала,— шепнула Ольга,— сегодня ночью у нас будет только один мужчина... И у этого мужчины,— она подмигнула подтекшим глазом,— будет только одна его самая любимая женщина.

В гостиной зажгли свечи, Наташа и Нина развернули огромную фотографию и прикрепили ее кнопками к стене. Со стены в наступившем мраке на молодого лейтенанта смотрело огромное лицо Светланы, две полупустые кофейные чашечки были полны такой грусти, что бодрая рука незаметно опять потянулась к кобуре.

— Ты погоди с этим, успеешь, если захочешь,— остановила руку Ольга,— погоди...

— Она ведь не умерла,— шепнула Нина,— не спеши, Володечка, героический мальчик наш!

Шумел дождь, вспыхивала, лезла сквозь металлические щели ставень белыми полосами гроза, скрипучий гром бушевал над домом как огромный безумный станок.

— Почему не умерла? — спросил офицер.

Но рядом с ним не было уже ни Нины, ни Ольги, рыжая Наташа с вихтением втащила в гостиную и задвинула в угол ящик с шампанским, и она уже вышла. «Где же они все? — подумал Володечка. — Куда они все подевались?»

В шуме дождя слышался еще какой-то приглушенный, неясный шум, по закрытой в коридор двери было видно, что в других комнатах горит свет и там что-то происходит.

Поднявшись, по-военному одернув гимнастерку, подросток шагнул к другой, противоположной двери, под дверью был мрак, за нею находилась незнакомая пустая комната. Ему сделалось жутковато, но молодой офицер преодолел страх и, повернув металлическую ручку, вошел в комнату.

Это была спальня — почему-то, обследуя дом, он ни разу не попал сюда,— большое, почти кубическое помещение с квадратной, застеленной белым постелью посередине. Чиркнула сухо спичка, и в изголовье постели загорелась свеча. На постели сидела с красным живым цветком в руках Светлана. Она была в том же белом своем наряде.

— Ну что же ты испугался, Володечка, иди ко мне.. — сказала она, и он догадался, что здесь не Светлана, а точно под нее загримированная, точно под нее одетая одна из восемнадцати проституток.— Иди ко мне, мальчик мой...

Сходство было столь значительно, что подросток в испуге, уже все поняв, качнулся назад.

Обозленный, промокший Михаил Михайлович, когда машина увезла наконец труп Акопяна в морг судебной криминалистики, в нервическом экстазе арестовал нескольких музыкантов из похоронной команды и двоих доминошников, вызвавших в нем подозрение тем обстоятельством, что они сильно били по столу, на котором за час до того возвышался гроб, и вопили: «Рыба!» Всю компанию на микроавтобусе Михаил Михайлович завез в отделение и запустил плавать в аквариуме, где музыканты, пьяно икая, тотчас заснули, а доминошники стали играть в очко на пальцах, за что были избиты дежурной сменой молодых милиционеров. Допрашивал подозреваемых Михаил Михайлович по одному, с пристрастием, но пыток не применял.

Невеста разделась сама, он почти не касался ее, когда Володечка оказался в широкой холодной постели, она задула свечу... Брякнул об пол пистолет Макарова в кобуре... Тяжело дыша, он сел на одеяло и хотел подобрать пистолет и все-таки застрелиться, хотя подходящего зеркала и освещения в комнате не было, да и брильянтин, подогретый потом, стек по лицу. Дверь отворилась и вошла вторая, еще одна точно такая же Светлана, он обернулся — первая лежала в постели, лицо ее блестело под свечой.

— Я люблю тебя,— сказала Светлана голосом Нины, он сразу узнал этот голос.— Я люблю тебя...— И подвенечное смертное платье упало на пол...

«Неужели мы здесь, на этом квадратном диване, все девятнадцать человек поместимся? — задыхаясь от новой любви и совершенно успокаиваясь, думал подросток. — Значит, я любил только нарисованное, придуманное косметичкой лицо и кусочек голоса...»

Он лежал неподвижно, его целовали, руки его ныли сладко от этих поцелуев, по стенам квадратной спальни уже час спустя металась тень обнаженных женщин, и это были разные женщины с одним и тем же лицом. Брызгало, лилось шампанское, а он только шептал в те краткие секунды, когда губы оказывались свободны, между их поцелуями: «Я не хочу, я не хочу умирать, я не хочу больше ничего, я люблю тебя, Жанна!»

Михаил Михайлович стоял мокрый, как половая тряпка, под дождем во дворе отделения милиции и приносил свои извинения за незаконное задержание последнему отпускаемому им барабанщику. Когда барабанщик исчез в ночи, Михаилу Михайловичу захотелось застрелиться или, на худой конец, — в точность своего пистолета и его надежность он больше не верил, — на худой конец, отравиться газом, засунув голову в духовой шкаф.

### Часть 8

На столе рядышком одна с другой лежат три почти одинаковых фотографии, только прически изображенных на них женщин были разные, разным казался и цвет их глаз.

— А это... это... кто это? — спросил Володечка.

— Не кто, а что, — пояснил Николай Николаевич. — Это мое родовое древо. Я его всю жизнь на себе ношу, и когда выпить не с кем, так сказать, меж ветвей его и пью один. Так ты одеколону хочешь или нет? Ты, спрашиваю, хочешь целый месяц хорошо пахнуть изо рта? Это — Светка, покойница. — Толстый ноготь ударил покойницу в лоб. — Это — Жанка, супружница моя в молодые годы. — Ноготь ударил вторично. — А это вот — Сонька!

— Какая Сонька? — вспотев от ужаса, спросил Володечка.

— Какая-какая Сонька... Сеструха Светкина, они девки-двойняшки получились у меня.

— А где же она теперь?

— Ну где — где положено, в деревне корову доит. Где же ей еще корову-то доить!

— А деревня как называется? Где эта деревня такая чертова?

Подросток ухватил Николая Николаевича за рубашку и тряс, не мог удержаться. Нина стояла молча рядом и сочувствовала сходству любви.

— Где, где... Ну где... Рядом тут... В Новгородской области. Клешни называется. Одеколону-то выпей, не обижай. Я же вижу, — он подмигнул, — тебе и Сонька во вкус пошла! Хотя, я так полагаю, что она в свои двадцать два годика еще девушкой ходит!

— Погоди! — жестко сказала Нина. — Я все сейчас организую!

Она быстро вышла из комнаты, где подросток пытался отобрать у пьяного основателя семейства все три фотографии по одной, а тот защищал свое по крохам собранное генеалогическое древо. Но потом уступил фотографию Соньки в обмен на обещание Володечки честно жениться и выпил с ним за это одеколону.

— Пошли, все в порядке. Пошли, Володечка, — голос у Нины был деловой и жесткий, — то есть я хотела сказать — поехали. Я выпросила у этой сволочи на сутки машину. Хорошая машина, новая. Черная «Волга».

Спустя час черная «Волга» бывшего прокурора города неслась стрелой по черному загородному шоссе в сторону старинного русского города Новгорода.

Нина вела машину уверенно, глаза ее были чуть влажны, говорила прости-тутка мало, но на все дурацкие вопросы восторженного подростка все-таки пыталась отвечать.

— А они совсем похожи. Совсем похожи... На фотографии — одно лицо, ты представляешь, одно лицо!

— Лицо одно. Но тело может быть другое. — Нина закурила. — И я вообще не понимаю, где она в деревне французскую косметику достала, эта доярка!

— Косметику, косметику... Она без косметики такая живая, как я люблю, как она мне снилась, — не унимался Володечка, а машина неслась по шоссе,

ртутной каплей катилась по скользкой и узкой черной ложбине вниз. — Представляешь — без! Без косметики... Без Франции, без Англии, без Голландии, без Финляндии...

— Она, наверное, молоком лицо мажет, травки варит. — Глаза Нины ртутно блестя, отражая ложбину, сужающуюся на скорости в ветровом стекле. — Яички свежие, продукты...

Нога ее, как протез, сильно вдавила педаль газа, и тут же ухо поймало за гулом движка милицейскую чистую трель. «Вот и все, — подумала Нина. — Хоть бы права были, а то ведь и прав нет, не то что доверенности! Сюсюльчик, конечно, выручит. Выручит, но тачку больше не даст, это в лучшем случае!» Деревянная нога вдавилась в педаль газа, Нина откинулась на сиденье и вытерла пот. «А, плевать...» В зеркальце заднего обзора она увидела подкативший мотоцикл и человека в милицейской форме, медленно слезающего со своего трехколесного коня.

Володечка, полный чувств, потеряв в памяти своей совершённое убийство и думая только о будущей жене, выскочил кубарем из машины и кинулся на шею милиционеру, целуя его в холодные, от ветра грубые щеки.

— Как вы вовремя, как вы удачно! — Милиционер пытался возражать, но подросток был чист и настырен в чистоте. — Представляете, никакой Франции! Она молоком мажется от коровы, доит и мажется! Если бы не вы, мы бы никогда не нашли... Мы же не знаем дороги... Скажите, где здесь деревня в Новгородской области?..

— Да много деревень... — пытался вылезти из его объятий, шипел милиционер-гаишник. — Много тут деревень — какая нужна-то? — Лицо его покрылось от поцелуев стыдливым румянцем.

— Нам нужна деревушечка Клешни!

— А какие Клешни — Большие, Малые или Рачьи? — спросил, заинтересовавшись, милиционер.

— Да не рачьи, а просто — Клешни!

— Ах, Клешни! — Милиционер улыбнулся искренней и открытой улыбкой простого деревенского парня. — Так то ж моя родина. А что там забыли-то, роднули мои?

— Невесту! — признался, пряча лицо в ладони, Володечка и показал фотографию, вытащив ее из-под сердца, отчего то заныло, лишенное близости омытого молока образа.

— Так то ж Сонька! — Милиционер задрал рукой фуражку так, что козырек указал острием в самое небо, неприлично обнажив его слишком небольшой белый лобик. — Сонька... Ты смелый парень — на Соньке жениться: палец в рот не клади... — Он козырнул, не желая больше ни сантиментов, ни штрафов, ни протоколов. — В общем, километров триста прямо по бетонке, потом — там дороги нет — еще километров двадцать наискось, полями и леском, в общем, найдешь. Электрички там больше не останавливаются. Нет, — он уже разворачивал трехколесного коня, задним номером ставя его к заднему номеру черной «Волги», — машина там не пройдет. Там и мотоциклет... Да и велосипед там не пролезет... В общем... — голос его звучал уже издали, — в общем, триста прямо и двадцать наискось... Счастья в семейной жизни!..

Черная «Волга», рокоча новеньким двигателем, легко пронеслась триста километров, и, согнав машину на обочину, Нина в последний раз посмотрела в глаза сумасшедшему подростку.

— Все, — сказала она, — прямо кончилось. Теперь «напрямки». Ты уж тут сам... Если я к тебе не вернусь, Сюсюльчик меня больше любить не будет..

Володечка выскочил из машины, в густых зарослях пытаясь сориентироваться, где же тут «прямки» или хоть какая-то тропинка.

— В общем, прощай, мальчик...

Она, вытянувшись через сиденье, захлопнула изнутри дверцу, развернула «Волгу» и очень медленно уехала вдаль под нависающим грозовым небом. Точка машины слилась с полоской дороги, и подросток остался среди кустов и густо стоящих березок совершенно один.

Продираясь сквозь осенние дебри по чутью своего сердца, Володечка видел, закрывая глаза, перед собою генеалогическое древо Николая Николаевича, разложенное на столе, — сердце было как компас, древо было как карта. Володечка замерзал, но чувствовал все же, что идет безошибочно не в сторону Рачьих Клешней, а в сторону той самой фермы, где чистая доярка Соня доит

корову,— в направлении деревни Клешни. «Я хороший мальчик,— подумал он, ломая очередную осинку,— я хороший мальчик, я паразита Зазу убил ножом, я мир избавил, разлил, продырявив, этот золоченый бурдюк!»

Скоро так холодно стало подростку, что он попытался сложить костер, но без топора, без ножа и еще чего-то, название чего он забыл, костер плохо получался, и подросток для тепла поджег лес. Лес загорелся медленно, с вонью, но вспыхнувшие постепенно кусты дали нужное тепло. «Это не преступление против природы,— отметил безумный подросток,— я же не папироску бросил, не ржавую консервную банку... К тому же дождь будет, гроза, и все само погаснет. Просто я такое же явление природы, как гроза, ведь я замерзаю, ободрался и измучился, значит, я — явление природы!»

Теперь стали не нужны ни компас, ни карта: пожар, разрастаясь за спиной со скоростью хорошего велосипедиста, гнал подростка в абсолютно правильном направлении, потом грянула гроза и сбила пожар, а Володечка вышел наконец из леса на большое, темнеющее в вечере поле. По краям поля разноцветными щетками стоял осенний лес, впереди поле не имело края, и он, никогда до сих пор не посещавший деревню, никак не мог сообразить: косили здесь или молотили. Где-то по дороге, убегая от огня, Володечка потерял ботинок, и поле колело его левую нежную ногу, вызывая судорогу в правом глазу. Фонарей вокруг не было совершенно, скоро стало совсем темно, правда, вспыхнула в небе круглая желтая луна — она давала иллюзию света. Подросток, измученный до икоты своей страстью и затянувшимся переходом, вдруг обнаружил прямо перед собой нечто прямоугольное и огромное. Восстановив в памяти какую-то телепередачу и вспомнив кучки среди городских газонов, Володечка понял, что перед ним настоящий стог и что в него следует зарыться поглубже и сладко до утра заснуть.

Врыться в стог оказалось делом непростым, от соломы воняло, она была мокрой и скользкой. Солома больно колосась, но в конце концов подросток пробился внутрь, вокруг себя в сто движений создал необходимое пространство, прилег, подгрел под голову немного соломки как подушку, посыпал сверху, чтобы было похоже на одеяльце, и заснул.

Маленький пироман сидел напротив следователя Михаила Михайловича в отделении милиции, а была, глухая и промозглая, за решетками ночь. В лицо Геночке Михаил Михайлович направил яркую лампу и задавал свои вопросы и вопросы.

— Ну так сколько и чего ты поджег, малыш? — ласково спрашивал Михаил Михайлович.

— Ничего я не поджигал... А сколько...

— Ну так ладно! — Михаил Михайлович изменил голос на грозный. — Сколько ты поджег?

— Один раз меня отец брал на картошку. И я подпалил там один стожок сена. Стожок посреди поля стоял уютный...

— Ты морочишь мне голову. Не надо, говори лучше, сколько и где. Про стожок за давностью уже неинтересно. — Голос опять стал ласковым.

— Ну почему неинтересно... Отец, он академик, три ведра картошки в тот день нарыл, а потом за мои грехи по договору с председателем пригнал туда, в колхоз, всю свою кафедру. Сколько они нарыли, вы не представляете! А как сухое сено горит, вы не представляете! Лучше только вата под дерматином. Может, мы с вами опять следственный эксперимент поставим?

— Нет! — испуганно крикнул Михаил Михайлович. — Увести!

Николай Николаевич спал на софе в городе, и ему снилось в эту ночь, как горит колхозный обин. Володечке же, заснувшему в стогу, снилось, что он у себя дома, в мягкой постельке никак не может заснуть и, мучаясь бессонницей, пытается нарисовать пальцем на стене в полумраке своей детской комнаты профиль Светланы. Пробуждение в стогу было ужасно. Володечка увидел, что лежит на соломе, накрыт соломой и вокруг тоже солома, он вспомнил, что убил человека и собирается жениться на доярке, и подумал лежа, разлохмаченный, еще в тепле, что после свадьбы нужно будет обязательно сесть в тюрьму и поехать на комсомольскую стройку, а перед тем насушить мешок сухарей. Представил себе большую русскую печь, жену свою Соньку — верхнюю веточку с генеало-

гического древа папани — и как они в печи этой мешками сушат для Бутырки черные румяные сухари...

Володечка вылез из стога под свист ветра и вой волка в ближнем лесу, сделал утреннюю зарядку и пошел по полю в сторону деревни, она была видна уже издалека — размазанное черное пятно среди красно-желтых щетинистых лесов. Пели птицы, и потрескивания этих не улетевших еще на юг голосов напоминали подростку теплую очередь в часовой мастерской, где вразной попытках перекричать друг друга сотни сломанных будильников. Прямо, выходя на деревню, он повстречал овраг с черной масляной водой, в овраге застрял трактор. Подросток повертел головой — тракториста нигде не было, и вообще рядом никого не было, овраг был объемистый, и Володечка перешел его вброд, он чуть не утонул, нахлебался воды с соляжкой и тиной, но все же, гордо выпятив грудь, вышел на другом, свободном берегу, разделся и выжал одежду. Поднималось солнце, оно нагревало и веселило душу убийцы, идущего навстречу своей невесте.

Возле оврага подросток наклонился и поймал зеленую скользкую жабу. Он очень долго изучал невиданное и неведомое ему, сильно дышащее живое существо. Ему показалось, что он смотрит видеофильм из африканской жизни, что он, первопроходец-кинооператор, здесь, на девственной природе, работает как проклятый во имя культурно-научных изысканий. Жабу, поразмыслив, Володечка все же не отпустил, а, раздавив босой ногой, долго рассматривал, как расплывается на песке и превращается в вонючую лужу дергающееся зеленое пятно с глазами.

Через час, лежа на земле и рыдая в голос, Володечка сам себя ощущал такой же раздавленной жабой.

Он вошел в деревню: одна косая улица, идущая вниз, повалившиеся заборчики, сплетенные из какой-то белой проволоки, стены выкрашены густо-черной масляной краской. Казалось невероятным: откуда здесь столько черной масляной краски! Подросток подошел к одному из домов и ткнул в него палец. Палец легко провалился внутрь, и пальцу стало тепло. Было очень тихо вокруг, не видно ни одного человека, и только обнаружив избу побольше, с покосившейся вывеской «Сельпо» и поняв, что над нею не колышется красный флаг, подросток испугался. Деревня была пуста. Брошена. Покинута. «Молодежь ушла в город, а старики вымерли», — вспомнилось ему знакомое.

— Может, это не Клешни? — усомнился во весь голос, крикнул он, но вывеска «Сельпо» не оставляла сомнений: отчетливо написано было на покосившейся доске «Клешни!» — Те самые! — крикнул в отчаянии подросток.

Он озирался, пытаюсь сообразить, как бы отсюда «напрямки», на шоссе, но карта в мозгу терялась, затертая страхом, а сердце-компас крутило тело на месте как бешеное. Ему хотелось обратно, в объятия милиционера, ему хотелось, чтобы наконец судили, и посадили, и дали ложку без ручки и тарелочку теплой рыбьей ухи-баланды. Черные дома вокруг маслились и пугали до отупения а высоко в небе с ревом проносились белые военные реактивные самолеты

«Сложит костер? Может, заметят сверху? — подумал он.— Да куда там, если я лес поджег, а они не заметили... Если только случайно парашютист сюда с неба упадет с картой в планшетке... А то придется вести одному натуральное хозяйство. А тут волки воют!»

Вспомнив о волках, он подумал, что следует найти ружье, и вошел в один из домов. Ружье, к удивлению, быстро нашлось, нашлись и патроны, долго стрелял он из этого одноствольного ружья по далеким белым самолетам. Потом рухнул наземь как раздавленная жаба и завыл, запричитал в голос.

### Часть 9

Врыться в стог оказалось делом непростым, во-первых, от соломы воняло, она была мокрой и скользкой и одновременно с тем сильно кололась, но в конце концов подросток пробился внутрь, вокруг себя в сто движений создал необходимое пространство, прилег, подгреб под голову немного соломки как подушку, сверху посыпал себя, чтобы было похоже на одеяльце, и крепко до зари заснул.

В большом овраге, отгораживающем деревню от подростка, в черной масляной воде застрял ржавый трактор. На крыше трактора сидел одетый в фиолетовый ватник, кепку, сапоги и рваные галифе молодой тракторист, он курил самокрутку и плевал в воду, отчего по воде разбегались круги.

— Здравствуйте,— сказал Володечка,— в смысле — доброе утро.

Тракторист вяло посмотрел на него и разразился тирадой полужнакомых коротких и длинных слов с вообще неизвестными окончаниями, но знакомыми корнями.

— А вы по-русски можете? — спросил Володечка.

— Могу,— признался тракторист и опять разразился словами с понятными корнями и неизвестными окончаниями.— Я все могу,— завершил он.— А ты чего тут стоишь, сходи в деревню, найди председателя, пусть лошадь пришлет — видишь, машину вытащить надо!

Подростка поразили не столько заборы из белой проволоки, не столько крашенные черной масляной краской избы вокруг — его поразила, во-первых, тишина гробовая, со свистом ветра, а во-вторых, хромая мелкая собака, все время бежавшая сзади и наконец у самого сельпо тяпнувшая Володечку за голую пятку. Ни одного человека на единственной этой улице подросток не заметил, он двинул собаку обутой второй ногой и хотел войти в сельпо. На сельпо над вывеской, над запертой дверью колыхался рваный красный флаг. Володечка вежливо, потом невежливо постучал. Минут через сорок ему открыли. Заспанная тетка в белом халате пахла хлебом и навозом.

— Ну че те? — спросила она, потирая большие карие глаза отработанной наполовину в полях и исхолившейся в магазинной торговле странной формы крестьянской рукой.

— Мне бы лошадь,— сказал Володечка.— То бишь председателя, нужно трактор вытащить.

— Да кто же его вытащит? — зевнула тетка.

— Председателя велели! — настаивал подросток, пытаюсь протиснуться внутрь магазина.— У вас над дверью флаг висит, значит, и председатель должен быть здесь! (Из магазина остро воняло водкой и кислой капустой.)

— Не! — Тетка махнула головой.— Ты пришлый.

Она объяснила Володечке, что сельпо и сельсовет — это не одно и то же, хотя в их случае они и в одном здании, дверь в сельсовет была с другого конца. Объяснила, что флаг над сельсоветом вешают в праздники, потому что он в деревне один, а остальное время он висит над сельпо, приостанавливая алконавтов и вместо пугала для голодной птицы.

— А вообще-то председатель — он с бодуна, он сегодня трактор не потянет,— закончила она и захлопнула дверь.

Володечка обошел квадратное четырехстенное здание и нашел вывеску «Сельсовет» Дверь в сельсовет была нараспашку, но в трех больших комнатах никого не было. Только в четвертой на обитой дерматином двери висела фирменная табличка «Директор», он нашел спящего на столе огромного мужика. Мужика разбудить не удалось. На левой руке у него было наколото «Коля», на правой — «Клешни», а когда Володечка с трудом усадил спящего на стул и расстегнул рубаху, чтобы послушать сердце, то обнаружил на груди его наколку в красивые виньеточках из амуров и змей: «Председатель я». И ниже, помельче: «Уймись зараза и спать не мешай».

— Эй, Софрон! — послышалось где-то совсем рядом, и подросток выскочил на улицу.— Эй, Софрон! — На крыльчке одного из выкрашенных черной масляной краской домов стоял старичок в валенках, треухе и зипуне и истошно вопил фальцетом.— Эй, Софрон!

Над головой низко с ревом проносились белые реактивные самолеты.

— Че, Степан?

На другом конце деревни распахнулась дверь одной из изб и на крыльцо вышел большого размера лысый человек без зубов, одетый в исподнее.

— Да ключ потерял! — крикнул Степан.— Час ишу, найти не могу!

— А ты еще поищи! — крикнул Софрон.— А не найдешь — ломай!

— Да придется... Топор дашь-то?

— А че не дать... дам. Заходи, к вечеру вместе ломать будем!

— Скажите, а где здесь лошадь живет? — подкравшись к старику со спины, неожиданно спросил подросток.

Но старичок почти не обратил внимания на него, он изучал пудовый на щелястой двери ржавый замок.

— И зачем я его запер, ну скажи? — спросил он, на сей раз ни к кому не обращаясь, рука его указала в сторону.— Ферма там, иди... Иди, милый, с богом, видишь — мешаешь...

Ферма — четыре недостроенных кирпичных коробки и одна достроенная — оказалась километрах в трех левее. Володечка вошел в достроенное здание и сразу увидел при свете солнца, падающем в окно, сперва огромную, хоть и единственную корову, а потом лицо своей невесты, сидящей под коровой.

— Соня... — только и смог выдохнуть он.

На Володечку смотрели знакомые глаза: две недопитые кофейные чашечки. Правда, когда Соня вылезла из-под коровы, она оказалась совершенно квадратной, с очень длинными, до земляного пола, рабочими руками.

— Соня, — нежным голосом сказал Володечка, — мне лошадка нужна, трактор вытащить... А председатель... Он, понимаешь, спит с бодуна...

Корова замычала и мотнула большой рогатой головой, с испугу подросток отскочил немного назад. Эту большую корову одновременно сосал теленок, сосал жеребенок, а к остальным соскам были привинчены серебряные патроны электродоилки. При этом один сосок был все же свободен, и за него, ловко добывая жирное молоко, дергали нежные пальцы его будущей невесты.

— Одна осталась кормилица на весь колхоз, — объяснила Соня, — но рекордистка! А трактор вытаскивать я ее не дам, видишь, в прошлый раз на ней сеялку тащили, повредили сосок, теперь руками приходится додаивать.

— А лошадь? — с придыханием спросил Володечка.

— А лошадь спит. Видишь, жеребчик Машку сосет. Лошадь притомилась, и она не пойдет. Ты можешь ее сколько хочешь уговаривать, не пойдет.

— Соня, а когда вы кончаете работу?

— Ох ты... — Доярка подобно трактористу выдала пачку однокоренных слов. — Никогда! Машка на мне. Вот жеребчик теперь на мне... У Зинки яшур... Я ее отсоединила туда, там плохо — крыши нет, эта дура ожеребилась, нашла, сука, время... Так что не знаю, милоч. А ты сам-то откуда будешь?

— Из Москвы иду! — признался Володечка.

— Что, вот так в одном чеботе прям из Москвы и идешь? — посочувствовала Соня. — Ты погоди часок, погуляй. У меня обед будет. — И она прибавила еще пару однокоренных слов.

Николай Николаевич в первый раз пошел по вызову чинить унитаз. Унитаз по отсутствию опыта он совсем разворотил, как и кафельные стены вокруг, отчего сильно испугался и перепачканными руками стал звонить в жилконтору спросить у Зинки, что делать, но Зинаида совершенно успокоила своего мужа:

— Еще поработай. А денег пока не бери... Пару деньков потечет — аварийку вызовем.

Николай Николаевич повесил трубку, пахло в генеральской большой квартире по-родному — печеным хлебом и навозом. Хлеб старушка мать генерала пекала сама в духовке на осемененных яйцах, из муки, купленной на рынке.

Вооружившись непонятного назначения длинным железным гибким шлангом, размахивая им, Николай Николаевич вошел на кухню, где выпекался хлеб, и сказал:

— Хреново, хозяйюшка!

Больше он ничего не сказал, потому что свежее испеченный хлеб выпал у старушки из рук, а сам Николай стал засовывать лихим рывком конец своего троса в чистое отверстие кухонной раковины и засовывал его до тех пор, пока грязный конец не выскочил в унитазе.

— Централизованно! — процедил он сквозь зубы.

— Централизованно, милоч, — жалостливо покивала старушка. — Не при царе, чай, строили.

— Не при нем, — сапоги хрустели по битому белому фаянсу, — точно не при нем... В общем, денег не стоит, хозяйюшка. А денька через три я сам загляну. Может, чего к лучшему и переменится...

Трактор вытаскивали вчетвером, впряглись в хомуты Сонька, Володечка, продавица из сельпо и с трудом разбуженный председатель. Тракторист, как и полагается, сидел внутри машины по горло в воде и солярке и нервно дергал за рычаги. Машина периодически взревывала, сверху пролетали белые реактивные самолеты.

Когда трактор вытянули и вытирались на берегу, председатель грозно спросил у тракториста:

— Ты почто казенную технику уродуешь, водки, что ли, в деревню мало завезл?

— Так, Николай Николаевич, коньяка же хочется, денег мешок.— Он вытянул из трактора полосатый красно-белый мешок и тоже его отжал.— Это вы водку уважаете, а я коньяк пью. Хотел привезти пару-тройку ящиков из области на свадьбу побаловаться!

— Какая свадьба? — спросил председатель.

— А вона, москвич на Соньке приехал жениться,— сказал тракторист и заулыбался.

«Откуда они здесь, в деревне, все всё знают? — подумал Володечка. — И правда ведь пишут, по деревне не пройдешь, чтоб не заметили...»

Володечка как замороженный смотрел на свою невесту, она умылась, и лицо исчезло, квадратная Сонька была как обломанная, обструганная спичка. Но председатель держал уже подростка за шиворот.

— Молодец, парень, боровчика зарежем, нам люди-то нужны! — кричал он в ухо.

— Лицо! — с ужасом пискнул Володечка.— Лицо!..

— Ах, лицо! — Сонька улыбнулась.— Сделаем лицо, не бойсь..

— А откуда у тебя французская косметика?

— Не французская, а японская. Яшка с БАМу три кило привез, я ему восемь штук отсыпала, полтора кило еще осталось — лет на семь семейной жизни хватит, ежели экономить.

— Молоко,— плакал подросток,— свежие яйца...

Приобняв за плечи как родного, как уже члена своей небольшой рабочей семьи, председатель вел Володечку по селу.

— Не бойся ничего, парень,— говорил он, размахивая в воздухе правой угловатой рукой, похожей на какую-то запчасть от трактора.— Мы тебя уберем!

«Бежать отсюда, бежать...— отталкивая босой пяткой лижущую эту самую пятку, вдруг подобревшую собаку, соображал Володечка.— Лучше уж на том свете оказаться, чем в этом раю жить. Я же здесь через полгода на тракторе двойной план буду давать, у меня все-таки городской характер, в передовые дояры выйду, на лошади, на Машке, буду галопом через поле скакать!..»

— А может, не надо меня уберегать? — осторожно поинтересовался подросток.

Председатель разодрал на груди рубаху, рука углом уперлась в останки деревенского храма. Он тут же сообщил, что без культа жить нельзя, мало нам коровника без крыши, так еще купол придется крыть! Золотым листом.

Сохранившиеся части купола отражали солнце, в широкие проломы стен ветер вносил, кружа, желтое сено. Внутри сено не застревало, как и мысли в голове подростка, а вылетало при следующем порыве наружу. Все сооружение в целом напоминало Володечке какое-то неведомое африканское растение.

— Надо! — твердо, как диктор центрального радио, обрезал председатель.— Иван в бегах. Сидел бы смиренно — другое дело, а то ведь точно домой придет. Увидит тебя и непременно зарежет.

— Как это зарежет?! — ужаснулся подросток.

— Ну, это что ему под руку попадет, может, топором зарубит, а может, на вилы посадит, сам понимаешь, у нас тут просто, без украшательства, на природе живем.

— А кто это — Иван?

— Иван-то? Самарцев.— Председатель показал в улыбке зубы, и они были как слегка проросшие мокрые семена овса.— Жених Сонькин. Он уже третий год в отдаленном отсюда месте пребывает за убийство. А теперь видишь, как тебе не повезло, убежал Иван из этого места.

К вечеру, когда крупное здесь солнце катилось к широкой лесной полосе, когда все достопримечательности были уже показаны и Володечка в сельсовете под напором председателя уже поставил свою подпись под заявлением о приеме на работу в качестве конюха (не помогли ему ни слезы, ни уверения, что он «в жизни ни коня, ни лошади в упор не видел»), московского гостя отвели в дом продавщицы сельпо и устроили там на ночлег.

— Может, я у Сони как-нибудь переночую? — увидев нарядный сарафан-халат продавщицы и ее плотоядную улыбку, спросил Володечка.

— Нет, у Соньки нельзя, она девушка,— сказал председатель, а продавщица добавила:

— Да и, боже мой, банька-то у нее сгорела в прошлом году, Иван из-за любви поджег.

— А у вас банька целая? — пяťся от этой женщины, от ее запаха, от ее рук, упертых в крутые бедра, спрашивал подросток. Председатель оставил их вдвоем в избе, дверь уже на щеколду замкнута, так легко не вырвешься.— Может, я у вас в баньке?

— А у меня жениха нету, чтобы баню палить, некому, хоть я и не девушка. Да ты не бойся, я не трону, молод еще мою водку бесплатно хлебать!..

Заходящее за закрытыми ставнями солнце еще минуты три подержалось красным ртутным столбиком в щели между деревянных створок и растворилось, упало до отметки полной темноты. Володечке стало совсем жутко и одиноко. Он сидел на диванчике, плотно сдвинув колени, а по деревянным стенам и широким доскам пола неприятно шевелился голубой свет телевизора, он как вода подкапывался к босым ногам юного убийцы и щеколтал пальцы. Второй ботинок был для симметрии снят и поставлен сушиться на холодной печи. Фильм кончился и на экране возникла пугающая красная надпись: «Не забудьте выключить телевизор».

Продавщица сельпо, все это время отсутствовавшая в горнице, как раз вошла. Она остановилась взглядом на сдавленных коленях подростка и сказала уже глухим голосом:

— Кровати другой нет, вместе ляжем. Валетом! — И опустилась на огромную койку, занимающую половину избы.— Ну выключи ты его, выключи! Видишь, написано, исполнять надо!..

Тьма перед глазами лежащего на спине подростка была густая, как черный глянецовый лист засвеченной и мокрой фотобумаги. Рядом с левой стороны расположились мозолистые женские ноги, и Володечка, не засыпая, потому что во сне можно эти ноги случайно приобнять, думал о самом страшном, распугивая сонные видения.

Несколько раз стучали в ставни, и мужские голоса просили водки. Продавщица вставала, не просыпаясь обслуживала поздних клиентов, с закрытыми глазами пересчитывала деньги и падала назад. В шестой раз она ошиблась и упала лицом к лицу Володечки, ощутила руками рядом с собою что-то незнакомое и, все так же не просыпаясь, принялась расстегивать Володечкину одежду. Не выдержав, он сполз с кровати и, тихо ступая босыми ногами, вышел на улицу, на воздух.

«И зачем ему меня резать, Ивану этому? — размышлял Володечка, ошупью под лай собак пробираясь по деревне к Сонькиному дому.— Кто я ему? Он меня никогда в глаза не видел!.. — И сам себе весело ответил: — А как увидит, так сразу зарежет или зарубит, это принято здесь, в культуре это».

В доме Соньки горел свет, и, привстав на цыпочки, подросток заглянул в неприкрытое окошко. Сонька сидела на кровати и расчесывала волосы. Тело ее, мягкое и пышное, заключенное в кокон серой и жесткой прямоугольной сорочки, чуть покачивалось и терлось с шелестом о надломы ткани.

— Сонь, это я! — Володечка постучал в незатворенный ставень.— Пусти, а?

Уже сидя застенчиво на табуретке в доме, подросток разглядел, что невеста его чуть подкрасилась, отчего круглое лицо посвежело и улыбка сделалась шире. Тут же он понял, что самая большая неприятность будет с рубашкой, задев случайно подол, он ощутил его почти металлическую жесткость.

— А я тебя ждала,— призналась Сонька и посмотрела куда-то в угол, тоже на телевизор.

— Ждала? — удивился Володечка.

— Я тебя всю жизнь ждала. Я ни разу босиком за лето не выскочила.— И она, приподняв подол, показала маленькую, похожую на раскаленный добела утюг, белую ножку.

— Лицо у тебя хорошее,— сказал Володечка.— Чистое, как рассветное облачко!..— Он даже обрисовал облачко пальцами от нахлынувшего чувства.— Щечка такая, такая мякоченькая!.. Можно, я тебя в щечку поцелую?

Рубашка на Соне сильно скрипнула, когда невеста наклонилась вперед, подставляя белую, чуть припудренную подушечку щечки для прикосновения его губ.

Верхняя лампа под шелковым красным абажуром, бахрома которого шикарно покачивалась в струях свежего воздуха, диковинным цветком тянулась сверху вниз, как к солнцу, к этому чистому поцелую. Она вздрогнула и затрепетала,

когда раздался сумасшедший стук в дверь, задрожал под этими ударами и весь дом. Володечка посмотрел на абажур и догадался, что жить ему осталось не более чем несколько минут.

— Открывай, сука! — рычал подобно крепкому трактору беглый жених. — Я все знаю! Чем занялась, пока меня нету! — Он бил сапогами, и дверь трещала и разваливалась. — Отпирай!

— Так открыто же, — не помня себя от ужаса, прошептала Сонька.

Человек в полосатых брюках, такой же, как и Володечка, босой, вбежал в избу, на ходу срывая с голого торса и отбрасывая назад желтый замшевый пиджак с авторучкой «Паркер» во внутреннем кармане, а подросток одновременно с этим выпрыгнул в окно.

Было неясно, разделся Иван Самарцев для того, чтобы принять честный бой, или от жажды любви, скорее всего и для того и от другого одновременно. Володечка, совсем еще недавно зарезавший живого человека и хорошо знавший, как легко это все происходит, не стал на эту тему размышлять, просто кинулся через огород, путаясь ногами в картофельной ботве.

— Прости, Иван! — донесся до его слуха истошный, похожий на петушинный крик вопль Сони.

И тут же он услышал скрип поломанного ставня, на который оперлась рука каторжника при прыжке, удар пяток о землю и быстрые шаги за спиной.

«Цикады как поют! — пробивая заледеневшим от ужаса лбом деревенский мрак, пытался отвлечь себя Володечка. — Хотя вовсе они никакие не цикады, это на Кавказе, в Крыму цикады, а у нас в средней полосе, на родине, обыкновенные кузнечики...» Он падал, обдирая ладони, поднимался, бежал дальше, шептал: «Кузнечики поют!» В одном месте, зацепившись, кажется, за брошенный проржавевший плуг, он провалился в большую ароматную кучу навоза и с этой минуты, удаляясь от деревни по полю, распространял вокруг себя запах.

Не найдя даже стога, изнеможенный Володечка сел на стерне. Он не плакал, он сипло дышал после бега, он хотел скорее назад, в город, в тюрьму. Уже во сне ему казалось, что он обнимает судорожно ноги спящей валетом продавщицы, он пытался вскочить с постели, на мгновение вспыхивали перед глазами слепящие огромные деревенские звезды. Он понимал, что ноги всего лишь снились, и опять припадал к ним, шершавым и плоским, как лва полена, спасаясь от ужасной реальности в не менее жутком сне.

Наконец он окончательно открыл глаза и увидел на фоне светлеющего неба наголо бритого человека, одетого в полосатые брюки. В руках Ивана Самарцева не было ни ножа, ни вил, ни топора. Беглый Сонькин жених сжимал в правой жилистой руке нечто неизвестной формы, продолговатое, покачивающее пружинами, скорее всего это была рессора от «Запорожца», а в левой руке у него почему-то был газетный листок.

— Вот, видал? — Он поднес к носу подростка газету. — Меня ищут, за вознаграждение, как особо опасного. — Поморщил лоб и добавил довольным голосом: — Но ты его не получишь!

— А мне и не нужно... — Володечка медленно отползал, сидя на заду, и скошенное поле колело ему ягодицы. — Вы напрасно на меня обиделись, мы же с вами братья по оружию, мы оба — убийцы... Мы можем пойти сейчас и вместе в тюрьму сесть, совершенно бесплатно...

— Бесплатно? — удивился Иван Самарцев. — Нет, бесплатно я не хочу! — И рессора от «Запорожца» с короткого замаха рухнула на слабый череп подростка. — За тебя — пожалуйста, бесплатно — нет! — было последнее, что Володечка услышал в своей короткой жизни. Он почувствовал, как раскалывается череп, будто лопнула вокруг живого мозга слабенькая белая скорлупа, и погрузился, падая лицом вперед в набежавшую мгновенно лужу крови, в рассветное ничто.

### Часть 10

Володечка как замороженный смотрел на свою невесту, она умылась, и лицо исчезло, квадратная Сонька была как обломанная, обструганная спичка.

— Лицо! — в ужасе пискнул юный убийца. — Лицо!..

— Ах, лицо! — Сонька улыбнулась бесцветными губами. — Сделаем лицо, не бойсь!

— А откуда, откуда у тебя французская косметика? — задыхался от горя подросток.

— Не французская, а японская. Яшка с БАМут три кило привез, я ему восемь тысяч отвалила и не все еще израсходовала. Полтора кило осталось, еще лет на семь семейной жизни хватит, ежели экономно.

— Молоко... — плакал подросток. — Свежие яйца... деревенский воздух, травки лечебные... здоровый образ жизни...

— Точно, — сказал председатель, — воздух у нас хороший, чего навалом, того навалом. Его как навозу, этого воздуха, бесплатный он у нас.

А шустрый тракторист вытянул все из того же полосатого мокрого мешка фотоаппарат «Практика» в роскошном кожаном футляре с серебряными застежками и сделал общую фотографию на память.

Подросток заходился от слез. Он стал заикаться и ничего уже не мог толком рассказать про город Москву. Его привели за руки, посадили на лавку в просторной избе и поили водкой, чтобы вернуть жениха в нормальное состояние. От водки заикание не прошло, но стало грустно. В маленьком окошке по другую сторону стола закатывалось красное солнышко, и казалось, что несут по серому полю белый, обитый шелком гроб, но это было всего лишь плывущее над лесом облачко, одетое в цвета красной и желтой полуживой листвы.

— А почему у вас фотоаппарат импортный? — спрашивал он, переставая заикаться и перенося взгляд свой с облачка на пугающе огромную четверть, мутную и едва початую, занимающую своим круглым дном треть стола.

— А позвольте встречный вопрос, — пьяным фальцетом среагировал тракторист. — Почему это вы, гражданин, можно сказать, столичный, в одном ботинке ходите?

— Дурак! — потянула назад чахлае тело тракториста Сонька и треснула механизатора кулаком. — Чего ты понимаешь! Ты столичную обувь со своим импортом в одну кучу не мешай, может, мода теперь такая, наполовину босым?!

— Мода такая, — кивнул Володечка. Он понимал, что лучше бы теперь помолчать, но почувствовав защиту, вступил в нетрезвую полемику. — А вот я еще хочу спросить... Отчего это в вашем селе, куда ни посмотри, все дома снизу доверху черной масляной краской покрашены?

— Ничего они не покрашены! — обиделся председатель, приняв вопрос на свой счет. — Все подлинное, прогнило до основания и оттого почернело! — И, обеими руками наклонив четверть, он плеснул мутной жижи в высокие стаканы.

Володечка, чувствуя расплзающийся по телу дурман как внутреннюю неполадку, отрицательно потряс головой.

— Извините... не могу...

Он посмотрел на свою невесту Соню, ища поддержки, перевел взгляд на продавщицу из сельпо и увидел, что та улыбается. Она уже успела нарисовать себе лицо и чем-то отдаленно напоминала Нину. Голос ее показался родным, как стук милицейского движка.

— На-ко побалуйся, — сказала она. — Столичный продукт. — И поставила на стол рядом с чудовищной четвертью миниатюрную матрешечку-четвертиночку с правильно проштампованной ресторано красно-белой этикеткой.

— Жаль, Ивана нет, — обиженно промакивая наслонявленным пальцем появившийся на скуле синяк, говорил тракторист. — Он бы тебя сфотографировал! На хорошую пленку!

— Иван — это прежний жених Сонькин, — пояснила продавщица, обтирая четвертиночку широким концом трехцветного полотенца. — Его за убийство в отдаленных местах держат, а он убежал недавно!..

— Как убежал, так и поймали! — крикнула Сонька и поглядела на продавщицу так, что та чуть не выронила в салат свою драгоценную бутылочку. — Сидит он и сидеть будет. Он как репей: если в какое место попал, ни за что не отцепится!..

«Жених у нее, значит, был уголовник, вроде меня», — соображал Володечка. Безопасной четвертинки московского разлива он совершенно не испугался и сперва попробовал сковырнуть пробочку ногтем, а когда это не вышло, московский житель для придания себе силы отхлебнул из стакана самогонки и лихо, как это делал ниндзя в фильме, отгрыз горлышко четвертинки молодыми зубами, сплюнул осколки за окно и выпил на одном дыхании до доньшка.

Сквозь наплывы какого-то чужого пространства Володечка видел, как включили цветной телевизор, стоящий в красном углу под лампадой. Звуча не было,

а изображение знакоило с выступлением народного хора: двоящиеся красавицы в кокошниках и длинных, разукрашенных цветами платьях кружили по экрану. Какой-то святой над телевизором в зависимости от яркости то выплывал из мрака узким лицом, то пропадал. Лампада отчетливо чадила, издавая знакомый запах импортного оливкового масла, и все присутствовавшие в избе, а набилось, наверное, человек двадцать — двадцать пять, под ритмичный свет телевизора грустно хором запели. От интимной темноты, от родства душ, от разлившегося по телу колкого тепла Володечке стало невыносимо грустно. Он наклонился и, вынув спички, подпалил край скатерти. Пламя метнулось желтым голубем к потолку, но его моментально сбили в четыре пиджака: председатель, тракторист, продавщица из сельпо и еще какой-то парень в замшевом желтом пиджаке, причем из кармана этого пиджака торчала авторучка «Паркер», а для гашения добровольный пожарник воспользовался чьей-то чужой одеждой.

— Не балуй! — с силой насоса чмокнув подростка в губы, сказала Сонька. — Нервный ты у меня, нежный. — Она потрепала подростка по щеке. — Сейчас на околицу пойдем, там и порезвиться можно, а в доме не надо, тут мебель, она денег стоит.

Мужик в замшевом пиджаке оказался кровным врагом Ивана Самарцева, он предложил Володечке держаться вместе и дружить домами. Толпа вывалилась под пение гармошки на улицу, под звезды, и в обнимку с будущим другом дома подросток пустился в пляс по ночной деревне.

— В сельсовете расписываться пойдешь, я тебе «Паркер» одолжу с золотым перышком, — шептал в ухо кровник. — На всю жизнь будет память!

У околицы действительно подождли какой-то предназначенный к сносу дом и завели классический хоровод вокруг пожарища. В хороводе Володечка участия не принимал, а встал чуть в сторонке, пряча от жара лицо. Потом подскочил тракторист, он уже успел отпечатать фотографии и в желтом свете костра по одной подносил их Володечке, показывал с комментарием:

— Вот Иван и Сонька, а на заднем плане новый коровник. Он уж сгорел в запрошлом годе... (Вырастало на глазах, ветвилось и цвело родовое дерево. Володечка неизменно сравнил его с засыхающим деревом — карточной колодой из кармана Николая Николаевича. Юное, оно показалось подростку пахучим и пышным.) Вот председатель перерезает ленточку, вот я восхожу на комбайн «Нива», утопили комбайн в озере по весне, хороший был, большой, красно-синий, на снимке цвета не видно... А вот ты. — Перед глазами Володечки трепыхался мокрый, отсвечивающий искрами фотоснимок. — Смотри, какой получился, только, жалко, пропадешь! Я от спешки фотку в закрепитель не положил, почернеет.

То ли перед пьяным взором все стемнело, то ли действительно глянцевым мраком налился кусочек фотокартона. Володечку затошнило, он покачнулся и был по ошибке взят в хоровод и, наверное, упал бы в огонь, если бы не председатель, с громким гиком пронесшийся на своей лошади и увлекший гуляющих купаться.

Володечку взяли с двух сторон за руки и потащили. Бултыхалась перед глазами холодная луна, и Володечке все хотелось ее, как мороженое, лизнуть, он высовывал язык, но не доставал.

— У меня сегодня ночевать будешь!

Заботливая рука, протянувшаяся откуда-то справа, поднесла Володечке стакан с коньяком, он выдохнул из себя весь воздух, проглотил коньяк и отключился... чтобы включиться часов через десять лежащим на солоне в сенцах. Кусали какие-то насекомые, насекомых было много, а он один. Потрескивало нечто невидимое за стеной, на улице лаяла на луну знакомая собака, и наконец прокричал петух.

«Жениться! — сказал себе подросток и поскреб в затылке, высекая из черных своих волос как черные и красные искры каких-то длинных въедливых паразитов. — Ладно, жениться так жениться, здесь это небось быстро делается... Но потом — в тюрьму? Здесь невеста жениха за человека считать не будет, если он после свадьбы сразу куда-нибудь не пойдет. Либо в армию, либо — в тюрьму... — Скользило по краю сознания Володечки странное воспоминание. Он вспомнил сон: молодой офицер с мерзко набрильянтиненной блестящей головой прикладывает к виску ствол пистолета, а девки поливают его шампанским. — Нет, в армию я не ходок, в тюрьму — благороднее... Так отслужил не пойми за что, а так все-таки за убийство отбыл. А по молодости и сроки не особо разниться

будут... На учете я не состоял, ни в чем не замечен. Характеристику из школы мама сделает, а остальное... папа пусть делает».

С трудом он поднялся на ноги, выглянул на улицу, ужаснулся, закрыл быстро дверь и, загибаясь от тяжелого похмелья, полез в избу. В избе оказалось темно и сыровато, ощупью подросток нашел ведро с квасом, ковшик, утолил жажду. Глаза никак ко мраку не привыкали, опять дернул хрипло петух где-то за околицей. В нос несло погребом и потом. Он нашел стену и по стене, натываясь на предметы — сундуки, телевизоры и радиолы,— обошел четырехугольник. «Кровать должна быть в середине, там вчера стол стоял,— решил подросток и, оторвавшись от стены, прыгнул к центру.— Она, попал!» Он угодил грудью на горячее дышащее одеяло и тут же влез ногами весь на него, одеяло дернулось, и женский голос спросонок сказал:

— Не балуй, паря, я тебя скалкой, а то!

Он остался на теплом и высоком возвышении, а обладательница голоса легко в сорочке выскочила на улицу и открыла снаружи ставни. В белом квадрате распахнувшегося окна Володечка увидел перекошенное и злое лицо продавщицы из сельпо.

— А где невеста? — удивился он.

— Девушка она.

Продавщица вернулась, перекрестилась куда-то на телевизор и уже с другим чувством полезла обратно к себе под одеяло.

— Зад-то подвинь! Петухов сколько прокричало?

— Два,— неуверенно признался подросток.

— Мне еще пять петухов спать... А ты будишь! — бормотала она во сне, обнимая подростка.— Когда седьмой крикнет, толкнешь посильней...

Он устал и, наверное, заснул бы, невзирая на мокрое дыхание продавщицы из сельпо, но дыхание это постепенно обратилось в неразборчивый шепот, а ладони, отполированные дефицитным товаром, двумя нагревающимися утгогами поползли разглаживать под рубашкой гусиную кожу.

— Что вы делаете? Прекратите, пожалуйста,— просил подросток.

Но она действовала, вероятно, во сне, потому что не отвечала и глаз не открывала. Пришлось бежать.

Выбравшись на улицу, Володечка ходил один между черных домов до шестого петуха. Когда прокричал шестой, дверь одной из изб растворилась и на крыльцо вышла причесанная и накрашенная его невеста. Ему даже показалось, что руки у Соньки утром меньше волочатся по земле, нежели вечером.

— Пойдем погуляем,— предложила она.— Мне председатель отгул на пол-трудодня дал! — Она сошла с крыльца и взяла Володечку за руку.— Поговорить надо, пойдем, женишок!

Усталый, но довольный собой Николай Николаевич, воротившись после тяжелого, но победного трудового дня в свою квартиру, застал накрытый стол, холодную водку и широченную улыбку на губах Зинаиды. На голове работника жилуправления была новая прическа, такая высокая, что, подавая закусочку будущему мужу, невеста опасно наклонялась, боясь повредить хрустальную люстру.

— Устал, миленький? — спросила она и поставила перед Николаем Николаевичем тарелку с селедочкой. Селедка имела металлический синий отлив, а кольца лука походили на переходные кольца трактора.— Беленькой? — спросила она.— Или на десерт армянского коньячка?

— Беленькой! — Николай Николаевич принял сто грамм чистого продукта и пояснил свой выбор: — Работенка, надо отметить, грязная, примерно похоже на разгрузку навоза, а после навоза, как после боя, что полагается? Беленькой! — И он принял еще сто грамм и закусил скользкой селедкой.— Беленькая освобождает организм от навозного запаха.

Разворотив за день четыре унитаза по разным квартирам, свернув в одном месте на одиннадцатом этаже новенький смеситель и каким-то чудом починив в другом месте, на двадцать втором этаже, финскую электронную душевую, Николай Николаевич благодушествовал. Зинаида присела рядом, пылая глазами, и он своей рукой налил женщине водки.

— Эх, председателя бы нашего сюда, чтоб он посмотрел!.. Чтоб он увидел, какого кадра лишился... Мордой его в унитаз, лешеву душу!

За приятным разговором с будущей супругой всплыли и некоторые новые факты. В пятый раз выпив и, наверное, в сотый раз поправив свою прическу, Зинаида призналась, что у нее и дети есть, два мальчика, но оба давно сидят и выходить покамест не собираются. На что Николай Николаевич вовсе не разозлился, только пару раз для порядка съездил невесте кулаком по лицу, так что прическа упала набок, а разбитую губу пришлось протирать перекисью водорода и мазать зеленкой.

Торжественно он присоединил две фотографии к остальным веткам своего древа, в очередной раз разложив его на столе.

— А у меня две доченьки, так-то! — объяснял он, опять выпивая среди ветвей, своим новым родственникам и собутыльникам Паше и Гоше, угрюмо глядящим с карточек фотокартона. — Одна померла уже, царство ей небесное, зато ко второй я сам лично жениха заслал!

Сонька повела Володечку за руку в лес, они обогнули овраг, полный черной, с нефтяными разводами воды, обогнули трактор, так и оставленный на месте после вытаскивания, как решил подросток — вероятно, просыхать, и вошли в осенний лес.

Лес местами стоял как частокол — голый, местами багровел, местами наплывала широкими волнами желтизна.

— Раньше там станция была, — объясняла Сонька. — Отец с матерью на станцию по этой тропке ходили. Ходили-ходили и нас со Светкой здесь сделали...

— Почему же здесь? — удивился Володечка. Щурясь от теплого солнца, он размахивал с удовольствием руками и сшибал ветви.

— А ты не хочешь? — спросила тихо Сонька, приостанавливаясь и поворачиваясь к нему. — Не хочешь на историческом месте, ровно двадцать три года спустя?

— А точно это здесь? — усомнился Володечка. — Может, не надо? — Он попятился, зажмурился, угодил ногой в какую-то холодную лужу, а спиной напоролся на острый сук. Сознание его слегка от ужаса помутилось, а зубы клацнули, потому что далеко в селе хрипло крикнул как раз седьмой петух. И с ревом прошел над лесом реактивный белый самолет.

## Часть II

### Глава первая

Лес стоял как частокол голый, когда Николай Николаевич избил Жанку до полусмерти по дороге от станции домой, на тропинке, и бросил лежать на холодной осенней земле, в крови и опавших листьях.

— Погоди, — попросил он, и Жанка, бодро шагавшая немного впереди, остановилась. Недавно прошел дождь, и косынка, белой полосой натянутая на ее лбу, была мокрой, и стекали по щекам капли.

В лоб он поцеловал Жанку, зажав руками тяжелую голову, отстранился и увидел ее безумное женское лицо, лицо как бы двоилось, белое. Неподвижные, без улыбки глаза закрылись, только на виске синей молнией жилка сквозь кожу вспыхивала.

— До дому, может, обождем? — Жанка открыла глаза, и они заблестели в его глаза черным стеклом.

— Ты че такая-то? — спросил Николай ошалело и чуть попятился.

Она развалила долгим движением руки кофточку на груди и, дергая замерзшими пальцами белый шелк, шелкала пуговичками.

Казалось, вокруг обморочно тепло, хотя был ветер с дымком и далекий лязг электрички.

— Да ты. не надо это... — промычал он, хотя уже знал, что ответит эта женщина.

— Без тела какой вкус! — сказала Жанна. — Плевать мне, что холодно, не мороз.

Было 3 октября, на всю жизнь завалилась цифра в память — большая и по будничному календарю черная тройка.

Жесткая юбка, прямая, как кусок наждака, висела прямою складкою на маленькой ветке-гвоздике, она колыхалась. Рубило в глаза Николая Николаевича, выламывая слезы, солнце — белый диск.

Жанна сняла сапог, вылила из него воду, сняла второй сапог, не боясь грязи, присела, сняла чулки и опять встала, потопталась босыми ногами в ожидании.

Отчего Николай Николаевич озверел — а тогда он был просто еще молодо-жен Николай, без отчества,— сказать невозможно. Он вгляделся в голую свою супругу среди свистящего ветром осеннего леса и, вместо того чтобы расстегнуть штаны и сделать, как они не раз уже делали и в поле, и в ожидании электропоезда на пустой станции, и на гумне, и в стогу, и изредка, когда хватало сил, дома на койке,— вместо того чтобы попытаться опять зачать кого-нибудь в тот день, он сильно ударил кулаком свою супругу в тонкую, красиво нарисованную богом челюсть, потом пихнул в грудь и стал пинать сапогами, отчего сапоги бухали, Жанна вскрикивать не успевала, а обмерзшие галифе громко, на весь лес, ветвям в такт поскрипывали.

Шел Николай обозленный сквозь лес, прорубался мимо тропы, раздвигая могучим телом ветки, и когда зажмурился от тоски, ему казалось, что лбом сшибает столетние деревья. Дома, в избе-четырёхстенке на краю села (молодым такая досталась), он уставился в телевизор, сев спиной к пролому, и, увидев напоминающую его дом декорацию «Мосфильма», всей душой понял, что совершил преступление и что его дом сам похож на декорацию, хотя и настоящий.

Сквозь запой длинной вереницей проходили дни и ночи, месяцы и годы, председатель возникал в запое не одну сотню раз, все уговаривал сесть на трактор, Жанна взяла вещи и ушла из его запоя года через полтора после избияния в лесу. Николай Николаевич через пять лет допился до галлюцинаций, стал видеть красных и белых петухов размером с комбайн, петухи бегали за ним по полю и пытались склевать. Кто приносил, что пил Николай — это не сохранилось в памяти, но галлюцинации переменились, ему чудилось, что там, на тропе от электрички, он не избил Жанну, а, напротив, зарядил семенем и из семени почему-то выросли сразу два предмета; лопнули прозрачные пузыри, и предметы обозначились под солнцем: белый гроб и белая корова. Николай понял, что это его не рожденные выросшие дочери, одна под коровой сидит — ее не видно,— другая уже умерла молодой. Запой сделал резкий поворот. С уходом молодежи из села Николай был кем-то случайно на мотоцикле перемещен в райцентр, где был даже устроен на работу, кем — он не запомнил, но в трудовой книжке, как потом выяснилось, была запись «инженер-электрик», и проработал он в соответствии с трудовой где-то там десять лет. После чего в трудовой была черная, как в памяти, дыра еще лет на восемь.

Очнулся Николай Николаевич от голосов. Он лежал на животе пьяный, на чем-то относительно мягком, и вокруг было темно.

— А тебе любой, что ли, мужик нужен? — спрашивал знакомый женский голос.

— Все равно какой, но чтобы паспорт без отсидки и чтобы со всеми мужскими принадлежностями,— отвечал совершенно незнакомый женский голос.— У меня, понимаешь, квартира в Москве, я въехала, мебель купила, а ее не дают. Нужно, чтобы двое на три комнаты работали, одного мало... Но ты все равно не поймешь, это тонкости.

— Ну, насчет паспорта — точно есть в штанах или в пиджаке, я его месяца три назад видела, разведен он, в трудовой дыра, а насчет принадлежностей точно не скажу — не пробовала, но бабы пробовали, говорят, что после второго литра все на месте, можно пользоваться, а после третьего — опять ничего.

— Годится! Беру! — сказал незнакомый женский голос, и Николая Николаевича разбудили.

Его вымыли три бабы в женском отделении городской бани, но даже пива не дали.

— Зина меня зовут,— крепко хлестала она его по щекам и сверкала глазами,— Зина, я жена твоя теперь..

— Врешь, не расписывались,— выдавил Николай.— А чего я голый? А пиво где, ежети баня?

— Верно, соображаешь. В столице распишемся! — Зинаида даже улыбнулась — В столицу поедем, Коля, радуйся!

В поезде Николай Николаевич послушный лежал на верхней полке и ел арбуз. Он разглядывал, впервые за много лет трезвый, свою супругу будущую, и ему нравились ее плотные очертания и неясного цвета, мощно горящие в темноте глаза. Только на вокзале в столице убежал, перепугавшись, и среди зеркал и

обильного белого фаянса в платном туалете долго разглядывал себя. Сквозь стекло на Николая смотрел квадратный, в сапогах и галифе, коричневый, коротко стриженный скуластый товарищ сорока с лишним лет (он так и не заметил, как из молодого парня превратился в мужика). На голове товарища была мелкого размера, тоже коричневая, с полями шляпа, и он ее зачем-то трогал большой красной рукой.

Метрополитен, куда они спустились по гремящей железной лестнице (лестница быстро сползала вниз, не давая Николаю Николаевичу сбежать обратно вверх, на воздух), перепугал его насмерть, и жених поклялся никогда больше не сходить в странное учреждение вагонов и мраморных колонн. Но квартира, куда они приехали, понравилась. Походил, посмотрел ее, покрякал и спросил, остановившись у большого окна во двор:

— Ну че, Зина, запишемся, что ли, сходим?

— Завтра заявку сволочём! — объяснила будущая супруга.

Сломанная рябина во дворе за окном напоминала схему этого самого метрополитена, схема была в каждом вагоне, и дерево, такое знакомое, осеннее, даже сломанное, обозлило сильно Николая. «Срублю,— решил он про себя.— На дрова пустим...»

## Глава вторая

Под веселенькие звуки механического похоронного марша, прорвавшегося по ошибке из какой-то другой игровой программы, на выпуклом экране большого цветного дисплея разрасталось пламя. Некоторое время Володечка пассивно наблюдал за тем, как языки огня превращают дерево в уголь и пепел. Он сидел перед компьютером, комфортно откинувшись в кресле, в его левой руке была сигарета, а правая рука, красивая, белая, с длинными чуткими пальцами, зависла над клавиатурой. Шумел вентилятор, закручивая сигаретный дым в легкие быстрые спирали и чуть раздувая пышные волосы юного сутенера. Наконец тот решился, пальцы уверенно пробежали по клавишам, и изображение пошло в обратном порядке. Теперь все те же языки огня превращали пепел и уголь в живое сплетение веток зеленой листвы и красных ягод, когда рябина возродилась, последовало новое переключение, и дерево, потеряв все свои цвета, обратилось в схему. Перед Володечкой на экране возникла разветвленная огромная сеть, ствол вымышленного генеалогического древа уходил в ничто, в безликие цифры программы, а на сплетениях появились маленькие черно-белые квадратики, в каждом квадратике заключено чье-нибудь лицо.

Володечка при всей своей природной чувственности уже к семнадцати годам так устал от грубых физических удовольствий, что предпочитал им игру духа, и на первые же появившиеся у него сто тысяч был приобретен хороший компьютер с полным программным обеспечением.

Он искал любви, хотя слышал по крайней мере миллион слов на эту тему, обращенных в его адрес: ему шептали их, кричали сквозь слезы, стонали эти слова, валяясь у него в ногах, хрипели в постельной горячке, но ни разу ни одно из этих слов не вызвало отклика в сердце.

Он вглядывался в лица: лица постных дур — своих одноклассниц, но они были по-лошадиному вытянуты и скуласты, лица теток, идущих навстречу по улице, но они были либо квадратны, либо шарообразны, уж тем более искомый образ любви не мог найтись среди «девочек», которыми он успешно торговал. Талант есть талант, у Володечки был природный талант сутенера, и он рано проснулся в мальчишке. В долю секунды подросток мог по качеству макияжа, длине ног и иным признакам определить точную стоимость живой куколки и соотнести ее с возможностями покупателя. Талант рано проснулся и очень быстро расцвел шелестом зеленых купюр.

Образа не было, и он попытался своими руками создать его. Несколько месяцев Володечка кормил умную машину всеми видами изображений, которые вызывали хоть малейший отклик в юной душе. В ход пошли и наивные детские рисунки, и нежные акварельки, и жирные масляные полотна старых мастеров, тысячи фотографий, вырезки из журналов, иногда на такой вырезке он оставлял лишь часть скулы или вызывающую отклик икроножную мышцу, нижнюю губку или только один нежный локон, интимно прикрывающий девичий висок. Однажды, возвращаясь поздно, он заметил на белой стене дома начертанный

углем похабный рисунок, обнаружил в нем приятный поворот и скормил изображение холодной машине.

Машина плотоядно урчала, щелкала, будто клала зубами от голода, капризно отключалась и снова принималась за дело. Наконец ее выпуклый экран вспыхнул белым огнем, и перед глазами Володечки появилось неподвижное женское лицо. Образ был настолько осязаем, что у подростка перехватило на миг дыхание.

— Светлана! — выдохнул он и погасил сигарету. — Тебя зовут Светлана!..

«Дон Кихот, как и я, любил не существующую женщину. Только образ, только созданный им образ главенствовал над всею его жизнью и мыслями, — размышлял Володечка среди ночи, лежа на спине и вперив взгляд в квадратный потолок, чем-то напоминающий экран дисплея. — Ее не было в реальности, его Дульцинеи, точно так же как и моей Светланы, она не пахла, не ела, не пила, не пасла гусей, она родилась в болезненном сознании честного парня!.. А моя Светлана? Она тоже миф, мгновенная вспышка электронно-лучевой трубки. Любопытно, каким был бы Дон Кихот, живи Дульцинея в реальности? Каким был бы я, если бы Светлана существовала на этом свете? Если бы у меня была хотя бы совсем маленькая зацепка, хотя бы надежда, что она отзовется на мое чувство?.. Может быть, не торговал бы теперь барышнями, а тянул бы свою лямку честно, подобно Дон Кихоту?..»

На следующий день в тщетных поисках подлинного Володечка сидел перед экраном и пытался построить возможное генеалогическое древо, из которого мог родиться его чистый образ, но по ряду каких-нибудь независимых причин и обстоятельств не родился. Генеалогическое древо давало хотя бы намек на плоть, и Володечка целиком погрузился в хитросплетения родовых линий.

Под веселенькие звуки похоронного марша, прорвавшегося из-за дефекта программы, на сплетениях веток пульсировали микроскопические черно-белые лица, заключенные в квадратики. Наконец удалось показать на экране нужный пунктирчик. Пунктирчик указывал не на живущего человека, а на возможность его появления и упирался в какую-то неприятную мужскую рожу с одной стороны и в маленький белый гробик — с другой. Продолжения у Светланы не было, даже если бы она и родилась на свет много лет назад.

Володечке не понравился подобный поворот событий, он стер родовое древо и, пересчитывая все заново, попробовал варьировать вероятность смерти своей возлюбленной в случае ее реального существования, но увлекся темой похорон и переключился на собственную судьбу.

При всех возможностях игры выходило, что он мог стать убийцей, мог оказаться жертвой, мог бежать за границу, но ни разу, ни в одном из вариантов не попадал в тюрьму. В вымышленном мире, построенном компьютерной программой, посадить Володечку не могли. Он даже нашел на одной из ветвей древа лицо милиционера, желающего заключения подростка, вывел его крупно. Грустное, усталое лицо с минуту смотрело на сутенера немигающим взглядом.

### Глава третья

Движение Михаила Михайловича по служебной лестнице было, как дождь за окном, зыбким и холодным. Стоя навьютяжку в кабинете генерала, он явственно чувствовал, как по спине его от тугого воротничка к ремню стекает холодная вода, а сидя за столом в своем собственном небольшом кабинетике и глядя сквозь решетку во двор на хлещущие стекловидные потоки, ощущал острое лезвие грусти на своем хорошо выбритом горле. Ему не везло, звездочки, так лихо расцветающие на чужих погонах, его не баловали, но он терпел и был предан своему долгу. Он был честен, не брал взяток, а в свободное время выпивал изрядное количество «столичной» водки. Дело № 6012 пошатнуло веру Михаила Михайловича в справедливость и в закон, завершив его, он потерял вкус к своей работе и теперь жалел только одного: поскорее выйти на пенсию, — а до пенсии не хватало еще многих лет.

— Сусликов, — сказал он в трубку внутреннего телефона, — будь любезен, зайди ко мне. — И когда милиционер появился в дверях, устало попросил: — Сделай милость, получи информацию, хочу знать, привели в исполнение шесть тысяч двенадцатого или все-таки?.. — Он постучал по столу пальцами. — Или все-таки... — Дождь промывал оконное стекло, и мир за этим стеклом расплылся и мутнел. — Впрочем, не важно.

Звезда, уже готовая прыгнуть на погон Михаила Михайловича, теперь окончательно померкла. Он не мог понять, действительно ли жалеет Ивана Самарцева или все-таки самого себя. Ивана Самарцева, уже приговоренного к расстрелу, должно быть, поставили к стенке и привели в исполнение, а Михаил Михайлович, приговоренный к честной жизни, тоскливо смотрел сквозь дождь на милицейский дворик.

Месяц назад Иван Самарцев, худенький, по пояс голый парнишка с симпатичным ежиком на голове, сидел здесь напротив него, шурился в свете лампы и просил помощи. А сам Михаил Михайлович, уже предвкушая легкое движение по службе за выполнение морального долга, с удовольствием составлял протокол посредством реквизированного у преступника золотоперого «Паркера».

Фактически Самарцев сдался по договоренности, он не был пойман и не явился с повинной, создав в уголовной практике, наверное, впервые за тысячу лет, прецедент совершенно новой формы отношений. Простой деревенский рецидивист бежал с зоны, вернулся домой, где не ограничился сведением счетов с кровными врагами, перерезал весь колхоз и дотла спалил небольшую деревеньку Клешни, после чего направился в большой город, в Москву, и лег на дно. Не было бы причин для тоски у Михаила Михайловича, если бы пребывающему в лютой скуке столичной малины Ивану Самарцеву не попала в руки газета, где черным шрифтом по желтому листу было напечатано: «ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЛЮБОМУ, КТО ПРЕДОСТАВИТ ИНФОРМАЦИЮ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ УБИЙЦЫ»

Иван позвонил в прокуратуру, его не поняли, тогда, вооружившись телефонным справочником, он стал обзванивать отделения милиции в порядке номеров, предлагая свой собственный платный вариант задержания. Так он вышел на Михаила Михайловича и по устной договоренности сам явился в кабинет следователя.

— Я, понимаешь, начальник, во всю жизнь таких денег не видал, — наивно разглагольствовал он. — Хочется хоть перед смертью банковскую упаковку пошелушить... У нас трудодень как? Рубль и четырнадцать копеек, а тут — десять тысяч!.. Сяду в камере смертников на нары и буду всю ночь деньги считать.

— Будешь, — пообещал честный Михаил Михайлович и обманул. Дело кончилось премией в шестьдесят рублей следователю, грамотой дежурному милиционеру и бесплатным смертным приговором для Ивана Самарцева.

Переживая свой поступок, Михаил Михайлович сперва писал по инстанциям, за что был лишен очередного звания, готового по выслуге лет. Он даже подумывал иногда, что хорошо бы съездить на родину Ивана, навестить семью, но каждый раз, глядя на потоки дождя, припоминал, что Иван этот всех своих родственников убил, да и ехать-то теперь уж некуда, потому что и деревню, дуралей, сжег.

— Михаил Михайлович, так ведь ехать надо, — сказал Сусликов, выводя следователя из состояния задумчивости. — Машина у подъезда, опергруппа ждет. Вы что ж, позабыли?

— Куда теперь ехать-то? — отозвался Михаил Михайлович.

— Да ведь выследили этого — сутенера. На даче вместе с девками, всех разом с личным и накроём. Михаил Михайлович, вы же столько на него накопили а теперь не поедете, что ли?

— Поеду, — сказал он и, выбравшись из-за стола, приладил кобуру под мышкой. — Конечно. Если машина ждет..

Дождь за окном прекратился, но, стеклянные, дребезжали по жести, выводя из равновесия, последние капли.

#### Глава четвертая

Гудел вентилятор. Володечка откинулся в кресле. После долгой работы на клавиатуре пальцы немного поскрипывали, когда он сжимал их в легкие кулаки. Он посмотрел на часы. Оставалось еще свободных сорок пять минут.

— Любопытно выходит, — сказал он сам себе вслух, фиксируя мысль посредством бессмысленного колебания воздуха. — Если у человека есть серьезное предназначение, цель, талант как средство воплощения этой цели, то он получается — раб. Он идет по своей линии не сворачивая, потому что в его жизни отсутствуют все другие варианты: он не может умереть раньше времени, сесть в тюрьму, убить кого-нибудь раньше времени... Никакой свободы, разве что

лишний глоток сока в жаркий день. Никакой!.. Зато человек незначительный и бесталанный совершенно независим в своем выборе, что хочет, то и делает! Судя по всему, я человек незначительный,— сказал он себе.— Могу пользоваться полной свободой...— сказал и перевел взгляд с клавиатуры на экран дисплея.

Сквозь стекло на Володечку смотрел, вероятно, так же, как и Светлана, не существующий неприятный мужик. Мужик был квадратный, в сапогах и штанах-галифе, коротко стриженный. Он держал в красной ручище свою неудачно подобранную шляпу.

— Значит, папа у нашей Светы не идеал! — скривил губы Володечка и выключил компьютер.

Квадратный мужик растворился в угасающей электронно-лучевой трубке, за окном уже настырно сигнарила машина. Нужно было ехать. Володечка походил по квартире, собрался, рассовал по карманам деньги и, легко захлопнув дверь, сбежал по ступенькам вниз. Перед глазами его неотступно стояло узкое любимое лицо с черными, как кофейные чашечки, большими глазами. Уже возле машины у Володечки возникла новая идея, заставившая вернуться в квартиру. Он только махнул рукой Нине, сидящей за рулем, чтобы немного подождала его и наконец перестала сигналить.

Легко взбежав обратно по лестнице, Володечка замер на миг от изумления и восторга. «Поймал! — мелькнуло в его голове.— Поймал гаденыша!»

На коленях рядом с хорошо запертой дверью стоял маленький мальчик. По дерматину бегали пальчики-циркули, измеряя расстояние от заклепки до заклепки. Абсолютно бесшумно сутенер подкрался сзади к ребенку, схватил его руку за запястье и жестоко вывернул ее за спину. Спички выскочили из ладони Геночки, и красный дельтаплан был растоптан о кафельный пол.

— Ты что делаешь, сволочь?! — Весь во власти своей идеи, Володечка втащил мальчика в квартиру.— Ты зачем имущество граждан поджигаешь? Пироман ты этакий! — Он толкнул Геночку, и тот оказался неподвижно сидящим на диване.— Если не хочешь, чтобы я тебя милиции сдал, сиди пока смиренно и смотри!

— А на что надо смотреть? — спросил Геночка.

— Гореть надо душой,— объяснил Володечка.— Ты вот поджогами развлекаешься, красоту уничтожаешь, а я ее создал! Смотри, это не существующий идеал. Женщина... я ее вычислил и синтезировал.

Пока Володечка возился с огромным принтером для цветной печати, за неимением спичек мальчик грыз ногти. После длительных манипуляций принтер с гудением выплонул крупноформатную фотографию Светланы. Володечка взял фотографию за верхние углы и развернул плакатом перед ребенком.

— А она что, проститутка? — предположил умный ребенок.

— Вот не знаю.. — На миг Володечку охватило сомнение.— Ну какая же она проститутка? — нашелся он.— Как может быть проституткой женщина, которой на свете нет и никогда не было, все равно как умерла, понял? А если хочешь посмотреть на проститутку, то поехали со мной, я тебе их живьем покажу.

— Мне все равно,— вяло покивал мальчик.— Меня ваши девочки не волнуют, неубедительно.— В глазах его на секунду появился блеск.— Убедительно, когда вата горит

Черная «Волга» генерального прокурора стрелой неслась по шоссе. Пепел рывками падал с сигареты. Нина, сидя за рулем, затягивалась редко, и длинная сигарета просто истлела в ее красивой руке.

— А что это у тебя мокрое такое в рулоне? — спросила она и закашлялась.

— Это идеал,— объяснил Володечка.

Маленький пироман сидел на заднем сиденье молча, он разглядывал дорогу, ему было любопытно. Мелькали за зеленью деревянные некрашенные дачи, заборы и колодцы.

Машина въехала в поселок и остановилась у больших железных ворот. Нина щелчком отбросила окурки, и он ударился о железо, рассыпавшись красными сухими искрами.

Ворота заперли изнутри. Володечка с шофером-проституткой, увлекая за собой Геночку, вошли в большой прокурорский дом. На долгое время оставленный без присмотра юный пироман, распаленный видом деревянных строений, осматривал двери. Но двери были либо цельноструганные, крашенные, либо обитые металлом, либо пластиковые. Он бродил по комнатам меж зеркал и

полировки, пока не пересчитал их все. Утомившись, Геночка присоединился к собравшейся в доме компании.

В квадратной большой комнате был поставлен посередине стол. Прямо над столом к стене прикреплен большой фотопортрет Образа. И полуголые проститутки, сидящие на высоких стульях, были все заgrimированы под этот портрет.

Скрипело красное дерево, жирно пузырилась в вазочках красная и черная икра. Летали в тонких руках зажженные сигареты. Как из огнетушителей пена, било из бутылок шампанское, оно заливало белые платья.

Володечка поднялся из-за стола навстречу ребенку.

— Разрешите представить,— торжественно объявил он.— Наш юный огнепоклонник и борец за социальное равенство.

— Мальчик, мальчик,— заверещали девицы, тоже выскакивая из-за стола.— Мальчик, а сколько тебе лет? Мальчик, хочешь, выпей шампанского, оно сладкое!..

### Глава пятая

В щель сквозь металлический ставень Михаилу Михайловичу, тихо пробравшемуся во двор, было слышно каждое слово, но видно ничего не было, какое-то мелькание. Сделав знак трем милиционерам, сопровождающим его в облаве, Михаил Михайлович осторожными шагами подошел к двери. Под неловкой ногой крылечко сильно скрипнуло. Вздуродившись от этого скрипа, Михаил Михайлович сильным пинком растворил дверь. В полутьме мелькнули зеркала, полировка, стекла, обои в цветочек, полные пепельницы.

В два прыжка Михаил Михайлович достиг той комнаты, где происходила оргия. Он увидел белые платья и одинаковые лица сквозь брызги шампанского, рванул кобуру, сделал шаг вперед, наступил на шнурок и полетел на пол. Он не понял причины своего падения и, дважды выстрелив в люстру, гаркнул:

— Всем оставаться на местах!..

— Облава! — расхохоталась Нина и, глядя на следователя сверху вниз, спросила: — Может, шампанского выпьете? А то перебьете нас, как куропаток, кто отвечать будет?

Михаил Михайлович, разобравшись в причине своего падения, завязал шнурки и, оставив компанию на попечение подоспевших милиционеров, вышел во двор.

Открыли ворота. Въехал большой автобус с нулевым номером над стеклянным лбом и рекламой пепси-колы на свежавыкрашенном боку. За автобусом вкатился, брызгая грязными крыльями и пофыркивая выхлопной трубой, сильно потрепанный милицейский «ворон».

Минут через десять проституток загрузили в автобус, а молодого сутенера Михаил Михайлович вежливо пригласил ехать с собой вместе в «вороне».

— Всех устроили? — спросил он, прежде чем захлопнуть дверцу.

— Да двое смыслись,— грустно отозвался милиционер, наконец-то пересчитавший одинаковых проституток.— Пацан утек мелкий и одна штука стандартного вида потерялась.

С раздражением Михаил Михайлович изо всей силы захлопнул дверцу машины.

Уже в отделении милиции, в уютной своей комнатке, он, потирая замерзшие ладони, заварил чаю. Достал из сейфа, протер от пыли и поставил на стол мощную лампу. Он включил лампу, направил ее, сияющую, в лицо Володечки и, прихлебывая чай, голосом очень усталого человека сказал:

— Какие суммы вы взимали с женщин,— Михаил Михайлович не удержался, поправил лампу,— когда поставляли их зарубежному негритянскому, а также зарубежному белому клиенту, а также отечественному клиенту? — Ему хотелось посылнее ослепить преступника.

— Да погоди, опер, не суепись.— Володечка прикрывался рукой.— Убери прожектор. И скажи мне, дружок, девочки-то мои где?

— Я вам, гражданин, не дружок. Дружок в будке кость грызет. В аквариуме плавают твои девушки! Через полчаса, гражданин, будет ордер на ваше задержание, и надеюсь, что мы с вами полюбовно..

— А в чем вы хотите меня обвинить? — Глаза Володечки превратились в узкие, с металлическим отливом щелочки.— В чем мое преступление?

— Преступление? Тут по совокупности не одна статья у нас получается. Вот смотрите-ка.— Михаил Михайлович демонстративно правой рукой загибал пальцы на левой руке. Володечка прислушался. Снизу, из аквариума, доносился женский визг, это дежурные милиционеры щупали роскошных даровых девок.— Сводничество, валютные спекуляции, растление малолетних...— Четвертый палец не хотел загибаться, Михаил Михайлович надавил, и палец с хрустом подчинился.— Незаконное пользование автомобилем — черная «Волга», — а также дачей. Кстати, и вопрос: кому у нас эта дача принадлежит? (Володечка сидел на стуле и улыбался.) Ну ладно.— Кряхтя, Михаил Михайлович поднялся, походил по кабинету, непослушной рукой добыл какую-то папку из сейфа, заглянул туда, полюбил палец, полистал, еще заглянул. В ярком свете лампы хорошо было видно, как он изменился в лице.— Ну, вопрос с дачей пока отпал,— сказал он уже не так уверенно.

— И все остальные тоже отпали,— проинформировал Володечка.— Вы, между прочим, товарищ следователь, нам праздник испортили, и мы, между прочим, будем жаловаться.

— Жалуйтесь, пожалуйста.— Михаил Михайлович бухнулся обратно на стул и сразу выключил лампу.— Пишите куда хотите!

Наглый подросток поднялся и, легко переставив свой стул на другое место, рядом со стулом следователя, взял бережно в свои руки безвольную руку Михаила Михайловича и загнул на ней первый палец.

— Растления малолетних не было, самой молодой из девочек вчера исполнилось восемнадцать лет. Валютных операций не было, последний доллар я на мороженое для пацанов истратил, сутенерство,— он завернул третий палец,— такой и статьи-то нет... А что касается черной «Волги»...

— Не надо про черную «Волгу», — прошептал Михаил Михайлович.— И про дачу не надо...— Он отобрал у подростка свою руку, набрал номер и сразу спросил в трубку: — Слушай-ка, Мирошниченко, ну что у нас там с ордером?.. Ага, понял.— Лицо его окаменело и позеленело.— Ага, так точно... Нет, не за что. Будет исполнено, точно так, то есть я хотел сказать так точно. А что же сам?.. Боже мой... Да нет, Мирошниченко я в бога не верую конечно, так и поступлю.. — Он положил трубку на рычажки казенного аппарата, повернул голову и с близкого расстояния уперся глазами в глаза сутенеру

— Извинения приносить будете? — спросил тот

Принесу — Брови Михаила Михайловича съехались махровыми тучками к переносице — Почему же не принести если ошибся Искренне прошу простить за то, что праздник испортил

— Не праздник это был,— мечтательно возразил Володечка.— День Образа

— А фамилия Образа, простите, как будет?

— Ее зовут Светлана. Она рождена моей мечтой. А вы мою мечту похоронили, в белом гробу С красными цветами!

«Образ,— отметил про себя Михаил Михайлович.— Ну, вероятно Образ — это кличка, как бы не пришлось еще раз приносить извинения»

Пошел дождь, в небе заскрежетало. Михаил Михайлович стоя на пороге отделения милиции и наблюдая, как проститутки во главе с подростком-сутенером ловят грузовое такси, мок и злился. Вода ручьями текла по его лицу. Молнии выбеливали город. «Я тебя все равно посажу,— думал следователь.— Посажу погоди, милоч. Посажу!»

## Глава шестая

Оля услышала выстрел, дернулась и разбила себе губы о зеркало. Она стояла по пояс голая в туалетной комнате и разглядывала испуганное свое отражение. На сильно отражающем лампочку стекле остался красный след помады, и с него потекла вниз маленькая капля крови. Во дворе лязгнули ворота, и загудело сразу несколько моторов.

Неплохо ориентируясь в черных извилистых коридорах прокурорской усадьбы, Оля нашла окно выходящее на другую сторону дома, и, тихонечко растворив ставни, выскользнула на помертвевшую осенью цветочную клумбу. Под животом проститутки что-то закопошилось и всхлипнуло.

— Тихо, пожалуйста, тихо — попросил Геночка.— Не бойтесь, это я, мальчик!

— Мальчик?! — фыркнула недовольно Ольга, но тут же быстро ощупала его маленькое тело.— Не ушибся?

— Не шумите, пожалуйста,— попросил Геночка.— Нам нужно выждать немножко.

Обнявшись, они лежали в кустах, прислушиваясь к шуму моторов и шороху милицейских сапог.

— А трудно торговать своим телом? — наконец шепотом спросил мальчик.

— Да нет, ерунда,— отозвалась Ольга.— Какая разница, чем торговать... Вопрос формы... Трудно, когда душой.

— Какой формы?

— Внешней формы, неужели непонятно? Ты, что такое макияж, знаешь?

— Штукатурка?

— Она самая. Хорошая помада нужна, духи...

— Нельзя торговать тем, что горит,— серьезным шепотом заключил Геночка.— А штукатурка не горит, она только чернеет и осыпается на асфальт.

Через полчаса, задыхаясь от бега, они вышли на шоссе, и проститутка подняла руку. Машины проносились на скорости с шорохом. Наконец долгожданный скрип протекторов, и «Жигули» осветились изнутри.

— Ой, обманули,— сказал нерусский голос, когда они уже закрыли за собой дверцы, с двух сторон попадав на сиденье сзади.— Я думал, две красивые девушки сигналият ночью. А девушка одна.— Он с удовольствием нажал педаль газа.— И мальчик один. Но я не специалист по мальчикам, не люблю, знаешь Меня зовут Заза. А как зовут вас, мальчик? Где мы живем?

Геночку подвезли к самому дому Когда он вышел, Ольга сама сильно поцеловала Зазу в губы, перебравшись на переднее сиденье, объяснила, сколько она стоит в рублях и в валюте, и от восторга даже укусила его за щетинистую щеку.

— Поедем к тебе? — спросил Заза.— Проглотим коньяка, я простыл..

Заза сидел в удобном кресле, а Ольга опять заgrimировалась, спрятавшись в маленькой своей ванной. Почему она еще раз повторила портрет, принесенный юным сутенером в загородный дом, объяснить Ольга не смогла, но когда вышла к Зазе, тот уронил на паркет рюмочку, из которой жирными губами сосал коньяк. Глаза его округлились. Бурдюк выскочил из кресла и, бряцая золотом, заскакал вокруг Ольги как резиновый по комнате.

— Жанночка... Жанночка...— напевал он гнусным голосом.

— Почему же Жанночка? — удивилась Ольга. Она присела на край софы, заостря обнаженное колено навстречу люстре и взгляду покупателя.

— Не знаю Но давай я буду называть тебя Жанночка. Мне так больше нравится!

— Все равно,— Ольга качнула головой,— называй как хочешь.

Зазвонил на журнальном столике, заскрежетал телефон, но они не сняли трубку, даже когда аппарат устало выплюнул десятый гудок. Черные волосы Ольги дрожали на свежем выпуклом крахмале подушки, как трещины на свежем фаянсе. Заза расплзался вокруг нее мягко, недопеченным теплым блином накрывая все, кроме головы, и облепливая теплыми потными пальцами хорошо нарисованное лицо.

— Я люблю тебя, Жанночка. — шептал он.

Ольга не сопротивлялась, повернув голову — трещины на фаянсе вздрогнули и заскрипели,— она разглядывала широкие брюки Зазы, висящие на стуле, из заднего огромного кармана торчал огромный бумажник

— Пятьсот рублей дам, хочешь, Жанночка? А?

Она не отвечала, только вертела головой, больше ничем Ольга двинуть не могла. Опять завыл телефон

— Возьми трубку,— прохрипела она.— Возьми трубку, иначе он придет сюда!

Лампочка в ночнике дрогнула и с шипеньем перегорела. Заза задвигался, урча, как мотоцикл. Обломилась ножка софы, и оба покатались на пол. Ольга, заикаясь, с трудом перевода дыхание, пыталась объяснить происходящее хотя бы себе, но на нее, на голову, путаясь в волосах, в свете уличных фонарей уже посыпались бумажные четырехугольники с изображением Ленина, красные, зеленые и коричневые, хрустящие.

— Жанночка,— шипел, как проколотый мяч, Заза,— Жанночка...— Он целовал ей руки, клеил бумажки с портретами на липкую от пота, дрожащую от бешенства грудь.

## Глава седьмая

Обожая ночь, наслаждаясь каждым прикосновением прохладной и прозрачной городской темноты, Володечка повесив на крюк трубку и выйдя из будки телефона-автомата, нарочно пошел медленным шагом. Дела не волновали подростка. Ему вдруг захотелось просто в одиночестве подумать, пройтись под звездным куполом, вдруг очистившимся после дождя, насладиться этой разлегшейся по асфальту и бетону невероятной тишиной.

«Я очень незначителен, обыкновенный подонок,— размышлял он.— Я не Эль Греко и не Плиний Младший, я не Эдисон и не Сенека, поэтому я свободен в каждом своем движении, в каждом своем шаге... Они сидели в тюрьме собственного предназначения, а у меня нет никакого предназначения. И я волен совершать все, все, что придет в голову, удовлетворять всякое собственное желание. Могу в любой момент убить... Могу в любой момент умереть... Могу поджечь этот город и поджигать его столько раз, сколько захочу... Вот жаль, он не сгорит никогда. Чтобы он сгорел, уже нужно предназначение».

Геночка не мог заснуть. Мальчик извертелся в своей постели, накручивая на маленькое тело коконом простыню, потом, в середине ночи, мальчик будто выпал в бушующее пламя, наполненное детским криком и нестерпимой вонью. Из дыма и красного пламени перед мальчиком за миг до пробуждения явилось двуцветное женское лицо, крепко прищипленное кнопками к стене прокурорской дачи.

Не увидев в окне Ольги света, но услышав через дверь шум драки (падали предметы, билось что-то стеклянное), Володечка открыл дверь своим ключом — у него были ключи от квартир всех любимых женщин — и быстрым шагом вошел.

Проститутка, выдравшись, как из кустов орешника, из пальцев Зазы, метнулась к стене и зажгла верхний свет.

— В чем дело, Оленька? — спросил Володечка.— Товарищ не хочет платить советскими деньгами?

— Нет! — с трудом выговорила Ольга.— Но я больше не могу... Убери его, Володечка... Денег! Денег хватит уже! — Босой ногой она наступила на сторублевку.— Хватит... убери его... сама заплачу, только убери!..

— Сударь,— вежливо сказал Володечка, обращаясь к Зазе, стоящему на коленях посреди комнаты,— тут есть предложение вам отсюда быстрым шагом выйти. Вам помочь одеться?

— Ты, мальчик,— Заза поднялся с колен и, набычив голову, вращая глазами, выпятив руки, унизанные металлом, пошел на подростка,— ты вышел и не вошел! Я и моя невеста,— его горло немного перекривило,— Жанночка!.. — захрипел он.— Убью!

— Жанночка? — удивился Володечка.— То бишь Жанна... Ага... (Ольга уже куталась в простыню.) Теперь-то я понял, отчего погибла моя невеста Светлана.— Быстрым движением он ударил Зазу в пах, и тот упал.— Она отравилась газом. Вот этакая свинья попользовалась девочкой... — Он ударил уже лежащего на спине еще раз ногой.— Она не смогла жить и засунула голову в духовку!

— О чем ты? — успокаиваясь и закуривая, спросила Ольга.

— Фантазирую. Ты видела фотографию не существующей моей любимой женщины... Кроме фотографии должна быть ведь еще и биография. А мне лучше думать, что она умерла, чем вот под таким лежать и умирать каждую ночь.

— А думаешь, с негром лучше? — зло спросила Ольга, роняя пепел Зазе в разинутый рот.

— Думаю, лучше! От них валютные дети рождаются и паспорта граждан республики Замбези.

— А с двумя неграми?

— С двумя не знаю... Впрочем, я и с одним не пробовал.— Володечка улыбнулся.— Оля, десять процентов за труды? Я надеюсь... — Он опять пнул поверженного Зазу.

Они сели на кухне, не желая прибираться комнату и чтобы дать Зазе тихо самому уйти, пили коньяк, Ольга накинула в ванной халатик и опять подправила попорченный грим.

— Слушай, а давай я буду называть тебя сегодня Светланой? — спросил ласково Володечка.— Что тебе стоит, Оля, ты же привыкла к чужим именам.

— Называй как хочешь, — пожала плечами она. — Одному Жанночка, — она изобразила Зазу, — другому Светлана, отсутствующее в мире лицо.

— Это сейчас твое лицо, Света! — сказал Володечка и добавил: — В общем, будем работать с этим лицом, думаю, можно будет повисить ставки... — И после паузы сказал нежно и лилейно: — Любимая Света... любимая!

Володечка резал ветчину, когда полуодетый Заза, сверкая золотом, вкатился в кухню, хрипя: «Жанночка...» Он ухватил обеими руками Ольгу, халат с треском порвался, Ольга истошно завизжала.

Одной рукой подросток развернул Зазу за жирное плечо, а другой ударил два раза в живот, один раз в сердце, и когда тот повалился на колени, целуя вторую, свободную, хоть и перепачканную прилипшим куском ветчины руку подростка, ударил ножом в вылезавший глаз. Ему казалось, что действие происходит на экране компьютера.

## Глава восьмая

Дождь кончился, и мокро над утренним небом горело белое солнце. Михаил Михайлович легким нажимом руки открыл дверь. На кухне вспыхивала фото-вспышка, бегали двое с рулеткой, усталый голос диктовал протокол, подробности места преступления. Михаил Михайлович вошел в комнату.

— Приветик, — присаживаясь напротив Володечки, ласково, но строго сказал он. — Давно не виделись.

— Часов десять, — сказал подросток и сухо посмотрел на следователя. — Прошу учесть, что милицию я вызвал сам и даю полное чистосердечное признание.

— Давай, давай, — вздохнул Михаил Михайлович. — А что так?

— Так приятнее, — Володечка улыбался, — и свидетель под рукой, она в ванной комнате блюет, в себя прийти до сих пор не может, но я ее просил, мы не будем расходиться в показаниях.

— Да, я понимаю: смотрю, он идет, поскользнулся на апельсиновой корке и упал на нож — и так двенадцать раз подряд.

— Ничего подобного. — Володечка встал и распахнул на окне шторы, подставляя лицо свежему воздуху и солнцу, электрическим током обжигающему закрытые глаза и щеки и вызывающему дрожь. — Я его ударил четыре раза ножом вполне сознательно. Он приставал к моей покойной невесте...

— Как покойной? Ты же говоришь — она в ванной блюет?

— Михаил Михайлович, это не для протокола, это от солнечного света, от последней стыковки со свободой, мне же меньше десяти лет никак дать не могут?

— Нет, никак не могут.

— Ну вот я и говорю... Это мои фантазии... что была у меня невеста, что он ее убил, а я в соответствии — его.

— Не знаю, по-моему, труп на кухне совершенно реален. — Михаил Михайлович повел носом. — По-моему, он даже попахивает?

— Он и живой попахивал. — Володечка вернулся на свой стул и тихо присел.

— А меня на свадьбу пригласили? — вдруг ни к селу ни к городу сказал Михаил Михайлович. — Нет, тебе больше десятки не дадут. Слушай, а может, ты душевнобольной?

— Абсолютно нормален. Больной психически человек лишен способности мечтать, а я ее не лишен.

— Тоже верно... Слушай, а ты что, несовершеннолетний у нас?

Володечка покивал.

— Ну тогда, может, и лет восемь получишь. Тем более все добровольно, сам вызвал, сам рассказал, но на экспертизу я тебя все-таки пошлю.

— Зачем это?

— А затем, чтобы за нормального сочли!

## Глава девятая

На свадьбу Михаил Михайлович шел с тяжелым сердцем. Он долго рылся в шкафу в поисках мундира, молодая упрасивала прийти следователя прокуратуры в мундире и при иконостасе. Михаил Михайлович не надевал мундир лет пять, но за эти годы, сам не заметив, следователь немного раздался в плечах и в заду, и мундир ужимал при ходьбе эти два места.

— Генерал пришел! Какая свадьба без генерала?! — увидев Михаила Михайловича, в окно закричала Зинаида, она протирала бокалы. — И какой! Во главе стола его посадим, по правую руку.

— По-моему, он не генерал, — усомнился Николай Николаевич, протискиваясь меж столов к двери встречать вслед за супругой. — По-моему, он старший лейтенант. — В голосе Николая было большое сомнение, сам он точно не помнил, служил он в армии или нет, таким сильным был многолетний запой, что если и служил, то забыл как. Хотя военный билет с записью «рядовой» хранил исправно с остальными документами в левом внутреннем кармане пиджака, всегда при себе.

Михаила Михайловича посадили за пустой еще стол, и когда он выпивал индивидуально с женихом, невеста, тихонечко подкравшись сзади, наклеила на шершавое золото погон две большие красные звезды, так что лейтенант-следователь не заметил подмены себя. Звезды невеста вырезала накануне из обложки журнала «Советский воин» и намазала их крепко разведенным эпоксидным клеем.

— Смолой пахнет, — опрокинув рюмочку, сказал Михаил Михайлович.

— А на свадьбе завсегда смолой пахнет! — боясь, что следователь обнаружит звезды на своих плечах, испугался Николай. — Свадьба-то, она как в лесу в бурю, елки от ветра падают... Вот и пахнет!

Деревенские родственники Николаевича прибыли гуртом, человек семьдесят, и сразу заполнили квартиру. Они заняли пять столов во всех трех комнатах, так что под визг и гармошку гости из жилуправления как-то потерялись, только торчал как осиновый кол слева от молодоженов за столом директор конторы в белом пиджаке, с игрушечной блестящей медалью. Дворники и кочегары здесь тоже совсем были незаметны, всего человек восемь тянулись к водке тайком под скатертью, блевали и писали стихи, положив на колени засаленные половинки школьных тетрадей.

Когда прибыли опоздавшие к началу родичи невесты, еще человек сорок, пришлось потесниться, докупить десять ящиков водки, и из квартиры стало не выйти. Здесь над столом и поднялся белый пиджак начальника.

— Кремнисто живем, но спички, товарищи, не портим, как говорится, зря в зубах ковырять не станем. — Директор жилконторы, начав говорить тост, умудрился сосредоточить внимание. Визг, гармошка, включенный телевизор — все смолкло. — Кремнисто и хорошо, сытно живем, душа ведь, она как серная головка. — Он потрогал медальку пальцем. — Чирк — и готово! Но это одна душа. А если соединить две души вместе, то чирк получится куда сильнее. Вот и сегодня на почве нашей жилконторы мы соединяем две души, через районное отделение загса мы их уже обязали, а теперь, товарищи, будем поздравлять до упора! — Он нарочито понюхал свой стакан. — Что-то водка горчит!

И свадьба хором рывкнула.

— Горько!

Михаил Михайлович заплакал и, подавшись назад, с трудом вылез в окно, что и спасло ему жизнь. Михаилу Михайловичу было грустно, а вовсе не горько, он хотел сейчас же ехать в тюрьму и допросить еще раз подростка-сутенера. «Как же ты докатился? Как, Володечка, в свои-то лета доехал до такого? — думал Михаил Михайлович, медленно волоча ноги, уходя от дома номер один по улице Стеклова. — Как же образ светлый?. Как это?. «Туманный стан, шелками схваченный, в девичьем движется окне...» Не то!»

Володечка лежал лицом вниз на нарах в следственном изоляторе, он хотел заснуть и уже заснул, но сон был один, как явь, та же камера, те же стены, те же жалюзи на окне, только во сне на стене было закреплено черно-белое изображение, фотография Светланы, а наяву изображения этого не было, одни только матерные надписи.

Погруженный в какие-то собственные мысли, Михаил Михайлович не обратил особого внимания на то, что оказался в отделении милиции. Он очнулся от грез, только когда получил сильный удар сапогом под дых. Два знакомых милиционера заломили следователю за спину руки и поставили на колени, а близкий друг, участковый инспектор, бил его ногами в грудную клетку.

— За что? — спросил следователь прокуратуры. — Это же я!

Сапог отъехал немного назад и с силой врезался в мягкую грудь, звякнули медали.

— Не надо, больно!..

— Над погонами глумишься?! — тихим и страшным голосом сказал участковый и почесал мизинцем черную бородавку на своем носу.— Ты что, гад, на плечи насадил?!

Собралась большая толпа милиционеров. Они стояли с серыми лицами инквизиторов из школьного учебника, угрюмые и неподвижные, и в праведной расправе участия не принимали.

Наконец с Михаила Михайловича содрали китель и как подачку кинули ему, сидящему на полу, этот китель прямо в руки. Тут только он увидел липовые звезды и попытался ногтями соскоблить их с золотых погон.

— Родину продал, сука! — Участковый последний раз сильно ударил следователя сапогом по шее, отвернулся и, плача, сказал: — Не наше ведомство, ребята! Вызывайте КГБ, пусть гниду увезут в свое Лефортово!

— Свадьба... — выплевывая выбитые зубы, прошипел Михаил Михайлович.— Там... — Он указал направление.— Там...

— А где же ваш генерал?— спрашивал настырно кто-то из гостей.— Куда ж девался?

Зинаида, с трудом развернувшись, искала глазами Михаила Михайловича.

— Не мог он уйти. По малой нужде пошел... — улыбнулась она.

— Куда пошел-то?

— В сортир пошел, до ветру в смысле!

— Слышал? Генерал-то до ветру пошел! — рывкнул кто-то, и сразу перебила залихватски гармошка, ее поддержал мощный рев телевизора — передавали то ли хоккей, то ли футбол, экрана все равно видно не было.

В окно снаружи сильно постучали. Невеста, задирая фату и утирая ею, шелковой и мягкой, пьяно слезящиеся глаза, посмотрела. За окном торчал большой золотой раструб. И сразу, вплетаясь в общий рев, бухнул барабан.

— Батюшки, музыканты приехали! — крикнула она.

Музкоманду пришлось впустить через открытое Михаилом Михайловичем окно, последним влез барабанщик, протащил свой грязный барабан, и Николай быстро запер окно на шпингалет

— Это чтобы никто больше не утек,— объяснил он своей невесте.— Как твой генерал!

«Водки не хватит,— подумала невеста.— Нужно за водкой послать.— Она беспомощно посмотрела, через комнату прохода не было.— Пушай все сперва выпьют, а потом и пройти можно будет,— успокоила она себя.— Кому надо еще будет, тот пусть и сбегает!»

Геночка спустился по лестнице тихо, крадучись, в тот самый миг, когда Михаила Михайловича уже сажали в специальную машину-автозак, чтобы отвезти в тюрьму, а Володечка уже находился в тюрьме, посаженный Михаилом Михайловичем, спал без сновидений на нарах и вот проснулся и уставился в потолок.

Мальчик приблизился к двери, хорошо обитой дерматином. Приложил ухо. За дверью кричало много голосов, бухал барабан, отчетливо долетел голос диктора: «Нашпединов проводит мяч, обходит Глагольева, передает Кипяткову!.. Гол!!!.. Какая жалость!..»

Пальцы живым циркулем обежали быстро заклепки.

— А наутро ему и говорят, что это не баба. Это Ломоносов! А точно не баба...

Мальчик достал из кармана спичечный коробок с красным дельтапланом на этикетке и ритуально лизнул его.

— А ты уйми ручищи-то, ирод, уйми лапы свои...

Спичка чиркнула о серную часть и, моментально пробив дерматин, с легким шипением вонзилась в дверь.

— А когда прошлого дня на похоронах музыку делали, барабан упал с балкона, а там семнадцатый этаж...

«Глаголев обходит Нашпединова, передача Ручьеву... Напряженный момент... Ну что ж ты делаешь! Харитонов на месте. Отлично сегодня работает Харитонов. Ничего не скажешь...»

— Горько! Горько!.. Горько!..

— А мне с вами потанцевать так хочется, аж поясницу ломит... Но что поделаешь, негде тут. Свадьба!

Дверь моментально вспыхнула вся целиком, и мальчик, отступая по кафелю лестничной площадки, еще несколько секунд любовался содеянным, потом бежал.

Огонь легко перекинулся в коридор, пожирая плащи и куртки, грудой завалившие узкую прихожую, ворвался в комнаты, мгновенно распространился в них, хватаясь огромными языками за мебель и хлопчатобумажные пиджаки, за легкие женские платья. Гости кинулись было на улицу, зазвенели все стекла, но взорвался обиженным скрежетом, пронзив пламя, перегревшийся телевизор.

Николай Николаевич, увидев, что ему не выйти, схватил со стола полную бутылку водки и одним глотком осушил, через несколько минут он заснул пьяный среди пожара, навсегда прекращая свой запой.

Невеста и четырнадцать человек гостей спаслись и были отправлены в городскую больницу, остальные от сильных ожогов погибли на месте.

### Часть 12

Три лаборанта в белых халатах поднатужились и втащили в просмотровый зал объемный план развития города. Лампочки на плане еще не горели; по полу, выхлясь среди мусора, волочился черный электрический провод с белым штепселем.

— А вы думаете, шнура хватит? — скептически разглядывая провод, ни к кому, собственно, не обращаясь, спросил главный архитектор города. На что два лаборанта пожалы плечами, а один отозвался низким голосом:

— Я полагаю, что не хватит, Геннадий Геннадьевич! Но тут ведь совершенно не важно... Тут...

— Что же тут? — Главный архитектор задержал разговорчивого лаборанта. — И что же тут важно, а? Молодой человек? Какому, так сказать, духовному идеалу служит данный план нашей столицы?

— Ну, понятное дело, — поежился как от холода лаборант, — противопожарная схема... Чтобы, если в одном месте аукнулось, в другом, так сказать, не откликнулось! Ваше, так сказать, Геннадий Геннадьевич, родное детище, — он заискивающе посмотрел в глаза главному, — дело всей вашей жизни!

Оставшись один в зале, Геннадий Геннадьевич долго, наверное, несколько часов, изучал такие знакомые стрелки на плане, схемы эвакуации населения в вариантах возгорания различных районов целиком и локально — отдельных домов. Его раздражало, что зеленые и желтые лампочки теперь никак нельзя зажечь и не выходит полнота картины. За окном на улице начиналась гроза, в просмотровом зале потемнело.

Геннадий Геннадьевич нащупал в кармане маленький электрический фонарик, он всегда носил его с собой, но не воспользовался, а быстро вышел, велел швейцару запереть и одолжил у него до завтра большой черный зонт. Швейцар только кланялся и кашлял.

Первое такси сильно обрызгало грязью главного архитектора города, зато второе облило грязью с ног до зонта, потом еще добавил хорошо рейсовый автобус, подбрасывая своих полузадохшихся пассажиров на выбоине, он гуднул и направил из-под колеса струю мазута прямо в лицо архитектора.

Ослепленный и оглушенный, Геннадий Геннадьевич уронил зонт и выхватил фонарик, бессмысленно махнул застревающим во мраке лучом. Ему показалось, что ползет он где-то во мраке на коленях в выставочном зале, пытаясь электрифицировать противопожарный план города.

— Садитесь!.. Да зонт подберите и фонарик спрячьте. А то подумать могут...

— Что же подумать? — слепо влезая на заднее сиденье остановившихся рядом «Жигулей», спросил архитектор и тут сообразил, что говорит знакомый голос. — Что же подумать? — переспросил он, протирая глаза.

— Раньше ты, Гена, был сообразительней! — Он узнал голос Михаила Михайловича и улыбнулся. — Куда тебя, домой?

— Домой. Всегда-то вы меня спасаете... Спасаете... — бормотал Геннадий Геннадьевич, опять ощущая себя Геночкой-поджигателем.

— Нет, врешь. — Михаил Михайлович вел машину внимательно и на светофорах останавливался еще при зеленом, ожидая красного. — Спас я тебя только однажды, помнишь?

— Помню, помню... Это вы имеете в виду, когда я свадьбу хотел поджечь?

— Но это был последний случай! — Красный огонек померк, и опять вспыхнул зеленый. — Не быть бы тебе, Гена, большим человеком, если б не я!

Вот знаешь, уже пятый год на пенсии, все пересчитываю, чего хорошего за свою жизнь произвел, и знаешь, кое-что... кое-что... — Михаил Михайлович закашлялся, и стало видно по его затылку, что он уже совершенно старик. — Кое-что сделано для правопорядка в человеческом обществе...

Геннадий Геннадьевич, отодвинув от себя подальше, насколько позволял салон машины, грязный зонт, развалился на сиденье и почему-то сразу вспомнил, как сорок лет назад отскабливал приклеенные эпоксидной смолой к погонам следователя бумажные красные звезды.

«Это еще кто кого спас», — меланхолично подумал он. Гроза вспыхнула белым, и дождь сразу перестал.

Геннадий Геннадьевич задумчиво вылез из машины, попрощался со старым знакомым, потом опомнился, захлопнул открытый было зонт и зашагал в обычном направлении, в переулочек. Ни одного человека навстречу главному архитектору не попадалось, только стояли кругом замершие разноцветные частные автомобили. Автомобили мокро блестели, они были разных марок и раздражали Геннадия Геннадьевича. Сам он личного транспорта не имел никогда, боялся сесть за руль.

Из-за косо стоящих баков с мусором медленно возник силуэт дворника в потрепанном ватнике. Дворник, размахивая метелочкой, обернул лицо к прохожему и сквозь осколки зубов со свистом пьяно поприветствовал. Белая шестнадцатизэтажная башня по правую руку уперлась крышей в серую низину неба, она тоже раздражала Геннадия Геннадьевича несовершенством.

— Володечка! — подозвал он дворника. — Володечка, будь так любезен, передай своему начальнику, чтобы... Я попросил бы его больше...

— Чего надо-то? — широко оскалился дворник.

— Я говорю, передай начальнику, чтобы больше не звонил и не привязывался ко мне по пустякам... В конце концов, это не мое дело все!

— А от меня вы чего же хотите? Я им не указ! Хотя скажу... Чево! Скажу. Вы одолжите мне рублей пять... Пять рублей, а я скажу!

«Несчастный человек, — размышлял Геннадий Геннадьевич, взбираясь по лестнице на свой четырнадцатый этаж. — Пьянство разрушает человека, как сырость строение рук человеческих... Дал я ему пять рублей, напьется, жену избьет! А какой был молодой! Какой он был молодой, этот дворник!»

На площадке десятого этажа главный архитектор остановился, он перевел с трудом дыхание и усталился на шикарную, обитую белым дерматином дверь. Рука нырнула в карман. Все вспыхнуло внутри Геннадия Геннадьевича, но рука несколько раз высекала пламя из зажигалки, и он успокоился: «Нельзя!»

За дверь, обитой дерматином, слышался звон фортепьяно и детский сильный голос — малышу лет пять, не больше, — пел на нерусском языке, а взрослый женский старческий голос его по-русски журил:

— Ты фальшивишь, Бурунди... Фальшивишь! Будешь фальшивить, летом к папе на каникулы в Замбези не поедешь. Петь почище надо!

— Сама бы почище! — огрызался уже по-русски черный ребенок.

Геннадий Геннадьевич добрался до своего четырнадцатого и долго звонил у собственной цельнометаллической двери, пока не вспомнил, что вся семья еще на даче и приедут жена, дети, внуки и еще тесть только через три дня. Тогда он открыл дверь своим ключом и вошел, подсвечивая себе фонариком, нашел выключатель и осторожно шелкнул — проводка не отсырела, током его не убило, но тотчас зазвонил в комнатах телефон. «Ну нет... Нет меня дома, — решил главный архитектор, снимая грязные ботинки, — нетути!»

Он не успел прилечь на теплый диван, как позвонили в дверь. Пришлось подняться, положить «Новости архитектуры», снять очки.

— Кто? — кратко спросил он.

— Вы простите, но это я, Николай Николаевич, директор жилуправления. — За дверь вежливо покашляли. — Откройте, пожалуйста!

Когда дверь открылась, Николай Николаевич, статный седой старик, оказался на пороге не один, рядом с ним, как, впрочем, и всегда, находилась его жена. Зинаида к старости сморщилась и потеряла в росте, но ее глаза так же горели, меняя цвет.

— А в чем, собственно, дело? Если вы по поводу кабеля, то это не ко мне! — Геннадий Геннадьевич почти кричал. — Сколько раз можно повторять? Не ко мне!

— Да нет, — сказала Зинаида, делая попытку проникнуть в роскошную квартиру, — другой вопрос.

— Какой же?! — Геннадий Геннадьевич протер стекла очков и надел их, пытаясь теперь смотреть в горящие глаза женщины. Он шурился. — Какой вопрос?

— А насчет крыши, — сказал Николай Николаевич и пролез в квартиру.

— Не ко мне, — стонал архитектор, угощая непрошенных гостей чаем. — Не ко мне все это... Мы только планируем, понимаете вы, мы только планируем! Мы немножко утверждаем. Но мы не чиним! — Он истерически мотал головой. — Сколько можно вникать? Мы не чиним, у нас из пяти проектов проходит один. И когда... Ну, в общем, мы за него не отвечаем... Вы говорите — крыша! Я мыслю не крышами и окнами, а как минимум микрорайонами и скверами!

— Понятно. — Зинаида тянула из блюдечка чай. — Но как же мы поступим с аварийной крышей?

— Да когда этот дом строили, меня на свете не было! — взвыл главный архитектор города. — Не было меня!

Маленький Бурунди с силой захлопнул крышку рояля и посмотрел на большую фотографию своего отца, висящую над телевизором в углу.

— Баба Нина, а рояль черный, как папа, и папа черный, как рояль, — заметил сметливый ребенок. — А я, как папа, черный, значит, я тоже рояль?

— Ты еще маленький, — успокаивала его бабушка. — Пойдем, я тебя покормлю, что ли, кашкой. Пойдем, Бурунди.

«Яду им в чай подлить, — думал главный архитектор города, угощая пирожными непрошеную пару. — До греха доведут! Угораздило меня сюда сменяться... Какие возможности были!»

Когда зазвонил телефон, Геннадий Геннадьевич снял трубку охотнее обычного.

— Михаил Михайлович?.. Что? Портфель в вашей машине забыл. План города... Вы полистали? Ну и как вам?.. Да, мое произведение. Уже электрическую схему сделали, сегодня ставили, завтра монтировать будем... Откуда же строительство? Все, что на плане, давно стоит. Это противопожарный план... Как недостроено? То есть как не стоит? По нашим данным, все, что там нарисовано, уже лет двадцать назад задействовано и функционирует.

С телефонной трубкой в руках он неуверенно повернулся к непрошеным гостям, глаза Зинаиды сверкнули, а Николай Николаевич спросил, стучая палкой по полу, застеленному ковром

— А насчет крыши как? Течет, между прочим, верхними этажами.

Володечка, спрятавшись за баком, оглушил четвертинку одним глотком, закусить оказалось нечем, и, порывшись в баке, он достал кусок хлеба оттуда и кусок колбасы, потревожив ужин застывшего в мусоре большого кота. Кот с мявом выпрыгнул, а Володечка, утерев продукты о ватник, попытался их съесть.

— Супу моего тебе мало? — Между баками, уперев руки в бока, стояла Сонька. — Супу тебе мало варю, в помойке роешься... А что ты, пьяный, что ли? — Она шагнула к мужу и потянула носом. — Пьяный, сука! — завопила она и, ухватив сидящего на асфальте Володечку, двинула его головой о гнилой металл бака. — Ты где деньги украл?

— Убью! — поднимаясь во весь рост, выплюнул одно слово вместе с двумя гнилыми зубами и кровью дворник и надвинулся на жену.

— Ну убей, убей! — Она отступила немного но смотрела нагло. — Убей, я тебя десять лет ждала, убей — я еще десять подожду!

### Часть 13

Геннадий Геннадьевич вылез из такси, расплатившись, постоял немного и сильно захлопнул за чем-то открытый зонт. Зашагал в обычном направлении, в переулочек. Ни одного человека навстречу ему не попалось, только стояли кругом замершие разноцветные частные автомобили. Автомобили мокро блестели, они были разных марок и раздражали Геннадия Геннадьевича. Сам он личного транспорта не имел никогда: боялся сесть за руль.

Из-за косо стоящих баков с мусором медленно возник силуэт старухи дворничихи. Полусумасшедшая бабка работала здесь уже лет тридцать. Одноглазая, всегда в косынке, скрывающей отсутствие волос, она была ненормально со всеми разговорчива. Геннадий Геннадьевич жалел старуху, в одно мгновение потерявшую на собственной свадьбе и мужа, и родственников, и всех сослужив-

цев. Старуха не знала о причине того пожара, о подлинной причине знал только главный архитектор города, но он никогда ей не скажет об этом — так определил для себя Геннадий Геннадьевич.

— Добрый вечер!

Дворничиха покивала и завела так, что он был вынужден остановиться и слушать.

— На могилку вчера ездила, мужа навестила... Николая Николаевича навестила, муженечка. Но нужно Николаю Николаевичу оградку подправить, а у меня, старухи, какие силы.— Единственный глаз Зинаиды смотрел яркой звездой, но косо куда-то в сырое небо.— Помогли бы, Геннадий Геннадьевич, мученику Николаю Николаевичу могилку подправить.

— План. План...— отступая от старухи, бубнил архитектор.— План у меня противопожарный не горит... лампочки не подключили.— Он задом вошел в подъезд и попробовал вызвать лифт. Лифт не работал, у главного заболело сердце.

Добравшись до пятого этажа, он открыл окно и, сильно облокотившись на подоконник, постарался справиться с болью.

Внизу у подъезда собрались музыканты. Поблескивали трубы, пробно бухнул пару раз барабан.

«Кого сегодня-то хороним? — вяло подумал Геннадий Геннадьевич и продолжил подъем.— Хороним...— Он и сам не заметил, как сунул к себе в карман лежащий на подоконнике, забытый кем-то коробок спичек с красным дельта-планом на этикетке.— Хоронят...» Только на площадке седьмого этажа он вспомнил, что это не похороны, а, напротив, свадьба. Серебряная свадьба Володечки. «Сколько прошло лет? — спросил себя Геннадий Геннадьевич.— Неужели тридцать?» Стоя у раскрытого окна и глядя в пропасть вниз, он вспомнил, как бежал за подростком, как по его просьбе стоял в очереди за апельсинами. Как они вместе навещали Светлану, чуть не погибшую от соблазненных рук в больнице. Потом была их свадьба. «А теперь, значит... Старуху жалко... Нужно будет ей, что ли, пятьдесят рублей дать, чтобы Николаю Николаевичу оградку подправила».

На девятом этаже на площадке царил специфический московский запах — смесь запахов жареного кофе и песьих экскрементов. Окно на лестнице было забито гвоздями. Геннадий Геннадьевич, держась за сердце, под звонкий лай за дверями взобрался еще на пролет и распахнул окно десятого этажа.

Внизу маленькие музыканты наполняли влажный вечер своей скрипучей музыкой. Геннадий Геннадьевич слезящимися глазами смотрел в пропасть. За музыкантами во дворе были две осклизлые ямы — яма от стола и яма от дерева, глина блестела под фонарем. Фонарь мигал, и в глазах архитектора двоились городские строения. На какой-то миг ему почудилось, что стоит он опять в демонстрационном зале и мигают неустойчиво на противопожарном макете города разноцветные лампочки. Но это разгорались в других домах окна.

Звонкий лай, эхо подъезда, музыка, снизу с воздухом врывающаяся в раскрытое окно, шум мотора. Архитектор посмотрел строго вниз, у подъезда остановилась длинная черная машина. Из машины вышли женщина в белом платье и мужчина, отсюда, сверху, определить их возраст было невозможно, музыканты принялись сильнее, собака как взбесилась, угорев от кофейного чада, и тоже взялась во всю глотку лаять.

«Оградку Николаю Николаевичу подправить,— всплыло в голове архитектора безосновательно, он добыл из кармана фонарик и осветил вниз, в пустоту, луч далеко не проходил, он достигал только стены на уровне седьмого этажа.— Оградку подправить...» Сердце отпустило, боль угасла, и он медленно направился по низким округлым ступеням, с трудом переставляя ноги, вверх, домой.

Перед глазами Геннадия Геннадьевича вдруг оказалась красивая дверь, обитая белым дерматином. Он от вида этой двери сразу вспомнил, что дома уже не пусто, что сквозняк там уже не гуляет, что и тесть и теща вернулись с дачи и теперь она, а не ветер гуляет по квартире, гуляют невестка и жена, гуляют внуки... Опять прихватило сердце, рука скользнула вниз, пытаясь ухватить скользкую металлическую зажигалку, спасение от инстинктивного желания, но выдернулась неожиданно с коробком спичек на раскрытой ладони.

Крятя, Геннадий Геннадьевич встал перед белой дверью на колени, положил рядом на кафельный пол свой пухлый портфель и долго измерял жирными, непослушными пальцами расстояние от заклепки до заклепки, при этом в голову ему лезли какие-то ненужные цифры, и казалось, что пощелкивает какое-то реле

на щите. Потом Геннадий Геннадьевич почувствовал нарастающее возбуждение, не в силах остановиться, сидя ритуально лизнул обратную сторону коробка и сломал первую спичку.

— Что же я делаю? — спросил он у себя. — А, наплевать... Все равно пропадать... Разве это жизнь? Теща бродит... Щит не горит... Противопожарный... Я не должен мыслить какими-то дверями, я должен мыслить в пределах самого маленькое микрорайона... Если где-то убавится, то нужно, чтобы в другом месте оно же не прибавилось!

Снизу приносилась музыка, бухал барабан. Смех. Очередную спичку Геннадий Геннадьевич зажег, но не успел проткнуть до возгорания серы плотный дерматин и обжег пальцы.

В единственном глазу Зинаиды горели, отражаясь, фары, свет фар ломила, расщепляя его в прозрачный разноцветный туман, слеза. Музыканты, сбившись пьяные на похоронный марш, исправились, но свадебного Мендельсона у них не вышло, труба, хрипло выводящая свою ноту, вдруг осталась в одиночестве.

— В чем дело? — спросил Володечка.

— Зачем тебе это? — Светлана улыбнулась ему и поправила кокетливо новую фату. — Зачем тебе эта музкоманда? Они же только на похоронах играть приучены. Пойдем в дом, нас ждут...

Дверь в квартиру распахнулась навстречу юбилярам, и из нее сразу вышли несколько человек.

Геннадий Геннадьевич, храпя от напряжения, лизнул шершавый коробок, ловко выдернул спичку и в одно касание проколол дерматин двери. Из маленькой черной ранки на белом дерматине вытекла тоненькая струйка дыма, архитектор поднялся, ухватил свой портфель под мышку и попятился. В эмалированной табличке на другой двери он увидел отражение своей улыбки.

— Все... Это все... — сказал он себе вслух. Собака больше не лаяла. — Я не удержался...

Наконец музыканты справились, и зазвучал возбужденно и нечисто в сырых столичных сумерках марш Мендельсона. За дверью, за вспыхнувшей стеной белого дерматина и сухой ваты, заплакал ребенок. Маленький Бурунди, оставленный бабушкой на полчаса, бросил пластмассовый паровоз, кинулся в прихожую и, вопя, попятился назад. Шуба на вешалке горела, горели половики, дым ринулся фиолетовыми потоками в комнату.

— Ребенок!.. Там был ребенок! — закричал Геннадий Геннадьевич, он позвонил во все квартиры подряд, но никто не открыл: все приличные люди собрались внизу на серебряной свадьбе Володечки. Он высунулся по пояс в окно, заорал, замахал фонариком, но свадебный марш звучал уже, прочно занимая звуковое пространство.

Вернувшись к горячей двери, Геннадий Геннадьевич швырнул свой портфель, тот рассыпался по ступеням документацией, и попробовал при помощи зонтика вскрыть замок. Ребенок кричал, задыхаясь. Архитектору было слышно, как задыхается черный, как рояль, маленький Бурунди.

— Нет... я спасу тебя, малыш... — обещал сам себе Геннадий Геннадьевич.

Он спустился на пролет ниже, нашел нужное окно, разбил его и, хватаясь пухлыми руками за железные перекладки пожарной лестницы, полез вверх, крича и постанывая от напряжения.

Свадебный марш смолк. Кто-то спокойным голосом вызывал пожарных. Дверь сломали, и Светлана прижимала к своему испачканному сажей белому платью невесты черного Бурунди.

— Ну что, как положено или опять Мендельсона? — спросил пьяный барабанщик.

— Как положено, — вздохнул Володечка.

Музыка ударила хрипло, а Володечка наклонился к телу архитектора, лежащему на спине, подогнувшему в прыжке ноги, и заглянул в его глаза. Он был поражен: в мертвых глазах архитектора все еще прыгало багровое пламя! Это когда солнце уже зашло и квартиру почти потушили.

---

---

АЛЕКСАНДР КУШНЕР

\*

## НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ

\* \*  
\* \*

В каком бы словаре ни встретил я,  
учебнике, брошюре,  
хоть справочнике — имя человека  
великого, известного, не очень  
известного, а рядом, в круглых скобках,  
как водится, две даты — годы жизни,  
будь то Уильям Джеймс  
(1842 — 1910),  
которому обязаны мы с вами  
теорией эмоций,  
будь то брат  
его, прозаик Генри Джеймс  
(1843 — 1916),  
к Тургеневу в Париже заходивший,  
оставивший роман  
бесхитростный — про двух венецианок  
американского происхождения  
и молодого коллекционера,  
охотника за письмами поэта,  
любившего одну из этих дам,  
но я отвлекся,  
продолжаю: будь  
то Карл VI Безумный  
(1368 — 1422),  
кое-что сделавший для Франции своей,  
психические отклонения,  
как видим, не помеха в деле власти,  
а может быть, идут на пользу ей,  
ведь власть предполагает преступление,  
не так ли? Нет. Ну разве что отчасти.  
Благодарю вас.  
Так вот, кто б ни был он, хоть Михаил  
Трофимыч Каченовский (1775 — 1842),  
поборник архаического хлама,  
сторонник классицизма, академик,  
когда б не пушкинская эпиграмма,  
никто б о нем не помнил! —  
все равно  
кто, — быстренько произвожу в уме  
арифметическое вычитанье,  
одно число подставив под другое,  
с той разницей, что если человек  
до нашей эры жил, то поменять  
приходится местами числа:  
Петр Первый — 53 года, Кафка —  
41, Фламиний — знак вопроса  
трибуну заменяет год рожденья,

счастливчик! Думать хочется, что жил  
он долго, сколько сам того хотел,—  
фламиниеву дорогу  
мошеную и нынче вам покажут  
под Римом, в запустенье и пыли,  
Седов... постой, достаточно! Нельзя же  
перечисленье длить и длить, Седов  
сам виноват: зачем его влекли  
арктические сполохи, упряжки  
собачьи, полюс, холод и цинга?  
(В стихе мне полубелом дорога  
внезапная рифмовка,  
похожая на легкую усмешку.)  
И всякий раз, прикладывая свой  
скользящий возраст к бедному числу  
двузначному чужому  
и всматриваясь, так сказать, во мглу,  
я думаю, что смерть не за горой,  
что всяк живущий на земле — герой  
и обречен не так, так по-другому

\* \*  
\*

Запиши на крайний случай  
Телефонный номер Блока:  
Шесть — двенадцать — два нуля.  
Тьма ль подступит грозной тучей,  
Сердцу ль станет одиноко,  
Злой покажется земля

Хорошо — и слава богу  
И хватает утешений  
Дружеских и стиховых,

И стареем понемногу  
Мы, ценители мгновений  
Чудных, странных, никаких.

Пусть мелькают страны, лица,  
Нас и Фет вполне устроить  
Может, лиственная тень,  
Но кто знает, что случится?  
Зря не будем беспокоить.  
Так сказать, на черный день.

\* \*  
\*

Но если этот мир возник не так, как в Книге  
Рассказано о нем,  
Но если этот мир, но если этот дикий  
Сам вымахал, со всем его добром и злом,  
Как придорожный куст кавказской ежевики,  
И если мы и впрямь живем своим умом,

Извилистым, живым, земным, жуликоватым,  
И если этот мир не создан — вырос сам,  
И если не был рядом  
Тогда никто, никто, и если ты азам  
Не веришь райским тем и малым двум ребятам,  
Тогда претензий нет к бездетным небесам!

Тогда о чем жалеть, тогда и зло есть чудо!  
А происки добра, побеги и ростки  
Живучие его и вовсе ниоткуда!  
Тогда не до тоски.  
Тогда и чудный смысл привязчивей мазута,  
Как все, что липнет к нам тайком, по-воровски.

\* \*  
\*

Лишайничек серый, пушистый на дачном заборе  
Такой бархатистый, — свидетелем будь в нашем споре  
Жизнь — чудо, по-моему, чудо. Нет, горечь и горе

Да, горечь и горе, а вовсе не счастье и чудо  
На дачном заборе, слоистый, не знаю откуда.  
Такой неказистый, пусть видит, какой ты зануда!

Какие лишенья на мненье твое повлияли,  
Что вот утешенья не хочешь, — кружки и спирали  
Под пальцами мелкие, пуговки, скобки, детали

Всего лишь лишайничек, мягкой сыпью, и то лишь  
Забывшись, руке потрепать его быстро позволишь  
И вымолишь вдруг то, о чем столько времени молишь.

Затем что и сверху, и снизу, и сбоку — Всевышний  
Поэтому дальний от нас, выясняется, — ближний,  
Спешащий на помощь, как этот лишайничек лишний

\* \*  
\*

В жизни раза четыре, быть может, пять  
Мне столкнуться с ненавистью к себе  
Самой лютой пришлось — и могу сказать  
Хорошо, что не на крутой тропе,  
Так иррациональна она была,  
Расточительна, необъяснима, в ней  
Столько было вниманья, из-за угла  
Появлялась смертельной любви бледней,  
Исподлобья смотрела, ничем, ничем  
Я ответить на этот кошмар не мог  
И стихи я не те пишу, и не тем  
Я кажусь, и гнездится во мне порок

\* \*  
\*

Я не прав, говоря, что стихи важнее  
Биографии, что остается слово,  
А не образ поэта: пример Орфея  
Посрамляет мою правоту, — сурово  
С ним судьба обошлась, и его обида  
Драгоценней, чем если бы две-три строчки  
Из него заучивали для вида  
Маменькины сынки, папенькины дочки.

Ни одной не дошло — и не надо! Висли  
Сталактиты, как слезы, тоска, прохлада...  
То есть если ты хочешь остаться в мыслях  
И сердцах, оглянись, выходя из ада,  
Упади, уронив пистолет дуэльный  
В снег, иль сам застрелись, — пусть живут хористы,  
А стихи... О стихах разговор отдельный,  
Профессиональный и бескорыстный.

## Конькобежец

1

Зимней ласточкой с визгом железным,  
 Семимильной походкой стальной  
 Он пронесится небом беззвездным,  
 Как сказал бы поэт ледяной,  
 Но растаял одический холод,  
 И летит конькобежец, воспет  
 Кое-как, на десятки расколот  
 Положений, углов и примет.

2

Геометрии в полном объеме  
 Им прочитанный курс для зевак  
 Не уложится в маленьком томе,  
 Как бы мы ни старались,— никак!  
 Посмотри: вылезают колени  
 И выбрасывается рука  
 Как ненужная вещь на арене  
 Золотого, как небо, катка.

3

Реже, реже ступай, конькобежец...  
 Век прошел — и чужую строку,  
 Как перчатку, под шорох и скрежет  
 Поднимаю на скользком бегу:  
 Вызов брошен — и должен же кто-то  
 Постоять за бесславный конец:  
 Вся набрякла от снега и пота  
 И, смотри, тяжела, как свинец.

Разве можно после Пастернака  
 Написать о елке новогодней?  
 Можно, можно! — звезды мне из мрака  
 Говорят — вот именно сегодня.

Он писал при Ироде: верблюды  
 Из картона — клей и позолота —  
 В тех стихах евангельское чудо  
 Превращали в комнатное что-то.

И волхвы, возможные напасти  
 Обманув, на валенки сапожки

4

Что касается чоканья с твердой  
 Голубою поверхностью льда —  
 Это слово в стихах о проворной  
 Смерти нас впечатлило, туда,  
 Между прочим — и это открытье  
 Веселит,— из чужого стиха  
 Забжав с конькобежною прытью:  
 Все в родстве-воровстве, нет греха!

5

Не споткнись! Если что и задержит,  
 То неловкость,— и сам виноват.  
 Реже, реже ступай, конькобежец,  
 Твой размашистый почерк крылат,  
 Рифмы острые искрами брызжут,  
 Приглядимся к тебе и пойдем  
 То, что ласточки в воздухе пишут  
 Или ветви рисуют на нем.

6

Не расстаться с тобой мне,— пари же,  
 Вековые бодая снега.  
 И живи он в Москве — не в Париже,—  
 Жизнь тебе посвятил бы Дега,  
 Он своих балерин и лошадок  
 Променил бы, в тулупчик одет,  
 На стремительный этот припадок  
 Длинноногого бега от бед.

\* \* \*

Обменяв, как бы советской власти  
 Противостояли на порожке.

А сегодня елка — это елка,  
 И ее нам, маленькую, жалко.  
 Веточка колючая, как челка,  
 Лезет в глаз,— шалунья ты, нахалка!

Нет ли Бога, есть ли Он — узнаем,  
 Умерев, у Гоголя, у Канта,  
 У любого встречного,— за краем.  
 Нас устроят оба варианта.

---

---

МИХАИЛ КУРАЕВ

\*

## ЗЕРКАЛО МОНТАЧКИ

*Роман в стиле криминальной сюиты,  
в 22 частях, с интродукцией  
и теоремой о призраках*

*Часть тринадцатая*

### НА ЗЕРКАЛАХ

**Л**илия Васильевна Мурашова была женщиной до кончиков ногтей, ну если не женщиной, то барышней, но барышней, которую уже стали вывозить, которая уже освоилась на городских приемах и балах, чувствует себя в обществе привычно и, обнаружив вокруг себя множество людей помоложе, растерявшихся перед чрезвычайным многообразием жизни, она с готовностью спешила им на помощь.

— Здравствуйте, Аполлинаруй Иванович,— четко и звонко выговаривая все буквы приветствия, в том числе и немое «в» в слове «здравствуйте», поздоровалась хозяйка правого крыла Петровской куртины, куда Монтачка не заглядывал уже давным-давно — Мы с вами знакомы, в позапрошлом году вы помогли мне выгрузить птише, но это не в счет, хотя я добро помню. Давайте знакомиться снова.

Торчащая из валенок среднего роста миловидная женщина с прекрасно развитыми формами, которых она решительно не замечала, заговорила с Аполлинаруем Ивановичем так, как начинают разговор учительницы на первом уроке в первом классе, серьезностью и деловитостью мобилизуя своих подопечных на товарищеское сотрудничество.

— Не смотрите на мои валенки, вы тоже будете здесь ходить в валенках. Вот эти вам подойдут? Посмотрите, пожалуйста. Они хорошие. Если подойдут, то будут ваши. Да, выглядеть вы будете тоже нелепо, но иначе — ревматизм. Выбирайте.

Монтачка выбрал валенки, скинул свои скороходовские полуботинки на микропоре и влез по колени в войлочное убежище.

— Ну вот, первый шаг сделан. Теперь шаг второй. Сейчас будет одиннадцать часов.— В подтверждение, словно боясь ошибиться, ударили куранты.— В одиннадцать мы всегда пьем кофе Вы пьете кофе?

— Если надо, так надо,— привычно сказал Монтачка.

— Что значит «надо»? Может быть, вы хотите чаю? Чаю у меня сегодня нет, но я куплю, если вы пьете чай.

— Я и кофе могу,— неприхотливо согласился Монтачка.

Я вижу, у вас очень хороший характер, мы сработаемся. Идите сюда. Я буду готовить кофе и рассказывать, мы все-таки на работе и сейчас не обеденный перерыв. Кофе мы пьем в одиннадцать и в три. В этом климате без этого нельзя. Какой дурак устроил тюрьму в Трубецком бастионе? В нашей Петровской куртине она была бы в тысячу раз ужасней.

Аполлинаруй Иванович сел на диван с деревянной гнутой спинкой и несколько поседевшей обивкой и завертел головой, оглядывая стеллажи, полки, стены, шкафы.

— Не вертите головой,— и вправду, как нетерпеливому первокласснику, сделала замечание Лилия Васильевна,— я вам все покажу, проведу, объясню, в конце концов, ничего сложного, знаете, чего-то такого «ах!» в нашем деле нет. Сразу же скажите, сколько ложек сахара вы пьете?

— Можно две?

— Можно,— сказала Лилия Васильевна и положила в чашку две ложки с горкой.— Я считаю, что карельская береза — самый подходящий материал для вот таких тюремных апартаментов. Здесь же не бывает солнца, а карельская береза сама излучает свет. И тепло. Без этого дивана мы бы здесь замерзли и ослепли. И стол, и сервиз, и ложки, я понимаю, вас удивляют. Да, это из коллекции, но вещи должны жить. Я с охотой даю зеркала во все наши отделы. Мне почему-то больше всего страшно за них. Зеркало в кладовке, на стеллажах, зеркало, ничего не отражающее, это ужасно. Это уже не сон, а смерть. Даже во сне мы что-то видим, а здесь — ничего. Это смерть. Вы так не считаете? Вы понимаете, когда оно отражает, пусть даже что-то неподвижное, оно живет, это его жизнь. Что вы скажете об этом зеркале? — Лилия Васильевна кивнула на полтораметровое овальное зеркало в деревянной раме, покрытой тусклой позолотой, висевшее прямо над головой Аполлинария Ивановича. Тот изогнулся, не выпуская чашечки из рук, вывернул шею и увидел себя как бы сверху, так, как видели его люди высокого роста.

— Лист неплохой. А зеркало вообще-то обыкновенное.

Лилия Васильевна ответом была удовлетворена.

— Все правильно. Лист превосходный, посмотрите, как красиво вы в нем смотрите. — Аполлинарий Иванович повиновался и еще раз обозрел свою явно обозначившуюся лысинку.— Это поразительно доброе зеркало, в нем все выглядят лучше, чем в жизни. И то, что оно обыкновенное, для общей характеристики совершенно правильно. Возьмите гравюры, бытовые картинки пушкинских времён, в любом интерьере вы обязательно встретите такое, именно такое зеркало. Его ценность как раз в обыкновенности. Или в типичности,— приучая к научной терминологии, ввернула ученое словечко Лилия Васильевна — Это бытовое зеркало, представляющее бытовое интерес. Ну, что еще о нем можно сказать? — то ли себе, то ли Аполлинарию Ивановичу задала вопрос Лилия Васильевна, не пытаясь разговор превратить в допрос или экзамен.

— Работа добротная, хорошая сохранность. Без подновлений. По-моему, подлинное — Аполлинарий Иванович в третий раз вывернул шею назад.

— Интуиция вас не подвела, зеркало действительно подлинное. Вы работали с деревом, со стеклом?

— Я же из ИБК так что приходилось практически со всем дело иметь. И металл, и керамика.

— Это хорошо и очень плохо. Хорошо, потому что не надо начинать сначала, но плохо, потому что зеркало очень ревниво, вы увидите, вы почувствуете.. Однажды вы подойдете здесь к какому-нибудь зеркалу и не узнаете себя. Значит, вы его чем-то обидели.

Исповедуя верность зеркалам, Лилия Васильевна все-таки тайком им изменяла, сама не признаваясь себе в этом грехе. Ее роковой страстью был бисер. Через два месяца Монтачка стал как бы наперсником Лилии Васильевны, посвятившей его в тайную страсть со всеми ее радостями и печалью. Он уже твердо знал, что для начала XIX века и конца XVIII характерен бисер нежных лазоревых тонов «Смотрите, смотрите, видите, бежевый такой оттенок, он живой, это же не пятно, это блик. Правда, удивительно!» И Аполлинарий Иванович искренне удивлялся. Для кошельков XIX века характерна розово-жемчужная гамма «Смотрите, это как нутро морской раковины, какой телесный теплый тон. Жемчуг я не люблю, он очень холодный, мертвый, а здесь жемчужный тон совершенно на месте. Видите, какая пошла плотная кладка бисера, и нитка тоньше стала и бисерочек... это же ослепнуть можно!» Аполлинарий Иванович, очками не пользовавшийся, соглашался, что глаза на таком кошельке можно сломать шутя.

Пока Лилия Васильевна приводила примеры очевидной ревности зеркал, у входной двери прозвенел звонок.

— Я посмотрю сейчас, кто там пришел, а потом вернусь к вам,— сказала обстоятельная Лилия Васильевна, будто до входной двери было полчаса ходьбы, а не три шага через темноватый тамбур.

— Проходите, Сергей Сергеевич, очень рада, что вы зашли, мы как раз пьем кофе — Лилия Васильевна приветствовала гостя звонко и четко, немножко

форсируя голос, и это было понятно, роста Сергей Сергеевич был очень большого, и Лилия Васильевна отсюда, снизу, старалась говорить погромче, чтобы было слышно там, наверху.

В светлице появился Сергей Сергеевич, по паспорту скорее всего Сидор Сидорович, занявший своим громоздким телом столько же пространства, сколько занимали Лилия Васильевна и Аполлинарий Иванович, взятые вместе с валенками.

Сергей Сергеевич много лет проработал в цирке, потом болел, и вот уже три месяца числился в крепости важной шишкой по технике безопасности, а фактически выполнял обязанности сторожа и разнорабочего.

— Вы меня вчера, Сергей Сергеевич, просто спасли. Я вам так благодарна. В это кресло, извините, я вас не посажу, для вас и для меня будет спокойнее, если вы сядете вот здесь. Какой вы все-таки большой, особенно в помещении.

— Я садиться, спасибо, не буду, Лилия Васильевна. У меня голова болит,— признался Сергей Сергеевич.— Вы кушайте, что ж я вам мешать буду.

— Если болит голова, непременно надо выпить кофе.

— Не помогает мне оно. От головы не помогает.

— А вы знаете, у меня что-то для вас есть,— Лилия Васильевна достала из бюро карельской березы, украшенного бронзовыми головками сфинксов, свою сумочку, порывалась и оторвала от упаковки две таблетки,— примите сразу две, это чудесный пирамидон, индийский, снимет как рукой.

— Лилия Васильевна, не могу я пирамидона, у меня на него аллергия, весь сыплю покрываюсь и дрожь.

— Озноб,— поправила Лилия Васильевна.

— Я и подумал-то, как раз озноб,— согласился Сергей Сергеевич, погружаясь в уныние.— Душа ссыхается,— помолчав, деликатно подтолкнул мысль Лилии Васильевны в нужном направлении страдающий гигант.

— Чем же вам помочь... Что же вам помогает? — Лилия Васильевна приложила палец к губам и задумалась, глядя куда-то за спину Сергея Сергеевича.

Аполлинарий Иванович разглядывал Сергея Сергеевича и в какой уже раз удивлялся, какая маленькая, в сущности, голова была у такого большого человека. А может, просто снизу казалась маленькой?

— Вообще-то мне спиртик помогает,— не удержался от подсказки Сергей Сергеевич, опасаясь, что мысли Лилии Васильевны могут двинуться в неверном направлении.

— Компресс на виски? — деловито справилась Лилия Васильевна.

— Обычно... внутрь.

— Спирт у меня есть, я охотно с вами поделюсь.— Лилия Васильевна подошла к шкафу черного дерева, инкрустированному бронзой, чистейший Чепендейль, достала склянку, наполненную почти до краев прозрачной жидкостью, и стала лить в мензурку.

За переливанием прозрачной жидкости в мензурку Сергей Сергеевич следил с таким вниманием, будто ждал появления киммерийских теней, предвещающих в ахимических опытах скорое появление философского камня.

— Двадцать грамм достаточно? — не отрывая глаз от мениска, спросила Лилия Васильевна.

— Обычно вообще-то пятьдесят... — почти не дыша, проговорил Сергей Сергеевич.

— Вы не обожете себе пищевод? — метнула короткий взгляд на больного хозяйка волшебного эликсира.

— Я запью,— быстро сказал Сергей Сергеевич и проглотил слюну.

— Вот, пожалуйста,— Лилия Васильевна протянула стакан тонкого стекла с изящной монограммой.— Вам нужна вода, а у нас здесь только кофе.

— А здесь у вас в туалете есть вода,— еле сдерживая улыбку, напомнил Сергей Сергеевич, держа стакан двумя пальчиками.— Не извольте беспокоиться, я спокойно пойду в туалет, там выпью, там и запью, где свет, я знаю.— И двинулся в недра куртины, за стеллажи.

— Бедный Сергей Сергеевич,— горько вздохнула хранигельница зеркал, едва подсобник скрылся.— Аллергия — это ужасно. У меня тоже аллергия, но мой аллерген — шерсть, длинный ворс... Уже приняли? — удивилась добрая Лилия Васильевна, забирая стакан с монограммой из рук умиротворенного Сергея Сергеевича.— И действительно помогает?

— Не сразу,— очень серьезно сказал Сергей Сергеевич, прислушиваясь к своему нутру, как юная мать, ожидающая в себе первых признаков новой жизни.— К сожалению, единственное средство. Большое вам спасибо. Спасли, просто спасли...— Сергей Сергеевич попятился к выходу.

— За лекарства и за дружбу не благодарят,— наставительно, но с оттенком иронии, сказала Лилия Васильевна.— Я очень рада, если поможет. Приходите, Сергей Сергеевич, и просто так заходите, я вам всегда рада.

— Обязательно,— пообещал Сергей Сергеевич,— только у вас и согреешь душу.

Сергей Сергеевич прикрыл входную дверь с такой аккуратностью, словно она и стены были сделаны из тонкого стекла, а не из дерева, железа и каменной кладки в полтора метра толщиной.

— Есть вещи, которые мы с вами таскать не сможем, вот приходится приручать. Вообще-то он, по-моему, славный... Чтобы спирт помогал от головной боли, первый раз слышу. Хотя при мигренях, говорят, надо к вискам водку. Вы знаете, Аполлинарий Иванович, мне чем-то Сергей Сергеевич импонирует. Широкая, непосредственная натура. И уж очень большой. Или вы так не считаете?

Перед глазами Монтачки за годы службы в крепости этих сергей-сергеичей, не задерживавшихся больше чем на полгода, прошло не меньше, чем узников через тюрьму Алексеевского рavelина. Вера Рыцарева иначе как «собаками» их и не звала, и когда возникала нужда, приказывала Монтачке: «Завтра вывозим три печки, отлови какого-нибудь собакия».

Монтачка пожал плечами и задумался, импонирует ему этот «собакий» или нет.

— Нельзя так к людям, Аполлинарий Иванович,— тут же услышал учительский голос своей новой начальницы,— будьте добрее к людям и они отплатят вам добром, вот увидите. Ну хорошо, кофе мы выпили, я сейчас уберу все и поведу вас по коллекции.

С обстоятельностью круглой отличницы, занимающейся с отстающим учеником, никак не выпячивая собственные знания и всячески поощряя малейшую осведомленность своего подопечного, Лилия Васильевна познакомила Аполлинария Ивановича в самых общих чертах с помещениями и коллекцией зеркал в количестве семисот восьмидесяти трех единиц. К числам Лилия Васильевна относилась с пифагорейской набожностью, номера хранения почитались ею как имена собственные.

— Вот Семьдесят Четвертое,— показала Лилия Васильевна на роскошный голубоватого тона лист в раме необычной квадратной формы.— Что мы в нем видим? Мы видим себя и предметы вокруг нас.— Лилия Васильевна сделала паузу, чтобы услышать вопрос, если вдруг Аполлинарий Иванович вздумает возразить или попросит пояснить. Но он, кажется, понял все, и можно было продолжать.— Не кажется ли вам, Аполлинарий Иванович, что с невидимым мы связаны тесней, чем с видимым, больше от него зависим. Оно, я имею в виду невидимое, больше на нас влияет. Но как невидимое обнаруживается в зеркале?— считая первый вопрос простым, сразу перешла ко второму вопросу Лилия Васильевна.— Неведомое обнаруживается через настроение и через звук. Вот у этого зеркала — вы слышите? — печальный тон. Тихий печальный тон.

Аполлинарий Иванович повернулся к зеркалу ухом, прислушался, ничего, естественно, не услышал, но на всякий случай спросил: «Может, это вытяжная вентиляция подвывает?».

— Я думала об этом,— отозвалась с готовностью Лилия Васильевна, для убедительности прикрыв глаза, мотнула головой,— я перевешивала Семьдесят Четвертое пять раз. И тот же звук. Везде. Ну хорошо, это хоть поет тихонько, и все, а вот это — поет. Слышите?

В тишине Петровской куртины, отгороженной от бела света толстенными каменными стенами, в той самой знаменитой тишине, что давила и сводила с ума узников крепости, Аполлинарий Иванович отчетливо услышал звук пилы, нечто среднее между воем и пением, но только совсем-совсем тихо.

— Вы слышите,— утвердительно сказала Лилия Васильевна.

— Слышу,— стараясь не дышать, произнес Монтачка.

— Слышите,— твердо и ясно, без всякого прищептывания и замиранья, как об усвоенном уроке, сказала Лилия Васильевна. Монтачка не заметил в ее лице никакого трепета или волнения, будто речь шла о вещах самых обыкновенных.

Она смотрела Аполлинарию Ивановичу в глаза, и взгляд ее был твердым и повелительным.

В стихии причудливой, странной, бесконечно множась, повторяясь в обращенных друг к другу зеркалах, непрестанно наблюдая себя удаляющейся в эти бездонные тоннели, Лилия Васильевна существовала с той же естественностью и привычкой, с какой Гликерия Павловна жила при кухне, а Подосинова-старшая с ее поврежденной ногой — на брючном участке костюмной линии.

— Я иногда прихожу слушать Шестьдесят Седьмое. У него бывают очень интересные... как бы это сказать, напевы, что ли, а то затянет какую-нибудь нуду. Сейчас оно перед вами хочет покрасоваться. Я проверяла систему дымоходов в нашей с вами куртине, здесь же все отопление было печное, еще сначала думала: остались какие-то полости, и зеркала здесь ни при чем. Оказывается, очень даже при чем. Девяносто Второе. Всем хочет понравиться, всех хочет обнять. Не верьте ему, одно притворство. Вот это, Триста Шестнадцатое, зеркало немое, но не просто немое... Кстати, немых зеркал очень много, далеко не все поют, дышат, разговаривают, не совсем, конечно, разговаривают, но шепчутся за спиной, еще услышите. Так вот, я говорю, есть зеркала просто немые. Как фильмы, знаете, есть немые, а есть звуковые. А Триста Шестнадцатое не просто немое. Мне кажется, — Лилия Васильевна сделала паузу, внимательно посмотрев в глаза новому сотруднику. — Мне кажется, что оно лишено голоса, молчит, потому что напугано. Это зеркало из квартиры Попкова, помните, которого расстреляли, молодой такой, был во время блокады главным в городе. Я же ничего этого не знала. Сдавала нам это зеркало Нина Аркадьевна Туденшляк. Три раза она нам его привозила и забирала обратно, кто-то ей давал больше, мы же не можем больше пятисот, все, что сверх пятисот, идет через управление культуры. Я уже и карточку оформила и провела через КП — книгу поступлений, первичный номер дала. Нина Аркадьевна звонит: «Мне обещают больше». Очень хорошо. Три раза привозили, три раза увозили. Но пока оно у меня здесь до закупочной висело, я же смотрела на него, смотрю и чувствую, не должно вроде бы такое зеркало молчать, а оно молчит. Потом, когда я провела через управление, приняла на хранение, дали окончательный — вот этот триста шестнадцатый номер; то ли Нина Аркадьевна снова приезжала, то ли я у нее была, она мне рассказала, что приобрела у сына Попкова, когда тот на ГОМЗе работал, вернее, уже стал спиваться. Вы знаете, где в городе «Стена коммунаров»? Это стена подстанции имени Диктатуры пролетариата, обращенная в садик имени Карла Маркса, там как раз все пьяницы с ГОМЗа и собираются. Тогда она мне и про семью, и про сына, и про отца, теперь я совершенно не удивляюсь, что Триста Шестнадцатое молчит, но я жду, мне кажется, рано или поздно... Помняте мое слово! Вот, Двести Пятьдесят Первое, прошу любить и жаловать! Вы лунатизмом не страдаете? Если в него долго смотреть, то голова начинает кружиться, будто лунатиком становишься. Вы с ними осторожней, здесь с вами что угодно может случиться. А мимо Двести Пятьдесят Третьего я прохожу всегда с осторожностью, оно чертовски глубокое, как пропасть, когда-нибудь я в него упаду. Теперь сюда, пожалуйста. Четыреста Семьдесят Шесть и Четыреста Семьдесят Семь. Это зеркало из борделя. И это зеркало из борделя. Вы видите, какая разница! Прокопий Тихонович Новиков нам их продал, именно пару, они парные. И когда уже все оформили, когда поступили на хранение, я его спросила, почему они такие разные: мастер один, стекло одно, амальгама одинаковая, сохранность у обоих неплохая, даже хорошая, и такая при этом разница. Знаете, братья или сестры могут быть внешне близнецами, а характеры совершенно разные, так и тут. Он начал мне что-то говорить, что, висели они в одном учреждении, но в разных помещениях. Я уже спрашиваю прямо официально: назовите, пожалуйста, учреждение, адрес, по возможности время. Он называет: переулок Бринько, три. Здрате, это же бордель. Знаете вы этот переулок, почти напротив входа на Сенной рынок, напротив магазина «Рабочая одежда». Сейчас он имени летчика Бринько, героя Гангута, а раньше как-то по-другому был. Но адрес тут роли не играет, важно то, что одно зеркало висело в прихожей, а другое в номерах. Вот еще Пятьсот Четырнадцатое, это вообще не зеркало, а вечность в раме. Когда у меня плохое настроение, скажем так, скверное, приду, посижу и, знаете, успокаивает. Как-то рядом с вечностью все эти наши «ах!» волнения, «ах!» переживания — такая чепуха. Чувствуете, просто покой излучает. Вот это мне сначала нравилось, Пятьсот Пятьдесят Пятое, ясное, простое, честное зеркало. А потом я к нему пригляделась и только тогда поняла: сколько гонору, гордыни, самодовольства. «Смотрите, какое я правильное, какое я честное!..» Будто все

кругом неправильные и нечестные. Лист, конечно, прекрасный, кто же станет спорить, но характер, с таким характером, как говорится, лучше дома сидеть. В это зеркало смотрелся Гоголь, оно в Патриотическом институте висело, вся атрибутика на него есть. Я как-то час, может быть, и больше, приглядывалась к нему, думала, ну хоть как-нибудь Гоголь подаст знак. Ничегошеньки, простое, скромное, спокойное зеркало. Правда, форма необычная, треугольные зеркала такого размера — довольно редкая вещь.

— Грушу напоминает,— вставил свое слово Аполлинарий Иванович.

— Если вот так отойти, то пожалуй,— согласилась Лилия Васильевна.— Я вас не утомила?

Аполлинарий Иванович уже решительно не знал, кто его спрашивает, откуда идет звук Отражения придвигались, множились, оборачивались то боком, то затылком Уверенность и покой Лилии Васильевны сообщали ему твердость, а ее наставнические интонации понуждали к покорности.

— Вы обратили внимание, что зеркала по преимуществу грустные? — поинтересовалась Лилия Васильевна.— Я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что в основном, это вещи, которые нам принесли, сдали. И здесь нет ничего странного. Счастливые люди вещи не сдают. Зачем счастливым людям забываться от хороших вещей? Они их приобретают. А это не просто хорошие вещи, это превосходные зеркала. Вот это, Пятьсот Пятьдесят Пятое, нам отдала, по сути, нищая старуха, за бесценку отдала. Закупочная комиссия не поддержала мою цену, я предлагала две тысячи. Тогда я почти партизанским образом вынесла на комиссию управления культуры, сама пошла в город. Они меня просто убили, не дали даже тысячу. Если б вы видели эту комиссию! Видели бы эти рожи. Еще увидите Господи, откуда они, зачем они? Это художники. Посмотрелись бы хоть раз в зеркало эти художники. Конечно, им денег жалко. «Что вы уподобляетесь комиссионке?» Я это уже пять лет слышу, и от нашей прекрасной Раисы Михайловны, и от них. Хоть новенькое что-нибудь бы придумали. Они сидят на деньгах, им нужно, чтобы скупали их дырявые соцреализмы. На это им денег не жалко. Вы не подумайте, Аполлинарий Иванович, что я против соцреализма,— все той же размеренной интонацией, будто читает диктовку, проговорила Лилия Васильевна — Я ни в коем случае не против соцреализма, но денег на него не стала бы тратить ни копейки. Я как-то попыталась им все это объяснить, объяснить, что они безумны, но они написали жалобу в наш партком, и у меня были неприятности. После этого исторического заседания комиссии я поехала на Охту Металлистов, 70, к этой старухе нищей и прямо так ей и сказала. «Полина Илларионовна, отдайте ваше зеркало какому-нибудь спекулянту в мясной отдел или вору, ленинградской культуре оно не нужно». Знаете, что она сказала? «Если вы считаете, что вещь музейная, берите за пятьсот. Ну, проживу я на полгода дольше, на три месяца, этого же никто не заметит. Я это зеркало даже в блокаду не продала, а ведь покупали. Берите, пусть от меня хоть что-то в городе останется». Это зеркало она в приданое получила. Первый раз она вышла замуж в марте тысяча девятьсот семнадцатого а уже в июле восемнадцатого ее мужа расстреляли.

Лилия Васильевна знала и помнила чуть ли не всех своих клиентов и поставщиков по именам, хранила в памяти их семейные обстоятельства не однажды выслушанные, и даже знала не то чтобы походку, но возможности передвижения, ходовые качества. Когда какая-нибудь бабуля звонила и сообщала о своем визите в крепость, в Петровскую куртину, придумав какое-нибудь дело, чтобы поговорить с живым человеком, а потом по телефону пересказывать неделю соседям и знакомым свою поездку, Лилия Васильевна чаще всего выдвигалась навстречу госте, понимая, что по историческим булыжникам Иоанновских и особенно Петровских ворот «поставщицы ее двора» могут не пройти, могут переломать свои хрупкие кости, особенно в зимнюю и весенне-осеннюю пору. Кроме смерти одинокого владельца, конфискации и крайней нужды в средствах, существовали и вполне мирные, хотя и по-своему драматические мотивы расставания ленинградцев с любимыми зеркалами, чаще всего это был переезд в новое жилище, где для троюмо в три с половиной метра высотой места, разумеется, не было.

Общаясь по службе с людьми в основном пожилыми и одинокими, Лилия Васильевна без труда угадала бесхитростную подоплеку стариковского бескорыстия — сама процедура передачи вещи в музей, переговоры, встречи, телефонные звонки, питье кофе в Петровской куртине, возможность поговорить с Лилией Васильевной и о былом и о насущном наполняли оскудевшую событиями жизнь

и оставляли возможность продолжить общение и после передачи вещи, а этого не купишь и за двойную цену, которую могли бы дать и давали в той же комиссионке на Наличном или на Марата. Старички никогда, естественно, не признавались в этой своей корысти и щедрость объясняли исключительно патриотическими чувствами: «В конце концов, я патриотка, я ленинградка, мне не безразлично, где будет висеть моя вещь...» — и все в таком роде.

Работая с Рыщаревой, Аполлинарий Иванович имел дело с вещами осиротелыми, брошенными, бесхозными, а зеркала приобретались у живых людей, действительно передавались из рук в руки, как будто и сами были живыми и беспомощными, как дети или избалованная домашняя живность. Конечно, в оставленных домах, среди брошенной мебели, отживших вещей попадались и зеркала, но ни одного целого, даже редкие зеркала над каминами все до единого были расколоты, надо думать, при неуклюжих попытках их вытащить.

Лилии Васильевне удалось очень широко оповестить город о том, что музей приобретает хорошие, редкие зеркала. Петербургские бабки приходили, присылали письма, звонили, Лилия Васильевна всех выслушивала, сочувствовала, не раз утирала платком и свои слезы и слезы рассказчиц, ездила по всему городу и делала визиты даже к тем, чьи зеркала не могли претендовать на место в музейной коллекции, а жизнь была не менее горькой, чем у тех счастливых, которые, расставаясь с дорогими спутниками своей жизни, могли потом с достоинством сказать, в каком прекрасном месте обрели последний приют и покой немые свидетели их жизни. Во всяком случае, им так казалось — немые, для самой же Лилии Васильевны зеркала были красноречивы. Она уже сама не могла сказать, где ее фантазия перемешивалась с услышанным от хозяев рассказом, а где напряженный и строгий ум проникал неведомое и вторгался в те области, куда люди, исповедующие последовательный материализм, обычно не ходят.

Лилия Васильевна, отражаясь одновременно и сбоку, и сверху, и сзади ходила среди своих сокровищ, придирчиво отмечая какие-то одной ей видимые пятнышки, трещинки на рамах, помутнение стекол; руки ее, умножаясь отражением в зеркалах, превращали Лилию Васильевну в глазах Аполлинария Ивановича в многорукую индийскую богиню.

— Зеркало — это путь к человеческому сердцу, не вашему и моему, а к сердцу человечества. Я говорю понятно? Зеркало позволяет через мое и через ваше, разумеется, Аполлинарий Иванович, сердце прийти к пониманию того, что же такое человечество. У человечества нет другого лица, кроме вашего, моего, конкретных живых человеческих лиц. — Лилия Васильевна строго посмотрела на Аполлинария Ивановича, будто тот заупрямился, — мне кажется, я говорю вещи очевидные. Вы не помните, кто из великих сказал, что театр — это зеркало, поставленное перед человечеством? — вдруг спросила Лилия Васильевна.

— Кажется, Пушкин, — неуверенно сказал Аполлинарий Иванович.

— Я думала, что Виктор Гюго, ну не важно, пусть Пушкин значит я не согласна с Пушкиным. Театр — зеркало, прямо вам скажу, мысль небогатая. Всякое произведение искусства, даже самое дурацкое те же соцреализмы все равно зеркало. Интересней другое, я нигде не встречала взгляд на зеркало как на театр. Зеркало — вот настоящий театр, где каждый из нас и драматург, и актер, и зритель, и даже критик. Я думаю, что об этом не говорят только потому, что все мы перед зеркалом плохонькие драматурги, скверные актеры, невнимательные зрители и крайне, вот уж крайне снисходительные критики. Каждый наш подход к зеркалу, каждый наш взгляд в зеркало — это же маленький спектакль, сыгранный для себя. Говорят, на заре кинематографии были такие коротенькие немые фильмы: «Она надевает чулки», «Она выходит из ванной», вот и мы все время играем в это немое кино для себя: «Она примеряет шляпку», «Она делает лицо перед работой», «Он припудривает сияк». Всех крайне занимает, к лицу ей этот платок, к лицу ей эта брошка, кепка, бусы, горжетка? И никто не спросит себя, а к лицу ли этот овечий взгляд, которым он смотрит на себя из зеркала, к лицу ли этот рот, который чуть приоткроется, и оттуда змеи прыгают, к лицу ли этот лобик, в который за всю жизнь не постучалось изнутри ни одной собственной мысли? А где искать свою заблудившуюся душу, как не в зеркале? Люди подходят к зеркалу и так боятся своего собственного изображения, что прячут себя, становятся манекенами, живые чучела для шляпок, пиджаков, помады, галстуков, орденов. Будь я на месте зеркала, я бы просто не отражала людей, в чьих глазах не прочесть и намека на вопрос: «Кто я такой?» — Господи, разве это уровень разговора с зеркалом! Мне кажется, они отвечают на эти дежурные вопросы только из сострадания и насмешки. Вы знаете, если жена и муж долго

прожили вместе, они становятся обязательно похожи друг на друга. Есть такой мистический догмат: мы делаемся похожими на то, на что смотрим. Смешно, чаще всего мы смотрим на самих себя, но только для того, чтобы быть похожими на кого-то другого.

Лилия Васильевна испытала удовольствие, смешанное с радостью и удивлением, узнав, что Аполлинарий Иванович легко распознает породу дерева даже под бронзировкой и позолотой и без труда, по цвету, по крокеюрам, определяет возраст дерева. Фанеровка XIX века была для него точным возрастным паспортом вещи, тонкий лист второй половины века он ни разу не спутал со слоеными пирогами фанеры прежних времен.

Исполненная такта и уважения к коллеге, Лилия Васильевна не позволяла поощрительными словами и чрезмерным выражением удовольствия высказать начальственное умиление, неотделимое от высокомерия.

Лилия Васильевна подводила его к какому-нибудь зеркалу и объявляла: «Двести Девяносто Восьмое. Это я купила практически только ради рамы...— делала паузу, потом добавляла: — Чистое барокко...» Аполлинарий Иванович, приглядевшись к раме и постучав по ней пальцем, произносил как для себя: «Чернотравная груша...» или «Хороший кедр. Франция?». Лилия Васильевна немо кивала и переходила к следующему объекту. Иногда Аполлинарий Иванович сам погружался в исследование какой-нибудь рамы в стиле рокайль, орнаментованной страбургским фарфором, и хотя мог прочесть на фарфоровом медальоне «Страсбург» и читал, но все-таки обращался к Лилии Васильевне за подтверждением, как к высшему в этих стенах авторитету: «Германия?» — «Немцы. Ранний Нюрнберг. *Siu secundo*<sup>1</sup>. «Да, второго такого, пожалуй, нет. Штучная работа», — в свою очередь соглашался Аполлинарий Иванович. Около рамы, украшенной подсвечниками, Лилия Васильевна сказала только: «Серебро». И Аполлинарий Иванович, рассмотрев подсвечники так пристально, будто главным органом исследования были не глаза, а нос, уточнил: «Цезелированное серебро», — и оба были довольны своим дуэтом.

Со временем Аполлинарий Иванович привыкнет к этим неожиданным переходам, без пауз, без знаков препинания, от житейского к метафизическому в разговорах Лилии Васильевны, что говорило об отсутствии для нее рубежей, разделяющих эти понятия. Только что, разъясняя Монтачке отличие документации закупочной, с ее спецжурналом и регистрационными актами, от учета временного хранения, Лилия Васильевна могла тут же спросить: «А вы не думаете, что у большинства людей жизнь еще полуживотная, полурастительная, то есть во внутренней жизни преобладают инстинкты, а внешняя жизнь определяется обстоятельствами, и поэтому еще нельзя такую жизнь считать вполне человеческой, она как бы предварительная. Пока человек не поймет, что такое зеркало, для чего оно ему дано, он так и будет жить этой предварительной жизнью. Как в предварительном заключении. В этой тюрьме и мысли-то какие-то тюремные. Я подумала как-то, а что, если бы в тюремных казематах одна стена была бы зеркальной? Чтобы узник не просто видел себя, а видел постоянно всю свою жизнь в этой камере и самую камеру, он как бы стал своим сокамерником».

— Наверное, с ума бы сдвинулся, — предположил Монтачка.

— Я думала об этом. Но тут и без зеркала с ума сходили довольно часто. Если учесть, что зеркало инструмент и символ самопознания, то у человека, сознающего свою правоту, это еще и средство укрепления самоуважения. Именно самоуважения, а не тщеславия, самодовольства. Мне кажется, что большинству зеркало все-таки помогло бы остаться сильным и гордым. Впрочем, вам предстоит испытать это на себе.

Аполлинарий Иванович вздрогнул, быть может, оттого, что в руках у Лилии Васильевны были старинные ключи с бородками, напоминавшими китайские иероглифы.

— Поживете среди зеркал немножко и увидите: что-то в вас обязательно сдвинется. И не обязательно в худшую сторону.

Только в эту минуту Аполлинарий Иванович заметил, что разговаривает не с самой Лилией Васильевной, а с ее отражением в высоком прямоугольном зеркале в тяжелой золоченой раме, украшенной резным акантом.

<sup>1</sup> Без второго (то есть единственный экземпляр) (лат.).

— Вот и состоялось ваше посвящение в Рыцари Зеркального Образа.— Изображение в зеркале исчезло, и Лилия Васильевна живьем стояла перед Аполлинарием Ивановичем, потирая руки, остывшие в холодном помещении.

Рыцарь, погруженный выше колен в валенки и прикрытый сверху черным суконным беретом, был взволнован, главным образом, изумительным порядком в Петровской куртине, сочетавшей в себе элементы тюрьмы, склада, музея и салона. Трудно было поверить, что в то самое время, когда крепость вела ожесточенные, достигшие апогея бои с многоликими и всепроникающими захватчиками, превратившими уникальное сооружение в глухой хозяйственный двор, хотя бы в одном уголке, уже отвоеванном, жизнь вошла в мирное русло, обрела ясность, стабильность и целеустремленность.

#### *Часть сорок пятая*

### ВНЕШНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖУЧКОВА-СТРЕБУЛЕВА

Мария Алексеевна Стребулева, по первому мужу Жучкова, должна быть рассмотрена самым пристальным образом и без всякого зеркала.

Биография у нее, или судьба, что то же самое, из всех, проживавших в квартире семьдесят два, быть может, самая путаная. И с солдатами она спала, и в 90-м тяжелом танковом самоходном полку роман у нее был, это она только Стребулеву не признавалась, когда тот самый Василевский из 90-го самоходного, как снег на голову, вдруг заявился к ней на канал. Обязана была Мария Алексеевна поехать на войну с Японией, только почему-то вдруг подполковник Краснобрижин из военкомата обоих ее детей посчитал живыми, хотя Вовочку она в сорок втором похоронила, ну не похоронила, а сдала, конечно, а старшую, Леночку, отправленную перед войной, перед тем как Вовочкой разрешиться, под Лугу к родителям в деревню Волково, немцы повесили в возрасте трех лет вместе с родителями Марии Алексеевны, как было сказано — за связь с партизанами. Сама же Мария Алексеевна в это самое время благополучно проживала себе в Ленинграде, отгороженная от Луги знаменитым кольцом блокады, и работала в родильном доме. Это было еще до того, как ее взяли на КУЛС — курсы усовершенствования личного состава при Ленинградском фронте.

В то, что у Марии Алексеевны было двое детей, никто не верил, и поступок подполковника Краснобрижина вызывает сомнение, поскольку если о Вовочке у нее хоть какая-то справка, да была, то смерть Леночки надо было просто принять на веру, потому что немцы, когда вешали, справок все-таки не давали.

В сорок первом, в сентябре, Марии Алексеевне сравнялся ровно двадцать один год, а Леночке к сентябрю было уже два года. Зато в сорок втором, когда Мария Алексеевна пошла на КУЛС, ее вообще считали за старуху и меньше сорока никто давать не хотел: черная, иссохшаяся, она не только двигалась как-то замедленно, но и говорить быстро не могла. Впрочем, как и все женщины, что со временем превращаются в степенных, она всегда в речи была нетороплива и рассудительна.

С первым мужем, Жучковым, они расстались по-хорошему, успели проститься и даже какое-то время переписывались, почти полтора года. Первые письма были с Калининского фронта, потом из госпиталя в Омске, где он лежал и сильно ревновал, был недоволен, что Мария Алексеевна пошла служить в армию. Успел написать в сорок третьем из-под Орла, куда его бросили перед самой «заварушкой», это он в последнем письме так ей написал: «...бросили нас под Орел, здесь скоро будет большая заварушка». Мария Алексеевна еще хорошо помнила письма про «горячие денечки» из-под Сталинграда, где он был не смертельно ранен под деревней Архангельской, которую немцы сдали без боя, а потом наших оттуда вышибли. Жучкова думала, что и под Орлом обойдется. Не обошлось. Потом уже, в сорок шестом, она получила справку, вернее, извещение о том, что «ваш муж пропал без вести», но все равно искала, писала запросы, на что-то надеялась. Последние письма Жучкова были не очень хорошие, и все из-за того, что пошла в армию. А куда ей было идти, если молодая, специальность фельдшерская, стало быть, военнообязанная, тут никто не спрашивает, как твой муж на это дело смотрит. Повестка, приказ, и вперед!

Жила Мария Алексеевна на Чернышевского, дом 24, квартира 22, на пятом этаже, но с началом войны прожила там совсем немного. Один раз, когда бросили бомбу, хорошо, что попала в наружный фасад, а двадцать вторая квартира во втором флигеле во дворе. Мария Алексеевна, придя с дежурства, как раз спала, да так крепко, что не слышала об объявлении воздушной тревоги, поэтому в бомбоубежище не сбежала. А соседи, убежавшие все вниз, даже не знали, что она дома, и Вовочка, как на грех, не плакал. От грохота она проснулась, конечно, схватила мальчика, завернула кое-как в то, что оказалось под рукой, и бегом вниз, но в бомбоубежище попасть уже не смогла, потому что от удара бомбы его засыпало. После этого случая она перешла к Тоне, дворничихе, в ее маленькую дворничью, можно сказать, квартирку на первом этаже, вход со двора. Тоня сама сказала ей: «Переходи ко мне, что ты с ребенком будешь бегать с пятого этажа...» Муж у Тони был в армии, девочку свою она успела отправить с уехавшим в эвакуацию «очагом», как до войны звали ленинградские детские садики. Только благодаря Тоне, как считает Мария Алексеевна, Вовочке удалось дожить как-никак до февраля.

Муж навещал Тоню довольно часто, раза три или два приходил домой прямо с фронта и хоть и немножечко, но всегда приносил и картошечку и крупки, один раз лепешки какие-то принес. Кормил, поддерживал. Потом его убили, Тоне сразу же было извещение: «пал смертью храбрых». А 12 февраля умер Вовочка, после чего Марию Алексеевну, как женщину молодую и свободную, тут же призвали в армию.

Похоронить Вовочку хотелось по-человечески, тем более, что Тонин дядька сделал для него такой небольшой гробик из остатков старинной мебели, гробик получился как игрушка. Тащить с ним пришлось далеко, на Волково кладбище, еле дошла. Рассчитывать на то, чтобы рыть для него отдельную могилку, не приходилось. Думала, удастся договориться и подхоронить к кому-нибудь. Но даже подхоронить к кому-нибудь соглашались только за хлеб. Хлеба не было, потому что сразу после Нового года карточки у Марии Алексеевны (на нее и на сына) украли прямо в булочной. Так что хлеба на могилку взять было неоткуда, хотя в это время уже была прибавка, и она как служащая, а Вовочка как иждивенец вместе могли бы получать в день почти четыреста граммов, правда, хуже стало с крупами и всяким приварком, который хоть и в мизерных дозах, но подкреплял эти крайние январские 125 граммов хлеба. Пришлось нести свой красивый, как ларец, гробик обратно. Пошла в больницу Куйбышева на Литейном, бывшую Мариинскую, красивую, как дворец, поскольку знала, что там из Дзержинского района принимают, но с гробом принимать отказались. Показали объявление, где было четко и ясно сказано, что принимаются и взрослые и дети, но только чтобы были зашиты в какую-нибудь ткань.

«Знаете что,— сказала Мария Алексеевна,— не все ли равно, что я ребенка зашью или в гробу его вам здесь оставлю, все равно повезете в какую-нибудь братскую могилу». Так и оставила его в гробу, несмотря на строгий запрет. И ушла. Теперь говорит, что не знает, где он похоронен, предполагает, что на Пискаревском скорей всего, в ту зиму из больницы Куйбышева по большей части возили на Пискаревку.

Еще когда Вовочка родился, Мария Алексеевна написала на фронт Жучкову, и он ответил, что очень рад, что ребенок и мальчик, но «хорошо, если бы ребенок тебя освободил, потому что сама знаешь, какая обстановка». А когда узнал, что ребенок умер, то подтвердил то, что говорил раньше: «Хорошо, что он тебя освободил». Надо думать, что такое можно было сказать, только любя Марию Алексеевну самозабвенно. Она его тоже любила, и был он у нее первым и долгое время единственным.

Взяли Жучкова еще за месяц до начала войны на военные сборы со станции механизированного счета, размещавшейся на Карповке в каком-то монастыре. Как только объявили войну, Мария Алексеевна сразу же поехала на станцию Пери по Приозерской дороге, где был лагерь. Ехать было непросто, как-никак, хоть и молодая женщина, а на восьмом месяце. Приехала и только-только его застала, их уже сажали в эшелон и увозили, разговаривали минут десять, не больше. Простились хорошо, и поплакала, конечно, все-таки женщина, пожелала всем возвращения с победой и дала мужу послушать, как в натянутом боевом барабане живота стучит ножками наследник.

Естественно напрашивается вопрос, как же сумела Мария Алексеевна, а отчасти еще и ее сын, прожить без карточек январь и часть февраля, самые тяжкие, как известно, месяцы осады.

Здесь надо заглянуть в родильный дом на Чернышевского.

Те, кому предстояло рожать, неохотно ехали в эвакуацию, так что женщин поступало много, роженицы были, но рожали мало. Дети другой раз еще оставались, а женщины умирали. Делали кесарево сечение и ребенка спасали, но если роженица была без памяти, а такое случалось сплошь и рядом, в том числе и от голода, то кесарево сечение делать не решались. Кормили больных неплохо, хотя тогда уже был голод, больные ели плохо, почти ничего не ели, умирали. А паек-то выписывался вперед, вот и получался остаток. Именно таким способом свой коллектив Марию Алексеевну немножко подкармливал, пока ее не взяли в армию на курсы усовершенствования операционных сестер на улице Красного Курсанта в казармах бывшего Владимирского училища. На курсах кормили очень плохо, кушали баланду, а в операционных, где шли занятия, приходилось стоять по многу часов, опухали ноги, началась цинга.

Еще до выпускных экзаменов Мария Алексеевна знала, что ее направят в 55-ю армию в медсанбат и что она получит звание младший лейтенант. Но на последнем экзамене, отвечая на вопрос «Роль ВКП(б) в строительстве Вооруженных Сил СССР», упала в аудитории, и прямо с экзамена ее отвезли в госпиталь Военно-медицинской академии. Звание младший лейтенант присвоили, но сил было не очень много, и пролежала Мария Алексеевна в госпитале ровно два с половиной месяца. После госпиталя даже начальник КУЛСа не был в восторге от пришедшей с получением назначения военной фельдшершицы

«На фронт я вас не направляю, для действующей армии вы не годитесь, слишком слабенькая...» Есть у меня для вас хорошее место... медичка там, фельдшершица, подзагуляла, молодая девица, Лучинкина Анна, не встречалась такая? Так вот, мы ее как раз в действующую армию направим, а вас на ее место. Будешь военфельдшером на стрелково-пулеметных курсах Ленинградского фронта. Тихорецкий проспект знаешь? Вот там в академии они и дислоцируются».

О том, как выглядела Мария Алексеевна в эти дни, можно судить хотя бы по тому, как ее встретили на пулеметных курсах. Простившись с Анной Лучинкиной, оставившей о себе самые лучшие воспоминания, командно-преподавательский и строевой состав с напряжением ждал появления нового военфельдшера. Но стоило ей появиться, как вздох разочарования прокатился по курсам, все зашушукались, особенно офицеры: «Смотри-ка, какую старуху нам прислали...» И хотя начальник строевой части уверял, что Жучкова двадцатого года и старухе пошел только двадцать третий год, никто меньше сорока не давал, и считали, что начстрой всех разыгрывает. Через месяц Жучкову было не узнать, и снова зашумели, зашушукались, особенно те, кто выезжал на полевые сборы и долго ее не видел: «Это Жучкова?! Да не может быть!» Помогло еще и то, что она не курила, и полагавшееся в офицерском пайке печенье получала чуть не в двойном размере за не нужный ей табак. А еще по долгу службы обязана была снимать на кухне пробу. Прямо на глазах сморщенная старуха превращалась в статную молодую женщину.

Жизнь на курсах была кочевая. Какой-то период времени стояли в Ручьях, потом в Новочеркасских казармах на Охте, потом на Карельском перешейке, в Сертолово стояли, и в Новом и в Старом, и в 1-м и во 2-м. Зимой все леса под Токсово исползала на животе, и по пояс в воде была, и зимой в лесу ночевала, и лыжные броски, одним словом, солдатская жизнь. Мария Алексеевна и держалась поближе к солдатам, потому что так было проще. Это командиры считали, что фельдшерский состав у них в полном подчинении, а для солдат она была офицером, лицом неприкосновенным. Зимой солдаты раскинут палатку или соорудят шалаш, натаскают хвойной лапы, набьются вповалку, а Мария Алексеевна к ним, всегда в серединку возьмут. Командир батальона набросится утром: «Где ночевала?» — «В шалаше с солдатами». Вот и все. Так только и можно было себя держать. Важно было еще и то, что под Ленинградом в частях все-таки было много женщин и город рядом. А на курсах не только одна рота была целиком из женщин, из молодых, из девушек, но еще и большая обслуга из гражданских лиц, по преимуществу женщин, две большие столовые, офицерская и солдатская, прачечная и швейная мастерская. Женщины шли работать охотно, потому что курсы были как воинская часть и приравнялись как бы к фронту.

Не попала Мария Алексеевна на войну с Японией только потому, что была замужем. Считается, что сыграло свою роль и то, что дети были вписаны в военную ее книжку. Краснобрижин начал разговор строго и хотел уже оформлять ее на Японию, как Мария Алексеевна сказала, что ждет мужа. И действительно, она не теряла надежды до сорок шестого года. С сорок третьего, когда письма

прекратились, она писала в часть и ходила в военкомат, чтобы был розыск. Но ответа никакого не было. И Краснобрижин ей поверил, а свою строгость объяснил тем, что многие, как говорится, «ппж» — походно-полевые жены, хитрят и спасаются от фронта. Все они уверяют, что у них есть муж, но только не оформленный. «А вот у вас, я вижу, муж есть, законный, и дети есть. Я вас туда не отправлю, то есть в Японию». Отправил в Остров, в тяжелый самоходный танковый полк под Псковом, где Мария Алексеевна и прослужила еще полтора года. Там и получила из военкомата извещение: «Ваш муж... такой-то и такой, такого-то года рождения, красноармеец Жучков Павел Алексеевич, пропал без вести». И все. Похоже, что без вести пропала и часть, где он служил, потому что на все запросы, адресованные в полевую почту, ответа не было.

Здесь, в Острове, у Марии Алексеевны был настоящий роман с командиром седьмой роты капитаном Василевским.

Семьи у Василевского не было, сам он был из Гомеля. Мария Алексеевна к этому времени получила справку из военкомата, так что препятствий на пути к счастью вроде как никаких, да и все в полку считали, что не сегодня-завтра быть свадьбе, так на них и смотрели. И по возрасту они очень подходили друг другу. И счастливы они были, все это видели, и даже командование закрывало глаза. Скорее всего раздор произошел оттого, что Василевский звал в Гомель, а она хотела только в Ленинград. Василевский Ленинграда не признавал и говорил, что она надеется еще, что вернется Жучков. Случалось же, что пропавшие без вести хоть изредка, но возвращались. Как Василевский выпьет, так начинает декламировать: «Жди меня, и я вернусь...» Мария Алексеевна плакала, обижалась. Так и расстались.

Мария Алексеевна вернулась в Ленинград по демобилизации, пошла медсестрой в академию имени Буденного.

Во время войны, конечно, Мария Алексеевна могла неплохо устроить свою жизнь. Пары подходили хорошие, были даже полковнички, которые потеряли семьи, но тогда думала, что Жучков вернется, и старалась себя держать. А когда пришла из армии, увидела, что мужчины ее возраста уже все переженались, да и осталось их совсем мало. Были и помоложе хорошие женихи, как-никак Мария Алексеевна была женщиной видной, интересной и могла неплохо устроиться, но моложе она не хотела.

Как жила Мария Алексеевна с сорок седьмого по пятьдесят пятый, пока не отсидел свое Гриша и не появился в Ленинграде, сказать трудно. Может быть, и правду говорила Гликерия Павловна, что было у нее одиннадцать мужей. На канале в квартире семьдесят два она появилась уже с Гришей. Уж как хотела Мария Алексеевна мужа постарше или хотя бы ровню, а вышла все-таки за Гришу, который был на пять лет ее моложе, но года у них были такие, когда разница не очень бросается в глаза.

Однажды Василевский приехал из Гомеля, неведомо как Марию Алексеевну разыскал и заявился на канал. Это было в воскресенье утром. Гриша как раз ушел за рыбой, он всегда в воскресенье ходил за рыбой в магазин на Невском напротив Желябова и сам жарил. Фамилию, когда расписывались, Мария Алексеевна оставила себе Жучкова, так и было обозначено на одном из множества звонков на входной двери: «Жучковой: Стребулеву». Василевский позвонил. Мария Алексеевна вышла. В комнату она его не повела, пошли на кухню, где как раз было множество народа. Посидели, поговорили. Василевский никак не мог поверить, что она замужем. Мария Алексеевна хохотала и взглядом обращалась к жильцам, вроде как требуя подтверждения, но деликатные соседи как бы не замечали этого свидания и занимались своими делами и мелкими разговорами между собой.

Выглядела Мария Алексеевна в это утро замечательно, несмотря на халат и закрученные под платочком бигуди; всего неделю назад они приехали с Гришей из Крыма, и была она молодая, загорелая, в легком халатике... Заявился Гриша и стал выкладывать крупную, будто в солнечных блестках, навагу, привлекательную для него своим сладковатым привкусом. Мария Алексеевна сказала. «Вот мой супруг...». Василевский как-то сразу стушевался, поздоровались они без рукопожатия, и гость тут же стал прощаться. Мария Алексеевна проводила его до лестницы, а там сказала: «Ты не ходи к нам больше, овчинка не стоит выделки. У тебя семья, и не надо ее бросать, и у меня есть человек, а что было, давным-давно забыто». На кухне Мария Алексеевна сказала Грише и всем, чтобы слышали: «Это вместе служили... Он, наверное, узнал мой адрес из справочного. Наверное, думал, что раз фамилия Жучкова осталась, то я одна, решил навестить».

Я его приглашала, хотела вас познакомить, побыли бы, пообедали, чего особенного, подумаешь, друзья были когда-то...» «Если бы он не ушел, то я бы ушел», — сказал Гриша и стал чистить рыбу. Больше он никогда не вспоминал про этот случай, хотя был крайне ревнив. Мария Алексеевна в академии имени Буденного работала батальонной медсестрой и каждый год выезжала в лагерь на двадцать пятый километр Выборгского шоссе. Из-за сильной Гришиной ревности пришлось уйти, хотя ставка там была хорошая. Немного проработала в Военно-медицинской академии, в той самой, где умирала в блокаду, да не умерла. И оттуда из-за Гриши ушла. Перешла в педиатрический институт, тут ревновал даже к студентам. Только когда пошла патронажной сестрой в женскую консультацию на Софье Перовской, наконец успокоился. А когда-то Мария Алексеевна мечтала отработать двадцать лет на одном месте, чтобы иметь десятипроцентную надбавку к пенсии.

Но история с Василевским закончилась не сразу. Года два или три приходили из Гомеля посылки с роскошными яблоками. Гриша спрашивал: «От кого яблоки?» — поскольку обратного адреса на посылках не было. «Больная у нас была, здесь рожала, потом наблюдалась, когда выходила, обещала яблок прислать». Больше вопросов Гриша не задавал, но яблок этих не ел, так что Марии Алексеевне приходилось угощать соседей.

Возвращаясь к зеркалу, надо сказать, что женщины без зеркала страдают значительно больше, чем мужчины, и дело вовсе не в том, чтобы собой любоваться или губки-глазки подвести; вот Марии Алексеевне приходилось, например, красить волосы. Волос у нее был густой, чуть жестковатый, от природы красивый, каштановый, но с большим количеством седины, в особенности на висках, и это не от старости, а от переживаний.

Гриша уходил на работу рано, в половине седьмого, дорога на Преображенское кладбище была долгой, и Мария Алексеевна, которой до работы было рукой подать, вставала уже без него. Сначала, когда она не увидела своего отражения в туалетном зеркале, подумала, что это просто спросонья. Протерла глаза, посмотрела, снова ничего не увидела, сходила в ванную, посмотрелась в облупленное ничье зеркало, там тот же номер. Вернулась в комнату, села на раскладной диван, где они с Гришей спали, и стала думать, как же теперь краситься. Идти в парикмахерскую или к своей подруге Гале Веселовой — надо что-то объяснять, а что объяснять, если факт есть, а понять невозможно, как жить дальше. Примерно те же чувства испытала она в январе сорок второго, когда у нее украли карточки, — понятно, что вернуть невозможно, как это произошло, значения уже не имеет, и как жить дальше, совершенно не ясно. По дороге на работу, в консультацию, она заглядывала в витрины, надеясь увидеть свое отражение, ничего не увидела, заскочила в парикмахерскую на Желябова и тут же выбежала, пока другие не заметили, а на работе пришлось спрятать зеркальце, всегда стоявшее на подоконнике в смотровом кабинете. Вечером, когда пришел Гриша, Мария Алексеевна пошла на хитрость, сказала, что у нее глаза побаливают и просила большой свет, верхний, не включать, включила торшер у дивана. Потом подошла к туалетному зеркалу совсем близко, так, чтобы Гриша ничего не видел, и, будто бы рассматривая себя, вдруг спросила: «Гриш, а что, если я больше краситься не буду, как ты на это смотришь? Что мне седину прятать?» Гриша даже обрадовался, но виду не подал: «Это твое дело, женское». А сам подумал: «Пусть седая походит, меньше мужики будут пялиться».

В тот вечер и сам Гриша сделал печальное открытие и тут же сказал Марии Алексеевне:

— Маша, смотри, меня в зеркале не видно.

— Пьешь, Гриша, много, я тебе говорила, — тихо и спокойно отозвалась Мария Алексеевна, штопая под торшером Гришину рабочую фуфайку и не выказывая никакого удивления, будто речь идет о вещах обычных.

Медицинский авторитет Марии Алексеевны был для Гриши очень высок, и он поверил, а ее ровный тон позволил лишь про себя матернуться и успокоиться, он уже почти привык к тому, что неприятности всегда неожиданны.

— Не обращай на это внимания и поменьше думай, — не отрывая глаз от штопки, твердо сказала рассудительная супруга и уточнила: — Совсем ничего нет?

— Машечка, ни хера нет, ни меня, ни пиджака, ни рубашки.

— Ерунда, это бывает, — окончательно успокоила мужа Мария Алексеевна, откусила нитку и предложила: — Давай его на время уберем, а то будешь только расстраиваться.

Зеркало убрали за шкаф и больше об этом не говорили.

*Часть пятнадцатая***ШУБКИН НЕ ВИНОВАТ!**

Звук — это путь в тишину

Сказанного достаточно для того, чтобы увидеть — диалектика и магия не имеют четких разделительных границ, и более того, имеют области совместного владения — музыку например.

Струна ли, жерло трубы, диск медной тарелки или барабанная шкура, раздраженные извне, стремятся вернуться в свое прежнее состояние, состояние покоя Их возмущенное содрогание, вибрация, стремление сбросить с себя, освободиться от вторжения внешних сил и слышится нам как звук. Это удивительно, но сокровенное состояние даже самых изысканных музыкальных инструментов — молчание.

За долгие годы работы в оркестре Михаил Семенович Шубкин, никому в этом не признаваясь, полюбил тишину, но не буколическую тишину дубрав и скошенных полей, как стало модно со времен Руссо и в последние годы особенно, а тишину, рожденную жестким и властным жестом дирижера, тишину, охватывающую молчанием весь оркестр разом, мгновенно обрывающую самое звучное тутти, тишину паузы И то, как чисто и как полно удается дирижеру заставить звучать тишину, снять звук, стало для Михаила Семеновича мерилом мастерства и, может быть, гениальности Его сознание и слух так привыкли фиксировать эти глубокие, бездонные мгновения тишины, что став однажды свидетелем ужасающей катастрофы в аэропорту «Пулково», когда едва оторвавшийся от взлетной полосы огромный пассажирский самолет рухнул и сразу взорвался, перечеркнув оглушающим ударом все звуки вокруг, погрузив на какое-то мгновение все окружающее в скорбную тишину, его слух, утомленный беспорядочной и скребушей какофонией аэропорта, вдруг испытал ощущение не то чтобы счастья, но невыразимого облегчения, которое несет лишь одна тишина, делая душу невесомой, свободной, легкой. Михаил Семенович чуть запоздало, лишь под вой сирены, ужаснулся тишине всегда сулившей руке оркестранта хотя бы мгновенный отдых, а воображению — простор Тогда впервые он увидел и понял, что тишина — это окно в небытие

То же чувство, близкое к страху и отчаянию, он испытал в первую минуту перед зеркалом, когда не нашел в нем своего отражения

«Так вон оно что! Так будет, когда не будет нас»

Он стоял перед трельяжем своей жены Софьи Борисовны, вертел боковые зеркала как плоские уши радаров, но так и не смог поймать свое ускользнувшее отражение почувствовав слабость в ногах, он сел на подвернувшийся стул, потом встал пошел и зачем-то лег на кровать как затуманенный, прямо в одежде «Миша, тебе плохо?» — поинтересовалась Софья Борисовна, отпаривавшая концертные брюки «Я не знаю», — запнулся Шубкин «Какой-то ты растрепанный» улыбнулась Софья Борисовна, еще не подозревая большой беды

В отличие от капитана первого ранга Иванова, мечтавшего не отражаться но не испытывавшего никакой радости от запоздалого исполнения его заветной мечты Шубкин радость испытывает, да еще какую! Дайте ему время прийти в себя О это будет тихая тайная радость приобщения приобщения к чему, он даже побоится выговорить, но увидите он примет этот знак как награду И он признается себе и никому больше, признается чувством а не мыслью и словом в том что страдал страдал отчаянно и безнадежно, сознавая, веря вколоченному в него убеждению, что с ним ничего т а к о г о произойти не может Произошло! И ему больше ничего не надо

От первых, уловленных прозревшим ухом, напевов тростника и вплоть до сегодняшних стенований электрических левиафанов музыка испокон веку управляла доверившимися ей душами и направляла судьбы людей, поставивших смыслом своего существования служение незримому сеятелю в сердцах, бесплотному. летучему, неосязаемому божеству — Звуку

Племен левитов — музыкантов по преимуществу — судьбой и законом было предписано не только славословить Господа музыкой и пением, укрепляя веру и внушая страх божий, не только принимать животных для ритуальных закланий и жертвований от верующих, но и быть блюстителями в н у т р е н н и х д е л народа Израилева быть стражами Ковчега завета

История позднейших времен, вплоть до нашего многострадального времени может предложить удивительные хроники племен и сословий, отряженных властью к исполнению самых ответственных, специальных служб; однако только левиты, попеременно игравшие роли и стражей и воинов, и жрецов и музыкантов, включали служение гармонии неотъемлемой частью служения закону и правопорядку.

Придет ли время, когда в полицию вновь будут принимать людей лишь с абсолютным слухом?

Земли своей левиты никогда не имели и жили во всех местах, служа связью между всеми коленами Израилевыми.

Нравственный авторитет музыкантов прежних времен и не снился нынешним лабухам.

Античные предания сохранили рассказы о том, как герои, отправлявшиеся в походы и странствия, доверяли именно музыкантам одно из самых сокровенных внутренних дел — честь и покой своих жен — как зрителям самым надежным и разумным. Недаром презренный Эгист, прежде чем совершить свое черное дело, сослал на бесплодный остров певца, оставленного Агамемноном в помощь Клитемнестре для укрепления ее верности и чувства супружеского долга.

Вплотную приближаясь к Шубкину, нельзя обойти вниманием давнюю, неплохо укоренившуюся точку зрения на множество необъяснимых, неожиданных и, как правило, горестных событий, имевших еще к тому же и длительные печальные последствия; с этой точки зрения следствие как раз с Шубкина надо было бы и начать да им и кончить. Но чрезмерная универсальность концепции, возводящей Шубкина лишь за принадлежность к племени левитов в ранг представителя зловещей и враждебной прочему человечеству силы, как раз и свидетельствует о ее слабости. Все универсальные концепции, как мы могли убедиться, рассыпаются от своей ограниченности, не умея вобрать все многообразие и непредсказуемость жизни, развивающейся вольно и прихотливо.

Рискуя ослабить пружину сюжета и потерять в очередной раз расположение подлинных ценителей стремительной следственно-приключенческой литературы, автор находит необходимым сделать заявление о том, что не считает Шубкина виновником в высшей степени странных событий, происшедших в квартире семьдесят два, хотя именно Шубкин воспринял их как некий знак собственной избранности, что при его позиции на третьем пульте в группе вторых скрипок можно трактовать как полнейшую не только для него но и для нас неожиданность.

Для доказательства невиновности Шубкина, в котором можно увидеть даже попытку заигрывания с Шубкиным и ему подобными, не остается ничего иного, как по возможности кратко и безусловно, правдиво рассказать в высшей степени заурядную историю скрипача с шестого пульта (впоследствии с четвертого) из группы вторых скрипок заслуженного коллектива республики, ордена Трудового Красного Знамени Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии

Из города Зиновьевска, что на речке Ингул, юный Михаил Шубкин прибыл в Ленинград в те времена, когда российская Академия наук еще не покинула своей родной почвы, а в зале филармонии держателями абонементных кресел были как действительные академики, так и готовившиеся ими стать, например Вавилов и Иоффе. Ринувшись едва ли не с вокзала в легендарный зал филармонии Михаил Шубкин с немалым удивлением наблюдал как благообразный седой старикан вовсе не похожий на представителя власти, оказавшийся, как выяснилось, президентом Академии наук, до начала концерта, прежде чем занять свое место в первых рядах слушателей, прошел по ковровой дорожке к эстраде, уже занятой настраивавшим инструменты оркестром, и пожал руку концертмейстеру оркестра, первой скрипке Виктору Александровичу Заветновскому. Вытаращившему глаза провинциалу тут же на хорах объяснили, что это всегда так, как бы уже традиция. А потом Шубкин видел за дирижерским пультом самого Глазунова, не смея и предполагать, что всего через год его игра заслужит одобрительную улыбку Александра Константиновича и он будет принят в консерваторию и зачислен в класс скрипки к Шеру а в класс ансамбля — к Глазунову.

Александр Константинович открывший Михаилу Семеновичу заветные двери консерватории, покорило юношеское воображение.

Шубкин знал музыкантов! В Зиновьевске у него были очень неплохие учителя — Иван Иванович Майзель, Наум Гибнер и сам Фаддей Абрамович Брусило, разведшийся с женой в Кременчуге и вернувшийся в родной Зиновьевск; но именно глядя на Глазунова, он решил, что в первый раз в жизни видит человека, живущего в музыке. Жест, походка, рукопожатие концертмейстеру и даже его тяжелое большое тело были гармоничны, как басовый аккорд. Шутку Александра Константиновича о том, что на посту директора консерватории кроме скрипичного и басового ключа он освоил еще гаечный и водопроводный, Шубкин рассказывал несчетное число раз, сам заранее смеясь.

Среди поклонников дирижерского таланта Александра Константиновича Михаил Семенович был едва ли не на первом месте. Дирижировать Александр Константинович любил безмерно, утвердился в этой любви после дирижерских гастролей в Париже и даже считал себя в первую очередь дирижером и лишь потом композитором. Пронес он эту ошибочную оценку себя через всю жизнь. С лицом, освещенным неизменной улыбкой, источающей искреннюю благорасположенность и доверие, выдающийся композитор вел оркестр всегда в чуть замедленном темпе, и было понятно, что иной темп никак бы не гармонировал с его грузной и малоподвижной фигурой.

Музыкальная обстановка в городе, куда прибыл Михаил Семенович, была трудной.

Регент еще не закрытой Голландской церкви, располагавшей одним из лучших органов в городе и небольшим хором, устроил по примеру былых времен концерт с исполнением мессы. Музыкальный праздник шел при дверях, распахнутых на Невский проспект, где толпилась не вместившаяся под своды церкви публика. Регент укрепил свой исполнительский состав двадцатью хоровиками и четырьмя солистами из капеллы, а также пригласил по договоренности с Арнгольдом пятьдесят человек из филармонического оркестра. Концерт был великолепен, имел огромный успех у публики и, как говорится, резонанс в печати. На следующий день вместо аплодисментов, от которых регент просил слушающих воздержаться, «Вечерний Ленинград» грохнул статьей «Филармония в услужении у церкви». Инспектор филармонического оркестра Арнгольд, избобленный «в падении коммунистической нравственности», был шумно на собрании коллектива, состоявшего, кстати сказать, наполовину из соучастников преступления, смещен с должности инспектора и едва удержался как артист на посту контрафота.

Первую скрипку в вопросах музыки играл губком партии — вот такая была в городе обстановка.

Шостаковича, чьим именем впоследствии будет назван зал Дворянского собрания, еще не играли, зато сам он играл неподалеку в кинотеатре «Пикадилли». Среди замечательных музыкантов, вышедших из оркестра фешенебельного кинотеатра на Невском проспекте, были, например, и превосходные скрипачи — Михаил Рейсон и Яша Зайде, последний, к сожалению, уехал еще до войны в США и там успешно концертировал.

Большая музыкальная и личная жизнь Михаила Шубкина началась в оркестре кинотеатра «Титан», открывшегося только что на углу Невского и Владимирского проспектов в помещении упраздненного ресторана Палкина, знаменитого не только в Петербурге.

В «Титане» Шубкин продержался недолго. После пожара в Народном доме дирижировавший там в оперном театре Павлов-Арбенин собрал большой симфонический оркестр для гастролей в Баку. Предложение повидать мир и поработать в большом оркестре, естественно, увлекло Шубкина, и он покинул Ленинград.

Юный провинциальный скрипач понимал, что с его багажом и техникой нельзя рассчитывать на поступление в консерваторию.

В Баку, в несусветной жаре, работая в оркестре, а потом еще по шесть-семь часов самостоятельно каждый день, Миша сумел неплохо подготовиться и поступить в консерваторию.

За годы обучения в консерватории, годы напряженного и беспощадного по отношению к себе труда, Михаилу Семеновичу более всего запомнилось почему-то участие в работе над грандиозной ораторией «ЛЕНИН», коллективно сочинявшейся самыми даровитыми учениками профессора по классу композиции. Сочинение замысливалось грандиозным, как самый большой в мире самолет «Максим Горький», как самый длинный в мире канал — Беломоро-Балтийский, как самая крупная домна в стране, и поэтому многие связывали свое участие в оратории с самыми серьезными надеждами. Величественный опус по

замыслу организаторов состоял из шести частей: «Ленин на трибуне», «Первый коммунистический субботник» и «Смерть Ленина», это первые три части, где присутствует зримый образ вождя, а потом еще три части: «Ленин жив в наших сердцах», «Завод» и «Первый советский трактор». Финал решил написать сам профессор.

Безотказного Михаила Семеновича пять соавторов эксплуатировали самым безжалостным образом, его, случалось, забирали с «обязательного фортепиано» на проигрывание в восемь рук отдельных фрагментов оратории. Почти на его глазах был найден едва ли не самый сильный, ударный момент не только первой части, но, пожалуй, и всего сочинения, признанный всеми великолепным. Нагнетаемое оркестром исподволь, постепенно чувство ожидания и нетерпеливого волнения разрешается исполненным с предельной силой возгласом «ЛЕНИН!!!» в момент появления вождя на трибуне. Возглас, по замыслу композитора, удачно скорректированному наставником, должен был производить ошеломляющее впечатление, поскольку произносился одновременно всеми участниками исполнения, а их было немало: тройной состав симфонического оркестра, хор чтецов, детский хор, смешанный женско-мужской хор, чтец-солист и четыре солиста-певца. Конечно, на репетициях и пробах, собиравшаяся до двадцати — тридцати человек, нельзя было приблизиться к максимальному эффекту, но проходившие по коридору вздрагивали, когда авторский коллектив и привлеченные к репетициям студенты в едином порыве восклицали: «ЛЕНИН!!!», представляя его вошедшим в аудиторию.

Грандиозный замысел постигла та же участь, что и строительство небывалого Дворца Советов в Москве, каковой надлежало увенчать стометровой фигурой вождя.

Проект осуществлен не был.

А как великолепно изображался «завод» хором чтецов, произносившим написанные композитором комбинации цифр! Говорят, американский композитор Коул придумал удар локтем по клавишам, но здесь ушли дальше. К сожалению, так и осталась без употребления специально сконструированная и выполненная планка, посредством которой можно было разом ударить по всем восьмидесяти восьми клавишам рояля для извлечения сильного звука.

Руководитель композиторского класса, явив образец творческой и гражданской требовательности, сам забраковал все свои варианты финала, не удовлетворенный музыкой, по собственному признанию, «не отражавшей свет и тепло, источаемые вождем». Имя этого композитора останется в памяти всех, кто его знал, хотя бы потому, что он единственный на общем собрании музыкантов голосовал против осуждения своего коллеги Шостаковича по статье в газете «Правда»

Но это дела грядущие, а пока шли годы обучения.

Класс ансамбля куда был записан к профессору Глазунову Михаил Семенович, просуществовал недолго. Летом 1928 года мэтр уехал в Вену на празднование столетия со дня смерти Франца Шуберта, обучавшегося, как Бетховен и Лист, контрапункту и композиции у знаменитого Сальери.

В сущности же, в отъезде Глазунова для Шубкина и многих других музыкантов ничего загадочного не было, поскольку было известно, что три главных дирижера Ленинградской филармонии, начиная с Сергея Кусевицкого, Эмиля Купера и кончая учеником Направника, высокообразованным в музыкальном и университетском смысле профессором Малько, все они, выехав за рубеж на гастроли, обратно к своему оркестру не возвращались.

Здесь же надо сказать, что в начале тридцатых годов множество музыкантов неарийской крови, например, Клемперер, Клейбер, Фрид, Шнабель, Штидри, Элиасберг бежали из Германии, воспрянувшей после поражения в первой мировой войне. Бруно Вальтера, чья настоящая фамилия Шлезингер, молодые люди в немарких коричневых рубашках и каскетках вроде лыжных шапочек с козырьком, не прерывая спектакля в Берлинской опере, сняли прямо с дирижерского пульта, и на его место тут же встал приготовленный менее известный дирижер, правда, со свастикой на нарукавной повязке, плохо закрепленной и едва не слетевшей во время дирижирования.

В эти самые годы советская страна не раз предоставляла множеству беглецов из Германии возможность гастролировать у нас и даже жить постоянно.

Со временем звание «народный артист республики» было посмертно возвращено Глазунову, а вскоре и прах достойнейшего сына своего народа был доставлен на родину. Можно было бы только порадоваться этим фактам, если

бы ужасная подробность не сопутствовала торжественному и скорбному акту перенесения праха из Парижа в Ленинград в Александро-Невскую лавру на Тихвинское кладбище для захоронения рядом с другом и наставником Н. А. Римским-Корсаковым.

Стоя на очень высокой ступени цивилизации, неколебимый в своих убеждениях Александр Константинович не был совершенно чужд верованиям праотцов, в чем обнаруживалась шаткость взглядов почтенного маэстро.

Как ни пытался Александр Константинович оградить себя и свою жизнь от опасностей, связанных с недобрыми знаменами, тем не менее повлиять на начертанное в книгах судеб ему не удалось, а ведь Александр Константинович, подобно Малеру, опасался писать свою Девятую симфонию, считая ее роковой и для Бетховена и для Брукнера.

Самолет, прибывший из Парижа в Ленинград, выгрузив палисандровый гроб, взмыл в небо, чтобы следовать дальше, но, не долетая Москвы, внезапно рухнул, похоронив в своих обломках всех пассажиров, кроме одного француза, увидевшего, как в Ленинграде выгружали гроб и отказавшегося лететь дальше.

Второй раз Михаил Семенович оказался как бы вплотную к самолету, не удержавшемуся в небе. Как и многие, он подумал, что мог бы оказаться в таком самолете... «Не мог! Не мог!» — с отчаянием самоуничтожения признался себе и только себе скрипач шестого пульта, правда, тогда он уже перешел на четвертый.

Не станем напускать мистического тумана на широко распространенную профессию скрипача, но признаем при этом, что за каким-то пределом людям этой профессии уготованы странные, необъяснимо сходные судьбы.

Не станем вмешиваться в сферы компетенции римско-католической церкви, уличавшей первого скрипача мира, неподражаемого Никколо Паганини, в связи с нечистой силой. Положим, никакой демон не вселялся в душу маэстро, и запрещение хоронить гения скрипичного искусства было лишь пугающей демонстрацией своей силы и власти со стороны клириков. Пусть так, и Михаил Семенович не позволял себе думать о мистическом и сверхъестественном, но на его глазах происходило необъяснимое: выдающиеся, замечательные, любимые им скрипачи умирали в дороге.

Когда у исполнителей, знаменитых своим ошеломляющим темпом и стремительным ритмом паганиниевских каприсов, рвался на смычках волос, Михаилу Семеновичу чудились гривы и хвосты коней, запряженных в повозку, мчащую гроб с телом отверженного, преданного церковному заклятью демона и чародея скрипичного искусства, лишённого права на земное упокоение.

Когда он слышал о смерти скрипача в дороге, ему казалось, что просто пересеклись пути великих, и они решили не расставаться.

Мирон Полякин умер в поезде, шедшем в Москву.

После отъезда Глазунова Шубкин перешел учиться в класс ансамбля к Миرونу Полякину. Скрипачом Мирон Борисович был первоклассным, но педагогом взбалмошным, неуравновешенным, импульсивным, не признающим методик и строгих правил, впрочем, не только в педагогике, но и в жизни, и незримые силы хранили его. В середине тридцатых годов произошел случай, о котором не без страха душевного говорили его друзья и близкие. В переполненном утреннем трамвае Мирон Борисович закричал своему приятелю Шеру, отделенному от него толпой в полвагона: «Веня! Ты слышал, ГПУ закрыли! Они не будут больше расстреливать!» К счастью, в трамвае, в этот утренний час развозившем людей на работу, не оказалось политиков, и оба приятеля уцелели. Можно себе представить, чем могло бы обернуться для Полякина неверно понятое сообщение в газете о ликвидации ГПУ и передаче его функций НКВД.

21 мая 1941 года Полякин и Шостакович возвращались из Крыма в Москву. Ехали в одном вагоне, в мягком, в разных купе. Вечером немножко выпили, кажется, пива, а утром, когда уже подъезжали к Москве, Дмитрий Дмитриевич, как всегда загодя, стал собираться. С деловитостью весенней птицы, приводящей в порядок свое гнездо, он упаковал чемодан с двумя поперечными ремнями. После того как вещи были уложены и даже опорожнена настенная печьница в форме ребристой морской раковины, Дмитрий Дмитриевич отправился будить Полякина. Шостакович коснулся плеча разоспавшегося приятеля, потряс его и в ужасе отдернул руку, когда из-под приспущенного века Полякин посмотрел на него мертвым глазом. Умер человек в поезде, досадно, но надо ли преувеличивать?

А то, что Леонид Коган умер в поезде, тоже не будем преувеличивать? Да, тот самый Леонид Борисович Коган, чья скрипка и г р а л а скрипку Паганини в знаменитом фильме об итальянском виртуозе.

А то, что Миша Вайман, Михаил Вайман, умер в поезде по дороге из Гётеборга в Стокгольм, тоже не будем преувеличивать? Для не знавших и не слышавших Михаила Ваймана можно сказать, что скрипачом он был мирового класса, хотя бы потому, что играл на подлинном «С т р а д и в а р и», инструменте настоящих виртуозов. Эта скрипка была с ним в поезде, доставляя много волнений и неудобств, так как наши скаредные устроители гастролей отказали маэстро в сопровождающих лицах. Если бы в этом шикарном шведском поезде был хоть один вагон со спальным местом, может быть, и не дошло бы дело до катастрофы, но даже в первом классе места хоть и мягкие и покойные, но только сидячие, зато окна огромные, зеркального стекла, и всегда чисто вымытые. Но человека с тяжелым сердечным приступом нужно немедленно уложить...

Михаил Семенович считал, что Миша Вайман еще не раскрылся, что лучшие страницы своей биографии ему еще предстояло сыграть, поэтому огорчился его уходу искренне и глубоко. Коллеги по оркестру, скорбно заметив, что «Мишу не вернешь», предались тягостным и горьким размышлениям о возможности вернуть хотя бы «С т р а д и в а р и». То, что инструмент сопрут, сомнений не было, но, к всеобщему удивлению, как раз с возвращением инструмента никаких сложностей не было.

И Давид Ойстрах умер в одночасье в далеком Амстердаме, на гастролях..

Надо ли говорить, что в эту роковую цепь стал Борис Гутников, гордость нашей скрипичной школы..

Кто может, пусть объяснит это в высшей степени странное сходство в судьбе наследников загадочного маэстро.

Михаил Семенович, не находя убедительных объяснений этой закономерности, не без горечи отмечал про себя, что ему т а к а я смерть не грозит. Да, не грозит, но и он, да, именно он, всего лишь Миша Шубкин, да, Михаил Семенович Шубкин, загнанный на шестой пульт, и над ним простерлось крыло, он именно так почему-то и решил: «простерлось крыло»... Пройдет испуг, притупится отчаяние, и вот увидите, он взглянет в пустое зеркало, и душа его исполнится гордости. Сатанинской? Не знаю, спросите у скрипача, пронзившего смычком завесы недоступных нам тайн.

А утро своей жизни Михаил Семенович прожил, можно сказать, почти счастливо, талант и замечательное трудолюбие помогли преодолеть немало трудностей и заслужить уважение и репутацию надежного музыканта, и он не знал печали!

Поддень, совпавший с началом работы в великолепном филармоническом оркестре, был освещен встречами с великими музыкантами, умевшими добиться от оркестра отдачи совершенно немислимой — ободряющим ли взглядом или властной силой своего таланта и обаяния. Это был праздник человеческого общения, оставивший запас, жить которым пришлось не один десяток лет.

Вечер жизни наступил значительно раньше, чем Михаил Семенович мог ожидать.

Во все века человечество ищет возможность единого и согласованного существования. Из всех уже опробованных и по большей части отвергнутых форм коммун и коммюнити один только оркестр остается знаком, дающим надежду на осуществление заветной мечты людей, не ищущих своего счастья и благополучия отдельно от других или за счет других.

Самый легкий, самый маленький и беззвучный инструмент оркестра, дирижерская палочка, наглядное свидетельство того, что власть в оркестре принадлежит не силе и не страху

В повелевающем жесте дирижера нет угрозы и унижения, быть может, для этого и дана в руки маэстро легкая, как солнечный луч, палочка, чтобы мощный, требовательный, исполненный силы повелительный жест обращался в жест легкий, а удар темпераментного повелителя становился лишь побуждающим касанием.

Нет, дирижерская палочка вовсе не похожа на бич надсмотрщика, добивающегося ритма, темпа и согласия в действиях множества гребцов на галере, не похожа она и на хорей — длинный шест, которым возница погоняет и удерживает в нужном направлении упряжку лапландских оленей.

Уж на что Отто Клемперер, титан, музыкант огромного масштаба и двухметрового роста вдобавок, дирижировавший без подставки, когда он всей своей шевелюрой и острым взглядом поверх очков, взглядом, всегда казавшимся злым и недовольным, гипнотизировал оркестрантов, казалось бы, подавляя их волю и привычку, оркестр играл вдохновенно, окрыленно, превосходя и без того немалые свои возможности.

А разве хуже звучал оркестр, когда за пультом стоял великий Бруно Вальтер, ученик незабвенного Малера? Казалось, единственное, что заботит дирижера, так это — как бы снять волнение с валторниста перед трудным соло: он загодя ободряет его взглядом, даже улыбнется, хотя валторнам редко достаются веселые темы, а перед тем, как солист должен начать, дирижер вовсе отворачивается от него, давая понять, что за него он спокоен. Бруно Вальтер, в отличие от Отто Клемперера, был убежден, что пристальный взгляд — очень сильное средство, а понукание и вовсе травмирует профессионала.

И вот что поразительно, это загадка! Как дирижерам разных характеров, разных званий и наций, исповедующим совершенно разные стили общения с оркестром и оркестрантами, удавалось достичь высот, равных их музыкальному дарованию и высочайшей выучке, гибкости и мастерству оркестра Ленинградской филармонии? А ведь в ту пору среди филармонистов было еще немало музыкантов из придворного оркестра!

Да, власть дарования, таланта, гения — это власть особой природы, с совершенно особенным и всякий раз неожиданным способом управления душами людей!

Удивительно, но у этого собрания, казалось бы, лишенных отдельного лица сообщников есть своя воля, свой закон, инстинкт самозащиты и выживания. Каждый отдельно взятый оркестрант, казалось бы, заменим и безвластен, но оркестр может явить и непокорство, может враждовать с неугодным дирижером, или, напротив, выказать любовь, ни с чем не сравнимую.

Оркестр, как и каждый советский человек, имел все права бороться за чистоту своих идеалов.

Принято винить Яшу Смирнова из Смольного, впоследствии ушедшего руководить «Ленфильмом» и на этом посту расстрелянного, в том, что в тридцать шестом году не была исполнена Четвертая симфония композитора Шостаковича. Но все должны помнить, как, загипнотизированные ясными и простыми мыслями исторической статьи в самой центральной газете, сами оркестранты бросились на поиски формализма в музыке и на борьбу с ним.

Едва Фриц Штидри, не прекращавший, кстати, немножко дирижировать даже во время обязательных, как завтрак в «Норде», дневных прогулок по солнечной стороне Невского проспекта, приступил к репетициям Четвертой, как активисты оркестра начали бунт «непонимания». Лучший прием семейных конфликтов: «Мы перестали понимать друг друга!» — и за этой универсальной в своей неувлывимости формулой может крыться и явное предательство, и тайная измена, и самое неожиданное коварство. И только после того, как оркестр перестал понимать эту музыку, на репетициях появился Яша Смирнов из Смольного. Только после этого, со ссылкой на авторитет прославленного оркестра, Яша мягко, но твердо предложил композитору подать заявление о добровольном желании забрать партитуру и отказаться от исполнения.

Никакой Яша с Шостаковичем, разумеется, не разговаривал, переговоры с композитором велись через директора филармонии Исайю Рензина, учившегося вместе с Дмитрием Дмитриевичем в консерватории в фортепианном классе у профессора Николаева. Словно предчувствуя свое замечательное поприще, Исайя уже в консерватории требовал, чтобы его звали Шуриком. Так его и звали — Шурик. Не все, естественно, ученики Николаева, педагога выдающегося, достигли таких высот фортепианного искусства, как Шостакович, Софроничский, Юдина, Перельман или Павел Серебряков, но зато в Шурике открылся незаурядный талант руководителя и вожака. В Ташкенте, куда была эвакуирована консерватория, Шурик возглавил партячейку, в известном смысле превзойдя своего учителя, вступившего в партию лишь накануне войны на шестьдесят втором году жизни. Не забывая годы своего ученичества, Шурик приветствовал Леонида Владимировича размашисто и дружески: «Здорово, батя!». И надо сказать, это приветствие в духе Остапа Бульбы не очень-то гармонировало с тощей и длинной фигурой Шурика, с его обвислой нижней губой, как правило, украшенной изжеванной «беломориной». Вот Шурик как раз и разъяснил Шостаковичу, какого рода заявление в его собственных интересах, ну и в

интересах коллектива, разумеется, следует написать. С Шостаковичем он тоже был на «ты».

Шостакович написал заявление еще короче, чем рассчитывал Шурик, а партитуру, как говорится, предал грызущей критике мышей. Для палитры реалистической картины надо сказать, что за партитурой Четвертой симфонии из Америки приехал покойник.

Незадолго до назначенных гастролей в Союзе Отто Клемперера было объявлено, что он умер. И несмотря на широковещательное траурное оповещение, покойник не только приехал на гастроли, но и пришел на репетицию. Появление дирижера на репетиции сопровождалось восторженным приветствием вставшего оркестра. Суровый на вид гигант был смущен, он не мог найти объяснения такому энтузиазму своих коллег. Третья и Пятая Бетховена были блистательно исполнены после одной-единственной репетиции, закончившейся репликой маэстро: «Ausgezeichnet!!» Еще бы, домашняя работа была выполнена оркестрантами загодя и безупречно. Однако оживший Клемперер партитуру Четвертой Шостаковича не получил, хотя ради нее и приехал, ее похоронили прочно, на тридцать с лишним лет.

Во всей этой истории превращения не сыгранной, не исполненной, не прозвучавшей симфонии в призрак Михаил Семенович держал себя с той трагической скромностью, которая при общем благожелательном взгляде на скрипача может быть истолкована в его пользу. А вот многие оркестранты в связи с репетициями Четвертой симфонии поспешно начали пугать друг друга и чистосердечно предупреждать друзей композитора: «Это будет второй «Сумбур вместо музыки». Это будет вторая статья. Это будет вторая «Балетная фальшь». Будет статья, будет статья, будет статья...»

В трудную минуту партия бросала к роялю своих лучших сынов. Так, на историческом совещании в Центральном Комитете секретарь Центрального Комитета и член Политбюро Андрей Александрович Жданов, сев к роялю, вдохновенно, но, к сожалению, технически крайне несовершенно, показал лучшим музыкантам страны, какую музыку следует считать плохой, а какую хорошей.

К сожалению, титаническая музыкальная и общественно-полезная деятельность артистов знаменитого оркестра оценивалась мизерной зарплатой.

Чуть проще было жить музыкантам, преподававшим в консерватории, особенно тем, кто имел профессорское звание, как Илья Осипович Брик, ученик Брамса, концертмейстер виолончелей, или первый фагот Васильев Александр Гордевич.

Оркестранты так прямо и признавались друг другу, что жить на зарплату, да еще с семьей, невозможно, поэтому широчайшую практику приобрели выступления филармонических музыкантов в ресторанах и кинотеатрах.

В «Асторию» ходили слушать первую трубу филармонического оркестра непревзойденного Скомаровского. Там же можно было услышать и блестящего скрипача, концертмейстера оркестра Павла Сергеева. Закрывалась «Астория» в два-три часа ночи. А вот в «Норде» и «Квисисане» играли музыканты из Мариинского театра, играли очень хорошо, но знатоки всегда могли отличить уровень филармонического исполнителя от театрального. Один класс, когда музыкант играет большую и многообразную симфоническую программу, и совсем другой, когда сто первый раз молотит «Жизель» с альтовым соло.

Шубкина сначала пригласили в ансамбль ресторана «Метрополь», а потом на долгие годы он ушел в ресторан «Восточный», равно неведомый командировочной и загульной публике, но славившийся своей кухней, балкончиками и многие годы служивший своеобразным клубом ленинградской интеллигенции.

Оркестр «Восточного», как и вообще оркестры хороших ресторанов той поры, никого не заглушал, можно было негромко, спокойно разговаривать и слышать друг друга за исключением тех минут всеобщего восторга, когда играли непревзойденные шлягеры «У самовара я и моя Маша» и все зашибающее «Аргентинское танго».

Нельзя пройти и мимо 1937 года в истории оркестра, с которым связал свою судьбу Михаил Семенович Шубкин.

1937 год ознаменован в нашей стране небывало большим числом новых назначений на ответственные государственные, военные и народнохозяйственные посты. Волна обновления вознесла товарища Керженцева на ключевой пост председателя Комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров. Новый председатель сразу же нанес залповый удар по так называемой художе-

ственной элите, все театры и коллективы, возведенные в ранг «академических», в том числе и Ленинградская филармония, этого наименования были лишены. Придя домой, разжалованный из гвардейцев в рядовые Михаил Семенович пересказал Софье Борисовне шутку, которой утешались неунывающие оркестранты, называя усечение звания «Сечей при Керженцеве», намекая на музыкальную картину в известной опере Римского-Корсакова.

Потеря звания была временной, лет примерно через тридцать пять филармония вернулась в высшую лигу, куда до этого также вернулись Александринка и Мариинка.

Вторым историческим событием в жизни оркестра в 1937 году стало назначение главного дирижера, именно назначение — приказом по Комитету по делам искусств, до этой поры дирижеры или приглашались или избирались с общего согласия оркестра. Назначение было новинкой.

Не только Михаил Семенович, но и люди более проницательные не могли знать, что это событие ознаменует начало новой эры в жизни оркестра, в музыкальной жизни города, в целом музыкальном мире.

Начало было триумфальным.

21 ноября 1937 года главный дирижер, еще не получивший своего исторического назначения, исполнил впервые Пятую симфонию Шостаковича, ставшую вершиной его музыкальной биографии.

Для молодого дирижера, изредка выступавшего с филармоническим оркестром с простыми программами в Саду отдыха и на детских утренниках, дирижировавшего до этого по преимуществу балетными спектаклями в Мариинском театре имени С. М. Кирова, успех Пятой стал фундаментом и пьедесталом, на котором главный простоял почти пятьдесят лет.

Тщательность репетиций, проводившихся небывалое число раз, вызывала изумление, домашняя подготовка и предварительное разучивание партий по группам были подняты на новую высоту. Если главный узнавал (а тайн от него скоро не стало), что групповую репетицию по каким-то причинам не проводили, каждый музыкант должен был лично исполнить свою партию перед оркестром. Такая форма строгой отчетности кое-кому показалась не только излишней, но и как бы выражением профессионального недоверия многоопытным музыкантам. Ропот и недовольство могли иметь самые серьезные последствия для непокорных. Но боялись и ошибок, можно было очень легко вылететь из оркестра. Однажды у концертмейстера альтов Крамарова не выдержали нервы: нечисто взял пассаж, он не стал искушать судьбу и сам подал заявление об уходе, немедленно подписанное главным. То ли робкий, то ли гордый альтист ушел преподавать в консерваторию и преподавал с успехом.

С 1938 года, с года утверждения главного в должности, репетиции оркестра приобрели оттенок священнодействия, не то чтобы государственной тайны, но некоторой секретности. В прежние времена репетиции в филармонии были как бы открытыми уроками мастеров, собиравшими пытливых студентов, взыскательных музыкантов, дирижеров, артистов. Отныне посторонним вход на репетиции был заказан, как будто туда ходили посторонние. На репетиции не пускали даже вышедших на пенсию оркестрантов, в чем они видели для себя большую обиду.

Великолепно дополнял главного и новый директор, пришедший в филармонию с военно-морского факультета консерватории, готовившего в преддверии войны корабельных капельмейстеров. Некоторые черты именно морской службы и корабельных порядков были перенесены в жизнь и быт филармонии. Когда директор входил в главный зал, казалось, что чуть полноватые бело-мраморные колонны подтягиваются, выравниваются и стоят с особенной неподвижностью и остановившимся дыханием. Директор поднимался в белых перчатках на хоры, шел, как старпом по шкафуту, строго проверяя исправность всех частей и механизмов и, в первую очередь, отсутствие пыли. Порядок был не только в зале и на хорах, но и в оркестровых кубриках, галюнах и на трапах. Те, кто не мог поверить в необходимость строжайшей дисциплины в несении музыкальной службы и пытался проверить меру власти директора, очень скоро понимали неизмеримость этой власти. Во всей полноте она развернулась в пору борьбы с фашизмом. Строптивные получали усеченный паек, испытывали дополнительные сложности с жилищными условиями, а наиболее заносчивых, если подходили по возрасту, просто сдавали в солдаты.

Годы войны, проведенные вместе с оркестром в Новосибирске, годы тяжелой эвакуационной жизни и напряженного труда вспоминались как исполнение

одной бесконечно большой вещи, где было только две темы — темы прощания и молитвы о спасении.

Михаилу Семеновичу запомнился концерт в Томске перед артиллеристами, отправлявшимися на фронт. Он даже не думал, что военные могут так откровенно, не стесняясь, плакать.

Командование училища, как раз артиллерийского ленинградского, узнав, что в Томске «родная» филармония, попросило дать дневной прощальный концерт.

Главный дирижер, искренне сочувствуя просьбе офицеров, не мог поставить под удар качество вечернего выступления. И эта строгость и требовательность едва не лишила уходивших на фронт, быть может, последней радости в жизни. Группа отчаянных оркестрантов вдруг выбросила идею: «Выступать без дирижера!». Этого, конечно, главный допустить не мог, и концерт состоялся. Михаилу Семеновичу случалось, разумеется, играть и в скорбных обстоятельствах и даже на похоронах Сергея Мироновича Кирова в огромном фойе Таврического дворца, настолько холодном, что приехавший за телом своего напавал застреленного друга товарищ Сталин перед гробом постоял, но труха снять с головы не решился. Михаил Семенович тогда тоже скорбел по утрате, но ему казалось, что сама музыка в полной мере выражает его печаль. Иное дело здесь, в Томске. Михаил Семенович не запомнил, что играли в первых двух номерах программы, но помнил страшную, бездонную тишину в зрительном зале, где не было даже привычного кашля и шорохов в промежутках между частями. Все случилось, когда заиграли Шестую Шостаковича. Первая же часть, безмерно печальное «Largo» вдруг зазвучало так, как не звучало никогда раньше, это была уже не скорбная элегия, как играли всегда, а настоящий реквием. Михаил Семенович плакал, и слезы, мешавшие смотреть на ноты и делавшие фигуру дирижера огромной и размытой, падали на верхнюю деку и подгрифник, не позволяя увидеть, что плачет не он один. В паузах платок, привычно положенный на подбородник, шел в дело, скрипка была мокрой от слез, ему казалось, что он отпевает живых. Нарушение дисциплины исполнения на этот раз осталось без последствий. В конце концов и командир училища, благодаривший после окончания концерта от лица командования и личного состава, тоже говорил со слезами, и не только в голосе, но прямо на щеках.

Душа Михаила Семеновича радовалась тому, что он может вот так, не стесняясь, открыто, на глазах главного плакать сколько ему угодно. Он плакал не только от печали расставания с этими полными молодой жизни офицерами, он оплакивал и свою жизнь, быть может, вспоминая, как юношеский сон, рукопожатие гардеробщикам, с которого начинал рабочий день в консерватории Глазунова, деликатнейшего Бруно Вальтера, непринужденную работу с добродушным и мягким Самуилом Абрамовичем Самосудом, не терпевшим форсированного звука ни в оркестре, ни в устах дирижера, и такие не похожие на муштру репетиции чародея Кнапперстбуша.

Целеустремленность и невиданное трудолюбие главного среди музыкантов, огорченных назначением молодого, малоопытного, «безрепертуарного», как они говорили, дирижера, дали повод для того, чтобы у него сложилась репутация диктатора. В оркестре появились незримые «партии» и «боевые группы», по-разному понимавшие и трактовавшие новый стиль жизни, новый стиль работы.

Имя главного не произносилось вслух, и если для Верховного Главнокомандующего во фронтовых шифровках чаще всего употреблялся псевдоним «Иванов», то главного оркестранты между собой звали потаенным именем «дядя Вася». Альт, допущенный к повязыванию бабочки перед выходом на эстраду, и валторна, исполнявший при дирижере обязанности цирюльника, никогда не знали, будут ли они призваны в следующий раз к исполнению священного ритуала, и жили в особенном напряжении, вообще не произнося имени главного. Подобная немота замечена на устах жрецов некоторых восточных и ранних европейских религий.

Потребность в свободомыслии и непокорстве у разных людей разная, и всю полноту этих потребностей Михаил Семенович целиком удовлетворял в общении с Софьей Борисовной, глубоко и подробно посвящая ее во все обстоятельства жизни оркестра. Она давала ему выговориться, возмутиться, взбунтовать, сказать все, что он об этом думает, но только здесь и ей. Таким образом, Михаил Семенович не утратил способности называть вещи своими именами, и в ощущении счастья от работы в лучшем симфоническом оркестре страны с удесyтеренной силой заставлял себя шлифовать свое искусство.

В пятидесятые годы оркестр Ленинградской филармонии был приравнен в зарплате к коллективу Большого театра, что поднимало оклады и освобождало многих от побочных заработков, увеличивало отпуск, давало льготные пенсии и разные другие блага. Теперь ленфильмовским зазывалам приходилось уговаривать оркестрантов сыграть что-нибудь для кино, если речь не шла, конечно, о таких режиссерах, как Козинцев, и таких картинах, как «Гамлет».

Престижность работы в оркестре поднялась так высоко, что приток желающих попасть в заслуженный коллектив открыл широкий простор для конкурсного отбора. Обновление коллектива неудачники тут же назвали «большой чисткой» и стали утверждать, что качество ансамблевой игры значительно снизилось. Ответом критикам стали триумфальные гастроли оркестра за рубежом.

Кое-кто пытался увидеть ушербинку в таланте главного дирижера, отказавшегося выступать с «чужим» оркестром после довоенных гастролей, не оставивших следа ни в Чехословакии, ни в Финляндии. Тосканини тоже выступал только со своим оркестром, а замечательный пианист Владимир Горовиц, музыкант-виртуоз, человек бурного, неукротимого темперамента, возил на гастроли свой рояль, хотя площадки, где он играл, предлагали инструменты великолепные. Впрочем, сравнение — худое зеркало, как и всякое зеркало, оно больше говорит о похожести, чем о подлинном сходстве.

Двусмысленность эпохи отразилась во множестве зеркал: в зеркале филармонического оркестра, в карьере главного дирижера и даже в крохотном зеркальце судьбы отличного скрипача Михаила Семеновича Шубкина, передвинувшегося к началу шестидесятых годов аж на третий пульт в группе вторых скрипок и мечтавшего быть приглашенным в какой-нибудь камерный ансамбль для работы на эстрадах, разумеется, более почетных, чем ресторанные и киношные.

У скрипки Шубкина красивый, мягкий звук и очень неплохое пиано.

### *Часть шестнадцатая*

## ТЕОРЕМА О ПРИЗРАКАХ

Есть люди, глубоко убежденные в том, что существование призраков не более чем басня для суеверных простаков, выдумка, не заслуживающая внимания серьезных мыслителей. Но еще Сюзанна у Бомарше заметила, как глупы бывают иногда умные люди, а умники до сих пор это замечание оставляют без последствия.

Не будем погружаться в физиологию бесплотных субстанций, оставив этот вопрос любителям и узким специалистам, умеющим с чрезвычайной изощренностью трактовать пневматическую доктрину, выводящую тождество телесного состава демонов и духов из плотности пара, воздуха и огня. Материальное бытование призраков или такой специфический предмет, как способы и формы их половых сообщений, оставим для отдельных исследований.

Теорема о призраках служит доказательством самого главного, самого основного постулата, выявляющего призрак как содержательное понятие, и больше ничего.

Итак, берем призрак.

Что мы видим?

Мы видим тень ушедшего в той или иной форме от нас человека, некогда реально существовавшего, или тень человека, а равно и явления, которому еще предстоит материализоваться и стать фактом бытия. Навряд ли найдется даже в недрах каких-нибудь забытых Богом Миус невежда, отважившийся опровергнуть мысль о том, что смерть вовсе не вычеркивает его бесследно из реальной жизни. След остается, и тем более заметный, памятный, осязаемый, а временами и неискоренимый, что зависит, в первую очередь, от степени активности, предпринимчивости и деятельности покойника. Это очевидно и в доказательствах не нуждается. В конце концов, большинство предметов, изобретений и текстов, принадлежащих нам и нас окружающих, не что иное, как след вполне реальных людей, ушедших из этой жизни в жизнь иную, в жизнь оставленных ими вещей, в продолжение совершенных ими поступков, открытий, переворотов.

Теперь заметим индусское предание, с наибольшей простотой и ясностью выражающее фундаментальную идею, содержащуюся в преданиях всех народов и племен: злой человек превращается после смерти в злобного и могущественного демона, читай — призрака.

ГЛОССА: зло; сотворенное человеком, не исчезает вместе с ним! вот краеугольный камень, незыблемый фундамент, на котором стоят и стоять будут все призраки.

Зло, сотворенное человеком, не исчезает вместе с человеком, его сотворившим, на этот закон природы призраки опираются так же надежно, как конь под Медным Всадником опирается на змею.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАУЗУЛА: зло способно пережить человека, его посеявшего.

Итак, вопрос: кто же носитель этого зла?

Исполнитель ушел, а музыка звучит, играет.

Тут ответов, к сожалению, может быть только два: или мы с вами, да, да, а кто же еще? или этот самый, чье имя не хочется лишний раз называть и в чье существование умные люди, впадая в интеллектуальное жеманство, все еще не хотят верить. Ну что ж, если им так хочется, пусть берут на себя роль наследников сеятелей зла, пусть дудят в их дуду, полня мир скверной и мерзостью, ложью и предательством, обманом и святотатством, но и несут всю ответственность, вытекающую из непризнания иных носителей зла, кроме нас самих; нам же, бегущим скверны, остается лишь признать реальность существования призраков, демонов, оборотней, чертей, ведьмаков, упырей, а равно и вурдалаков с тем, чтобы поддержать в широких темных массах хотя бы иллюзорное убеждение в том, что все зло в этом мире исходит не только от живых людей и творится не только ими.

КЛАУЗУЛА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ: если бы призраков не было, их надо было бы выдумать.

### *Часть семнадцатая*

## **ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН!**

Следствие по делу об исчезновении в зеркалах отражения ни в чем не повинных граждан неотвратно ведет в Петропавловскую крепость. Да, следы ведут в крепость, и речь идет, разумеется, о следах Монтачки, числившегося на день преступления крепостным мужиком, и это вовсе не потому, что его следы заметней следов государей императоров, которых мы также коснемся, если понадобится, для полноты раскрытия источников и подоплеки всего случившегося.

Аполлинарий Иванович был душой и телом предан крепости, здесь он обрел свое второе рождение как человек и отчасти как призрак. Если его большой родиной был Васильевский остров, где он явился на свет в неплохом родильном доме на Пятнадцатой линии, то его малой родиной стал плоский островок в устье Невы, которому когда-нибудь наконец будет возвращено его историческое название. Правда, устроителям о д н о з н а ч н о й истории придется выбирать между двумя нелепостями: возвращать острову с тюрьмами, застенками и кладбищем царственных персон имя, данное прозорливым Петром Первым, Люст Елант<sup>2</sup>, или вернуться к насмешливому для расположения боевой твердыни историческому названию Енисари<sup>3</sup>.

Дух этого острова, сокровенные его соки, чаяния и надежды задумавших его несокрушимые стены и наполнивших их самым непредвиденным содержанием, как в зеркале, отразились в чистой и податливой душе Аполлинария Ивановича.

Акибы Ивановича и его пребывания на острове можно не касаться, поскольку он прошел через крепость и вышел из нее окрепший и обогащенный доверием властей, в то время как одной из важнейших государственных обязанностей крепости, служившей одновременно для украшения города и для славы ее основателя, было обращение живых людей в призрак.

В этом серьезном и своеобразном деле, доступном лишь людям совершенно особенных свойств ума и души, а прежде всего — непреклонного нрава и вызывающего восхищение потомков неколебимого характера, основоположником следует безраздельно считать его императорское величество Петра Первого

<sup>2</sup> Веселый остров.

<sup>3</sup> Заячий.

Подавая пример грядущим поколениям, Великий Петр обратил в призрак прежде всего своего собственного сына, царевича Алексея.

Знатоки российской истории могут попытаться, правда, выставить вперед государя Ивана IV, отправившего на тот свет своего сына и наследника ударом железного батога и оправдывавшего свой жест ссылками на опыт первого византийского императора-христианина Константина, угробившего лично своего сына Крисипа тоже в государственных интересах. Меткий удар в висок делает честь государю Ивану Великому, охотнику и воину, Петр же Великий передоверил столь важное дело своим приближенным душегубам, работой их был недоволен и, присутствуя в застенке в качестве наблюдателя, по свидетельству очевидцев, нетерпеливо восклицал: «Что же черт не возьмет его!» — вместо того, чтобы взять дело в свои руки. Преуспевшая в удовлетворении множества желаний изобретательного монарха, вышедшая из захудалых народных низов императрица Екатерина, также присутствовавшая в застенке, после короткого совещания с участником пытки Толстым предложила придворному хирургу Хобби открыть живучему пасынку вены. Но — открывали Алексею Петровичу вены или душили его подушкой, на глазах ли батюшки-государя испустил сынок дух или в его отсутствие, кнутом ли был загнан на тот свет отказавшийся от наследства бывший наследник или нет, ушел ли в небытие непосредственно с «кобылы» или прямо с дыбы — вопросов и загадок в этом деле существует ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы не считать умерщвление царского сына обычным убийством или казнью по закону, а почитать именно обращением в призрак.

Ну что ж, загадочных и непроясненных убийств на русском престоле и рядом с ним происходило не меньше, чем в других цивилизованных странах. С легкой руки Ивана Великого кто-то и второго наследника, царевича Дмитрия, отрока, спровадил на тот свет при весьма темных обстоятельствах, позволивших впоследствии Дмитрию являться в самых разных обличиях, что характерно как раз для призраков

Спору нет, тать, зарезавший младенца Дмитрия составляет серьезную конкуренцию Петру Великому в соревновании за приоритет в деле обращения живых людей в призраки. Но может ли жалкий аноним, душегуб, пожелавший остаться неизвестным, соперничать с такой яркой, выдающейся личностью, как Петр Первый? Нет и еще раз нет! Но самое главное в утверждении приоритета прославленного императора состоит в том, что всякому делу он придавал размах и ставил его на государственную ногу, и застенок в Трубецком раскате, откуда доносились лишь одинокие вопли издыхающего в руках палачей царевича, превратился со временем в великолепное и в известном смысле образцовое учреждение, где сообразно заложенной Великим Петром традиции шеф-палачами были сами государи императоры.

Поскольку экзекуция над отрекшимся наследником престола носила принципиальный, прецедентный характер, есть смысл задержаться на минутку у истерзанного тела двадцативосьмилетнего царевича.

Живыми обещаниями и посулами выманенный из спасительной для него заграицы в родительское лоно, царевич предстал перед отеческим судом, где показал из-под кнута на своих единомышленников и защитников.

В деле царевича Алексея, скажем так, Первого, в отличие от Второго, попросту застреленного в Екатеринбурге, масса прелюбопытнейших подробностей. Чего стоит хотя бы то, что молитвенник и богомолец, печальник об упадке церковного строения и умалении святых в скорбную для себя минуту был оставлен церковью. Батюшка-царь, предварительно испытав крепость сыновних жил на дыбе, с лукавым смирением спросил у матушки-церкви совета, как ему судить своего сына, и тут же получил благословение на окончательную кару со ссылкой на Ветхий Завет, книгу действительно суровую, и на прощение блудного сына со ссылкой на Завет Новый, предоставив выбор смиренно вопрошавшему. Однако самобытный ум и не стесненная законом душа Петра Великого и здесь нашла в высшей степени оригинальное решение вопроса — царевич, приговоренный к смерти, казнен не был! — и не был помилован. Вот так! В этих самых стенах, только что еще не одетых камнем, царевич Алексей (Первый) не то чтобы испарился, но перешел в какое-то такое состояние, что как бы перестал быть. На чем основано это не вполне ясное утверждение? На документах! После вынесения единодушного и угодного Петру Великому смертного приговора никаких документов и фактических свидетельств приведения приговора в ис-

полнение нет. Приговор был, но не исполнялся, а земная жизнь царевича Алексея (Первого) прекратилась.

Относясь к каждому делу серьезно, и для казней помазанник Божий Петр Великий исключений не делал. Прежде всего он осваивал дело сам и подавал пример своим ближним, даже если их с непривычки или от малодушия тошнило. Так было в деле со стрельцами, когда он брал в руки топор и осваивал непростое дело палача, или не оставлял вниманием посаженного на кол майора Степана Глебова, утешителя низвергнутой в монахини первой жены преобразователя России. Майор оказался живучий, так что государь неоднократно подъезжал к наказанному, сидевшему на колу на Красной площади, и потешался его мукам. В деле царевича Алексея есть оригинальнейшая подробность: его продолжали пытаться уже после вынесения смертного приговора. Не берусь судить, следует ли этот трудолюбивый подход к осужденному приписать тщательности самого Петра Великого или заимствованию из практики европейских мастеров. Приговор вынесли 20 июня, а 24 числа была учинена предпоследняя пытка, причем занимались царевичем ни много ни мало шесть часов. Трое крестьян, случайно слышавшие стоны и вопли царевича, были предусмотрительно казнены. 25 июня царевич отдыхал, а 26 июня, как следует из Гарнизонной книги, Великий Петр посетил крепость в компании девяти сановников и учинил застенок. А вот кому был учинен застенок, не сказано, хоть убей. Однако мог ли кому-нибудь другому уделить свою заботу и внимание отец, когда его собственный ребенок взывал к нему с мольбой и плачем? Рука не поднимается предположить, что утром 26 июня, в канун огромного праздника, в день раздачи милостей и наград, Великий Петр одарил своим вниманием и учинил застенок какому-либо второстепенному лицу, а не родному сыну. Трудно увидеть простое совпадение между утренним визитом государя императора в Трубецкой раскат и неожиданной кончиной царевича Алексея Петровича в тот же день в шесть часов пополудни. На все, как известно, воля Божья, но в данном случае Провидение избрало своей рукой руку отца, палкой вбивавшего в сына премудрости строения флота и кнутом извлекавшего из сына полезные для укрепления отечества знания о несуществующем заговоре.

Среди множества тысяч казней и расправ, учиненных Петром Великим для блага Отечества, истребление сына было в высшей степени поучительным и примерным для последующих российских властителей.

Царевич Алексей (Первый) преступником не был и в заговорах не состоял, но был в глазах отца как бы призраком грядущих мятежей и покушений. Дыбой и кнутом, четырехмесячными усилиями следствия удалось-таки вырвать из упорствовавшего в своей невинности царевича (откуда силы-то брались!), быть может, и в обмен на отдых между пытками, признание в том, что ежели найдутся где-нибудь какие-нибудь могущественные мятежники и буде пожелают они призвать его, царевича, в свои ряды, то он, может быть, и пойдет и возглавит. Это признание, типа обещания, и стало основанием для вынесения угодного папе приговора. Преступник без преступления. Реальная казнь предположительного преступника. Казнь за мнение, за умственное непокорство. Казнь за право на престол.

Многие начинания Великого Петра зачахнут, как затянулись тиной и грязью канавы, вырытые вместо дорог на Васильевском острове, но в деле казни по произволу, в государственно важном деле казни предположительных преступников царь-плотник найдет живое понимание потомков и множество подражателей.

Ровно через двести лет, также в июне, только что не день в день, будет снова казнен царевич Алексей, на этот раз Второй, в отличие от сына Петра Первого, сын Николая Второго, и не в специальном помещении, а в каком-то случайном, в сущности, подвале, и не по приговору Сената, а по решению губисполкома, но с тем же самым обвинением: дескать, буде представится и этому Алексею возможность, взойдя на престол, или минуя таковой, в случае появления каких-либо могущественных мятежников и т. д.

И точно для какой-то глумливой рифмы, так же, как и убийство Алексея Первого, убивание Алексея Второго будет сопровождаться убийством множества мужчин и женщин, попавших на пути исполнителей. И точно так же множество попутных убийств гласности предаваться не будет и будет мало занимать людей, интересующихся острыми историческими событиями.

Что значат эти совпадения? Что значат эти исторические рифмы?!

Может быть, единство истории нации?

Очень может быть.

Рифма и ритм — это важнейший элемент обучения и одновременно организуемый элемент гармонии. Недаром говорят старые люди: повторение — мать учения. Может быть, действительно кто-то учит нас, пытается научить, водит кругами, заставляя возвращаться на то же самое место, не выученное, не понятное до конца?

Нас учат, учат, да хотим ли мы-то учиться!

Однако, кроме обильного сходства, есть и существеннейшие различия в убийстве Алексея Первого и Алексея Второго. Если ликвидация царевича Алексея Второго и близких ему людей была преподнесена как дело будничное и рутинное на фоне множества убийств и казней в пору гражданской войны, как выполнение решения губисполкома, то Петр Великий в честь расправы над сыном повелел выбить целую медаль с изображением подсвеченной снизу висящей в воздухе короны и надписью, напоминающей доклад акустика на подводной лодке: «Горизонт чист!» — «горизонт очистился». Корона действительно скоро повиснет в воздухе и будет падать на случайные головы призрачных правителей из курляндско-брауншвейгской шайки, уступавшей престолонаследнику во всем, кроме презрения к жизням своих подданных.

Устранение с горизонта царевича Алексея совпало с замечательной годовщиной — восьмилетием Полтавского сражения. На следующий день после умерщвления царевича Северная Пальмира и царь ликовали. Веселье, охватившее Великого Петра на празднике, не покидало его и на следующий день и вспыхнуло с новой силой 29-го числа, в день подоспевших собственных государевых именин, ознаменовавшихся торжественным спуском нового корабля на воду, ночными гуляньями и фейерверками. Славная традиция веселья с фейерверками после казни была подхвачена преемниками, бравшими Петра Великого себе в образец, по мере сил, разумеется. 13 июля 1826 года с утра пораньше были благополучно удушены на виселице пятеро не состоявшихся преобразователей России, а уже вечером в тот же день на Елагином острове грянул праздник, опять же с фейерверком, в честь нового шефа кавалергардского полка — царствующей императрицы Александры Федоровны.

Государь вспомнил о не похороненном сыне, смиренно ожидавшем родительского внимания в гробу в Троицком соборе, лишь вечером 30 июня Подуставшие от празднеств царь и царица приняли посильное участие в скромной панихиде и предании земле телесной оболочки несостоявшегося преступника. Гроб закопали в недостроенном Петропавловском соборе рядом с гробом кронпринцессы вольфенбюттельской Шарлотты, законной супруги царевича, как бы умершей тремя годами раньше после тяжелых родов.

Но вот беда: и смерть царевны окончательно тоже не доказана. Не зря все-таки царевич, овдовевший в двадцать четыре года, называл навязанную ему жену чертвой, пиная ее при этом беременную в живот. Говорят, будто Шарлотта лишь прикинулась мертвой и, пользуясь невниманием к своей персоне со стороны мужской родни, во-первых, и помощью проворной графини Варбек, во-вторых, улизнула во Францию, обратившись, с одной стороны, в жену шевалье д'Обана, а с другой — в призрак, узанный знавшим ее по Петербургу маршалом Саксонским в Тюильрийском саду. Потом ее видели на острове Бурбон и снова в Париже. Кстати сказать, сам господин Вольтер, не веривший ни в Бога, ни в черта, интересовался посмертной судьбой вольфенбюттельской принцессы и верил в то, что она продолжала жить после того, как была похоронена слева от входа в Петропавловский собор. Третья медная доска на этой же стене, там же, слева от входа, сообщала о захоронении сестры императора Петра Первого, тетки царевича Алексея, почившей в Бозе при весьма туманных обстоятельствах, что, в свою очередь, послужило поводом для домыслов и легенд о сочувствовавшей злосчастному царевичу великой княгине.

Достоверно же известно лишь то, что царевич Алексей объявился во Пскове в 1723 году, к немалому огорчению его батюшки, вынужденному, отложив иные дела, учредить безжалостную охоту за призраком. Позднее, появившись в 1736 году в Ярославле, царевич пугал государыню Анну Иоанновну, призрачную правительницу при всевластном своем сожителе.

Посмертная судьба Петра Первого, хотя и забавна по-своему, обходится молчанием то ли из ужаса перед тенью палача на троне, то ли из глубокого почтения к благодетельному отцу отечества, немало осчастливившему своих подданных. Ревнителю захоронения усопших в земле почему-то проходят мимо гроба Петра Первого, простоявшего непогребенным чуть ли не шесть лет в

недостроенном соборе, — срок вполне достаточный для покойника, имеющего все данные для того, чтобы скинуться упырем или вурдалаком. В конце концов величественный прах все-таки погребли в соборе, ждавшем своего освящения еще два года.

Таким образом, четыре первых упокойника, занявших достойное их крови и сана место в Петропавловском соборе, и сто тысяч безымянных строителей крепости, вкусивших мир и покой под куртинами, рavelинами, эскарпами, контрэскарпами, бастионами и волгангами замечательного сооружения, положили весомое основание делу обращения живых людей в призраки на острове, Петром Первым названном Веселым.

Надо ли после этого удивляться, что вся история Петропавловской крепости и собора, а отчасти и прилегающих к ним пространств — от Балтики до Тихого океана — не может быть описана или осмыслена рациональным образом.

И не случайно, надо думать, в первые же тридцать лет собор подвергся трижды прямым ударам молнии и сокрушительным пожарам, плавившим драгоценные часы, вознесенные на колокольню.

Рухнувший шпирь обратил в прах беломраморную паперть у входа в храм, словно неведомая рука хотела загородить вход в обитель призраков.

Шпирь восстановят, и он снова упрется в низкие облака, но ангел на кресте не приживется в небесах и будет снова низвергнут бурей. Лишь уменьшенный в размерах и подвижно закрепленный на кресте, покорный отныне воле ветра, он будет в небесах постоянным предстоятелем за бесстрашных, сметливых и упорных мастеров. Видно, только им дано примирить землю с небом.

Отсутствие боевой летописи у образцового военного сооружения заставляет думать о том, что возведено оно в традициях национального тщеславия, так же, как и московские, суть национальные, святыни: Царь-колокол, ни разу не прозвонивший, и Царь-пушка, даже теоретически не имеющая возможности выстрелить.

Однако рассуждения о национальном тщеславии применительны решительно ко всем народам и государствам, от самых обширных до самых крохотных включительно, так что национальное тщеславие скорее ставит наше отечество в ряд других, а никак его в этом ряду не отличает. Царь-колокол, Царь-пушка и Царь-крепость, лишенные возможности служить прямому своему назначению, — звонить, палить и отражать врагов скорее служат лишь символом того, что жизнь, вопреки планам и намерениям самых попечительных о благе отечества вождей и жизнеустроителей, приобретала самые непредвиденные, самые неожиданные направления и только по ним и двигалась. Усовершенствователи жизни, все как один, танцевали от самого лучшего, от мечты, а положение отечества всегда зависело и не могло никуда оторваться от современных, сегодняшних обстоятельств; однако именно сегодняшние обстоятельства никогда не заслуживали серьезного и глубокого понимания преобразователей жизни, а может быть, были им попросту не по зубам. То ли дело препарировать прошлое да экстраполировать будущее! Вот современность и оборачивалась как бы вдруг своей непредвиденностью и неудобством. Вот почему наша замечательно вычисленная, рассчитанная и предусмотренная история шла и идет наобум святых и никуда с этого исторического пути пока еще не свернула. Так что может оказаться, что при итоговом рассмотрении всемирной истории на долю нашего отечества может выпасть роль поставщика великих неосуществленных затей, и в этом смысле Царь-колокол мог бы занять достойное место в нашем национальном гербе, отправив заемного двуглавого орла в Кунсткамеру рядом со столь же диковинным двухголовым теленком.

Теряя свое военное назначение, крепость уже в пору размываемых дождями земляных валов и ряжевых укреплений была успешно атакована и захвачена лабазниками, хозяевами скобяных и дровяных складов, швален, прачечных, разного толка мастерских. Здесь же начали чеканить монету, для начала в Трубецком бастионе и Нарышкином, под охраной ютившегося здесь же гарнизона, а на крепостных валах выросли, словно сами собой, как на единственно возвышенном месте низменного города, натуральные ветряные мельницы, придав пейзажу невольное сходство с милой сердцу Петра Первого Голландией. Застенок, учрежденный чуть ли не со дня основания крепости, с годами преобразился в лучшую тюрьму России, принимавшую в свои покои самых замечательных государственных преступников.

Думал ли устроитель Петропавловской крепости о том, что его детище ждет судьба военной казармы, хозяйственного двора, тюрьмы и кладбища.

Кстати, Петропавловская крепость располагала несколькими тюрьмами, предлагая свои куртины, рavelины и бастионы под военные, гражданские и, главным образом, политические, узники. А в такие сезоны, как 1826 или 1917, не говоря уже о 1921 и 1937, правильнее было бы всю крепость считать единым тюремным комплексом, показавшим выдающиеся возможности в качестве многолюдного пристанища для заключенных. В пору усмирения декабристов, например, крепость заключала в своих стенах около тысячи человек, по тем временам очень неплохо. 13 марта, в разгар следствия и допросов, петропавловское подземелье приняло бранные останки государя Александра Первого, о смерти которого было объявлено еще в прошлом году, а 21 июня за ним последовала и государыня Елизавета Алексеевна, таким образом, приговоренные к повешению дважды могли выслушать полную заупокойную службу с великолепным хором «Со святыми упокой»

Всякое серьезное дело требует предварительного исследования и лабораторных проработок, и, думается, совсем не случайно такая лаборатория, где шли практические опыты по изготовлению призраков, нашла себе место именно в Алексеевском рavelине, на долгие годы давшем приют учреждению, по-своему непревзойденному и по достоинству еще не оцененному потомками. Да и как его оценить, если о существовании «секретного дома» не знали даже те, кто служил в крепости, не говоря уже о досужих посетителях и прихожанах открытого для всех Петропавловского собора.

Небольшая, хорошо продуманная треугольной формы тюрьма располагала всего лишь восемнадцатью п о к о я м и и носила интимный, придворно-камерный характер, поскольку ни одно лицо не могло быть не только заключено, но и впущено сюда, не говоря уж о том, чтобы быть выпущенным, без личного на то позволения их императорских величеств государей императоров. Такой порядок был заведен при Александре Первом Благословенном, таким он просуществовал и до Александра Третьего Миротворца. Семьдесят лет каторжного труда четырех императоров и четырех поколений первоклассных тюремщиков не пропали даром. Накануне своего закрытия в связи с вступлением в строй новой великолепной тюрьмы в Шлиссельбургской крепости тюрьма Алексеевского рavelина, так сказать, «секретный дом», дала очень высокие показатели: из шестнадцати узников всего лишь за два года семеро умерли своей смертью и были, согласно традиции, тайно переданы городской полиции под выдуманными именами для захоронения где-нибудь, трое были отправлены в казанскую психушку на излечение, также со строжайшим соблюдением конспирации, а еще трое в поврежденном состоянии ума, но еще не созревшие для лечебницы, были препровождены дозревать в Шлиссельбург.

Полнейшая секретность самого учреждения, упразднение имен, лиц и званий узников, великолепный подбор охраны, не допустившей ни одного побега, и высокая эффективность методик скорого обращения живых призраков в окончательных мертвецов или сумасшедших, говорят о тюрьме Алексеевского рavelина как о создании в своем роде совершенном.

Выдающаяся заслуга в связи с успехами этой уникальной тюрьмы следует видеть в повседневном и неустанном внимании государей императоров к ежедневным мимолетностям не богатой разнообразием тюремной жизни. Стоило узнику, положим, из покоя № 5 запустить стулом в вошедшего к нему в камеру жандарма, как на следующий день государь уже знал, что ловкий унтер-офицер сумел у с т р а н и т ь п о л е т о н о г о. Доклады о событиях государственной важности подобного рода были вменены в ежедневную обязанность смотрителю рavelина и коменданту крепости, ревновавшим друг у друга право доносить на высочайшее имя как о происшествиях, так и о благодетельной тишине, царившей во вверенном им учреждении.

Не наивно ли было со стороны властителей одного из обширнейших государств мира полагать, что такое маленькое заведение, на полтора десятка одиночных камер, способно держать живую собственность в покорности и укрепить деспотическое попечение о счастье подданных?

Надо понять, однако, что тюрьма Алексеевского рavelина — не что иное, как великолепная лаборатория, в которой вырабатывались средства приведения человека и гражданина к раскаянию и отречению от самого себя. Для этих целей достаточно и небольшой придворной тюрьмы, поскольку даже многолюдные нации располагают не таким уж большим количеством стойкого человеческого

материала, на котором только и можно испытать сильные методы и отыскать надежные средства.

Каждый из восемнадцати промозглых каменных сосудов являл собой не что иное, как плавильный тигль, где вытапливались, выпаривались, а при необходимости и вымораживались лишние элементы человеческой субстанции, после чего самая твердая воля оборачивалась вялой покорностью, порыв человеколюбия обнаруживал свою губительность, сила духа растворялась в ничем не наполняемой бездне тюремного времени и терялась перед лицом пустой и ненасытной вечности.

Каменная утроба заключала в себе нечто большее, чем скромное число посидельцев.

Обратим внимание на то, что тюрьма Алексеевского рavelина никогда не была переполнена и всегда располагала свободными апартаментами для субъектов, представлявших в лабораторном смысле особый интерес. Так в самой переполненной клинике, где койками с больными уставлены коридоры и чуть ли не ординаторские и процедурные, пытливый клиницист, работающий над заветной темой, держит одну-две свободных кровати для интересных по его теме больных.

Великосветский шеголь и сердцеед, по недоразумению носивший имя Сергей, а фамилию Трубецкой, умыкнул юную жену, с ее полного, кстати, согласия, у какого-то коммерции советника. Ему ли равняться с умышлявшими на священную особу государя, однако ненавистное самодержцам своеволие имеет множество форм и должно исследоваться и пресекаться во всех видах. Государь император великой России поднял на дыбы полицию, все III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, пустил во все концы неутомимые тройки с явными и тайными охотниками и отловил-таки беглецов аж на иранской границе. Именным повелением проказник и повеса был помещен в апартаменты, предназначенные для самых опасных государственных преступников.

Что из того, что самодержавие не смогло в полной мере воспользоваться достижениями и открытиями Алексеевского рavelина! Нация, инфицированная удачно выведенными вирусами палачества, как бы исподволь готовилась к эпидемиям произвола и душегубства. История нации есть процесс единый и непрерывный, хотим мы этого или же делаем вид, что не хотим.

Неплохо бы помнить, что учреждение тайного узилища — дело рук государя особенного, загадочного, подобравшего окровавленную корону, скатившуюся с головы насмерть замордованного отца. О мистической жилке нашего царя Александра Первого сказано и написано уже немало. Загадочная же смерть, с похоронами чуть не через полгода, да, может, и не смерть, а, может быть, всего лишь уход в безвидность и в безобразность основателя сверхсекретной тюрьмы, дает основание предполагать тот факт, что Александр Первый Благословенный сознательно предпочел существование в качестве призрака, мистическое инобытие жизни обожаемого монарха на русском престоле.

Кто знает, может быть, как раз в сумеречной бездне загадочной тюрьмы, куда погружался живой пока еще человек для обретения полной безвидности, государь хотел найти пути к простой неподвижности, отражающей божественную сущность, ничего не отдающую и ничего в себя не вбирающую. Природа сверхблистательного божественного света, да и сам явленный свет как таковой, бесспорно, должны быть отнесены к разряду непостижимого, а непостижимое есть тьма, что очевидно; таким образом мы приходим к тем же выводам, что и такие авторитетные мистики, как Рёйсбрук, о том, что сокровенная сущность Бога отождествляется в обыденном сознании с мраком. Таким образом, всякое погружение во тьму, в том числе, надо думать, и тюремную, можно рассматривать как поиски путей к сверхблистательному божественному свету. Ну и, как известно уже семьсот тридцать восемь лет, наслаждение блаженством единения с Богом также ведет к утрате самого себя, ибо в бездне дух теряет сам себя и ничего более не знает ни о Боге, ни о самом себе. Это наслаждение столь велико, что все, возвышающееся до него, поглощается этим наслаждением до полной безвидности.

Ну что ж, есть все основания полагать, что результаты исследований, проведенных императором-мистиком, были приняты им, в конечном счете, к практическому руководству.

Получив из рук основателя столь совершенную лабораторию, каждый последующий ее владелец пользовался ею сообразно своим склонностям и насущным задачам власти.

Нельзя с уверенностью сказать, что все открытия, сделанные в этой царственной лаборатории-тюрьме, были совершенно оригинальны, но каждая нация, как и каждый человек, к истинам морального порядка, особенно касающимся межчеловеческих отношений, должна приходить через свой опыт.

До Алексеевского рavelина наказанием, например, считались лишение свободы и связанные с ним разного рода стеснения: приковывание к стене, к тачке, просто заковывание в кандалы, заключение в тесное помещение. Алексеевский рavelин сумел обратить в наказание саму жизнь! Именно жизнь, сохраненная замурованному навсегда в каменный ларец узнику, становилась средством мучительства и пытки.

Открытие это имеет куда больший смысл, чем только тюремно-карательная практика: жизнь, когда нечего ждать и не на что надеяться, становится наказанием, служит к угнетению духа, подавлению воли и неизбежно разнообразит формы помутнения сознания.

Исключите из жизни смысл и цель, обратите ее в существование, да еще такое, когда поддержание в теле жизненных паров не требует особенных усилий, и вы увидите сами, что жизнь для любого человека, сохраняющего остатки сознания, обратится в наказание.

Алексеевский рavelин! Здесь самодержцы четырех поколений, не сговариваясь между собой, но следуя великому плану то ли покорения человека, то ли преобразования его природы, продолжали питаться страданием своих жертв, даже когда жертвы эти переставали быть им хоть сколько-нибудь опасными, чистосердечно, истово каялись, отрекались от самих себя и своих братьев, искали облегчения своей страшной участи предательством или просто сходили с ума.

Рavelин располагал, разумеется, всеми обычными средствами томления узника с целью склонения его к откровенности. Но не столько изобличение преступления, а чаще всего даже преступного замысла, сколько приведение длительными и энергичными, как они говорили, мерами преступника к покаянию и разрушению его сознания — вот задачи, решавшиеся в маленькой государевой тюрьме. Крепость духа, святая святых человека, — вот что подвергалось здесь непрерывной осаде и приступу. Застенки прежних времен, те же пытки царевича Алексея никаких таких тонких целей не преследовали, тупая и жестокая расправа над неугодной личностью носила самодовлеющий характер. Иное дело — приведение к распаду морального, политического и религиозного сознания; это уже задача иного масштаба и уровня, государственная, общенациональная задача с дальней перспективой.

Покушавшиеся на царевубийство, убежденные и самоотверженные революционеры, романтики терроризма — не ваши трупы, а ваши истерзанные, измочаленные, вывернутые наизнанку души может предъявить потомкам Алексеевский рavelин как высшее свое достижение.

Не успевший броситься в Неву после неудачного выстрела в царя преступник, не сумевший озаботиться о своей безопасности так, как это сделали убийцы Петра III или Павла Первого, знал об ожидавшей его участи и смотрел на своих врагов хладнокровно и презрительно. Но уже через два месяца, проведенных в Алексеевском застенке, он был приведен в состояние, не пригодное для допросов. А на эшафот возводили человека со всеми признаками душевного расстройства, что-то бормочущего о видениях и голосах, психически невменяемого, позволяющего обращаться с собой, как с вещью.

Едва ли не самым плодотворным с точки зрения развития национального самосознания было двадцатилетнее пребывание в Алексеевском рavelине какого-то сверхсекретного узника, значившегося под шифром № 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13. Вы не найдете пухлых томов суда и следствия по делу этого, надо думать, опаснейшего злодея, неведомо что совершившего; сохранился лишь почтовый листок с маленькой записочкой о том, что государь Александр Второй Освободитель повелел оставить № 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 в Алексеевском рavelине впредь до особого распоряжения. Особое распоряжение последовало ровно через двадцать лет только от Александра Третьего Миротворца, получившего в наследство от разорванного бомбой отца окровавленную корону и секретную тюрьму со всем ее содержимым. К этому времени потерявший рассудок узник уже не первый год бегал по холодному каземату из угла в угол, оглашая рavelин

безумными воплями. После писем с мольбой о прощении за не совершенные преступления, оставленные без последствий, Александр Второй Освободитель стал получать от того же адресата письма с трактовкой метафизики как теории касательного удара к поверхности шара, изложением теории центрального воспламенения и трактатов, обстоятельно излагающих точку зрения узника на такие явления, как «пустование», «камневание» и «пластование», но и эти сообщения, по мнению государя, не заключали в себе ничего ни нового, ни особенного. Не нашли в добром сердце государя императора отклика и предложения перемешивать собственную кровь щепкой в корыте для определения кровяного начала. Все эти соображения отчасти напоминали бред сумасшедшего, но крики несчастного у себя в каземате, о чем регулярно сообщалось государю письменно, были привлекательны как дополнительное воздействие на новых арестантов, с содержанием сердца слышавших голос своей участи, а потому важный в воспитательном отношении арестант оставался в неизменном положении.

Распоряжение Александра Третьего Миротворца удалить узника № 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 в далекие и малолюдные места Сибири сразу же исполнить не удалось — ни к какому поселению этот загадочный господин пригоден не был, и потому был отправлен со строгим предписанием графа Игнатьева, «чтобы он там не сообщался с людьми», в казанскую психушку имени Всех Скорбящих.

Беседы с врачом сумасшедшего дома, обязанным подробно докладывать обо всем, что касается секретного больного, сохранили для нас потрясающей важности открытия, сделанные узником благодаря рекордно длительному пребыванию в Алексеевском равелине.

Прежде всего врач констатировал адекватное восприятие больным окружающей его действительности и благонравное поведение больного: «Настроение духа больного добродушное, всегда вежлив, учтив, к окружающему миру относится правильно, обманов восприятия не существует». Кто бы из нас не позавидовал такой характеристике! Именно на основе правильного восприятия окружающего мира № 14, 46, 35 ... 13 приходит к мысли о том, что около Петербурга зарыты кровяные капли, из которых происходит «мертвый рост».

Лишь правильно относясь к окружающему миру и не допуская обманов восприятия, можно было прийти к открытию новой формы жизни — «мертвый рост».

Мертвый рост! — мысль замечательная, истинная и глубинная.

Мертвый рост! — это понятие вбирает в себя всю диалектику отношений лояльной личности к власти.

Каким долгим и мучительным был путь мыслителя от стены к стене в своем каземате, чтобы прийти наконец к фундаментальному понятию нашего бытия и назвать наконец своим именем самую тайную, самую заветную, самую драгоценную мысль и страсть верховной власти.

Далее в беседах с врачом мыслитель указывает на рождение детей от матери как факт настолько второстепенный, что его можно даже не принимать во внимание, лишь мертвый рост делает человека существующим, дает ему право быть!

Шагая в больнице вокруг кровати или во дворе на прогулках, больной не прекращает деятельной работы ума, в результате чего возникает проект, позволяющий соединить в цельную мировоззренческую систему мертвый рост как форму бытия и движения материи и мировую пользу как цель. Проект настаивает на отмене какого бы то ни было улучшения быта людей, со всей очевидностью приносящего только вред человечеству, «так как оно вследствие этого начинает лениться и ничего не делает для мировой пользы». Указание на неспособность человечества добровольно, без решительного внешнего побуждения стремиться к мировой пользе найдет своих последователей во времена не столь уж и отдаленные.

Навряд ли нужно останавливаться на частных ошибках мыслителя из больницы имени Всех Скорбящих, прилагавшего, к примеру, к насилию принцип справедливости и последовательности, не уразумев своим поврежденным умом, что вся прелесть, все ни с чем не сравнимое очарование и достоинство насилия неотделимо от произвола и несправедливости.

Однако высшим подтверждением убежденности в истинности своей теории было написанное в минуту просветления, через год, проведенный в казанской

психушке, прошение с просьбой о возвращении мыслителя в Алексеевский рavelин!

В прошении значилось: «Господину Начальствующему Казанской городской полицией. Извещаю Вам о своем желании по обстоятельствам дела быть переведенным в Алексеевский рavelин Санктпетербургской Петропавловской крепости. Честь имею быть состоящим в Казанской городской больнице Матери Всех Скорбящих. Поручик кавалерии на особом праве. 6 апреля 1882 года». Господину начальствующему над казанской полицией не положено было знать об узилище в Алексеевском рavelине, ну да Бог простит, а что касается о б с т о я т е л ь с т в а дела, то этой тайной и волнующей мыслью проситель поделился единственно с надзирающим, доносящим, а может быть, и лечащим врачом.

Близость царского дворца и рavelина, разделенных лишь пустынным пространством реки, привела мыслителя и страдальца к умственному взгляду на дворец как на источник особых мертвых форм жизни. О б с т о я т е л ь с т в а же дела сводились, по сути, к необходимости проверить и указать в парке дворца вычисленный и открытый единственно умственной силой, как планета Плутон, мертвый квадрат человеческого рождения. Власти напрасно воспретили эту недорогую научную экспедицию, не понимая в безумии своем, что все изыскания вели к утверждению и признанию безраздельной, безусловной справедливости жесточайшего и бессмысленного, на первый взгляд, насилия и права верховной власти на любую казнь по собственному усмотрению.

Всякое учреждение, обособленное в государственном организме стражайшей секретностью, имеет тенденцию переродиться в злокачественное образование. Оно уже начинает жить для себя, вовсе не имея в виду интересов, вызвавших эту организацию или учреждение к жизни.

Окутанный непроницаемой тайной и огражденный от нескромных взоров личным попечением императорских величеств, Алексеевский рavelин не знал никаких ревизий и проверок, что открывало величайший простор для воровства и злоупотреблений, каковых здесь было едва ли не больше, чем в Собачьем Острого Якутской губернии.

Такой порядок вещей говорил о достижении гармонического единства, соединенности высших интересов власти с интересами тех, кто был проводником великих затей в жизнь

Смотритель рavelина Филимонов, обремененный прозорливым семейством и усиленный монотонностью службы, думал только о том, где бы что еще украсть и как попользоваться от арестантского котла, помощник его, Алексеев, глядя, как чисто берет, ничего не оставляя другим, его рукастый начальник, вообще к службе был равнодушен.

Как бы ни была высока и прекрасна идея, как бы ни было совершенно ее изначальное воплощение (вспомним Кьеркегора!), но человеческий фактор! человеческий фактор — все разъедающая, все разлагающая сила.

Все началось с того, что ошибку в сторону чрезмерности допустили по отношению к одному из безымянных узников. И в результате неприступная крепость, твердокаменный бастион власти, который и штурмовать никто не собирался, так как никто не знал тогда о его существовании, едва не рухнул изнутри. И все это единственно от чрезмерности и недооценки такого чувства, как обоняние, в связи с его воздействием на психику, мировоззрение и верность присяге

Приговоренный судом к каторжным работам сроком на двадцать лет, преступник по милостивой воле благословенного монарха Александра Второго Освободителя был заключен в Алексеевский рavelин н а в с е г д а. Для безусловного понимания монаршей воли, последовавшей после вынесения судом приговора, государю было благоугодно подчеркнуть в своей записочке слово н а в с е г д а собственноручно.

Навсегда — так навсегда, решили царские клевреты и упрятали преступника в рavelин, а вот кандалов, надетых на него по приговору суда как на каторжника, снять не догадались. Долго ли, коротко ли, но у заключенного стали гнить руки, а заживо гниющий человек, надо сказать, издает очень тяжелый запах.

Вот этот факт некоей чрезмерности имел самые неожиданные последствия. Стражники, как помещавшиеся возле дверей, так и сидевшие иногда в сугубом молчании в самой камере, дабы предупредить преступника от возможности распорядиться хотя и своей, но не принадлежащей ему жизнью, видя и чувствуя всеми своими органами, как человек стал тухнуть у них на глазах, невольно прониклись к нему сочувствием. А тут еще и небрежность начальников,

Филимонова и Алексеева. Да и сам узник без устали шептал своим стражникам о том, что страдает за таких вот дураков, как его охрана, что скоро все переменится, что наследник престола за него отомстит, а мужикам, когда воцарится его тайный покровитель, будет земля и воля...

Заглянул бы государь император в дежурную комнату Алексеевского рavelина весной 1881 года, то-то было зрелище! Галдеж среди охраны и служащих, как на вокзале, кто вслух по складам читает подпольную «Народную волю», а кто свежую прокламацию. Тот, кто поумней да потолковей, сидит тут же и учится шифровать письма на волю, все делает, как его учил протухающий арестант. В коридорах свободное хождение без всякой субординации. Около дверей в камеру, где томится зловерный узник, со всеми удобствами на принесенном стуле устроился жандармский унтер и с вниманием слушает пропагандистские речи преступника. Давно ли этот безымянный постоялец, лишенный права и средства к писанию хотя бы жалоб, писал свои заявления кровью на стене камеры, а теперь под охраной верных солдат — как бы кто не нагрнул! — пишет свои шифровки на волю за столом и на бумаге. А вот ефрейтор Колодкин и рядовой Тонышев несут узнику роспись заступающего на следующий день караула, и узник сам предписывает, кого ставить к его камере, а кого — в другой наряд.

Солдаты и унтера действовали по совести и убеждению, но и от материального пособия, которое узник получал с воли и распределял между своими тюремщиками, не отказывались. Преступник сам определял вознаграждение соответственно усердию и преданности, но лично денег не выдавал, а выписывал билетик с указанием суммы пособия и направлял с этим билетиком к казначею.

Неспешно и обстоятельно готовился побег.

Исполненный благородства и широты, хозяин камеры № 5 готов был взять с собой на волю всех заключенных в Алексеевском застенке, наивно полагая, что каждый предпочтет волю бессрочному томлению в сыром и глухом каземате.

Узник № 14, 46, 35, 40, 66, 35, 17, 66, 18, 13, 35, 67, 15, 13, 27, 13 был уже ни на что не годен, от участия в побеге решительно отказался, сославшись на необходимость доведения до логического конца исследований по программе «м е р т в ы й р о с т». Конечно, он уж не только был приведен в призрачное состояние, но в нем уже и освоился. Духи, как известно, в зеркалах не отражаются и не испытывают в этом и никакой потребности, и в этой связи интересно заметить, что вышепронумерованный преступник не видел своего отражения в зеркале больше двадцати лет. В объяснении по поводу зеркал больной показал, что не испытывает от невидения себя в зеркале никакого неудобства, поскольку постоянно видит себя в самом себе.

Не зря исследователь мертвого роста утверждал, что олицетворяет собой такое понятие, как дух России.

Иную сторону духа России олицетворял узник из покоя № 13. Он рассудил по-своему и совершенно верно: побег может удался, а может и нет, преимущества воли зыбки и не гарантированы, а потому принял за благо выдать все предприятие с головой и тем купить себе не то чтобы свободу или доверие начальства, а совершенно реальные, заранее оговоренные, необходимые в его положении блага: улучшение пищи — раз, качество табака — два, возвращение некогда выдававшегося, а потом отмененного воскресного десерта — три, и право чтения кроме книг, выписываемых по тюремному каталогу, прошлогодних журналов. И все. Десерт, табак получше и прошлогодние журналы были куплены ценой выдачи властям пятидесяти человек.

Алексеевский рavelин, хотя и покрыл себя в глазах государя несмываемым позором, все же устоял, его расшатанные и едва не рухнувшие стены укрепила человеческая слабость. Но зато было сделано замечательное открытие: один слабый может победить пятьдесят сильных, а потому власть в борьбе с силами, ей противостоящими, должна опираться на слабых.

Горько сознавать, что слабость одного превысила волю, энергию и самоотверженность пятидесяти, но как судить двадцатилетнего человека, прожившего тридцать четыре дня в кошмаре вынесенного смертного приговора и помилованного лишь для того, чтобы на бесчисленные годы погрузиться в бездну призрачного существования в пожизненном заточении, как его судить, если на воле, ежедневно, без угроз и насилия власть собирает разнообразнейшую дань и с молодых и со старых, чья любовь к жизни не знает границ, а обильные жизненные силы заявляют о своих нуждах и требуют непременно удовлетворения.

Обогадив национальное самосознание понятием «мертвый рост» во имя мировой пользы, как бы выполнив свое высшее назначение, сама тюрьма в Алексеевском равелине обратилась в призрак.

Выйдя из ворот, разделяющих Васильевскую куртину примерно посередине, вы уже не увидите Секретного дома, давшего отечественной науке о склонении граждан к откровенности такие простые и надежные средства, как пытку бессонницей, непрерывность многодневных допросов, выдерживание подследственного на ногах до потери сознания и множество интимнейших приемов обращения живых людей в тени и номера.

Все это богатство с благодарностью было принято пришедшими на готовенькое наследниками, и то, что в царское время было уделом немногих, и стало судьбой широких народных масс.

Не сохранился Секретный дом, его стены унесли в небытие тени его обитателей и тайны его устроителей. Вроде и нечего жалеть о каком-то смрадном промозглом застенке, а вот в Москве-то Лобное место берегут! Чем черт не шутит, вдруг понадобится, и будет как находка.

Впрочем, все шестьдесят девять одиночных камер и два карцера Трубецкого бастиона сохранились неплохо, частично используются под музейную экспозицию, а по большей части как подсобные помещения, где чувствует себя как дома Аполлинарий Иванович Монтачка.

### *Часть восемнадцатая*

#### ЧЕМ ПИТАЕТСЯ НЕЧИСТАЯ СИЛА?

Вопрос о том, чем питается всяческая нечисть, василиски, демоны, ведьмаки и ведьмачки, беглому читателю, поспешающему к бесхитростным удовольствиям прельстительной повседневности, может показаться праздным, однако принятые на себя обязательства следствия не позволяют обойти стороной этот важнейший момент взаимоотношений нечистой силы с реальным миром, с живыми людьми.

Проблема питания не только важнейший момент демонологии, — скажи, что ты ешь, и я скажу, кто ты!

К слову сказать, сама потребность в питании служит неопровержимым доказательством телесности нечистой силы. Однако надо в корне пресечь нелепые выдумки о том, что все демоны решительно питаются кровью. Ничего подобного! Доказать несостоятельность, наивность, вздорность, лживость, наконец, наводящего тень на плетень утверждения может любой непредвзятый младенец.

Во-первых, за душу каждого появившегося на свет человека борется от двухсот пятидесяти (это минимум) до шестидесяти трех тысяч разного рода демонов, это уже известно давно и в новых доказательствах не нуждается. При столь массивной атаке ни один из смертных пока еще избежать греха не сумел, давая таким образом кровожадным своим искусителям все права для немедленного взыскания вожделенной дани. Но этого не происходит — все грешники, в основном, живы и здоровы, очень многие благополучнейшим образом достигают глубокой старости. А если принять во внимание несметное число охотников за нашей душой, то прокормить такую армаду не сможет и самое обширное тело. Так где же вы видели кровожадных демонов, которым кровь нужна якобы как воздух?

Да, стриги и ламии, эти летающие по ночам из дома в дом женщины, действительно высасывают из живых людей соки, причем не сразу, иногда растягивая удовольствие на несколько лет; выпив соки, поедают внутренности, а маленьких детей пожирают целиком, предварительно пиная их своими увесистыми ногами, надо думать, предпочитая тонкое кушанье во взбитом виде. Здесь все правда, но коренные ленинградцы могут возразить, дескать, никто никогда не видел, чтобы у нас в городе, или хотя бы в пригороде, летали ламии и стриги. Правильно, они у нас не летают, поскольку летом ночи белые, и для них, летающих в чем мать родила, слишком светло, а когда ночи становятся темными, то им, не привыкшим стеснять себя одеждой в полете, летать уже как бы и холодно. Так что все эти стриги и разновидности ламий имеют южное проис-

хождение, на Север движутся крайне неохотно, наиболее стойкие из них наблюдаются в южном Подмоскowie.

А чем же питается остальная сволочь, чем поддерживает и восстанавливает свои силы сатанинское воинство?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос дал еще Ориген, к сожалению, умерший уже в 254 году нашей с вами эры. Этот видный специалист в области демонологии неопровержимо доказал, что лишь немногие демоны (называя этим обобщающим званием всяческую нечисть) и только в исключительных случаях питаются кровью, в то время как подавляющее большинство этой публики вполне довольствуется жертвенным дымом, который, как сказал приметливый Ориген, они г л о т а ю т ж а д н о.

Таким образом, приобщение дыма к материалам следствия и внимательное его исследование, безусловно, поможет следствию продвинуться к раскрытию отвратительного преступления.

Местом разного рода коллективных воспарений в квартире семьдесят два, разумеется, следует признать в первую очередь кухню.

Всякое недобровольное соединение неоднородных элементов создает почву для ненависти и ссор, для подтверждения достаточно заглянуть в солдатскую казарму или в любую тюрьму; точно так же и коммунальная кухня должна быть отнесена к разряду подобных сообществ. Кстати, что такое коммунальное жилье? Норы в развалинах старого прогнившего мира, не предусмотревшего приличного жилья для трудящихся, или это прообраз будущего? Идея коммунального жилья воплотилась не только в квартирах и домах, но в целых ансамблях. Батенинский жилмассив, бабуринский жилмассив и даже крохотная «слеза социализма» на углу Графского переулка и Троицкой улицы были созданы вдохновенными художниками, отчасти даже поэтами, захваченными идеями всеобщего счастья, отсюда и солярий один на всех, и кухня одна на весь этаж, и детские комнаты, где всем детям разом будет одинаково хорошо.

Общественный человек, в сущности, идеологический фантом, стал реальностью, для него строили, воздвигали, варили сталь, предварительно добыв уголь, а личность, как бы единственная и как бы неповторимая, рассматривалась лишь как несовершенная заготовка для изготовления образцового общественного человека.

И прежде, чем стать повязанными одной бедой, обитатели коммунальной кухни в квартире семьдесят два, дыша одним воздухом, сроднились, и в промежутках между войнами и ссорами пребывали в идиллическом единении.

Утренние разговоры на кухне были сродни утренним докладам обер-полицейстера государю: происшествия в городе, положение цен на рынке, наличие жизненных припасов в магазинах и настроение.

А вечером!.. Казалось, что вечером кроме мисок, кастрюлек, сковородок, чайников, тазов и баков с бѐльем, воздвигаемых на газовые горелки, каждый выносил на кухню жертвенный сосуд, наполненный собранным за день медом с расцветающей жизни. Согретый огнем души сосуд источал сладостный аромат, вкушаемый всеми присутствовавшими как дань незримым богам и вседержителям жизни.

Любивший стоять у окна и наблюдать кухонное многолюдство Окоев вдруг ронял: «Нигерия независимость получила». «Сколько их?» — с восторгом интересовался Иванов. «Тридцать пять», — тут же отзывался Окоев, имея в виду тридцать пять миллионов счастливых нигерийцев. Валентина Подосинова обычно стирала в корыте непосредственно на кухне, чтобы не занимать надолго в вечернее время ванную, и бросала вопросы, не разгибаясь над стиральной доской: «Глава-то кто у них?». «Алхаджи Абубакар Тафава Балева», — сообщал Окоев, имевший чудесную память на имена и лица. «Вот это имечко! Еще и не выговоришь», — сетовала Грудинина с таким видом, будто ей завтра предстояло сделать визит к Алхаджи Абубакару Тафава Балева и произнести его имя, не заглядывая в бумажку.

Шубкин обычно приносил вести с культурного фронта, сообщая, например, о поездке Рихтера в США и Канаду. Известие принималось к сведению и сопровождалось одобрительным покачиванием голов и улыбками, как еще одна победа нашей миролюбивой дипломатии. Но с бóльшим оживлением было встречено сообщение о присвоении звания «Народный артист СССР» Георгу Отсу. Тут же вспомнили чудесную картину «Мистер Икс», а Окоев поощрительно отозвался о песне «В прибрежном колхозе».

Не всякое объявление проходило гладко.

Вдруг Гаррик Грудинин, сын исчезнувшего композитора, заявил: «В Красноярском крае наводнение было». Все удивились, считая наводнение привилегией Ленинграда и слаборазвитых азиатских стран. «С Енисеем шутки плохи», — строго говорил Окоев, знавший Красноярский край не понаслышке и дававший понять, что вина за наводнение должна лечь на тех, кто не сумел вовремя к нему подготовиться. «Люди пострадали?» — интересовалась Екатерина Теофиловна. «Про это ничего не пишут. Пишут, что шесть человек, экипаж вертолета, награждать за мужество, проявленное при спасении людей во время наводнения в Красноярском крае, и все», — с явным недовольством говорил Гаррик. «Значит, спасли», — поворачивал в благоприятную для государства сторону Окоев. «Один вертолет на Красноярский край?» — изумлялась дочь-одиночка, явно демонстрирующая проклевывающийся нигилизм. «Сколько надо, столько вертолетов и было, а вот что шесть человек награждать, это правильно, награждают только лучших», — с убежденностью произносил Окоев.

Зато трехнедельная поездка Хрущева в Америку наполнила кухню радостным волнением и солидарностью.

«Наш-то в Нью-Йорке завтрак дал! — сообщала Мария Алексеевна услышанное в своей женской консультации. — Все были!» «И Тито был?» — с опаской спрашивала кривобокая Сокольниковна. «И Тито был», — не вынимая спички изо рта, говорил Окоев. «А Неру был? Вот кто моя симпатия», — интересовалась Подосинова-старшая. «И Неру был, и Насер был», — добавлял от себя Окоев. «Вот и договорились бы, чтобы Манолиса Глезоса выпустили, как это все нехорошо», — подсказывала дельную мысль Софья Борисовна. «У Греции своя голова на плечах, сами знают, кого сажать, кого выпускать», — вставал на защиту Греции Окоев. «Мы им будем указывать, кого сажать, кого выпускать, они — нам, что же получится?» — с готовностью разъясняла ситуацию Гликерия Павловна. «Человек в тюрьме томится, а вам, Гликерия Павловна, я вижу, все равно», — с горечью говорила Софья Борисовна. «Мне тоже Манолиса Глезоса жалко, не одной вам, но я за справедливость», — парировала Гликерия Павловна.

Среди вопросов, сладко и бескорыстно волновавших обитателей кухни, главных было два: сохранит ли свой неповторимый голос выдающийся итальянский мальчик Робертино Лоретти, и спор, охвативший почувствовавшую свободу интеллигенцию, спор «лириков» и «физиков», вернее, вокруг «лириков» и «физиков», — кто из них нужней и важней. Если в вопросе мутатора все были взволнованы едино, то «физики» и «лирики» имели на кухне свои партии, определявшиеся очень просто: женщины были за «лириков», а стало быть, за поэта Слуцкого, а верящие в прогресс технической мысли мужчины, в том числе и скрипач Шубкин, твердо стояли за «физиков», и соответственно, за ученого-инженера Полетаева. Один только Гриша, когда его кто-нибудь на подначку спрашивал, за кого он, тот издавал звук, будто ему прищемили палец: «У-ай-й-й», — встряхивал рукой, отворачивался или вовсе спешил покинуть кухню, при этом с таким видом, будто включение себя в одно из сообществ ему чем-то угрожало. Михаил же Семенович с особой праздничной улыбкой рассказывал о вечерах, происходивших в Москве на квартире пианистки Юдиной с целью подружить «лириков» и «физиков». Рассказывали, как в Большом зале консерватории были проведены две встречи с целью сближения «физиков» и «лириков», и опять же играла Юдина, Мария Вениаминна, играл Ростропович, Мстислав Всеволодович, знаменитый невропатолог делал тут же сеанс гипноза, Слуцкий читал стихи, а от «физиков» были Игорь Тамм, Лев Ландау, астроном Алла Масевич и философ-физик Иван Рожанский, и вообще было много физиков, философов, сотрудников Академии наук, и всех призывали дружить. Женщины переглядывались и кивали головой. «Не устоит ваш Полетаев!» — азартно вскрикивала Гликерия Павловна. «Пересажают, вот все и подружатся», — спокойно замечал Окоев, приставленный женой к плите. «За что же сажать?» — вкладывая в свой вопрос не только большой смысл, но и смелый вызов, спрашивала дочка. «А делом надо заниматься, а не вот это...» — ставил точку бывший охранный воин.

О! далеко не робинзоны собрались в семьдесят второй квартире.

Но, странное дело, дальние страны — Китай, Нигерия, Америка, события, происходящие, а главным образом уже происшедшие без их ведома и спроса в недостижимой дали, были им ближе, занимали их больше и заставляли день за

днем поддерживать огонь в курительнице неведомым богам... Да богам ли, черт возьми?!

В связи с этим очень существенным для следствия вопросом есть смысл под особым углом окинуть взглядом место происшествия, чтобы понять хотя бы, почему нечистая сила для своих опытов и торжества выбрала едва ли не самую сердцевину бывшей столицы, где на каждом шагу блещет высокое искусство, каждый закоулок высвечен светом разума, а науки и просвещение не оставляют ни пяди земли для суеверия и невежества.

Взгляните на этот край, уместившийся между двумя рукавами холодной и бесшумной реки Невы, между Мойкой и Фонтанкой. Забудьте на мгновение Париж, Вену, несравненную Венецию, разве только где-нибудь в Риме вы найдете подобный уголок, где собралось бы воедино все, что может вас приблизить к многообразию человеческих сокровищ, запечатленных в камне, красках, музыке и не знающей тления бумаге. Лучшие в городе театры, всемирной славы музеи, филармонические залы, академическая капелла, Дворец пионеров для юных, Публичная библиотека для взрослых, Дом книги для всех, роскошь утонченного просвещения и блеск искусства сошлись здесь так тесно, будто принадлежат какому-то крошечному государству, испытывающему страшную тесноту и дефицит территории, а не державе, обладающей необозримыми пустынями и простором. Окиньте взглядом эту землю, в действительности топкую и холодную, сумевшую взрастить ценой неисчислимых человеческих жертв и страданий эти цветы искусства и образованности; именно здесь, на этом крайне неудобном месте, Россия отважилась за два коротких века, полных войн и потрясений, пробежать путь, по которому неторопливая Европа тащилась чуть не две тысячи лет.

Что ж, как заметили наблюдательные летописцы, в Европе тепло, там можно не спешить, а здесь жжет мороз, гнет к земле ветер и жалит сердце мысль о потерянном в боярской спячке невозвратимом времени.

Впрочем, в Европе тоже умели строить быстро, именно там обрел славу, с позволения сказать, строитель, бравшийся построить за один день, точнее за сутки, практически все что угодно. По его чертежам построен Аахенский собор и собор в Кёльне, в Англии аббатство Кроулэнд — тоже дело его рук, так же как и церковь на горе Сен-Мишель в Нормандии, выстроенная на спор с архистратигом Михаилом. Вам и сейчас покажут стену между Англией и Шотландией — его работа, мост через Дунай в Регенсбурге и мост через Рону в Авиньоне даже носят его имя, да возьмите те же самые военные дороги римлян, сооружение которых не может быть измерено лишь человеческими усилиями.

Но вот вопрос: зачем это нечистому утруждать себя строительством храмов? Нет ли здесь противоречия, преувеличения, сказки? Ничуть не бывало. Все дело в оплате, все дело в цене. Он вам что угодно и спроектирует и построит, если будет соответствующая плата, в том числе и храм, правда, с чертовской ловкостью он всегда уклоняется от того, чтобы увенчать постройку крестом. И еще одна очень важная подробность: все, что Сатана начал строить и бросил, никогда достроено не будет.

Казалось, в мгновение ока на крохотном пространстве между Мойкой и Фонтанкой выросла Мариинская церковь для шведов и финнов, Голландская для голландцев, Армянская для армян, костел св.Екатерины для католиков и лютеранский собор св. Петра, украшенный высокими прямоугольными башнями, для лютеран. Для православных же воздвигли целых три собора: один на месте печально знаменитого взрыва бомбы Гриневецкого, от которого пострадало так много народа, праздничный на вид Спас на крови, а еще раньше появился величавый, как перевод из Данте, Казанский собор, охватывающий своими колоннами обширный сквер с фонтаном, и богатая придворная церковь в Конюшенном подворье. И так же в мгновение ока лишились они своих крестов, все, кроме веселого на вид Спаса на крови. Лишились и причта и прихожан. Повезло Казанскому собору: въехал музей, учреждение культурное; в лютеранском соборе соорудили бассейн, ну что ж, плавание — дело чистое; Голландская церковь пошла под библиотеку; а в других склады, свалки и дичь запустения. Нет крестов, умолкли звонницы, а Казанскому собору, видно, на роду было написано остаться недостроенным. без второй колоннады, призванной, по

замыслу автора, симметрично уравновесить колоннаду северного портала, обращенную к Невскому.

Ну что ж, если в этих краях, на берегах Екатерининского канала, одержаны такие победы! — надо ли удивляться дурацкой выходке с украденным отражением?

### *Часть девятнадцатая*

## ГРИША — ИЗ ЗЕМЛИ ВЫШЕЛ...

Жизнь и смерть Гриши Стребулева никак не выстраивается в ясную и цельную картину, вся она состоит как бы из фрагментов, и каждый фрагмент вгоняет в недоумение своей необязательностью.

Чего ни коснись, ну та же война: взяли на войну в сорок втором, отпустили в сорок четвертом, а главное, и не победитель и не побежденный; или взять тюрьму — опять же, срок получил десять лет, а отсидел восемь с половиной, ни то ни се. У нормальных людей есть мать и, как правило, отец, а у Гриши матерей две, мать и мачеха, а отца ни одного, потому что родной умер от перитонита вскоре после того, как женился во второй раз. Гриша был совсем маленький, но мачеха от него не отказалась и снова замуж не вышла. И с образованием у Гриши как-то не вполне, и с личным, и смерть, с одной стороны, опять же как бы была, а с другой — так вроде и не было.

Дат рождения у Гриши две, причем с разницей в два года. Два года прибавила ему мачеха, потому что не хотела отдавать власовцам свою дочь вместе с лошастью. Жили они в не очень знаменитой деревне Востряково Калининской области, жили не так чтобы очень, но неплохо. В сорок втором осенью власовцы проводили гужевую мобилизацию, забирали лошадь с возницей. Мачехина родная дочь по возрасту как раз подходила, но мачеха сказала: «Ни в коем случае!» — хотя дочка была на три года старше Гриши. Дочкой мачеха дорожила. «Гриша парень, пусть он с вами идет». Несовершеннолетний Гриша, не достигший призывного возраста, оказался сначала в обозе власовского, а потом и бандеровского воинства, разгромленного в результате великолепного сентябрьского наступления 4-го Украинского фронта в 1944 году.

Гриша был взят в плен, как говорится, с оружием в руках, если можно считать оружием вожжи, которые он не выпускал из рук в течение двух лет, сменив за это время пять лошадей. Но и само пленение — дело на войне повсеместное и довольно обыкновенное, в случае с Гришей выглядело довольно странно.

Дело в том, что население Прикарпатья этой памятной, теплой и щедрой на урожай осенью встречало своих освободителей не только хлебом-солью, но и фруктами, разного рода закусками и большим количеством вина, в том числе и фруктового самогона. Попытки трезво мыслящих командиров сдерживать гостеприимство всеми средствами, «вплоть до применения оружия», как значилось в многочисленных приказах по армиям, дивизиям и полкам, никаких результатов не дали. Вот и получилось, что обоз из пятнадцати подвод при восьми возницах, то ли бандеровский, то ли власовский, был взят в плен какой-то хмельной заблудившейся командой красноармейцев. Подгулявшие красноармейцы даже не поняли, что имеют дело с боевым подразделением противника, хотя бы и тыловым. Они просто остановили обоз, даже без применения оружия, завалились на подводы и потребовали, чтобы их везли в Берегово, в их хмельных головах уцелело лишь название этого населенного пункта, через который то ли шел, то ли должен был пройти их гвардейский 129-й стрелковый полк. Обозники, и без того мечтавшие, как бы выбраться подобру-поздорову из этого кошмара, бережно сохранили жизнь всем трем бойцам и доставили их в Берегово. Не протрезвевшие как следует бойцы поступили в распоряжение местной полевой комендатуры, а обозники, принятые за мирных жителей, были ошибочно отправлены восвояси.

Гриша благополучно добрался до своего Вострякова, потом вместе с мачехой и сестрой перебрался в пустынный в ту пору Ленинград, нуждавшийся в крепких работающих руках, но свои десять лет все-таки получил. Похоже, что вторично его опять же сдала мачеха, поскольку жить с большой уже дочерью и возмужавшим Гришей в одной комнатке на Боровой улице у Обводного канала после деревенского дома, сгоревшего только наполовину, было тесновато.

Подозрения относительно мачехи подкрепляются документом — это хорошо сохранившаяся до наших дней справка об освобождении № 08955 АХ 24 декабря 1954 года, где сказано, что Гриша содержался в местах лишения свободы с 5 апреля 1946 года по 24 декабря 1954 года по ст. 3, п. 7 и освобожден Указом Президиума Верховного Совета от 17 сентября 1954 года со снятием судимости и поражением в правах. Справка подписана начальником учреждения № 175/22 Ковпаком и заместителем Грузиновым. О чем же говорит эта справка? Яснее ясного она говорит о том, что ничего, кроме доноса, ничем не подтвержденного, за приговором, объявленным в свое время Грише, не было.

В Ленинграде, где чекисты в апреле сорок шестого брали Гришу прямо на работе, в штамповочном цехе фабрики металлической игрушки на Васильевском острове, ни одна живая душа, кроме мачехи да сводной сестры, о его преступном прошлом не знала, да и те не могли ничего доказать, тем более подтвердить документом. Но и отсидел Гриша все-таки не полный срок, а всего лишь восемь лет с хвостиком.

Прямо с участка, где Гриша стоял на штамповке фигурок мотоциклистов для заводной игрушки «Мотоциклист с коляской», его повезли, тепленького, на Каляева и там стали допрашивать. Чекисты предполагали, что арестованный Стребулев — мелкая рыбка, но надеялись, тщательно прорабатывая связи и контакты, размотать хорошую власовско-бандеровскую компанию. Гриша знал, что по групповым делам сроки идут выше, поэтому терпел и грубые окрики, оскорбительные выражения в свой адрес и адрес его матушки, терпел зуботычины и другие виды побоев. Терпел и стоял на своем, утверждая очевидную для чекистов нелепость, будто бы «боролся с Советской властью и своим народом» в одиночку. Когда дошли до подноготной, Гриша только моргал, жмурился, выл и зло выкрикивал: «А я знаю!» — что следовало понимать так, будто бы он ничего не знает. Допрос вел лично майор Оветсян. И «наседку» к Грише подсаживали в надежде услышать хотя бы еще одну-две фамилии и срок короткий обещали; Гриша уже перестал понимать, кто он, чего от него хотят, и помнил только одно — надо молчать.

Сокамерник Гриша был удивительный, странно было окружающим видеть, как молодой, в сущности, человек мог часами сидеть молча и неподвижно. Со стороны казалось, что он что-то старается услышать, или вспомнить, или о чем-то очень серьезно думает, а Гриша ничего не слушал и не думал, он еще с отрядом умел ждять, сколько скажут, и терпеть, сколько надо. Любую работу в отряде он выполнял молча, вот и на допросах отмолчался. Зато, когда получал на улице Белинского в прокуратуре справку по реабилитации, Инесса Васильевна Катукоева, божественный человек, прокурор по надзору, листая его тоненькое «Дело», наговорила ему кучу комплиментов. И какой он благородный, и какой порядочный, что никого за собой не потянул. «Как же это ты один боролся против советского строя?» — добродушно улыбнулась Инесса Васильевна, закрывая папку и подписывая справку о реабилитации. «А я знаю!» — вдруг выкрикнул Гриша, сощурился, заморгал глазами и отвернул лицо в сторону. «Зовите следующего», — только и сказала Инесса Васильевна и протянула тоненький, в один листик, документ.

Если бы вы спросили Гришу, что было самое интересное за время его восьми-с-половиной-летнего пребывания в местах лишения свободы, то ответ был бы вовсе неожиданный. Вы ждали бы, что он скажет: лишение свободы! — ничего подобного. Умей Гриша толково формулировать свои смутные ощущения, он сказал бы: лишение самого себя.

Все дело в том, что когда за тобой, приходят и тебя берут, то происходит вовсе не то, что потом будет отражено в соответствующих документах. Особенно, если за вами нет никакого такого дела, ну не сболтнули что-нибудь, не опоздали на работу, не сперли лампочку из конторы, то есть если за вами нет какого-нибудь настоящего криминала, то в связи с арестом и лишением свободы вы испытываете чувства совершенно особенные. Та раздвоенность, о которой говорил туманно-вдохновенный Яков Беме, именно здесь, в зоне, обнаруживается в самом натуральном, а вовсе не метафизическом смысле. Вот есть такое понятие, называется «междометие», — это часть речи, заменяющая как бы другую часть речи. Так вот, Гриша чувствовал себя этим самым междометием — и на Каляева во внутренней тюрьме, и на пересылке, и на Каргопольском лагпункте, и на Балхаше, где волочил основной срок. Григорий Стребулев вовсе не был личностью вольнолюбивой и своенравной, вроде Пер Гюнта, и пребывание его в армии, и даже переезд из отечественного села Востряково в чуждый ему

Ленинград тоже вроде были делом недобровольным, а поди же, не сопротивлялся и не чувствовал гнетущего разделения с самим собой. И это понятно. Есть поступки вынужденные, на которые мы соглашаемся, и Гриша понимал и соглашался, что в армию лучше идти все-таки парню, а не девке, не сводной его сестре, понимал и то, что двум бабам в Ленинграде без мужика будет непросто, и покинул село. И самое главное доказательство было в обыкновенности этих событий — все в армию идут, все в Ленинград едут. Но тот факт, что его посадили, а других нет, как раз и был рубежом, разделяющим «осознанную необходимость» (Гегель) от «били, бьем и будем бить» (Сталин). Отсюда в Грише и возникло такое ощущение, будто руки, ноги, живот, все его тело, кожу ему дали поносить до конца срока. И все это хозяйство, руки, ноги и т. д., превратилось как бы в государственное имущество, которым государство распоряжается. Первый раз Гриша почувствовал это в бане. Мыться он очень любил, самое, может быть, для него большое удовольствие, а тут трет себя мочалкой и чувствует: что-то не то, будто не себя трешь, а вещь какую-то. Даже мыться по приказу стало неинтересно. Пошел, сунул руку под кипяток, чтобы себя почувствовать, может быть, и сварился бы, но получил по уху и грубый выговор от б у г р а, как раз подошедшего с шайкой за водой. Бугор-то решил, что Гриша хочет сделать себе легкое увечье и з а к о с и т ь по ожогу. Гриша принял оплеуху спокойно, грубо выругался и пошел домыть не принадлежащее ему тело.

Чтобы не возникло такого впечатления, будто бы Гриша с его настроениями и ощущениями отделенности от самого себя выдуман для развлечения читателя, можно подтвердить широкое распространение подобных чувств и ощущений вот таким примером с того же Каргопольского лагпункта, куда сначала был переправлен Гриша из Ленинграда. Сидели обедали, к концу обеда бывает обычно тихо, только ложки скребут по мискам, это в начале обеда бывают споры и драки, а тут тихо, и вот в этой тишине раздается голос: «Ну, ребята, прощайте!» Поднимается осетин, красавец дядька, кстати, Герой Советского Союза в прошлом, Гриша был в шестой бригаде, а этот из двенадцатой. Поднимается до команды «Встать!» и самостоятельно, попрощавшись, идет к выходу. Всем интересно. Вышел из пищеблока и спокойно так прямо пошел на проволоку, на шестиметровую зону, отгораживающую глухой внешний забор от внутренней территории, там получается еще вроде как контрольно-следовая полоса на госгранице. Естественно, в любого, кто на эту полосу вылезет, охрана может стрелять без предупреждения. Охрана и не предупреждала, потому что за предотвращение побега обязательно шло поощрение, иногда очень существенное. Так этого осетина п о п к а с вышки первой же очередью свалил. Глядя на поверженного осетина, есть смысл глубоко задуматься, мог ли так поступить человек, если бы он сам себе принадлежал? Гриша помнил, как люди на войне береглись, а вот с государственным имуществом, и государству-то не больно нужным, да и тебе ставшим тошной обузой, именно так и можно распорядиться. Все равно, как пошел и с плеч скинул.

Лишь одна часть тела, по мнению и ощущению Гриши, никак не могла стать казенным имуществом и требовательно заявляла свои особые права.

Половой вопрос стоял в лагере очень остро.

Был случай, когда по какой-то несогласованности на параллельных дорогах оказались колонны из женского и мужского лагпунктов.

Разделявшее людей полукилометровое снежное поле было превращено кинувшимися навстречу друг другу изголодавшимися по любви людьми в жаркую брачную постель. Женщины, смяв охрану, бросились первыми. Хорошо, что снег был неглубокий. Охрана по людям стрелять не могла, потому что в побег никто не бежал, это было ясно, если и бежали, то от одного конвоя как бы к другому. Любовников били прикладами, пинали, собачки, отпущенные прямо с поводками — то ли сами вырвались, то ли некогда было спускать с карабина, — метались как бешеные, ну повалили, искусали человек двадцать — тридцать от силы, а народу-то под тысячу. Крики, лай, выстрелы, а сколько радости, сколько счастливых воплей влюбленных: «Милые!», «Родные!», «Вкуснятина моя!», «Ластонька!», «Скорей же, соколик, скорей!», «Девочки!» — и уж не разбирались, где девочки, а где зачерствевшие в «браках» зэчки.

Но это все было на Балхаше, а до того, на Каргопольском лагпункте, Грише тоже улыбнулось счастье.

Во время мытья полов в комендантском домике Гриша услышал, как занюханный капитанишка из политпросветчиков, тот, что по утрам во время развода вылезал на трибуну, украшенную периодически похищавшимися на

портянки лозунгами «Вперед — к коммунизму!» и «Честным трудом — к быстрейшему освобождению!», и вел «политзарядку», то есть рассказывал о том, как товарищ Сталин помнит обо всех и сколько тысяч он уже выпустил за честный труд. Не меняя интонации, торжественной, всегда чуть праздничной, он вкрапывал в проповедь матюки в адрес нерадивых слушателей. Этот самый капитанишка, пока Гриша мыл пол, горько сетовал, что никак не может достать самоучитель на аккордеоне. «А если достану?» — не поднимая головы от пола, спросил Гриша. «К бабам сведу!» — тут же выпалил капитан.

Гриша написал своей сводной сестре в Ленинград.

Чувствуя, надо думать, свою вину перед братом, или просто радуясь тому, что брат решил порвать с преступным прошлым, встал на путь исправления и хочет стать музыкантом, сестра самоучитель ему прислала, старенький, с подклеенной корочкой, и написала, что выпросила этот самоучитель у какого-то старика в трамвае. А Гриша даже не знал, что самоучитель пришел. Капитан, наблюдавший также и за почтой, как взял его в руки, так уже и не выпускал. Когда этот капитан был начальником дежурной смены, вдруг, после ужина, приходит в барак цирик: «Стребулев!» — «Я!» — «Руки назад! На вахту!»

Да конвоира повели Гришу в женский лагерь, это километров двенадцать. Привели в шмоналовку — помещение, где обыскивают. Сделали несколько строгих предупреждений в формах самых грязных, с похабными ругательствами, и стали ждать, пока разойдется начальство. Когда начальство ушло, показали Грише «комнату гигиены», куда он мог привести себе наложницу. Комната небольшая, но грязная, на мыльном полу почему-то разбросаны фанерные и картонные крышки от посылок, некоторые даже с гвоздиками. Помещение холодноватое, не очень уютное, но стены, потолок есть.

За Гришей пришла воспитательница, надо думать, тоже по политчасти, коллега Гришиного благодетеля, и повела его в барак.

Заметьте, одна лампочка на весь барак, набитый сотнями изнуренных и нищих женщин.

Гриша двинулся в полумраке, чтобы выбрать. Помогла воспитательница: «Посольскую хочешь?» Когда вытащила с нар, Гриша понял, что такая на воле его и на пять километров к себе не подпустит, даже сказать ничего не мог, только поперхнулся и кивнул.

За всю свою предыдущую и оставшуюся жизнь не услышал Гриша столько ласковых, нежных, иступленно благодарных слов: и «цыпленочек», и «солнышко», и «любонький», и «сладенький», и «прелесть», и «родной», а одна, вознесенная страстью к предельным высотам, низвергаясь, со стоном звала какого-то Юраньку. И будь Гришаня хоть немного подвергнут рефлексии, он и сам бы усомнился в собственном имени и бытии. Не будь он сам оглушен счастьем, свалившим его на эти мыльные картонки и фанерки, он бы догадался, что не тело, а непрожитую жизнь несли ему сюда, в «комнату гигиены», вырвавшиеся из пещеры, смердящей дезинфекцией, махоркой, парашей и грязным бельем, обезумевшие в тюрьмах, пересылках и вонючих бараках женщины.

*Honni soit qui mal y pense!*<sup>4</sup>

Действовал Гриша расчетливо, по-умному, но на седьмой барышне увял, как та ни мучалась и не призывала его к подвигу. В шесть утра, пока еще было темно, шатающегося Гришу повели обратно. Возвращаясь из своего сентиментального путешествия, Гриша легко нес невесомое тело; первый раз за два года оно не тяготило его и не казалось чужим. А голова кипела счастьем. «Ну все, на целую жизнь нае...лся», — так думал он, лежа на платформе узкоколейки, на которой везли его цирики, усомнившиеся в том, что он сможет дочухать обратно сам. Когда он подъезжал к лагерю единственным бревном на всех десяти платформах порожнего состава, благоухающих корой, опилками и смолой, овеваемый промытыми дождем таежными ветрами, он решил жить, жить во что бы то ни стало, и даже мысленно извинился перед своим телом, в прежнее время вроде как преданным.

Гриша был человеком замкнутым, хотя внутренне издерганным, но эти толчки, сотрясавшие его нутро, редко оборачивались наружными взрывами, обыкновенно же гасли, замирали, все туже скручивая пружину внутреннего напряжения

<sup>4</sup> Устыдитесь, кто плохо об этом подумает (франц.).

В лагерных беседах, где неудовлетворенное сладострастие подвергнутых наказанию преступников находило выход в бесконечных разговорах и рассказах о том, что было и чего не было и даже быть не могло, Гриша никогда не участвовал, хотя до баб был зол. Злость эту породила в нем первая его женщина, посвятившая четырнадцатилетнего власовца в тайнства плотской любви. Гриша был почти потрясен незначительностью пережитых ощущений, рисовавшихся его воображению куда более острыми и даже невероятными. Все оказалось обманом и, даже вспоминая ее смех, смех многоопытной сорокалетней женщины, он был уверен, что она смеялась, предвидя его разочарование, зная наперед, что участвует в общем обмане.

Первое время Гриша старался забыть эту обокравшую его ведьму, и пестрая череда случайных возлюбленных действительно оттеснила эту тетку на периферию памяти, но именно на Балхаше она явилась ему вдруг и после преследовала уже неотступно.

Знаменитый своей пронзительностью серп луны, неувядающий цветок Востока, напоминал многим дрожавшим после снежных буранов государственным преступникам о том, что им посчастливилось увидеть небо, воспелое Хафизом, а вот Грише, когда он первый раз увидел в небе эту невероятную коротенькую, узкую полоску изогнутого света, почему-то на память пришли выщипанные брови первой его возлюбленной. Сразу вспомнились бровки, белесые, тоненько уложенные белым серпом на воспаленном после беспощадной прополки надбровье. Тогда яркий полуденный свет заставлял сорокалетнюю подружку жмурить глаза, а изъясн в зубах вынуждал губы держать сомкнутыми и размыкать их лишь в поцелуе непосредственно. И смотреть Грише было решительно не на что, кроме этих белесых полосок в окружении красноватой сыпи. Будь Гриша казаком с художественным воображением, он увидел бы в этих линиях бровках пряди, предположим, того же ковыля, вытянутые вольным ветром над горящей, или, лучше сказать, тлеющей углями степи, но холод разочарования, мгновенно охвативший Гришу, отдалил его и от поэзии.

Иное дело здесь, на Балхаше, в этой соленой степи, у соленого озера, сам того не замечая; не только мыслями, но и чувствами он возвращался туда, на пароконную подводу, где все и произошло.

Ему велели отвезти эту тетку в Жабье, и он повез. Как-то под горку лошади разбежались, телегу стало сильно трясти, и тетка, возбужденная быстрой ездой и тряской, стала хвататься за Гришу и со смехом просила ехать помедленней, тогда Гриша стал погонять уже нарочно, та смеялась, просила ехать тише и хваталась за Гришу, чтобы не упасть. Гриша уже знал, что будет дальше, но как будет, еще не знал. Едва подвернулась узенькая дорожка в сторону, в лес, как лошади свернули, а тетка сделала вид, что не заметила такого поворота в своей судьбе, или действительно была увлечена быстрой ездой. Дорога была такая глухая, что Гриша не стал и привязывать коней, а просто бросил вожжи. Тетка была насмешливо покорна и смотрела на всю Гришину возню, как смотрит с улыбкой, а то и нарочитой серьезностью взрослый человек на младенца, озабоченного пустяками. Все ей было смешно и привычно. А Гриша был сумасшедше серьезен и боялся показаться неумелым мужиком, поэтому и не вынес из этой встречи ничего поучительного и тем более поэтического. Запомнился еще сбившийся платок и страшно удивившая седина на прядях, скользнувших по щекам вдоль ушей.

Ну кто бы мог подумать, что в колонне, затемно возвращающейся в зону со строительства плавильного корпуса второй очереди, среди множества людей, мечтающих о пище и тепле, шагает один, мучительно вспоминающий имя своей первой возлюбленной.

Колонна с хрустом трамбовала снег, подернутый едва заметной зеленью, налетавшей за день с завода.

Колонна шла быстро, плотно, от дыжания сотен простуженных глоток вился парок. В белом свете фонарей, натканных вдоль дороги, могло показаться, что в недрах этого плывущего черного массива что-то закипает и клокочет. На самом деле ничего не клокотало и не закипало, просто колонна давилась висящими в воздухе невесомыми искорками льда. А люди дышали жадно, шумно, будто воздух здесь, на дороге между огражденной вышкой стройкой и огражденным такими же вышками лагерем, совсем другой, вольный.

Гриша поднял глаза. Над черным горбом шагавшего впереди товарища по несчастью, словно щель в черном, изъязвленном звездами небе, висел лунный серп. Гриша визгливо матернулся. Такие высказывания нет-нет да и раздавались

в колонне, хотя разговаривать, разумеется, строжайше запрещалось, но вот у какого-то нерадивого заключенного развязался шнурок, кто-то сбился с ноги и ему наступили сзади, или хуже всего, отлетела подметка. «Гринь, ты че?» — на выдохе, беззвучно поинтересовался остроносый сосед. «Ай-е-е!..» — произнес Гриша и не добавил больше ни слова, поскольку фразы из пяти слов и больше были ему непривычны. В сущности, что бы мог он рассказать о своей первой возлюбленной? Очень мало, почти ничего. Так и осталась она у него как тайна, а отсутствие имени, которое он так и не мог вспомнить, добавляло этому эпизоду и загадочности и значительности, и примешивало чувство, похожее на вину. Иногда Гриша перебирал все имена на «В», и каждое новое имя как бы меняло немножко обличье той, которую он забыть уже не мог. Одно дело Вероника, другое — Вера, хотя вроде бы и лицо и платье одно и то же. Он примерял даже услышанные где-то Вельта и Вальда. Она смотрелась в имена, как в зеркало, примеряя их на себя, все время казалась немножко другой, и неизменными были только смех да жест руки, прятанной прядь с сединой под платок.

Он вспомнил, как желал ей смерти, узнав, что после него она была с Корсаковым. С Корсаковым она хороводилась с месяц. А потом прямо на глазах Корсакова, когда бегала к нему на свиданку на хуторе возле Яремче, подорвалась на mine, неведомо откуда там взявшейся. Оторвало почти вчистую обе ноги. Корсаков пытался остановить кровь, но не сумел, а провозился долго, потом пытался дотащить ее до хутора. Она была без сознания, как бы в бреду, и через час примерно отошла.

Когда Корсаков пришел на базу, смотреть на него было страшно.

Привыкшие к потерям люди не знали, что тут сказать, чтобы дурной болтовней не унизить важности случившегося, а с другой стороны, чтобы и сплошное молчание не выглядело равнодушием и безразличием. Вот тут кто-то и спросил: «Как ее зовут-то по-настоящему — Велка, Велта?» Вернувшийся с неудачного свидания Корсаков пожал плечами и неуверенно бормотнул: «Вроде Велка и есть». «Имя ей — Виола», — сказал начальник разведки Гуныкин, человек страшненький, зато знавший все. Имя было диковинное, ничего не напоминавшее, ни к чему не крепившееся, Гриша его и не запомнил.

Когда любители красиво высказываться говорят о том, что наш героический народ прошел огонь, воду и медные трубы, они, как правило, не догадываются, что медные трубы вовсе не красное словцо, а вполне конкретный адрес — Балхашский медеплавильный комбинат.

Уже после того, как Гриша по причине отсутствия состава преступления покинул эти края, недалеко от пляжа, на улице, заменяющей отсутствующую набережную и тянущуюся вдоль озера, укрепили на постаменте танк и на соответствующей нержавеющей доске написали, какой большой процент ванадия, вольфрама, молибдена, иридия и кобальта вложил Балхашский комбинат в каждый выпущенный во время войны танк. Процент получился очень большой.

Кто был на Балхаше, тот знает, что жить там крайне нежелательно. Еще и до того, как французы нашли медь и затеяли медеплавильные печи, частично сохранившиеся на берегу озера, жизнь там тоже была не сахар. Озеро соленое. Пустыня. Ветер тоже соленый. После того, как построили карьер, превратившийся за восемь десятков лет в необозримый и бездонный лунный кратер, после того, как пустили комбинат и неудачно по розе ветров расположили жилой поселок, выросший в серый унылый городок, жизни в этих краях не прибавилось. Не было воды, не было земли, не стало и воздуха.

Кто видел эту землю, тот знает, что кусты там не растут, не говоря о деревьях. Трава едва вспыхнет весной, как тут же и выгорает. Кто ходил под солнцем Балхаша, хотя бы и без конвоя, тот знает, что яростное, как плавильная печь, солнце изжигает даже колючки, а зимой как раз наоборот — не знаешь, где найти место, чтобы укрыться от мороза и ветра. Гриша о Балхаше вспоминать не любил и на расспросы Маши, томившейся его неразговорчивостью, произносил свое универсальное: «Ай-й-я!». Иногда, под настроение, еще добавлял: «Каторга!» — испытывая при этом непонятное Маше острое ощущение права свободного человека говорить все что захочет. В местах заключения назвавший исправительно-трудовой лагерь «каторгой» мог свободно попасть на пересуд и получить прибавку к сроку за антисоветскую пропаганду. Поэтому Гриша, когда говорил: «Каторга!» — тут же улыбался, и казалось, что вам улыбнулось само лицо этой придуманной на пагубу людей и для процветания отечества каторги.

Лицо Гриши состояло из параллельных горизонтальных линий: челку Гриша резал прямо, параллельно прямым темным бровям, а широкие ноздри над верхней губой давали тоже хоть и короткую, но четкую горизонталь над узкими и прямыми губами.

В начале долгой и вьюжной зимы, когда вся степь уже была укрыта сухим снегом, перегоняемым неугомонным ветром с места на место, ближе к ночи изредка наступали часы затишья. Живой, искрящийся в лунном свете снег был неподвижен. На короткие часы замирало озеро, уставшее кидаться на обросший льдом берег. За сторожевыми вышками шестого, седьмого и девятого постов, расположенных как раз вдоль берега, особенно хорошо было видно, как в огромном черном зеркале отражается неизъяснимая толща небесной пустоты. Замершее ночное озеро с отраженными в нем звездами казалось тем самым краем земли, к которому можно подойти, свеситься и увидеть внизу ту же небесную бездну, что и над головой.

Звездная мелочь не отражалась в призрачной, обретшей стеклянную плотность черной воде, только самые крупные звезды, набухшие от света, казалось, сорвались от собственной спелой тяжести, рухнули вниз, в воду, и теперь светят оттуда, из глубины, как в свое время светили грузовики на Ладоге, уходя под лед.

В лагере на Балхаше после степного удушья днем и не проходившего даже ночью кислотного дурмана, исходящего медеплавительным гигантом, Грише была предоставлена широкая возможность созерцать ночной небосвод, щедро утыканный тяжелыми, пышными звездами.

Но крупные звезды не привлекали Гришу, только крошечные звездочки, едва родившиеся и не сумевшие удержаться на незримой крутизне необъятного купола, те, что скатывались, секундным огненным штрихом сверкнув на ночном небе, эти мгновенные драмы мироздания почему-то занимали его и наводили на нехитрую мысль о скоротечности жизни.

Среди многотысячной компании граждан, собравшихся в привольно раскинушемся на западной окраине Балхаша лагере, не нашлось ни одного человека, способного толком объяснить Грише, что небосвод — это не что иное, как зеркало, в котором мы только еще учимся видеть свое отражение. Напротив, о небе и звездах высказывалось множество предрассудков. И Грише как раз понравилась, показалась основательной услышанная мысль о том, что звезды — это души некогда живших на земле людей. Людей, чьи души полыхали на небе звездами первой и второй и даже третьей величины, Гриша попросту не знал, не встречал в жизни, поэтому все его внимание было обращено к звездам мелким, скромным, и, глядя на небо, он думал о том, что на него смотрит мать, которую он почти не помнил, смотрит отец, смотрит смешливая женщина, сделавшая его мужчиной, погибшие односельчане, ошибочно в сорок первом году обстрелянные собственной артиллерией, товарищи по обозу. От этих мыслей небо становилось не таким уж бессмысленным и далеким, а главное, не таким равнодушным, как жизнь, простиравшаяся за зоной.

Откуда-то в Грише выработалось недоверие, а пожалуй, и безразличие ко всяческим компаниям, кодам, группам или, как говорится, коллективам.

То ли много его обманывали, и он не верил никому, то ли решил для себя однажды, что спасаться лучше в одиночку.

Принес он эту настороженность и скептическое отношение к многолюдству и в квартиру семьдесят два.

Здоровался Гриша, входя на кухню, очень коротко, всегда отворачивая лицо куда-то в сторону, и чем больше было на кухне народу, тем короче было его приветствие. С одним человеком он мог поздороваться полным «здраслуй», но двоих он приветствовал только коротеньким «здрас-с...». Четверым доставалось «здра...», а когда по вечерам на кухне собиралось народу, как на площади Рылеева в пасху, он просто уже не замечал никого, интересуясь лишь своим столом, чайником и кастрюлей. Может быть, каким-то инстинктом Гриша ощущал, что соединение людей необходимо сопряжено с утратой каждым в отдельности своих человеческих черт, и чем большее число людей соединялось вместе, тем большей была эта дань, тем меньше оставалось людского в колонне, в толпе, в любом собрании, вплоть до утраты каких бы то ни было живых человеческих черт в таких понятиях, как народ. Быть может, поэтому от имени народа и делалось с людьми такое, что ни один человек сам позволить бы себе не мог. Странное дело

— эти свои хоть что-то объясняющие соображения он никак не мог применить к происшествию, случившемуся в их квартире. Ограниченность житейского опыта, несамостоятельная жизнь во время войны и вовсе подневольная после заставили Гришу отнестись к потере собственного отражения в зеркале, как к очередному поражению в правах, причем не самому тяжелому.

Что мог сказать о случившемся Гриша, в сущности, величайший невежда? Очень мало. Так уж произошло, что в юные годы он не имел под рукой ни Лукреция, ни Данте Алигьери, ни других авторов, интересно и поучительно трактовавших вопрос о соотношении видимого и сущего. А займись он этими вопросами всерьез, быть может, и сам бы понял, например, почему он женился на Марии Алексеевне, женщине почти на шесть лет старше его и, быть может, только этим напоминая ту, чье имя он так до конца своих дней и не вспомнил.

Да, у Гриши не было качеств, необходимых вождям, лидерам и запевалам, его любимым словечком по поводу всяческих многолюдств было словно выплунутое: «Бараны!».

Подтверждается это его убеждение, вовсе не голословное, хотя бы тем, что кухонного населения Гриша как бы не замечал и Марию Алексеевну, когда было надо, бил при всех.

Марию Алексеевну, единственную свою жену, которой так и не суждено было его похоронить, потому что Гришин труп все-таки не нашли, он бил исключительно ногами. Мария Алексеевна приспособилась к этой процедуре довольно ловко и терпела ущерб, главным образом, моральный. Когда Гриша от слов переходил к делу, Мария Алексеевна хватала большую продовольственную кошелку и выскакивала на кухню, где быстро втискивалась на табурет, раздвигавший ее стол и стол Михаила Семеновича, скрипача из филармонии; таким образом, тыл и бока у нее были надежно защищены, грудь и живот она прикрывала кошелкой, а ноги прятала глубоко под табурет.

Ну, посудите сами, сподручно ли наносить удары по человеку, так ловко расположившемуся?

Много ли тут можно нанести урона, даже пытаясь заехать ногой в грудь?

Мария Алексеевна, когда Гриша пытался достать ее, только вскрикивала негромко: «Гриш, ну что ж ты делаешь?» — будто сама не знала, что он делает. «Гриш, ну люди же смотрят...» — стыдила мужа Мария Алексеевна, а муж бил носком ботинка в кошелку и по рукам, пока не промахивался и не ударялся больно об угол стола или ножку табурета, после этого он произносил свое «у-ай-й...» с легким матерным оттенком и тер ушибленное место. «Ну вот видишь, ушибся», — говорила Мария Алексеевна, словно еще раньше предсказывала именно такой поворот дела. «У-у, хитрая сука-ай-я...» — скрипел огорченный Гриша, — иди у комнату-уй!..» Маша покорно тут же снималась и шла в комнату, Гриша шел за ней, и сражение уже не возобновлялось.

Михаил Семенович, скрипач из филармонии, однажды резонно заметил: «Гриша, разве можно бить ногами? Как нехорошо!» Гриша не моргая с минуту смотрел на улыбающегося соседа, ожидая, по-видимому, каких-то резонов, подтверждающих сказанное, но так ничего умного и не услышав от оцепеневшего от собственной смелости скрипача, сказал: «Эй-й... Да руками ж я убью-й ее. Что мне, сидеть за нее-й, что ли?» «Так и руками не надо», — рассудительно сказал музыкальный деятель. Гриша даже не удостоил ответом такое бессмысленное заявление, только махнул с досадой рукой и пошел умываться в ванную. Они разговаривали на разных языках, и Михаил Семенович, не только руки, но и смычка за всю жизнь не поднявший на свою Софью Борисовну, понять этого не мог.

По сведениям, распространенным Гликерией Павловной, человеком наиболее близким в квартире Марии Алексеевне, Гриша был у нее одиннадцатым. Ничем не отличаясь от многожужных дам, Маша помнила все свои сердечные привязанности и не только хранила это богатство, дарованное ей судьбой и приманчивой внешностью, но нет-нет и делилась с приятельницами памятью о недолгом своем счастье. Приятельницы же, то ли из зависти, то ли желая привлечь на свою сторону славившегося своим мужеством Гришу, рассказывали ему об услышанном от Маши. Гриша всякий раз расстраивался, и, как следствие, возникал разговор, заканчивавшийся для Марии на табуретке между кухонными столами.

Касааясь же не подтвержденной смерти Гриши, следует припомнить горестный эпизод, разыгравшийся в подсобке на Преображенском кладбище, из-за

чего все и вышло. В подсобке была пьянка с участием жены одного из коллег Гриши по земляным и бетонным работам. Произошла семейная ссора, в результате которой Анне, так звали эту жену, были нанесены тяжкие телесные повреждения. Гриша бросился вызывать по телефону из кладбищенской конторки «скорую помощь», но, когда «скорая помощь» приехала, спасать уже было некого, Анна умерла. Гриша, вызывавший «скорую» при свидетелях и назвавший себя по телефону, отпереться и сказать, что ничего не видел и не знал, уже не мог. Овдовевший коллега строго предупредил Гришу: «Будешь выступать на суде свидетелем, пожалеешь». Так оно и вышло.

Когда он рассказал об этой угрозе Маше, та не поверила, думала, что шутит, тогда Гриша сказал: «Ты же знаешь, среди каких бандюгов я работаю». Тогда Маша поверила и стала бояться. Через полтора всего года после злосчастного происшествия в квартире семьдесят два Гриша с работы в день полочки не пришел, а работал он уже на Старо-Парголовском кладбище, куда после суда перешел как раз в целях безопасности. Скорее всего Гришу убили там, где он работал, прямо на кладбище, поскольку обещали убить после суда твердо.

Маша сразу пошла в милицию, ее успокоили, сказали: «Надо ждать». Когда Маша пришла во второй раз, следователь Михайлов из «Большого дома» просил Машу припомнить: «Может, вы замечали, чтобы кто-нибудь к нему приходил из тех людей, с которыми он был в армии? Может, он встречался с кем-нибудь из них? Может быть, они его убрали?» Мария Алексеевна отвечала прямо под протокол: «Это ерунда. Ни с кем он не встречался, никто его не вызывал и не спрашивал. Не было такого случая». Через семь месяцев все тот же следователь Михайлов так прямо Маше и сказал: «Знаете, я не могу отрицать, что он захоронен на Старо-Парголовском кладбище. Тем более, что там заготавливают новые могилы. Могли его убить, подкопать и подставить покойника. Но розыск мы снимем только через десять лет, такие у нас сроки».

Десять лет он имел и при жизни. В общем, даже смерть, которая, как ни крути, является окончательным завершением всех житейских фрагментов, у Гриши получилась какая-то неопределенная.

Зачем в истории, где автор ведет тончайшее расследование происшествия, стоящего за гранью преступления, так много и подробно говорить о Грише, вспоминать Гришу, не приближаясь при этом ни на шаг к заветной цели?

Но по всем законам строения интриги и острого сюжета читатель приближается к ответу, к разгадке именно в ту минуту, когда сам-то думает, что удалился от цели бог знает как далеко.

Может быть, вся повесть о Грише, проливающая изрядный свет на всех обитателей зачумленной квартирки, понадобилась лишь для того, чтобы заглянуть буквально на минутку в суд, где две недели с перерывами шел процесс по факту смерти от тяжких телесных повреждений гражданки Анны Б. и где Гриша давал роковые для него показания.

Расписавшись у секретаря суда в том, что готов нести уголовную ответственность за дачу ложных показаний, Гриша поднял глаза, чтобы не видеть испепеляющего взора сидевших на скамье подсудимых троих его коллег по тяжелой физической работе на Преображенском кладбище и прочитал транспарант, укрепленный высоко над головами подсудимых: «Партия торжественно заверяет: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!»

Гриша до коммунизма не дожил.

### *Часть двадцатая*

## ИГРАЕМ СВАДЬБУ!

Едва жители семьдесят второй квартиры стали постепенно осваивать жизнь в новом качестве, испытывая нет-нет да и посещавшее их горделивое чувство исключительности, как из комнаты Шубкина пришла новая беда. Собственно, беда была старая, но в новом обличье, так сказать, штрихи к исчезнувшему портрету.

Михаилу Семеновичу Шубкину для выезда за границу в составе оркестра в очередной раз было необходимо представить в отдел кадров, кроме заполненных анкет и медицинской справки, двенадцать фотографий установленного образца двумя блоками по шесть снимков на листе. Для заграндокументов в интересах

государственной безопасности фотографироваться можно было лишь в специализированном фотоателье на Владимирском проспекте, между сосисочной и мясным отделом «соловьевского» гастронома. Шубкин ходил туда с альбомом и контрафаготом, те попросили его, как живущего «почти на Невском», взять снимки. «Вам надо еще раз сняться, что-то там не получилось...» — сказала наивная приемщица, когда Шубкин зашел за карточками. В зеркале за спиной приемщицы отражался траурно висевший на вешалке дежурный черный галстук, а Шубкина, естественно, не было. «У меня сейчас денег нет с собой...» — начал было Шубкин, еще не зная, как действовать дальше. «Платить второй раз не надо, вы-то здесь при чем?» — скучно сказала приемщица. «Рубашка нужна белая...» — уцепился за рубашку, как за соломинку, Михаил Семенович. «Приходите, — пожалала плечами приемщица, — можете с этой же квитанцией».

Надо сказать, что тягостные переживания длились всего три дня и решились самым неожиданным образом, то есть так, что никакая фотография вообще не понадобилась.

Ровно через два дня после катастрофы, пережитой в фотоателье Шубкиным, главный дирижер оркестра был вызван в Смольный к товарищу З. М. Круголковой, секретарю, отвечавшему за идеологию, культуру, пропаганду и агитацию. Какими-то неведомыми путями еще до вызова главного к З. М. Круголковой стали роиться предположения о том, что поездка в Англию не состоится. Такого рода слухи в общем-то сопутствовали всем поездкам без исключения, так что особенно никого не волновали. Но взглянув на главного после его возвращения от З. М. Круголковой, можно было догадаться, что Англии не видать как своих ушей. Щеки у главного, и без того впалые, втянулись так, словно их кто-то вбивал внутрь специально. Кадровики вдруг перестали тормозить опаздывавших с оформлением. О том, что поездка откладывается, заговорили в полный голос, но о том, что все поездки главного дирижера филармонии за рубеж откладываются на несколько лет, никто, кроме товарища З. М. Круголковой, естественно, знать не мог.

У Шубкина, с одной стороны, словно камень с души свалился, но с другой, навалилась такая печаль, о которой он побоялся сказать даже Софье Борисовне, от которой у него тайн во всю жизнь не было; ему померещилась тайная связь между исчезновением его отражения и той легкостью, с которой неведомая и всевластная товарищ З. М. Круголкова лишила международного лица прославленный коллектив республики во главе со всемирно известным дирижером. Он с горечью допускал мысль о том, что инфекция, внесенная им в оркестр, каким-то образом передалась, распространилась и обернулась вот такой тяжкой бедой для всего коллектива.

Придя домой из фотоателье, как говорится, не солоно хлебавши, половину печали от свалившихся на него обстоятельств, как всегда, Михаил Семенович взвалил на плечи Софьи Борисовны. Жена мужественно приняла ношу и тут же вечером набралась смелости поделиться новой бедой с соседями.

На кухне вечером Гликерия Павловна ругала последними словами сапожника, содравшего за набойки на румынках полтора рубля, притом что набойки тут же стали отклеиваться. «А что вы хотите? — неожиданно для самой себя сказала Софья Борисовна. — Миша пошел фотографироваться, то же самое, как у этого сапожника...» И замолчала. И все молчали, надеясь на разъяснение. Не выдержал Монтачка: «Фотография не получилась?» «Что у них может получиться, если.. руки не оттуда растут», — сказала Софья Борисовна и поспешила покинуть кухню.

Все оценили предупреждение

Маша, придя с кухни в комнату, тут же сказала Грише «Шубкина предупредила, Михаил Семенович на фотокарточку снимался и ничего не вышло». «Уй-й-я!.. — сказал Гриша и мягко выругался. — Маш, меня два раза на Доску почета снимали и не х... не вышло. Я теперь их на х... пошло, а, Маш?» — «Не надо посылать, у тебя есть очень хорошие снимки, выбери и дай». — «Нельзя, Маша, там строго, там стандарт. Лучше уж я их на х... пошло, а?» «Ну, раз стандарт, тогда пошли, конечно», — миролюбиво согласилась покладистая Мария Алексеевна.

И вот в этих обстоятельствах, взбудораживших всю квартиру, кроме одного неунывающего Иванова, Клавдия Подосинова, как ни в чем не бывало, грохнула: «Свадьбу играем! Всех зовем!»

«Да как же это так!» — раздалось со всех сторон.

«А на божью власть не пойдешь с жалобой!» — Клавдия имела религиозные понятия, близкие к первобытным, и в поступках своих была непредсказуема. Вместо традиционных в таких случаях вопросов, расспросов, удивления, дамского курлыканья и квохтанья, вместо глубокомысленно игривых шуток со стороны мужчин известие о свадьбе было встречено с глубоким молчанием, ну прямо как объявление войны, каковым оно, по сути, и было. Каждый в первую очередь стал думать о своем положении, о том, чем и как надвигающиеся события могут обернуться для него.

Точнее всех общее настроение выразил Окоев, произнеся фразу, в общем-то, дежурную, готовую у него на все непредвиденные случаи жизни: «Зря это ты сейчас... Не то время. Время сейчас — не то». Эти же самые слова произносились им по поводу слишком короткой и пышной юбки у входившей в моду певицы Эдиты Пьехи, так же он отозвался на приезд в Ленинград французского певца Ива Монтана, этими же словами осуждал ночное пение студенческого хора в колоннаде Казанского собора, сообщавшей звуку глубину и бархатистую плотность. Даже о событиях в Венгрии, событиях трагических, связанных с беспорядками и жертвами, он умудрился не найти других слов, кроме своих вечных: «Не вовемя это!» — будто ему было известно, когда трагические беспорядки в Венгрии будут уместны и своевременны.

«У нас последнее время и гостей-то не бывает, а тут...» — не dokonчила свой дипломатический намек Грудинина. Действительно, от гостей по известным причинам давно уже воздерживались. «А какие такие гости? — Клавдия была исполнена фатального оптимизма. — Родней вас все равно не найдешь. Все и соберемся».

«А как же музыка?» — спросила Гликерия Павловна, но тут совершенно неожиданно откликнулась Екатерина Теофиловна. «Клава, вам, наверное, баяниста захочется позвать?» — «Есть у меня, Теофиловна, два адреса, сговорюсь». — «Не спешите, подумайте о моем предложении. У меня в шестом классе есть поразительный мальчик — он баянист. Очень хороший баянист...» «Ребенку-то хорошо ли на свадьбе, да и родители...» — попробовал кто-то возразить. «Родители у него погибли, а он ослеп, был взрыв... Он любит, когда его приглашают». «Слепой мальчик-то?» — переспросила Клавдия. «Да, незрячий». — «Соглашайся, Клава, мужика позовешь — с баянистом все выпить хотят, а тут мальчик. Слепой. Это хорошо». «Ты куда его посадишь-то, слепого? — визгливо поинтересовался Гриша, уточнив: — Танцы в коридоре? Ну?» Привычный к плотным компоновкам Иванов тут же предложил решение: «Открыть дверь ко мне в комнату, в дверях его и разместить». «А что, — обрадовалась Софья Борисовна, — смотреть ему на танцующих не надо, а слышно будет хорошо». «И не будет баяном коридор загораживать», — подтвердил Гриша.

Вот так, незаметно, практические дела и неразрешимые, на первый взгляд, задачи исподволь, шаг за шагом, день за днем соединяли в единую, увлеченную общим делом семью коллектив, пребывавший в последнее время в некотором отчуждении.

Подосинова-старшая с варварской серьезностью готовилась к предстоящей свадьбе и первым делом запаслась овсом, чтобы осыпать молодых по возвращении из загса.

Объявление о свадьбе, как деле решенном и бесповоротном, сообщило всей массе населения квартиры трепет неясных чувств и ожиданий. Призрак близкого счастья, непрменный участник свадебных торжеств, был желанным сообщником призрачных обитателей жилища, упрятого в каменную сердцевину города.

С древних времен свадьба была праздником, знаменующим в глазах общества возобновление жизненных сил.

Свадебная игра, где чудно и щедро переплелись поэзия, предания, приметы. Игра, в которую можно выиграть очень много, но еще больше проиграть, поднимала всех участников над убожеством повседневной жизни, не только расцветивая ее тусклый и однообразный свет, но и озаряя жизнь новую, грядущую, светом надежды и веселья.

Свадьба — вообще-то событие в частной жизни исключительное, быть может, самое торжественное и праздничное, недаром же едва ли не самые важные государственные акты, как, например, венчание на царство, во всем стараются быть подобными именно свадьбе, а не какому-либо иному торжеству или обряду.

Свадьба сложилась в результате ничтожного случая. В сентябре Валентина поехала в Сиверскую закрывать пионерский лагерь и там отдалась шоферу с колпинского филиала, с этого все и началось.

Валентина Подосинова безотказно соглашалась участвовать в самых неожиданных предприятиях, вносящих разнообразие в монотонную фабричную жизнь, и поэтому тут же откликнулась, когда стали вызывать добровольцев на субботник в Сиверскую. Дирекция давала автобус, ехали на целый день, брали с собой еду, а на случай холода или дождя взяли вина, да не так от холода, как для смеха.

Подъехали еще и с Колпинского филиала семь человек, привез их Изюмкин. Вот здесь, в поселке Сиверская, в пионерском лагере «Швейник», Валентина, к полному собственному удивлению, отдала свое сердце Изюмкину без борьбы и даже без уверенности в том, что ее любят искренне и глубоко.

Веселое домогательство Анатолия было лишено уже привычной для молодой женщины угрюмой нахрапистости, грубоватого нетерпения и однообразного доказательства своего мужского права ссылками на то, что Валентина «уже не девочка». Изюмкин же шутил, смеялся, без конца удивлялся и все время ее смешил, и поэтому казалось, что то, чего он от нее ждет, совершенно не похоже на то, что у нее бывало с другими. На этот раз последний аргумент, склонивший Валентину, был совершенно неожиданным. Прежде чем покинуть «комнату подвижных игр», превращенную на зиму в склад мягкой мебели, Изюмкин вдруг сказал растрепанной и зацелованной Валентине: «Последний вопрос, и все решим. В каком ухе звенит?» «В левом», — не задумываясь о своей судьбе, сказала Подосинова. «Верно! А я задумал: угадаешь — будешь моей!» Валентина сдалась, не предполагая, что Изюмкин мог соврать. А Изюмкин, что особенно интересно, не врал, у него действительно зазвенело в левом ухе.

На следующую субботу Анатолий предложил пойти вместе на танцы в «Мраморный зал», где у Изюмкина, как он выразился, были «брошены якоря». Валентина сказала, что «Мраморный» не любит и ходит в «Промку», как по-своему звали Дворец культуры промкооперации на Кировском. «Я тебе так скажу, — рассудил Анатолий, — я в «Промку» не ходок, у меня якоря в «Мраморном», так что спляшем на ничейной земле». Валентина согласилась, выбор пал на Дом культуры МВД на Полтавской. «У тебя там никого, и у меня чисто».

Когда после танцев Анатолий провожал Валентину домой по всему Невскому, та крепко держала его за руку, еще не до конца уверенная в том, что он не рванет куда-нибудь и не скроется с ее лучшими туфельками, которые вызвался нести и из рук у нее почти вырвал, а туфельки были что надо, и кое-кто на них сегодня на танцах поглядывал. Узнав, что Анатолий никогда не был в Летнем саду, Валентина назначила ему на следующее воскресенье свидание у вазы со стороны Инженерного замка. Ваза Изюмкину понравилась, он бросал взгляд то на вазу, то на Подосинову и наконец высказался: «А ведь вы похожи! Тело большое, а нога стройная, честное слово!»

И действительно, ко времени своего знакомства с Изюмкиным Валентина вошла в пору своего второго расцвета и стала удивительно похожа на Беренику, вторую жену Птоломея Первого, воспитателя и телохранителя Александра Македонского. Хороший рост, складная фигура, но главное — голова с характерным для жены Птоломея крутым подбородком на тяжеловатой и округлой нижней челюсти. Нос был правильный, но чуть маловат для лица с крупными чертами, то же самое и у Береники. Женщины с такими достоинствами, да еще из рабочей среды, как правило, делали неплохую профсоюзную и даже партийную карьеру, однако неуступчивый характер Валентины заставлял отвергнутых покровителей вспоминать при обсуждении кандидатуры передовой работницы и активистки на хорошую общественную должность о том, что она была в оккупации больше двух лет.

Анатолий удивился, узнав, что в Летнем саду нет «комнаты смеха». Валентина показала ему место, где Хрушев и Тито ели мороженое.

Частично богини, расставленные вдоль аллей, были убраны на зиму в деревянные ящики, но частично еще стояли обнаженные.

«Ну-ка, покажи, какие тебе женщины нравятся».

«Какие же это женщины, — придиричиво разглядывая стыдливых богинь, сказал Изюмкин. — Так, аллегория. Вот тебя раздеть да поставить на постамент, представляешь, сколько народу бы сбежалось!»

«Ну и дурак же ты», — сказала польщенная Валентина.

«Женщина, Валечка, должна вызывать восхищение. — Анатолий и не думал обижаться. — А это все так, холодный прокат».

Невестам, независимо от возраста, свойственно смотреть на своих суженых сквозь розовую призму, иначе странные браки были бы редкостью, вот и Валентине послышалось в рассуждениях Изюмкина много ума и теплого к ней чувства.

«Женщина создана для любви и труда, а если для рассуждения и образования, то это уже не женщина», — сказал он и весело посмотрел в глаза Валентине. Валентина сжала ему руку.

У Изюмкина были в Ленинграде хорошие подруги, и хотя в Колпино он жил в общежитии, жениться ради комнаты не хотел.

Вскоре Валентина после работы поехала на улицу Рылеева как страхделегат к большой швее из ее смены; возвращаясь пешком мимо собора, заинтересовалась оградой, устроенной из старинных перевернутых вниз дулом пушек с натянутыми между ними цепями. В ограде и у входа в собор было не побудничному оживленно, на паперти, укутанные от осеннего холода, христарадничали нищие. Валентина заметила пожилую даму, вышедшую из храма. Дама выдала милостыню трем попрошайкам, те закланялись, как заводные, и двинулась прочь за ограду. Дама шла медленно, грузно, чуть покачиваясь, будто под ней была не прочная земля, а палуба судна, спокойно идущего на пологой зыби. Валентина дождалась, пока дама выйдет из ограды, подошла и хотела спросить про пушки, но в последнюю минуту передумала и спросила совсем другое: «Праздник сегодня, что ли?» «А как же, — с глубоким умилением сказала богомольная гражданка. — Завтра Покрова пресвятой Богородицы». Валентина так пусто смотрела на свою собеседницу, что той пришлось ее спросить: «Вы замужем?» «Нет», — почти с вызовом откликнулась Подосинова. «А вот идите в храм, купите свечку, поставьте перед Богородицей, а про себя три раза скажите: „Мати, пресвятая Богородица, покрой землю снежком, а меня женишком“». Валентина фыркнула и поджала губы, и не докучая Богородице, она подозревала, что женишком уже покрыта. Дама поплыла прочь, покачивая головой и не снимая с лица печать благости и умиления.

Узнав новость, Анатолий предложил расписаться, но без гордости прибавив: «А я знал, что так будет, я мужик ядовитый!» Валентина для приличия попросила недели две подумать, а через неделю, когда Анатолий позвонил из Колпино, сказала по телефону заветное «да».

Жених, без которого, как правило, не обходится ни одна свадьба, не погружался в глубокие размышления о жизни, не ждал от нее ни особенных подарков, ни коварства и подвохов, и пользовался теми дарами, что рассыпает она не глядя. Доверившись течению жизни, он выбрал позицию, нисколько не худшую в сравнении с теми, кто до сих пор не уразумел, что неожиданного и непредсказуемого в человеческой судьбе куда больше, чем задуманного и ожидаемого.

Не только все человечество, но и каждый человек в отдельности занят по преимуществу тем, что приспособливается к непредсказуемому.

Природа в день свадьбы была настроена на прозаический лад, была вялой и бесстрастной. Казалось, что она в каком-то неторопливом размышлении перебирает наряды и обличья с тем, чтобы выбрать подходящее для не очень торжественного, но главного как-никак события дня. Погода менялась непрерывно: утром светило солнце, потом пошел мелкий дождь, сменившийся к полудню сильным ветром, дождь перестал, но небо оставалось сереньким и низким, стало холодно, и можно было подумать, что вот-вот пойдет снег. Снег не пошел, но зато белой крупой просыпался град, потом опять выглянуло солнце, но уже маленькое и холодное, не такое, как утром; и не увидев на всем пространстве земли ничего достойного его внимания, снова спряталось за серый занавес.

В свадьбу включились решительно все жители квартиры с энтузиазмом, несколько неожиданным для обеих Подосиновых.

Клавдия рассчитала трезво: Екатерина Теофиловна, Шубкины, Иванов, Монтачка и Вика ограничатся поздравлением и вежливым отказом от участия в торжествах. С точки зрения Подосиновой, и для Грудининой с Гарриком свадьба не могла представлять большого интереса, а тут на тебе, даже Окоев, почитав-

шийся Подосиновой за существо высшего порядка, дал понять, что готов покинуть свои горные вершины и спланировать за праздничный стол, чтобы разделить общую радость. Розалия Иванна подарила шесть красивых чашек с блюдечками и пообещала приготовить салат из копченой скумбрии с майонезом и луком. Шубкины подарили комплект китайского постельного белья, а Софья Борисовна напекла гору хвороста, на целый час перебив все кухонные запахи ароматом ванили, корицы и топленого масла. Екатерина Теофиловна, Грудинина, Вика, не говоря уже о Гликерии Павловне и Сокольниковой, изначально считавшихся главными гостями, показали свои кулинарные способности с самой лучшей стороны, а что касается подарков, не будет преувеличением сказать: сердца обитателей квартиры семьдесят два соревновались в щедрости. Победили в этом соревновании, по общему признанию, Маша и Гриша, подарившие пылесос «Урал»; все ходило по очереди смотреть, как он работает и втягивает специально для испытания набросанные на пол бумажки. Словом, все откликнулись, включились, одарили, один только капитан Иванов ограничился чисто-сердечным поздравлением и вовсе не из корысти, а от удаленности мыслей от забот подобного рода. К этому надо добавить, что Иванов, иронически относясь ко всякого рода предрассудкам, пропашу своего не очень-то ему интересного отражения не переживал, и в отличие от всех остальных не смотрел на свадьбу как на событие, так или иначе связанное с утратой, постигшей жителей злополучной квартиры. В результате поисков сокровенных мыслей Алексею Константиновичу в канун свадьбы удалось из самых тихих и потаенных глубин выудить лишь облегчающую душу уверенность в том, что в этот день заботиться о выпивке ему не придется.

Едва ли не вторым по важности лицом на свадьбе является невеста. Само слово «не-веста» возвращает нас к тем неразлично далеким временам, когда свадьба была прежде всего деловым предприятием родителей; жених и невеста вообще могли увидеть первый раз друг друга только у аналога, отсюда и понятие «не-веста», то есть неизвестная. Был ли случай, когда невеста была неизвестна самой себе, как в случае с Подосиновой, сказать трудно, во всяком случае, ни в Британской энциклопедии, ни в полном «Ларуссе» подобные случаи не описаны.

О том, чтобы покупать в магазине или шить на заказ подвенечное платье, не могло быть и речи, невесте оставалось все делать самой и положиться на мать.

Между собой о странном несчастье Подосиновы не говорили и умудрились при этом шить подвенечное платье, примерить и подогнать так, будто на земле никогда никаких зеркал не было, да и нужды в них до сих пор нет.

Платье Валентина решила сделать из кружевного полотна, такое, чтобы, убрав избыточные украшения, можно было носить летом. Нужного полотна не оказалось, тогда она купила сорок пять метров кружевной ленты пятнадцать сантиметров шириной, нарезала, отдала матери сшить из продольных лент полотнище, а из него уже стала кроить платье. В платье из продольных кружевных полос, как и предполагалось, Валентина не выглядела такой уж дылдой. Платье получилось красивое, но дорогое, под сто рублей, хотя деньги шли только на ленту и приклад, все шили сами. После третьей примерки, вполне удовлетворенная результатом, Клавдия, ползавшая вокруг подола, оглядела дочь со всех сторон и сказала: «Вот ты у меня и расцвела, прямо белая хризантема». Валентина, пребывавшая в напряжении оттого, что видеть себя со стороны не может, этих слов не заметила, а только нагибалась, поднимала то одну руку, то другую, делая разные повороты туловищем, будто ей предстояло в этом платье то ли метать копьё, то ли играть в теннис, а вовсе не шагать под венец.

То, что свадьба происходит при таких нелепых условиях, никого не смущало, даже напротив, отвлекало от душевной смуты, освобождало от тягостного немногословия и скрытого в душе каждого напряжения и готовности к новым неожиданностям. Общие заботы и желание тут же прийти на помощь сделали и коридор и кухню шумными, громче зазвенела посуда, застучали двери, и мужчины первыми перешли от бесшумного скольжения по коридорам к уверенной поступи. Иванов, столкнувшись с Окоевым, Гришей и Шубкиным, громко сентенал: «Какую невесту мы с тобой, сосед, проморгали!» — и женатые соседи пеняли ему, единственному среди них холостяку: «А вы-то куда смотрели, вот и уведет теперь Валентину!» «Никуда не уведут! — крикнула на косободренном пролете по коридору Сокольников. — У нас жить будут, у него площади нет».

После возвращения молодых из загса, когда они были осыпаны Клавдией прямо в прихожей овсом и здесь же все выпили первых три бутылки шампанского, Иванов уже стакан из рук не выпускал. Без появления не предусмотрен-

ныи лиц дело не обошлось — появились двое друзей жениха, подруга невесты и какая-то никому неизвестная дама бальзаковского возраста с розовыми округлыми щеками и голубыми глазами навывкате, из тех неизбежных особ, что сами по себе образуются на свадьбах, похоронах и прочих людских торжествах, где угощают и дают выпить. Незрячий мальчик, привезенный на такси вместе с баяном Екатериной Теофиловной, был тут же взят под охрану и опеку лично Окоевым, усажен в прихожей на его сундук, где и играл марш Мендельсона, пока шумно встречали молодых и пили шампанское в прихожей. Оттого, что слепой мальчик во время игры улыбался, всем, кто исподволь на него взглядывал, становилось на душе спокойно.

Когда молодые ушли к себе в комнату, Иванов подошел к музыканту и объявил: «Хороший юнга приносит судну счастье и попутный ветер!» «А вы моряк?» — глядя чуть в сторону от Иванова, спросил мальчик. «Капитан первого ранга в отставке Иванов!» — словно старшему начальнику, представился Алексей Константинович, сделав в фамилии ударение на «а», как и было у него заведено на флоте.

Мальчик вытянул вперед руку, и моряк догадался, что надо подойти поближе. Рука слепого скользнула по кителю Иванова, чуть задержавшись на орденских планках. «А почему вы без орденов? Я все ордена знаю!» «Ко мне зайдешь, я тебе какие хочешь ордена покажу, — ревниво сказал Окоев. — Давай мне баян пока что». Мальчик поискал рукой, до Иванова не дотянулся, будто тот исчез вовсе, и двинулся за Окоевым в его комнату.

К этому времени выяснилось, что все за стол к Подосиновым не поместятся, хотя предварительно были вынесены и туалет с зеркалом, и кровать, и даже комодик. Все дружно решили, что столы надо накрыть на кухне. С веселой суетой и смехом столы, посуду и закуски стали перетаскивать на кухню.

Подосинова-младшая в своем подвенечном платье мелькала то здесь, то там, казалась непрерывно занятой, вносила и уносила домашние предметы, входила, выходила, распоряжалась, командовала, суетилась и даже покрикивала на мать, пытавшуюся придать невесте больше степенности и печали. В конце концов Клавдии удалось заставить дочку порезать лук и, увидев выступившие слезы, с удовлетворением сказать, как о важном деле: «Вот и молодец, что поплакала. Не поплачешь за столом, наплачешься за столбом». «Так ты нарочно мне лук придумала!» — смеясь сквозь слезы, закричала Валентина и бросила нож, тут же слетевший на пол. «О, ждите еще гостей!» И гость действительно появился, это был Акиба Иванович, зашедший к брату поделиться новостями, связанными с важным служебным продвижением. Как лицо в квартире известное, он был тут же приглашен на торжество.

«Подводный флот не подведет!» Болтавшийся в коридоре жених натолкнулся на капитана Иванова и разглядел у него на кителе никелированный силуэт подводного минзага.

Жених не производил впечатления узника любви, всем нравилось смотреть на человека с бодрым и спокойным выражением лица. Его невыразимое добродушие просвечивало и в жестах, и в словах, и в легкости общения с незнакомыми людьми, в чем, видимо, сказывалась привычка к рассеянной жизни в свободное от работы время. И вообще, он больше походил на разбитного дружку, чем на главного виновника хлопот. Впрочем, главный виновник всего случившегося, ради кого разыгрался весь сыр-бор, был спрятан глубоко в недра Валентины и был еще тих и невидим. «В каком отсеке вахту стоял, папаша?!» — ликующе поинтересовался Изюмкин. «Центральный пост!» — доложил Иванов не чинясь. «Расстается с городом лодка боевая, моряки-подводники в дальний рейс идут...» — затянул Изюмкин, уверенный, что моряк подтянет, но во времена Иванова таких песен не пели. «Ну, папаша!.. Мы идем в твои просторы, до свидания, земля, в четком ритме бьют моторы, в такт им вторят дизеля!» Иванов немного поулыбался и, сообразив, что от него чего-то ждут, выпалил: «Я тебе, Анатолий, желаю... счастья!» — и стал смотреть в лицо жениха, наблюдая впечатление от сказанных слов. «Папаша, какого мне еще счастья? Ну какого? Куда мне его складывать, если у нас трое на четырнадцать метров!» «Невеста у вас хорошая», — убежденно сказал Шубкин. «Это я ничего не говорю... Метраж, понимаешь, метраж! — Анатолий стукнул кулаком по ладони. — Узкое место — метраж. Еще бы хоть три метра. Семнадцать, это уже другое дело». «Да я с тебя смеюсь», — сказал Гриша, жених обернулся к нему, по-видимому, чтобы уточнить причину смеха, но в это время где-то в середине коридора взорвалась от нетерпения ничья гостья бальзаковских лет: «Моя мама рано встала, рано розу сорвала! Ты зачем

же меня, мама, рано замуж отдала?!» В конце исполнительница сделала высокий звук «и-и-и-й!» и замолчала. «А я тебе, Анатолий, желаю... счастья!» — как неожиданно пришедшую в голову счастливую мысль сообщил Иванов, тряхнув кулаком с пустым стаканом. «Хватит, погонялся я за счастьем, а что это такое, с чем его едят, так и не узнал», — признался жених. «А спокойная жизнь разве это не счастье?» — Шубкин смотрел с интересом в глаза Изюмкину. «А я тебе так скажу, — вдруг перейдя на короткую ногу со второй скрипкой академического симфонического оркестра, разоткровенничался Анатолий. — Счастье — это прохладная забава. И все. Скажешь нет?» «Я так не думал», — рассмеялся Михаил Семенович. «А вот теперь думай», — посоветовал жених.

«Моя девичья коса да всему городу краса!» — закричала бальзаковская дама, маявшаяся без друзей и без выпивки, и снова ее никто не поддержал.

С площадки, где курили, вернулись приятели жениха, вернее, старый приятель Анатолия, прихвативший с собой своего молодого напарника. «Толяша, вот скажи человеку, точат у нас по сварке или нет?» «Дальше мы с тобой больше познакомимся, — тут же отозвался Изюмкин, обернувшись к случайному гостю. — А пока запомни: надо барабан расточить, иди к Сене. Вообще у нас только два токаря: эстонец и Сеня. У Сени станок немецкий, трофейный, сорок первого года, наши так не точат. И все. А Сене, заметь, уже семьдесят лет и всего один глаз, своеобразно, да?» — добавил Изюмкин, чтобы разговор был интересен всем.

Дверь в комнату Екатерины Теофиловны была распахнута настежь, Акиба Иванович, проходя мимо, невзначай заглянул и удивился: хозяйка накрывала чайный стол на полу. Любovníки сделали вид, что почти не знакомы друг с другом, хотя за ними и не было наблюдения. «Никак вы ждете гостя с Востока?» — без тени улыбки спросил Акиба Иванович. «Я гостя всегда жду, — глядя ему прямо в глаза, ответила Екатерина Теофиловна и совсем другим голосом пояснила: — Эти черти мне всю посуду побили, я теперь их на полу и кормлю и чаем пою». И действительно, для того, чтобы разнообразить жизнь своих подопечных, раз в месяц, а то и в два, Екатерина Теофиловна привозила к себе домой на чаепитие по пять-шесть учеников. С трудом ориентируясь в новой для себя обстановке, слепые дети сбрасывали со стола на пол и еду и посуду. «Позвольте, позвольте...» — по-праздничному игриво пропела Грудинина. Акибе Ивановичу ничего не оставалось делать, как войти в комнату и пропустить соседку с двумя тарелками в руках. «Вот ему салатик, а вот студенок...» Тут же в дверях появилась Сокольниковна: «Может, он яичко съест? У меня обе курочки снеслись. Пусть ест, пока тепленькие...»

Но хватит о пустяках! Пока идет последняя суета перед тем, как сесть за стол и двинуть праздник надлежащим образом, необходимо объяснить неурочное появление Акибы Ивановича и замкнуть звенья цепи, на первый взгляд, далеко отстоящие друг от друга.

Как известно, отношения с церковью были в ведении оперативных подразделений, пребывающих под эгидой 5-го Управления Комитета госбезопасности. Нисколько не преуменьшая важной деятельности 5-го Управления, не будем, однако, забывать, что статус главка, то есть Главного управления, оно так и не получило.

Сложилась давняя и добрая традиция, по которой Комитет по делам религии при Совмине СССР, так уж повелось, возглавляли заслужившие почетную отставку крупные чекисты, поэтому, быть может, и уполномоченные на местах, и скромный, как правило, аппарат этих уполномоченных набирался из сотрудников Комитета, но вовсе не по признаку склонности к самопознанию объективного духа.

Обычно для работы с церковью чекисты брали людей с техническим образованием, исходя из того, что чем дальше человек удален от предмета, чем меньше он втянут в его сложности и оттенки, тем проще ему осуществлять управление и проводить нужную линию. Согласитесь, работа чекиста прагматична, требует решительного подхода и конкретных действий, а у людей с гуманитарными наклонностями взгляды обычно бывают расплывчатыми. Тем удивительней и неожиданней может показаться тот факт, что гуманитарного до мозга костей Акибу Ивановича, историка и знатока религии, призвали в аппарат уполномоченного по делам религии по Ленинграду и Ленинградской области, в чьем ведении находилось в ту пору сорок две церкви самых разных конфессий, Духовная академия и Епархиальное управление. Уехавший в Москву на повышение сослуживец Бекбулата Окоева решил оставить о себе впечатление чело-

века ищущего, инициативного, готового пойти на риск в поиске неожиданных решений. Раньше оперативных натаскивали на церковную проблематику, а теперь наоборот, теперь ученый должен был освоить специфику работы в аппарате и Комитете. Сумеет ли не прошедший предварительного отбора и подготовки рядовой гуманитарный человек, выдернутый из практической сферы, охватить своим оперативным вниманием выделенную ему зону? Риск был, и поэтому решили попробовать на самом спокойном участке в городе — на католицизме, имевшем всего один храм на Ковенском, две тысячи пятьсот семьдесят трех прихожан и хорошо прикрытые дублирующими службами внешние связи.

В личной беседе при утверждении перевода на новую должность уполномоченный поставил перед Акибой Ивановичем задачу: дать оперативную картину современного католицизма «до последних проблесков мысли сегодняшнего дня». Но это была задача стратегическая, а в тактическом плане и на пробу уполномоченный протянул Акибе Ивановичу лист с грифом Московской Патриархии: «Нам на согласование представлен вот этот список лиц, выдвинутых на канонизацию в качестве святых Русской православной церкви. Это немножко не ваш профиль, но вы все-таки дайте нам характеристики по каждому кандидату персонально».

Акиба Иванович слушал внешне спокойно, с достоинством, ничего не записывал и сознавал, что именно он поможет Комитету определиться и со святыми, и найти верную позицию как в вопросе об исхождении св. Духа, так и во всех других вопросах, где католичество пытается сегодня подчинить себе наше православие.

Акиба Иванович понимал, что в эту минуту он выходит на большую дорогу.

Как ни пыталась Подосинова-старшая придать жениху\* и невесте статус героев дня, оградив от суеты и хозяйственных забот, как ни старалась, чтобы они ни на минуту не отдалялись друг от друга хотя бы в т а к о й день, Валентина чувствовала себя хозяйкой и размашисто летала по коридору и кухне в своем пышном кружевном платье, Анатолий пребывал в блаженном состоянии гостя, еще никак не привыкнув ни к этим стенам, ни к этим лицам. И оттого, что сосредоточиться на женихе и невесте не было никакой возможности, каждый находил свой предмет восхищения и свою заботу, отчего росло и пробуждалось неукротимое желание, чтобы всем было хорошо и все были счастливы и добры.

Окоев был потрясен игрой, живостью и любознательностью слепого мальчика. Иванов восхищался, как всегда, Екатериной Теофиловной, блиставшей в новом платье с открытыми плечами. Мария Алексеевна любовалась Гришей, трезвым, спокойным, в новом костюме, солидно разговаривавшим с приятелями жениха. Монтачке поручили всех пересчитать и обеспечить сидячими местами. Он метался из комнаты в комнату со своим мандатом, собирал самую компактную, крепкую и удобную мебель, расставлял, сдвигал, пересчитывал, не забывая при этом восхищаться своим младшим братом, рассказавшим о своем новом поприще. Гаррик и Вика после того, как было принято решение перенести бал на кухню, натянули между полок и труб нитки, развесили пружинистые кудряшки разноцветного серпантина, чтобы главная коммунальная пещера праздничным видом хоть немного напоминала Эдем.

Из примечательных событий, предшествовавших началу застолья, нужно отметить крохотный инцидент, оставшийся без последствий то ли по невежеству, то ли по беззлобности жениха. Как и полагается, Подосинова-мать позвала Анатолия мыть руки и подала ему новое полотенце, тот стал вытирать руки о середину протянутого ему полотенца. И Клавдии ничего не оставалось, как выдернуть его, хотя руки Анатолия были еще влажными. Изюмкин только улыбнулся и вышел из ванной, а ведь мог на манер датского конунга Свейна и крикнуть: «Не пройдет и года, и я буду вытирать здесь руки серединой полотенца!»

Чтобы молодые жили богато, Подосинова незаметно подложила на стул жениху и невесте припасенные для этого важного дела меховые лоскутки от старой ондатровой шапки. Так надо же было такому случиться, а заметила она слишком поздно — стул с меховой подкладкой достался Акибе Ивановичу, примостившемуся рядом с Екатериной Теофиловной. Клавдии пришлось утешаться тем, что хоть дочка-то сидит на меху.

Следствие полагает, что лишь выпитое в прихожей шампанское может объяснить, почему свадьба взвилась сразу, с места, практически без разгона. Первые четыре тоста еще удерживали стол, первым говорил Акиба Иванович, потом Михаил Семенович, после Екатерина Теофиловна (по общей просьбе) и наконец воздвигся Окоев, умудрившийся в нарастающем гвалте добиться тишины и сообщить о том, что «в эти трудные времена мы провожаем в новую жизнь...» После каждого тоста крики «горько!» сопровождались звуками баяна, игравшего фрагментик из марша Мендельсона. Получалось красиво. Но вот слова Окоева о трудных днях, напомнившие прилипшее злосчастье, после четвертой рюмки казались сущим вздором, о котором сегодня можно было и не знать и не помнить. Тут-то свадьба и понеслась, зазвенела беспричинным смехом, шутками, подначками, кликами, которые уже не удавалось унять желающим сказать свои слова поздравления молодым. Лишь когда в обвальном сумбуре застолья вдруг прорезался клич «горько!», все вспоминали о молодых и требовали публичного подтверждения их страстной тяги друг к другу. В разных концах стола начали запевать, бальзаковская баба начала было «Ландыши», а приятели жениха тут же солидно затаили: «На Волге широкой, у Стрелки далекой...»

Вовремя почувствовав общее нетерпение, мальчик, размещенный Ивановым на отличной позиции, вдоволь наигравшийся с огромным псом, стал выманивать народ из-за стола лезгинкой.

Окоев словно ждал боевого сигнала, он вывалился, как патрон из обоймы, из плотного ряда стиснутых за столом гостей, взвился на цыпочки, раскинул руки, стряхнув с пальцев невидимые брызги, и поплыл в коридор. Все увидели, что грозный брюнет еще свежий мужчина. Окоев на замедленной скорости парил по бесконечному коридору, перебрасывая разом обе руки из стороны в сторону и горделиво вскидывая голову. Когда все так же на цыпочках он вернулся на кухню, там, к полному удовольствию Тамары Степанны Сокольниковой, затаили песню про первую учительницу.

Может быть, за столом задержались бы и подольше, но кем-то брошенное: «Для вас же мальчик играет!» — ударило всех по совести, и народ потянулся в коридор и прихожую на танцы.

Приблудная бальзаковская баба так отмахала «барыню», что никому и в голову не могло прийти спросить у нее, чья она и откуда. Восхищенная Гликерия Павловна потащила незнакомку пить на брудершафт.

Через полчаса непрерывных плясок вспомнили, что мальчику надо отдохнуть, потянулись обратно к столу. Окоев хотел повести мальчика к себе в комнату, где велел Розалии Иванне держать стол с закуской и сладким, но мальчик сказал, что есть не хочет, вовсе не устал, но попросил позвать капитана. Иванов, уже готовый погрузиться в вахмаческую грусть, встрепенулся и явился на зов юнги. Мальчик трогал рукав кителя, что-то искал вальской рукой, не нашел и спросил: «А где же у вас кортик?» «А вот это ты, юнга, запомни, — назидательно сказал Иванов, — кортик положен к парадно-выходному, а я в повседневном, что, кстати сказать, большая ошибка. Хочешь кортик посмотреть? Я тебе его сейчас дам». Холодное оружие в ножнах на золотистом парадном поясе висело над диваном и было единственным украшением пустынного жилища.

Музыкант ощупал ремень, ножны и сам догадался, что нужно нажать кнопку, чтобы вынуть клинок из ножен. Подняв голову вверх, он ощупывал, гладил, ласкал бесценную игрушку и наконец попросил: «А можно мне надеть?» «Можно», — сказал стоявший тут же Окоев и сам укоротил ремень и прицепил кинжал на пояс музыканту. «Джигит!» — довольный, воскликнул Окоев. «Военно-морской джигит», — справедливости ради поправил Иванов.

Время остановилось, никто его не считал, завтра был выходной.

Азарт, с которым все вдруг бросились в пляс, нарастал от танца к танцу.

Слепой мальчик с кортиком на боку не мог увидеть, что последний танец свил всех в пляску настолько жаркую, что вся пронизанная единым огнем и одной страстью разнородная масса танцующих, казалось, только что вылилась из одной тигельной печки и теперь медленно остывает. Пляска отняла столько физических сил и породила столько душевных впечатлений, что надо было все пережить и насладиться.

Все смотрели друг на друга, восхищенные собой, восхищенные партнерами, и слова были не нужны. Женщины без всякого преувеличения и кокетства остужали разгоряченные лица, помахивая кто ладонью, кто платком. Мария Алексеевна взяла сложенный вчетверо отутюженный платок, которым обмахивали

вался Грища, так его и не развернув, и промокнула виски, на которых седые волосы больше не были скрыты спасительной краской. Не танцевавшая Сокольникова по-птичьей дергала головой, перебегала быстрыми глазками с одного на другого, по привычке ища неполадки в гардеробе или прическе, готовая помочь, подсказать; поправить, но, как ни странно, изъяна ни в ком не находила.

И вдруг будто первая капля дождя ударила о жестяную крышу — упал и покатился с томительной оттяжкой звонкий призывный звук. И тут же раздался шлепок и прошипела, скользя по затертому паркету, подошва капитанского башмака.

Вот так, крадучись, будто на цыпочках, будто издали, тайком в коридор с неосевшей пылью, позванивая монистами, змейкой двинулась «цыганочка»: «Серебериян-ка, серебериян-ка, сереберияночка моя...» Никто плясать не собирался, сил еще не было, зато Алексей Константинович Иванов, в предыдущей угарной пляске не участвовавший, расставил локти и снова провел подошвой по коридорному паркету: то ли шлепнул, то ли погладил, однако ногу отдернул, словно обжегся, и слегка пристукинул каблуком. С легким стуком выбрасывая ногу перед собой, он смотрел в пол, будто с опаской примерялся к досочке, чтобы перейти через пропасть; на пробу выкинул ногу еще раз, снова шаркнул по паркетине и чуть громче стукнул каблуком правой, а левая глухим басовым аккордом подыграла шлепку.

Слепой мальчик слышал этот звук, он обернул незрячее лицо в сторону отставного капитана, с ошибкой градусов на двадцать и ободряюще улыбнулся, словно и вправду увидел робкие, осторожные движения старика и тут же пообещал ему помощь и поддержку. Прозвонев монистами, баян вскрикнул и замолк, и в этой тишине раздалось шесть четких ритмичных ударов каблучков и подметок. Иванов замер в позе бегуна с античной вазы, выставив одну согнутую руку вперед, а вторую, также согнутую, опустил вниз и отвел назад. Баян снова вскрикнул, просыпался скороговоркой и замер. Тогда Иванов ударил, ударил в пол крепко, уверенно, зная, что пол выдержит и можно быть смелее.

Забыв о духоте, забыв о еще не до конца пережитом волнении от только что отгремевшего танца, все стиснулись с двух сторон коридора, чтобы видеть танцующего капитана.

Иванов, выгнув тощую длинную шею по-страусиному, поднял голову от пола, повел невидящим взором вокруг, словно был уже где-то за пределами этих стен... и пошел, пошел рассыпью так, как ходят в чечетке только на подводных лодках, где вся танцплощадка может занять пространство не больше четырех развернутых носовых платков, а должна вместить простор и волю, без которых душе человеческой не жить! Чуткое ухо баяниста сразу уловило выбитый Ивановым запев, явно уводящий в сторону от «цыганочки». Мальчик прислушался, улыбнулся, мягко подыграл и, уже импровизируя, стал нащупывать, угадывать неведомую ему коронную чечетку Северного флота «Полярная стрела». Иванов неплохо бил «Морской ключ», «Чечетка вальсовая» была хороша для меланхолических настроений, но чисто выбить «Полярную стрелу», мечту моряка, уносившую его из прожженных морозом сопков, из ледяного моря с тяжелыми, как ртуть, волнами, на Большую землю, в тепло и солнце, брались только те, кто мог, а кто не мог, те и не пробовали. Тесный коридор больше всего напоминал вагон пассажирского поезда, и поэтому звуки двинувшихся в путь колес были так естественны и желанны; по легкому перебору все догадались, что вагон прокатился по выходной стрелке, по первой, второй, третьей, и вот, кажется, впереди магистраль и можно набирать ход. Баянист все понял, угадал и дал двойной протяжный гудок. Из-под ног старика, неоропливо набравших ход, посыпался четкий клетот летящего по стыкам поезда.

Баян пересыпал звонкое серебро, бросал его под ноги приплясывающему старику, а тот дробью и шлепками, с оттяжкой раскидывал это добро во все стороны, к полному восторгу окружающих. По лицу капитана было видно, что он делает серьезное дело, и руки его напоминали шатуны и кривошипные разогнавшейся паровой машины, он месил ими воздух вокруг себя, готовый вот-вот оторваться и взлететь. На ноги он больше не смотрел, смотрел вверх, прикидывая место для полета. Ноги сами выбивали из пола лихой клетот. А пол раскалился, Иванов не мог больше ни секунды удержать ноги на месте, их жгло.

«Жги!» — заорал жених, подпрыгнув в задних рядах, опираясь на чьи-то плечи.

Акиба стоял, тесно прижатый к Екатерине Теофиловне, волновался и мечтал об уединении. Старик, р у б и в ш и й чечетку, был ему смешон, ему казалось,

что сухой стук идет не столько от ударов ботинками об пол, сколько от бряканья костей иссохшегося тела в мешковатом мундире. «*Pas d'agnes у Fontaine des pleours*»<sup>5</sup>, — обронил в ухо Екатерине Теофиловне Акиба, выдерживая боярский *establishment*<sup>6</sup>.

И неожиданно для себя вдруг, к полному удивлению Акибы Ивановича, она не повернулась к нему с благодарной и восхищенной улыбкой, а, подчиняясь какой-то иной воле, прорвавшейся в праздничный коридор, вдруг закричала: «Жги!» Капитан услышал этот призыв, узнал голос, еще надал, мелко подпрыгивая, повел головой в сторону, откуда раздался клич, но Екатерину Теофиловну то ли не разглядел, то ли не узнал с той высоты, на которую может взобраться истинный мастер чечетки, и откуда все земное кажется новым и отчасти неузнаваемым.

В ту же минуту раздался пронзительный крик Софьи Борисовны: «Пустите Мишу!» На крохотное пространство, огражденное упиравшимся спиной в публику Гришей со стороны кухни и горбатенькой Сокольниковой со стороны прихожей, на крохотное пространство, где бил каблуками и подошвами, поводит головой и видел одному ему ведомые картины капитан первого ранга в запасе, втикнулся Михаил Семенович со своей скрипкой. Он тут же подхватил мелодию таким долгим, бесконечным звуком, что услышь его сейчас главный дирижер, он уже никогда бы не посмел сказать, что у Шубкина к о р о т к и й с м ы ч о к, и скорее всего обнял бы его и посадил рядом с собой, слева от своего пюпитра. Шубкин показал, на что способен мастер. Он из одной только струны бесконечным движением смычка извлек столько звука, сколько иному музыканту не удалось бы извлечь из целого рояля. Скрипка пела, стонала, гудела, притворялась то флейтой, то контрабасом в верхнем регистре... И вот Шубкин начал бить смычком по всем струнам сразу, а скрипка смеялась, хохотала, причем каким-то живым бесовским смехом. Смычок вдруг задымился оборванными тонкими волокнами; стремительным, неуловимым жестом, пригнувшись со скрипкой к самому полу, Шубкин то ли оборвал, то ли обкусил не выдержавшую ткань, но темпа не сбросил и был готов играть хотя бы единственным уцелевшим волоском смычка на последней струне.

Баян зазвучал чуть тише, чувствуя, что рядом со скрипкой ему надлежит, как мужчине в балете, служить лишь для поддержки и раскрытия всех прелестей и совершенств существа более нежного и певучего.

Вагон летел, клокотал, звенел, баянист подхлестывал танцора гудками, а Шубкин умудрился изобразить звук поезда, проносающегося сквозь гулкие фермы железнодорожного моста, и все это к полному восторгу ошалевшей публики... Публики? Да где вы ее здесь увидели?! Неслось все, неслись все, каждый туда, где его душе был весело и вольно.

Иванов опустил голову вниз, стараясь рассмотреть со своей вышины какую-то точку на полу, по которой непременно нужно было ударить раз пятнадцать каблуком и подошвой, и бил в упор, бил прицельно, а когда повернул лицо в сторону зрителей, все увидели на лице старика искреннее удивление: он взглядом, полным недоумения, предлагал окружающим посмотреть на его ноги, хозяину больше не повинующиеся и выделяющие уже черт знает что. Он пожимал плечами, разводил руками, и казалось, вот-вот будет просить о помощи.

Шубкин раскачивался из стороны в сторону, и его звонкий, летящий, как фехтующая шпага, смычок был просто опасен. Дамы с надлежащим визгом отшатывались, а Шубкин смотрел исподлобья, давая понять, что это еще не конец.

Мальчик, пригнув голову к баяну, больше не смотрел на пляшущего капитана, а все внимание обрушил на свой инструмент, сообщая мелодии, быть может, и несколько однообразной и незамысловатой, россыпи оттенков, завитков и отыгрышей, то смягчая, то усиливая звук, или вдруг сменяя тонкую пронзительную трель головкружительной, как обвал, лавиной в басах.

Скрипка плела бесконечное кружево звуков, а сам Михаил Семенович, филармонический Михаил Семенович, взрослый человек, белая кость, делал лицом такие штуки, что все, кто видел, давились от смеха, пригибали головы, раздвигались, чтобы видно было и задним. А тот делал вид, будто скрипка хочет выскользнуть из его рук, удрать, а он ловит и сечет, сечет смычком разыгравшуюся шалунюю.

<sup>5</sup> Поступь армии у Фонтана слез (франц.).

<sup>6</sup> Представительство (англ.).

Капитан Иванов, только что призывавший подивиться, как расплескались его длинные в черных флотских брюках ноги, уже пронзал суровым взором потолок, а может быть, и открывшееся ему поднебесье... воздев над головой руки со сжатыми кулаками, он уже не касался пола, парил, лишь шлепками и тычками каблучков отбрасывая прилипчивую тяжесть земли.

В комнате Иванова, за спиной баяниста, раздался грохот, в первую минуту никто ничего не понял, а уже во вторую стало ясно, что это взлаял громоподобный Дик, видимо, не на шутку встревоженный за судьбу разгулявшегося хозяина. Можно было подумать, что там сорвалась и покатила по лестнице огромная пустая бочка.

Кто вел этот танец, кто был его дирижером... но оборвался он разом, будто вся троица и пес сговорились накануне или долго репетировали при закрытых дверях с необычайной тщательностью.

Финал был таким чистым и неожиданным, что все почувствовали себя на краю, над обрывом и замерли с остановившимся дыханием.

«Полярная стрела» никогда не заканчивается так резко, напротив, мастера обычно давали в финале лязг буферов останавливающегося поезда и только после этого ставили точку. Но этот вихрь, этот ураган не мог угаснуть и растечься, замереть здесь, на пыльном истоптанном полу, вот он и унесся, оторвавшись от земли, от пляшущих ног моряка, от захлебнувшегося скороговоркой баяна, скользнув по струнам изумленной скрипки.

Едва Шубкин успел вскинуть скрипку и смычок выше головы, как тут же был стиснут в объятиях стоявшими рядом. Сокольникова, отдавшая все силы в борьбе с напиравшей толпой, теперь прижалась своей неровной спиной к стене, опасаясь, что ее затопчут. Жених тряс Иванову руку и хлопал его по плечам с таким восторгом, с такой силой, какой не показывал и сам командующий Северным флотом, когда Иванов докладывал о немалых успехах своей субмарины. Капитан шатался под тычками жениха, как баркас под ударами прибоя, поводил головой кругом, как человек, вроде бы только что сюда вошедший и собирающийся спросить, что же здесь такое произошло и почему ему никто ничего не рассказывает.

Слепой баянист, как хитрый гном, сидел и улыбался каким-то своим мыслям, положив подбородок на ребристые сомкнутые меха баяна.

### *Часть двадцать первая*

## ЗАВЕШЕННЫЕ ЗЕРКАЛА

Умер Алексей Константинович ночью, у себя на диване, надев зачем-то парадно-выходной мундир, видимо, хотел показаться в нем слепому мальчику.

Екатерина Теофиловна, допоздна сидевшая на кухне с Акибой Ивановичем, видела Алексея Константиновича в последний раз явившегося часа в три ночи, как бы уже на свадебное пепелище, в мундире с золотыми шевронами и позументами. Иванов спросил, где мальчик. Екатерина Теофиловна сказала, что мальчик спит у нее в комнате, а танцуют у Шубкиных под радиолу.

Нашел Алексея Константиновича бездыханным Гриша Стребулев в результате утренних поисков, с кем бы опохмелиться; при всей своей сдержанности и замкнутости пить в одиночку он считал дурным тоном. Странное дело — Гриша, проводивший среди покойников, можно сказать, большую часть рабочего времени, лучшие, то есть вольные годы своей жизни, тут вдруг перепугался и бросился к Маше: «Ну вот, Машуня, на х. эта свадьба нужна была.» «Да успокойся, на тебе лица нет», — сказала Мария Алексеевна, еще не вставшая с постели: «Алексей-то Константинович умер на х..» «Да спит, наверное? — спросила перепуганная Мария Алексеевна. — Ты его тряс?» «Собака, Маш, не подпустила, скалится. Рядом сидит. Мне и трясти не надо, я их знаю»

И действительно, даже неопытному глазу с первого взгляда было понятно, что Алексей Константинович безусловно мертв.

Дик подпустил Екатерину Теофиловну, она подошла, потрогала остывшие руки, лоб, скорбно кивнула в подтверждение худшего толпившимся в дверях соседям и положила на чуть прикрытые веки два пятака, без подсказки принесенные Подосиновой-старшей.

Все чувствовали себя виноватыми, боялись заговорить и не смотрели друг на друга. Наконец Гликерия Павловна, увидев на полу прислоненное к стене большущее квадратное зеркало, сказала: «Зеркало надо бы повесить». «К губам надо поднести,— почти шепотом пробормотала Сокольниковна,— может, еще дышит». «Куда дышит, если уже холодный»,— с неуместной профессиональной заносчивостью сказал Гриша.

С легким сердцем пошли завешивать зеркала, испытав ни с чем не сравнимое, хотя и стыдноватое, чувство облегчения от того, что эти бесстрастные ледяные листы хотя бы на несколько дней не будут смотреть на тебя пустотой, опрокидывающей душу черт знает куда.

На Подосинову старались не смотреть, понимая, как она горько раскаивается в затеянной в недобрый час свадьбе, и поэтому совершенно неожиданно прозвучали ее слова на кухне, где все в безмолвии, лишь перебрасываясь деловыми короткими репликами, разбирали перепутанную мебель и посуду: «На праздник только угодников Господь к себе прибирает». Все на это смолчали.

Слепой мальчик спал у Екатерины Теофиловны, не расставаясь с кортиком. Он проснулся, когда в комнате никого не было, позвал учительницу, та не отозвалась, нащупал одежду рядом на стуле и стал привычно одеваться вслепую. Одевшись, нацепил пояс с кортиком и отправился в гости к Иванову, его комнату он запомнил, поскольку сидел там в дверях с баяном. Он толкнул дверь и позвал Алексея Константиновича, тот не отозвался, но подошел Дик и лизнул слепого в лицо. Мальчик расхохотался, повис у пса на шее и попробовал завалить его на пол. Пес уклонился от игры. Тогда мальчик прикрыл дверь, чтобы не дать псу сбежать, раскинул руки и пошел на поиски своей жертвы. Через четыре шага он наткнулся на диван, где лежал Алексей Константинович со скрещенными на груди руками. Решив, что моряк спит, мальчик, едва касаясь пальцами, стал разглядывать его мундир. Прошелся по пуговицам с якорями, погладил погоны с крупными шершавыми звездами и, стараясь не издать звука, стал перебирать ордена и медали, тяжелой гроздь висевшие под лацканом мундира. Два ордена Ленина и три Красного Знамени он узнал сразу, с медалями было сложнее, но выпуклую надпись вокруг воина в зимней шапке и с автоматом он прочитал и обрадовался — «За оборону Советского Заполярья». На правой стороне мундира тоже ордена были знакомые, кроме совершенно странного, с якорьками на кончиках лучей звезды. Чему ж тут удивляться — орден Нахимова и зрячие-то не все видели.

Наталья Николаевна, приглашенная сверху, чтобы собрать старика (одна она знала, где у него что лежало), удивилась и испугалась, увидев в комнате мальчика, стоявшего на коленях перед диваном и ощупывающего покойника, ей показалось, что он его обыскивает.

Баяниста увели, сказали, что Алексею Константиновичу плохо. «У него руки совсем холодные,— подтвердил мальчик.— А можно кортик пока у меня побудет?» «Он будет у меня,— твердо сказала Екатерина Теофиловна,— и ты можешь приходить и играть с ним сколько хочешь. А когда станешь большой, получишь его насовсем». «Я ему, я ему за это,— захлебнулся слепой,— я ему Дика вылеплю! Я же Дика как свои пять пальцев знаю!»

В праздник умирать, конечно, хорошо, если есть такая примета, но неудобно для окружающих, поскольку все службы, куда надо заявлять и оформлять покойного, не работают, тем более, что все умершие на дому проходят еще и через судмедэкспертизу.

Во второй половине дня в понедельник, часов около четырех, когда было уже темно, Алексея Константиновича увезли. Пришли рослых три мужика, сравнительно молодых, и что самое поразительное — вполне трезвых, набитой рукой оформили все что нужно и попросили две крепких простыни. В шкафу у Иванова крепких простыней не нашлось, одну свою дала Подосинова и одну вынесла Розалия Иванна, с повышенным страхом и близко к сердцу принявшая все случившееся. Мужики ловко завернули Алексея Константиновича в кокон из простыней, чтобы удобней было нести по лестнице. Человек, выдавший, как хоронят в море завернутых в брезент, мог подумать, что и здесь все исполняется согласно воле покойного по строгому морскому ритуалу. Оставалось снайтовить к ногам ядро или кусок колосника, и полный порядок.

Каким образом Нина Иванна пронюхала о смерти Алексея Константиновича, одному Богу известно. Обычно она появлялась на кухне «для полировки крови», как говорил Иванов, раз в полтора-два месяца, иногда и реже, последний раз ее видели всего три недели назад, уже в пору не с ч а с т ь я, и следующего

визита так скоро никто не ждал. Она появилась в шляпке не по сезону, но зато из черной крашеной соломки, с подобающим случаю черным замшевым цветком. Вместо того, чтобы проследовать со своей кошелкой, как всегда, на кухню, она заглянула в комнату Алексея Константиновича, постояла в дверях, не заходя, подивилась пустынности и проронила, ни к кому не адресуясь: «Куда же все делось?.. Это когда ж успели?» «Если хотите, можно опечатать», — сказал Михаил Семенович Шубкин. «Вы что, решили надо мной посмеяться? Что тут опечатывать? Даже собаку увели!» И вправду, собаки на посту не было, не было и тюфячка, на котором она проживала; пса забрала к себе сердобольная Наталья Николаевна из девяносто шестого номера, и Дик уныло и покорно пошел переживать свое горе в чужой дом.

Нина Иванна заняла необычную позицию — на табуретке, где находила свое убежище в час сраженья Мария Алексеевна.

«Я этого ждала. Я так и знала. Он всегда думал только о себе. Он никогда не понимал, что благодарность — это одна из главнейших черт порядочного человека. Я отдала ему все: молодость, силы, здоровье, красоту, он никогда этого не понимал. Материальных претензий я к нему не имею. А могла бы!» — в этом месте безутешная подняла вспыхнувшие азартом глаза и увидела лица, обращенные к ней. Все явно ждали разъяснения. «Да, могла... Очень даже могла...» — с затухающей скорбью произнесла вдовица, давая возможность воображению слушающих самим представить безмерные долги Алексея Константиновича, нежели сочинять их экспромтом. Она всегда знала, что непременно найдется дурачок или хитрец, готовый восхититься истинно христианским движением души, отпускаящей «должникам нашим».

«И много задолжал?» — поинтересовалась Сокольникова из чистого любопытства.

Казалось, что Нина Иванна не услышала бестактный вопрос или просто решила перенести свою печаль в более высокие сферы: «Мне ничего не надо, — она смотрела в пол, веки были опущены, рот скорбно узок. — Мне ничего не надо. Возьмите все. Все можете взять...»

«Мы ваше состояние понимаем, но оскорблять нас своей щедростью все-таки не надо», — решительно пресекла Екатерина Теофиловна.

«Простите меня, простите, у меня такое горе, я не знаю... Неужели так трудно понять мое состояние?» — Нина Иванна саркастически кривила рот. Сарказм по латыни значит «рву мясо».

«Материальных претензий она не имеет! — вдруг вспыхнула Гликерия Павловна. — Да ты ж его обобрала как липку, или люди, думаешь, совсем уже ослепли?! Ходишь тут, казанскую сироту изображаешь!»

«Я вдова! — заорала Нина Иванна. — Вдова, а не сирота! И тебе, никогда замужем не бывавшей, этого не понять!»

Гликерии Павловне было что на это ответить. Выступил вперед Окоев и встал между беседующими так, что Гликерии Павловне стало не видно рвущуюся в бой безутешную Нину Иванну. «Мы, товарищ Иванова, слушать вас не хотим. Хотите покойного вспомнить, поплакать, пожалуйста, есть для этого комната вашего бывшего мужа. Мы товарища Иванова уважали и хоронить будем в красном уголке. А вот это здесь не надо. Время сейчас не то, и слушать ваши скабрзности мы не хотим».

«Ах вот вы как заговорили! Хорошо! Вы зачем эту свадьбу устроили? Вы прекрасно знаете, что ему ни капли в рот нельзя! Или не знали? Первый раз слышите? Это вы убили его. Я вас всех... вы у меня... вдову... в такой день...» — казалось, что Нина Иванна лепечет что-то уже в беспамятстве, но глазки ее, выдавая расчетливое безумие, холодно бегали, стараясь хоть в чьем-нибудь лице увидеть сострадание; ничего подходящего не увидела и, как бы задыхаясь от гнева, шипя невнятными угрозами, покинула поле брани.

Смертью Алексея Константиновича заинтересовался райвоенкомат, и не только — в просторный красный уголок жэка, где был выставлен гроб для прощания, набилось так много народу, что пришедшие чуть ли не полностью жильцы квартиры семьдесят два, чтобы не раствориться, держались кучно. Оказалось, что на Алексея Константиновича претендовало довольно много народу, — три училища, два завода, бригада подводных лодок из Кронштадта, не говоря о военкомате, и все готовы были взять на себя заботы и расходы. Венки были солидные и красивые — от училища подплава имени Кирова, от однокурсников по Фрунзенскому училищу; естественно, расстаралась бригада подводных лодок из Кронштадта и какие-то организации, названия которых, состоящие

из букв с точками, прочесть на лентах было затруднительно. При всем при этом, хотя венки со счета никто не сбрасывает, самое интересное — это был, конечно, сам Алексей Константинович. Жильцы его просто не узнали и вовсе не потому, что он был чистым, прибранным, трезвым, в парадной форме и в цветах, по большей части искусственных по причине сезона. Невозможно было узнать это лицо, выражение этого лица. На походе у Алексея Константиновича, бывало, лицо менялось в считанные мгновения. Посмотрите на Алексея Константиновича, когда он, припав к тубусу перископа, примериваясь визирной линией к носу то одного, то другого корабля конвоя, выбирает цель, не забывая подстраховать себя от неожиданностей и слева, и справа, и сверху. В эти минуты он был похож на большую собаку, решившую поймать зубами муху, вертящуюся у ее носа, — все движения короткие, быстрые, азартные, и даже рот чуть приоткрыт, чтобы не терять времени и сразу щелкнуть зубами, когда цель будет поймана. Но сейчас, в гробу, у него было то самое выражение лица, строгое, уверенное, гордое от сознания выполненного долга, с которым он после счастливого торпедного залпа, рассчитавшись с врагом и переключив все внимание и волю на спасение корабля и экипажа, готов был отдать команду: «Срочное погружение!» — подразумевая при этом и погружение в себя.

Из выступавших с прошальным словом более остальных достоин внимания старшина второй статьи Наседкин. Алексей Константинович встретил его прошлым летом у пивного ларька на Софье Перовской после большого перерыва. Старшина второй статьи Наседкин служил под командованием Иванова на «Л-32» на Северном флоте, а теперь это шел полный капитан второго ранга, левая половина груди которого была прикрыта пятью рядами наградных планок.

«Орел!» — закричал Алексей Константинович, узнав своего матроса. Наседкин подошел, счастливо улыбаясь. «Орден-то, орден!» — восхищался отставной капитан, расплескивая пиво из кружки на вертевшего головой Дика. Наседкин улыбнулся совсем широко и взял под козырек. «Паршивенький был матросик, а смотри-ка ты! Ну и птица! А помнишь, как ты у меня первый свой орденок выпросил?» Наседкин расхохотался с таким искусством, что можно было бы ему и позавидовать, потом поулыбался собравшейся компании, как бы извиняясь за выжившего из ума старика, и поспешно с достоинством удалился. Алексей же Константинович его блистательного отсутствия не заметил. «Он по связи у меня был, а к нам запрос — в спецшколу связи в Полярном нужны кандидаты. Хорошего-то связиста не отдашь, а с Наседкиным за милую душу расстанусь. Я же эту породу чувствую лучше, чем дым в отсеке. Ставлю замполиту задачу: подпихни ты этого Наседкина в спецшколу. Тот сработал правильно. Пришли эти, те, что мозги нюхают, побеседовали предварительно, а возьмут, не возьмут, пока не ясно. И матросишка-то дрянной. Вдруг вижу, он кругами вокруг меня, и с одного бока и с другого, потом улучил момент и намекает: «Быль бы у меня орденок, точно бы взяли». «На тебе орденок, Вячеслав Иванович! Где ты теперь мозги нюхашь? Эй! Куда он делся-то? Старшина!»» «Пошел рапорт на тебя писать», — под общий смех сказал отставной летчик с ехидным лицом. «Вот вы смеетесь, а он-то капитан второго ранга», — сказал мужик с авоськой, видимо, командированный за хлебом. «Какой капитан! Какого там ранга! Да у них там, у нюхальщиков этих, и должности и звания — все свое. А мундир он тебе какой хочешь наденет», — сказал какой-то длинный малый без возраста, снимавший шапку только затем, чтобы показать золотую пластинку, вмонтированную в череп.

Наседкин прекрасно помнил, что на флоте все друг друга знают, и его отношения с Ивановым, вернее, отношение Иванова к нему, может когда-нибудь и повредить, а здесь были и каперанги и два адмирала, поэтому разумно решил на панихиду прийти и рассказать о своем любимом отце-командире, давшем ему первый орден и путевку на большую дорогу.

Те, кто не знал Наседкина, слушали и переживали, женщины всплакнули, и, что совсем странно, прослезился Шубкин, как ему слух изменил, объяснить невозможно. А у Алексея Константиновича было такое выражение лица, будто он готов встать и оборвать завравшегося наглеца, да вот что-то мешает, а тут и первый гнев прошел, и потому решил до конца дослушать.

Хоронили на Преображенском кладбище, на военной площадке, с местом помог Гриша, которого там все знали и относились с уважением, особенно после того, как отказался «лезть» на Доску почета.

От военного коменданта города был выслан на кладбище караул, наряженный из Фрунзенского училища. Когда гроб опускали в могилу, высланную пахучими еловыми ветками, курсанты сделали салют из самозарядных карабинов Симонова

Домой возвращались в похоронном автобусе, все молчали, хотя обычно по дороге с кладбища люди и дышат и разговаривают с особым вкусом, пусть стараются этого и не показывать. Всех нужных людей, сослуживцев и остаток родни безутешная Нина Иванна сочла за благо пригласить на поминки к себе, так что на канал ехали только свои. Люди в автобусе молчали, не столько подавленные горем, сколько удивленные безмерно преображением Алексея Константиновича. Все, что было услышано у гроба, да и сам он, строгий, недосыгаемый; гордый, производило настолько сильное и неожиданное впечатление, что заговорить было невозможно. Трудней всего поверить в то, что люди рядом с тобой думают о том же и так же, и потому кажется, что объяснить свои мысли и чувства другим будет весьма затруднительно.

Похороны Алексея Константиновича Иванова сообщили жильцам семьдесят второй квартиры печаль и надлежащую меру торжественности.

Подосиновы, обе, и приданный им в помощь Монтакка с панихиды отправились домой, чтобы все как следует подготовить к возвращению с кладбища.

Столы накрыли в пустынной и просторной комнате Алексея Константиновича.

Прибывший с похорон народ стал заполнять комнату. По комнате ходили так, будто в ней были натянуты какие-то невидимые струны, и каждый боялся хоть одну из этих струн задеть.

Негромко переговариваясь, стали рассаживаться, стараясь производить как можно меньше неуместного шума.

Кто-то спросил, где Софья Борисовна. Тут же появилась Софья Борисовна.

Едва не досчитались Сокольниковой, как появилась Сокольникова.

«А сколько зеркалам полагается быть закрытыми?» — просто поинтересовался Шубкин, разливая водку «Схоронили, можно и открывать», — скорее для информации нежели с каким-нибудь смыслом сказала Клавдия Подосинова. Всем стало чуточку не по себе, будто надо было вернуться в неволю, сменив просторную и свежую одежду на тягостное тряпье. Спадут завесы с зеркал, и откроется полное раздолье для тоски.

Аполлинаруй же Иванович понял сказанное как указание, уж так устроен был его слух и нрав, так уж история сформировала его натуру. Вовсе не думая о последствиях он вскочил со стула, подошел к прислоненному к стене тяжелому зеркалу, оттянул его верхний край от стенки и снял тряпицу, служившую ранее, надо думать простыней.

Сначала он увидел свои ноги, точнее, вельветовые брюки и скороходовские башмаки, которые так и не успел переменить, вернувшись с панихиды. Он пригнулся на корточки и увидел себя целиком — и не узнал.

Из зеркала на Аполлинурия Ивановича глядел маленький человек, встревоженный и утомленный, присевший зачем-то на пол, и теперь в этой несуразной позиции словно Нарцисс, разглядывающий себя. Аполлинаруй Иванович был крайне удивлен и огорчен, успев забыть свое обличье, в воображении уже рисовал себя чуть-чуть иначе, он видел в себе человека, приобретенного к высокому и прекрасному. Под высоким он, надо думать, имел в виду Петропавловский собор, а под прекрасным коллекцию ИБК. Чувствуя взгляд на своей спине, он оглянулся, оглянулся с просительной полуулыбкой, ожидая, что собравшиеся за столом жильцы немедленно опровергнут столь невыгодное от него впечатление, но все старались, не подавая вида, хоть краешком глаза заглянуть в зеркало, закрытое спиной Аполлинурия Ивановича. На полуулыбку Аполлинурия Ивановича никто не отозвался, и ему показалось, что его просто никто не видит. Он снова обернулся к зеркалу, провел ладонью по щеке и огорчился своей небритостью, потом попробовал прикрыть ладонью лысинку и огорчился, потому что ладонь нехватило, стал перебирать пальцами морщины на лице, на лбу и огорчился их обилию.

Тот, что был в зеркале, вдруг заплакал. В общем-то, на поминках плакать вполне уместно и даже полагается. Только как уж там заплакал Аполлинаруй Иванович — одна, в лучшем случае, две слезинки выкатились из глаз и потекли вдоль носа к верхней губе, где усов не было. Аполлинаруй Иванович потрогал место для усов и рука оказалась влажной. И тот, в зеркале, размазал что-то под носом.

Аполлинарий Иванович поднялся и неверной походкой двинулся прочь, в свою комнату за платком.

Сидевшие за столом проводили Аполлинария Ивановича взглядом, полным недоумения, и обернулись к зеркалу, стоявшему прислоненным к стене. Зеркало отражало все застолье, всех до единого, тесно сгрудившихся за поминальным столом, кроме выплывшего за дверь походкой человека, начинающего заново учиться ходить, Аполлинария Ивановича Монтачки.

— Ну, не чокайся! — с облегчением сказал Окоев.

— Аполлинария Ивановича надо бы подождать...

— Подойдет, куда он не денется.

Что можно сказать, подводя итоги следствию, столь неожиданно завершившемуся в связи с прекращением преступного деяния и возвращением похищенного по месту принадлежности, а равно и отсутствию юридической ответственности со стороны выше поименованной нечисти, подозреваемой в преступлении.

Первое. Пострадавшие, выпустившие из рук кормило своей жизни, передоверили его кормчему, а равно и кормчим, вперившим бессмысленный взор в туманную даль, предположительно скрывающую призрачное всеобщее счастье. Передоверив кормило корабля, обремененного грузом небывалых надежд, пострадавшие наивно полагали, что принесение себя и других в жертву, так сказать, жертвенный дым и обратится в необходимый попутный ветер, способный наполнить паруса истории с тем, чтобы через непролазный туман вылезти так или иначе к чему-то светлому и лучшему.

Второе. Следствием со всей достоверностью установлено, что пострадавшие не допускали мысли о том, что все самое светлое и лучшее, что ни есть на земле, находится в них самих. Однако сошедшие разом радость и горе стали сильным потрясением для обитателей зачумленной квартиры, не только развлекли их, но и пробудили энергию, способную оживить дремлющие в забвении себя души.

И третье. Следствие располагает достаточным материалом для доказательства того, что именно многоликость и безликие кормчие умением скрывать и прятать свое истинное лицо, возведя это умение в ранг искусства и положив его фундаментом реальной политики, породили вирус, повлекший события эпидемического характера, имевшие место на канале Грибоедова в конце осени и начале зимы 1961 года.

Дело об источниках выявленного вируса необходимо выделить в самостоятельное производство.

Есть все основания считать итоги следствия исторически оптимистическими и юридически утешительными.

### *Часть двадцать вторая*

## ЧИТАТЕЛЮ, ДОВЕРИТЕЛЬНО

Следствие было предпринято в связи с тем, что 12 ноября 199... года, в семь часов сорок шесть минут утра, встав со сна, автор не обнаружил своего отражения ни в одном из пяти домашних зеркал, был этим обстоятельством сначала смущен, а вскоре и напуган, попытка возгордиться необыкновенностью случившегося утешения не принесла. После мгновений мучительной растерянности автор собрался с духом, привел себя в покойное расположение и, не считая свою жизнь единственной и неповторимой, не сознавая себя лицом посторонним по отношению к внутренней и внешней жизни сограждан, обитающих по обоим берегам канала имени Грибоедова, предпринял поиск похожих происшествий в близлежащей истории.

Ленинград — Москва — Санкт-Петербург.

---

---

ЕЛЕНА УШАКОВА

\*

## БЕЛЫЕ ОВОДЫ

### Метель

*«Окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой...  
Небо слилось с землею».*  
В этих местах за окнами, заткнутыми ватой,  
Сегодня, как полтора века до нас с тобою,  
Белые вихри снуют и злая бежит поземка,  
И мы, россияне (термином стало слово  
Необычное, произносимое нынче с вызовом, громко),  
Медлительные сердцем дети града Петрова,  
Словно скучаем — лень, неохота; все равно не победишь погоду,  
Не добраться из Ненарадова в Жадрино,  
Его величеству морозу в угоду  
Сидим у телевизоров и следим в декабре нежадно  
За сюжетами: вот Бурбулис округляет око,  
Пускаясь в рискованное придаточное как в путешествие.  
Метель! Слабую мысль прогрессивную сносит далеко,  
Трудно продвигается, с барьерами, словесное шествие.  
Память о слове, только что произнесенном,  
Глядишь, занесло: змейкой вьется бессмысленно жужжащей  
Одиноким союз, вырванный порывом ветра бессонным.

*«Подали ужинать. Сердце ее сильно забилося».* По всем расчетам,  
Давно пора уже быть ему дома; подгоняют тревогу  
Электронные часы с комода, и лифта напрасное гудение нехорошее что-то  
Нашептывает, накачивает, или, как сказал Солженицын, указывая всем дорогу,  
«Нагуживает». Чего только не выносит наш могучий...  
Однако можно же позвонить, задерживаясь!  
Какие только не бывают несчастные случаи.  
Нет-нет, воображение, крепись, пожалуйста, коней придерживая!

Вьются, вьются под фонарем белые оводы,  
Не то пляшут, не то срываются в бегство отчаянно.  
С пятого класса знаем, что причины сражений и поводы —  
Разные. Они разные не случайно.  
Сколько скрытых мотивов поведения, тщательно таимых,  
Как причудливы извивы чувств и в радости, и в позоре!  
Тень Федора Михайловича реет даже в Токио, даже в небе Рима,  
Словно разнесли инфекцию звездчатые снежинки-инфузории.  
Но мы, не правда ли, устойчивы и податливы, как наши рябины, как ивы!

И такими должны быть, друг, наши сыновья и дочери.  
*«Бурмин побледнел и бросился к ее ногам»* — как счастливо!  
Гений человечности светит нам сквозь снега и строчки!

\* \*  
\*

Иногда, не часто, но невольно долго  
И подробно вспоминаю Галю Воскресенскую из нашего седьмого «а»,  
Как бледнела нездоровой кожей пористой и, понукаемая долгом,  
Трепетала на уроке: ничего пересказать, бедняжка, почему-то не могла.

И литература, и история в каких-то заколдованных картинках,  
Молчаливо-замкнутых, являлись как во сне;  
Репликами объяснялась, пышнотелая, высокий переросток, в крапинку косынка,  
Тапочки спортивные; стесняясь, прижималась к двери и к стене.

С жадной завистью, когда однажды с ней за партой оказались рядом,  
Наблюдала удивленными глазами, полными кромешной пустоты,  
Как чернила лиловеют, заполняются мои листки, косым ловила взглядом  
Удлиненные слова знакомые — о, как выстраиваются в разумные ряды?

Брови подняты, молящая улыбка: «Речь, что ты такое?  
Я не знаю, как слепой не знает, что такое цвет».  
Все печальное на свете — наглухо немое,  
Все счастливое — в звучанье претворенный свет!

Вот идет понуро, вижу, девочка большая; словно осы  
Толпы слов над нею вьются, надоедливо жужжа;  
Как жестоко жалят, знаете, молчащие вопросы?  
Как болит, догадываетесь, отсутствующая душа?

\* \*  
\*

Вас смущают в стихах и коробят слова «милый», «нежный»,  
Вы отдали их под расписку Фету в кабинете с табличкой «XIX век»;  
Как бы современность более предпочитает мужество, нежели  
Мягкость и чувствительность; другой теперь человек.  
Новые обстоятельства и забавы, заботы.  
Что же, разве я не вижу? Телефонный звонок  
Заменил почтовую речь, появились банкноты,  
Изменились потребности; бегунок  
Вчера оформляла, увольняясь с работы...

Так. Но сама любовь и ее сестра — боязнь,  
Страх потерять самое дорогое, жизненно важное в чем-то лице,  
Но сирень, сирень, сквозь забор просунувшаяся бузина, скромный ясень —  
Они-то те же? Такие же, не правда ли, — что в конце  
Нынешнего века, что века минувшего в начале?  
Эту связь охраняем сердцем, трепещущим, я знаю, с утра.  
Скажите, пожалуйста, тот, кто растолкал локтями — вы замечали? —  
Конкурентов и принят затем на ура,  
Никак ведь не избавится от ненасытной печали,  
И слава не радует, и мнительность — словно июльская мошкара.

А поэт берет высоту незаметно-тихо,  
Не как конкистадор — как естествоиспытатель, осматривающий первый раз  
Местность пытливо, или, если хотите, как портниха,  
Труженица-вышивальщица, не пожалевшая глаз.  
И вот тут-то для этого подвига как нельзя более пригодится  
Всегда та же — в голосе каждого, кто на этой высоте побывал! —  
Бескорыстная нежность, как глоток освежающей водицы  
Среди сухих эдельвейсов, как бокал  
Золотого вина, как перо синей птицы  
Для ищущего, застрявшее между скал.

---

---

# ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

НИКОЛАЙ ОДОЕВ (Н. Г. НИКИШИН)

\*

## РАССКАЗЫ

*Еще одна неизвестная фамилия: Николай Одоев (в жизни — Николай Георгиевич Никишин), русский прозаик 70-х— начала 80-х годов. Нигде никогда не публиковавшийся. Умер весной 1984 года в возрасте сорока восьми лет. В раннем детстве остался без матери. Рос без присмотра. Голодал. Отец пришел с фронта контуженным и алкоголиком. В семнадцать лет попал в лагерь за воровство.*

*Подростками в холодные и голодные послевоенные зимы занимались ребята с их двора пилить и колоть дрова по соседству. Часть их они уносили — когда для себя, когда на продажу. На этом и попались. Суд был еще сталинский, хотели ему дать, как рассказывал Никишин, двадцать лет, но он взмолился: «Граждане судьбы! Мне самому от роду только семнадцать, а вы хотите мне дать срок больше, чем я живу на свете...» Смилостивились — дали ровно столько же: семнадцать лет. Но это был уже 1953 год. Годы через два Никишина освободили по амнистии.*

*Он родился в деревне под Одоевом, маленьким районным городком Тульской области, оттуда его родители перебрались на заработки в Москву вслед за семьей его матери. Семья эта была велика и предприимчива, а ее глава (рано овдовевшая бабка Катя) стала впоследствии одной из колоритнейших фигур Никишинских рассказов. Отец с матерью до войны поселились в доме на Садовой, где Никишин вырос, а все многочисленное семейство бабки Кати — в Марьиной роще, где уже вскорости (как напишет он в рассказе «Пыльные стекла») «старая бабка Катя содержала воровскую малину; сестры — барыги и проститутки — имели по трое детей, и все они были родными только по материнской линии». Отец, Георгий Матвеевич, под собственным его именем прошел через Никишинские почти документальные рассказы — от возвращения с войны до непрямого больничной кончины.*

*Никишин не выдумывал сюжетов. Он окунался в воспоминания, извлекая сгустки, слепки отцеженных памятью впечатлений. Это был скорее всего устный сказ, который он мог оттачивать до удивительной образности и афористичности, но написать это на бумаге он смог не сразу. Ему не хватало (отчаянно не хватало) образования. Да что там говорить: сначала он был просто-напросто малограмотен, чтобы заниматься литературой. Надо было учиться. После лагеря пошел в вечернюю школу. Здесь он встретил молодую учительницу русского языка и литературы Нину Шереметьеву, которая впоследствии стала его женой.*

*Читал он много и жадно. Из советских прозаиков ему были близки А. Платонов, В. Шукшин, В. Максимов, Ю. Казаков.*

*В своей жизни Никишин перепробовал всякие профессии и работы: был токарем, мастером производственного обучения, лаборантом в одном из московских технических вузов, администратором Москонцерта, директором студенческого клуба на Стрмынке, редактором цирковых номеров (после того как с великим скрипом окончил заочно Педагогический институт имени Н. К. Крупской).*

*Неблагоприятная наследственность, которая досталась ему от семьи и от которой было куда не деться, в сочетании с теми губительными для здоровья психическими и физическими перегрузками, которыми прошла по нему тюрьма, сделали из Никишина очень больного человека, хотя его муки были не только физические. Это были и муки сознания, беспомощности перед недееспособностью памяти, воли, воображения, власти*

*над собой, муки, закончившиеся остановкой сердца (кто знает, не собственной ли волей вызванной).*

*Борьба с раздвоенностью — между миром своих персонажей, в котором он вырос, и тем миром духа, где он ощущал себя художником, — очевидно, и побудила его взять псевдоним Одоев, который поднимал его в высокую, авторски-отстраненную сферу, и оставить настоящую фамилию — Никишин — там, откуда вышли он сам, его родня и его персонажи.*

*Написал Одоев, в сущности, очень мало: двенадцать больших рассказов. Вот два из них...*

Валентин GERMAN.

## Кривой сук

— **Н**у не гад?.. — со странным недоумением некоторой недостоверности, сокрушенно пересчитав новенькие хрустящие рубли, поданные ему кассиршей, покачал Володька головой и ловко разметал их веером в руке, словно добрый прикуп при полном наборе на вечернем «мальчишнике», и, обращаясь не к кому-то и не к конкретному какому человеку, а так, в пространство, произнес и хрипло и обещающе. — Ну гад же, а?!..

Володька выдохнул, и взгляд его поплыл по кругу стен, роняя по пути отчаянье и злость. Ни за кого и ни за что не уцепившись, глаза его набухли и замерли обидой.

— Куда ж мне их теперь? Куда?.. — как-то вдруг на неожиданно высокой ноте сорвался он в нехороший крик и стал навязчиво показывать всем зарплату и тыркать в каждого настойчиво и грубо растопыренными бумажками. Уже не замечая как, не удержавшись где-то, бросился он в истерику со всхлипываниями и жалкой беспомощностью, требуя определенного отношения к себе и к случаю особому, требуя, чтоб все смотрели в его сторону и видели б, прониклись бы по-настоящему горестной минутой этой, отреагировали б как-то на вопиющую несправедливость человеческого участием, и внутренне зверея тут же от неосторожного движения души, равнодушной и сострадания не ведающей к тому, что у другого человека, может, по самой середине сердца красной полосой идет и жизнь решает, может...

Володька дергал очередь за руки и локти, по-свойски обнимал всех за плечи и прижимался к ним, что друг развязный на попойке мирной, и заглядывал в глаза всем искренне — с ищущей надеждой на некое чудо. И никак не успокаивался он, не отходил все; а люди отворачивались от Володьки, отводили в сторону глаза свои от его небритого обиженного лица, как-то убежденные Володькой, как-то понимающие его, но все-таки равнодушные к случившемуся, где не только одна Володькина правда была, и жалость их мешалась с откровенной неприязнью к нему. Они поглядывали на Володьку недоверчиво, недовольные им: за смущенный покой свой, за двойственность чувства своей понятной и непонятной доброты к нему, за грязь, за мат и за такую вот разную жизнь.

— Да этих-то бумажек мне теперь и... вытереться не хватит! — дурным голосом завопил Володька на весь зал и кухню; и из подсобного помещения на крик выбрался наружу кладовщик и встал, держась за спину деревянных перил, глядя равнодушно, еще не понимая даже, со скучающим любопытством ко всякому постороннему шуму.

А Володька все разорялся и разорялся, торопя и множа и без того уже многочисленные неприятности свои.

— По рублю ведь!.. — яростно припечатывал Володька зарплату к жирной, отливающей синью нержавеющей стали крышке супового бачка, а теплый маслянистый дух варева отпрянул в сторону под размашистой ладонью Володьки, бессмысленно отсчитывающей непонятную бухгалтерию: — Вот!.. Вот!.. Вот!..

— Ничего! — просто и строго оборвала его Сухая Тоня. — На две бутылки тебе как раз хватит, а на завтра.. коробки пустые по двору пособираешь, в макулатуру сдашь — похмелишься, даст Бог!

Володьке было не до нее сейчас, не до Сухой этой, язвы тощей: той, видно, все — ничто, а у него до этой получки разнесчастной одного только долга срочного на восемь рублей было и по проездному всего четыре дня ездить

осталось, а ему и на руки-то выдали... — на смех не хватит! — всего-то девять рублей на руки и получил Володька. А он рассчитывал на них, на эти деньги, опять же как-никак надеялся на них. И что теперь он скажет матери своей и как в глаза ее посмотрит без стыда, когда на этот раз, на эту вот получку... За что плясал? А только мысли у Володьки на нее с утра были и надежные и светлые, и он их ерундой обычной туманить не намеревался... Терпенье не колодец — за ним с ведром ходить: устала даже мать. Уже в ее заботе — она сама, одна, а он, Володька, уже то — есть, то — нет... А это как-никак — тогда один уже без скидок будешь...

Домой Володька шел трезвый и не столько случившимся обиженный, как был сосредоточен на выпавшей ему неопределенности, которая его над случаем этим приподняла. Возвышенный какой-то шел Володька, неземной. Куда-то плыл задумчиво (в даль простоты и ясности ответа) и каждое мгновение был готов впитать в себя возникшую гармонию его. Как космонавт в невесомости, плыл Володька, на край тротуара, что от проезжей части улицу бордюром отделяет, как на веревочку спасительную поглядывал. Товарищи Володьку на маленькую звали, да только не пошел Володька и отказался с легкостью, без сердца отказался: был трезвым день, ждал вечера, получки, а после того, что в неприглядности своей ему преподнесли, и расхотелось даже, не нужно вроде стало, ни к чему... И вроде как онемел Володька от обиды, как опустел, и тяжесть из головы его ушла куда-то: не пил, а маеты — как нет!

Володьке ли не знать, что ненадолго это перемирие у них с самим собою и что, конечно, тяжким будет конец сердечного их разговора: еще и больше и не решенных с толком, и не продуманных опять до дна вопросов и обид накатит на него тяжелой каменюкой. Но он любил, когда вот так-то выходило и получалось у него затишье просветленное — пусть вынужденное, случайное какое перемирие.

Завидовал Володька таким, которые могли, всегда умели и могли вот так-то плыть куда-то, не торопясь, без суеты, истерики ненужной в себя заглядывая и по душевным полочкам своим — кого куда. что взять для портмоне, а что забыть скорей... И глупое «хочу!», думал Володька, совсем не липло к ним, а всё — нужда (хорошая нужда!), и потому и случай обходит их. И потому-то, думал Володька, уверенность, согласие с собою, с другими, с миром не покидало таких, и верил он, что именно вот так и происходит у других (ну... не таких, как он). И искренне считал всегда Володька, что Божий свет можно поделить спокойненько на тех, кому понятно, просто в этой жизни, кто знал, зачем и почему в ней все устроено, и на других, которым, как и ему, все карты кто-то в ней перемешал (и многих даже нет уже совсем в колоде! «литерки», может,— все, а «рамки» точно нет!).

Шел Володька и думал. Может, и не думал вовсе, а вдаль глядел куда-то, и этой далью был он сам, Володька. И все никак ему не удавалось, никаких сил не доставало, никаких диоптрий дополнительных не хватало ему разглядеть те четкие границы собственного добра и зла. И если б только удалось это ему, думал Володька (хоть когда-нибудь, хоть на секундочку, на мгновение что ни на есть самое махонькое), разглядеть это в себе и понять, согласие и порядок вошли бы в его сердце рука об руку, в мысли бы его, постоянные и тягучие, и жизнь засветилась бы для Володьки и смыслом и счастьем несказанным. И как просто и понятно было бы идти тогда по ней и на труд и на лишения всяческие. Володька по-другому себя и не помышлял и даже рад был вынести чего-то стоящее в ней, за что не стыдно будет потом в глаза смотреть и о себе подумать: хоть подвиг, хоть хулу, чтоб видели, чтоб знали, чтоб — запросто к нему с бедой, виной, вином, чтоб сразу, вдруг — как все! И сколько радости тогда, и долгожданной и заслуженной (по праву — все и я!), думал Володька, его окружит, и пойдет он с песней, с усталостью почетной, с улыбкой доброй, трезвый, и не будет тогда справедливой и беспощадней никого, чем он, большой и гордый человек Володька, ко всякой подлости и нечисти, которую пока еще не всю прибрали по углам и на которую Володькин глаз-то — ох уж как он здорово наметан: за жизнь его, за все, что было с ним!..

И когда Володька думал о себе так, взгляд его становился пристальным и отрешенным от суеты и досадных мелочей, что любую жизнь до самых верхних краев переполняют; независимым и гордым застывал Володька у ближайшего фонарного столба, прижигал «Дымок» из мятой и замызганной пачки, поправлял

тогда Володька на путаной голове своей такую же замызганную кепку и застегивал зачем-то верхнюю пуговицу несвежего ворота куртки.

И действительно! Где виноват, там виноват — что делать? А сейчас-то — что? Сейчас-то!.. За что его так несправедливо и нехорошо? А ни за что, ведь главное, — ни за какой такой!..

На каком повороте обошла его жизнь, Володька не то чтоб не задумывался — не разобрался толком. Устал Володька каждый раз сначала перебирать события да обиды, о которых и сам-то уже давно думал с неприязнью, а знал он только, на других-то глядя, что это — так, и где он сам прокинулся, где бортанули его круто, сам черт теперь, наверно, не скоро разберет. И жизнь идет... А разберет, так тоже: с той маши — не ему... А почему? Тут у Володьки сразу плечо к виску уйдет, и так стоит, немой: ни «да», ни «нет» не скажет, глаза глядят — не видят, как дунул кто на них из января... И решил тогда для себя Володька, что нет, наверно, какого-то смысла ему как-то особенно в жизни рыпаться и — без толку, как-то уж очень особенно, поскольку еще ни с одного зачина дорогах у Володьки никак гладкой не выходила. И в зле своем положил себе Володька: как если и приспичит ему как-то поступить не так, чтоб жить, опять же, не совсем уж скучно было, так чтобы результат его не дальше вытрезвителя кончался, или — крайний случай — какой аферы немудрящей себе позволить можно, что за предел не выдается явно. Большой Закон не тронуть, так... вроде той, что они с шофером Лаврентьевым из макулатуры каждый день химичат. Ну и в добре своем положил себе Володька поступки, чтоб и попривычнее ему и также обществу знакомому чтоб понятней были, вроде полочки, на углу в пельменной разбазаренной, или — язык нетерпеливый куда подальше чтоб сам собой скорехонько запрятывался, когда «пошел ты!..» где ни то в дороге встренется ему. «Так правды не сыскать, — думает Володька. — То — страшно! То — зачем? То — вдруг и сам — туда: не столько отстоишь, как назовешь кого-то... Герой моржовый! И сам же виноват и этим и другим!..»

А чтоб в красивой жизни показать себя и с выдержкой, и, чем уж там Бог выделил тебя, воспользоваться с толком — и себе и людям в радость, — так их сосед сегодня, Сергей Иванович, так высказал Таисии Петровне про Володьку.

Сергей Иванович тогда перед собой даже руки от волнения наизнанку вывернул и даже назад вроде по паркету от неожиданности съехал, словно перед ним из-под земли столб прямо в кухне вырос и на него валится (а Сергей Иванович чего только не повидал в жизни, и такой оборот для него нелеп явно). Сергей Иванович и свою обиду на Володьку не держал, а говорил прямо и полагал, что Таисия Петровна с ним согласна будет. «И что ж это за такое, — выговаривал с возмущением Сергей Иванович, — что, мол, другой человек на способность свою красивую, как на корову дойную, глядит, а уж решает, видно, по уму жизнь, — расходится пуще Сергей Иванович, — коль если молока с нее сегодня нет, так и кормить ее не надо! А что душа у парня в пасынках давно и без внимания осталась, в упор не видит за обидою Володька: все на других ссылается да няньки ждет и ходит по свету — тоской нездешней мается, как будто дырку в зубках проморгал, за щечку держится от грусти, Алена опечаленная...»

Таисия Петровна, мать Володьки, с Сергей Ивановичем по форме не согласилась, а содержание Володьке передала и от себя про водку лишь добавила и коллективом пригрозила, как дружба не пройдет у этих двух — Володьки и вина. От матери Володька, как всегда, отмахнулся (своя, не так задело), а с объяснениями к соседу приготовился.

Не в первый раз Володьке с соседом «дебаты за жизнь водить»: какая-то несовместимость порядка жизни их Володьку зудила и на занятие такое подначивала постоянно. И разговор их поначалу добрый был, приветливый, а кончился он опять бестолково для Володьки: опять они с соседом общей правды не сыскали и в принципах на жизнь, на место в ней не сговорились и разошлись сердито.

По самому началу уж как все добро выходило, и Володька, чтобы беседу не вспугнуть, таким внимательным представился. Прилежным простачком сидел и с полчаса на каждом слове соглашался с Сергей Ивановичем и на укоры в свою сторону обычным криком не реагировал, пока еще в уме держал, что сам на этот разговор набился — никто его сюда не гнал и за язык не трогал. В другую душу за советом — ну как не простачком? — когда пришел понять, а не себя показывать. И не такси она, душа чужая, — за отоваренную трешницу валандаться

со всяким и всякие «ля-ля» без проку разводить. Пришел — так слушай, мотай на ус, какое у людей на этот счет мнение сложилось за прожитую жизнь. Твоих таких там, хочешь, две уляжется, а то и вовсе три.

Сергей Иванович Володьки не чурался и не обходил его, пока Володьку на сдержанность хватало. Они степенно отобедали в столовой при клееночке, «гостинец» по фужерам разбросали и не спеша курили у окошка. Обласканное сердце у Володьки навстречу к соседу двинулось, довольное отношением к себе и на себя сегодня не нарадуясь. Как в парке на качелях, разговор у них завязывался, покуда сам уже не потек: они — для пробы — с вопроса на ответ долго переминались, о чем-то «вообще» поговорили и, также мирно, на частности соседские точку зрения обозначили, не лукавя, пока в задоре не сшиблись на Володьке и между ними черной кошкой категоричность не прошла и не поделила их на стороны.

— Вот ты, Володь,— Сергей Иванович кивнул в сторону бутылки и, покрутив фужерчиком в руках, пренебрежительно отставил его подальше,— чего ж ты, милый, по «милосердной» столько ударяешь?..

Молчал Володька, ждал конца, а Сергей Иванович, как кончить фразу, не нашелся сразу, и прежний довод, сказанный не раз, не убеждал уже, и, заскучав, с досадой, Сергей Иванович решительно dokonчил, что, если б столько глупых костылей всобачил в шпалу б ты... к примеру...— ты б человеком был.

Володька поводит досадливо плечами, сердито бровками подрыгал, посопел значительно, как если б он в себе решительность компрессором накапливал, и, губки в нетерпеливую усмешечку сложив, ушел от аргумента, не обидчивый пока еще — до нормы своей.

— Ну что за жизнь! Ну как бы разговор ни завели, Сергей Иванович, а ваше поколение одно и то же дует: костыль да шпалы... Так если б каждый на костыль собачился, у вас бы крыша точно протекла! — вот так ему тогда сказал Володька.

— Чини хоть крышу,— усмехнулся Сергей Иванович.— Туда же... Каждый... И далеко не каждый, как ты себя,— Сергей Иванович по лбу себя похлопал,— в своем чулане глупом впотымах-то шарит!

И что только ни наговорено было им тогда в Володькину сторону. То ли накипело у Сергей Ивановича на Володьку, а то ли он свое что вспомнил, но только будь здоров, как расчихвостил он его за беспутную жизнь, за мать, за дармоедство Володькино, за лень. Сергей Иванович безжалостно откладывал Володькины добродетели, пока у того под ложечкой не опустело вовсе и комната до безлюдной степи без горизонта не раздвинулась. И все по первое число к Володьке возвращалось. Не просто, как Володька думал о себе (нехорошо!), а так, как для других оно понятно было: не так, как он,— как все вокруг считали. И что, мол, туняедец он, Володька, иначе даже не назвать его сейчас. Опять же: и трус он, мол, порядочный, коль скоро он к таким годам один находится и ни детьми, ни делом стоящим не обзавелся. И что в рванине он и матери передник не купит с денег. И что хоть он, мол, и большой уже, Володька, а все одно пока еще «философ» он сопливый, если за мечтой ему его дороги правильной не видно. И что таким володькам всю жизнь должны, а сам-то он по принципу телка живет: «Поставят в стойле, и — стоят! И впрямь обрадовались случаю живут — и с губ слюну роняют»

Этих слов Володька давно ждал, они ему в новинку не были (по неизбежности он их стерпеть и мог). А вот «дурак!» задело Володьку больше всего, встреченное им от Сергей Ивановича на похвальбу его «талантами особенными», которым место здесь и от которых Сергей Иванович с досадой даже отмахнулся. Со всем-то остальным Володька в душе и сам согласен был. Считал лишь почему-то, что, во-первых, не в этом совсем дело, и не так просто все, считал он во-вторых. А за особенность свою, не так задетую (а далеко не каждый так любит музыку и даже служит ей, как он,— считал Володька), обиделся он так скоро, словно из-под него стул удобный выпихнули, словно только и дожидался Володька от собеседника «солдатской причины», чтоб снова за обидой отсидеться, а для обиды возвышенное хобби — самый лучший козырь..

— Вот если ты, Володя,— сказал Сергей Иванович, когда они от спора хрипнуть стали,— за особенность удачную в себя от жизни прячешься, то ведь и она без твердой грамоты — чудинка только... И за нее, наверное, лишь только слабый может спрятаться... Еще — лентяй!.. И никого он этим не обманет!. Без

гордости, без самолюбия ты живешь. Тебя, дружок, совсем не жизнь — тебя обида кормит...

И загрустил от сказанного Сергей Иванович, поскольку «за чужую жизнь» разговор — не самое сложное дело. И от слов до перемены — иногда вся жизнь проходит. Другой только со временем и заметит, в какую сторону у стрелки ход, а пока-то они ему все день да день показывают! И Володька загрустил недовольно, по принципу «вам хорошо! вам лет-то сколько!...». А сам и в выдержке своей засомневался (так все и ждать?), да и привычное свое он пожалел (другому, значит, — «здрасьте!»).

Перемены, в Володькином представлении, не всю систему жизни переиначивали, а прежде всего (и только даже) — всю систему прежних отношений, которая у него почему-то со «здравствуй!» старому приятелю начиналась. А иначе, считал Володька, он предатель будет новой жизни, и разницы тогда не будет никакой... И чтобы примирить свое томление с тем, что есть, а также и оправдать себя за свое желание, представились Володьке неведомо откуда блага какие-то, которые всю краску поменяют за окном, и все тогда понятно будет, и он тогда подбил беседу «принципиальной» фразой, которой много лет он как пустышкой пользовался и которая подходила к беседе так же плотно, как горбатый к стенке.

— Не в деньгах счастье только! — сказал Володька веско, на что еще раз и получил «дурак!» незамедлительно.

Таланты Володькины были по-своему особенные и по знакомой ему округе всем хорошо известны. Кто к ним, талантам, относится серьезно, а кто — насмешливо, а кто и с откровенной издевкой, если человек из них себе пользы стоящей сработать не сумел. Но ведь и сам-то Володька из своего таланта смешной анекдот делает: картошку грузят (только успевай под мешок плечи подставлять), а Володька застынет вдруг истуканом бесчувственным, и то — только потому, что по первой программе какую-то симфонию в рабочее время «за хвост тянут». Да он еще и комментировать ее тут же примется на тарабарском наречии своем (и где только нахватался он премудрости замысловатой, словно девка из «ящика», что «Музыкальный киоск» ведет). И все ведь при выражении на лице, будто варенье сладкое Володька у бабушки своей на язык пробует, да еще и фамилиями нездешними, как из книжки, сыплет.

— Моцарт... Сороковая... — мечтательно начнет он. — Вторая у них всегда чуть-чуть вперед лезет... — И головой Володька из стороны в сторону покачает, как на ниточке привязанный, и в неземном блаженстве под самые веки глаза запрячет, как при рыжике отменном на свадьбе к водке...

— Баранская твоя рожа! — хлестнет по нему шофер-другой. — Тут еще и налево скатать надо, а он канарейкой стал и хвост сраный распустил, павлин неправильный!..

И тоже все с показом и, конечно, в одно место еще Володьку подденут крепко, чем насмешат всех вдоволь, и Володьку, кстати сказать, не обидят очень-то; опомнится Володька, оторвется от музыки, что от светлого, и опять как ни в чем не бывало за работу примется, будто и не с ним случай...

Как уж там случилось, что Володька не закончил не только музыкального училища, а и школы какой-нито завалившей по этому делу — все, в общем-то, просто и незамысловато было по тому военному времени. Не та забота тогда перво-наперво к себе вниманья требовала, и виноватых если и искать старательно, то и найти непросто, да и бесполезно вовсе: война ударной волной не один сук на дереве в другую сторону развернула, и не одна ветка теперь к солнышку через весь ствол тянется... Что было, то было — этого уже никуда не денешь. И никуда не денешься от этого: мешок несет Володька, и вот-вот плечи его сойдутся вместе, а когда-то и другие друзья и другие подружки были... И тут уж, наверно, не только фриц причиной... Но что — друзья, что — подружки, когда время чего хочешь перетрет жерновом и только сны оставит: каков вопрос, таков он и ответ, наверно, думает Володька...

И только мать свою Володьке жалко очень, и любит он ее, жалеет, и рядом с ней как будто поспокойней, посдержанней становится, а с годами и этот интерес к ней как будто тише делается... А годы к матери уже давно десятками плюсоются, и кто кому теперь в помощниках записан?... Да как на люди вынесет Володьку, опять все прахом у него идет: и не конфликт — так снова случай

скорбный, и не судьба — так где-то сильный на него находится, и, как назло, все по его, все по Володькину душу почему-то... Ну и за что ему, директору, черту неуклюжему, вот так-то обойтись с Володькой? Ну и за что, спросить его!.. Он-то, Володька, с него, кажись, себе не требовал ни разу ничего — и никаких особенных побряжек, и ни внимания... Путевки ведь в местком не попросил даже и выполняет все, что ни потребуют; и так ведь работа у него — куда пошлют, за всех; и так ведь — неси больше, тащи дальше... Никто ему, Володьке, во всем, конечно, этом не виноват, да; но и сам-то он чем виноват, что по любому поводу из него, Володьки, обязательно виноватого сделают...

Мать, правда, рассказывала Володьке, что его отец был тоже не ахти какой везучий в жизни: одну битву и выиграл что за Москву, погиб он где-то у Дубосекова. А так не очень-то удачлив был в делах. Володьке соображения хватает с ней не согласиться, но он особенно и не спорит с ней, а греется под огоньком семейной славы, и думает тогда он о себе получше и даже верит, что не все еще потеряно и для него. И верит тогда Володька, что и ему еще представится случай, и он сумеет показать себя и сделать также что-то и для нее, для матери, хорошего и — много, и пусть ей в жизни и полегче будет и получше... И тогда Володька кого-то, больше себя виноватого, клянет, будто молитву шепчет, и на весь вечер замолчит тогда, до утра следующего. С пластинками если еще и повозится нелюдимо, и затихнет, грустный.

Отец Володьки в школе до войны преподавал, в начальных классах, и все с детьми возился. Не застал его Володька, не успел. И прежде Таисия Петровна, когда Володьке чаще недосуг было ее слушать, им с сестрой его Наташкой много чего интересного порассказала о нем. А на сегодня она — так считал Володька — отца с соседом на примерах разменяла, и единая правда от этого совсем запуталась у Володьки. Он, может, и правда хороший и нужный человек, сосед Сергей Иванович, но он-то жив и за Москву не умер (еще умрет ли — почему-то думал Володька), ну а отца-то — нет! И его-то дети, Сергей Ивановича, на Володьку иначе и не глядят как только затаив дыхание: того гляди в ноздрю засунут палец, чтоб не дыхнуть... Не совмещалось это у Володьки и никакой доступной ясностью не умещалось в голове, и тут себе Володька и боль найти сумел и оправданье. «А правда где-то есть...» — думал Володька...

Да и самому Володьке уже впору и отцом давно быть, и жизнью озаботиться на все дни вперед, и семьей, и работой, и величать его по возрасту уже пристало по-другому... «Так суть-то разве только в том, чтобы детей иметь и место?» — думал Володька.

Когда-то и Володька понял, что умником назваться легче, чем понять что-то, а суть — она и в детях и в месте тоже, а только жизнь все его из общего потока вредной струей выбьет, швырнет к кустам по берегу — он и барахтается там, по уши перемазанный. А где, на чем устал, где порастратился, где растерялся он — не поймет. «На обидах, что ли, изошел весь?» — думает о себе Володька...

Обидчивым Володька был и впрямь без меры и уже понял даже, что глупо так-то, а не унять себя (что — кто-то? мать — и ту в обидах числит)...

Мать у Володьки до войны с отцом работала и там же, в школе, музыку преподавала. Пришла война. Отец в шинели на фронт протопал, а у Таисии Петровны работы меньше стало, а на руках Наташка и Володька (тот вовсе народился только). Пошла в уборщицы к начальнику какому-то, что со снабжением связан: и с домом рядом, и с детьми, и думала — перепадет чего от начальника-то... Туда-сюда: война концом никак не свяжется. Мужа уже не вернуть больше. Перешла в гардеробщицы там же, и музыка воспоминаниями да разговорами в ней осталась. Ну, детям, конечно, кое-что перепадало от прежней профессии Таисии Петровны: где объяснит, где скажет что, к вниманью приучила и привила любовь, а от беды их не сумела отвернуть. Наташка — вербованной — по Дальнему Востоку уже пятнадцать лет места меняет, а этот — тоже (вся слава, что в Москве) по жизни мается: кем только не работал за жизнь-то. Сейчас вот он рабочим при столовой. Был грузчиком, еще чего-то делал: все ни уму, ни сердцу, ни денег, ни почета. Устал, говорит, мама... Ну устал так устал, — живи!..

Сама Таисия Петровна не только жить — дышать устала, хотя сейчас (совсем тем временам не в пример)-и грех на что пожаловаться: с квартирами давно уже полегче и с хлебом тоже хорошо — и только ль с хлебом? И молодое поколение

— живут красиво; здоровое, веселое. Все с книжкой больше... о машинах мысли... Кому б когда мечталось?

— И хорошо-то как! — вздохнет Таисия Петровна, поутру с балкона на жизнь глядя. — И хорошо и добро... и так бы вот под солнышком и просидела б...

Вчера Володька с вечера с соседом «за высокую матерью» накалялся, и по телевизору опять какой-то фильм «за совесть» прокрутили, и прикипел Володька, задержался дома. А не к добру все это, думается Таисии Петровне, уж лучше б больше выпил, покричал бы, пошумел — с утра молчит, а он с полочки совсем другой бывает... «Нет, что-то не к добру!» — решает про себя Таисия Петровна и забывается на солнышке.

— Ты не к добру шумишь! — одернула Володьку Сухая Тоня. — Домой пошел бы!..

— Что мне домой, если я трезвый! — огрызается Володька.

— Потому и иди! — говорит ему Сухая Тоня. — И не лезь ты к ним, Володь, не лезь — не поймут они тебя! Не поймут!.. — И кого-то она, словно мух рукой, отгоняет от себя.

— Да что меня понимать! — опять кричит Володька, и выдирает костлявые руки из карманов штанов пыльных, и тянет их вопрошающе к Сухой Тоне, и пальцы свои грязные во все стороны настезь растопыривает.

— Черт длинный! — обижается на него Сухая Тоня. — Ему добра люди желают... Уж выпей лучше, чем орать, верблюдов безрогий!

— Какой я верблюд?! — кричит Володька. — Тому всего хватает в зоопарке. Он неделю может не пить только!..

— А ты не жрешь уже три, осел нерасторопный! — кричит на него Сухая Тоня из-за кассы, из-за столов раздаточных.

Николай Лаврентьев, шофер (из-за него Володьке в этот раз зарплату срезали), как только Сухая Тоня намекнула ему, что пропустил Володька стакан и за второй, наверно, сейчас примется, пролез к нему в сарайчик, где Володька макулатуру собранную держит и где остывает он, если не таскает чего по двору или кухне, с бумагой бросовой если не возится. Володька из обертки себе доход сварганил. Картон, бумажки всякие, какие только к учреждению их прибываются, Володька режет и в тесные тюки укладывает, и на лаврентьевской машине они их и свезут. Всегда бутылка есть, а то и больше, и не корят Володьку — за чистый двор.

Володька не успел еще и морды подobaющей состряпать, как Лаврентьев сам ему: Володя да Володя, все понимаю я, и не со зла, мол, мы — по-глупому такая нескладуха — придумаем чего... Зайду к тебе после обеда — потолкуем: я твой должник теперь («те-де», «так-так») и снова это ж).

Действительно, пришел Лаврентьев после обеда, и не один пришел — с бутылкой заявился. Володька был хорош уже, и Николай Лаврентьев задумался: отдать бутылку сейчас Володьке или после как-нибудь ее принести; но потом все же решил, что хрен один — что сейчас, что потом: потом только возни больше будет, на трезвую его голову. Дела-т — так и не сделали и к тому ж еще Володьку постороннего загробили, а как еще Володька по-трезвому посмотрит, и как еще оно все обернуться может, и хорошо, что так-то обошлось... С такого оборота того гляди и сам по ней, поллитре, вдарить, и тогда до гаража в форме не добраться, а это уж — как на войне! — далеко за пределы лаврентьевского понимания жизни выходило. Лаврентьев пробурчал что-то напоследок кладовщику, они поговорили что-то, посекретничали, вскочил Лаврентьев в свой «уазик» и был таков. По подворотне с такой лихостью прогарцевал, словно от бомбежки по оврагу дул от встречных до сторожей — только что не по стенке со двора выпрыгнул.

Вовремя тогда Лаврентьев от беды отвернул: Володька пропустил еще стакан и лез по лестнице к директору, только что зубами за перила не хватаясь, и клял их подряд — и Лаврентьева, и директора, и кладовщика, — и все это таким слогом, что повыворачивавшая на своем веку столовская прислуга глаза от изумленья выворачивала, но в чем дело, что хотел сказать Володька, не разобрал никто, как будто нецензурной телеграммой Володька тараторил, без запятых. А у директорских дверей Володька вдруг осел, забормотал что-то про себя уже, совсем уже неразборчиво, и захрипел не по-хорошему, не спяну...

Разобрались потом по работе: нашлось кому и сказать, и заступиться кому нашлось, и кладовщик исчез куда-то (тетка там ядерная какая-то на его месте, и ничего вроде тетка, нет у ней осложнений, и люди на нее не жалуются), и директор Володьке в больницу подарки от месткома передавал с электриком. Но Володька ни о чем разговаривать с ним не захотел: все пугался чего-то и от греха подальше за врачей да белую простынь прятался. Из вытрезвителя-то Володьку в больницу для сердечников отправили: инфаркт у него был, два месяца с постели не вставал да столько ж с палкой после.

Володька, еще как только с матерью ему разрешили поговорить, продиктовал ей письмо в обзхэс о случае на работе и о том, как шофер Лаврентьев с кладовщиком налево товар возят, и что когда директор захватил их как-то, то те сказали ему, что ящик с бельгийским маслом Володька, мол, пьяный дурак, поставил по ошибке, что не соображает он, что в руках несет, что, мол, так допился, что сторон света уже не различает, и сколько ему ни говори: «Смотри, что тащишь!» — он все равно не слушает. И что в тот день он, диктовал Володька, а Таисия Петровна все кивала ему вслед, действительно много выпил, но не настолько, чтобы красть, и что директор за это самое Володьку не только премии лишил, но и некоторые дни, в которые Володька замечен был, как нерабочие ему поставил. И что самому Володьке директор высказаться не дает, не слушает его и никаких объяснений от него не принимает, а он, Володька, в этом деле с маслом не замешан...

Таисия Петровна письмо под Володькину диктовку написала, но, прежде чем передать куда-то, к Сухой Тоне подошла и ей показала. Сухая Тоня ходить куда-либо ей категорически отсоветовала, а Володьке Таисия Петровна передала, что разбираются, где надо, с его письмом. И про себя Таисия Петровна, кто прав, кто виноват, не решила и письмо его дома оставила. Володька поправлялся и все расспрашивал мать про работу, про письмо, а Таисия Петровна отговаривалась от него, шутила и настоятельно просила Володьку поменять место и уйти с этой работы, хотя бы на завод. На что она неизменно получала «дуру» от Володьки и подробные разъяснения от него в том, что, прежде чем уйти, надо уволиться, а если уволится человек, то куда он может отнести больничный лист, если прикован к кровати, и разумная Таисия Петровна — пока еще не бухгалтерия, чтобы рассчитывать кого и деньги выдавать...

Когда Володьку в поликлинике выписывали на работу, то к пожеланию всех благ прибавили совет, чтоб там, на работе, по его состоянию здоровья хорошо бы что-нибудь полегче подыскать, на что Володька и ответил им:

— Куда ж полегче... И так не бей лежачего: неси — побольше, тащи — подальше!..

И к вечеру уже Володька заглянул в свою организацию и повидал там всех, поговорил со всеми, и директор без какого-либо предубеждения с ним разговаривал, и так же место его за ним свободным оставалось, и Володька засовестился, расстучался кулаком по столу, требуя от Таисии Петровны вразумительного ответа по поводу своего письма.

— Куда ты отнесла письмо? — строго спрашивал Володька у матери.

— Куда надо, — отвечала Таисия Петровна и только губы в ответ поджимала.

— И что тебе там ответили? — допрашивал ее Володька.

— А ничего! — пожимала плечами Таисия Петровна и еще сильнее губы поджимала.

— А может, ты его не относила, а? — с надеждой спрашивал у нее Володька.

— Может, не относила! — отвечала Таисия Петровна, но теперь уже в тон Володьке.

— Ну нет, так нет! — вздыхал Володька с облегчением и продолжал телевизор разглядывать.

— Как — нет?... — покачав головой, огорошила Володьку Таисия Петровна. — Не будешь мне зарплату приносить — и отнесу тогда!..

— Неси! — не то что спокойно, а очумевши как-то усмехнулся Володька и даже обиделся сильно. — Там все про них!

— Там разберутся, — сказала строго Таисия Петровна, — про кого!.. И разберутся очень!..

И на балкон вышла, и долго там с цветами она возилась и переставляла что-то с места на место, пока не затихла, пригретая солнцем, тихим субботним утром.

А Володька глядел сперва какую-то длинную детскую передачу, не смешную совсем и неинтересную сказку; потом долго была какая-то говорильня, а потом — фильм, но глядел он его невнимательно: глаза его часто останавливались и смотрели сквозь мертвую зыбь экрана и опять куда-то вдаль, куда-то в себя. И опять он пытался найти какой-то ответ, что казался ему немудрящим, но который никак не отыскивался для Володьки.

## Чистая дорога

К семи утра солнце зависло над Лысой горой и опрокинулось в просеку, выветив ее до самого дальнего поворота. Вдоль просеки, зажатой с обеих сторон крутыми берегами темного леса, тянулись широкие, чисто выкошенные полосы запретки, и ржавые стебли выгоревшей травы оплели по ней небольшие круглые кочки и спрятанные под мох студеные оконца болотной воды. Ряды колючей проволоки проступали на ней то четким и черным линованного листа, то исчезали совсем, и невысокий жердевой забор из ошкуренных хлыстов елей, резкой чертой поделив просеку, торопливо бежал в гору и, задержавшись на ней новой вышкой, скатывался вниз, дальше, и казался он мирным, случайно забытым здесь. Нежные струйки бесцветного пара, едва родившись у самой земли, сваривались над просекой в стеклянный купол сухого, ясного утра. И все — тайна, обманчивая реальность покоя и тишины и нервная насторожившаяся пустота.

Глаза Коржева плавилась обидой, и слезы, скатываясь по щеке, падали на ствол карабина и растекались по нему, перехватывая его тоненькими влажными колечками. И следующую вышку Коржев мог разглядеть только с одного (левого) края площадки, когда столб у навеса загоразживал от него солнце, но тогда же он загоразживал собой и часть правой стороны просеки. Тайга покорно молчала, и пышные гирлянды молочного дыма не поднимались еще над ней, торопясь и глотая друг друга и разрастаясь по сторонам дырявым белесым пологом, и реденькой пленкой жидкого тумана еще не затянуло резных теремов острых верхушек. И с черных проплешин накиданного завала не доносился пока горестный вкус потери, сладкого запаха ладана — горячей в кострах смолы. И оранжевые стволы высоких сосен дозорными выглядывали из споткнувшейся о просеку молчаливой толпы деревьев, и козырьки их общей тревожной кроны повернулись на юг, в глубь материка, а в тесных провалах сырого подножия тайга вынашивала — до времени — бессмысленную и отчаявшуюся надежду.

— До обеда продержись только, а там этот «блин» над тобой встанет пошутил кто-то из строя, — тогда и передохнешь! А с той стороны ему тебя не достать. И завтра уже не тебе этот «гроб» пухом станет.

Коржев старшине Глухову у вышки отрапортовал, карабин по команде на плечо вскинул, по уставу развернулся перед ним и полез наверх. И ничего не было сейчас: ни мыслей, ни прошлого; и то, что впереди, — как будто и есть и нет. Изъеденная белым, слинявшая синь свежего неба сверху, снизу — стеклян-ное желе фиолетового марева, живого, как в церковном окне, да рваная ширма столпившихся у просеки елок, да тягучая бронза слепящего жара, да робкий спасительный голос человеческих сомнений.

И он не готовил себе такую судьбу, не мечтал о ней. В детстве мечталось ему по-детски, наступившая за ним юность прибавила что-то свое к жизни, а следующую мечту армейская служба отложила на потом, когда, возмужавший от службы и лет, ступит он первым шагом по выбранной им, еще чистой, дороге, которая и станет его судьбой. «Что я пока значу в ней?» — спрашивал себя Коржев. Сам же и ответил тут же: «Не больше чем ангел как будто...» «А может ли ангел судить вину?» — опять спросил себя Коржев. И сам же ответил: «Нет, это ему не дано». «А прав ли тогда тот, — еще спросил себя Коржев, — кто может обязать его быть им?» И тут ответил себе он: «Нет, не прав: это право не добра...» И еще раз спросил себя Коржев: «В чем же тогда она — правда добра?» И этот ответ казался ему ясным, простым, как и вся его предыдущая жизнь до этого.

дня: «Только в добре!» «Два мира, две силы, две правды в жизни: добра и зла; и нельзя, наверное, быть сразу в двух», — рассуждал Коржев, пытаясь разглядеть сквозь влажную пленку слез притихшую запретку, которая широким проспектом бежала под солнце и круто топорщилась на горе полосатым хребтом забора и, провалившись за ней, текла дальше, продолжая делить этот мир...

— Ты на что ж, тварь, дурным козлом пялишься, если под своей мокрой ноздрей ни хрена не видишь?! — высоко снизу запричитал сверхсрок Глухов. — Разуй пошире сонное хлебало, кислая тюря!.. — И он показал Коржеву автоматом куда-то вниз, под него, под вышку. — Тебе что — одному плохо? Ты что от солнца, как холодец в печке, млеешь, сирень нетронутая!.. Пока ты в облаках ясных за мамку бредишь да сладкой соплей давишься, они же ползут! Ну, гад ползучий, паразит модный, мудрец китайский на мою шею...

Лиственный холмик под вышкой Коржева судорожно собрался в продолговатую кочку, оторвался одной стороной от земли, и звонкий, писклявый голосок рванулся оттуда отчаянной просьбой к сверхсроку, и холмик закрутился нелепо вокруг себя на одном месте, прыгая перепачканными ладошками по голове, по спине, по плечам.

— Дяденька, не надо!.. Не надо, дя-день-ка-а! — голосили снизу, но старшина Глухов, поднявшись по ступенькам лестницы и заслоняясь пальцами левой руки от солнца, правой — наотмашь, без предупредительного выстрела полоснул очередью от себя, и рвущий треск автомата слился в одно с другим: коротким, судорожным и глухим. И все, чем был переполнен сейчас старшина сверхсрочной службы Глухов, вылилось у него в эту вот очередь и невнятную, комканую фразу, что душила его невыразимой мукой и еле сдерживаемой им ненавистью к «таким».

— Да что ж ты, гад! Да что ж ты — так!.. — хрипел Глухов и торопился по лестнице, срываясь то одной, то другой подошвой с перекладины и сбивая о них костяшки то одной, то другой руки. — Тебе все равно!.. — кричал Глухов, и лицо его раскрывалось, светлело от правильно понятой мысли. — Ты можешь и так жить!..

На этой, роковой для него, очереди догнала-таки судьба Глухова. И офицеры и он с ними расставался с сожалением, и он уезжал, увозя в своем сердце недоуменную обиду на этот мир по ту и эту сторону забора, на их суд, на несправедливое мнение о нем. И почти следом, оставив казенный дом и не собравший урожай с грядок, оставив добротные сараи и клетки, сложенные Глуховым во дворе, тронулась в путь и его семья: мать, Глуховка, и молодая еще жена Тоська, и восьмилетний сын, напуганный и тихий сразу, с притянутой к глазам бровью и недоверчивый, наверное, уже ко всем.

День только-только начинался, а для Коржева ничего в нем не поменялось: смены ему не было и оцепление с участка еще не сняли. И пока командовали бригадам съем, и пересчитали всех, и заново прочесали участок, и завернутого в плащ-палатку «бегунка» повезли в зону на пустой вагонке для дров, Коржев все так и сидел и был один на один со своими мыслями, с жестоким слепящим солнцем, духотой, пустой просекой, дикой, непонятной ему бедой и вороненой сталью казенного армейского карабина.

А через час бригады впустили обратно, и тайга снова завывла изнутри, заныла надсадно электропилами, наполнилась неожиданными криками вальщиков, и она множила их тревожное «побереги-ись!», и вслед за ним срезанное дерево охало протяжно, ударяясь о землю и раскидывая крестом пушистую зелень сучьев и яркие капельки отставшей коры — последним горем, последней минутой и освобождением от всего. И в облаке бестолково летящей щепы и пыли, казалось, плывет что-то, уходит вверх, к свободе, от поруганной чести и горькой обиды за поломанную кем-то жизнь.

Долго потом тянулася обратная дорога, и каждый ее метр болью отзывался в разбухшей голове. В мозг неприятно колотил какой-то темный комок, а лицо и шея оплыли и набухли твердым. И уже вечером рядовой Коржев был определен в лазарет, а через два дня был отправлен в госпиталь, в город, и лишь через месяц он вернулся обратно в часть. А зимой Коржев снова был отправлен в госпиталь, и на этот раз пробыл он там долго и обратно уже не вернулся, а был комиссован вчистую, не прослужив и года. Не вернулся в строй и сверхсрок Глухов: его тоже «освободили от воинской службы» (судили), и память о нем в гарнизоне жила

потом долго и была она разной. Для одних — непонятной и страшной, для кого-то она — и всякой, но для этих мест и для этого рода войск — понятной.

Внутренние войска — не стройбат, не маршевая рота: сиди да гляди в оба. А то ходи и опять же гляди в оба. На пост заступи, и то — не дальше соседней вышки забот у тебя будет. И правил на эту службу не так уж много, и все «нельзя» в них — для другого, что вынести куда проще в жизни. Кого и покоробит от таких обязанностей, и не каждый офицер от нее гоголем, но только Глухов думал о таких, что это «бары», что «с жиру бесятся» такие: «Работа как работа, и разная судьба...»

— Ну чего ты с ним, как с капризной бабой, миндаль разводишь? Думаешь, он у тебя в руках сам по себе блажить будет? — учил Глухов необстрелянную молодежь на строевых занятиях. — Он от твоей трясушки еще скорей по человеку влепит, а на тебе и уже лица нет!.. А ты возьми да не думай, не мучайся понапрасну... Забудь о нем, как про пальцы свои забыл: нужно кусок к себе подтащить — вот они!.. А если что не так, не по уставу видишь, то и не им за твоей дурьей башкой спешить надо, а ей торопиться... Поскольку ума в ней еще нет и там у тебя «вольно» всякие не перебесились... — говорит Глухов, и по ломаному строю дурашливый смех катится. А Глухов перед строем — руки за ремень, шаги ниже и дальше из своего «талмуда» строчку раскручивает для них: — За тебя, круглый дурак, идиот модный, уже думали, думали да все придумали!.. Домой к матери поедешь, опять думать будешь. А на службе что от тебя, что от него, — постучал Глухов пальцами по стволу, — одно требуется: исправность, чтоб никогда осечки не было у вас... Ты ж присягу перед строем пел?! — начинает следующую часть урока старшина Глухов. — Устав помнишь? Что надо и не надо, вызубрил наконец?! Все! Давай пользу, давай службу, давай продукцию на-гора, как каждый человек!.. Ну где ты видел, — обращается Глухов к кому-нибудь понескладней, к тому, кто и так у всех улыбку вызывает, — чтоб я за свой автомат, как за крынку с полным молоком, пекся?.. Конечно, нет! На кой он мне ляд — об нем помнить без причины? А раз причину глаза видят, то руки сами у меня что надо сделают... Вот и наука вся!.. Ну! Взвод! Смирно!.. Правое плечо вперед! — командует старшина Глухов. — Шагом марш! — И сам, чуть отстав, как мужик с вожжами у нагруженной телеги, трусит, с боку на бок перекашивается, и на случайной кочке его в сторону крутит, и глаза его то дорогу, то строй щупают, и губа уже пересохла давно от крика, и сухим кулачком вверх-вниз она прыгает и приказ штампует: «Ать-два!.. Ать-два!.. Ать-два!..»

Отслужив три года во внутренних войсках, Глухов полюбил эту спокойную, понятную жизнь: гарнизоны их чаще всего небольшие и все — свои, а новый рядовой состав, опять же, все больше молодой (а по второму да третьему году они и без лишнего наряда привыкнут перед старшиной шапки ломать!) Сверхсрочников обкатанных мало и они — свои, а начальство здесь — к чему только не привыкшее и от чего только не заскучавшее вконец на этом свете, а значит, что и главным в этом «обществе» — опять же он. Так что по нему, Глухову, лучше, чем эта жизнь, — не надо. И власть у него тут большая, и кормежка для него понятная, и такая служба характеру его подходит: сердце его она нетерпением да обидой не берет.

И переезды опять же не так чтоб и часты: года три, четыре, а то и все шесть на одном месте отрубил и все по привычной тропе оттопаешь, пока с тайгой пилы не сладят. И воинские сортировки да комплектовки всякие только в последнюю очередь для Глухова: «кадры» он, основа, несущее крепко под такой крышей. Домики для них собидали удобные, на две семьи, и под боком у него то лейтенант, а то майор окажется. А на свой двор к дому у старшины Глухова свои руки есть: и корову он держит, и поросятки у него «хрупают», и для любой птицы — чего хошь вдоволь, и для мягких кроликов огрызки из столовой остаются. И на свежее молочко, на свежее мясо охотников везде много, а посему и копейка в кармане не на счет, и не уважить его — вздумай!.. А по ягоды, по грибы сходишь, то и на стол к ужину, и зимой сладко... А чему и случиться вдруг, так и до города довезешь, или бухгалтерия в общий котел примет, и все одно недаром человек жил, недаром его труд.

И чего-чего, а скучать тут и совсем некогда: кино — то в гарнизон, то в зону везут, а киномеханик на эти точки один, так что другой раз и лень даже. В самом гарнизоне того и гляди произойдет что: то «москаль» забалуяют и до крови

раздерутся, а то и с бабой какой «альянс» выйдет. Ну а про зону, так про них и говорить нечего: там что ни день — буза или история смешная...

И то, что такой жизни с едой и покоем конца не будет, старшина Глухов еще на политзанятиях усвоил. И предложение о сверхсрочной службе его обрадовало. И решил про себя еще тогда Глухов, что судьба его отныне вся решена, и решена хорошо, счастливо... Почти что сразу и женился он на местной

Девка Глухову попалась стоящая: молода, здорова, и с норовом она, и себя знает. От колхоза да матери тут же открестилась и даже глазом не моргнула, как выбор лег. А на самого Глухова Тоська, бывало, и не нарадуется никак, и никакой даже пустячной обиде не даст пролететь с ним рядом — не то чтоб сесть куда. И по солдатам молоденьким она не шастала. И не всякая командирша с Тоськой связаться отважится. И офицеры Глухову не выговаривали за нее (гусь свинье не пара!), и посмеивались только беззлобно над ним, как над соседним мужиком с чужинкой. А портить отношения с ним для них и вовсе проку не было: когда в наряде Глухов, весь комсостав хоть в баню отводи и пиво с сушкой пей...

Тоська-то сначала денежки в носок припрятывала (на что про что — непонятно): сам Глухов эту жизнь менять не собирался и думал, что ему ее на весь век хватит, а может даже, что и ребенку перепадет что с нее. Водку пил, но за столом больше любил поесть много да на других посмотреть, а уж в отпуске Глухов за все возьмет: и Крым и Кавказ по километру обежит, и не столько к морю там липнет, как с выходной рубахой не расстается. И как увидела Тоська ярких людей, так и она поняла жизнь, и вклад их теперь только до поезда и терпит, а домой Глухов без помощника, без носильщика не доходит. И если раньше Тоська сильно к нему липла с разной мечтой (то город ей, то Москву даже подай), то как в отпуске побыла раз, как увидела она, чего рубль в другой-то лавке стоит, за эти два дня под морской волной — ухватив за оглоблю, мечту свою поперек дороги вывернула.

Да и какого ж черта хотеть больше, чем здесь, когда жизнь стоящая и так хорошо слажена, что не только двумя, а и третьей подошвой в песок влита, если карабин к ноге по стойке «смирно» приложить. Утром за старшого, за начальника конвоя, по местам наряд раскидать (каждый — рапорт, каждый — честь, каждый — «слушаюсь!»). Бригады хмуриков да жмуриков — по счету на струганую дощечку грифелем в столбик и на гвоздик в шалаш до съема. Теперь — дыши, ягоду — в рот, встречному — «эй!», примечай да поглядывай... Вечером опять по дощечке — оттуда, по дощечке — туда, руку к козырьку бросил и — через правое плечо — домой.

Кого каждый день перед собой видишь, с тем не сегодня-завтра нос к носу встретишься: не дела, так разговоры общие найдутся, и на твоих часах — день, и на его — день... И Глухову «куда как интереснее» с кем-нибудь из бригады поговорить (попугайствовать маленько да на себя при постороннем в зеркало посмотреться), чем с первогодком другим. Да и с офицерами Глухову ненамного веселей здесь: и жизнь эта и служба эта — что солдату, что офицеру — только по необходимости хороша, до отставки, до демобилизации отсюда. Им же по ночам не зона, не море в отпуске, а тесный троллейбус снится: они все жить только после собираются. А у него, Глухова, что «после» может быть? Старость?.. А до нее ему почти полвека будет, и на такой срок ни один нормальный не заглядывается, если жизнь у него — ходом. И «кой смысл в том видят» — по сто раз на день жизнь горбом вспучивать, когда в какую сторону ни плюнь, а первый шаг у людей на чистую дорогу падает, пустую, и какой у нее конец — один Бог знает, и далеко не каждая до счастья добегают.

Тем, за забором, еще понятно, что без этого расчета не обойтись, а другим-то лучше и по-другому: чем раньше увидел себя, тем раньше и сомненья тебя трясти бросят. Кто ладошку грибиком в чужой подол тыкал, тот хорошо знает, как часто в нее кладут. И помнит, что чем тяжелей в руке, тем меньше лежит денежка — медная она, значит. И нет здесь больше дураков, чтоб не понять схему, что до десяти лет не человек еще пыль по двору крутит, а сучонок маранный; а что после десяти ему жизнь всучит, надо запомнить раз и обнести стеной крепкой (надо — на, а мне — увольте!); а на двадцатый год себя узнать пора: курица ты али птица разная, рыба ты (значит, глаз стеклянный) либо уже кумекаешь «мозгой», где вольный хлеб ищут, и за все прошлое свое возьмешь с лихвой у солнца.

Глухов до армии и так и эдак жил, а чаще всего плохо. Мать привезла его из Средней Азии большим уже в Москву, и шла еще война, а с самого ее начала он школу бросил, так как ни на одном месте они с матерью долго не задерживались. А до эвакуации Глухов всего четыре класса кончил, еще в деревне, под Воронежем. В Москве ему за партой со шпаной сопливой сидеть вышло и еще терпеть от них всякое. К станку прибился — так скука его замотала, хоть волком вой (жми — дырка!). И в строй с большой опаской Глухов встал, а понапрасну: в армии ему наконец-то везти стало.

Не кончилась она в этих местах (известная определенность) и в пятьдесят третьем, а кончилась она к пятьдесят шестому только, когда не столько по газетам, как по новым людям увидели, что возле дома тоже можно крикнуть, как в лесу: «Да ну вас к черту всех!.. Я жить хочу!..» И по прежней, буквальной, мерке лишь такие чудачки, как Глухов, жили. И это раньше было, что за проволочкой руку не кинь резко, а то забор свалят из страха, что забьешь. А тут у них — и смех и грех! — преступник — не преступник: рот до ушей, чуть что — обидчив, грозиться стал, ждать завтра... И хотя смерть в зоне гостя частая (на месяц раз всегда придется: то убежит — не добежит, то поздно к врачу с «мастыркой» сунется, когда уже заражение за колено лезет, то обопьется чем, то самосуд по иным, «идейным», соображениям устроят), и все привыкли к ней, что к разводу утром, но привычка-то только у того и не свербит, в ком она натурой обернется; и старшину Глухова только на третий день на гауптвахту посадили.

Новый офицер по режиму еще думал, как все это по начальству представить можно будет, и его убедили обождать немного с оформлением бумаг, но когда с охоты вернулся Соковиков, начальник санчасти, и прочел протокол вскрытия, и убедился в том, что каждая из трех пуль, выпущенных Глуховым, могла явиться прямой причиной смерти заключенного, то Глухов был взят под стражу. И зона гудела свое об этом, но не очень винила охрану, а винила ее вообще, как винила всегда, если и была и если не было у ней на то причин. Винила она также и Глухова, который в таких делах всегда был первой затычкой. И как начальство ни беспокоилось, но ни шума, ни взрыва не произошло, и зона притихла, замерла, туго соображая что-то тяжелой, невыспавшейся головой.

А ерунда началась в гарнизоне, и была она уж никак не похожа на то, что могла предполагать воинская служба: гражданская какая-то ерунда, вроде странной забастовки. Пока Глухов сидел на гауптвахте, солдаты один за другим отказались выступить на пост по его охране. И первые же разыскания, наложенные командиром, потеряли всяческий смысл, пока не догадались они приставить к дверям старшего сержанта Крюкова, тоже сверхсрочника и товарища Глухова, старшего моториста передвижной электростанции. И предварительное дознание и рапорт оформили тогда быстро, и на вызванной из города дрезине их и отправили вдвоем.

До города было сто сорок километров, и на старенькой дрезине этот путь занял четыре часа. И за эти четыре часа и начальство, и солдаты, и зона были обруганы Глуховым вдоль и поперек. Глухов правильно говорил, что он им не флюгер и не проститутка какая, чтобы, даже не моргнув глазом, он мог поменять свои прежние привычки в зависимости от погоды. А также и то, что смотреть на жизнь надо всем «в корень», и правда всегда должна заступаться за «соображение пользы», которой не кто иной, а он и есть первый солдат. Он говорил также, что и тюрьма и штрафбат его сейчас не так волнуют, как то, что он будет делать после, где теперь будет жить, что станет с его женой, куда отсюда денется его мать и на какие такие шиши она отправит ребенка в школу и куда, и где теперь гарантия того, что и для Глухова в этой жизни снова выйдет еще солнце и можно будет не думать «за каждый хлеб»...

Старший сержант Крюков, бывший фронтовик и человек еще не старый, но и он похолодел внутри, когда ему открылась вся дальнейшая «перспектива» жизни семьи Глухова.

— Может, еще ничего... — сказал Крюков.

— Теперь ничего... Теперь все там осталось, — безнадежно махнул в сторону ОЛПа сверхсрок Глухов, — все там теперь!..

Старший сержант Крюков подтянул к коленям офицерскую планшетку с бумагами на Глухова, закинул поплотней карабин за спину, и показалась ему эта

дорога, путь этот — с Глуховым — не помощью дружеской, как казалось ему и дома и в доме у Глухова, когда с женой его говорил, а стыдным, несправедливым нарядом, «ни за что — про что»: будто из прежней боевой единицы он в услужливых дневальных оказался...

Попрощался в городе Крюков с Глуховым просто, обычно и даже руку сунул на прощанье, но глаза в сторону виновато отводил и все кивал только, соглашаясь. А сказать ему было нечего, и ничего не сказать — плохо... А что Глухову сказать можно, когда офицер в комендатуре помрачнел тут же, посмотрев бумаги на Глухова, и тут же конвой крикнул, и Крюкова тоже без внимания не оставил, хотя уж чья-чья, а его-то тут, может, только двадцать пятая сторона.

— Вы что ж, вашу мать, там,— заворчал офицер и во рту зубами железку какую-то жевать принялся,— голову, что ль, потеряли, что не остынете все никак?..

Василий Андреевич Крюков смолчал тогда, да и никто не спрашивал с него ответа, а по дороге домой казалось ему, что лес впереди не расступается перед дрезиной, а только щель узкую приоткрывает чуть: будто трещинка в тайге перед ним бежит, а позади она тут же захлопывается сразу, и в темной стенке ее не разглядеть даже... Машинист какую-то байку дует, а Василий Андреевич свою думу думает.

«Мне все одно, конечно, где силы свои положить,— думает старший сержант Крюков.— Что в лесу этом, что в город сбежать. Я случайный совсем здесь... Я механик только, и моя жизнь у машин тянется... И за эту жизнь не ответчик я. Я свое вчера, на войне, ответил и чего хошь теперь с нее заслужил. Мне теперь, где хочу, ногой ступить можно и о себе думать, мне что за дело есть за каждый гвоздь в жизни?... Глухов пороху не нюхал,— стал оправдываться чего-то Василий Андреевич.— Ему и не понять, что всякого человека любить можно и с чужой беды хлеб никому не задастся... А если судьба захочет — кого хошь достанет!.. И ее, прорву, никакой шапкой не закидать!.. Даже дрезиной этой тоже порезать можно, если на дорогу вдруг прыгнут — что тут поделывать... Может, и так... может, и так все...— думает сержант Крюков.— А может, и не так!.. Вот, сука нескладная, завел всех»,— вспомнил он Глухова.

И совсем уже расхотелось Крюкову и жалеть и понимать Глухова, да к тому же и обиделся он на него за свою сумятицу и глядел теперь по сторонам с досадой, и мысли его прыгали сейчас по времени: то совсем в прошлое шли (и там для него земного цвета было много), то тоже в прошлое (и по нему дым горький стлался), то в то, что вчера еще тут было, а то и совсем непонятно, что в голову ему шло...

«Ну и чего-эт им безвоенная жизнь неймется, что их сюда пачками со всех мест везут,— думал Крюков о тех, кто за забором ходит.— И матери у них, наверное, есть... А у Глухова что — матери нет! Или его в школу не пускали? — вдруг подумал он со злобой.— А этому чего неймется? Кто Глухову не дал в школу ходить и мать уважать? Да черт его знает, кого куда тянет... Кто идет, того и ведет, видно... Да уж так, наверно...— начал успокаиваться Крюков.— Кто идет, того и ведет...»

Так и приехал Крюков обратно в гарнизон: то ли понял что за дорогу, то ли совсем голову от этих дум потерял, совсем ее заморочил. Шел к начальству тяжело, как прощтрафившийся, шел, по сторонам кивал встречным, но не остановился даже, на своем да на глуховском доме задержался ненадолго взглядом, увидел жену, кивнул и ей и пошел дальше. Дежурному доложил о прибытии, сдал карабин и расписку и ушел к себе на станцию.

На станции было пусто, тихо: помощник, бесконвойный, дремал над книжкой. Крюков по стрелкам приборов глянул, подержал ладонь на кожухе мотора, послушал и расстегнул ремень.

— Что не домой? — спросил его помощник.

— А что — там лучше, что ли?..

— Да дома все ж...

Василий Андреевич сидел за столом без пояса, и тер ладонью сухой лоб, и лез пальцами в уголки глаз у переносицы, и давил на них с силой, и чем сильнее давил, тем легче становилось: боль и темные круги в глазах защищали от думы, заслоняли ее, и после нее в голове пусто было, хорошо, а потом снова надвигалась другая боль: что-то такое от усталости и непонятности. Василий Андреевич

залез в свой ящик для инструментов и вытащил оттуда поллитровку, понес ее к столу и стакан к себе сдвинул.

— Ты додежурь, а я к утру приду,— буркнул он помощнику.— А где ж приставленный с тобой?

— Поужинать пошел.

Крюков из стола кусок вяленой рыбы вынул, стукнул ею о стол и ровно, медленно вылил стакан в себя.

Легче стало сразу (маету в нем отключили будто), и поползла по нему тягучая, сладкая патока хмеля.

— Хрен редьки не слаще! — махнул рукой Крюков.

— Ты о чем, Василий Андреевич?

— Да ни о чем. Как родишься однажды в мякине, так она за тобой всю жизнь и тащится... Четыре года пушки над ушами хлопали, а пыль с ушей так и не стряхнули!

— Да о чем ты, Василий Андреевич?..

— Да ни о чем. О Глухове я говорю: кому жизнь с народом, а кому ягоды с него...

Помощник посмотрел только на него, не понимая, и плечами пожал:

— А чего ты за них маешься? Каждому — свой крест выбрали. Что в городе, лучше скажи...

— А кто его видал? Я тут же и обратно,— сказал Крюков.— Сдал этого и сюда.

— А что там он?..

— Да ничего! Не понял он,— громко сказал Крюков и — как освободился от чего-то.— И не поймет никогда!

— А ты об этом, Василь Андреич, почему знаешь? Ему своя жизнь важна...

— А кому она не важна?.. За нее — всяк, и от нее — всяк, а иначе ты не человек с колганом, а ключ с дыркой!..

— Всей правды только, Василь Андреич, я тебе прямо скажу, что никому не одолеть... Это я тебе точно скажу....

— Точно только, что натасканной собаке другую не разуместь!

Получился у Крюкова ответ, и — будто даже не от водки — ему легче стало. И говорил он громко, сердясь, с напором и не заметил, что в дверях и жена его встала, и солдат конвойный, что к машине приставлен был. И то ли не слышал он их, то ли они сами его молча слушали, а только, когда увидел Крюков жену, встретился с ней глазами, взяла она его за рукав и потянула к себе.

— Пойдем, Вась!..

— Зачем зашла щас?

— Ты не идешь, а там Глуховка забегала спросить тебя.

— Иди поспи, Крюков, мне завтра не в наряд,— пожалел его солдат — А утром будешь сам...

— Ты хорошо тут посмотри,— попросил Крюков бесконвойного,— чтоб было тут... как тут...

Дарья, мать Глухова, первая с расспросами пришла к Крюкову, и он от нее кое-как отговорился все же, да и нечего было ей сказать, кроме того, как найти да спросить где, а жене Глухова и того меньше внимания уделил Крюков «Мать знает. Сказал... Нет!.. Не знаю... Не видал больше.» И она ушла от него расстроенная и решительная совсем.

И пока сидел Глухов под следствием, и до того дня, как уезжать им совсем отсюда, не то чтоб сторонились, а избегали их люди. Тоська могла бы и остаться здесь, но Глуховка, скорая хоть на руку, хоть на ногу, сорвалась с обиды, а самой Тоське стало скучно: не стара, одна, а солдат — не мужик ей, и молод еще, и глуп для жизни, еще как следует всего не разобрал, и ей не пара будет. А на забор этот что-то враз глядеть расхотелось. Другой он какой-то для нее стал темный, чужой будто, будто там государство иностранное расположилось, и это только кажется сейчас, что люди тамошние русский язык кумекают.

С Глуховкой делились недолго, и — страшно потом не только Тоське было, но и всем, кто рядом жил. И офицеры тут же, за столом, заставили их поладить и расписать, что кому, до последнего гвоздя, до последнего шага их...

А что — кому? Деньги, белье и вещи Тоська себе взяла. А скотину, утварь и шкаф со стульями Глуховке достался. И все: дом казенный, земля тоже... Ребенка

Тоська с собой хотела забрать, но тот от бабушки ни в какую не отлипал, и Тоська плюнула на это и укатила одна. Глуховка в городе распродала все, дождалась там, пока сыну срок определят, и подалась с внуком на родину, в Воронеж. Без всякой надежды на жизнь, только с гонором, обидой да упрямством. В поездах, по привычке, — руку; на вокзале — к базару дорогу спросит; если не выпросит кусок места, то криком себе возьмет. Так и добрались они туда: пыльные, худые, задержанные все и в себя, как в окоп, запрятанные...

В сорок четвертом в Москву добралась она так же: эвакуировали их в одно место, а она потянулась в другое, нигде не застряла и добралась с ним до южных городов. Походила по ним вольно, потаскали ее там то за бродяжничество, то за спекуляцию, попала на воровстве, и если б милиция не отбила, то может, и не жила б... А из милиции ей опять удалось сбежать, и путь ее лег на север, в Москву. И в Москве — дворником в каменном старинном доме, в отдельной комнате; и молода, и о себе еще не забыла. Сын в школу ходил, но учился плохо: и переросток он, и слушаться не любил, и то, что ему учительница скажет, не поймет никак. А дома он был капризен, ленив, вороват, и Глуховка его не любила. А когда он подрос, то и бояться стала — не как все: пить не пьет, жрать любит; что попадет к нему — не выщарапашь, увидит — стянет; мужика, почти любого, он боится, а на девке своей отыгрывается. Ни он к людям, ни они к нему. То вдруг с работой повезло, да с характером не совладать...

И самой Глуховке Москва что грецкий орех: и сладко внутри, да сверху крепкий. Комфорт ей их безразличен почти, а на дворника, на грязную бабу, отыщи чистого; и замуж ее не берут — кого самой хочется, а от колченогих, от сирых ее с души воротит. А на себя зимой с ломом — и она б не глянула. И возненавидела Глуховка Москву лютой ненавистью за свои неудачи. И так же сильно возненавидела, как и ту, бродяжью, свою жизнь, что до нее была, и в армию к сыну, когда он на сверхсрочную остался да расписал ей все, уехала без печали, на авось!

А у сына-то вовсе и не «авось», а полная «авоська» жизни вышла: дом казенный, за землю, за что хочешь — не платить (армия!); хозяйство — хочешь веди, хочешь не веди совсем: так накормят; утром: надо — встань, а то и проболой дня три; что ни надень — краля (солдат не фифа и не чудак в шляпе)... А то, что Глуховка когда-то бабой родилась, она в себе злостью выжгла, и ей теперь к мужику не так приткнуться хочется, как проткнуть его чем от брезгливости, от неприятия — ушел стыд...

В камере Глухов не один сидит, с ним еще трое. И ребята далекие от него, молодые, он считает — из другого теста сделаны: двое первогодков (по матери, видно, соскучились, еще не поняли всех «нельзя» и «можно», если целую неделю из самоволки не возвращались), а третий — порезался с кем-то из-за ерунды, а сам дикий — с Кавказа будет... «Сырец», в общем-то, все: ни люди, ни солдаты будут... Глухов на «своих» и «чужих» всех людей как-то просто поделил. Глядит и видит: это свой — крепкий мужик, а вот этот — нет, согля еще, полуфабрикат только. Кто в форме, тот для него опять же — свой и лучше, а тем, кто под гражданской одежкой прячется, Глухов только с третьего раза верит: непонятные, тайные какие-то люди; неизвестно, что главное-то для них...

— Ты штатских любишь? — спрашивает Глухов у конвойного. — А я к ним, как к лошади... Вроде хочешь — хомут одень, хочешь — плуг к ней пристегни, а хочешь — так на луг выгони, пусть травку жрет... А в глаза поглядишь ей, либо она на тебя мордой скокнется, и — хоть ты застрелись тут же: слушаться тебя слушается, а только твое — твое, а ее все равно — другое!.. Насмерть забьешь, а в глазах ее все равно другой мир стынет. Сквозь другого штатского — пройти можно вместе с ружьем, а ему — хоть бы хны, — сдает Глухов позиции.

— Они чуют много, — говорит сержант. — Им очень цвет важен. С крыши прыгнуть не заставишь, а крылья ему — дай, хочется!..

Не то что Глухов его, а и сам сержант того не понял, что хотел сказать он: о каких цветах, о каких крыльях вел речь, — но только какую-то верность, что и он и Глухов понимали, выразил.

— За забор к тебе придут, — подхватывает за ним Глухов, — и как опять на землю спустятся. А только шаг от ворот сделают, и ему веры нет: ты думаешь — туда надо, а он возьмет и по-другому сделает... И вроде ясно все, — в глаза сержанту Глухов заглядывает, — все, понимаешь: лес, небо, бабы с работы идут...

народ, что ли, жизнь, понимаешь?! И ты человек ему, и он теперь человек. И жрать еще ой-ой как хочется, раз сквозь штаны его сраку видно... Но что ему ни скажи, а будто ветра слушается или... за лучом снова ушел... Потопает от тебя, и как будто кино крутят!.. Не то зависть тебя берет, не то злость обидная душит.

— Чего? — переспросил сержант (он отвлекся и о чем-то своем задумался).

— Много думают они о себе, — сказал Глухов.

— Все много думают, — сказал сержант и, отвернув рукав гимнастерки, на часы глянул. — Ого! — сказал сержант. — Пора тебе... По домам пойдем! — крикнул он остальным. — По камерам, ребята!..

Сначала Глухов чуть ли не день и ночь спал на нарах, а потом бросил его сон. Ни на месте, ни не в своей тарелке он здесь себя не чувствовал: все та же, обычная для него жизнь, где все за тебя решили либо решат, а ты только во времени следуешь да места меняешь, а сам все такой же. Непривычным на тебя не давят и в другую, чужую, воду не спускают пока.

Тоська зашла к нему только раз, и говорила она с ним плохо, не как жена: не все ему сказала, что знала, что думала, что делать собиралась. И после ее ухода передачу он получил через сержанта: чуть ли не целый чемодан передала она с ним, в котором — во что ни ткни — городское, только что здесь, в городе, купленное, словно откупалась она за что-то, и ни прощения для него, ни надежды тут, а будто положенное только спихнула с воза... И отношение жены не удивило Глухова и не обидело сильно, кроме того разве, что могла бы, сука, сказать и прояснить картину мужу, раз раньше знаешь, что его ждет. А то все: «Паша! Паша!..» — и головой качает да ерунду всякую на себя напускает: вроде ей жалко кого-то больше, чем себя; как будто Глухов не долг свой выполнил, а «дырявому бегунку» позволил жизнь и счастье ей поломать... И конечно же, только об ее жизни здесь речь, а о матери его и об нем самом — не ее печаль будет. «Там говорят, там говорят!» — передразнил он ее.

— Что там говорят, тебе неизвестно, дура! — сказал Глухов вслух, и ему крикнули снизу:

— Что там говорят, Глухов?

— А тебе чего?.. — сказал Глухов в стенку.

— Ты громче ему, — подначил кто-то другой. — С одного раза Глухов только приказ слышит. Смотри, как: «Что там говорят, Глухов?!»

— Дурак ты! — сказал Глухов вниз.

— После суда, Глухов, и ты станешь умный! — опять ему сказал тот же голос

— Я-то буду! — крикнул Глухов. — А ты как был дурак, так им и останешься!

Солдат внизу поворчал-поворчал, но все равно не сдержался:

— Уж меня-то, будь спок, умный Глухов, рано или поздно, а все одно домой пустят. Я как приехал сюда, так и уеду отсюда... А уж тебе-то, пустомеля, попортят они шкурку, чтоб ты поумнел малость либо уж совсем дураком заделался — безобидным. Там тебе казенный инвентарь сменять: ружье на кайло...

— Я везде проживу! — опять крикнул Глухов.

— Живи. Кто тебе не дает? — усмехнулись внизу — Можно подумать, что кто-то тебе мешает...

— Какой ты солдат? — сказал Глухов. — Что с тобой говорить? Салага ты и есть, настоящая салага, если кого-то из них понимаешь больше, чем товарища своего. По оружию еще, — добавил Глухов.

— Вот тебе, Глухов, действительно тамбовский волк только товарищ Тебя на воле только в наморднике водить: ты ж на людей кидаешься!

— Нужна мне твоя воля, — в сердцах сказал Глухов

— А ты не переживай, — еще раз зацепили его снизу — Тебя туда теперь не возьмут. Кому ты там со своим автоматом нужен?..

«Нужен... — подумал Глухов. — Уж на что про что, а только верно, что с автоматом мне полегче жить. Тоже мне чудачки: без кнута ходят, а удивляются, что овцы их затолкали... Одному — это надо, а другому. — пусть по-другому будет.. Чего ж устав им вот так дался? — думал Глухов. — Разве устав хоть кого определяет?.. Устав распределить может: кому что делать можно, а кому что — и нельзя. Только... не нравится он тебе, отслужи и катись с Богом! Ходи, думай с утра до вечера, где хлеба взять, на что жить дальше, поди в театре посиди вместо ужина, попей чай — с книжкой... Проживешь без устава, черт с тобой, скатертью тебе дорога... до порога сюда... Им, салагам, кажется, что в уставе дело, вот где

зло нашли... А для устава такие, как они, обуза только: его ж шпынять замучаешься,— подумал он со злобой о тех, кто внизу.— За каждого Глухов думай, за каждого Глухов помни, за каждого проследи, а они будут себе спокойненько жить под ручку и рот до ушей друг в дружку щерить, глазки масляные, Исусики Христосики умильные, к каждому горбатому пню добрые... Ишь ты, черт его раздери, Коржев от духоты с рельсов соскочил!.. А чего ж тогда он, Глухов, с ним не тронулся? Или ему не жарко? Или ему — не так же, как ему... — попробовал о чем-то подумать Глухов.— В конце концов, ты дело делаешь — так делай! Это тебе не завод, не станок; это он от тебя никуда не убежит, от него б и тебя самого кто спрятал,— вспомнилась Глухову работа в цеху.— Придумали себе чуть что — мастера «посылать» и думают, что везде так... Что тебе там не нравится, черт с тобой, а здесь не спрашивают никого, кому не нравится. Здесь — служба. Пришел — выполни. Уйдешь — тебе видней, где лучше, и без тебя всегда найдутся и на ту, да и на эту сторону забора... Ничего себе,— думал Глухов,— у солдат до забастовки дошло, а они ушами хлопают...»

Запутались мысли Глухова, как только он подошел к тому, что на просеке случилось. Ну никак он не мог пробиться сквозь этот случай: ни правдой, ни кривдой; и что мешало, он не знал. Что вокруг — ему ясно, с того, другого, бока — тоже понятно. На «надо» или «не надо» тоже ответ как ответ...

«Конечно же, его, «бегунка», можно было бы и руками словить, да этот пень, на вышке, не службу несет, а глазки никак не промоет до седых волос... А Глухов вокруг бегай да смотри, как бы не утопили они тебя в своих добрых соплях. А двое-трое полезут, так и гарнизона ведь не хватит с ними в салочки играть. Как в тюрьму попадаться,— вспомнил Глухов разговор в кабинете у начальника лагеря, а также и все остальные разговоры со следователем из прокуратуры,— так не мальчик сразу — за грабеж да убийство, а случайность на него какая выпадет, так он тут же мальчиком становится... Я мальчиком был, так наравне с матерью под дождем мок у дверей разных...» Но что-то помешало Глухову закончить мысль, пустота какая-то перед ним встала, где он вроде и видел себя с протянутой рукой, а вроде и не видел вовсе: все равно ему было от воспоминаний — ни холодно, ни жарко даже, ни сладкого много там, ни горького большого, ни теплом на него оттуда, ни холодом особенным. И скорее уж что теплом, как вот здесь, на нарах...

«Ясно, что лучше не так чуть сделать надо бы... — рассуждал Глухов.— Но только разве этот ответ всю полноту случая открывает всем, коли там не только этот «неизвестный бегунок» есть, а и он, Глухов! Он-то и тогда не только сам по себе действовал!.. Да за плохую жизнь его бы и самого тут же рухнули, а он всегда только на самом лучшем счету у них. И старшину-то ни за что не дали б тоже... А что теперь?.. Ох, что ж теперь-то станется,— думал Глухов.— И не в тюрьме тут дело. Что дом, конечно, Тоська с матерью разнесут по костям, ясно: жить им там не дадут, а без его цемента им друг от дружки радости нету. Сын не там, тут пригреется все же. Не война — в детдом примут. В тюрьме, штрафбате — он все одно старшина: всегда есть кому сказать «да» и пойти сделать... А вот после нее к кому ему идти наниматься?.. Грамоты — и правда что так-сяк; погон уже нет... Что один, это куда еще ни шло... Ну и что?»

— Ну и что? — вдруг спросил себя Глухов, и опять вслух.

— Ну и что, Глухов? — снова прицепились к нему снизу.— Тебя, родной, в одиночке двести лет держать можно. Вон как тебе не скучно, Глухов: ты, как удав, сам себе вопрос подкинешь и опять в спячку. Ну так и что там, Глухов? Где? — опять они внизу засмеялись.— В тюрьме, что ль, Глухов? Так там ты и сидишь!.. Аль тебе уже зона с ножичком приснилась, что ты оправдываешься? Да не бойсь!.. Ну кому ты там нужен, скажи на милость? Я пошутил, не тронут они тебя, Глухов. Они виноватых любят, а ты им про себя не говори уж все...

Самая большая мука для Глухова — с людьми разговаривать. Иногда, правда, когда он сам выберет в собеседники кого или не зубоскал совсем, не умник, а с понятием человек попадетсЯ, то он, конечно, и поговорит; и тогда по доброй воле уж ни за что сам не отстанет, пока к нему уважение не потеряет, либо не надоест ему тот до смерти. А говорить с теми, у кого в нем почтительной заинтересованности нет или кого он сам насквозь видит, что за птица перед ним, ему тяжелый труд. Он бы и правда в двадцать раз больше согласился б здесь отбарабанить, лишь бы ему этих подпевал тут не было. «Сами-то небось,— думал про них с неуважением Глухов,— ни Богу свечка, ни черту кочерга. И пока еще

на все сгодятся!» «Если такие умные вы, так чего ж я, дурак, вами командую, а не вы мной!» — это опять Глухов в себя ушел, так и не ответив на этот раз вниз, а спорил он сейчас с теми, с кем на разборе в гарнизоне, еще там, схлестнулся.

Коржев на разборе мало что мог сказать в свое оправдание. Видели только, что он белый весь: непонятно, что с парнем, но только плохо ему. И с разбора его в санчасть увели. А до отбоя в казарме один первогодок места себе не находил и бередил всех. И не все в казарме с ним соглашались, и не все большую трагедию в этом видели, но никто потом не подтвердил командиру, как он сказал Глухову, что «так фашист, мол, только сделать может» и что «тех, кто способен на такой «героический» поступок, и не «туда», а «за туда» уж прятать надо и на цепи держать». И еще сказал солдат Глухову, что он — «дурак, дубина неотесанная и сам — как автомат, которому все одно, кто на крючок ему давит и в какую сторону мурло его поганое направлено».

Солдат от своих слов у лейтенанта не отказался, но никто больше, кроме Глухова, их не подтвердил, и лейтенант не доложил об этом. А скоро и увезли Глухова...

Глухов стал замечать последнее время, что он стал раздражать начальство своей исполнительностью. Приказ они отдадут, все, в общем, ясно, а они и не по уставу еще: «Ты, мол, смотри там, Глухов», — добавляют. А если он посмотрит выразительно на них, то: «Сам знаешь, что!..» — еще в дорожку мямлят. Чуть раньше пояснее выражались, и не помнит Глухов, чтобы за свои действия ему краснеть пришлось: за всю службу ни одного наряда у него, ни одного взыскания, а большей-то вины и отродясь не числилось за ним.

Да и привяло что-то начальство к пятьдесят шестому. Раньше-т офицер идет, один, ночь на дворе, и будто только потому земля и вертится, что он не спит и сторожит ей сон. А сейчас?.. Служить будто и служат, а мысли у них не о ней. О делах, поди, только второй, а то и третий вопрос от них будет, а «как живешь?» первым у них стал, или — «ну, что там ветер, Глухов?..».

— Что ветер, вдруг! — опять вслух крикнул Глухов, и снизу к нему опять смех пошел.

— Ну, Глухов, ты как с похмелья: из тебя вопросы что воробьи сыпятся. А отвечать-то на них ты скоро будешь, Глухов?

— Отвечать на них ты будешь, а я посмотрю, как ты справишься.

Теперь уже все смеялись, и даже Глухов. И даже Глухов понял, что он причина их веселости.

А днем его увезли в округ: следствие по его делу было закончено. Никто его не провожал. Мать об этом не знала, ее давно уже не было у него, а Тоська если бы и знала, то не пришла, и Глухов о ней не думал и не скучал совсем. А вот с офицерами из гарнизона, где пробыл он не один год, попрощаться ему хотелось очень.

— И никому не надо! — сказал Глухов с горечью провожавшему его сержанту конвоя.

— Когда им сладость, тогда и радость, — так же сокрушенно подтвердил сержант, думая, что Глухов о жене речь ведет.

— И все теперь-то к черту полетело! — махнул Глухов рукой.

— Не старый ты, еще найдешь себе, — опять, все думая, что Глухов о жене печется, успокаивал его сержант.

— Не!.. На чистой дороге много не найдешь! — покачал головой Глухов, как будто он один эту тайну знает, и глаза его перед собой будто кино, а не жизнь видят. — На чистой дороге — далеко видно...

Так со своими мыслями и влез Глухов в вагон. А сержант обратно к тюрьме шел и думал о жизни, о том, что всякое у человека может быть, и уж чего-чего, а от жены да тюрьмы не зарекайся, и, как на бабу ни надейся, да только и сам не плошай... А то заведет тебя любовь — не в ту сторону... И уж куда как умный да стоящий ты будешь, а сердцу не прикажешь тут..

---

---

## ТРИ ПОЭТА

\*

ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВА  
(1902—1949?)

### В ВЕРЕНИЦЕ РАЗОРВАННЫХ ДНЕЙ

\* \*  
\*

Он — не друг мне, не брат, не жених,  
Только странно ласков и тих.

Наклоняется смуглым лицом,  
Золотым замыкает кольцом.

И нежданно-негаданно, вдруг —  
Легким взмахом летящих рук

Я за шею его обняла,  
Целовала, любила, звала...

И пылало небо над нами —  
Золотое яркое пламя.

Но печаль его горяча, —  
Задрожало крыло у плеча...

Эта радость была недолга,  
И заря вошла в берега.

Смутно теплится память о ней  
В веренице разорванных дней.

А в груди тяжело-тяжело  
Подымается давнее зло...

19.V.<19>22.

\* \*  
\*

Кое-как до двора добрела я  
Под конец обнищалого дня.  
Чахлый пес неохотно залаял,  
Оборвавшейся цепью звеня.

В конуре заворочался глухо.  
— Много ходит тут вас, горемык!..  
Не узнал меня, видно, старуху,  
Или за день, за долгий отвык.

Ни куска, ни огня, ни ночлега!..  
Попросилась к нему в конуру.  
Ночи рваной густая телега,  
Громыхая, катилась к углу.

Стоит жизнь моя участи песьей.  
Вот, свернулась в тепле и — молчи.  
А по крыше и хлещут и косят  
Проливные, стальные бичи.

Псу заснувшему любо согреться.  
Видит он кровавые куски.  
А во мне обнажается сердце  
От сухой человеческой тоски.

Так бы вот и завить по-собачьи,  
Потихоньку над жизнью скуля...  
А телега все скачет да скачет,  
И подходит к рассвету земля...

24.VII.<19>22.

## Леший

Стукнул четко и поспешно.  
 Стал и ждет и — ни гу-гу!..  
 Этой ночью с шалым лешим  
 Я натешусь на лугу!..

Были вещие приметы...  
 Прошептала заговор.  
 Но не я ль дала обеты,  
 Опускала долу взор?

Я на парней не глядела,  
 Не водила хоровод.  
 Моего ли бела тела  
 Не испортил приворот?

Я польстилась на обманы,  
 Я не отняла руки.

— Ах, как ночью, ночью пьяной  
 Ноги быстры и легки!..

Мчимся оба кругом, кругом...  
 Заливаюсь — хохочу,  
 И лечу с немилым другом  
 Все тесней плечо к плечу.

Мчимся, мчимся в дикой пляске,  
 Стонет ломкий очерет.  
 Кто-то там, — в болотной ряске  
 Улюлюкает вослед.

В теле жаркая истома.  
 Пышет-пышет пьяный зной.  
 Любы мне и лесовому  
 Ночи светлые весной!

24.IV.<19>21

\* \*  
 \*

Когда в груди тяжелой злобы  
 Свернется мертвое кольцо,  
 И вы опять — чужие оба,  
 Ты не смотри ему в лицо.

Вражды внезапные приливы...  
 И жутко чувствуешь ты, как  
 Глаза жестоко-боязливо  
 Подстерегают каждый шаг.

И в злой борьбе не уступая,  
 Сама ты даже не поймешь,  
 Что, оскорбленная, слепая,  
 Ты прятешь за спиною нож.

Угрюмой крови глуше стук.  
 Переступить одну черту!..  
 Но резкий звон... Упали руки,  
 Метнулись руки в пустоту.

И крик короткий.. Понял, понял!  
 О, эта дрогнувшая бровь  
 И бледность поднятых ладоней!  
 Зови, зови свою любовь!

Зови в последнем иступлении.  
 Любовью горестной спеши  
 Преодолеть сопротивление  
 Вдруг отшатнувшейся души.

\* \*  
 \*

Любовь, дошедшую до крика,  
 Несем нагие из темниц,  
 Перед торжественным и диким  
 Не закрывающие лиц.

Весь долгий путь друг к другу оба  
 Враждой и мукою прошли,  
 И отчуждение и злоба  
 Меж нами нежностью легли.

И снова плоть — поющий пламень,  
 И сочетавшая тела,  
 Такими легкими руками  
 Над нами небо подняла.

АНАСТАСИЯ ГОРНУНГ  
(1897—1956)

Я ЗНАЮ, ЧТО ВО МНЕ И НА ЗЕМЛЕ

Весна

*Лёве.*

Ушел давно с померкших улиц день,  
Шаги ночная отдает земля,  
Со мной идет моя большая тень,  
Бросая свой излом на тополя.

И оттого, что всюду и везде  
Звенит вода и каждый звонок звук,  
И оттого, что ласковой звезде  
Раскрыл объятья белые урюк,

И оттого, что небо в легкой мгле  
И стала вдруг для счастья грудь тесна,  
Я знаю, что во мне и на земле  
Весна.

Апрель 1937 Ташкент

Старая Москва

I. Извозчик

Что сутулишься, понурый,  
И пролетка вся в грязи.  
Не спеши, извозчик хмурый,  
Все равно куда, вези!

Вот пустил рысцою клячу  
По булыжной мостовой,  
Ветер плачет, с ветром плачу,  
Низки тучи над Москвой

Путь наш долог, путь наш страшен,  
Жмутся улицы вокруг,  
Сколько здесь дворцов и башен,  
И часовен и лачуг

Реет черных галок стая,  
Вьется кнут, густеет мгла,  
Замирая, нарастая,  
Все гудят колокола.

Над домами над церквями  
Гаснут отсветы зари,

И горят, горят огнями  
В узких окнах алтари.

Вновь и вновь перекрестился  
Мой возница. У крыльца  
Задержал, оборотился  
Тусклым взором мертвеца.

— Эй, извозчик, знаешь, что ли,  
Этот дом и то окно? —  
Годы счастья, годы боли,  
Дальше, дальше, все равно!

Но стоит упрямо кляча,  
Ни туда и ни сюда.  
Плачет ночь, дождем маяча,  
И возницы — нет следа.

Ветер гнет сухие прутья,  
Мокрым снегом пороша.—  
Что ты ждешь у перепутья,  
Запоздалая душа?

9 марта 1939 Москва

## II. Вдовый дом

Когда ей было года два,  
 Когда весной росла трава  
 И распускались клены,  
 Ее гулять водили в сад,  
 И старый дом был встрече рад,  
 И рад был сад зеленый.

Был звонок детский голосок,  
 Был на дорожке желт песок,  
 Кружась, летали мошки,  
 Был весел смех, светла слеза,  
 А дом смотрел во все глаза,  
 Во все свои окошки.

А по дорожкам взад-вперед,  
 Подолгу стоя у ворот,  
 Спокойны и суровы,

Втроем, попарно и одни,  
 Былые вспоминая дни,  
 Гуляли чинно вдовы.

И та, древнейшая из них,  
 Чей шаг был тих и голос тих,  
 Чьи пальцы были тонки,  
 В мантилье дедовских времен  
 Садилась под столетний клен  
 На солнышке, в сторонке.

И вдаль вперяла мутный взор.  
 Ложились тени на забор,  
 День уходил за крышу, —  
 А ветер лентами чепца  
 Играл у самого лица,  
 Шептал ей нежно «Слышу!»

10 марта 1939. Москва.

## Остап

— Батько, слышишь ты все это?  
 — Слышу! — был ответ Тараса.  
 С детства этих строк горячих  
 Я без слез читать не смела.

Сколько раз вскипало сердце  
 За Остапа и за Бульбу,  
 Лезвием врезались в сердце  
 И любовь, и гнев, и жалость.

И теперь пора настала,  
 Как Остап в предсмертной пытке,  
 Вскрикнуть с горькою мольбою  
 — Отче, слышишь ты все это?!

Но молчит большая площадь,  
 Где толпятся все народы,  
 И душа в последней муке  
 Ждет еще ответа. — Слышу!

Октябрь 1937. «Лось».

\* \*  
 \*

Судить не нам, карать еще не нам,  
 Нам только пить свое, чужое горе.  
 Рассудит Тот, Кто молвил: Аз воздам!  
 Кто к ним сошел, к беспомощным рабам,  
 На скудном, на туманном Беломоре.

Судить не нам, рассудят всех века,  
 И сам Господь пошлет разящий пламень, —  
 И все-таки дрожащая рука  
 За пазухой сжимает тайный камень.

1937

Публикация Льва ГОРНУНГА.

АЛЕКСАНДР ГЛАДКОВ  
(1912—1976)

НЕ НАДО БРОНЗЫ НАМ — ПОСЕЙТЕ ТАМ ТРАВУ

\* \*  
\*

В жизни я своей дерьма  
Нюхал много всякого —  
Лишь больница и тюрьма  
Пахнут одинаково.

И встает, чуть память тронь,  
Этой — похоронной,  
Этой самой, этой — вонь  
Хлорки разведенной..

И, глаза прикроешь лишь,—  
Вихрь видений страшен:  
Кажется, что сам сидишь  
Ты на дне парашаи...

Нету разницы большой,  
Разобраться если,  
Между жопой и душой  
В этом божьем месте.

На границе райских тех  
Самых сновидений

Берегут нас тут от всех  
Детских эпидемий.

Вошь ползет — составят акт,  
Подписей наставят:  
Небывалый, дескать, факт,  
И нельзя оставить...

Не дадут тут нипочем  
Дуба дать до срока.  
Посылают за врачом,  
Чтоб лечил жестоко.

Чтобы не было казне  
Форы иль просрочки,  
Чтоб ни раньше, ни поздней  
Не дошел до точки...

В душу пальцами суют,  
В жопе что-то ищут.  
За обиду же твою  
Ни с кого не взыщут.

1949

\* \*  
\*

Мне снился сон. Уже прошли века  
И в центре площади знакомой, круглой —  
Могила неизвестного Зека:  
Меня, тебя, товарища и друга...

Мы умерли тому назад... давно.  
И сгнил наш прах в земле лесной, болотной,  
Но нам судьбой мозолистой и потной  
Бессмертье безымянное дано.

На памятник объявлен конкурс был.  
Из кожи лезли все лауреаты,  
И кто-то, зная, медаль с лицом усатым  
За бронзовую славу получил.

Нет, к черту сны!.. Бессонницу зову,  
Чтоб перебрать счет бед в молчаньи ночи.  
Забвенья нет ему. Он и велик и точен.  
Не надо бронзы нам — посеять там траву.

1952

## О ЕВГЕНИИ НИКОЛАЕВОЙ

Должен признаться с первых слов, что я не так уж много знаю о Евгении Николаевой, не упоминаемой ни в каких энциклопедиях и справочниках, кроме каталога библиотеки Тарасенкова. Ее имя всплыло в моих занятиях Черубиной де Габриак. Черубина познакомилась с нею в Екатеринодаре в самом начале 20-х годов и, видимо, привязалась к ней. Николаева входила в Птичник, кружок поэтов и непоэтов, где «каждый назывался именем какой-нибудь птицы» и в котором были Маршак, его брат Илья (впоследствии известный автор научно-художественных книг для детей М. Ильин); их сестра Лия (в будущем детская писательница Елена Ильина), Елизавета Ивановна Васильева (Черубина де Габриак), Ирица Карнаухова (будущая фольклористка и драматург) и другие.

Отношение же Евгении Николаевой к Черубине, как и остальных молодых поэтов и непоэтов, было самое почтительное. За Черубиной тянулась легенда о ее блистательном взлете в поэзии. И Е. Николаева была среди тех, кто посвящал Черубине свои стихи (у нее таких несколько).

Что же я знаю точно? Знаю, что Евгения Константиновна Николаева родилась в 1902 году в семье инженера; что считала себя литератором и жила на литературный заработок; была одинока, не замужем; писала стихи и прозу; печаталась с 1924 года, в журнале «Россия» и в альманахе «Литературная мысль»; в начале 30-х годов жила в Москве, на Арбате. Это все из анкеты члена Московского гругнома писателей, заполненной Николаевой в апреле 1934 года.

В 1927 году Евгения Николаева служила в московском издательстве «Узел», том самом, для которого В. Фаворский награвировал свою известную издательскую марку — перевитые узкой лентой карандаши и ручки, вместе с розой, в одном пучке (узел). Здесь вышел ее первый — и единственный — сборник стихотворений «Разговор с читателем». Двадцать одно стихотворение. Скромным, по нашим понятиям, тиражом — 700 экземпляров.

О чем же хотела говорить с читателем поэтесса? О любви. Только о любви и ни о чем больше! Об одиночестве. Разлуках с любимыми. Горечи разлук. Сладости встреч.

Любовь и дружба и печали...  
Читатель! Я огорчена  
Моими тайными ночами,  
Где черный чай и тишина

Уже мне заменяют друга.

Но раз так случилось, что друга в эту ночь нет рядом,— ну что ж!

Тогда, тогда — опустошеньем  
Усад и радостей моих  
Каким упругим напряженьем  
Меня приподымает стих.

И вот в три четверти шестого  
Судьбу мне весело отдать  
За этот ритм, за это слово,  
Уже идущее в тетрадь.

Во все времена это называли лирикой. Да, у нее был лирический дар. Не очень сильный, но безусловно подлинный.

Пожалуй, она жила от одной любви до другой, и вся ее жизнь, ее годы измерялись этой любовью — одной, другой, третьей... которую мы, явно снижая высоту чувства, называем привычно романами. «Я очень много могу вынести,— писала она позднее своему другу,— когда у меня полное сердце... когда меня любят и я люблю».

В московской литературной среде она свела знакомство с Виктором Шкловским, Алексеем Крученых, Николаем Харджиевым, Теодором Грицем... Последний, кстати, был одним из редакторов ее очень хорошей исторической повести для юношества (скорее, для детей), «Корабль купца Романова», изданной в «Молодой гвардии» в 1931 году,— повести из времен Степана Разина, о голландце, корабельном мастере Стрюйсе и его шестилетнем пребывании в Московии, которая увидена его глазами. Ей удавалась и проза. И она, как писала в той анкете, работала «над историческою книжкой „Бунт и бунтари XVII—XVIII в.“ для „Молодой Гвардии“» и писала «книжку рассказов». Где все это теперь? куда кануло?

Вообще, о ее жизни в 30-е годы мне известно еще меньше, чем о 20-х. У нее был туберкулез; она часто лечилась в санаториях. Наверное, продолжала писать стихи, но ее стихотворения 30-х годов я не нашел.

Дальнейшее, что я знаю о Евгении Николаевой, связано с войной. В ноябре 1941 года она эвакуировалась на Урал, в Свердловск. И очень скоро об этом пожалела. Здесь не было ни друзей, ни литературной среды, ни работы. Она ездила на уборочную в колхозы, писала частушки, подписи к плакатам («Дайте больше овощей Для супов и для борщей»). И рвалась в Москву. «Живем мы тут очень тускло,— писала она в Москву Алексею Крученых.— Поэты плохие, писатели тоже. <...> Во главе поэтов — Садофьев. Требования очень сниженные, даже страшно. Я чувствую себя, как в обмороке все время» (письмо 26—30 марта 1942 года). Но Москва была для нее закрыта, на вызов ни от кого и ниоткуда надежды не было, и она стала рваться на фронт. «Мне трудно жить в тылу, окопавшись в кустах,— писала она Крученых в марте 1942 года.— Я недавно видела „Разгром нем<ецких> войск под Москвой“, и мне так горестно и стыдно, что меня нет там! Пусть лучше смерть, чем жить тут». Ее ничто не останавливает в стремлении ехать на фронт, даже обострение туберкулеза и кровохарканье. И она добивается своего. Она на фронте. Вольнонаемная во фронтовой газете «Вперед на врага». Тут, конечно, свои тяготы. Плохое питание. Изнурительная, с утра до вечера, черновая работа в газете. Но она довольна. Она сочиняет стихотворные подписи к карикатурам, пишет стихи для газеты. «Здесь на фронте — и не только на нашем, но и на других — меня знают, и я имею успех,— сообщает она своему другу Нине Хведчень-Григорович.— Получаю от читателей письма, а когда с кем-нибудь встречаешься в новом месте, меня спрашивают: „Это Вы — Николаева“. Приятно!» Но начальству нет дела до того, что ты — писательница, раз ты не член Союза писателей» Теперь она рвется с фронта в Москву. Однако еще задерживается в газете, чтобы «собрать сборник фронтовой лирики», и ожидает весны, «боясь холода в Москве» Все сильнее она чувствует, что больна, но, встретив фронтовую любовь и одержимая патристическими чувствами, старается не замечать болезнь. Вместе с войсками, со своей редакцией она продвигается по Германии. «Война заставляет держаться на общем молодом уровне,— говорит она в письме к Крученых 17 февраля 1945-го.— Скидки на возраст нет. На марше все равны».

Сразу после войны она оказывается в Риге, где еще служит в военной газете. И потом возвращается в Москву.

Были в ее письмах военных лет настораживающие мотивы. «Я неожиданно стала из лирика сатириком»,— писала она Крученых в марте 1944 года. И о том же подруге, Хведчень-Григорович «У меня наберется сатиры и шаржей на небольшую книжку». Да, шуточные, сатирические стихи, профессиональные, но не блестящие, она писала, но лирика, видимо, ушла от нее навсегда. Перебивка войной, потеря истинной литературной среды и, главное, то неведомое, необъяснимое, что рождает лирика, она утратила. Стихотворений, равных ее строчкам 20-х годов, я, признаться, не знаю.

Не знаю даже, где и когда она умерла. Вероятно, в Москве, году в 49-м. «Какая грустная у меня судьба! — восклицала она в письме к подруге.— Нет для меня на свете мужа! Не нашлось раньше, тем более не найти его и теперь».

В Российском государственном архиве литературы и искусства (бывшем ЦГАЛИ), где хранятся и цитируемые мной письма, я разыскал автографы стихотворений Евгении Николаевой и представляю их читателю «Нового мира». Два стихотворения из печатаемых на этих страницах входили в ту малотиражную книжку «Разговор с читателем»

Владимир ГЛОЦЕР

### ОБ АНАСТАСИИ ГОРНУНГ

Анастасия Васильевна, моя жена, еще до нашей встречи, в ранней молодости, писала стихи Она из очень обеспеченной, культурной и аристократической семьи. После революции судьба ее сложилась очень тяжело. В 1930 году она была арестована и выслана из Москвы в Воронеж на свободное поселение. В Воронеже через некоторое время ее по недоразумению арестовали вместо другой женщины, тоже высланной из Москвы. То, что у нее была другая фамилия, не приняли во внимание (по неграмотности). На этот раз ее отправили в воронежский дом заключения. Это было в середине 30-х годов. Ей пришлось сидеть вместе с воровками и убийцами. Ее спас хороший знакомый, крупный врач, лечивший Менжинского и Ягоду. По его просьбе Менжинский затребовал ее дело, не нашел там никакого обвинения и приказал освободить. В Москву ей запретили возвращаться и выслали в Ташкент.

Я встретился с ней в 1937 году, и судьба наша была решена с первого взгляда на всю жизнь

После очень тяжелой болезни она перестала писать стихи. В 1956 году она умерла.

Лев ГОРНУНГ.

5 НМ № 6 ЭО

## ОБ АЛЕКСАНДРЕ ГЛАДКОВЕ

Осенью 1949 года в зоне лагпункта «Мостовица» — это отдельный лагерный пункт 3 Каргопольлага, расположенный в Архангельской области и занимавшийся лесозаготовкой, — стало известно, что к нам этапировали писателя Гладкова, лауреата Сталинской премии, автора пьесы «Давным-давно». Зайдя в свой барак, я увидел нового заключенного: высокий, крупная фигура, внушительное лицо, в руках палка, на которую он опирался, — это был Александр Константинович. Мне тогда было двадцать три года, но к тому времени мне уже пришлось повидать много людей, так сказать, причастных к истории. Арестованный в 1945 году студентом, кого только не повстречал я в скитаниях по Лубянке, Бутырке, Краснопресненской пересыльной тюрьме, а там и по Каргопольлагу. Так, в одной только камере в Бутырке передо мной одновременно предстало 24 генерала! Но писатель, поэт для меня, страстного любителя поэзии, был необыкновенно интересен. Мы познакомились и подружились.

Ввиду того, что А. К. Гладков сильно хромал и не передвигался без палки, в лес на обиходные работы он не был отправлен — его забрала начальница санчасти, фельдшерница из местных, «трескоедов», как их здесь называли. Дама эта щеголяла тем, что завхоз у нее — лауреат Сталинской премии! Поэт!

И вот начались у нас нескончаемые разговоры о поэзии — Гейне, Апухтин, Тютчев, Есенин, Блок и, конечно, Пушкин, Лермонтов, Маяковский — я хорошо знал поэзию, имел свои пристрастия и мог за них постоять, а Маяковского всего я знал наизусть (в дневнике того времени у Гладкова я значусь как «студент, знающий всего Маяковского наизусть»). Это очень сблизило нас. И когда вскоре, перед освобождением, я попал в больницу, Александр Константинович ежедневно заходил ко мне днем и обязательно вечером.

Александр Константинович писал пьесе «Зеленая карета» — о судьбе актрисы Асенковой. В первой редакции «Зеленая карета», как и знаменитая «Давным-давно», была написана в стихах. И хотя в 1967 году она вышла на экраны полностью переработанная в прозе, мне тот, стихотворный вариант кажется гораздо сильнее.

О том, что он писал в лагере еще и стихи, я в то время не знал. Мне он показывал только наброски «Зеленой кареты». Александр Константинович полагал, что именно это сочинение поможет ему выйти на волю. Увы, конечно, тщетно — ведь во всем творчестве Александра Константиновича не было ни строчки о Сталине! Не могли его освободить еще и потому, что он дружил в свое время с Мейерхольдом и от этой дружбы не отказался.

Кстати, из большой его работы о Мейерхольде опубликованы только первые части — о детстве и юности знаменитого режиссера. До сих пор не изданы на родине полностью и его «Воспоминания о Б. Пастернаке» (вышедшие в 1970 году в Западной Германии) — так, отрывки по разным журналам... Громадную работу в разборе его литературного наследия проделала Ц. И. Кин. Но вот она умерла, и, кажется, никому об этом позаботиться.

Встретившись с Александром Константиновичем снова после освобождения, в 1967 году, мы уже больше до самой его смерти в 1976 году не теряли друг друга. Множество его теплых, сердечных писем (даже в них все еще приходилось ему какие-то свои мысли шифровать) хранится у меня, вместе с рукописью «100 стихотворений из Северной тетради» как бесценное сокровище.

Илья СОЛОМОННИК.

А. КУРАЕВ



## ТРУДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ

**Е**ще два года назад можно было надеяться, что начавшееся духовное пробуждение России будет постепенно набирать силу и в течение десятилетий незаметным и кропотливым, не афиширующим себя трудом удастся восстановить и в душах людей и в стране то, что разрушалось и ветшало также десятилетиями. Сегодня уже невозможно столь беспрепятственно видеть наше будущее. Стена, воздвигнутая государственным атеизмом между ныне живущими и духовной культурой исторической России, пала, но ее энергично бросились восстанавливать протестантские проповедники со всего света.

В этой статье я попробую дать ответ на два вопроса: во-первых, почему меня тревожит активность протестантов в России, а во-вторых, почему же Православная Церковь без всяких попыток реального сопротивления отдает Россию американским и корейским проповедникам.

### I

Сначала самое очевидное обстоятельство. Позиция протестантов в России может быть только культурно-нигилистической. Если даже Грецию газета «Протестант» называет страной, закрытой для Евангелия (это страну, на языке которой Евангелие было написано!), то Россия тем более воспринимается американскими миссионерами как пустыня, в которой до их приезда если и было какое-то христианство, то все сплошь зараженное «средневековыми искажениями».

Коль скоро баптисты запрещают крещение детей, то элементарная логика подсказывает, что в России со времен князя Владимира до баптистов христиан вообще не было. Сергей Радонежский и Достоевский, Серафим Саровский и Павел Корин, священномученик Патриарх Тихон и те, кого Ключевский назвал добрыми людьми древней Руси, — все они не были христианами, ибо были крещены в детстве.

Баптисты не видят смысла в Литургии — и, значит, напрасно написаны хоры Чайковского и Рахманинова, и Гоголю надлежало бросить в печь рукопись своих «Размышлений о Божественной Литургии».

Баптисты запрещают иконы — и, значит, Андрей Рублев не более чем идолопоклонник...

Баптистский историк Л. Корочкин в брошюре «Христианство и история» уже сказал, что Александр Невский не может считаться святым (в отличие, скажем, от любого баптиста) на том основании, что, защищая Русь (это-то зачем надо было делать?!), он убивал людей, а Василий Блаженный никакой не «юродивый Христа ради», а просто психически больной.

А теперь представьте, как смогла бы преподавать историю русской культуры школьная учительница, обращенная баптистами..

---

**От редакции.** В разделе «Религия и современный мир» мы отнюдь не ставим целью развернуть дискуссию между церквями. Наша задача более общая — дать читателям представление о различных направлениях современной религиозной мысли. Именно в этом плане мы уже предоставили слово многим авторам: Антонию, митрополиту Сурожскому, Стефану Вилькановичу, С. А. Сошнинскому, Чеславу Милошу и другим, — а теперь предлагаем статью диакона Андрея Кураева.

Удивительно, с какой быстротой такого рода проповедники при очном диспуте с образованным православным начинают воспроизводить штампы советского агитпропа о «царизме» и «империализме», о «прислужничестве Православной Церкви», о христианстве (послеапостольском) как синтезе иудаизма и язычества и т. п. Тем более удивительно, что пороки синодального строя бичуют те, с кого Петр Первый скопировал этот самый строй! Именно протестантам мир обязан дивной формулой «чья власть — того и вера», именно протестантский, а не католический или византийский мир придал светским правителям официальный статус главы церкви (и английская королева, а не архиепископ Кентерберийский до сих пор является официальной главой англикан) — но православные, конечно, и здесь виноватее всех остальных. Пока баптистов в России мало — они обвиняют православных в том, что Церковь участвовала в политике. Если же баптистов станет много — православных будут упрекать в том, что сейчас они недостаточно активно участвуют в предвыборных кампаниях (не так активно, как, скажем, Билли Грэм, который в предвыборной кампании Никсона мог сказать, что «сегодня во время моей утренней молитвы Господь открыл мне, что мы должны голосовать за Никсона!»).

Если не из школьной, то из институтской программы педагогам и журналистам должно быть известно, что протестантизм отличается от православия и католичества тем, что из двух источников духовных знаний — Писания и Предания — признает только первый. Конечно, любая редукция и упрощение тешат душу современного человека. Но в реальности это означает, что философский и духовный кругозор обычного убежденного протестанта резко сужается: из церковной библиотеки он избирает одну Библию, объявляя все остальное ненужным умствованием. Августин и Златоуст оказываются явно обременительным чтением, интересным только для историков.

В своих святых и в своем опыте Церковь ощущает себя как Пятидесятницу, продолжающуюся в веках, и если при этом Григорий Богослов говорит нечто, чего не говорил Иоанн Богослов, она не видит в этом какого-то искажения. Церковь есть живой организм, а для живого свойственно развитие. И поэтому баптистские уверения в том, что они вернулись к «апостольской простоте», неубедительны: нельзя заставить взрослого человека вновь влезть в колыбель и носить детские одежды, как бы милы они ни были. Христианство уже взросло. Ему две тысячи лет, и это древо, разросшееся за два тысячелетия, нельзя вновь обрезать до размеров и форм того росточка, с которого оно начиналось на заре нашей эры.

Для человека естественно самое главное в жизни выражать формами искусства — и нельзя запрещать всякую религиозную живопись на том лишь основании, что апостольская община ее не знала! Для человека естественно искать осознания своей веры, естественно стремиться пронести в доминиум разума то, что он обрел в духовном опыте, в опыте откровения — не для того, чтобы проверить разумом откровение, а для того, чтобы научить разум жить с откровением, чтобы тот опыт, который дается сердцу, сделать предметом умного рассмотрения. И если Церковь не сразу привлекла философский инструментарий для разьяснения своей веры и надежды, это не значит, что все наработки послеапостольского богословия должны быть отменены. Христос сравнивал Царство Божие с растущим семенем, деревом, закваской. И что же пенять дереву за то, что оно не осталось семечком, но вобрало в себя всю сложность мира и человека!

Что вообще значит православие? Это Евангелие плюс благодатное приятие его воздействия на тех людей разных времен, культур и народов, которые всецело открылись Христовой вести. Православие — это доверие к истории, к другим людям.

Для православного немислимо представление о том, что опыт откровения и богообщения, который был у апостолов, затем стал вдруг недоступен. Нам кажется странным это новое учение о том, что Христос на полтора тысячелетия забыл своих учеников и оставил их заблуждаться в вопросах, имеющих значимость для спасения (ибо это уже противоречит догмату о человеколюбии Творца).

Ему чужда тотальная подозрительность, которая полагает, что «был один христианин на свете — и того распяли». Но поэтому и в сути своей православие живет именно Евангелием и ничем иным. Церковь наша, по замечанию прот. Иоанна Мейендорфа, называет себя апостольской, а не святоотеческой, ибо святым отцом становится тот, кто в адекватных словах смог проповедовать своему времени изначальную апостольскую веру и являть в себе евангельскую жизнь. Если же я не замечаю действия евангельского духа в некоем человеке и его жизни, если я ложно и односторонне истолковываю его действия и проповедь — то ведь это не повод для того, чтобы сказать: мол, незачем и всматриваться в дыхание Духа в людях, мол, давайте изучать только Слово Бога и не будем интересоваться тем, как к люди

слышали это Божие слово. Слово Божие обращено все-таки именно к людям... Библия исторична. Это история народа, а не жизнеописание Моисея. Этого-то исторического дыхания и доверия к действию Бога в истории людей как раз и нет в нецерковном христианстве...

В стране, где несколько поколений воспитаны на «ленинской теории отражения», баптистам несложно проповедовать. Они говорят: откройте глаза, возьмите в руки Евангелие, которое мы вам бесплатно подарим, и читайте. Мы будем давать вам адекватные и очевидные комментарии, и вы увидите, что православные просто исказили простые евангельские слова.

При чем здесь «ленинская теория отражения»? Да при том, что в этой теории функции познающего сознания сводились к верному «отражению реальности»: пришел, увидел, отразил. Сложнейшие философско-методологические исследования, вскрывающие гораздо более сложные отношения между субъектом познания и его объектом, были названы идеалистическими выдумками и запрещены. Поэтому так трудно человеку, который даже в самом первом приближении не слышан от Канте и Витгенштейне, Поппере и Гуссерле, понять, что любой текст существует только в интерпретации, или, усилив акцент: текст вообще не существует без читающего. На человеке лежит «проклятие Мидаса»: все, чего он ни коснется, он делает «своим», на все он налагает неизбежный отпечаток своего жизненного и духовного опыта, все понимает в свою меру.

Это же касается и Евангелия: кто бы ни говорил о Евангелии, его речь не менее говорит нам о нем самом, чем о Евангелии. Выбор комментируемых мест и сам комментарий, интонация разговора и конечные выводы — все это зависит от опыта и культуры человека. И тот факт, что у нас есть не одно Евангелие, а четыре и называются они «Евангелие от...», — уже само это говорит о том, что любой пересказ Благой Вести Христа неизбежно интерпретативен.

И наверно, нетрудно догадаться, что грек, еврей или египтянин III века слышали в Евангелии нечто иное, чем американец XX века. И если эта разница неизбежна, то как выбрать интерпретацию, которая и исторически и духовно была бы наиболее адекватна вере первых христианских общин? Да, христиане конца I века не читали по средам православных акафистов и не служили католических литаний. Но с другой стороны, были ли они убеждены, что «благочестие приносит прибыль»? Считали ли они, что их новая вера поможет их бизнесу?..

Православие — это «восточное христианство». Оно сквозь века пронесло то осмысление проповеди Иисуса из Назарета, которое дали первые, преимущественно ближневосточные поколения христиан. Конечно, этот изначальный опыт и обогащался и дополнялся. что-то в нем временами тускнело, а что-то вспыхивало ярче, но эта непрерывность сохранена. И человек, который возьмет в руки беседу «О смысле христианской жизни» святого XIX века преп. Серафима Саровского или сборник речений преп. Силуана Афонского (XX век) и затем сравнит их с беседами преп. Макария Египетского (IV век) или Игнатия Богоносца (II век), согласится с замечанием О. Манделштама о том, что «у каждой истинной книги нет титульного листа». Православный (небогослов) может читать Златоуста — и даже не догадываться о том, в каком веке жил этот учитель; он будет читать Ефрема Сирина — и не догадываться, что держит в руках труд не грека и не русского, а сирийца...

Так вот, на мой взгляд, эта традиция древневосточного прочтения Евангелия и исторически и духовно глубже и достовернее, чем попытки реконструкции, предпринимаемые американскими миссионерами на стадионах. Это и х видение Евангелия. Это и м нужен такой Бог, который позволял бы дешевыми средствами получить спасение. Это и м нужно такое понимание Креста Господня, которое избавляло бы их от несения еще и собственного, человеческого креста. Гедонистическая Европа новейшего времени сделала из религии Распятия повод для «чувства глубокого удовлетворения»: «Ты только признай, что за тебя долг уже заплачен, и продолжай твой бизнес, ибо местечко на Небесах тебе уже готово!» Но может ли быть большая подмена? И не есть ли это всего лишь выдача уже не частной, как бывало у католиков, а тотальной индугенции за счет «заслуг Христа»?

И даже употребление одних и тех же евангельских слов передает очень разные смыслы в протестантизме и в православии. «Грех» и «спасение» — две фундаментальные категории библейского богословия. Но западное христианство склонно описывать драму грехопадения и искупления в терминах юридических, восточное христианство — в терминах органических. Для православия грех не столько вина, сколько болезнь. «Грех делает нас более несчастными, чем виновными», — говорил преп. Иоанн Кассиан, а преп. Петр Дамаскин сравнивал грешника с псом, который

лижет пилу и не замечает причиняемого себе вреда, пьянея от вкуса собственной крови... И в чине исповеди священническая молитва увещивает: «Пришел еси во врачевницу, да не неисцелен отыдеши»... В наше время среди православных мыслителей С. Л. Франк подчеркивал, что о «первородном грехе» правильнее говорить как о «первородном бедствии».

В юридической теории Бог, приемля жертву Христа, за нее прощает людей. Но православной мистике мало прощения. Жестко сказав протестантским богословам, что «вместо Бога они ищут безнаказанности», будущий Патриарх Сергей обращал внимание на то, что «амнистия провозглашает праведным, а не делает праведным. Человек уведомяется о своем спасении, но не участвует в нем. Заслуга Христа — событие постороннее, с моим внутренним бытием у протестантов связи не имеющее. Поэтому и следствием этого акта может быть только перемена отношений между Богом и человеком, сам же человек не меняется. Ищут обязать Бога даровать мне живот вечный. Душа человеческая... хочет не числиться только в царствии Божием, но действительно жить в нем» (Архиеп. Сергей Странгородский. Православное учение о спасении. Казань. 1898, стр. 33).

Если бы не годы отсечения народа и даже самой Церкви от высокой богословской и философской мысли, мы бы помнили и слова князя Е. Н. Трубецкого о том, что, по ощущению нашей совести, «человеческая природа, поврежденная изнутри, в самом своем корне и источнике, может быть и спасена только изнутри, а не внешним актом купли или колдовства, который оставляет нетронутым ее греховный корень. А значит, неприемлема банковская процедура перевода «заслуг» Христа на спасаемых Им людей» (Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. Берлин. 1922, стр. 198).

Баптистский же учебник догматики рисует следующую картину: «Единственный путь спасения состоит в том, чтобы невинный, безгрешный добровольно согласился умереть, приняв на себя наказание за грех, и стал бы заместителем грешника перед Богом... Христос своей смертью внес достойную плату для освобождения грешников от греха» («Догматика. Заочные библейские курсы ВСЕХБ». М. 1970, стр. 56, 58).

Задолго до Вольтера и Толстого св. Григорий Богослов возмущался подобными теориями — ибо как мог требовать крови собственного Сына для прощения людей Тот, Кто не принял жертву Авраама?! А замечательный русский философ и богослов В. Несмелов справедливо писал, что «ни один здравомыслящий человек в отношении себя самого никогда не допустит, что будто *ради справедливого прощения* своего обидчика он сам должен перенести то наказание, какое по закону следовало бы перенести его обидчику, и что будто лишь после этого наказания он может с *правдой и любовью* простить своего обидчика» (Несмелов В. Наука о человеке. Казань. 1903, т. 2, стр. 57).

Значит, нельзя пренебречь разницей между тем, как «спасение» понимается в православии — и как в баптизме. По мысли преп. Макария Египетского, Христос пришел, чтобы «исцелить человечность». И для св. Василия Великого «главное в спасительном домостроительстве по плоти — привести человеческое естество в единение с самим собой и со Спасителем и, истребив лукавое рассечение, восстановить изначальное единство, подобно тому как наилучший врач целительными средствами связывает тело, расторгнутое на многие части...».

Если и этих примеров не хватит для того, чтобы показать, как далеко могут расходиться прочтения одного текста в Церкви и вне ее, обращу внимание на еще один стих Писания. Апостол Павел пишет: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучшим воспользуйся» (1 Кор. 7, 20—21). Лютер этот текст переводит как призыв к обретению свободы: лучше воспользуйся этой возможностью избавиться от рабства. Церковнославянский перевод предлагает противоположную трактовку: «Но аще и можеш свободен быти, больше поработи себе». Греческий текст говорит нейтрально — «избери лучшее», не поясняя явным образом, что же для человека лучше в этой ситуации. Особенности славянского перевода не связаны с возможным грамматическим непониманием. Иоанн Златоуст, для которого греческий был родным языком, в своем толковании этого послания Павла также предлагает остаться в рабстве. Значит, вопрос уже в смысловых и личных предпочтениях, а не в знании грамматики, что, впрочем, и подтверждает современный экуменический перевод Библии на французский язык, перелагающий сложную конструкцию апостола Павла как «обрати к пользе твое положение раба» (*mets plutot a profit ta condition d'esclave*) — речь идет, понятно, о пользе для души.

Теоретически это обосновать, наверно, нельзя. Но за этим стоит какой-то странный и очень важный опыт души... Во всяком случае, мне несколько священников, прошедших лагеря, говорили о времени своего рабства как о времени наибольшей духовной, внутренней, молитвенной свободы... И С. И. Фудель, тонкий и необычный церковный писатель, писал о том же:

Запоры крепкие, спасибо!  
 Спасибо, старая тюрьма.  
 Такую волю дать могли бы  
 Мне только посох и сума.  
 Решетка ржавая, спасибо!  
 Спасибо, лезвие штыка.  
 Такую мудрость дать могли бы  
 Мне только долгие века...

У человека поздней античности и Византии было больше опыта несвободы, чем у современного западного человека. И в этом опыте страданий и боли, наверно, открывалось нечто большее, чем может понять человек среднеблагополучной судьбы... И монашество, которое столь выпукло оттенило и сформулировало православные пути стяжания духовности, родилось из поиска более узкого и тяжкого пути, точнее — из знания о том, что «в раю нераспятых нет», а древо познания, древо жизни есть крестное древо...

Так вот, православное богословие честно утверждает: мы истолковываем Евангелие. Мы не можем понять Евангелие, не истолковав его. А раз истолкование неизбежно и никакого прямого и абсолютно достоверного «отражения» быть не может — значит, надо думать о том, на каких путях и в чем можно ступить в ту «землю святую», о которой мы предупреждены, что ступить туда можно, лишь «сняв сапоги» (Исх. 3, 5), и где Господь Сам, Своим действием откроет в сердце человека последний смысл того, о чем Он написал в Евангелии... «Познавательню стяжавший в себе Бога уже не будет более нуждаться в чтении книг. Потому что обладающий как собеседником Тем, Кто вдохновил написавших Божественные Писания, сам будет для других богодухновенной книгой», — писал в X веке преп. Симеон (цит. по: Архиеп. В а с и л и й (Кривошеин). Преподобный Симеон Новый Богослов. Брюссель. 1980, стр. 160).

Православие — это библиотека, баптизм — религия одной книги. Если бы толкование баптистами Писания было самоочевидным и адекватным — не было бы десятков сект, настаивающих на своем евангелизме и проповедующих противоположные вещи. Православие же по крайней мере честно говорит, что оно толкует Писание и осознает некоторые принципы своей герменевтики.

Пропуская разъяснения хода богословской мысли, в качестве вывода (впрочем, изначально очевидного) скажу, что православие и протестантизм соотносятся (в выборе своего учительного идеала) как религия монахов и религия профессоров. С. Н. Булгаков так и характеризовал протестантизм: «Профессора богословия в протестантизме — единственный церковный авторитет: они вероучители и хранители церковного предания. Протестантизм есть в этом смысле профессорская религия; говорю это без всякого оттенка иронии или похвалы, просто констатируя исторический факт». Разумеется, это определение не следует понимать упрощенно: не все православные — монахи, как и не все протестанты — профессора; этим лишь называются ведущие тенденции, формирующие духовные (но не биографические) стремления.

Впрочем, и здесь нужно сделать уточнение: сказанное Булгаковым не относится к баптизму. Это религия не профессоров, а менеджеров. Ибо баптизм — наименее богословская из всех протестантских традиций. И тем более странно, что не лютеране и не англикане, представители богословски и культурно наиболее развитых конфессий протестантского мира, приехали просвещать Россию, а американские фундаменталистские секты. Если кто-то думает, что протестанты, приезжающие сегодня в Россию, захватят с собою Карла Барта или Бультмана, Тиллиха или Мольмана, они ошибаются. Билли Грэм — это высшая точка. Се «человек, отвечающий на все вопросы». И что ему до протестанта Бультмана, который говорил, что Иисус научил нас жить в неизбывной тревоге и заботе..

Вообще духовный опыт православия и баптизма разительно отличен. И хотя говорить о чужом духовном опыте всегда и трудно и опасно, все же то, что человек проповедует, что вызывает в нем наибольшее воодушевление и искренность, показывает достаточно ясно некоторое потаенное «строение» его духовного опыта. Всем уже известна структура протестантской проповеди: я был атеистом и был грешником, но я уверовал во Христа и стал счастливым. Вот глава «Свидетельствовать о Боге неверующим» из «Методического вестника для учителей воскресных школ» (приложение к альманаху «Богомыслие». Издание Одесской библейской школы. Вып. 4. Одесса. 1991, стр. 18): «Процесс евангелизации значительно ускорится, если помощник директора по евангелизации научит верующих свидетельствовать о своей

вере. Один из способов свидетельства — рассказ о своем обращении к Богу, который можно построить по такому плану: 1) Какая у меня была жизнь, когда я был неверующим. 2) Как я осознал, что мне нужен Христос. 3) Как я поверил в Него. 4) Какой стала моя жизнь после того, как я принял Христа». Более в этой главе ничего нет!

Такое ограничение круга проповеди одним лишь моментом личного обращения не случайно. Оно просто показывает отсутствие другого серьезного духовного опыта. Любая баптистская брошюра говорит о том, как побыстрее пройти путь от неверия к принятию Евангелия; традиционная православная проповедь обращается к уже уверовавшим людям и говорит о той духовной брани, которая поднимается в душе человека уже после крещения. Тончайшая аналитика душевных и духовных состояний и переживаний, опытно разработанная православными подвижниками, остается здесь и непонятной и не востребованной. Удивительно ли, что в той религиозной среде, где слово «аскетизм» становится ругательным, начали чрезвычайно успешно распространяться восточные аскетические практики?! Именно отказ от традиции христианской мистики, сведение протестантизмом религиозной жизни к сфере чисто языковой практики побуждают людей Запада искать труда для души «на стране далече» — в кришнаизме и йоге. Мне пришлось однажды услышать от одного московского баптиста удивительное объяснение того, почему он, будучи баптистом, зашел на богослужение в православный храм: «Помолиться хочется!»

Баптисты обвиняют православных в театральности богослужения, но именно в баптизме Литургия превращена в спектакль — «воспоминание» и представление (вопреки учению даже Лютера баптисты считают, что на Литургии не происходит пресуществления хлеба и вина в Тело и Кровь Господни и что само «преломление хлебов» есть не таинство, а лишь «воспоминание» о Тайной вечери). Воспоминанием же о бывшей когда-то Трапезе сыт не будешь. И поэтому какая-то, зачастую неосознанная, тоска по церковности в протестантизме есть.

В католическом богословии есть такой термин — «призывающая благодать». Это то действие Божие, которое происходит вне Церкви, то касание Богом человеческого сердца, которое поворачивает это сердце к вере. Поскольку назначение этой энергии — привести человека, который еще вне Церкви, к ней, то это единственный вид благодати, который действует вне Церкви. Я думаю, что эта благодать есть в протестантизме. Я признаю доброкачественность духовного опыта протестантов, опыта обретения ими веры. Я лишь говорю, что это всего лишь часть того духовного опыта, который может быть дарован человеку за церковным порогом. И беда протестантизма в том, что он «не имеет идеала и пути святости, без которого нет настоящей религии, как нет искусства без художественного гения» (С. Н. Булгаков, «Современное арианство». — «Тихие думы». М. 1918, стр. 147).

На мой взгляд, протестанты похожи на человека, который шел по улице, увидел вдруг открытую дверь храма, а постояв секунду на пороге, побежал к выходу из метро, взахлеб рассказал первому попавшемуся об увиденном и притащил его к церковному порогу. Теперь уже вместе они вглядывались в мистический сумрак храма — и уже вдвоем побежали к метро рассказывать об увиденном третьему... четвертому... сотому. Так и проповедают они всю жизнь о том, как одиноко им было на улице и как хорошо было в первый раз оказаться на том пороге... Отсутствие же молитвенной дисциплины, неумение различать духовные состояния, жизнь без Литургии и исповеди приводят к тому, что религиозно ищущему человеку приходится постоянно возгревать себя чисто психическими приемами... Результаты, которые в конце концов получаются на этом пути, известны православной мистике. Это состояние эмоционального опьянения, когда человек собственное возбуждение пугает с касанием благодати... Во всяком случае, в протестантской духовности есть одна черта, пугающая православных: понимание покаяния как всего лишь одного момента в жизни человека (поворот от неверия к вере). И как бы несовременны ни казались советы православных подвижников о покаянном смирении как необходимой атмосфере духовного делания («...держи ум твой во аде и не отчаивайся», — говорил преп. Силуан Афонский), но позиция баптистов кажется еще более странной. В одной из брошюрок, где на двадцати страницах поясняется неправота Маркса, Дарвина, Магомета и папы римского, последние слова запали мне в душу. Автор так прощается с читателем: «Если ты, дорогой читатель, согласился с тем, что я тебе сказал, и принял Христа как твоего личного спасителя — то до скорой встречи со мною на небесах!»

В IV веке преп. Макарий Египетский предупреждал о подобных искушениях: «Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмевается тем, что он — причастник благодати; то хотя бы и знамения творил он, и мертвых воскрешал, но если не признает своей души бесчестною и униженною, и себя нищим по Духу, окрадывается он злобою и сам не знает того. Если и знамения творит он — не должно ему верить; потому что признак христианина стараться таить сие от людей, и если

имеет у себя все сокровища царя, скрывать их и говорить всегда: «не мое это сокровище; другой положил его у меня; а я — нищий; когда положивший захочет, возьмет его у меня». Если же кто говорит «богат я», то таковой не христианин, а сосуд прелести и диавола... Ибо наслаждение Богом ненасыσιμο, и в какой мере вкушает и причащается кто, в такой мере делается более алчущим. Люди же легкомысленные и несведущие, когда отчасти действуют в них благодать, думают, что нет уже греха на них» (Преп. Макарий Египетский. Духовные беседы. М. 1880, стр. 167, 195).

Вообще отношения протестантизма с православием ярко подтверждают мысль Г. К. Честертона о том, что каждый еретик делает элементарную арифметическую ошибку: он часть считает больше, чем целое. Ересь — это ограничение, это слишком прямолинейное выведение одной из тех тональностей, которые в Церкви слагаются в целостную симфонию. На вопрос, чем отличается баптизм от православия, нельзя сформулировать ответа в форме: в баптизме есть это, а в православии этого нет. Ответ будет гласить: в православии есть это, в баптизме — нет. Нет икон, нет священников, нет причастия; нет исповеди, нет крещения детей, нет храмов, нет Предания, нет постов... Помнится, некий персонаж Михаила Булгакова в подобных случаях говорил: «Что же это за страна у вас такая, чего ни хватишься — ничего нет!»...

Нормальная церковная жизнь строится по иной парадигме: «Сие надлежало делать, и того не оставлять».

Я, во всяком случае, могу представить людей, которые для молитвы не нуждаются в иконе. Можно быть православным и не иметь икон (как не было икон в лагерных бараках). Но считать язычником, то есть нехристианином, человека только на том основании, что свое молитвенное внимание он собирает с помощью иконы, — это уже суждение, которое вряд ли одобрил бы апостол Павел.

За этим стоит все тот же исходный культурный нигилизм протестантских сект. Отрицание иконы — это отрицание самой культуры. Ведь «икона» в переводе с греческого означает «образ». Когда некоторая реальность отражается в другом материале — это образ. Отпечаток, оставленный перстнем в сургуче или воске, — это образ. Моя память о каком-то событии — это образ. Отражение другого человека в моем сознании и в моих глазах — это образ. Слово, которым обозначается предмет, — это образ: любое слово есть не вещь, но символ вещи, ее отображение в моей речи. Человек неизбежно живет в мире образов. Даже стол, который я вижу перед собой, дан мне как образ (мое сознание непосредственно работает с образом стола на сетчатке моего глаза). И вся культура — от музыки до скульптуры, от литературы до живописи — есть образ. Тем самым вся культурная деятельность человека есть научение жить в мире неизбежных образов. В этой школе у человека должно развиваться ожидание того, что реальность многомернее и сложнее своих образов, и в то же время смирение с тем, что познание мира без посредства образов вообще невозможно.

Как же тогда понять четвертую из десяти Моисеевых заповедей — «не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли»? Именно напоминающая эту ветхозаветную заповедь, протестанты укоряют православных за почитание икон. То, что я сказал абзацем выше, это философия. Они же приводят цитату Писания. Как совместить философию и богословие? Какой сделать выбор? В конце концов, позиция церковного Предания — того самого, которое отвергли протестанты, — была сформулирована Эразмом Роттердамским, одним из первых полемистов с протестантизмом: «Вы спрашиваете, зачем нужна философия для изучения Писания? — Отвечаю: А зачем нужно для этого невежество?» Так вот, философски очевидно, что человек не может не создавать образов, — суть же заповеди не в запрете на создание образов, а в том, чтобы из этих неизбежных образов не делать себе кумиров. И Моисей ясно понимает смысл запрета: «...не поклоняйся им и не служи им». Изображение не должно восприниматься в качестве Бога, это верно. В частности, человек должен помнить, что и тот образ Бога, который он имеет в своем уме, не есть Сам Бог. Можно не иметь икон и быть идолопоклонником — ибо кумир будет находиться в сердце человека. Можно спутать реальность текста Писания и реальность того Бога, о котором оно говорит. Верно, в православном мире можно встретить людей, которые относятся к иконе как к кумиру, — но разве в мире протестантском нет людей, которые Библию превратили в предмет своего профессионального изучения, а Живого Бога забыли? Любое установление можно исказить — но тогда надо разьяснять правила безопасного пользования, а не отменять эти установления вообще.

Кстати, Библия тоже есть икона. Просто образ Творца она передает не красками, а словами. Любая проповедь предлагает некоторый образ Бога, некоторое представление о Боге, для того чтобы человек обратил свой сердечный взор к Самому Богу.

Но тр же делает и икона. Седьмой Вселенский Собор, установивший иконопочитание, ясно сказал: глазами взирая на образ, умом восходим к Первообразу.

Первым же иконописцем был сам Бог. Он создал человека как свой образ в мире (в греческом переводе — как икону). И тайну иконы раскрывает такой литургический обряд, как каждение: в храме священник при каждении кланяется и кадит и людям и иконам. Это два вида образов. В человеке образ Божий есть личность, разум, способность к творчеству и свободе. Почитая в другом образ Бога, я почитаю его свободу и Богосыновнее достоинство, те Дары, которые Господь дал моему брату. Я могу не видеть этих даров, могу с осуждением или презрением, с холодным равнодушием относиться — на уровне эмоций — к этому человеку. Но догмат напоминает моему разуму: в этом человеке, в каждом человеке не меньше глубины и тайны, чем в тебе самом. Почти же не его дела в мире, почти Божие дело в нем — образ, подаренный ему Богом. Или если я поклонился при встрече человеку, я тоже совершил языческий обряд? Но тогда Соломон был язычником, ибо, даже будучи царем, кланялся своим гостям (3 Цар. 1, 47). И Авраам, ибо и он кланялся народу (Быт. 23, 12), и Корнилий, поклонившийся апостолу Петру (Деян. 10, 25).

То же ли самое Бог и те заповеди, которые Он дал Моисею? Нет. Но как же пророк Исаия восклицает: «И на закон Его буду уповать» (Ис. 42, 4)? И Давид признается — «как люблю закон Твой» (Пс. 118, 97). И уж не нарушает ли заповедь «Бogu одному поклоняйся» тот же Давид, когда говорит: «Поклонюсь святому храму Твоему» (Пс. 5, 8)? Конечно, нет, ибо все, что напоминает о Боге, достойно благоговейного отношения. Свой образ благочестия нельзя навязывать другим — но и подозревать в других худшее без всякой попытки понять мотивы их действия является не чем иным, как фарисейством. И с главной заповедью Евангелия — заповедью любви — трудно совместима практика обвинений других христиан в язычестве только за то, что они иным путем выражают свое благоговение перед тем же Единым Господом.

Можно ли, глядя на звезды, славить Творца? Можно ли, глазами взирая на земное, умом воспеть Небесное? Вопросы риторические, и всякий верующий ответит на них решительным «да». А раз можно — значит, творение может быть посредником между Богом и человеком. И природа может быть посредником в религиозном устремлении человека, когда своей красотой и величием исторгает из его сердца молитву к Создателю. Но если человек будет почитать космические силы и стихии за Бога, тогда он превратится в язычника, ибо тварь для него встанет на место Творца (Римл. 1, 25).

Другое дело, что в ветхозаветные времена зримая икона Бога была невозможна. Но во Христе Бог стал един с человеком — и если Христос есть Бог и Христос был видим, то, значит, Он стал изобразим. Евангелие описывает жизнь Христа словами, художник — красками. Станет ли протестант держать Евангелие в непотребном месте? Будет ли он в страницах Библии заворачивать бутерброды, а саму Библию использовать в качестве подставки для каких-нибудь домашних нужд? И осудит ли он желание человека, который, прочитав Евангелие, от сердечной радости и благодарности поцелует дорогую страницу? Почему же эти чувства нельзя проявить перед ликом Христа, написанным иным способом? Или критики православия всерьез считают, что мы кланяемся дереву и краскам? И ждем помощи не от Бога, а от деревянной доски?

И если это понятно, то не вспомнить ли слова Блаженного Августина, который так описывает в «Исповеди» свои переживания в тот момент, когда он понял, что его прежние нападки на Церковь безосновательны: «...я покраснел от стыда и обрадовался, что столько лет лаял не на Православную Церковь, а на выдумки плотского воображения. Я был дерзким нечестивцем: я должен был спрашивать и учиться, а я обвинял и утверждал... Учит ли Церковь Твоя истине, я еще не знал, но уже видел, что она учит не тому, за что я осыпал ее тяжкими обвинениями».

Однако подобного рода богословские сопоставления возможны только при наличии доступа к духовным знаниям.

Увы, годы религиозной свободы в России лишь посеяли во многих убеждение в том, что религия (всякая, и в частности православная) — это хорошо. Чего именно там такого хорошего — об этом пока в средствах массовой коммуникации разговора не ведется. О православии можно говорить только в двух интонациях: либо чисто этнографически (в стиле «сегодня туземцы этой страны празднуют такой-то праздник, который по их верованиям означает то-то»), либо скандально (Патриархия и КГБ, Патриархия и музеи, Патриархия и зарубежная Церковь и т. п.). Реального рассказа о православных законах духовной жизни, о том, что происходит с человеком на путях духовного становления, что ему там угрожает и на что он может опереться, то есть собственно о православии, а не о его «культурно-историческом значении».

серьезной речи пока так и не было. Естественно, что в этих условиях можно легко распространять любые мифологемы и о православии и о протестантизме.

Само же распространение протестантизма в России сопровождается утверждением двух мифологем: протестантизм более демократичен и он лучше подходит к рыночному обществу... На эти мифологемы работает более объемлющий стереотип: раз западное, значит, хорошее...

Когда-то Рильке писал, что все страны граничат друг с другом, а Россия граничит с Богом... И как бы с тех пор ни изменился мир, Америка все же так и не стала резервуаром вселенской духовности. По религиозному признаку все цивилизации можно разделить на «сотириологические» и «гедонистические». Первые ищут спасения («сотирия» по-гречески «спасение»), последний смысл человеческой жизни полагают по ту сторону смертного порога и саму человеческую жизнь рассматривают, по слову Сократа, как «подготовка к смерти», как искусство умирать... Другие видят высший смысл человеческого бытия в том, чтобы в пределах земной жизни, безотносительно к трансценденции, с максимальным комфортом устроиться на земле. «Будем есть и пить, ибо завтра умрем» — так итожил мироощущение подобных людей апостол Павел. Можно симпатизировать одному жизненному укладу или другому, но нелогично ожидать религиозных откровений и религиозного учительства от гедонистической цивилизации. К первому типу культур относятся Индия, средневековая Европа и Россия. Во второго рода цивилизации живем мы сейчас...

Нужны доказательства? Но можно ли возразить горьким словам замечательного сербского богослова и подвижника архим. Иустина (Поповича): «Еретические народы нашего времени отвели Христу последнее место на трапезе этого мира, как последнему нищему, тогда как на первые места посадили своих великих политиков, писателей, философов, легендарных героев, ученых, финансистов и даже туристов и спортсменов. Если бы Европа осталась христианской, то хвалилась бы Христом, а не культурой. И великие народы Азии и Африки, хотя и не крещеные, но духовно настроенные, это понимали и ценили, ибо каждый из этих народов хвалится своей верой, своими божествами, своими религиозными книгами — Кораном, Ведами и др. Не хвалятся они лишь делами рук своих, своей культурой, но тем хвалятся, что считают высшим себя, действительно наивысшим в мире. Только европейские народы не хвалятся ни Христом, ни Его Евангелием, но своими смертоносными машинами и дешевыми фабриками, и последствия этого самохвальства таковы, что все нехристианские народы возненавидели Христа и христианство. Возненавидев плоды Европы, возненавидели и европейского Бога. Но Европу и это не волнует, ибо она прежде всех возненавидела и отвергла своего Бога... Ты — Азиат, сказала Европа Христу в своей многовековой уже тяжбе с Ним...» (архим. Иустин (Попович), «Православная церковь и экуменизм». — «Глагол жизни», 1992, № 2, стр. 47—49).

И если из гедонистической цивилизации можно заимствовать сантехнику и кулинарию, то вряд ли столь же успешен будет импорт из нее религиозных представлений. И те, кто сегодня говорит о том, что протестантизм помог становлению капиталистического общества, упускают из виду одно простое обстоятельство: протестантизм смог это сделать только потому, что общество, в котором формировались капиталистические отношения, было весьма религиозным. Чтобы прийти к выводу о том, что успешность моего бизнеса являет мне мою избранность Богом ко спасению, как минимум потребна жажда спасения, обеспокоенность будущей участью.

Кто сказал, что нынешние российские бизнесмены не спят ночами, пытаются разгадать книгу судеб? Где и когда видели в последний раз брокера, который верит в Бога не для того, чтобы его дела шли лучше, а старается вести свои дела лучше, потому что видит в своем успехе единственный способ узнать — приятна ли его молитва Творцу? Механизмы, которые гарантировали религиозно осмысленное поведение человека в сотериологическом обществе, нельзя автоматически переносить в общество гедонистическое, постхристианское.

Или скажем иначе: описанные Вебером механизмы психологического поощрения предпринимателей могли работать только в тотальном религиозном обществе. Желают ли сегодняшние пропагандисты рыночного протестантизма, чтобы церковная община контролировала успешность их бизнеса?

Реформа рождалась в муках, рождалась как протест против «прирученного» христианства. Но даже с симпатией вспоминая «романтику» реформы, можно ли не замечать того, что произошло затем? «Дальнейшее хорошо известно. Христианство «восстановилось» на новом, комфортабельном и безопасном уровне. Кажется, Тиллиху принадлежат слова об удобном, уютном Боге, ничего не требующем, всегда готовом спасти тебя, хоть ты вовсе того и не желаешь... А «мгновение внезапно разразившейся Истины»... — оно исчезло, растворилось где-то там, в доисторической

мгле. Оно тревожило пару чудаков, атавизм среди добрых христиан, невозмугимо, с деловой пунктуальностью отмечающих Воскресение доброго Бога, гаранта здоровья и коммерческих успехов, хранителя домашнего очага...» — так пишет Валерий Сендеров о религии сегодняшних европейцев («После абсурда. Христианство в эпоху безвременья». — «Русская мысль», 3.11.92).

«Всегда и большинство ищет пассивной спасенности, приобретения даров духовной жизни без самой жизни. Всегда и везде большинство рассчитывает купить св. Духа», — говорил о. П. Флоренский («Отец Алексей Мечев. Воспоминания. Проповеди. Письма». Париж. 1970, стр. 376). Против этой покупки спасения обрядовым благочестием протестовал Лютер. Но в конце концов протестантизм лишь назначил еще более низкую цену в этой торговле — «просто вера». И сегодня уже православная мистика является голосом протеста: мало лишь соглашаться с Евангелием, мало веры, мало собраний и стихов — нужен еще тяжкий путь духовного восхождения...

Боже, если бы Лютер видел, как его муки в обретении веры превратятся в комфортную уверенность нынешних протестантов!..

Пропагандисты псевдодоберской концепции полагают, что в России рыночные преобразования должны сопровождаться не менее радикальной религиозной реформой. И никто не скажет им: не кощунствуйте, господа! Ибо видеть в религии подспорье для финансов — это и есть кощунство.

Вроде бы реалии коммунизма должны были бы научить советских людей бояться любой одномерности. Но нет — «одномерный человек», испугавший Маркузе и экзистенциалистов еще в середине века, успешно преподносится в сегодняшней России как нормальный супермен. Религия вроде тем и ценна (даже для не очень верующего), что становится отдушиной для человека, которого социум слишком настойчиво старается вобрать в себя целиком. Побойтесь же хотя бы Маркса, господа! Он все же справедливо видел в религии «вздых угнетенной твари, дух бездушных порядков, сердце бессердечного мира», то есть попытку выхода из дурной социальной ситуации.

Но допустим, что православие действительно неспособно помогать становлению рыночных структур. Какие из этого следуют выводы? Долой православие «с корабля современности»? А заодно — и все те сферы человеческой деятельности, которые не обещают рыночного эффекта? Но поистине — все ли нормально в человеке и в обществе, оценивающих высшие проявления духовности с точки зрения их приложимости к хозяйственной эффективности? Недавно православие обвиняли в том, что оно отвлекает трудящихся от строительства развитого социализма. Сейчас — в том, что отвлекает от столь же заманчивой и неотложной задачи построения развитого капитализма.

А в случае правоты «веберян» — как прикажете исправлять сей дефект российской жизни? Правительство откажет народу в доверии? За СКВ закупит новых граждан за рубежом? Не говорю уж о том, что чем настойчивее реформистскими изданиями будет подчеркиваться несовместимость рынка и ортодоксии, тем больше будет опасений у Церкви за свое будущее в светлом капиталистическом завтра и тем меньше будет у православных желания это завтра приближать. Терпеть сегодняшние беды ради завтрашнего благополучия — это еще, в общем-то, можно. Но ради того, чтобы завтра оказаться в гражданах третьего сорта, — вряд ли.

Рыночную борьбу, даже если это самый эффективный экономический механизм, нельзя наделять чертами нравственного и тем более евангельского идеала. Если вы с этим не согласны — тогда заодно попробуйте согласиться с концепцией социодарвинизма и со словами Джона Д. Рокфеллера: «Рост деловой активности — это просто выживание сильнейших... Американскую розу можно вырастить во всем великолепии ее красоты и благоухания, которое вызовет восторг у созерцающих ее, лишь беспощадно обрезая слабые ростки вокруг нее. Это всего лишь претворение в жизнь закона природы и Божьего закона» (цит. по: Т. Л. Мите, «Национализм». — «Диспут», январь—март 1992, стр. 138).

Кроме того, обсуждая отношение православных людей к хозяйственной активности, надо учитывать одно вполне житейское обстоятельство — сегодня священник становится хозяйственником, прежде чем стать духовником и проповедником. Ведь он прежде всего — по окончании сегодняшней семинарии — получает руины храма, и ему надо сделать эти руины сначала минимально обжитыми, чтобы там могла начаться молитва. Вдобавок никакие пожертвования первых прихожан не дадут необходимых средств — и именно денежные проблемы не дают покоя начинающему свой труд священнику...

А насчет того, что православие, мол, не любит купцов, — посмотрите толкование св. Василия Великого на Шестоднев. Говоря о том, почему море оказывается, по слову Библии, прекрасно в глазах Творца еще прежде появления человека, св. Васи-

лий в числе прочих мотивов называет и такой: «...морé прекрасно пред Богом потому, что обогащает купцов».

(Кстати, по подсчетам Дж. Келли, профессора университета Дж. Гопкинса, «доход на душу населения среди католиков в среднем чуть больше, чем среди протестантов» /цит. по обзору К. С. Гаджиева «Протестантский фундаментализм в общественно-политической жизни США».— «Религия и политика». М. ИНИОН. 1983, стр. 108/).

Конечно, вслед за «рыночными» аргументами сторонников протестантизации России идет аргумент «демократический»: протестантизм, мол, лишен иерархии, более индивидуалистичен и поэтому более демократичен, чем православие. Но на деле общинное начало гораздо более выражено в жизни протестантов, чем в весьма дисперсных православных приходах. Религиоведами уже давно отмечаются антимодернизм и традиционализм фундаменталистов, «отличающихся крайней приверженностью группе, жесткой дисциплинированностью и стремлением обратить в свою веру всех остальных» (там же, стр. 111). И даже в России протестантская община стремится в гораздо большей степени подчинить жизнь новообращенного члена своему контролю, чем это делает община православная (где скорее наблюдается другая крайность — равнодушие к только что крестившемуся человеку). Американские фундаменталисты у себя дома известны как противники разделения общества на мирскую и религиозную сферы и отделения Церкви от государства, предпринявшие довольно энергичные усилия для претворения в жизнь своих религиозных идей. В России, кажется, не осталось ни одного демократического журналиста, не продемонстрировавшего своего возмущения присутствием Патриарха Алексия на инаугурации Ельцина, но я не помню, чтобы кто-либо из наших борцов за «светскую демократию» высказал свое недоумение по поводу выступления Билли Грэма на инаугурации Клинтона (сам Грэм с радостью заметил, что это уже седьмой президент США, которого он благословляет на государственные труды) (см.: Питер Стайнфелс, «Священник при Белом доме Билли Грэм».— «Нью-Йорк таймс», недельное обозрение, 2—15.3.93).

«Наиболее далеко идущую попытку реализации своих принципов фундаменталисты и креационисты предприняли в штатах Теннесси и Арканзас, добившись принятия специальных законов, приравнивающих библейскую версию сотворения мира и человека по своей значимости к эволюционной теории. Закон, принятый в Теннесси, был отклонен как неконституционный апелляционным судом США... Как считают большинство исследователей, «новые христианские правые» внесли существенный вклад в поражение ряда ведущих деятелей либерального толка на выборах в конгресс 1980 г. и победу консервативных и правых кандидатов. Жертвами их агрессивной кампании стали, в частности, бывшие сенаторы Б. Бей, Дж. Макговерн, Дж. Калвер, Ф. Чёрч и др. Дж. Каннингэм, помощник Макговерна по административным вопросам, признает важную роль в поражении своего патрона «Моральное большинство». «Они пугающе эффективны. Они способны сделать все, если их не остановить»...» (цит. по обзору К. С. Гаджиева «Протестантский фундаментализм в общественно-политической жизни США», стр. 112, 121).

А как на деле независимы от государственных структур и безбоязненны лидеры российских протестантов, те, кому это было интересно, увидели в августе 1991 года. На эту тему честно высказался Сергей Сасов, сам, кстати, протестант. Я приведу длинную выписку из его статьи, поскольку она подтверждает многое из того, о чем я — как православный — говорил уже выше: «Сейчас уже никого не удивляет приезд в нашу страну американских телепроповедников. Необходимо отметить, что со стороны официальных республиканских, областных и городских властей они пользуются режимом наибольшего благоприятствования. Им предоставлены ведущие каналы государственных теле- и радиокompаний, арены спортивных комплексов... Но на многочисленных массовых евангелизационных собраниях, в своих конфессиональных печатных органах, во внутриобщинной жизни поместных церквей протестанты ненавязчиво — но твердо! — занимаются контрпропагандой православных догматов, подвывая порой резкой и ожесточенной критике саму Православную Церковь как религиозный институт. В бесчисленных протестантских брошюрах, наводнивших нашу страну, православие почему-то именуется не иначе как «так называемое христианство»... Я, работая над статьей, специально пересмотрел груды периодики за август—сентябрь прошлого года и — ни в одном из изданий! — не обнаружил ничего схожего хотя бы с запоздалым раскаянием в занятой протестантством в августе 1991 г. позиции. Протестантство хранило гробовое молчание» (Сергей Сасов, «Блаженны ли мы?».— «Диспут», стр. 146—147).

И сколько бы ни было грехов на совести православных иерархов, но в те августовские дни их позиция была все же более определена, чем позиция протестантов. По свидетельству Ельцина, еще 19 августа в телефонном разговоре Патриарх

Алексий подтвердил ему свою поддержку, а в ночь, когда все ожидали штурма Белого дома; пригрозил путчистам отлучением...

Я не хочу далеко входить в область богословской полемики православия и протестантизма... Говоря о протестантизме в России, я просто хочу обратить внимание на очевидный факт, признаваемый обеими сторонами: мы — разные. Это важно, ибо нормальная практика протестантской миссии в России такова: на первой беседе объявляется, что «мы христиане вообще», что мы, в общем-то, те же православные... И когда эти заверения вызовут доверие не разбирающихся в богословии слушателей, на третьей или четвертой встрече уже начнутся неброские, но настойчивые разъяснения «православных искажений». Еще несколько «библейских уроков» — и неопит уже готов врываться в православные храмы, увещевая прихожан отказаться от поклонения идолам (не верите — спросите у прихожан московской церкви св. Владимира в Садах, которая стоит как раз на пути от станции метро к баптистскому молебному дому). Скажем, на проповедях Грэма не было сказано ничего против православного. Но все трибуны стадиона были просеяны его московскими единоверцами, которые вступали в беседы с пришедшими, собирали адреса и телефоны и в свою очередь раздавали приглашения зайти за бесплатной Библией (в списке адресов указывались, конечно, только протестантские библейские кружки). Если же кто-либо признавался в своих симпатиях к православию, а не к «христианству вообще», с ним сразу вступали в жесткую полемику. Грэм привлекал людей. А в непосредственный контакт с ними вступали уже люди, настроенные гораздо менее миролюбиво.

В этой ситуации в глазах внешних наблюдателей православные оказываются в заведомо проигрышной позиции. Ведь антиправославную агитацию протестанты ведут при закрытых дверях, публично демонстрируя свою открытость. Поскольку же на стадионы приходят те, кто не ходит в храмы, и православный священник не может разъяснить складывающуюся ситуацию этим людям в храмовой проповеди, то, следовательно, он должен для этого использовать возможности проповеди внехрамовой, в средствах массовой информации. В результате именно православные выглядят как забияки, а отнюдь не иностранные миссионеры, развертывающие в России тихую антиправославную кампанию.

(Поэтому, в частности, свобода религиозной проповеди в России должна быть ограничена одним жестким условием: конфессиональная неанонимность. Куда бы ни приходил проповедник, он обязан прежде всего однозначно заявить о своей принадлежности к той общине, от имени которой пришел, назвав ее юридическое именование. Другое необходимое ограничение — конфессиональное подтверждение полномочий проповедника, чтобы от имени православных или тех же протестантов не проповедовали теософы или сторонники какой-нибудь «космической философии».)

Конечно, декларируемая американцами (или, скажем, мунитами) экуменичность импонирует многим российским интеллигентам. Но вспомним — у Достоевского один либерал-прогрессист говорит о себе: «...чем больше я люблю человечество вообще, тем больше ненавижу каждого человека в отдельности». Что-то очень похожее происходит в либеральных религиозных настроениях нынешней интеллигенции. Все чаще встречаются люди, чья устремленность ко «вселенскому духовному братству», к экуменическому объединению конфессий имеет своим ближайшим плодом нечто совершенно противоположное: усугубление религиозных разделений.

В Новороссийске несколько раз довелось встречаться и беседовать с одним очень хорошим и образованным человеком. Он кришнаит (причем скорее «рериховского», экуменического вкуса). И вот в этих беседах он так и не смог разубедить меня в абсурдности ситуации, в которую он сам себя поставил. Ища примирить Запад и Восток, Россию и Индию, христианство и ведизм, он прежде всего выпал из своей (изначально) Православной Церкви. Ища идеального единства и единства в идее, он разорвал реальные связи с религиозной общиной своего города. В «трансцендентальных» сферах и книжных грезах входя в Шамбалу, он не может переступить порога единственного реального храма в городе — православного. Устремленность ко «всемирному братству» проявилась прежде всего как разрыв общения с теми братьями, которые живут на его же улице, в соседних домах. Высшее, литургическое, евхаристическое соединение с ними стало для него невозможным. Поскольку же он не просто интеллигент, а всерьез верующий и религиозно честный человек, то он не может не чувствовать, что «единства в мысли» мало, что нужно единство в молитве, в таинстве, в жертве.

И вот этого единства он лишил себя. Можно, конечно, сказать, что он-де перерос конфессиональную узость местных прихожан, но такой снобизм не может быть

одобрен ни христианством, ни, наверное, даже кришнаизмом. И чем дальше, тем больше это чувство неловкости будет нарастать в душе, пока живые и близкие люди не станут восприниматься как досадная помеха на пути к идеальному единству. Мне, во всяком случае, доводилось слышать от московских кришнаитских лидеров (в их разговорах между собой, когда они не заметили, что приблизились уже к посторонним), что «в нашу эпоху кали-юги молитва идет так тяжело потому, что астрал отравлен тем, что христиане называют благодатью».

В этом случае ясно видна та сложность «экуменического» эксперимента, который предпринимают сейчас многие в России. И попытка проповеди «просто христианства», «христианства без конфессий» на деле оказывается лишь рекламным трюком, довольно скоро приводя к образованию очередной отъединенной общины («Церковь Роса», «Церковь Христа», «Движение экумеников» и т. п.).

На экуменических форумах протестанты заверяют православных в своих самых лучших отношениях. Реальность показывает иное. Ведь не так уж сложно понять, что в России человек с большим доверием получит то же Евангелие из рук и с благоволением Русской Церкви. Нетрудно понять, что люди лучше поймут того проповедника, который будет говорить без переводчика. Наконец, несложно догадаться, что в стране Достоевского иные представления о покаянии, чем у людей, считающих, что каяться можно постадионно. И рекламировать Евангелие на манер новой зубной пасты, может быть, и можно в Америке, но нельзя в России... Не зная традиций России, американские пропагандисты просто отталкивают от христианства многих и многих людей — гораздо больше, чем привлекают. «Миллиондолларовая улыбка разлилась по лицу молодой девушки... Миссис Сердиченко сказала: „Это было как бомба для Измаила, которая подорвала основание для многих религиозных традиций“» — так говорит рекламная листовка о выступлении Рода Мак-Дугала, «целителя»-евангелиста на Украине. Замечу, кстати, что в ней прямо признается и разрушительная по отношению к православию цель протестантской миссии.

Естественно было бы проповедь Евангелия в России осуществлять через Православную Церковь. Вместо вкладывания денег в создание параллельной сети приходов и школ, программ и газет можно было бы, как это предлагали неоднократно иерархи нашей Церкви, разрабатывать совместные программы свидетельства о вере или просто программы православного изучения Библии.

Реально же баптисты оказались готовы предложить лишь одну форму сотрудничества: эпизодическое участие православных священников в протестантских шоу. Это еще более лукавое действие, чем «экуменические» проповеди Билли Грэма. Люди, увидев православного священника на такого рода собрании, будут уже в полном убеждении, что здесь все православно, и с еще большей готовностью будут входить в те уже чисто протестантские кружки, которые будут основаны как итог стадионного шоу. Правила же участия православного в подобном мероприятии исключают возможность разьяснения различий православия и протестантизма.

Впрочем, есть простая возможность проверить искренность экуменических заявлений протестантов. Я мог бы, например, дать обещание, что в своих проповедях не буду противопоставлять православие и протестантизм, буду говорить о вещах, которые явным образом нас не разделяют. Но проведение этого цикла бесед православного проповедника о вере и Евангелии в каком-либо Дворце культуры пусть оплатят протестанты... Пока такого рода предложения не вызывали энтузиазма у руководителей протестантских миссий.

А предлагать такого рода сотрудничество приходится по одной простой причине: финансовые возможности Русской Православной Церкви и протестантских миссий несопоставимы. Курс доллара по отношению к рублю делает возможным даже самое незначительное долларовое пожертвование превратить в рублевый дождь, который выстелит дорогу через все административные кабинеты к любой школе, любому стадиону, любому телеканалу... Московская же Патриархия не может даже своим сотрудникам выплачивать зарплату, хотя бы возвышающуюся над чертой бедности. Восстановление храмов в беднейшей стране с нищающим населением и без поддержки государства может свершиться только чудом Божиим. Ведь те храмы, что в течение тысячи лет строились в достаточно богатой и всецело верующей стране с поддержкой богатых сословий и государства, храмы, разрушавшиеся семьдесят лет, надо восстановить за десять лет (иначе они просто рухнут) в стране, где православных уже меньшинство, государство — светское, а богатых сословий (в исконном смысле этого понятия) попросту нет (и сословной этики тоже нет).

Поэтому, если не принимать в расчет Божий промысл, а пытаться делать чисто человеческие расчеты, можно сказать, что то, какой будет религиозная карта России через десять лет, зависит от одного-единственного фактора: финансового. Та Церковь или секта, у которой финансовая подпитка будет регулярнее и мощнее, купит больше времени на телевидении, больше газет, больше чиновников... «Будут брошены все

силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя русского возрождения», — предупредил еще в 1989 году человек, не понаслышке знающий отношение протестантской Америки к России, глава Русской Зарубежной Церкви митрополит Виталий. Дезинтеграция России (а также России и Украины, России и Белоруссии, России и Молдавии) до тех пор не будет полной, пока она не станет религиозно мотивированной.

Россия до тех пор будет сохранять потенции к воссоединению и возвышению, пока религиозная энергия русских будет идти в одном направлении. Именно поэтому те, кто не заинтересован, чтобы Россия «встала и возвышалась», заинтересованы в том, чтобы христианская Россия не была едина. Ни одной конфессии (даже баптизму) не будет позволено стать действительной религией большинства, а чем больше энергии религиозных людей будет уходить на выяснение их отношений между собою, тем менее значительно будет присутствие духовного фактора в политике.

Субъективные намерения очередного евангелизатора России — это одно. А объективные последствия религиозной «колонизации» — нечто иное. Американский госдепартамент вряд ли когда-нибудь выступал с заявлением, что у США нет своих национальных интересов в России, а самый естественный из этих интересов — устранить конкурента. И самый успешный способ устранения — это такое его перевоспитание, в ходе которого он начинает считать, что его интересы тождественны с интересами нового «старшего брата». И вот уже молодое поколение россиян в соответствии с убеждением «США — ум, честь и совесть нашей эпохи» выбирает «общечеловеческие ценности» в лице пепси-колы и Билли Грэма.

И здесь уже человек, чувствующий хоть какую-то ответственность за пути России, должен спросить: а к чему же вдобавок к социальным и национальным конфликтам, раздирающим российское общество, возвращать и религиозный конфликт? Политик не может исходить из убеждения, что он живет в обществе идеальных людей. Реальность такова, что религия легко становится школой ненависти к тем, кто верит иначе. А русские очень серьезно относятся к своим религиозным взглядам (во всяком случае, те, у кого эти взгляды есть). Я не говорю, что баптисты будут рушить православные храмы или православные пойдут громить протестантские стадионы. Но чем больше в России будет протестантов — тем больше будет людей, которые на каждом шагу будут встречать раздражающие их знаки присутствия отвергнутой ими веры и культуры. В свою очередь, могу засвидетельствовать, что православный не очень уютно себя чувствует в вагоне метро, оклеенном баптистскими листовками. И эта исподволь провоцируемая раздраженность будет выплескиваться затем и по другим поводам в виде крайнего политического радикализма (скорее всего крайне левого у протестантов и крайне правого у православных).

Кроме того, никто еще не озаботился вопросом о том, найдут ли протестанты *modus vivendi* с мусульманами. Православные, худо-бедно, научились жить в одном городе и на одной улице с мусульманами. Но это мирное сосуществование установилось в результате негласного раздела «сфер влияния»: православные занимаются духовной работой с людьми традиционно христианских народов, а мусульмане работают в нациях традиционно исламских, без попыток взаимного прозелитизма. Протестанты, естественно, обвиняют православных в миссионерской пассивности и полны решимости привести к общему баптистскому знаменателю не только Россию, но и Среднюю Азию и мусульманское Поволжье.

Не случайно поэтому в Молдавии и Армении (как и в Киргизии и Узбекистане) уже наложены ограничения на деятельность протестантов: они могут собираться в своих общинах, но им не разрешается использовать для проповеди государственные и общественные центры и институции. Армянский парламентарий так мне пояснил смысл соответствующего постановления: «Мы слишком маленькая нация, чтобы позволить себя еще расколоть».

От российских властей не скоро дождешься гибкой и умной религиозной политики.

Человеку, который сознательно и выстраданно решил уйти из Церкви, никто не должен мешать. Это его боль, его трагедия, его неудача (и наш грех). Я знаю людей, для которых в силу их жизненного пути и характера органичнее быть протестантом, чем православным. И они сами найдут свою дорогу.

Но, во всяком случае, директор школы или библиотеки, журналист или администратор, прочитавшие эту мою статью, могут задуматься о том, что наличие права на проповедь своих убеждений у предлагающего ему сотрудничество баптиста совсем не означает наличия у него самого обязанностей помогать ему в этом. Директор школы должен представлять себе, что, открывая дверь в класс перед протестантом, он доверяет детей человеку, который гарантированно научит их не любить православие, историю и культуру России, а вот научит ли он их любви к людям и ко Христу — гарантировано быть не может. Во всяком случае, я сомневаюсь в успешности

методики, предлагаемой баптистским «Методическим вестником для учителей воскресных школ» (стр. 42): «Когда дети играют с кубиками, воодушевляйте их и скажите так: «Молодец, Петя! Ты хороший помощник. Библия говорит, что у Христа были хорошие помощники». Когда дети помогают друг другу, поощряйте их. Откройте Библию и скажите: «Петя и Андрюша складывают кубики вместе. Библия говорит, что мы работаем вместе»...»

То, что я говорил выше, говорить тяжело. Потому что легче всего сказать, что вот здесь есть заблуждение и такое вот обращение с Евангелием опасно. Но при каждой моей беседе с людьми, которые посещают баптистские собрания, я знаю, что в конце мне зададут вопрос, на который я не смогу ответить. Это вопрос о том, чем же и как, где и у кого они смогут заменить протестантские библейские кружки. Да, хорошо, они поверхностные, да, не со всем тут стоит соглашаться, да, мы с большей радостью ходили бы на аналогичные встречи православных. Но... где найти эти встречи? Кроме того, почти у каждого из этих моих собеседников есть рассказ о случае, когда с ним в православном храме обошлись недостойно...

Можно сколько угодно говорить о протестантской экспансии, но все эти разговоры будут духовно беспомощны и просто вредны до тех пор, пока мы, православные, не поймем: не протестанты (католики, кришнаиты, муниты) уведут от нас людей — люди уходят от нас. Мы сами отталкиваем людей, которые не встретили в нас той человеческой теплоты и участия, того живого и искреннего разговора о вере, который им предложили их новые знакомые.

Почему?! Говорить об этом больно, но ведь всякая попытка пространственного разделения добра и зла в мире людей (в иностранных миссионерах — исток зла, а в наших священниках — чистый родник духовности) чрезвычайно далеко отстоит именно от православного понимания безграничной пластичности человека... И упомянутый выше путь от метро к церковному порогу все же значительно короче и легче, чем путь от церковного порога к Царским Вратам. А раз путь дольше, значит — больше возможность ошибки; и раз ближе к Святыне, значит — больше искушений, больше опасность подмен...

## II

Внимание многих философов и художников привлекает состояние человека в момент выбора, когда в нём рождается решимость к вере. Но вот выбор позади. И наблюдателю так легко сказать: ты, мол, теперь спрятался от своих былых вопросов за стенами догматов, теперь ты уже не испытываешь той муки и той ответственности, что были раньше, ты укрылся в интеллектуальном уюте конфессии от сквозняков неудобных, вечных и проклятых вопросов...

В таких упреках богоискателя богослову есть своя правда. Но все же эта ситуация многомернее. С принятием мною веры и Церкви сфера моей ответственности не сужается. Напротив, она невыносимо и безмерно расширяется. Если прежде лишь один вопрос не давал забыть о себе, вновь и вновь долбя свое «а вдруг...», то теперь, когда ответ на тот, первый, вопрос сочтен найденным, с не меньшей навязчивостью возникают уже многие другие. Ведь я, входя в Церковь, принимаю как свое все, что было в ее истории и жизни. То, что является для меня святыней, обретает более ясные черты, но это значит, что и искажение каждой из этих черточек оборачивается кощунством и болью. Человек, почти обретший веру и вдруг пронзенный мыслью, что Бога нет, испытает не меньшую боль, чем церковный человек, который вдруг усомнится в адекватности формулировки, скажем, халкидонского догмата... Все, что касается святыни Церкви, опоясывает ее веру и мысль, молитву и Литургию, все это с момента крещения — мой болевой порог. Говорят, круг нашего познания, расширяясь, умножает и протяженность той поверхности, которою шар нашего знания соприкасается с океаном непостижимости. Но так и «нуминозное» чувство Святыни, обогащаясь и обретая все более зримые черты в живом росте веры, все более раздвигает список тех вопросов, способ ответа на которые человек непосредственно соотносит со способом самого своего бытия, с окончательным смыслом своей жизни. Не соглашаясь с ветхозаветной категоричностью Соломона, все же признаем, что «умножающий познание» по меньшей мере рискует умножением своей же скорби...

Так и познание реальной жизни Церкви, которая уже две тысячи лет живет в Духе Божием и те же две тысячи лет умирает в человеческих грехах, дает не только радость (в том числе и радость о людях, о замечательных людях Церкви), но и печаль.

Уже которое столетие нашей Русской Церкви говорят: «Почему вы не проповедуете Евангелие? Или вам не дорога Истина, врученная вам? Или вы сами не считаете ее незаменимо необходимой для людей и потому не проповедуете?» Именно так в прошлом веке беспокойный богослов, друг и корреспондент А. С. Хомякова, англиканин Пальмер пояснил, почему после многолетних попыток присоединения к

православию он и его друзья, старавшиеся найти выход из протестантских тупиков, в конце концов все же перешли в католичество...

Почему еще в XIII веке не русский или греческий монах принял за перевод Нового завета в Псалтири на язык монголов, а католик Иоанн де Монтекорвино? Почему, наконец, стремительное крушение русского национально-государственного быта в те не такие уж давние проклятые годы вызвало столь же стремительный обвал религиозности и церковный народ, лишенный пастырей, оказался не в состоянии передать Евангелие и веру своим детям уже в первом же поколении? (В Западной Украине и Белоруссии, где за межвоенные годы успели создать сеть церковных школ, прихожане после войны уже без священников смогли воспитать и своих детей и внуков в вере.)

У каждого человека есть свои, характерные для него искушения. И у каждой эпохи, каждого народа и культуры есть свойственные именно им поводы ко греху. Кажется, и для каждой христианской конфессии есть характерные искушения. Искушение православия — это искушение сложностью и богатством церковной традиции, искушение историей.

Из всех форм богослужения православие выбрало и оставило самую прекрасную и сложную, но только ее. Можно восхищаться красотой и глубиной Всенощной или Литургии, но это доступно лишь тем, кто уже всерьез вошел в мир православной молитвы. Наше богослужение пришло из эпохи, когда религиозность была органичной и Литургия не противоречила укладу остальных дней недели, а венчала его. Сегодня уже иначе: за порогом храма мир иной и, в общем-то, враждебный Литургии. Поэтому сегодня людям хочется больше разъяснений, для которых наше обычное богослужение не оставляет места. Конечно, за этим желанием стоит и столь характерная для нашего времени страсть к интеллектуализированию, тяготение к подмене работы души работой мысли. Но разъяснение того, какой смысл стоит за каждым шагом веры и молитвы, за литургическим действием и за формулой догмата, сегодня необходимо; еще более необходимо понимание простой вещи: то, что есть в традиции Церкви, — это помощь в шестивии души ко Христу. Не меньше — но и не больше.

Да в православном богослужении есть то драгоценное, нерукотворное, без чего самые современные и агитационно эффективные собрания протестантов лишаются религиозной вертикали: есть Таинство. Но все же православное богослужение слишком замкнуто: оно строится (по очень сложным, симфоническим принципам) как бы само по себе, не учитывая, какой человек зашел сейчас в храм. Кажется, эта мистерия может свершаться вообще без человека. Здесь тройная сложность — сложность литургической архитектоники, сложность церковнославянского языка и сложность музыки. Первая сложность связана с тем, что богослужебный устав Православной Церкви — это устав монастырский, приходского же устава нет, и священник, неизбежно вынужденный сокращать службы, обречается делать это с угрызениями пастырской совести. Само же богослужение строится по законам византийской поэтики, а ведь то, что впечатляло и пробуждало эстетическое и религиозное чувство византийца, совсем необязательно способно так же действовать на современного россиянина...

Церковнославянский язык богослужения, при всей своей красоте и глубине, помогая молитве людей уже воцерковленных, становится преградой для людей, стоящих только на церковном пороге. Он не был полуиностранным языком в прошлом веке, когда с младенчества человек дышал атмосферой храма, но сегодняшние люди переступают порог храма, уже потеряв детскую языковую гениальность. Естественная русификация церковного языка, которая шла от крещения Руси, была остановлена в XVII веке, ибо книгопечатание раз и навсегда установило обязательные нормы, исключив бессознательную модернизацию древних текстов переписчиками рукописей. Многие слова за три века изменили свой смысл на противоположный или даже стали восприниматься как грубые, но продолжают оставаться в церковных книгах. Наконец, грамматика церковнославянского языка сходна с грамматикой не русской, а греческой, что очень облегчает жизнь семинаристам, зубрящим греческий язык, но делает просто невозможным понимание многих текстов в храме даже человеком, изучавшим церковнославянский на каких-нибудь приходских курсах. Нет, церковнославянский язык нельзя считать мертвым — потому что не может быть мертвым язык, на котором люди молятся. Но именно потому, что он жив, он и не требует музейной мумификации, а вполне допускает обновление и развитие как своей грамматики, так и лексикона.

Наконец, сложность церковной музыки также способна затруднять восприятие смысла богослужения. У современного человека нет той певческой культуры, что была у русского человека прошлого века, он не умеет слышать слова за музыкой. Поэтому примитивные баптистские песенки, которые человек может подхватить, больше вовлекают его в соборную молитву, чем концерты Бортнянского или Велеля.

Поэтому так оживляется храм, когда диакон призывает всех собравшихся вместе пропеть на простой мотив «Богородице Дево», «Сподоби, Господи» или «Отче наш».

Неужели католикам легко было отказываться от мессы Моцарта? Но пришлось, чтобы люди могли участвовать в богослужении, ввести простые распевы. Обиходные распевы Русской Церкви даже не нужно менять — и так значительную часть службы может петь весь храм. Но между московскими приходами разворачивается соревнование совершенно обратного свойства: у какого батюшки больше поется сложнейшим знаменным распевом (считается, что это показатель древнего благочестия и молитвенности, а на то обстоятельство, что при пении знаменным распевом разобрать смысл текста еще сложнее, чем при исполнении Бортнянского, внимания не обращается). Вот и разгадывает человек, зашедший в храм, два ребуса сразу: из очень сложной и растянутой мелодии ему, обычному горожанину, не обладающему никакой песенной культурой, надо сначала выделить текст, а затем еще попробовать с ходу перевести его с церковнославянского на русский. И лишь после этого, уже поняв, о чем речь, повторить понятое про себя, молитвенно обращаясь к Богу или к тому святому, о котором идет речь.

Я видел старых католических священников, которые с болью и тоской говорили о том, что они мечтали бы совершать мессу на латыни, как в дни их юности, но ради людей, ради прихожан они отказывают себе в этой радости. Ницше когда-то обвинял христианство в антиаристократизме. Если бы он знал современное российское православие, он взял бы свои слова обратно. Чем сложнее и непонятнее для восприятия современным человеком храмовое действо, чем дальше отстоит проповедь от реального мира собравшихся в храме людей, чем ригористичнее позиция духовника и проповедника — тем более православным считается такой приход.

Характерное искушение православных проповедников — застревать в плотных слоях православной традиции и так и не доходить до Евангелия. Так много пересказывается житий святых и рассказывается о чудотворных иконах, что я думаю, что не солгала мне одна пожилая женщина, перешедшая к баптистам, сказав, что она несколько лет ходила в православный храм, но только баптисты ей сказали, что Христос умер, оказывается, ради спасения людей, в том числе и ее самой... Действительно, нетрудно найти храм, в котором проповедь день за днем и год за годом вертится вокруг тезиса: сегодня наша святая Православная Церковь празднует память такого-то святого, который был свят тем, что был верен святой Православной Церкви, что научает и нас хранить верность святой Православной Церкви и жить в послушании и смирении, не забывая жертвовать на нужды нашего святого храма<sup>1</sup>. Человек погружается в изучение огромного мира православной аскетики и истории, Евангелие же читает и цитирует все реже и реже...

Многие поминают преп. Сергия и пишут о нем чаще, чем о Христе, а в подвиге преп. Сергия помнят лишь «батальный эпизод» и не замечают его молитвы и любви. И тот факт, что средний россиянин сегодня жизнь преп. Сергия знает лучше, чем жизнь Иисуса, не есть ли всего лишь яркий пример все того же искушения богатством церковной истории? Не в России раздались слова Лютера, раздраженного отсутствием евангельской проповеди у христианских священников, но зато и по сей день они приложимы к России: «Раньше проповеди посвящались главным образом таким несерьезным и ненужным делам, как перебиранию четок, почитанию святых, монашеской жизни, паломничеству, правилам о постах, церковным праздникам, братствам и т. д. ...» («Аугсбургское вероисповедание». Эрланген. 1988, стр. 63). В отличие от Лютера я скажу, что это вещи нужные и разговор о них нужен, но лишь после того, как проповедано Евангелие.

«И сие надлежит делать, и того не оставлять». Но есть тут одно обстоятельство, которое дает огромное преимущество среднему протестантскому проповеднику перед средним проповедником православным. Случается, что профессиональному проповеднику становится скучен предмет его проповеди (это не неизбежно в личной судьбе, но «статистически» происходит в общей эволюции религиозной общины). И тогда как этот проповедник (бывший таким ранее по зову сердца, а теперь — лишь по своему статусу в общине) будет отвечать на искренние вопрошания и крики помощи, обращенные к нему людьми, которые требуют, чтобы Евангелие сказало им об их, и именно их, жизни, об их, и именно их, ситуации в мире сем? Очевидно, такой институциональный проповедник будет прибегать к повторению неких штампов,

<sup>1</sup> Содержанию подобных «проповедей» соответствует и форма. «Когда с амвона церкви на Смоленском кладбище, куда меня привели скорбные обстоятельства, я слышу в воскресной проповеди: «Осуществляйте повседневный нравственный контроль над собой. Будьте начеку. Ситуация, в которой мы все оказались...» — да это же речь выпускника советской партшколы! И не отличника, а провинциального тресчаника. Какой черт учил нынешних попов русскому языку?!» (Михаил Кураев об основах морали. Интервью.— «Московские новости», 21.3.93).

некоторых проповедническо-успокоительных формул, оставшихся в его памяти и разуме от бывшего переживания веры. И вот здесь, мне кажется, явное преимущество практики протестантизма: православный священник скорее скажет: «Ты молись и кайся, а Божия Матерь тебе поможет», — а баптистский наставник скажет тоже штамп, нечто вроде: «Господь тебя любит, ты главное помни, что Он умер за тебя и Он тебя не оставит». Но вот по человеческой и даже богословской глубине — какой же из этих штампов подлиннее, живее и действеннее?

Сама церковная проповедь — как она чаще всего ведется в православном храме сегодня — обременена еще двумя недостатками. Во-первых, это неестественно высокая интонация речи, как будто каждая фраза кончается восклицательным знаком. Поток императивов обрушивается на человека, которому гораздо важнее услышать именно тихую беседу. Всякая попытка диалога здесь исключена, а формы общения со священником не во время богослужения в русском православии еще не воссозданы. А вот о второй особенности сегодняшней православной церковной проповеди (и храмовой и внехрамовой) надо говорить более серьезно, ибо она разрастается уже в очень серьезный барьер между Церковью и современным миром людей.

Десятилетия церковной разрухи, систематическое вытравливание высокой богословской и религиозно-философской мысли не могли не сказаться на самой Церкви, на облике ее сегодняшнего богословия. Сегодня можно только поражаться обстановке в духовных академиях конца прошлого — начала нынешнего века. И предметом удивления и зависти является не только высочайший научный уровень работ тогдешних историков и богословов, но и удивительная терпимость, составлявшая как бы естественный фон академической жизни. Несмелов и Тареев, Флоренский и Антоний (Храповицкий) могли делать свое дело, не опасаясь того, что в каждой их строчке будут выискивать ересь и злоумышление против православия. В той атмосфере книги, скажем, о. Александра Меня вызвали бы дискуссию, ряд специалистов предложил бы свои поправки, академические журналы опубликовали бы несколько откликов (в том числе научно-критических) — но никто не стал бы превращать отношение к книгам и ошибкам о. Александра в критерий православности. Сегодня же в церковной и даже академической среде вопрос о Менѣ — это вопрос о партийной лояльности (которая, естественно, понимается как конфессиональная чистота).

В начале века авторы «Вех» указывали на своеобразное «равнение налево» в либеральных кругах: нормативным интеллигентом и либералом считался террорист. Если кто-то бомб не бросал, а просто аплодировал взрывам, его лояльность «ордену интеллигенции» уже вызвала некоторые сомнения. А если кто-то робко пытался спрашивать: а зачем бомбы-то бросать? — в нем опознавали врага прогресса и демократии и клеймили как несчастного «кадета».

Сегодня в Церкви аналогично выстраивается шеренга «равнения направо». Нормативный православный — это тот, кто считает, что жида царя-мученика принесли в ритуальную жертву. Если кто-то полагает, что Николай Второй был действительно мучеником, но при этом молчит насчет «жидов», то само его умолчание уже заставляет подозревать в нем некие тайные умыслы против «чистоты веры». Ну а если кто-то выразит недоумение, стоит ли канонизировать человека, не без участия которого в России произошла катастрофа, «общественное мнение» незамедлительно заклемит его как тайного жидомасона, «обновленца», «католика» и изменника православию. Сами критерии православия удивительно сместились. Не согласие с Никео-Константинопольским Символом Веры, с учением Семи Вселенских Соборов считается теперь условием православного вероисповедания, а отношение к «еврейскому» и «монархическому» вопросам. Не так давно на заседании правления Союза Православных Братств меня допрашивали — почему в своих статьях я полемизирую с протестантами и католиками, но не разъясняю человеконенавистническую суть иудейства?.. В конце концов выяснилось, что для собравшихся все православие сводится к ответу на два вопроса — «кто распял Христа?» и «кто готовит пришествие антихриста?» (ответ подразумевается однозначный — иудеи. Сомневающиеся могут справиться в посвященной мне статье «Диакон всея Руси и ересь новожиждовствующих» в газете «Земщина»).

Это «равнение направо» провоцирует очень много особенностей сегодняшнего церковного обихода.

Да, церковная жизнь должна отличаться от мирской, но овладение элементарной вежливостью, очевидно, должно предшествовать попыткам «стягания Святого Духа» и «обожения». Церковные этика и этикет действительно отличаются от светских, но взирание церковного сторожа сверху вниз на всех заходящих в храм вряд ли предписывается даже церковной этикой. Лесков этот православно-административ-

ный восторг описывал точно: «Какой вам тут Божий храм? Это наша с батюшкой церкви!» А от III века к нам дошла горькая мысль св. Иринея Лионского, который суть первого грехопадения (по образу которого совершаются и все остальные наши грехи) выражал простыми словами: «Не став еще людьми, хотели стать богами»...

Это «равнение направо» парализует миссионерскую волю священников и семинаристов. Дело в том, что слово миссионера неизбежно слегка «вольнодумно»: поскольку он обращается к людям нецерковным, он не может говорить с ними на языке внутрицерковного общения и мысли. А значит, он должен говорить на нецерковном языке, который, конечно, менее приспособлен для выражения духовных тайн и несет в себе профанирующий заряд. Достаточно услышать речь миссионера какому-нибудь собственноручно церковному человеку — и он будет ею покороблен. Если же церковная среда в этот момент готова впитывать и с радостью распространять сплетни о том, что такой-то, оказывается, еретик, посмеявшийся сказать то-то и то-то, то понятно, что репутация проповедника в самой Церкви будет весьма подмочена. Если у него есть глубокое и твердое понимание своего церковного служения, он сможет, хотя и с горечью, вынести холодность своих собратьев и не отречься от своего свидетельского служения. Но если раз или два ударить по рукам мальчика-семинариста или начинающего священника — он замолкнет и предпочтет безопасные пустышки в стиле вышеприведенных семинаристов. Хотя именно церковная традиция требует искать новых и новых слов и форм для выражения все тех же событий, происходящих в глубине человеческой души.

Я помню, характерный случай был и у нас в семинарии. Преподаватель, священник, который знакомил вновь поступивших семинаристов с академическим музеем иконописи, начал свой разговор несколько необычно: «Если человек впервые попадает в кабину летящего авиалайнера, он не будет сразу садиться за пульт управления, не будет давать советы экипажу, а попробует сначала хоть чему-то научиться. Это считается само собой разумеющимся. Но вот этот же человек приближается к Церкви — и сразу предлагает что-то поменять, переставить, поправить. Нужно же иметь хоть какое-то познавательное смирение при прикосновении к святыне Церкви...» По неосторожности пересказав эти слова преподавателя его коллеге, тоже священнику, тоже с университетским образованием, я услышал совершенно неожиданную реакцию: «Да как же можно Церковь с самолетом сравнивать!..» Но в Евангелии проповедь Христа была удивительно дерзкой: «Чему уподоблю Царство Небесное — закваске, брошенной в тесто». А ведь закваска — это обыкновенные дрожжи, самый обыденный предмет, вдобавок в Палестине слегка профанный, ибо на Пасху квашенный хлеб есть не полагалось. «Еще подобно Царство Небесное купцу...» Всем знакомое место из проповеди Сына Человеческого. Но переведите его на современный язык для того, чтобы понять, как режущее-необычно оно прозвучало впервые: уподоблю искание Царства Божия холдинговой компании, которая, узнав, что появился некий выгодный проект, продает низкорентабельные акции, чтобы купить новый патент...

Это «равнение направо»,веряющее православие всех окружающих по своим меркам (что психологически оказывается необходимо, ибо писаных-то норм православности уже оказывается недостаточно), замыкает священников в кружки «Проверенных единомышленников» и лишает труд миссионера внутрицерковной поддержки. В дни проповедей Билли Грэма в Москве на рекламу Грэма работали все протестантские общины не только Москвы, но и России. И, видя это, я задался вопросом: а если бы талантливый православный проповедник (скажем, митрополит Антоний Сурожский) приехал в Москву и начал цикл проповедей в каком-нибудь Доме культуры — готовы ли были бы московские священники накануне его приезда в своих проповедях призвать своих слушателей посетить беседу владыки Антония? Несомненно, многие священники это сделали бы, но при этом скорее всего по церковной Москве был бы пущен слух о том, что владыка, во-первых, по фамилии Блум, во-вторых, иностранец и вообще подозрительно мягко отзывается о католиках, а потому истинно православному нечего слушать всяких тут...

Это «равнение направо» приводит к серьезному смещению акцентов в самом разговоре о духовном пробуждении России. Газеты, листовки и проповеди говорят одно: «...идет обретение корней, возврат к истокам, обретение исторической памяти, восстановление прерванных традиций, возвращение обычаев...» Мне кажется, что так может представляться происходящее инопланетянину или по меньшей мере совершенно стороннему безрелигиозному наблюдателю: эмпирически, мол, установлено, что сто лет назад по улицам Москвы в такие-то дни ходили крестные ходы и сейчас ходят — ergo, исчезнувшая на время форма социального поведения восстановилась! Но человеку, который изнутри, в своей жизни пережил обращение к вере и вхождение в Церковь, естественнее описывать происшедшее с ним не в терминах возвратного характера, а в словах, передающих тот опыт неслыханной новизны, с

которым он соприкоснулся. Это для социолога и этнографа что-то «восстановилось», — сам же он научился быть таким, каким еще не был. Разрыв между внутренним опытом и тем, что ему говорят о его опыте, у многих вызывает недоумение и непонимание. У еще большего числа людей предложение возвратиться к чему бы то ни было бывшему вообще не вызывает прилива радостных чувств. И пора бы уже перестать эксплуатировать тему «возрождения традиций» — но чувства меры у нас не хватает. И не слышат предупреждающих слов Тертуллиана, еще в III веке сказавшего: «Христос называл себя Истиной, а не традицией!»

Это «равнение направо» приводит к тому, что православие начинает восприниматься как сугубо национальное достояние: «Это наш русский обычай такой — детей крестить». Попытка национальное и государственное чувство поставить на его место, то есть ниже чувства религиозного, наталкивается на резкое неприятие. Есть довольно простой способ обнаружить религиозную доброкачественность национального чувства. Родина — это ценность. Россия — это несомненная ценность. И православие — это ценность. Но в сознании думающего человека разные признаваемые и исповедуемые им ценности находятся в иерархическом устройении, менее значимая подчиняется более значимой. Это подчинение, в частности, говорит, что в случае их столкновения меньшая ценность должна уступить той, которая почитается как большая. Меньшим надлежит жертвовать ради большего. Так вот, я предлагаю такой вопрос решить для себя: какую Россию я, как православный, уже не могу защищать?

Но в общественной проповеди Церкви сегодня нет этого свидетельства о том, что в конце концов выше России, ее истории и культуры. Такое ощущение, что само православие ценится лишь потому, что служило собиранию России. Замечательно, что националистическое понимание православия смыкается с экуменическим. И в том и в другом случае православие ценится только как «русская религия». Известного священника и депутата, о. Александра Борисова, человека отнюдь не правых взглядов, однажды в телеразговоре спросили — почему он стал православным? «Ну, я подумал, что если бы Бог хотел, чтобы я стал индуистом, он привел бы меня родиться в Индии, а поскольку я родился в России, для меня естественно быть православным». Может ли быть более националистическое понимание религии? И Христос — все-таки Истина или национальная традиция? Совместными усилиями патриотов и экуменистов в конце концов Церковь станет выглядеть как ритуально-этнографический заповедник, хранящий добрые старые русские традиции. Но ведь в заповедник не обращаются за советом по решению сегодняшних жгучих вопросов и в музей истории медицины не приходят за излечением.

После петровских реформ Православная Церковь оказалась в России в своеобразном культурном гетто. Аристократия, а затем и народившаяся культурная интеллигенция сторонились ее, предоставляя Церкви «удовлетворять религиозные потребности масс». Нужен был подвиг Пушкина и Гоголя, Достоевского и Хомякова, Соловьева и о. С. Булгакова, чтобы стена взаимного отчуждения Церкви и культуры, Церкви и мира университетского образования (а значит, мира общественных элит) рухнула. Но сегодня уже сами церковные проповедники и публицисты систематично загоняют себя в то же гетто, отказываясь и от опыта русской религиозной философии, и от светской христианской культуры, и от познающего, а не обличительного диалога с миром западной христианской мысли. Когда же однажды обнаружится, что в университетах с большей теплотой встречают улыбчивых католиков, что молодежь, не озабоченная решением «русского» или «еврейского» вопроса, изучает Евангелие у баптистов, а телевизионные и газетные редакторы уже не хотят в сотый раз помещать рассказы о возрождающихся монастырях и реставрируемых иконах, — будет уже поздно искать «злокозненных масонов», которые-де хитроумно исключили Православную Церковь из мира культурной и общественной жизни.

Надо наконец решить, в каком веке мы живем — в XIX или в XX. И если все же в XX, то не надо издавать церковные книги для детей с ятями и ерами. И не надо переиздавать книжки, в которых священнику разрешается не хранить тайну исповеди: в том случае, если кающийся исповедуется в злом умысле против государя, и из противокатолического катехизиса лучше уж убрать обвинение католиков в том, что они-де в отличие от нас служат на непонятной народу лагны (католики-то — в отличие от нас — уже тридцать лет как служат на современных языках, но почему-то считается, что из книжки прошлого века и слова выкинуть нельзя).

Нельзя надеяться на атавизм: корни, мол, дадут о себе знать и в русском народе исконная тяга к православию победит. Наличие богатой духовной и исторической традиции православия в России задает лишь некое благоприятное пространство, в котором наше движение может находить плодотворный отклик. Но для того чтобы в самом акустически благоприятном храме зазвучало эхо, нужен все же внятный и громкий человеческий голос.

Духовная традиция не есть что-то, что можно построить или «возродить» вокруг меня, но помимо меня. Поэтому ко мне, к каждому человеку и должна быть обращена проповедь. Потому что сколь красиво ни рассказывали бы проповедники о Евангелии или о символике русской иконы, в конце концов им зададут один простой вопрос: «Вы хорошо говорили, и все это действительно и умно и духовно, но вы ответьте: а мне, вот именно мне — зачем это надо?» И пока мы не научимся отвечать на этот самый очевидный, но самый сложный вопрос, наша проповедь будет безадресно-абстрактной. Впрочем, лучше не отвечать на него, чем отвечать заготовленными штампами...

Православные в сегодняшнем мире похожи на альпинистов в летнем городе. Представьте: жара, в льняных тапочках и то жарко — и вдруг идут люди с заготовленными теплыми шапками и куртками, с теплыми сапогами, на которых вдобавок набиты шипы. Зачем ледорубы в городе? Зачем шипы на асфальте? Но если хоть что-то из их снаряжения останется в долине, то там, наверху, цена беспечно отброшенного может оказаться непомерно высока. Так и в православии все рассчитано на движение, на трудное восхождение. Там, на духовных высотах, станет понятно, зачем пост и зачем церковнославянский язык, зачем столь долгие богослужения и почему в храмах почти не ставят скамеек, о чем говорит почитание святых и что даёт человеку икона... Ну в самом деле, не станет же случайно зашедший пассажир говорить в кабине авиалайнера, что вот тот рычажок ему кажется лишним и вообще не соответствующим современному дизайну... Но как бы ни были необходимы альпинистам все их сложные снасти — идти должны сами альпинисты, и не шипы и ледорубы несут их к вершине, а люди несут с собою то, что может помочь им в их восхождении.

Православие нужно людям. И здесь равно важно понять и то, что люди нуждаются в духовной красоте и гармонии православной традиции, и то, что само православие существует ради людей. Нельзя относиться к людям как к несмышлёнышам, которых вот только допусти в наш музей православной традиции, как они сразу там что-нибудь испортят.

Я не думаю, что те искушения и особенности российского православия, о которых я говорил, исчезнут когда-нибудь, и тем более в ближайшем будущем. Но рядом с православием, смотрящим назад, будет расти и православие, смотрящее на человека. Будут храмы со знаменным пением и полумонастырским богослужением — и будут миссионерские храмы со службой на современном языке, где молитва будет перемежаться с проповедью и беседой. Будут люди, чей путь вел через принятие православия к любви к России, и люди, чья любовь к России подвела к принятию православия. Мы сейчас разные. Мы будем разные. Но я все же надеюсь, что в России вспомнят о мудром принципе древней Церкви: «В главном — единство, во второстепенном — многообразие, и во всем — любовь».

Дай Бог, чтобы поскорее настало в России время, когда православные перестали бы быть самой заметной помехой на пути людей к православию...

Впрочем, здесь я уже перешел в ту тематику и ту тональность, которую лучше меня удалось раскрыть Бердяеву в его статье со столь много говорящим названием «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». Я же просто хотел показать, что Церковь — это очень сложный мир: ведь это мир человека, и хотя бы поэтому он не может быть простым. Но именно эта сложность, многомерность церковной жизни, как мне кажется, даёт надежду на то, что любой человек в серьезном и честном поиске сможет в ней найти место и для своей молитвы Единому Богу.



# ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

## ТЮТЧЕВ В «ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДСТВЕ»

А мы — Леонтьева и Тютчева  
Сумбурные ученики...

Г. Иванов.

**Д**евяносто седьмой, посвященный Федору Ивановичу Тютчеву, том «Литературного наследства» — в двух книгах; первая вышла в свет в 1988 году, на титуле второй значится 1989-й, но согласно выходным данным подписана к печати она была лишь в июле 1990-го (при сдаче в набор еще в октябре 1987-го). А отпечатанный тираж поступил в продажу и того позже — когда традиционно уродующий титульную страницу «Литнаследства» эпиграф из Ленина: «Хранить наследство — вовсе не значит еще ограничиваться наследством» — окончательно превратился в анахронизм и уже не нужный оброк, слава Богу, погибшему идеологическому ритуалу.

Таким образом, в мировую тютчевяну введено колоссальное количество нового материала, рельефней высветились судьба, мироучувствование, поэтика Тютчева, жизнь которого — бывшая, казалось бы, у всех на виду и многократно описанная — остается тем не менее одной из самых загадочных.

Собственно же поэтику Тютчева значительно проясняют для нас публикуемые в книге первой обширные фрагменты «Писем о Тютчеве» крупного советского физика Бориса Михайловича Козырева; не будучи профессиональным филологом и лингвистом, Козырев именно благодаря непосредственности и свежести взгляда (не исключающих, разумеется, многолетнего тщательного изучения мира Тютчева) делает значительные открытия. (Вот редкий пример, когда благодаря врожденной любви к поэзии, собственно, хобби естествоиспытателя, исследователя радиоспектроскопии, приобретает высшее культурное качество.) Основываясь именно на уверенности в том, что «поэтическое высказывание» Тютчева суть высказывание мировоззренческое (а не опосредованное, скажем, лирическим двойником, героем или просто нуждами поэтики), Козырев приходит к убедительному выводу о трансформации тютчевского мироучувствования от неоязыческого, натурфилософского — к христианскому. И как ни парадоксально, именно греховная, испепелившая обоих страсть стареющего Тютчева и юной Денисьевой насытила и одухотворила тютчевскую лирику высоким и драматичным христианским значением. «С 1850 г., — пишет Козырев, — для Тютчева наступила пора многолетних попыток «крещения природы» <...>. Главное внимание Тютчева обращено теперь не на природу, а на человеческую душу с ее грехами и искушениями, радостями и страданиями».

Прозорливы соображения Козырева о поэтике Тютчева. Легендарные «ошибки» поэта, словоупотребления, придающие вибрацию смыслу, блуждающие ударения и т. п., наделяющие тютчевскую лирику наряду с прочим чарующей своеобычностью, объясняются просто: многолетним отрывом поэта от живого русского языка и «непривычкой слышать русскую литературную речь» в годы, когда его собственный литературный язык еще находится в становлении. Как известно, первой публикации Тютчева в «Современнике» дал название Пушкин: «Стихотворения, присланные из Германии». И Козырев пронизательно усматривает тут элемент «насмешливости»: «Я уверен, что в этом заглавии звучало не только понимание роли немецкой философии и немецкой культуры вообще для Тютчева, но и восприятие его стихов как чего-то «чужестранного», внетрадиционного для русской поэзии». Из многочисленных замечательных неправильностей тютчевской лирической речи, рассмотренных Козыревым, приведем одну, особенно «вопиющую». «...реди самых лучших перлов в сокровищнице тютчевских поэтических образов, — пишет Козырев, — встречаются порою такие, о происхождении которых не знаешь, что сказать: сознательная ли это смелость или непредумышленная, гениальная «ошибка». <...> не такова ли, например, строчка: «В лучах огневицы развил он свой мир...»? Единственный смысл слова «огневица», по Далю, — горячка, лихорадка. Между тем, читая «Сон на море», никак не можешь отделаться от ощущения, что, *кроме* этого смысла, «огневица» здесь как-то связана с бурей на море, что у нее есть второй смысл, близкий, ну, скажем, к «зарнице» или к молнии. Этому способствует и происхождение ее от слова «огонь»,

и рифмующее с «зарницей» окончание, и соседнее слово «в лучах», трудно сочетающееся с представлением о лихорадке, и, наконец, близкая «гремящая тьма». «Одни зарницы огневые» в позднем стихотворении Тютчева прямо наводят на мысль, что для него «огневица» есть не только болезнь, но и «огневая зарница»...

«Письма о Тютчеве» скончавшегося в Казани в 1979 году Б. М. Козырева адресовались правнуку поэта литературоведу К. В. Пигареву и для печати, разумеется, тогда, в 60-е годы, не предназначались. То были бескорыстные результаты долгой духовной и интеллектуальной деятельности — тем прекрасней ее плоды.

И тем контрастной материал, идущий следом: «Тютчев в общественной борьбе пореформенной России» В. А. Твардовской. Само название навевает тоску. А когда утверждается, что «определенная оторванность от своей страны не помешала Тютчеву уловить важные ее тенденции», а потом пришло и «постижение российской действительности в непосредственной близости к ней», когда о прославленном и почти эмблематичном в своей православности тютчевском «Эти бедные селенья...» говорится, что здесь «звучала тема народа <...> на пороге нового этапа исторического пути страны», — то кажется, что из дебрей вульгарной социологии не выбраться уже и русскому языку.

И как это драматично и симптоматично: живое русское слово в дремучие времена сумел сберечь физик и растеряло исследование гуманитарное, высушенное непрелюбимой данью идеологии.

...Обширная, самая полная из обнародованных донныне сплотка писем Тютчева в «Литнаследстве» (книга первая) вкуче с дневниками, воспоминаниями, письмами о Тютчеве его современников (книга вторая) — это полифоничный роман, захватывающее и сложное чтение, сопоставимое с чтением Достоевского, ибо здесь есть все: любовные коллизии и трагедии, многоголосая реакция на них окружающих, философия, политические откровения и утопии и нравственные максимы без морализаторских уплощений. Все это, вместе взятое и горячо нами, потомками, ныне прочитываемое, словно заглушает, надрывное заклинание великого стихотворца («О, бурь заснувших не буди») и обнаруживает тот «хаос», который и утишается его несравненной лирикой и одновременно формообразует ее, не давая остыть во времени.

Сама суть тютчевского мироощущения антиномична прежде всего. В тигле его личности сплавляются и выщелачиваются, казалось бы, несовместимые и неслиянные «элементы»: самозабвение и эгоизм, идейная горячность и капризный снобизм, определенная интеллектуальная дисциплина и лень, аналитичная мудрость и фантастический утопизм, горячая заинтересованность политикой даже и во время безграничного личного горя, и на смертном одре. Скептик и панславист, поклонник Италии и ярый антипапист Тютчев — эгоцентрик до мозга костей, но в несчастье его самоотрешенность не знает предела. Сдержанность — синоним светского приличия, но Тютчев прилюдно поражал всех экспрессией ее нарушения (вызывая даже и покровительственную снисходительность; Полонский: «Отворяется дверь, и, покачиваясь, входит Феденька Тютчев. <...> Приехал ко мне бедный старик — как видно, не зная, куда, деться с тоски да с горя»; Сушкова: «Мне очень жаль его, этого неисправимого горемыку, погрязшего в заблуждениях»).

Вот, правда, разглядеть чего невозможно, так это «сальеризма», который с легкой руки Тынянова прилепился к Тютчеву, не усложняя, а лишь замутняя и искажая его образ.

Да, возможно, Тютчев, как и Баратынский, недооценивал мудрость Пушкина, возможно, в оценке Пушкина как «первой любви» России есть чуть уничижительный элемент (подобный тому вышеупомянутому оттенку «насмешливости», который углядел Козырев в пушкинском заголовке к стихам Тютчева в «Современнике») — но до «сальеризма» тут далеко; просто Пушкин и Тютчев, хотя и были практически сверстниками, принадлежали к, если можно так выразиться, разным культурным ареалам — наряду с российским: первый к французскому, второй скорее к немецкому. Пушкин формировался на просветителях, для Тютчева важней немецкая философия, и определенный антагонизм того и другого бликовал и на взаимоотношениях наших гениев со всею разницей их, как принято теперь говорить, ментальностей.

К тому же Пушкин к тридцати годам уже сформировался и явил себя во всем своем творческом величии, отстаивая при этом и профессионально-экономическую сторону деятельности литератора, тогда как Тютчев, при всем поэтическом мастерстве и таланте, мог в то время справедливо считаться лишь подающим большие надежды дилетантом, и это, разумеется, тоже создавало определенную психологическую коллизию... «Это светский человек, оригинальный и обаятельный, — писала вторая жена поэта Э. Ф. Тютчева брату уже и гораздо позднее, в 1850 году, — но, надо признаться, рожденный быть миллионером, чтобы иметь возможность заниматься политикой и литературой так, как это делает он, т. е. как дилетант». Сальеризм же

совсем другое: это зависть труженика и замечательного ремесленника к богоизбранному творцу. Тютчев ни тогда, ни позже таким ремесленником-профессионалом не был, вся суть его личности иная, и моцартианство — в смысле произвольности, непринужденности вдохновения — свойственно его лирике и публицистике в полной мере (как и пренебрежение к плодам своего труда). «Я не устаю удивляться, — пишет Эрнестина Федоровна в том же письме, — точности его выражений, возникающих в совершенно законченном виде, — кажется, будто он читает их в открытой книге. Ни задержки, ни колебания, ни единой запинки — это поток, который течет легко и свободно. Но если даже ему и присущ дар политика и литератора, то нет на свете человека, который был бы менее, чем он, пригоден к тому, чтобы воспользоваться этим даром».

...Пушкин с юности устремился к преодолению куртуазно-просветительской идеологии и эстетики, «поспешив» если не к Шишкову, то к Катенину, а потом горячо заинтересовавшись и юными любомудрами. Почвенническо-органическое, христианское мировоззрение Пушкина не смогло, однако, чисто исторически быть задействовано в полную силу: «настоящий» XIX век развился и вызрел уже после его трагической гибели, быть может, во многом — в своих социальных и культурных искажениях и уродствах — обусловленный именно ею.

Тютчеву — и политически и литературно — пришлось жить, творить, действовать уже в совершенно новых условиях: радикальная нигилистическая идеология, наконец, и сам политический терроризм формировались у него на глазах. Но утопическая, философско-политическая «космогония» немецкой школы и многолетние впечатления от буржуазного развития Западной Европы, как оказывается на историческую поверку, причудливо деформировали его политическое мышление и стали причиной его малообъяснимой на первый взгляд аберрации. Тютчев всеми своими обнаженными нервами ощущал неблагополучие русской жизни, дефекты ее развития, но, безмерно растревоженный поступью революции в мире, недооценил ее опасности для России, уверенный, что Европа к ней ближе, и странно замороженный панславянской утопией.

И это один из самых роковых феноменов русского самосознания в послепушкинскую эру: ладно Тютчев, при всей своей великой своеобразности все-таки «светский лев», но гораздо более «разночинный» Достоевский, до дна вскрывший революционную босовщину, тем не менее грезил Константинополем. Вместо конкретного обустройства России, утверждения социального самосознания в ней горячо тревожащиеся за нее русские умы бредили всеславянской империей. Лев Толстой мыслил в этом отношении безусловно более здраво. Но все течение социальной и политической жизни, мысли роковым образом устремлялось именно в два этих гибельных для родины нашей потока — леволиберальный и панславистский, вымывая из русской жизни лучшие реальные и продуктивные силы. С одной стороны, политический социализм, а с другой... «Итак, будут тогда две России, — фантазировал Константин Леонтьев, — неразрывно сплоченные в лице Государя: Россия — Империя с новой административной столицей в Киеве и Россия — Глава Великого Восточного Союза с новой культурной столицей на Босфоре». Но и прибей мы свой «щит на врата Цареграда» — что бы делали дальше? Покоряли бы Турцию? Провели б за Константинополем границу в постоянном ожидании штурма? Свободный же проход через проливы был уже с 1829 года и в мирное время ни разу не нарушался. А в военное — закупорить Дарданеллы снаружи отнюдь не сложно. Но ни Тютчев, ни Леонтьев, ни Достоевский не думали о таких «мелочах».

Потому эпистолярное и публицистическое наследие Тютчева, как и его политические стихи, — актуальный урок: например, чрезмерная горячность в отношении Сербии и «братьев-славян» (от чего, кстати, предостерегал именно К. Леонтьев) уже столкнула однажды Россию в бездну (настолько в послетютчевские времена пропитав Россию, что в 1914 году просто нельзя было не начать войну). И надо признать, что в данном вопросе определенная «неподвижность» самодержавия в XIX веке имела свою положительную сторону, препятствуя чрезмерным идейным и геополитическим проектам славянофилов.

Однако политическо-социальное мироощущение Тютчева, безусловно, содержится в себе и много мудрого, верного, ныне всем нам необходимого.

Тютчевские письма свидетельствуют, что поэт был либеральным, творческим консерватором, сторонником и проводником органической, поступательной эволюции. Высоко ценя и высшее и, так сказать, дисциплинарно-нравственное значение для России самодержавия, православия и народности, Тютчев всегда оставался неисправимым свободолобом, понимая, что без свободы любая государственность лишь утопия, при всем своем зримом могуществе ненадежная, словно карточный домик. Поэт импульсивно, буквально доходя до депрессий, переживал перманентную несвободу и ущербность нашего государственного консерватизма, рутинно неспособного на мобильное творчество. Несвобода официального консерватизма лишь меша

ла созданию просвещенной национальной идеологии и в конечном счете способствовала — от противного — «освободительной» пропаганде. Например, печатные органы Ивана Аксакова, организовывавшиеся с огромным трудом, чиновные церберы закрывали на втором-третьем номере, в то время как политический радикализм все настойчивей и всеохватней определял как дух современных изданий, так и общее мироощущение российского общества. А между тем талантливость, безупречность нравственной природы Аксакова, по замечанию Тютчева, «давала столько силы и веса его словам и упрочивала за ним то влияние на молодежь, которое могло бы быть ей столь полезно и, может статься, спасло бы ее, если б ему предоставили свободу действий».

В таких условиях и Тютчев и его единомышленники выглядели большими монархистами, чем сам монарх, бескорыстными рыцарями и малосильными донкихотами консервативной национальной идеи. «...почему, — писал в 1872 году Тютчев своей умнейшей дочери Анне, — вредным теориям, пагубным тенденциям мы не можем противопоставить ничего, кроме материального подавления? Во что превратился у нас подлинный принцип консерватизма? Почему наша соль стала столь чудовищно пресной? Если власть за недостатком принципов и нравственных убеждений переходит к мерам материального угнетения, она тем самым превращается в самого ужасного пособника отрицания и революционного ниспровержения, но она начинает это осознать только тогда, когда зло уже непоправимо».

Тютчев не терпел Николая I, назвав его в своей безжалостной эпитафии лицедеем, именно за подмену консерватизма духовным окаменением: радикальные устремления не вскрывались, не побеждались, но загонялись внутрь и там прогрессировали, исподволь разрушая организм государства. Необходимо было создание динамичного противоположного идейного и духовного полюса — силы на это тогда еще у общества были, но самодержавие па убно боялось делиться своими идеологическими приоритетами.

Просвещенный консерватор Тютчев мировоззренчески наследовал Карамзину и Жуковскому И в этом он поразительно для XIX века последователен; если, к примеру, Пушкин приписывает декабристам «дум высокое стремленье», Тютчев называет их «жертвами мысли безрассудной», а в семнадцать лет призывает Пушкина: «Смягчай, а не тревожь сердца!» — поразительная для юноши зрелость.

Но что и Пушкина и Тютчева равным образом беспокоило и смущало, так это оказывание, идеологическое огосударствление живой христианской веры. В стихотворении «Мирская власть» (1836) Пушкин гневается на «почетный караул» у плащаницы на Страстной в Казанском соборе. И Тютчев тяготится придворными службами, «ибо можно ли представить себе Господа нашего, восстающего из Своего гроба в присутствии всех этих мундиров и придворных туалетов, обладатели коих всецело поглощены не воскресением Христовым, а совсем иным — переходящим из рук в руки ukazом о назначениях и наградах, который и является для них *благой вестью* во всем значении этого слова».

Тютчев горячо ратовал за православный крест над Айя-Софией, но, сдается, окажись она нашей и начнись там помпезная многочасовая обедня, первым улизнул бы с нее, как сбегал с придворных богослужений в Петербурге...

В своих политических стихах Тютчев терял и чувство юмора и чувство реальности, но жизнь неизменно брала свое, и если в 1854 году поэт в патриотической горячке называет народы, с которыми вступила в войну Россия, «богомерзкими», то в статье «О цензуре в России» (1857) здраво пишет о том, что «богомерзкие» европейцы давно уже себе уяснили и в силу чего Тютчеву при всей истовости его патриотизма в Европе дышалось легче, чем дома: «Если, среди многих других, существует истина, которая опирается на полнейшей очевидности <...>, то эта истина есть несомненно следующая: нам было жестоко доказано, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма <...>. Даже сама власть с течением времени не может уклониться от неудобств подобной системы. Вокруг той сферы, где она присутствует, образуется пустыня и громадная умственная пустота, и правительственная мысль, не встречая извне ни контроля, ни указания, ни малейшей точки опоры, кончает тем, что приходит в смущение и изнемогает под собственным бременем еще прежде, чем бы ей суждено пасть под ударами злополучных событий». И, отрезываясь от панславистских и национальных иллюзий, Тютчев слышал уже «шаги командора», подземный гул катастрофы, грядущего тектонического сдвига истории.

...Как всегда при хронологическом «поступательном» прочтении воспоминаний, дневниковых записей, писем разных лиц об одном — всей этой сопровождающей историческую личность «симфонии» — возникает особенно притягательный и завораживающий эффект. Жизненная коллизия формируется на наших глазах; бытие в

письмах складывается непринужденно и органично, но мы-то знаем о роковой судьбоносности того или иного эпизода, случая, ситуации, которым корреспонденты вовсе покуда не придают значения. Именно в обширном своде хронологически укомплектованных писем — сама судьба с ее неожиданностями, с разом, случайно и железной рукой промысла выполненным рисунком. Ход жизни, завязь драмы, развитие; кульминация и развязка проходят перед нами, озвученные эпистолярной полифонией героев, участников, современников. Так, 2 июля 1850 года Эрнестина Федоровна рассказывает князю Вяземскому в письме о муже: «Он нанял себе комнату возле Вокзала и несколько раз оставался там ночевать, но мне кажется, что с этим развлечением уже покончено и теперь мы перейдем к чему-нибудь новому. Я слышу разговоры о поездке на Ладожское озеро, которая продлится 4 дня, потом он, вероятно, отправится ненадолго в Москву». И никто из них — кроме нас, читателей, — не подозревает еще, что валаамское паломничество положит начало любви Тютчева и Денисьевой, втянувшей в свою трагическую орбиту столько человеческих судеб.

К сожалению, многие из писем в «Литнаследстве» сокращены — очевидно, в целях экономии места. Но порой купюры эти вызывают особенную досаду, ибо касаются самых кульминационных моментов, кажется, что разрезано по живому. Вот добрая христианка, но резонерка сестра поэта Д. И. Сушкова пишет своей племяннице в самый день кончины Е. А. Денисьевой, 4 августа 1864 года: «Поверь мне, болезнь Д<енисье>вой не так серьезна, как воображает твой отец; мне кажется, она преувеличивает свои страдания, чтобы крепче привязать его к себе. Но в любом случае он достоин всяческого сожаления». Через две недели Екатерина Тютчева сообщает тетке о смерти Денисьевой, о скорби отца: «Бедная душа его в таком смятении, и я никогда не забуду того тягостного впечатления, какое он произвел на меня во время последнего моего пребывания в Петербурге. Бедный старик! Так горько чувствовать себя виновным перед покойницей <...>». Каждый вдумчивый читатель здесь задается вопросом: что именно и зачем сократили в данном случае публикаторы?

И если уж мы заговорили о недочетах издания, то, к сожалению, перевод порой неуклюж. Эрнестина Федоровна — падчерице: «Твой отец прибыл сюда (в имение Овстуг.— Ю. К.) 14-го <...> Маловероятно, что он продлит свое пребывание здесь до 1 сентября». Зачем тут эти высокопарные кальки с французского? Не лучше ли было перевести проще, по-русски: «пробудет» или «останется»? Один и тот же пассаж из письма Анны Федоровны на разных страницах второй книги (265 и 610) переведен с весьма разнящимся смысловым наполнением, во втором случае и с ошибочным примечанием. Вопиющая ошибка в дате рождения Александра III в книге первой: в год, указанный там, у него самого был уже годовалый сын, будущий царь-мученик Николай II. Дата рождения Александра III — 26 февраля 1845 года.

...Для трех дочерей Тютчева от первого брака (Дарья разыскала могилу матери в Турине через тридцать три года после ее смерти: «Убогая, разоренная могила, где не осталось ничего — ни креста, ни памятника, только немного травы и мраморная доска со словами: „Здесь покоится Элеонора Тютчева, рожд. Ботмер, скончавшаяся в сентябре 1838 года“. И ниже слова: „Она не придет более ко мне, но я иду к ней“») русский язык не был родным и первым, они никогда так и не избавились от акцента. Но как Эрнестина Федоровна, по свидетельству падчерицы Дарьи, «овладела всем горизонтом патриотической мысли папá», так и они были горячие русские патриотки. Анна Федоровна, став женой Ивана Аксакова, разделила все его труды и идеи, всегда сохраняя, однако, независимость мысли. Перед своим поздним замужеством в 1865 году она делает следующую замечательную запись, объясняя, почему не делится с отцом новостью, которая, казалось бы, должна его обрадовать, — ибо «как только минует первая минута удовлетворения, он захочет применить к Аксакову и ко мне, к нашим взаимным чувствам, к нашим характерам, к нашим планам на будущее скальпель своего анализа, всегда тонкого и остроумного, но чрезвычайно тлетворного, потому что анализ этот зиждется на принципе исключительно человеческого, скептическом и негативном. О том, что составляет основу наших чувств и наших отношений, я никогда не смогу и не захочу ему сказать, так как он этому не поверил бы и не понял бы этого. В браке он не видит и не допускает ничего, кроме страсти, и признает его приемлемость, лишь пока страсть существует. Никогда он не признал бы, что можно поставить выше личного чувства долг и ответственность перед Богом <...>».

Читая письма, не устаешь восхищаться, как чисты, как тверды были в вере близкие и родные Тютчева, с каким тактом, уважением (но и с неколебимым достоинством в отстаивании собственных принципов) относились они к своему отцу, мужу, брату (все ипостаси, наиболее Тютчеву чуждые), понимая, что имеют дело с личностью необычной, из ряда вон выходящей.

Выше мы уже говорили о полярности, антиномичности духовной природы Тютчева, его «как бы двойного бытия», совмещавшего холодный анализ и любовное

беспамятство, крайний солипсизм и какую-то материальную недовоплощенность (Анна Тютчева: «С материей не имеет ничего общего»).

О, не кладите меня  
В землю сырую —  
Скройте, заройте меня  
В траву густую!

Пускай дыханье ветерка  
Шевелит травую,  
Свирель поет издалека,  
Светло и тихо облака  
Пльвуют надо мною!..

Новогодними днями в «Академкниге», что на Тверской, я купил вторую книгу тютчевского «Литературного наследства» — за пятнадцать рублей, десятая доля стоимости гамбургера за углом (полгода назад эта же книга обошлась мне в Мюнхене в сорок с лишним долларов).

...Но бесценен труд редакторов, публикаторов, сотрудников славного мурановского музея, начинающего воскресать после стольких лет позорно затянувшегося ремонта.

Признательно помянем и покойного Кирилла Васильевича Пигарева († 1984), которому принадлежит замысел и разработка плана издания. Когда придут лучшие времена и начнется подготовка полного собрания сочинений Федора Тютчева, двучастный девяносто седьмой том «Литературного наследства» станет ему надежным подспорьем.

А теперь и само «Литературное наследство»: давно подготовленные к печати тома «Чехов и мировая литература», две книги «Из семейного архива Герцена и Огарева», «Брюсов и его корреспонденты», «Александр Блок. Новые материалы и исследования» (книга 5-я), по несколько лет мертво лежащие в издательстве «Наука», — под угрозой неиздания. Институт мировой литературы, куда входит редакция «Литнаследства», в жестоком финансовом кризисе и не в состоянии оплачивать выставляемые «Наукой» счета. «Литературное наследство», пользующееся не только российской, но и общемировой известностью, гибнет без спонсоров: без помощи извне дальше не обойтись. И ежели содействие не будет оказано в ближайшее время, не только не выйдут подготовленные тома, но и приостановится плодотворная и скрупулезная разработка наследия Гончарова, Лескова, Аксакова, Ахматовой, Цветаевой, Белого, всего этого фундаментального серийного академического издания, существующего с 1931 года. Урон для нашей культуры невосполнимый.

...Как уже отмечалось, между выходом первой и второй книг тютчевского литературного наследства — довольно большой временной зазор. Первая (тираж 31 500 экз.) вышла во времена перестройки, когда еще привычная культурная жизнь не сошла с накатанной колеи; эту книгу интеллигенция просмотрела, если не прочитала, она у нее на полках. Книга вторая (тираж 15 500 экз. не разошелся и по сей день) увидела свет во время резкого изменения всего состава нашего социума, и большинство интеллигентов о ее существовании даже не знают. Тревожный симптом! Наш духовный мир, несмотря ни на что, не должен нищать, за политической суетой и конъюнктурой нельзя забывать о своем призвании. Тут процесс угрожающе прост: сегодня потеряли интерес, например, к Тютчеву, завтра не вспомним, для каких задач живем вообще, превратившись просто в клерков «гуманитарного ведомства».

Вопрос вопросов сегодня: что там, на глубине, за пленкой реальности, где много и хорошего и дурного, — идет ли там собирание народной души или же ее разрушение? Для первого — обретение и освоение культурного наследия просто необходимы. Тома «Литературного наследства» выходили и в самые мрачные годы. И при всей своей дани идеологии наряду с «Литературными памятниками» свидетельствовали, что гуманитарная русская наука теплится и под тоталитарным прессом, давая надежду на непрерывность культурной традиции. Если теперь, при свободе, издание это прекратится если колоссальный научный труд, с ним связанный, окажется ныне никому не нужным — это лишний раз подтвердит самые худшие опасения.

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ.

---

---

# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. Г. МАКАРОВ, С. Э. МАКАРОВА

\*

## К ИСТОКАМ «ТИХОГО ДОНА»

### СТРУКТУРА И ХАРАКТЕР ЗАИМСТВОВАНИЙ В «ТИХОМ ДОНЕ»

«Тихий Дон» — произведение необычное. Масштабность, полная достоверность в передаче жизни и судьбы донского казачества придают книге значение, выходящее за пределы чисто художественного произведения. Отдельные эпизоды и события строго соотнесены между собой и составляют поступательный хронологический ряд, сливаются как бы в единый поток времени. Сам же автор «Тихого Дона» предстает летописцем донской и российской жизни в полном смысле этого слова.

В первой половине «Тихого Дона» можно выделить общие для всех частей принципы построения текста. Действие в романе, начинаясь неторопливо, концентрируется вокруг узлового события. Автор строит повествование таким образом, что перед читателем предстает картина событий, видимая как бы с нескольких сторон, глазами различных персонажей. Последовательный перенос авторского внимания с одного персонажа на другой, умелое соединение отдельных эпизодов рождает могучий поток самой жизни, увиденной и прочувствованной автором и перенесенной на страницы этой книги. В глубоком, мощном воздействии «Тихого Дона» на читателя играют роль и сами описываемые в нем события, их трагическая окраска, и яркие образы героев, и прекрасный народный язык.

Особо надо выделить два формирующих фактора. Взаимное соотношение размеров отдельных глав, фрагментов и эпизодов, из которых автор строит повествование, придает последнему определенный внутренний ритм и динамичность. Продуманное взаимное соотношение и расположение в тексте многочисленных событий, эпизодов, действий избавляет повествование от временных разрывов, «наползаний» событий друг на друга, сохраняет общее поступательное течение времени, сообщает разрозненным эпизодам цельность эпического повествования.

Остановимся коротко на композиции первых двух частей книги. Интересно, что в них мы ни разу не встречаем прямой датировки событий. Лишь шесть глав удается датировать косвенно: майские лагерея казаков, начало покоса на Троицын день, пахота за три дня до Покрова. Например, события первой части умещаются между началом покоса и концом уборки урожая. Для этой части романа характер изображаемого predetermined и хронологию. Описывая жизнь такой, какой она повседневно входила в представления казаков, автор, естественно, датировал лишь немногие из описываемых событий — относительно православных праздников, которые в то же время были крепко связаны в народной традиции с годовым циклом деревенских работ. Все это свидетельствует о прекрасном знании автором внутреннего мира казака и точном его воссоздании на страницах «Тихого Дона».

Впрочем, одно отклонение от наблюдаемых общих закономерностей все же имеется и связано с появлением на хуторе революционера Штокмана «в конце октября, в воскресенье» (2, IV, 55; здесь и далее указываются часть, глава и страница «Тихого Дона» 1941 года издания, Москва). Хотя в следующей главе, датированной 1-м сентенбрю (за три дня до Покрова!), на соседней странице одним из действующих лиц уже заявлен все тот же Штокман. Сама по себе очевидная описка вряд ли может привлечь внимание, если бы не два обстоятельства. Регулярно

встречающиеся в тексте ошибки такого рода составляют определенную систему и, возможно, связаны с характером работы над рукописным текстом. Их многократное присутствие в опубликованном тексте может говорить о не вполне ясном понимании Шолоховым отдельных мест предполагаемого исходного текста и их взаимосвязи.

Еще одна путаница — эпизод ареста Штокмана во время летней полевой страды помещен в главе I третьей части, то есть в канун войны 1914 года. Однако одна фраза в тексте дает иную датировку эпизода: «Следователь... глянул исподлобья на спокойно усаживавшегося Штокмана.— Когда вы сюда прибыли? — В прошлом году» (3, I, 101).

Штокман приехал на хутор в сентябре 1912 года. Следовательно, арест имел место летом 1913 (как это субъективно и воспринимается при чтении), а не летом 1914 года, к которому эпизод приурочен искусственно и неверно!

Обнаруженное в тексте хронологическое смещение позволяет выдвинуть следующую гипотезу. Опубликованный текст «Тихого Дона» создавался из некоего исходного протографа путем замены и перемещения отдельных фрагментов и эпизодов. Механическое соединение в одной главе описания жизни семьи Мелеховых весной 1914 года и сцены ареста Штокмана (состоявшегося летом 1913 года) указывает на возможный случайный состав некоторых глав, образованных неорганическим сочленением или объединением отдельных эпизодов.

### Происхождение текста «Тихого Дона»: источники заимствований

В своем исследовании мы обнаружили радикальные изменения композиции романа с середины четвертой части. Единое художественное пространство «Тихого Дона» распадается на отдельные сюжетные линии и эпизоды. События в разных сюжетных линиях хронологически начинают опережать друг друга или друг от друга отставать, нарушая общую канву повествования. А в местах соединения появляются особые, «вставные», отрывки, несущие вспомогательные функции. Это фрагменты, заимствованные из ряда опубликованных в 20-е годы книг и включенные в текст романа либо непосредственно, либо в переработанном, отредактированном виде.

Любой читатель вправе задать вопрос: что значит заимствованные? и разве писатель не вправе использовать, скажем, историческую литературу при создании своих произведений? Верно, Л. Н. Толстой и А. И. Солженицын использовали многочисленную историческую и мемуарную литературу, но случай с Шолоховым особый. При жизни он сам никогда не упоминал, что непосредственно включал в текст «Тихого Дона» фрагменты книг других авторов о гражданской войне: мемуары трех белых генералов — А. И. Деникина, А. С. Лукомского и П. Н. Краснова, и трех красных — В. А. Антонова-Овсеенко, А. А. Френкеля и Н. Е. Какурина. Общий объем этих фрагментов в сравнении со всем текстом «Тихого Дона» невелик, но их роль в композиции и структуре второй половины романа значительна, они включены в каждую третью или четвертую главу<sup>1</sup>.

Оказалось, что в тексте «Тихого Дона» отдельные главы или значительные их части составлены либо прямым, дословным включением отрывков из названных выше источников, либо изложением их содержания. При этом включенные эпизоды подвергались, как правило, поверхностной обработке для придания определенной политической направленности. Все заимствования такого рода образуют четкую единую систему в структуре романа. Они носят выраженный служебный, вспомогательный характер связей между отдельными законченными художественными эпизодами, как бы заполняя имеющиеся лакуны.

Следует сразу уточнить понятие «заимствование» в контексте нашего исследования. Заимствованным мы считаем такой эпизод, в котором совпадают в исходном и конечном текстах действующие лица, основные обстоятельства событий, основная лексика, используемая при описании эпизода, последовательность изложения. При этом заимствование может сопровождаться и сокращением ряда подробностей.

<sup>1</sup> Деникин А. И. Очерки русской смуты, т. 2. Париж. 1922; М. 1991. Лукомский А. С. Воспоминания, т. 1. Париж. 1920; «Архив русской революции» в 22 томах, т. 5. М. 1991. Краснов П. Н., «На внутреннем фронте» («АРР», т. 1), «Все великое Войско Донское» («АРР», т. 5). Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне, т. 1, «Октябрь в походе». М. 1924. Френкель А. А. Орлы революции. Ростов-на-Дону. 1920. Какурин Н. Е. Как сражалась революция, т. 2. М. 1926; М. 1990. Сами источники начиная с 1958 года неоднократно назывались в исследованиях, посвященных «Тихому Дону» (см.: Гурья В. Как создавался «Тихий Дон». М. 1980). Однако это обстоятельство никогда особо не афишировалось, характер заимствований в традиционном шолоховедении подробно не анализировался, авторы исследований ограничивались перечислением источников и приведением примеров заимствований.

Главное: в производном тексте не содержится ничего, существенно выходящего за пределы заимствуемого.

Встречающиеся в тексте «Тихого Дона» заимствованные эпизоды и фрагменты дают уникальную возможность раскрыть характер работы М. А. Шолохова с источниками и с самим текстом. Изучая их, мы получаем прямую информацию об уровне его знаний, о степени понимания им содержания и смысла заимствуемого текста. А направленность вносимых в эти отрывки изменений и добавлений указывает на цели и средства — как художественные, так и идеологические.

Первые заимствования возникают фрагментарно в эпизодах сюжетной линии Евгения Листницкого в четвертой части и связаны с корниловским движением августа 1917-го. Так, диалог (глава 13) в Ставке между главнокомандующим Корниловым и штабс-капитаном А. С. Лукомским взят из воспоминаний самого Лукомского.

В главах 16—18 в художественное описание корниловских событий вкраплены фрагменты похода 3-го конного корпуса и Туземной дивизии на Петроград в августе 1917 года из второго тома «Очерков русской смуты» А. И. Деникина и из воспоминаний П. Н. Краснова «На внутреннем фронте». Из книги Деникина Шолоховым в первые издания романа включались даже схемы передвижения войсковых эшелонов на Петроград. Наконец, в главе 20 уход арестованных генералов-корниловцев из вышеслованской тюрьмы в ноябре на Дон в значительной части изображен на основе воспоминаний Деникина. Интересно, что все заимствования из двух белых генералов, Лукомского и Краснова, сделаны только по тем текстам, которые были опубликованы в двух томах «Архива русской революции», первом и пятом (Берлин. 1921—1922; М. 1991).

Не имея возможности остановиться на всех случаях заимствований (подробный сравнительный анализ текстов дан нами в приложении к книге «Цветок-татарник». — М. 1991), приведем лишь один яркий пример, приоткрывающий методы работы Шолохова.

«Корниловский мятеж» в четвертой части открывается главой 15, события которой можно датировать по упоминающемуся обращению Корнилова, — 26—27 августа. В главе 16 в адаптированном виде дан рассказ о состоянии дел 29 августа. О событиях того же числа (29 августа) — в передовом эшелоне двигавшихся на Петроград войск (бригада Туземной дивизии князя Гагарина) — рассказывает вставной, заимствованный эпизод в начале главы 17. Однако следующая за вставным фрагментом художественная часть текста — приход в эшелон к казакам агитатора Бунчука — возвращает нас по времени назад, в 28 августа, в 1-ю Донскую казачью дивизию! Такое нарушение композиции в узловой точке повествования (когда все события «мятежа» уложились в недельный срок и каждый день в развитии событий имел важнейшее значение) нельзя признать малозначимым.

В начале этой главы говорится о движении эшелонов 3-го конного корпуса на Петроград; в его составе были и донские казачьи полки. От общей картины движения войск рассказ постепенно переходит к тому полку 1-й Донской дивизии, в котором ранее служил Листницкий и куда направляется агитатором большевик Бунчук. Между общей картиной движения и событиями в 1-й Донской дивизии искусственно вставлен отрывок — изложение воспоминаний сразу двух авторов, Деникина и Краснова, где рассказывается о действиях 3-й бригады Туземной дивизии под командованием князя Гагарина. Посмотрим, как из этих мемуаров Шолохов формирует собственный текст.

1-й отрывок. А. И. ДЕНИКИН (Д): «...только одна бригада Туземной дивизии (Черкесский и Ингушский полки под командой князя Гагарина) дошла... до станции Семрино...» («Очерки...», т. 2, стр. 69).

2-й отрывок. П. Н. КРАСНОВ (К): «...третья бригада, шедшая во главе Кавказской Туземной дивизии... наткнулась на разобранный путь. Черкесы и ингуши вышли из вагонов... пошли походным порядком на Павловск и Царское Село...» («На внутреннем фронте». — «АРР», т. 1, стр. 118).

М. А. ШОЛОХОВ: «...около Павловска (К) 3(К) бригада Туземной дивизии (Д, К) под командой князя Гагарина (Д)... Наткнувшись на разобранный путь (К), Ингушский и Черкесский полки (Д), шедшие в голове дивизии (К), выгрузились и походным порядком пошли по направлению на Царское Село (К)... Разъезды ингушей (К) проникли до станции Семрино (Д)...» (4, XVII, 226).

Как явствует из наших отметок (Д) и (К), в данном случае фактически можно говорить о прямом изложении или пересказе содержания мемуаров при произвольном, в общем-то, отборе элементов текста у одного и у другого автора. Продолжим изучение шолоховского текста:

«...части... эшелонировались на огромном протяжении восьми железных дорог; Ревель, Везенберг, Нарва, Ямбург, Гатчина, Семрино, Вырица, Чудово, Гдов,

Новгород, Дно, Псков, Луга и все остальные промежуточные станции и разъезды были забыты...» (4, XVII, 225).

В этом отрывке Шолохов взял у Краснова такие слова: «по станциям и разъездам восьми железных дорог... Они были... и на промежуточных станциях и разъездах», — а имена и последовательность перечисления станций «прочитал» по схеме на странице 70 «Очерков...» Деникина (сначала слева направо (Ревель — Везенберг... Чудово), далее по схеме вниз и влево: Новгород... Луга. Отсюда и ошибка в названии станции Семрино: надпись в книге на схеме смазана и «е» читается как «о»!

В заключение необходимо отметить, что рассмотренный вставной фрагмент не имеет никакого отношения к последующему художественному тексту (так же как и Туземная дивизия — к 3-му корпусу и донским полкам), содержит ошибки в «прочтении» первичного текста, вставлен в повествование с нарушением последовательной хронологии и носит чисто иллюстративный характер.

Интересно проследить распределение заимствованных эпизодов по основным сюжетным линиям. В четвертой и пятой частях романа таких главных линий три: Евгения Листницкого, Григория Мелехова и Ильи Бунчука. И интересно, что каждой линии романа соответствует «свой» — и только «свой» — источник заимствования. Для линии Листницкого использованы тексты всех трех белых генералов, для Григория Мелехова — воспоминания Овсенко, а для Бунчука — книга Френкеля. К шестой части один из центральных персонажей, Бунчук, исчезает со страниц романа, а для восполнения обеих оставшихся сюжетных линий используются воспоминания П. Н. Краснова о времени пребывания во главе Всевеликого войска Донского в 1918 году. В седьмой части со страниц исчезает и Листницкий, а для восполнения линии Мелехова (период летних и осенних боев Донской армии в 1919 году) взяты фрагменты книги Н. Е. Какурина.

Еще раз остановимся на заимствованиях, связанных с линией Евгения Листницкого. Каждый раз, когда по логике развития сюжета Листницкий должен принять участие в активных действиях в соответствии со своими мыслями и убеждениями, вместо описания этих действий мы находим в тексте «Тихого Дона» очередную вставку из воспоминаний белых генералов. Это и корниловский «заговор» в августе 1917 года, которому Евгений явно симпатизирует, и оставление Ростова Добровольческой армией в феврале 1918 года, когда этому эпизоду предшествует фрагмент из Деникина, а после него следует заимствованный у Лукомского эпизод переговоров между генералами Корниловым, Алексеевым и Поповым в станице Ольгинской с ошибочной датой «11 марта». На страницах романа мы не обнаруживаем упоминаний ни того, как попал Листницкий в Добровольческую армию, ни одного боя в ее рядах. В шестой части «Тихого Дона» единственному упоминанию Листницкого в главе 5, где он показан после боев легендарного первого кубанского похода Добровольческой армии, предшествует глава 4, написанная «по мемуарам» Краснова.

Таким образом, с середины четвертой части романа резко сокращается присутствие на его страницах одного из главных действующих лиц. Мы встречаем его лишь по одному разу во второй половине четвертой (глава 14), в пятой (глава 18) и в шестой (глава 5) частях. Сюжетная линия Листницкого истончается, затем полностью исчезает. При этом сам герой романа ни разу не участвует ни в одном активном действии в рядах белого движения. Никто из многих мастерски выписанных сопутствующих ему персонажей и когда б о л ь ш е не появится по ходу развития сюжета. Одновременно в тексте возникают многочисленные вставки и заимствования, которые как бы замещают на страницах «Тихого Дона» действия самого Евгения.

Особая важность последовательного развития образа Листницкого, не случайно введенного в роман в самом его начале, очевидна. Эта линия призвана выразить позицию и настроения вполне определенной социальной силы в событиях и всех коллизиях начала века: войны, революции, гражданской войны на Дону, — силы, игравшей первостепенную роль в борьбе с новой властью и режимом диктатуры, отразить на примере личной судьбы глубокую трагедию белого движения и всей России, отторгающей от себя своих верных, любящих, болеющих ее судьбой сыновей.

Возникает вопрос: почему именно линии Листницкого уготована такая неблагоприятная судьба? На первый случай можно предположить, что молодому Шолохову были практически неизвестны нюансы психологического облика человека из этой общественной среды, недоступно понимание его мировоззрения и политической позиции — задача переработки и адаптации образа оказалась трудноразрешимой «Шолохов не раз говорил, что Листницкий не его герой»<sup>2</sup>

Похожую задачу решают в тексте романа заимствования из стратегического очерка гражданской войны, принадлежащего Н. Е. Какурину. В седьмой части

<sup>2</sup> Г у р а В Как создавался «Тихий Дон», стр 370

вставные фрагменты восполняют пробелы в развитии сюжетной линии Григория Мелехова (фактически единственной, оставшейся к концу романа) на временном отрезке лета—осени 1919 года. С минимальными изменениями они включены в текст глав 20 и 23 (беглое описание операций Донской армии в июле—августе и в октябре 1919 года), незначительные детали встречаются также в главах 38 и 57 шестой части романа. Ниже приведено в качестве примера несколько фрагментов:

**Н. Е. КАКУРИН** (стр. 332)

III донской корпус 5-го октября переправился через р. Дон в районе г. Павловска на участке 56-й стрелковой дивизии и, отбросив ее к востоку, начал очищать левый берег р. Дона...

14 октября, почти уничтожив 14-ю стрелковую дивизию, противник на левом берегу Дона занимал уже широкий плацдарм, оттеснив части 9-й армии... вынуждена была перестроить свой фронт прямо в западном направлении...

...побудило командование Юго-Восточного фронта... распорядиться об отходе 9-й армии на фронт устье р. Икорец—Бутурлиновка — Успенская — Тишанская—Кумылженская...

**М. А. ШОЛОХОВ** (7, XXIII, 595)

3-й Донской корпус... неподалеку от Павловска форсировал Дон, отбросил 56-ю красную дивизию и начал успешное продвижение на восток.

14 октября 2-й казачий корпус в ожесточенном бою разгромил и почти полностью уничтожил 14-ю красную стрелковую дивизию. За неделю левый берег Дона был очищен от красных вплоть до станицы Вешенской. Заняв широкий плацдарм...

...командование Юго-Восточным фронтом приказало 9-й армии отойти на фронт устье реки Икорец—Бутурлиновка — Успенская — Тишанская — Кумылженская...

Работа Шолохова с текстом первоисточника весьма показательна. Он поменял в ряде случаев местами некоторые слова, а иные выкинул. При сравнении текстов сразу же поражает, что мелкие детали стратегического очерка скрупулезно включены в текст романа: номера дивизий, подробности хода боевых действий, линии разветвления и отхода боевых частей. Эти описания разительно отличаются стилем, языком, фабулой как от того, что мы читаем на соседних страницах, где описана судьба Мелеховых осенью 1919 года, так и от описания боев на германской войне в третьей и четвертой частях. Ни в одном из боев, описанных в какуринских эпизодах, не принимает участия ни один из героев романа. Эти страницы чисто механически взяты у Какурина и введены в текст романа.

Невольно напрашивается вопрос: зачем это все понадобилось Шолохову? Вот, например, упоминание «устье реки Икорец» — оно никогда нам уже не встретится на страницах романа! Ни один из казаков, его героев, никогда не побывает на берегах этой реки! По бьющей в глаза дословности включения в художественный текст отрывков из военно-стратегического очерка какуринские главы превосходят даже рассмотренные выше красновские.

Петр Николаевич Краснов был не только генералом и политиком, но и плодовитым писателем. Еще на заре военной карьеры он начал публиковать свои книги — одна из первых была посвящена его поездке с императорской миссией в Абиссинию. Путевые очерки написаны ясным языком, много ярких наблюдений. Спустя два десятилетия он пишет воспоминания о гражданской войне — кратко, живо, интересно, наконец, хорошим литературным языком. Включение отрывков из них в текст «Тихого Дона» не бросается сразу в глаза. Поэтому долгое время эти отрывки воспринимались как органическая часть текста «Тихого Дона». В частности, И. Н. Медведева-Томашевская, автор «Стремени...», отнесла многие отрывки из книги П. Н. Краснова к авторскому — по ее терминологии — тексту.

С какуринскими эпизодами ситуация обратная. Сухие, пресные описания боевых действий стратегического очерка не имеют себе аналога на страницах романа! Эти эпизоды дают нам в наиболее явном виде возможность выявить цели, которые преследовал Шолохов, используя для романа рассмотренные прямые заимствования. Это прежде всего связывание воедино разрозненных казачьих эпизодов и глав для поддержания непрерывности развития действия романа. Одновременно политическая ориентация вставок должна облегчить возможность публикации, частично нейтрализуя явно небошевистскую идейную направленность казачьих глав «Тихого Дона».

### Характер работы Шолохова с текстом источников

Анализ вносимых в исходный текст изменений выявил ряд связанных с этой работой Шолохова особенностей:

стремление переделать исходный текст мемуаров, но не за счет художественной переработки и творческого переосмысления, а изменением порядка слов в предложении, предложений в абзаце: Собрав наскоро → Наскоро сколотил; с Подтелковым во главе → во главе с Подтелковым; во главе... стал → стал во главе; не пойду на Царицын → на Царицын не пойду; Лихая и Зверев — Зверев-Лихую; заменой отдельных слов и словосочетаний: если выступление большевиков состоится → если большевики выступят; в случае, если понадобится → в случае необходимости; подполковника Текинского полка Эргардта → подполковника Эргардта; На фронт... Красный Яр—Бородачи—Каменка... → на фронт... Красный Яр—<.....>—Каменка...; написанием цифрами числовых данных из заимствуемых книг и наоборот — некоторыми сокращениями и незначительными дополнениями: Конный корпус → 3-й конный корпус; исправлением прописных букв у всех терминов и названий армий, противостоящих красным, на строчные: образовать... Восточный фронт → образовать... восточный фронт; Кубанский Атаман → кубанский атаман; караул Лб.-гвардии Атаманского → казаков лб-гвардии атаманского; Георгиевский Гундоровский полк → Гундоровскому георгиевскому полку. И в то же время прослеживается неоднократное исправление строчной буквы на прописную в названиях и перечислении красных частей и армий: на стыке... 8-й и 9-й красных армий → на стыке 8-й и 9-й Красных армий; «собственная» творческая обработка М. А. Шолохова неконкурентна с литературной и исторической основой заимствуемых текстов.

Многочисленные корявые шолоховские фразы не раз обращают на себя внимание при параллельном сравнении отрывков. Вот пример такой обработки — мемуаров Краснова.

П. Н. КРАСНОВ (стр. 193—194, 197)  
Генерал Краснов не принял этого избрания, впредь до того, как Круг утвердит те основные законы, которые он считает нужным ввести... Они представляли из себя почти полную копию основных законов Российской империи.

На вопрос одного из членов Круга... не может ли он что-либо изменить или переделать в предложенных им законах...

М. А. ШОЛОХОВ (6, I, 334)

Он не принял атаманского пернача из рук войскового есаула, поставив условием: утвердить основные законы, предложенные им Кругу... Законы, предложенные Красновым, представляли собою наспех релициозованные, слегка реставрированные законы прежней империи.

Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос: — Может, их превосходительство что-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах?

Бросается в глаза небрежность языка. Еще интереснее преобразование под пером Шолохова основных законов — законов, определявших государственный строй Российской империи и утвержденных императором в 1906 году перед созывом I Государственной думы, — в «принятые за основу законы». Как явствует из этой грубой ошибки, Шолохов просто не понимает смысл слов «основные законы» (это понятие входило в обязательный курс основ государственного права в старших классах гимназии) либо не придает значения порядку следования слов, хотя при этом полностью меняется смысл фразы.

В другом эпизоде (встреча союзной миссии в Новочеркасске), желая немного изменить исходный красновский текст: «...одетый в новые шинели с белой ременной амуницией и весь в кожаных высоких сапогах караул... сотня с хором трубачей...», — Шолохов пишет: «Спешно нарядили две сотни... в высокие сапоги и белую ременную амуницию и столь же спешно отправили их в Таганрог совместно с сотней трубачей» (6, XI, 369). Во-первых, непонятно, что, кроме произвола и равнодушия к исторической точности повествования, могло заставить Шолохова вместо одной сотни отправить в почетный караул две! И добавить к ним еще одну сотню — трубачей! Зачем было отправлять все эти сотни в Таганрог для встречи союзников, если у Краснова ясно написано, что Атаманский полк уже был расквартирован там. Снова в работе обнаруживаются следы спешки, когда Шолохову просто не хватило времени внимательно прочитать текст источника и вникнуть в его смысл.

Во-вторых — крайне неудачные обороты. Например, «нарядили... в... амуницию» — так по-русски не говорят! П е в ч и е войскового хора тут же превращаются в

«певчий войсковой хор». Масло масляное! Трудно решить, что это — непонимание или просто небрежность. На Дону было принято говорить «певческий хор». Выражение «певчий хор» контрастирует с многократным великолепным описанием хорового казачьего пения в романе!

Столь же яркий пример дает упоминание командующего союзными войсками Антанты на Балканах французского генерала Франше-д'Эспре, посланного в ноябре 1918 года ознакомительную миссию на Дон. Во фразе, взятой у Краснова, один человек: «представитель генерала Франше-д'Эспре — капитан Фуке», — превращается Шолоховым в двух: «...представители Франции — генерал Франше-д'Эспре и капитан Фуке», — а «начальник миссии» в «командующего миссией». И невдомек, очевидно, Михаилу Александровичу, что генерал Франше-д'Эспре, один из ведущих генералов во французской армии, никак не мог отправиться в простую разведывательную миссию на Дон!

Насколько это не похоже на стиль хотя бы третьей части «Тихого Дона», где каждое, даже мимолетное, упоминание реальных лиц точно выверено и достоверно!

Увлекаясь перекройкой и произвольными изменениями заимствуемого текста, Шолохов допускает серьезные исторические и фактические ошибки. Произвольное изменение порядка в перечислении населенных и опорных пунктов также приводит к нарушению достоверности событий. В. А. Антонов-Овсеенко: «В эту пору Саблин стал нажимать на Лихую, Зверева и занял эти станции. Чернецов, оставив в Каменской заслон, бросился с остальными силами на Саблина...» («Записки о гражданской войне», стр. 232). Из отрывка ясно, что Чернецов бросился на отряды Саблина после занятия последним Лихой и Зверева. Шолохов изменяет текст: «...было получено известие... красновардейские отряды Саблина выбили из Зверева, а затем и из Лихой оставшийся там заслон чернецовцев» (5, XI, 267).

Антонов-Овсеенко описывает события в порядке последовательного развития операции, каждому упоминаемому пункту отводится вполне определенное место, и ситуация, возникшая в тексте после внесенных Шолоховым изменений, немыслима. Отряд Саблина наступал по железнодорожной ветке с запада, которая подходит к дороге Воронеж—Новочеркасск именно в районе станции Лихой. Выбить «из Зверева, а затем и из Лихой» чернецовцев просто невозможно. С такими нюансами географии Донской области, хорошо известными всем местным жителям, Шолохов знаком явно недостаточно. Замечательно, что, изменив и исказив фактический материал, Шолохов оставляет без изменения слова Овсеенко «было получено известие». В первом случае ясно, что известие получено самим красным командующим. В контексте же «Тихого Дона», где Антонов-Овсеенко не упоминается, фраза повисает в воздухе. Непонятно, кем из персонажей романа было получено известие. Неправильная, недопустимая перестановка названий станций — яркий пример небрежной обработки мемуаров. Стремление во что бы то ни стало изменить текст наносит ущерб достоверности и добросовестности в воспроизведении событий.

Рассмотренные выше эпизоды побуждают более подробно остановиться на системе шолоховских заимствований из книги В. А. Антонова-Овсеенко в пятой части «Тихого Дона». События романа, к которым добавлены заимствованные фрагменты, связаны с наступлением большевистских отрядов на Дон и подготовкой выступления казаков-фронтовиков против законной донской власти. Это съезд фронтовиков в станции Каменской и образование там ревкома, переговоры последнего с донским правительством, неудачное наступление Чернецова и его гибель, самоубийство атамана Каледина.

Заимствования датированы и размещены следующим образом:

в главе 9 — прибытие в Каменскую 10-го Донского полка, неправильно датированное Шолоховым 11 января (вместо 10-го);

в главе 10 — переговоры делегации ревкома в Новочеркасске (13 января);

в главе 11 — перед подготовкой наступления Чернецова на станцию Глубокая вставлено краткое перечисление действий Чернецова (17—20 января), взятое из книги Антонова-Овсеенко;

в главе 15 — эпизоду самоубийства первого выборного донского атамана А. М. Каледина 29 января 1918 года предшествуют четыре небольших фрагмента из Антонова-Овсеенко, размещенных в начале главы:

декларация Донревкома от 19 января,

действия отрядов Саблина и Петрова после декларации 19—26 января,

действия отряда Сиверса (Таганрог — Ростов) 16 января,

отрывок с телеграммой Корнилова Каледину 28 января.

В основном (художественном) тексте мы встречаем участие фронтовиков хутора Татарского 8—10 января на съезде в Каменской, отступление из Каменской (17 января) и со станции Глубокой 20 января под напором отряда Чернецова, бой 21 ян-

варя, в котором отряд Чернецова был разбит, а сам он попал в плен, возвращение раненого Григория Мелехова в родной хутор (28—31 января).

Из приведенных данных видно, что пространство между художественными эпизодами заполнено заимствованными фрагментами, которые подобраны в основном случайным образом (например, поражение Сиверса под Неклиновкой не имеет никакого отношения к описываемым в романе событиям). Можно сказать, что фрагменты, предшествующие самоубийству Каледина, немотивированно, хаотически размещены в тексте. Привлеченные Шолоховым события как бы мечутся на страницах романа, заставляя читателя то возвращаться назад, то снова уходить далеко вперед.

Еще один эпизод, переработанный Шолоховым из воспоминаний атамана Краснова, иллюстрирует уровень исторических представлений самого Шолохова. Речь идет о почетном карауле, где бок о бок стоят три поколения казаков: сражавшиеся на Балканах и на японской войне, сражавшиеся на германской войне и молодые, только что призванные под знамена; упоминаются «деды»... увешанные золотыми и серебряными крестами... за Ловчу, за Плевну, за Геок-Тепе, за Ляоян и Лидиантунь» («АРР», т. 5, стр. 295).

Попытка Шолохова несколько по-школярски изменить заимствуемый текст в неподходящем месте разрывает единый ряд славных боевых дел казаков-«дедов» и «казачков помоложе»: «...у дедов... блистали... за Ловчу и Плевну, к а з а к и п о м о л о ж е... густо увешаны крестами... за лихие атаки под Г е о к - Т е п е, Лидиантунем» (6, XI, 371)<sup>3</sup>. Шолохов показывает незнание того, что штурм туркменской крепости Геок-Тепе состоялся примерно за четверть века до японской войны, за три с лишним десятилетия до описываемого Красновым смотра и «казачки помоложе» никак в штурме участвовать не могли. Под Геок-Тепе из казаков хутора Татарского мог оказаться, пожалуй, лишь дед Гришака. История все-таки слабое место Шолохова! Иначе как бы могли появиться дальше в этом же фрагменте слова: «Вы видите представителей трех поколений. Эти люди сражались на Балканах, в Я п о н и и (!!!), Австро-Венгрии и Пруссии» (6, XI, 371).

Можно строить самые различные предположения о том, что имел в виду Шолохов, когда писал о казаках, сражавшихся в Японии, знал ли он о существовании Маньчжурии, о том, где именно проходили боевые действия «Японской войны», но для нас важно другое. При чтении всех этих отрывков возникает стойкое ощущение, с одной стороны, небрежного отношения к тексту первоисточника, отсутствия представлений о событиях, которые просто п е р е п и с а н ы из чужого текста путем механического слияния и разделения заимствуемых эпизодов, а с другой стороны, впечатление явной отчужденности, удаленности М. А. Шолохова и от самих описываемых им донских событий, и от всей этой казачьей жизни «Тихого Дона».

В «Тихом Доне» мы встречаем у Шолохова произвольные перестановки не только заимствуемых слов и словосочетаний, но и целых фрагментов текста. Наглядный пример искажения Шолоховым событий на Дону дает глава 11 шестой части, в текст которой вставлены эпизоды из воспоминаний Краснова, связанные с приездом на Дон передовой (капитан Бонд, ноябрь 1918 года), а затем и основной (генерал Пуль и капитан Фуке, декабрь—январь) союзнических миссий Антанты. В журнальном и книжном изданиях «Тихого Дона» варианты использования заимствуемого текста различны.

Начнем со структуры журнального, наиболее раннего, варианта текста. Глава 10 рассказывает об ожесточенных боях с Красной Армией и последующем истощении сил казаков. Подробно описывается кровопролитный бой 16 декабря ст. ст. и отъезд с фронта Григория на другой день после боя. Следующая глава 11 (в журнальном варианте) начинается фразой: «А неделю спустя... развал фронта», после которой в тексте главы встречаются заимствования (миссия генерала Пуля в конце декабря 1918 года) сначала из главы XVIII «Всевеликого Войска...», потом из главы XX и, наконец, из главы XIX. Хронологически вставные эпизоды не нарушают последовательности событий: развал фронта наступил под Рождество, а союзники прибыли позже — 28 декабря.

Однако в последующих изданиях Шолохов добавляет большой отрывок с рассказом о ноябрьской миссии союзников (капитан Бонд, 24—25 ноября ст. ст.) из главы XV красновских мемуаров, вставляет его в самое начало главы 11 хронологически между 16 декабря ст. ст. и описанием начала развала фронта на

<sup>3</sup> В современных изданиях (например — М. «Правда», 1980, т. 3, стр. 111) вместо Лидиантуня стоит Сандепу. Ожесточенные позиционные бои под маньчжурской деревушкой Сандепу вряд ли имели отношение к казакам «Тихого Дона». Важно другое: кто-то ведь постоянно отслеживал текст, стараясь «отдалить» заимствованные фрагменты от первоисточника.

Рождество. Не замечая последствий такой операции, он тем самым р а з р ы в а е т смысловое единство текста! Слова «а неделю спустя» повисают в воздухе, становятся бессмысленными. Ведь «через неделю» оказывается в данном случае — 2 декабря, а не 25-го, как было в действительности! Механический принцип соединения художественных и заимствованных фрагментов в этом эпизоде получает самое наглядное подтверждение. Непрерывная нить авторской мысли, соединяющая судьбы любимых его героев в цельную ткань романа-эпопеи, внезапно оказывается разорванной неуместным использованием чужого произведения, да так, что оборванное разрозненными кусками торчит наружу. Вместе с тем налицо нарушение единого хронологического ряда. Хронологическая и смысловая, логическая аномалия возникает в местах соединения художественного текста с заимствованным, вставным материалом.

Еще три заимствованных эпизода введены в главу 14 «Тихого Дона». Первый, переговоры Краснова с Фоминым (глава XVIII воспоминаний Краснова), — начало января 1919 года, третий — приезд Краснова с союзниками 6 января в Каргинскую (из главы XIX). А между ними вставлен фрагмент смотра Гундоровского полка под слободой Бутурлиновкой атаманом вместе с первой союзнической миссией, имевшего место в н о я б р е 1918 года. Помещая красновский эпизод хронологически в н а ч а л о я н в а р я, между 2 и 6 числами, Шолохов фактически привязывает его не к первой, а ко второй союзнической миссии. Но для непосвященного читателя нарушение хронологии остается незаметным вплоть до сегодняшнего дня!

Чужеродность красновских эпизодов основному тексту романа обнаруживается при анализе хронологии событий зимы 1918/19 года.

Глава 10: ожесточенный бой 16 декабря (ст. ст.), в котором участвует Григорий Мелехов, отход полка 18 декабря (ст. ст.) и последующий отъезд Григория домой.

Глава 11: наступивший «неделю спустя» (25 декабря ст. ст.) развал фронта. Оба события и их датировка достоверны<sup>4</sup>.

Дальше следует описание бунта 28-го Вешенского полка. В Вешенскую полк пришел с фронта 1 января ст. ст. Три события в тексте, тесно связанные с приходом в станицу полка, датированы неверно.

Первое — отъезд из Вешенской генерала Иванова: «Командующий Северным фронтом генерал-майор Иванов за четыре дня до этого вместе с... спешно эвакуировались в станицу Каргинскую» (6, XI, 370). Сам отъезд командующего в Каргинскую достоверен, но имел место в ночь с 3 на 4 января ст. ст. — через два с половиной дня после прихода полка в станицу! И был, конечно, вызван присутствием в станице бунтующего полка<sup>5</sup>.

Второе — приезд адъютанта Иванова 22 (декабря — с издания 1953 года): «Но 22-го из Каргинской в Вешенскую приехал адъютант Иванова» (там же). Н е в е р н а я дата! 22 декабря, до распада фронта, генерал еще не уезжал из Вешенской, а 17 января ст. ст. в Вешенскую пришли красные!

Третье — красные части у Шолохова шли следом за Вешенским полком: «Следом за ним, верстах в тридцати шли части Инзенской дивизии. Красная разведка в этот день... уже на хуторе Дубровка» (там же).

Это сообщение противоречит всей картине событий на Верхнем Дону. Довольно длительное время после ухода казачьих полков с фронта красные части не решались вступить на территорию Войска Донского и лишь 14 января ст. ст. командарм-8 М. Н. Тухачевский приказал занять станицу Казанскую, что и было выполнено Богучарским полком 17 января ст. ст.<sup>6</sup> Дальше в тексте упоминается пауза между бунтом Вешенского полка и приходом красных: «на неделю» установилось затишье. Таким образом, следование красных частей сразу вслед за казачьи и противоречит и реальному ходу событий, и описанию этих же самых событий в «Тихом Доне» в других главах.

Большой запутанный узел в главе 14 связан с тремя эпизодами, заимствованными у Краснова. Упоминаемый здесь приход карательного отряда чеченцев в Каргинскую «в ночь на 4 января» в действительности имел место в ночь на 18 января ст. ст.<sup>7</sup>.

Далее, н о я б р ь с к и й смотр Гундоровского полка (из воспоминаний Краснова) с грубейшим нарушением достоверности ставится Шолоховым в п е р в ы е дни января, когда полк вел ожесточенные бои в районе Еланского колена, на совершенно другом участке фронта. И этот факт я н в а р с к и х боев гундоровцев

<sup>4</sup> Венков А. Печать сурового исхода. К истории событий 1919 года на Верхнем Дону. Ростов-на-Дону. 1988.

<sup>5</sup> Там же.

<sup>6</sup> Там же, стр. 58—59.

<sup>7</sup> Там же, стр. 61.

в совсем иных местах упомянут в тексте «Тихого Дона». Во время недельного затишья перед приходом красных братья Мелеховы слушают далекую канонаду: «...где-то, не ближе Усть-Хоперской, немо гудели орудия. «Генерал Гусельщиков там с гундоровцами», — говорил Петро» (6, XVII, 381—382).

И наконец, неверно упоминание боя с частями Красной Армии в Каргинской на следующий же день после отъезда атамана Краснова из станицы 7 января ст. ст. В действительности части Инзенской дивизии, кстати, правильно названные в главах 15—17, вступили 17 января ст. ст. в Вешенскую, а 24 января ст. ст. — в Каргинскую. Таким образом, мы наблюдаем удивительную картину полного распада хронологии той части текста, где красновские эпизоды соединяются с основным текстом «Тихого Дона»!

Шолохов ошибается не только в фактах и событиях, он искажает самый их дух и смысл. Проследим в эпизоде встречи миссии Бонда в Новочеркасске за изображением приема в атаманском дворце так, как он описан у Краснова и Шолохова, чтобы увидеть, что же именно Шолохов добавил от себя, какими красками он рисует «родное» ему казачество.

### П. Н. КРАСНОВ

(т. 5, стр. 273, 274)

Едва только переводчик кончил переводить... Атаман... отчетливо сказал: «За великую, единую и неделимую Россию! Ура!»...

Все мгновенно встали и застыли в молитвенных позах.

Архиепископ Гермоген плакал горькими слезами, и слезы лились по его серебристой седой бороде.

Все были глубоко растроганы охватившими вдруг воспоминаниями прошлого и тяжелыми думами о настоящем...

Капитан Бонд, взволнованный всем увиденным, несколько раз повторил: «Как это хорошо...»

### «ТИХИЙ ДОН»

(6, XI, 369, 370)

Переводчик перевел, и Краснов... крикнул сорвавшимся голосом: «За великую, единую и неделимую Россию! Ура!»...

Все поднялись, осушая бокалы.

По лицу седого архиепископа Гермогена текли обильные слезы.

Кто-то из сановных гостей от полноты чувств, по-простецки рыдал, уткнув бороду в салфетку, измазанную раздавленной зернистой икрой...

«Как это прекрасно...» — восторгался захмелевший капитан Бонд.

Эта импровизация на тему красновского текста говорит сама за себя. На фоне трагичных, проникнутых болью и тревогой за судьбу казачества и России воспоминаний Краснова строки романа звучат издевкой. Не только искажается достоверно описываемая Красновым встреча союзников, но в заимствованном отрывке она намеренно представлена пьяным сборищем шотов.

А ведь перед нами одна из кульминационных точек трагедии, разыгравшейся на полях России. Исчерпаны почти все возможности продолжения успешной борьбы. И упования собравшихся, их последняя надежда — на помощь союзников, с которыми бок о бок сражалась Россия в годы кровавой мировой войны. Не только их собственная жизнь, но судьба родины, разоренной и распятой, может быть, решается в описываемый момент — и как легко и цинично обращает Шолохов трагедию в пошлый анекдот! «Захмелевший», «осушая бокалы» — еще не раз мы встретимся на страницах «Тихого Дона» с этим творческим вкладом Шолохова.

Этот эпизод говорит не просто о тенденциозной обработке чужого свидетельства. Важно вчитаться в исходный, красновский текст, чтобы увидеть, насколько автором вносимых изменений не воспринимается трагичность событий. Его дополнения — это реакция дикаря на чуждое его пониманию явление.

Здесь проявляется социальная психология Шолохова, накладывающая зримый отпечаток на его литературные возможности. Возможности эти явно ограничены первоначальной социальной средой, нехваткой законченного гимназического образования, личными чертами характера и формирующегося мировосприятия. В этих эпизодах перед нами появляется Шолохов «Донских рассказов».

В одном ряду с рассмотренной выше цепью искажений донских событий, да и самой казачьей жизни и ее ценностей, находится шолоховская ремарка к подвигу

донского казака Козьмы Крючкова. Дополнительная по отношению к главе 8, где описан подвиг казака — первого георгиевского кавалера войны 1914 года Козьмы Крючкова, небольшая по объему глава 9 третьей части содержит «факты», оскорбительные для героя казака (а в действительности — просто злую клевету): «...слонялся до конца войны, **получив остальные три креста** за то, что из Петербурга и Москвы на него приезжали смотреть **влиятельные дамы и господа офицеры...** а он вначале **порол их тысячным матом**, а после, под благотворным влиянием штабных подхалимов в офицерских погонах, сделал из этого доходную профессию: рассказывал о «подвиге»... сгущая краски до черноты, **врал без зазрения совести**» (3, IX, 124).

Какая неблагодарность по отношению к рядовому казаку, в минуту опасности для родины проявившему подлинную отвагу. Эти шолоховские слова даже нельзя соотносить с тем образом, который нарисован в предыдущей, 8-й главе.

Когда станицы Усть-Медведицкого округа подняли восстание против насилий и красного террора в апреле—мае 1918 года, в первых рядах повстанческой армии был казак Усть-Хоперской станицы Козьма Крючков. «При вторичном взятии Усть-Медведицы отличился герой последней войны с германцами казак станицы Усть-Хоперской Козьма Крючков, **снявший пост красных в шесть человек**» («Донская волна», 1918, № 20, стр. 10).

Полтора года гражданской войны К. Крючков сражался в рядах Усть-Хоперского полка Донской армии. На берегах Дона, защищая родную землю от наступающих частей Красной Армии, он и погиб. Уже в эмиграции знавшие его друзья писали, что осенью 1919 года сотник Крючков во главе караула казаков самовольно, без приказа пытался выбить красных (взвод пехоты с пулеметом) с противоположного берега под станицей Островской. Красные подпустили поближе и перебили всех из пулемета (см. «Казачий путь», 1926, № 90).

Слова «врал без зазрения совести», порочащие казака, героя Второй отечественной войны (как в те годы называли войну с Германией), остаются полностью на совести Шолохова, характеризуют его равнодушные к казачеству и к его борьбе за свое существование. А сама глава представляется явно чужеродной соавторской вставкой.

### Проблема совмещения заимствований с основным текстом

Много важной и неожиданной информации о тексте романа дают нам главы, завершающие сюжетную линию большевика Бунчука и приуроченные к апрелю—маю 1918 года. Эта линия, вообще очень неровная, несет на себе следы многих переделок и изменений. Разнородность текста постепенно нарастает, и особый интерес здесь представляет хронология упоминаемых в тексте событий. На протяжении немногих страниц в тексте одновременно встречаются и существенные ошибки в датировке событий, и скачки календарного стиля (со старого на новый и обратно), и, самое важное, расхождение хронологических рядов, когда одно и то же событие в разных сюжетных ответвлениях датируется по-разному.

Начинается этот слой текста со слов о проведении в Ростове областного съезда Советов. Первое его упоминание встречается в главе 20: «**В конце марта** в Ростове начали прибывать теснимые гайдамаками и немцами украинские красногвардейские отряды. В это время Донской ревком... готовился к **областному съезду советов**»<sup>8</sup> (5, XX, 293, 294). Вторично съезд упоминается в главе, в которой рассказывается о последних днях Бунчука в Ростове. В эти «апрельские» дни под Ростовом в бою с подступившими к городу восставшими казаками (**24 апреля**) погибает Анна, а Бунчук **1 мая** покидает город с подтелковской экспедицией, взяв при этом «**29 апреля** из казначейства... десять миллионов рублей золотом и николаевскими». «По зимовникам бродил Попов, грозя оттуда Новочеркаску. Начавшийся в **конце апреля** в Ростове **областной съезд советов** неоднократно прерывался, так как в о с т а в ш и е ч е р к а с с ц ы подходили к Ростову и занимали предместья» (5, XXVI, 310).

В этих немногих строках оказались перемешанными правильные и ошибочные сведения, нарушена хронология. Схематично развитие событий в тексте можно представить следующим образом: бой с казаками на окраине Ростова (**24 апреля** н. ст.), в котором гибнут Максимка Грязнов и Анна; после боя Бунчук приглашен (**29 апреля** н. ст.) в экспедицию и вместе с Подтелковым покидает Ростов (**1 мая** н. ст.). В то же время: по зимовникам бродил Попов, грозя Новочеркаску; восставшие черкассы подходили к Ростову; начавшийся в **конце апреля** в Ростове областной съезд Советов неоднократно прерывался.

Дата проведения областного съезда Советов (**в конце апреля**) неверна, но в цитированной главе 20 указана другая, правильная, дата (**в конце марта**).

<sup>8</sup> Гайдамаки и немцы заимствованы у А. А. Френкеля: «Теснимые с Украинны наступающими германскими войсками и гайдамацкими бандами, многочисленные красные партизанские отряды...» («Орлы революции», стр. 16).

Съезд действительно проходил с 27 марта по 1 апреля ст. ст. В первых изданиях «Тихого Дона» имелся еще один фрагмент, где дата съезда упоминалась правильно. В бой с казаками, окончившийся смертью Анны, Подтелков ведет отряд, прервав заседание исполкома (исполкома, а не съезда! — хотя М. А. Шолохов, видимо, особых различий не видит), уже после областного съезда, на котором исполком и был избран: «Под вечер, когда Подтелков, прервав заседание Донского исполкома, наскоро сколотил отряд и повел его в контрнаступление против подступавших к городу новочеркасских казаков...» («Тихий Дон», ГИЗ, 1931, кн. 2, стр. 370). Составленная выше схема событий органично дополняется «журнальным» фрагментом: 1) восставшие черкасцы подходили к Ростову; 2) начавшийся областной съезд Советов неоднократно прерывался; 3) Подтелков, прервав заседание Донского исполкома, сколотил отряд и повел его против подступивших к городу новочеркасских казаков.

Оценим достоверность исследуемого текста. Правильно упомянуты отряды восставших казаков. Они состояли именно из казаков низовских станиц вокруг Новочеркасска. Первый приступ их плохо вооруженных отрядов привел ко временному освобождению Новочеркасска 1 апреля ст. ст., но позднее под напором красной гвардии (кстати, вооруженной в основном казачьим войсковым вооружением, брошенным или проданным фронтовиками сразу после возвращения с фронта) казаки вынуждены были из-за нехватки оружия оставить город. Получив помощь от отряда походного атамана Попова, пришедшего в середине апреля из Степного похода (из района Зимовников!) под Новочеркасск, в станицу Константиновскую, казаки совместными действиями 22 апреля ст. ст. вторично освободили областную столицу Новочеркасск от красных.

Итак, в главе 26 отражены реальные исторические события. Это и упоминание черкасцев, действительно в начале апреля подходивших к Ростову; и отряд походного атамана Попова, воевавший в конце марта где-то на левобережье в районе Зимовников; и проведение в конце марта же областного съезда Советов. Но, так же как и в случае с «петлюровцами под Старобельском», эпизод не верноратирован и расположен в тексте не на своем месте!

Достоверный отрывок с генералом Поповым стоит в тексте перед обширными фрагментами, в создании которых Шолохов активно использовал заимствования из книги А. А. Френкеля «Орлы революции». Начало френкелевских эпизодов отмечено датами 29 апреля и 1 мая по новому стилю, а к этому времени, давно покинув Зимовники, отряд Попова стоял уже в станице Заплавской, готовясь к повторному штурму Новочеркасска.

Следующий вопрос относится к хронологии и композиции последних десяти глав пятой части. Соединение их тем способом, который мы встречаем в тексте, отражает формальную последовательность дат без учета старого или нового стиля. Действительно, описанные в главах 21—24 события в Верхне-Донском округе (на хуторе Татарском) происходят в период с 17 по 22 апреля (старого стиля! — 21-го, страстная суббота, объявлена мобилизация на Подтелкова). А смерть Анны в Ростове в мае (глава 25) происходит 24 апреля, после чего 1 мая Бунчук уезжает из Ростова вместе с экспедицией Подтелкова.

Казалось бы, принципы композиции соблюдены. Но 24 апреля и 1 мая — это даты по новому стилю, никаких сомнений в этом быть не может. Добровольческая бригада Дроздовского подошла к Ростову 22 апреля ст. ст., а окончательно город был освобожден от большевиков 25 апреля ст. ст. В тексте сложилась абсурдная ситуация: казаки (глава 24) по тревоге выступают в поход на поимку подтелковцев, а те еще только собираются (глава 25) выступить из Ростова на север!

Итак, обнаруживается важная закономерность. При заимствовании Шолохов все даты книги «Орлы революции» перенес в текст «Тихого Дона» без каких-либо изменений и дал их, разрушая единую хронологию, по новому стилю. Даты же основного текста (все!), например, события Верхне-Донского восстания 1918 года (главы 21—24), даны по старому стилю.

Но важнейший факт, настоящее открытие, лежит глубже. Мы обнаружили, что в разных по генезису частях текста, заимствованной и основной, различна датировка одних и тех же событий, она не совпадает даже после приведения в тексте всех дат к одному стилю. События эти — движение Подтелкова в северные округа, где его отряд был взят в плен, а подтелковцы судимы и затем казнены, — одни из важнейших. В согласии с данными Френкеля, Подтелков в главе 26 покидает эшелон и начинает пеший поход на шестой день путешествия, то есть 6 мая (23 апреля ст. ст.): «...1 мая... экспедиция тронулась по направлению на Каменскую. Экспедиция пять дней пробивалась по направлению на Миллерово. На шестой утром... — Давайте... пойдем походным порядком» (5, XXVI, 310). После этого, то есть после 5 мая н. ст./22 апреля ст. ст.: «Несколько дней экспедиция шла в глубь Донецкого округа» (5, XXVII, 312).

Приказ же о мобилизации на Подтелкова приходит на хутор Татарский «в страстную субботу», то есть 21 апреля ст. ст.! (5, XXIV, 307)

Дата 21 апреля не стоит изолированно в тексте, ей предшествуют многочисленные даты событий, составляющие единый хронологический ряд. При этом очень показательно использование внутренней хронологии, когда события датируются либо относительно какого-нибудь другого события, либо относительно православного праздника.

Проверим этот ряд по независимым источникам. О событиях весны 1918 года на Верхнем Дону подробно рассказал А. Кожин в журнале «Донская волна»<sup>9</sup>. Кратко суть событий можно свести к следующему. Окружной станичный съезд упразднил советскую власть и выбрал к вечеру 20 апреля окружного атамана генерала Алферова. Захваченные 19 апреля ст. ст. в плен красногвардейцы из тираспольского отряда (упоминаемого в романе) 21 апреля отправлены на станцию Морозовская через слободу Чистяково, где крестьяне разоружили конвоировавших казаков и освободили пленных. Лишь после грозного предупреждения окружного атамана Алферова пленные были вновь взяты под стражу. Подтелков двинулся к слободе Чистяково. Алферов приказал близлежащим станицам выслать отряды к слободе Чистяково...

Вот в этот-то краткий отрезок времени (освобождения инородными пленными красногвардейцев) Подтелков, по словам А. Кожина, и оставил железную дорогу и кинулся напрямую к слободе Чистяково в надежде найти среди неказачьего населения себе поддержку. А окружной атаман в ответ отдал приказ о поимке и задержании Подтелкова и его отряда. Выходит, что рассмотренная нами хронология вместе с датой мобилизации на Подтелкова (21 апреля) вполне достоверна. Но при этом она не совпадает с датой начала движения подтелковского отряда у Френкеля (и, соответственно, с датой заимствованного фрагмента главы 26) — 6 мая/23 апреля (5, XXVI, 310). В принципе для нас даже несущественно, какая именно дата точная. Важнее то, что Шолохов, не подозревая разночтения, ввел в текст две различные даты в один и того же события.

Не совпадают в этой сюжетной линии и даты последующих событий основной и заимствованной частей текста. В основной части арест Подтелкова происходит на Пасху (1918 год, 22 апреля ст. ст.):

«— Святая Пасха — а мы будем кровь лить?..

— Кум, Данило! Кум! Христос воскрес!

— Воистину воскрес! — слышался звучный чмок поцелуя...

Рядом другой разговор: „Нам и разговеться не пришлось...“ (5, XXVIII, 316), — то есть на следующий день после приказа окружного атамана о мобилизации! Казнь членов отряда происходит назавтра после ареста, утром второго дня Пасхи (23 апреля ст. ст.), и именно к этому времени, через сутки после выезда с хутора, к месту казни прибывает отряд казаков с хутора Татарского. Как видим, события в обоих сюжетных рядах составляют единую систему жестко синхронизованных между собой эпизодов. Введенные же Шолоховым даты суда (27 апреля/10 мая) и казни (28 апреля ст. ст.) подтелковцев взяты прямо из приложения к книге Френкеля и резко расходятся с внутренней хронологией событий.

Подведем некоторые итоги. Анализ глав 25—31 пятой части «Тихого Дона» позволяет надежно установить, что:

эпизоды разных сюжетных линий имеют, как правило, внутреннюю датировку описываемых событий;

одной из опорных точек хронологии служит православная Пасха;

хронологические ряды разных сюжетных линий четко соотнесены и синхронизованы между собой.

Мы не знаем причины одновременного хронологического смещения даты ареста и казни подтелковцев в разных сюжетных линиях, перенесения ее на Пасху. Можно лишь сказать, что оно возникло не случайно, а по хорошо рассчитанному замыслу автора. Введенные же в текст заимствования из книги Френкеля полностью выпадают из общего хронологического ряда событий и грубо нарушают композицию и связность всего текста.

С двойной датировкой событий при сопряжении заимствований из книги Френкеля мы сталкиваемся еще в одном эпизоде пятой части «Тихого Дона» (главы 4—6) — приезде на Дон революционера Бунчука для подготовки переворота. Этот эпизод окаймлен вставками (главы 3, 7) из книги Френкеля, где указаны хронологические рамки событий. Даты начала и конца боев за Ростов названы соответственно 27 ноября и 2 декабря 1917 года (глава 3). В главе 7 эта датировка подтверждается указанием длительности проходивших с 27 ноября по 2 декабря боев (шесть дней). «27 ноября Каледин уже был в состоянии оперировать стойкими

<sup>9</sup> «Донская волна», 9 июня 1919 г., № 21.

добровольческими отрядами... 2 декабря Ростов был с боем занят добровольческими частями» (5, III, 248). «Шесть дней под Ростовом и в самом Ростове шли бои» (5, VII, 256).

Однако в основном тексте, где бои за Ростов описываются подробно, указана иная дата начала боев — 25 ноября: «25 ноября в полдень к Ростову были стянуты из Новочеркаска войска Каледина. Началось наступление... по обе стороны насыпи шли жидкие цепи офицерского алексеевского отряда» (5, VI, 253).

Эта дата находит подтверждение в отрывке, вставленном в главе 7, где расстрел пленных офицеров-добровольцев происходит 26 ноября: «Перед вечером 26 ноября Бунчук... увидел, как двое красногвардейцев пристреливают офицера, взятого в плен» (5, VII, 256).

Таким образом, есть все основания говорить о двух различных хронологиях одного и того же эпизода, а следовательно, и двух различных исходных текстах, механически объединенных в рассмотренных выше главах «Тихого Дона».

Обратимся к еще одному случаю заимствований, когда все даты в исходном тексте даны по новому стилю. В седьмой части романа событий с точно указанной датой не так уж много. Из них три группы событий: июльско-августовские бои Донской армии, мамонтовский рейд на Москву и осеннее наступление 9-й красной армии на Дон, — взяты из книги Н. Е. Какурина «Как сражалась революция».

Проверка и анализ использования всех упоминаемых в седьмой части «Тихого Дона» дат приводит к следующим важным выводам. Все даты основного текста романа (осенние бои на подступах к Дону и на его берегах, общее отступление в декабре 1919 года) даны по старому стилю — так же как в основном тексте пятой и шестой частей «Тихого Дона». В какуринских фрагментах все даты даны по новому стилю, хотя и описывают действия не Красной Армии, а Донской. Датировка всех заимствованных эпизодов совпадает с датами источника без каких-либо изменений или согласований с остальным текстом, без объяснений или сносок.

В связи с таким построением текста седьмой части в хронологическом ряду событий возникает очень показательный разрыв. В главе 23 последовательно описаны два события — выход красных частей на левый берег Дона между станицами Казанской и Усть-Медведицкой и последующее контрнаступление Донской армии. Присутствие красных на левом берегу определено: «с 17 сентября...» и «до конца сентября». Далее упоминается о начавшихся «в первых числах октября» боях на левом берегу Дона. Чтобы понять, о чем идет речь, обратимся к сводкам боев Донской армии, печатавшимся в «Донских ведомостях». Сводка за 18 сентября/1 октября: «Фронт от устья Хопра до станицы Казанской» подтверждает дату выхода красных частей к Дону в основной части текста. Сводка от 4 октября/17 октября дает обзор военных действий и позволяет реконструировать события предшествующих дней. Замысел командования Донской армии состоял в том, чтобы быстрым отходом донских корпусов заманить части 9-й красной армии к Дону и, обеспечивая оборону по фронту мобилизованными второчередными частями, силами освободившихся корпусов обрушиться на фланги красных (классический казачий тактический прием — венгерь).

Фланговое наступление Донской армии началось практически одновременно с выходом красных частей на левый берег форсированием Дона в районе города Павловска. В ходе двухнедельных боев 9-я армия была разбита и начала отступление с Дона на Поворино — Новохоперск. Именно эти самые дни — дни ожесточенных боев на флангах — и имеют в виду как сводка Донской армии: «Красные на левом берегу Дона с 20 сентября по 1 октября», — так и Н. Е. Какурин в своей книге, говоря о завязавшихся «в первых числах октября» боях (окончившихся разгромом 14 октября н. ст. 14-й стрелковой дивизии красных и отходом 9-й армии от Дона). Только сводка дает даты по старому стилю, а Какурин те же самые даты — по новому!

В заключение необходимо еще показать, что дата 18 сентября в основной части текста дана по старому стилю. Для этого достаточно обратиться к сводке от 5/18 сентября: «Бои в нижнем течении Хопра Противник отброшен на левый берег Хопра корпусом Коновалова». Ясно, что 18 сентября по новому стилю бои с наступающими красными частями шли еще на Хопре, о боях на левом берегу Дона не было речи.

Итак, отрезки времени, обозначенные в шолоховском тексте как «до конца сентября» и «в первых числах октября», относятся к одному и тому же событию — боям на левом берегу Дона, — имевшему место в конце сентября по старому стилю и в первых числах октября — по новому! Одно и то же событие на одной и той же 595 странице датируется по-разному.

Нигде в тексте М. А. Шолохов не оговаривает, по какому стилю даются даты. Заметим, что Шолохов проживал в непосредственной близости от мест боев, с которыми связана ошибка в датировке, фактически он был их очевидцем. И тем не менее в датировке событий он запутался. Многозначительный факт, причем уже далеко не первый, если вспомнить, какой хаос в достоверности повествования создал Шолохов при включении в текст «Тихого Дона» красновских фрагментов (о чем подробно говорилось выше). Перед нами встает удивительное противоречие: человек, задавшийся целью изобразить казачество на войне мировой и гражданской (и предъявивший для публикации замечательные тексты во исполнение заявленного), не смог описать без хронологических ошибок даже события, очевидцем которых был!

Подведем некоторые итоги изучения того, как хронология основного текста «Тихого Дона» сопрягается Шолоховым с хронологией вставляемых им заимствованных фрагментов. Во всех рассмотренных нами случаях одна из дат относится ко вставному фрагменту и перенесена в текст непосредственно из источника заимствования. Другая дата того же самого события относится к основному («художественному») тексту романа. В двух случаях вставная дата дана по новому стилю, в одном — по старому. При этом в тексте отсутствуют какие-либо дополнительные пояснения, какому стилю соответствуют эти даты. Если в седьмой части после приведения к одному стилю даты совпадают, то в пятой это не помогает — датировка событий принципиально различна и расходится на несколько дней!

Первый вывод — о гетерогенности текста «Тихого Дона», о существовании в тексте принципиально различных пластов, слоев. И второй, наиболее важный, — расхождение дат прямо указывает на характер соединения разных по происхождению эпизодов. Эпизоды основного художественного текста, тщательно отделанные, неразрывно связанные между собой, как выявило наше исследование, имеют и единую хронологию. Она лишена внутренних противоречий, несоответствий реальным событиям тех лет; неразрывно связана с основной фабулой романа и являет собой сплав точных знаний и представлений автора. «Тихий Дон», точнее художественная его часть, в полном смысле слова является исторической хроникой.

Неорганичное, механическое соединение вставных эпизодов, созданных на основе минимально переработанных фрагментов ряда опубликованных в 20-е годы книг, с основной частью текста позволяет сделать вывод о том, что вставные и художественные эпизоды СОЗДАВАЛИСЬ РАЗНЫМИ ЛИЦАМИ.

### АВТОРСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ В «ТИХОМ ДОНЕ»

Особый, очень интересный предмет исследования представляют примечания и комментарии к тексту, публиковавшиеся в разное время в различных редакциях романа. Эти короткие ремарки и замечания дают возможность взглянуть на личность Шолохова еще с одной, нетрадиционной стороны.

Несколько слов о примечаниях в целом. От издания к изданию менялся состав примечаний, их количество и объекты комментирования. Так, авторские примечания к изданию 1941 года, числом около сотни, значительно отличаются по составу от примечаний к изданию «Тихого Дона» 1953 года. В издании 1941 года основная часть примечаний относится либо к военной терминологии, либо к названиям учреждений, партий, журналов, дает краткие биографические сведения о встречающихся в тексте реальных исторических лицах, вызывая зачастую недоумение — рассказывая о том, что и так было хорошо известно читателю. Например, слово «диспозиция» за полвека до «Тихого Дона» не требовало пояснений в «Войне и мире» Л. Н. Толстого. Или «стольный град» — словосочетание, известное еще из былин Киевской Руси, причем содержание комментария: «стольный город (!), столица», — озадачивает читателя. Вместо подобной тавтологии следовало просто написать подразумеваемое в тексте название — Новочеркасск! Такой характер комментариев напоминает школьный учебник и рассчитан скорее на начинающих учеников. Современникам вряд ли имело смысл разъяснять, кем были Асмолов и Путилов, Арцыбашев и Вересаев, Алиса и великий князь Николай Николаевич, Булавин и Тарас Бульба (!), Давид и Голиаф, Родзянко и Дугов. Точно так же как им были хорошо знакомы названия журналов: «Русское богатство» или «Нива», — партий: «народной свободы» (к. д.) или эсдеков.

#### «Выборный начальник всех степеней...»

Характер примечаний тенденциозен, резко выделяясь и содержанием и лексикой на фоне комментируемого текста романа. В качестве примера можно привести одно из них: «С л о в е с н о с т ь — в царской армии так называлась зубрежка, которой

самодержавие, опираясь на угрозы и религию, добивалось беспрекословного служения „богу, царю и отечеству”» (3, II, 104).

Широта спектра комментируемого — от мельчайших деталей казачьего быта до библейских сюжетов и сведений из сокровищниц мировой литературы (как древней, так и современной, начала века) — указывает на энциклопедические познания автора. Между тем само содержание комментариев-примечаний (изд. 1941 года) не только делает их в большинстве случаев неуместными, но подчас показывает непонимание комментируемого текста.

Интересно отметить обратный случай: в самом начале романа в примечании читаем: «Атаманы — ...выборные начальники всех степеней... С окончательной утратой самостоятельности донского казачества... фактически казачьими войсками управляли назначенные (т. е. назначенные) атаманы» (1, VI, 17).

В сноске прямо противопоставлены **выборные** и **наказные** атаманы. Это противоречит практике бездумного использования выражения, заимствованного у Антонова-Овсеевского, — «выборный наказной атаман». Наказные атаманы, то есть назначенные правительством, существовали на Дону со времен Петра I до июня 1917 года. Каледин стал первым после долгого перерыва **выборным атаманом**. Он, а позже генералы Назаров, Краснов и Богаевский были избраны Войсковым Кругом. Было бы логичнее в контексте описываемых событий назвать в сноске первых четырех выборных атаманов и подробнее объяснить исторический смысл и сущность функционирования восстановленных выборных структур, а не переписывать общеизвестные сведения из энциклопедии.

Несмотря на разъяснение значения терминов «выборный» и «наказной» в соответствующем примечании, все четверо генералов в тексте называются М. А. Шолоховым либо как «выборный наказной атаман», либо просто как «наказной атаман». Употребляя неправильный термин по отношению ко всем четырем выборным атаманам, М. А. Шолохов обнаруживает плохое знание событий недавней донской истории, а заодно игнорирует слова собственного же примечания!

Большинство комментариев к тексту «Тихого Дона» почерпнуто из 1-го издания Большой Советской Энциклопедии. Например:

БСЭ (т. 14, стр. 710)

**(лейб)-гвардия:** отборные войсковые части, составляющие личную охрану носителя высшей власти в государстве.

«ТИХИЙ ДОН» (1, V, 16)

**Лейб-гвардия** — пользовавшиеся рядом преимуществ войсковые части, составлявшие личную охрану носителя высшей власти в государстве (в царской России — царя).

Прием, использованный в комментировании художественного произведения, «нетрадиционен», тем более для такого специфического (имеется в виду специфическая территория Донской области с самобытной культурой, организацией, языком) произведения, как «Тихий Дон». Притом что значительная часть диалектных слов и речений оставлена без комментария, на субъективный, в меру понимания контекста, суд читателя, комментируются слова широко известные и представленные в учебниках по истории и литературе.

Наверное, важно подчеркнуть, что лейб-гвардия — это пользующиеся рядом преимуществ войсковые части, несущие охрану государя. Но исходя из контекста романа и исторического участия в описываемых событиях Лейб-гвардии Атаманского и Лейб-гвардии Казачьего полков (в последнем служил отец Григория Мелехова!), чрезвычайно важно (и это кажется естественным) было бы дать историческую справку относительно этих двух казачьих полков и их роли в истории России и казачества.

И наконец, что сразу бросается в глаза (и чем отличается текст комментария от аналогичного в БСЭ), так это политическая тенденциозность и оторванность от внутреннего пафоса и психологии романа. Ставшее кодовым для комментатора выражение «в царской России» вызывает у заинтересованного читателя, вовлеченного в мир героев романа, сильное недоумение и недоверие. А сам стиль заимствования комментариев из энциклопедии и последующего их дополнения вполне укладывается в схему работы Шолохова с источниками.

#### «Записки врача»

Похожую ситуацию мы встречаем в эпизоде, где описывается беседа Евгения Листницкого по дороге на фронт с попутчиком-врачом: «Ведь вы подумайте, сотник, — обращается тот к Листницкому, — протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой

лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои... — Чем объяснить эту несурязицу?.. — Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем!.. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с... Проиграем войну... японцам проиграли и не поумнели» (3, XIV, 139).

Смысл слов собеседника Листницкого хорошо понятен и однозначен — он сравнивает складывающееся в тылу положение с тем, что наблюдал на японской войне В. В. Вересаев: в тылу царят такие же беспорядок и неразбериха, что и в 1905 году! Вересаев описал свои наблюдения в книге, точное название которой — «На войне», с подзаголовком «Записки». Книга эта получила в свое время широкую известность, и упоминание ее в романе вполне естественно. Причем название книги сокращено («Записки врача» — В. В. Вересаев ведь был врачом) и приближено к разговорной речи.

Обратимся теперь к примечанию, которое дано в романе: «Вересаев — псевдоним известного современного писателя Викентия Викентьевича Смидовича... В нашумевших в свое время «Записках врача» Вересаев с величайшей искренностью вскрывал нравственные мучения молодого врача и показывал его сомнения, затруднения и беспомощность в работе» (там же).

Не понимая контекста, в котором упомянута книга Вересаева, не зная ее содержания, М. А. Шолохов дает или допускает чисто формальный — грубо ошибочный — текст примечания, взятый, наверное, из справочного издания. В нем упоминается ранняя книга Вересаева с похожим названием, не имевшая ни какого отношения ни к фронтовой медицине, ни к содержанию разговора Листницкого с врачом.

#### «Клиндухи — линейцы»

Другой характерный случай непонимания смысла художественного текста встречается во фронтовом эпизоде 1916 года, когда казак Лиховидов поет старинную казачью песню «Скажи, моя совушка, скажи, Куприяновна»:

«Слухай! Я зараз песню зайграю. Прилетела господня пташка к сове, гутарит...  
Вот орел — государь, вот и коршун — майор,  
Вот и лунь — есаул, и витютени — уральцы,  
А голуби — атаманцы, клиндухи — линейцы...» (4, III, 182).

«Клиндух, или клинтух, — дикий голубь (В. Даль)».

Примечание к слову «линейцы» поясняет, что «линейцы — линейные войска, предназначенные для действия в строю». Текст сноски, со всей очевидностью, взят из Толкового словаря. Но при этом он относится не к тому значению слова, которое имеется в виду в тексте романа!

Один из лучших знатоков и собирателей казачьих старинных песен, А. М. Листопадов, в отчете о песенной экспедиции на Дон писал, что чуть ли не половина казачьих песен посвящена «линии, линеюшке, проклятой сторонюшке» — кавказской пограничной линии по Кубани и Лабе, куда с конца XVIII века были переселены некоторые донские станицы для несения сторожевой службы. По окончании наполеоновских войн для Войска Донского мирная жизнь не наступила — еще полвека длилась кровавая война с горцами. В предгорьях и ущельях Кавказа полегло столько казаков, что само слово «линия» у старых воинов вызывало содрогание. Собиратель донских песен А. Савельев писал: «„Урядники, на линию!“ — гремит команда, а простодушные станичники бояливо вздрагивают, они не знают никакой другой линии, кроме „Линии, Линеюшки, проклятой сторонюшки“»<sup>10</sup>.

Человеку, хоть немного знакомому с историей казачества, знатоку старинных казачьих песен (а в «Тихом Доне» многочисленные казачьи песни органично входят в ткань романа), невозможно спутать линейные войска и линейцев. Но Шолохов все-таки спутал!

Однако эпизод с «линейцами» свидетельствует не только об исторической безграмотности Шолохова. Важнее и многозначительней другой аспект. Старинные казачьи песни несут важную образную и смысловую нагрузку в изображении жизни казаков, раскрытии их души. В заметках, интервью, разговорах с исследователями своего творчества Шолохов неоднократно говорил, что, создавая «Тихий Дон», использовал сборники Савельева, Пивоварова и Листопадова как источники казачьих песен. Но в этих сборниках «линия» и «линейцы» встречаются многократно: Савельев

<sup>10</sup> Савельев А. Сборник донских народных песен. Спб. 1866, стр. 35.

подробно рассказывает о тяжелом чувстве, возникавшем у казаков при воспоминании о линии. Листопадов — что в каждой второй казачьей песне говорится о линии, линеюшке.

Выходит, что Шолохов не только плохо знал историю казачества, но и дезинформировал своих собеседников — книги, на которые он указал как на источник песен «Тихого Дона», М. А. Шолохов не читал. А ведь он и казаком-то себя не считал, в чем откровенно признавался. «Напрасно Вы меня „оказачили“, — писал Шолохов М. И. Гриневой в декабре 1933 года. — Я никогда казаком не был. Хотя и родился на Дону, но по происхождению „иногородный“»<sup>11</sup>.

Сравнение текстов песен из «Тихого Дона» с текстами Савельева и Листопадова дало не менее удивительные результаты: в указанных книгах большинства песен «Тихого Дона» вообще нет, а те, что имеются, существуют в иной редакции, заметно не совпадающей с приведенной в «Тихом Доне». Таким образом, объяснение Шолохова насчет источников заимствования народных казачьих песен «Тихого Дона» ложно, а непонимание им значения слов «линия» и «линейцы» со всей очевидностью исключает возможность использования Шолоховым песен из собственного запаса. Если бы Шолохов знал и пел исторические народные казачьи песни, то он никогда бы не спугал линейцев с «войсками, предназначенными для действия в строю». Шолохов не знал происхождения текстов песен (он не читал ни Савельева, ни Пивоварова, ни Листопадова) и дал лишь внешне правдоподобное объяснение их происхождения.

Перед нами встает вопрос: кто составлял и проверял примечания, кто ответствен за нелепые и безграмотные ошибки комментариев и примечаний, которыми были снабжены прижизненные издания «Тихого Дона»? Совершенно очевидно, что примечания носят в значительной мере случайный, иллюстративный или тенденциозный характер. В них подчас проглядывает непонимание самого комментируемого текста. Возможны два варианта: либо текст комментариев и примечаний составлен с непосредственным участием Шолохова (и тогда выявленные ошибки и несуразности прямо характеризуют уровень его понятий и представлений), либо комментарии составлены посторонними людьми по поручению издательства, без ведома Шолохова. В любом случае санкционирование Шолоховым многократных публикаций «Тихого Дона» с грубейшими ошибками в примечаниях довольно точно характеризует его образовательный уровень и низкую степень его личной ответственности за историческую и филологическую достоверность комментируемого в романе.

## ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ ВОССТАНИЕ НА СТРАНИЦАХ «ТИХОГО ДОНА»

Верхне-Донское восстание 1919 года занимает в «Тихом Доне» особое место как по объему примерно 65 глав — от развала фронта в январе (глава 12 шестой части) вплоть до боев в июне за освобождение станицы Усть-Медведицкой (глава 12 седьмой части), — так и в плане композиции романа, развития, а вернее, завершения основных сюжетных линий. Трагический раскол казачества и междоусобная война последовательно приводят к гибели главных персонажей «Тихого Дона».

Не менее важное значение имеют «повстанческие» главы и для текстологии романа. Этот обширный и достоверный материал, детально разработанный и осмысленный автором, вполне может рассматриваться как исторический источник, причем опубликованный в такое время, когда в Советской России никаких общедоступных материалов и сведений о восстании практически не существовало. В плане текстологии все это ставило перед нами двоякую задачу.

Во-первых, требовалось идентифицировать текст, то есть проверить точность в изображении событий и выявить в тексте аномалии и возможные ошибки, чтобы составить заключение о структуре и композиции текста и особенностях работы автора. Для сравнения нами использовались донские повременные издания, прежде всего газета «Донские ведомости» и журнал «Донская волна» за 1918—1919 годы, а также воспоминания командующего повстанческими силами Павла Кудинова, опубликованные в эмиграции в 1931 году, уже после выхода в свет первых частей «Тихого Дона»<sup>12</sup>.

Во-вторых, на материале «повстанческих» глав мы получали уникальную возможность независимой проверки гипотезы об участии «соавтора» в создании «Тихого Дона». Согласно этой гипотезе, уже сформулированной выше, отдельные фрагменты

В кн «Записки отдела рукописей». Вып. 29. М. «Книга». 1967, стр. 264.

<sup>12</sup> «Вольное казачество», Прага, 1931, № 77—85; 1932, № 101; «Отчизна», 1991, № 6, 7, 8. Следует отметить тот факт, что воспоминания П. Кудинова опубликованы раньше соответствующих им по содержанию и, как будет показано ниже, во многом по фабуле совпадающих глав шестой и седьмой частей.

художественного текста соединялись «соавтором» в единое произведение с помощью заимствований из опубликованных на момент работы и подходящих по содержанию книг. Этот новый слой текста дает возможность еще раз проследить те характерные методы работы, при которых появляются грубые ошибки, анахронизмы, нарушения логики и последовательности в изложении, связанные с соавторским внедрением в текст, неадекватной оценкой первоисточника, наконец, с непосредственным участием в дописывании художественного полотна романа.

Описание событий на Верхнем Дону зимой — весной 1919 года можно уверенно разделить на три периода, каждый из которых имеет в тексте романа свои характерные особенности. Наибольшей художественную цельность и органичность представляет рассказ о приходе Красной Армии на Дон в январе 1919 года и начале террора, расказачивания, что в конце концов вызывает поголовное восстание казаков (главы 12—28 шестой части). Эта часть написана ярко и выразительно, как бы на одном дыхании, с правдивым изображением всех упоминаемых событий и безукоризненной хронологической их последовательностью: бунт 28-го полка и его уход с фронта; приход красных войск, причем с определенной, недельной, задержкой — ведь казаки заключили «мир» с красными, надеясь, что Красная Армия не вступит на донскую землю. Григорий в главе 16 говорит красноармейцу: «Мы ведь сами бросили фронт...» Правильно названы все упоминаемые в тексте полки и дивизии Красной Армии; достоверно изображено вызывающее и настороженное отношение пришельцев к казакам (см. главы 16—18).

Приведем несколько примеров точности и достоверности соответствующих эпизодов в тексте «Тихого Дона». Вот картина появления первых красноармейцев в курене Мелеховых (январь 1919 года): «Красноармейцы рассаживались не крестясь. Старик наблюдал за ними со страхом и скрытым отвращением. Наконец не выдержал, спросил: — Богу, значит, не молитесь?.. — И тебе бы, отец, не советовал! Мы своих богов давно отправили... Бога нет, а дураки верят, молятся вот этим деревяшкам!» (6, XVI, 379).

О том же пишет П. Кудинов: красные «срывали иконы, крича: „Товарищи кадеты, смотрите, мы вашего бога повергли к ногам красного солдата!“» («Отчизна», 1991, № 6, стр. 74).

Вспомним еще, как один из красноармейцев требует, чтобы Ильинична сперва сама попробовала подаваемую на стол еду, боясь отравы. Эпизод этот не вымысел автора. А. Венков приводит следующую любопытную выписку из приказа по стрелковой бригаде Красной Армии, отданного перед вступлением в Донскую область: «При занятии казачьих хуторов не пить воды, молока и не есть пищи, не попробованной самими владельцами»<sup>13</sup>.

Описываемое в романе недовольство казаков новой властью, появление ревтрибуналов и начало массовых бессудных казней полностью отражены и в воспоминаниях Кудинова. Особо следует отметить достоверное, как мы увидим ниже, упоминание в художественном тексте «Тихого Дона» совершенно секретной, скрывавшейся вплоть до самых последних лет зверской директивы большевистского руководства о расказачивании. Сравним встречаемые в обоих текстах списки лиц, подлежащих уничтожению в ходе расказачивания. П. Кудинов вспоминает, что в начале восстания на убитом комиссаре Эрлихе повстанцы нашли приказ Реввоенсовета от 12 декабря 1918 года: «Лица, перечисленные в пунктах, подлежат обязательному истреблению: все генералы; духовенство; укрывающиеся помещики; штаб- и обер-офицеры; мировые судьи; судебные следователи; жандармы; полицейская стража; вахмистры и урядники царской службы; окружные, станичные и хуторские атаманы» («Отчизна», 1991, № 6, стр. 74).

А вот аналогичный список из «Тихого Дона», составленный следователями ревтрибунала и определявший категории казаков, подлежавших аресту: «По округу наблюдаются волнения... — Необходимо изъять все наиболее враждебное нам... Офицеров, попов, атаманов, жандармов, богатеев — всех, кто активно с нами боролся, давай на список» (6, XXII, 394).

Первые шаги начавшегося восстания совпадают в обоих текстах за исключением даты начала. По Кудинову, первыми поднялись казаки хутора Шумилина. Утром 26 февраля они освободили свой хутор, а днем атаковали и освободили станицу Казанскую. Сформированный там отряд утром 27 февраля атаковал и освободил Вешенскую, откуда часть комиссаров бежала в станицу Еланскую. В «Тихом Доне» в вешенском ревкоме в день восстания Кошевой узнает о бое в Казанской, проис-

<sup>13</sup> Венков А. Печать сурового исхода..., стр. 60.

шедшем на кануне. Среди восставших упоминаются шумилинцы и казанцы (6, XXVII, 402).

Еще два эпизода подтверждаются Кудиновым<sup>14</sup>: низкая вначале активность правобережных казаков, не испытавших еще во всем объеме красный террор («В Татарском некоторые особенно осторожные казаки не хотели брать оружия...» — 6, XXX, 407), и обращение еланцев к вешенцам за помощью против обосновавшихся у них комиссаров (6, XXVIII, 406).

Таким образом, сравнительный анализ позволяет отметить историческую достоверность описаний событий, предшествовавших восстанию, точность в воспроизведении самой атмосферы, царившей в казачьих станицах на Верхнем Дону зимой 1919 года.

### Начало фрагментации текста

Дальнейшие события восстания в главах с 29 по 56 развиваются по нескольким основным сюжетным линиям. Главная линия — Григория Мелехова. Основная тема — бои с участием Григория в составе повстанческих сил. Линия, сопутствующая ей, — небольшой эпизод (главы 32—34), связанный с последним боем Петра Мелехова и гибелью его вблизи от родного хутора. Противостоящая основной — линия, связанная с судьбой хуторских коммунистов Штокмана, Ивана Алексеевича и Кошевого. Обе линии пересекаются в эпизоде восстания Сердобского полка. Хронологически все события относятся к марту—апрелю 1919 года по ст. ст. и достигают своей кульминации: на пересечении первых двух — гибель Петра Мелехова, а на пересечении первой и третьей — гибель хуторских коммунистов и их исчезновение (кроме Кошевого) со страниц романа.

Целесообразно установить в рамках каждой сюжетной линии последовательность и хронологию событий, сопоставить полученные данные между собой, а также с воспоминаниями Кудинова. Такое двойное сравнение позволит определить степень единства и однородности текста, его историческую достоверность, выявить расхождение и возможные причины их возникновения в тексте.

Основная часть текста «повстанческих» глав, с 29 по 56, связана с линией Григория Мелехова. Многочисленные эпизоды, каждый из которых тщательно художественно выписан, разработан, соединены в единую цепь, где отдельные события не только не вступают в противоречие друг с другом, но развиваются последовательно, одно за другим, без нарушений смысла, хронологии, связности изложения. Проверка исторической достоверности событий этой линии по воспоминаниям Кудинова дает довольно полное совпадение в эпизоде захвата в плен командира карательного отряда Лихачева: выступление казаков в ночь в сторону Каргинской, встреча с карательным отрядом возле хутора Токина, ночная засада казаков на дороге.

В описании боев на реке Чир между 9 и 18 марта ст. ст. несколькими фразами упоминается уход полка 1-й повстанческой дивизии на север, на помощь станице Еланской. П. Кудинов полностью подтверждает эту деталь: отчаянные бои развернулись у Еланской 13—14 марта ст. ст. В связи с ними 1-й бригаде Богатырева и одному полку 1-й дивизии было приказано разбить правобережную группировку красных и с тыла громить Еланскую, захваченную наступающими красными частями, что и было осуществлено (см. «Отчина», 1991, № 7, стр. 67).

Далее в романе упоминается о сильном давлении красных на 1-ю дивизию до 20 марта, после чего «противник перебросился на 2-ю дивизию и вскоре захватил ряд хуторов Мигулинской станицы». П. Кудинов же пишет об успешном наступлении красных на 2-ю дивизию 18 марта в юрте Мигулинской станицы. Положение было восстановлено 19 марта, после прихода на помощь полка 1-й дивизии (все даты по ст. ст.).

Несовпадения между текстом «Тихого Дона» и воспоминаниями Кудинова тем не менее существуют. Они носят характер неточностей в датировке тех или иных событий:

наступление повстанцев на хутор Чукарин и Каргинскую станицу 7 марта (6, XXXV, 416) вместо 1 марта (Кудинов), сразу после захвата Лихачева;

красные перекинулись на 2-ю дивизию не «после 20 марта» (6, XLI, 434), а 18 марта (Кудинов);

Сердобский полк арестовал коммунистов и присоединился к восставшим 8 апреля (Кудинов), а не 15 апреля (6, XLIX, 455). Дата 8 апреля по ст. ст. находит

<sup>14</sup> См. «Отчина», 1991, № 6, стр. 75.

подтверждение и по воспоминаниям военного комиссара Усть-Медведицкой станицы С. Волынского<sup>15</sup>.

Из вышеперечисленного можно заключить, что автор «повстанческих» глав не был очевидцем событий, но тщательно собрал доступную информацию о боях 1-й повстанческой дивизии. Никаких иных повстанческих частей, описаний их боевых действий в «Тихом Доне» не встречается.

Помимо боев, в которых участвует Григорий Мелехов, мы имеем дело еще с двумя относительно небольшими эпизодами. Первый из них — бой с карательным отрядом на краю хутора Татарского, в котором погибает Петр Мелехов. Художественное и идейное значение этого эпизода крайне высоко. Нельзя без волнения читать страницы прощания Григория Мелехова с убитым братом. Ведь смерть казакам несут свои, хуторские: Кошевой, Котляров. Запоминающийся образ поднявшихся на защиту своих куреней казаков, ветхие старики, безоружными выходящие за околицу хутора для участия в бою, — все это потребовало от автора поместить место боя недалеко от хутора Татарского.

В то же время при сопоставлении с остальным текстом мы обнаруживаем существенные анахронизмы и противоречия. Во-первых, хронологически эпизод искусственно введен в единый ряд действий повстанцев в составе 1-й дивизии; захват Лихачева, наступление на Каргинскую, бои на Чире в марте—апреле. 5—6 марта ст. ст. никакие красные части не угрожали району станицы Вешенской на правобережье Дона. Во-вторых, Кошевой и Котляров появляются у хутора Татарского в составе 4-го Заамурского полка, который «перевалил еланскую грань... и степью двигался на запад над Доном» (6, XXXII, 411).

Шолохов ошибается здесь, и ошибка эта многозначительна, в названии полка: не Четвертый Заамурский полк (полка с таким номером не было на Юге), а Пятый, как он правильно и назван в главе 36, относящейся к линии Григория Мелехова. Одновременное существование в тексте двух различных названий одного и того же объекта (в данном случае полка), с чем мы неоднократно сталкиваемся в тексте «Тихого Дона», является серьезным свидетельством разнородности текста, создания его в разное время и при участии разных авторов.

Помимо того, двигаясь над Доном к станице Еланской (по Кудинову, единственное наступление красных на этом направлении с последующим их разгромом имело место 13—14 марта ст. ст. со стороны станиц Букановской и Слашевской по левому берегу Дона) и находясь при этом за много верст не только от хутора Татарского, но и от юрта Вешенской станицы, да еще на другом берегу Дона, готового вот-вот вскрыться ото льда, 5-й Заамурский полк никак не мог очутиться возле хутора. Следовательно, эпизод боя недостоверен и должен был первоначально относиться к какому-то иному ряду событий. Искусственность и недостоверность включения его в текст очевидны и вызваны, возможно, соединением фрагментов разного происхождения. Детали, связанные с упоминанием Заамурского полка, ошибочны.

Другой эпизод (точнее, несколько фрагментов) связан с хуторскими коммунистами, их участием в боях и последующей гибелью в плену у повстанцев. Эпизод интересен наличием в едином тексте наряду со множеством вполне достоверных данных неверного описания событий, порою просто невозможных.

К достоверным данным относятся прежде всего:

состав наступавших на Еланскую красных частей (Московский и Заамурский полки) и направление движения на запад левобережьем Дона;

близость ледохода на Дону: «...лед на Дону к 13 марта очень слабый даже для одного» («Отчизна», 1991, № 7, стр. 67);

характер ответных действий повстанцев:

П. КУДИНОВ (там же)

Приказано 1 бригаде при поддержке одного полка и 2 пушек от 1-ой дивизии... разбить правобережную группу красных... и громить красных, занимающих станицу Еланскую, с тылу.

«ТИХИЙ ДОН» (6, XLVI, 443)

...4 повстанческий полк 1 дивизии... трехорудийная батарея и две резервных конных сотни... по правобережью были стянуты значительные подкрепления к хуторам Плешакову и Матвеевскому, расположенным от станицы Еланской — через Дон в трех — пяти верстах. На Кривском бугре был установлен орудийный взвод...

<sup>15</sup> См.: «Сборник воспоминаний непосредственных участников гражданской войны 1918—1922», кн. 2-я. М. Высший Военный Редакционный Совет. Стр. 74.

атака повстанческой конницы в решающий момент боя у станицы Еланской (11 сотен в «Тихом Доне», тысячная казачья лава — у Кудинова), в результате которой наступавшие красные части были рассеяны или уничтожены;

направление отхода красных частей на Букановскую, Кумылженскую.

Можно сказать, что в «Тихом Доне» все основные обстоятельства боя у станицы Еланской хорошо соответствуют тому, что вспоминал командующий повстанческой армией. Тем неожиданней в этом же эпизоде воспринимается большое число несуразностей и ошибок.

Во-первых, искусственно создана фрагментарность эпизода: картина небольшого боя разделена и частями включена в текст глав 32, 39, 40, 46, 48. При этом одни и те же фрагменты и используются в разных главах повторно: наступление на Еланскую упоминается в главах 32, 40 и 46; обстрел станицы Еланской с Кривого бугра — в главах 39 и 40; разгром наступающих красных частей в главах 46 и 48.

Хронологически одно и то же наступление на Еланскую ведется: в главе 32 — 5 марта, в главе 40 — 16 марта, в главе 39 — «в конце марта»!

Разгром красных и их последующее отступление происходит: в главе 39 — «в конце марта», в главе 48 — 12 апреля.

Во-вторых, наблюдается путаница с участвующими в наступлении красными частями: в главе 32 в наступлении участвуют только Мишка Кошевой и Иван Алексеевич в составе 4-го Заамурского кавалерийского полка; в главе 40 — те же и Штокман, уже в составе 2-го батальона Московского полка. Этот полк называется: в главе 40 Московским, в главе 46 — Московским красноармейским, в главах 39, 48 — 1-м Московским полком. Последнее ближе всего к правильному — 1-й Московский прелатарский полк.

Название «4-й Заамурский полк» используется на всем протяжении эпизода. Мы уже говорили о его ошибочности — такого полка никогда на юге не существовало. Цифра 4 в названии появилась у Шолохова, судя по всему, из-за путаницы в исходных, использованных им текстах: Четвертый (точнее, Двести четвертый) полк — Сердобский, а Заамурский полк — Пятый.

В-третьих, стыковка этого эпизода с остальным текстом «повстанческих» глав искусственна и сделана с ошибками. О включении фрагмента в главу 32 (последний бой Петра Мелехова) мы говорили выше. Остается обсудить еще две детали. На Еланскую Штокман, Кошевой и Котляров выходят в середине марта в составе батальона Московского полка, с трудом переходя при этом Дон по льду. Разгром же полка (глава 48) происходит 12 апреля ст. ст., после чего полк, «отрезанный ледоходом в устье Хопра, переправляется по льду на правый берег Дона в Усть-Хоперскую». Дата 12 апреля ошибочна (почти на месяц), переход Дона по льду в это время физически невозможен<sup>16</sup>. Если убрать дату 12 апреля и заменить ее на более соответствующую реальному ходу событий — 17 марта, то связность событий в отрывке восстанавливается. Но М. А. Шолохов никогда не делал каких-либо попыток исправления фрагмента, наверное, не подозревая о созданных им самим трудностях в тексте романа.

Еще одна встречающаяся несообразность — сам переход по льду Московского полка через Дон обратно в Усть-Хоперскую. Переход этот сочинен искусственно и лишь для того, чтобы привести персонажей — коммунистов — в место расположения Сердобского полка, после чего всякое упоминание Московского полка и с ч е з а е т со страниц «Тихого Дона». И становится вообще непонятно, как мог 15 апреля ст. ст. в станице Усть-Хоперской восстать Сердобский полк, если с 12 апреля ст. ст. в ней расположился боевой 1-й Московский полк! И куда он исчез позже?

Две противостоящие линии романа, Григория Мелехова и хуторских коммунистов, пересекаются в эпизоде восстания Сердобского полка. Хронологически события глав 47—49, 52, 54, 56 разворачиваются между 14 и 16 апреля ст. ст. Хронологический ряд, образуемый событиями этого эпизода, совпадает с хронологическим рядом основной линии романа — Григория Мелехова — почти во всех случаях: 16 апреля, «на следующий день» после восстания, пленные отправляются в Вешенскую, в этот же день Григорий узнает о восстании, захвате в плен коммунистов, среди которых свои хуторяне, и скачет в хутор Татарский, чтобы перехватить пленных. Для Григория последняя дата определяется по внутренней хронологии событий относительно праздника Пасхи (7 апреля ст. ст. в 1919 году), если при этом учесть у п о м и н а е-

<sup>16</sup> Сроки вскрытия Дона см., например: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1893. Т. XI, стр. 37. См. также «Тихий Дон» (6, XXXVIII, 426; 6, XL, 431).

мы е в тексте сведения о длительности его пребывания дома и на фронте. (На Пасху Григорий проводит шесть дней дома и два дня в дивизии до начала наступления на Астахово.)

Отметим две хронологические ошибки Шолохова. Первая: выпадение из общего ряда даты 22 апреля — наступление на слободу Астахово, прямо указываемой в главе 51. Внутреннее противоречие в тексте состоит в следующем. В главе 51 написано, что Григорий утром 22 апреля получает записку Кудинова о восстании Сердобского полка и скачет в станицу Усть-Хоперскую, а оттуда на хутор Татарский с целью «спасти своих». А далее по ходу повествования в главе 56 он прибывает на хутор Татарский после 6 часов вечера... 16 апреля! Ясно, что дата 22 апреля попала в текст по ошибке, случайно, но характерно, что так и оставалась неисправленной в с е г о д ы с момента публикации. И это при том, что мы встречаем тщательную с и н х р о н и з а ц и ю событий, описываемых в разных сюжетных линиях «Тихого Дона».

Вторая ошибочная дата у Шолохова (20 апреля ст. ст.) связана с реальным историческим событием — прилетом на самолете к повстанцам Петра Богатырева, двоюродного брата командира повстанческой бригады (глава 53). Этот вставной эпизод хронологически расположен в тексте между днем восстания 15 апреля ст. ст. (глава 52; командир повстанцев приказывает н а с л е д у ю щ и й д е н ь перегнать пленных в Вешенскую) и переходом пленных «на следующий день», 16 апреля ст. ст. (глава 54). У Кудинова мы находим иную дату (15 апреля ст. ст.) прилета самолета. Эти ошибки скорее всего случайны и имеют характер описок, но знаменательно, что они так и оставались неисправленными.

Все это тем более удивительно, что в этих же самых главах главные события точно и умело синхронизованы. Это и скрытая связь эпизода боев на Чире (уход полка конницы на помощь еланцам) с боями под станицей Еланской, и совпадение хронологического ряда событий в сюжетной линии хуторских коммунистов с хронологическим рядом линии Григория Мелехова, и то единственно точное место, которое занимает в тексте эпизод прилета самолета из-за Донца.

До сих пор мы пытались анализировать различные нарушения в композиции и хронологии романа. Теперь нам предстоит рассмотреть о б р а т н у ю ситуацию: объяснить, почему вопреки введенным М. А. Шолоховым в текст датам событий композиция текста, взаимное расположение эпизодов (например, прилет самолета к повстанцам) остаются внутренне согласованными.

Анализ композиции «повстанческих» глав, в которых описаны бои марта—апреля, выявляет органичность введения в текст эпизодов с коммунистами Штокманом, Кошевым, Котляровым. За исключением главы 38 (которая несколько опережает по хронологии следующую за ней главу 39), разворачивающиеся события восстания составляют общий последовательный хронологический ряд, кульминацией которого становится восстание Сердобского полка.

Хронологически даты восстания полка (15 апреля ст. ст.) и последующей расправы над коммунистами (16 апреля ст. ст.) не стыкуются с датой наступления на фронте (22 апреля ст. ст.), когда Мелехов узнает о восстании и пытается спасти захваченных хуторян. А в письме Кудинова, сообщающем о восстании, вообще говорится, что оно началось «2-го числа». По точному смыслу текста во всех случаях подразумевается одна и та же дата, именно 16 апреля по старому стилю. Привязка к ней дается по внутренней хронологии событий, связанных с пребыванием Григория Мелехова на хуторе в пасхальные дни 1919 года. Одновременно в текст этих глав затесался фактически ничем не связанный с остальным текстом эпизод с прилетом в Вешенскую самолета из Новочеркасска, д а т и р о в а н н ы й Шолоховым 20 апреля.

При исправлении текста в послевоенных изданиях попытка устранить противоречия привела просто к распаду хронологии. По новому варианту (издание 1953 года) дата восстания изменена на 28 апреля (н. ст.?), дата приезда Григория на фронт — 5 мая (н. ст.?), а даты в письме Кудинова («2-го») и прилета самолета (20 апреля) остались без изменений.

Вернемся теперь к композиции «повстанческих» глав. Действие многократно переходит от одного персонажа к другому, вновь возвращается к прежнему герою, но во всех случаях общее непрерывное поступательное течение времени н е н а р у ш а е т с я. Особо стоит лишь прилет аэроплана из-за Донца — вставная глава 53, действие которой видимым образом ничем не связано с остальным текстом. Ни из каких обстоятельств прямо не вытекает, почему именно это место в т е к с т е избрал М. А. Шолохов для эпизода с аэропланом.

Исправим в тексте неправильные даты: вместо 22 апреля — 16 апреля ст. ст., а вместо 20 апреля (прилет самолета) — 15 апреля ст. ст. Исправление дат приоткрывает загадку: к о м п о з и ц и я «п о в с т а н ч е с к и х» г л а в с о о т в е т с т в у е т

и истинной хронологии описываемых событий, она игнорирует даты, ошибочно вставленные, а позже вдобавок еще и ошибочно исправленные Шолоховым. Теперь все встает на свои места:

главы 50, 51: жизнь Григория дома (реконструкция)	7—14 апреля,
глава 52: соединение сердобцев с казаками	15 апреля,
глава 53: <u>прилет аэроплана</u>	<u>15 апреля,</u>
глава 54: переход пленных из Усть-Хоперской	16 апреля,
глава 56: расправа над пленными	16 апреля,
попытка Григория спасти пленных	16 апреля.

Вставная 53 глава как тайный, сокровенный знак присутствует в романе. Расположение главы в шолоховском тексте «Тихого Дона», противоречащее всем внешним формальным данным, игнорирование Шолоховым возникающих смысловых изменений при внесении в текст «исправленных» дат неизбежно ставят под сомнение понимание им самой внутренней связи описываемых событий, то есть отрицают его авторство и указывают на существование первоосновы — исходного текста иного автора.

### Распадение художественного текста

Девять заключительных глав шестой и первые двенадцать глав седьмой частей романа рассказывают о последнем периоде восстания: о трагических неделях конца мая 1919 года, о соединении восставших с прорвавшимся через фронт 9-й красной армии корпусом Донской армии и о последовавших совместно с ним боях за станицу Усть-Медведицкую. В этих главах можно четко выделить два основных эпизода. Первый рассказывает об отступлении всех казаков, включая женщин, стариков и детей, на левый берег Дона, где они заняли свой последний рубеж обороны. В течение двух недель, вплоть до разгрома красных частями Донской армии, прорвавшимися на помощь повстанцам, казаки сражались не на жизнь, а на смерть возле своих станиц.

Внутренняя хронология эпизода и некоторые обстоятельства боев:

отход за Дон в течение суток после принятия решения;

попытка форсирования Дона красными у Вешенской на пятый-шестой день;

обстоятельства боя с переправившимися у Вешенской красными,—

подтверждаются и по воспоминаниям Кудинова, и по «Донским ведомостям», и по книге А. Венкова.

Яркие художественные страницы описания народного бедствия — отхода повстанцев — имеют лишь одну незначительную неточность. Сама дата отхода на левый берег в тексте смещена на десять дней (22 мая — в романе, 12 мая ст. ст. — у Кудинова). Внутренне единое и достоверное описание последних двух недель героического восстания органично связано с предшествующим текстом и получает лишь неверную хронологическую привязку.

Второй эпизод рассказывает о совместных боях повстанческой дивизии Мелёхова и частей Донской армии «генерала Фицхелаурова» за овладение станицей Усть-Медведицкой. Само упоминание Фицхелаурова появляется в главе 57 шестой части, которая играет особую роль и закрывает в тексте большую лауну. Действие предшествующих глав заканчивается 16 апреля ст. ст., а в последующих главах описаны события уже середины мая и позднее. Глава 57 соединяет повествование единственным в тексте «повстанческих» глав прямым заимствованием в единую хронологическую цепь. Чужеродность этой главы по отношению к остальному тексту проявляется и в фальсифицированном описании подготовки прорыва фронта, и в том, что единственное датированное событие<sup>17</sup> в главе 57 дано по новому стилю, хотя все остальные даты в тексте — по старому стилю!

Рассказ о соединении повстанцев с частями Донской армии в «Тихом Доне» содержит важные внутренние противоречия. Если командующим «ударной группой» при подготовке прорыва фронта дважды называется генерал Фицхелауров, то в главе 5 фронт прорывает генерал Секретев — реальная историческая личность. Его же приветствуют станичники в Вешенской после соединения ударной группы с повстанцами. Однако дальше в тексте Секретев исчезает и снова возникает Фицхелауров, командуя взятием станицы Усть-Медведицкой. Сама по себе такая неразбериха с генералами уже свидетельствует о гетерогенности текста, об использовании Шолоховым (причем явно неумелом и поспешном) существенно различных источников. Но нам интересно изучить и содержание текста, его достоверность и связность изложения.

<sup>17</sup> В тексте истребление отряда кронштадтских матросов — в начале мая. В действительности этот случай имел место 9 мая н. ст./26 апреля ст. ст.

Действие развивается следующим образом. Навстречу ударной группе через Дон сразу переправляются повстанческие части 1-й дивизии (7, VI, 521), что подтверждается воспоминаниями Кудинова. Вместо преследования отступающего, разбитого неприятеля Григорий Мелехов переправляется обратно в Вешенскую и вместе с генералом Секретевым принимает участие в банкете — по сути, просто в грандиозной пьянке: «Генерала Секретева, приехавшего в Вешенскую... встречали хлебом-солью... А вечером... повстанческое командование устроило... банкет. Присутствовавший на банкете Григорий...» (7, VII, 523, 524). Следующее далее описание напившихся «освободителей» мы опускаем.

А вот этого не было и быть не могло!

Рассказывая о своей работе над «Тихим Доном», Шолохов многократно повторял, что он взялся писать не историю борьбы красных против белых, а историю борьбы белых против красных. Эти слова наглядно показывают чуждость Шолохова казачеству, непонимание им кипевшей вокруг борьбы. Сами казаки никогда себя белыми не считали и не называли. Казаки воевали в составе Донской армии, защищая родную Донскую область, под руководством своего войскового правительства, во главе с выборным атаманом войска Донского. Поэтому «штурмовые офицерские отряды», штурмующие Усть-Медведицкую под руководством генерала Фицхелаурова: «...красные удерживают Усть-Медведицкую... С нашей стороны, кроме дивизии генерала Фицхелаурова и двух штурмовых офицерских отрядов, подошла целиком Шестая бригада Богатырева...» (7, IX, 535), «Наутро Усть-Медведицкую... заняли части 5-й дивизии генерала Фицхелаурова» (7, XI, 545) (в действительности — корпус Мамонтова!), — шолоховский вымысел, который как в капле воды отражает его незнание и непонимание происходивших событий, тенденциозность и использование расхожих идеологических штампов советской пропаганды в качестве источника своих представлений и образов.

Станицу освобождал корпус Мамонтова. В Донской армии никаких офицерских отрядов не было! Шолохов путает ее с Добровольческой армией, которая сражалась на своем отдельном участке фронта: в мае 1919-го под Харьковом. Плохо представляя само устройство казачества с его выборным (о чем мы говорили выше) атаманом, донским правительством, Донской армией, Шолохов устами Пантелея Прокофьевича называет Краснова наказным (то есть назначенным) атаманом: «Я, братец ты мой, когда был на Войсковом Кругу, так я с самим наказным атаманом чай внакладку... — начал было Пантелей Прокофьевич и умолк» (7, XII, 550).

В точности такую же ошибку мы встречаем в словах Кудинова: «...окромя Мелехова некому это проделать! А проделаешь — Донское войско тебе не забудет этого. Как только соединимся... напишу рапорт самому наказному атаману. Все твои заслуги распишу...» (6, LXIV, 494), — и в авторской речи Шолохова: «4 февраля съехавшимися на Круг делегатами он был и зван войсковым наказным атаманом» (5, XVIII, 286). Кстати, та же ошибка с наказным атаманом встречается у Шолохова в «Донских рассказах»<sup>18</sup>. Напомним, что мы уже указывали на книгу В. А. Антонова-Овсеенко как на источник этой ошибки<sup>19</sup>.

Встреча повстанцев со своими же братьями казаками, избавителями от смертельной опасности, предстает у Шолохова в безобразном виде:

таков напившийся на банкете генерал, таковы и сами «освободители», среди которых выделен «вскормленник» Секретева:

«Вчера отбил под Макеевкой денежный ящик у красных. Два миллиона денег хапнул, глянь-ка, они у него изо всех карманов пачками торчат» (7, VII, 525);

таков здесь и Пантелей Прокофьевич, теряющий чувство собственного достоинства и умиляющийся близости своего сына к «генералам»:

«Скажи на милость! В какую ты честь попал, Гришка! За одним столом с настоящим генералом! Подумать только! — И Пантелей Прокофьевич, умиленно глядя на сына, с восхищением поцокал языком» (7, VIII, 529).

Между тем для настоящего казака, каким и изображен в романе Пантелей Прокофьевич, холопское умиление генералами (властью) просто немислимо.

<sup>18</sup> См. «Вопросы литературы», 1989, № 8, стр. 213.

<sup>19</sup> Антонов-Овсеенко В. А. Записки о гражданской войне, т. 1, стр. 67: «22 декабря, при избрании Наказного Атамана, Каледин получил почти 90% всех голосов... Круг постановил образовать высшую власть... на «паритетных основаниях»... 15-м (членом правительства.— А. М., С. М.) — наказной атаман».

Естественно, что у Шолохова в его романе таких освободителей казаки (среди них и Григорий) встречают кисло, скептически.

Что же в действительности происходило на Дону в описываемое время? Мы вернемся к этому вопросу, но прежде подведем некоторые итоги.

### «Повстанческие» главы — результаты анализа

Попытаемся суммировать выявленные нами особенности описания Верхне-Донского восстания в «Тихом Доне» и в этой связи охарактеризовать Шолохова, уровень его знаний и представлений, метод работы над текстом.

С одной стороны, в «повстанческих» главах мы обнаруживаем тщательную разработку даже мелких деталей событий, историческую достоверность и отсутствие серьезных фактических ошибок в эпизодах, связанных с Григорием Мелеховым, а также в некоторых фрагментах, относящихся к персонажам-большевикам (главы 39, 40) и к восстанию Сердобского полка.

С другой стороны, слишком очевидна попытка растянуть небольшой эпизод боя у станицы Еланской и включить его в текст таким образом, чтобы хронологически линия коммунистов присутствовала в повествовании в тех же временных пределах, что и основная, казачья. При осуществлении этого замысла Шолохов, соединяя различные эпизоды, допустил в тексте грубые ошибки и анахронизмы, нарушение логики и здравого смысла. При этом он применил весьма оригинальный «творческий» прием размножения текста — многократно включая в текст одни и те же фрагменты или их части, при этом лишь слегка изменяя или просто пересказывая содержание первичного эпизода. К многократному использованию одного и того же фрагмента Шолохов прибегает по крайней мере еще дважды: в двух разных местах вставляет уже упоминавшийся эпизод подготовки прорыва фронта на Донце, заимствованный из Краснова, а также включает в текст глав 38 и 57 шестой части изложение отрывка из книги Н. Е. Какурина «Как сражалась революция». Сам отрывок, служивший первоисточником, в ранних изданиях романа приводился тут же в сноске к главе 57, но позднее, в связи с арестом автора воспоминаний, был изъят.

Первый вывод относится к органичности и единству текста. До главы 29 текст можно считать однородным по композиции, идейной направленности, развитию сюжета и использованию изобразительных средств. Начиная с главы 29, текст расслаивается на отдельные части, каждая из которых внутренне однородна и относится к какой-нибудь определенной сюжетной линии романа.

Следующий вывод касается способов соединения текста. Мы встречаем в «повстанческих» главах.

- разрывы в событиях и датах, провалы в развитии сюжета;
- нарушение последовательности и логики повествования;
- повторное включение в текст одних и тех же фрагментов;
- смещения и несовпадения различных дат.

Все это находится в столь разительном несоответствии с текстом сочленяемых Шолоховым эпизодов, с единством содержания каждого из них, достоверностью и художественным уровнем, — что мы вправе в очередной раз поставить вопрос о вероятности соединения в романе текстов различного происхождения и авторства. У «другого» автора Шолохов заимствовал материал для компоновки «повстанческих» глав, который имел полностью или в значительной мере заверченный вид. Представления самого Шолохова о событиях, литературные возможности оказались явно недостаточными для того, чтобы готовый материал связать воедино, а недостающий восполнить собственными страницами.

### «БОЛЬШАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРАВДА» ШОЛОХОВА

Выявление и анализ множества отдельных фактов и наблюдений позволяют поставить вопрос текстологии «Тихого Дона» несколько шире, постараться понять цели, которые преследовал Шолохов при создании своей версии «Тихого Дона». Попытаемся посмотреть на проблему в целом и понять, ради чего нужны были все эти вставки связки и т. п. Какова основная направленность, главная цель шолоховских изменений и корректировок?

Встреча восставших со своими освободителями — один из кульминационных эпизодов романа. В нем как в фокусе проявились наиболее характерные особенности шолоховской работы с текстом, ранее уже рассматривавшиеся при исследовании заимствований.

- использование заимствований для связывания отдельных фрагментов;

восполнение недостающего материала «самодельными» отрывками, резко выделяющимися из художественного текста недостоверностью, сбивчивой хронологией, языком, идейной направленностью;

плохое понимание содержания и внутренних связей текста;

попытки идеологической переориентации всего произведения.

М. А. Шолохов утверждал, что идейным стержнем его творчества являлась «большая человеческая правда». Представление об этой «правде» мы можем получить, если сравним его текст с реальными событиями на Дону во время освободительной борьбы 1918—1920 годов. В этом случае мы не только решаем частный вопрос о достоверности событий и уровне знаний автора (и соавтора), но одновременно выявляем отношение самого Шолохова к казачеству и его судьбе, к трагическим событиям междоусобной войны, степень внутреннего духовного сопереживания и вовлеченности в описываемые на страницах «Тихого Дона» события.

Ключевым вопросом здесь стало отношение Шолохова к самой радостной и незабываемой минуте в жизни восставших — встрече со своими братьями казаками, прорвавшимися на помощь из-за Донца. Из огромного числа свидетельств о борьбе казаков в годы гражданской войны мы выбрали всего несколько. Они касаются наиболее важных для нашего исследования обстоятельств: это **положение казаков** в занятых Красной Армией районах; **главные мотивы**, толкнувшие казаков на восстание; **отношение восставших к тем, кто ушел за Донец** вместе с Донской армией.

Здесь возникает вопрос: можно ли вполне доверять газетным описаниям ужасов, творившихся на «освобожденной» территории? Не является ли все это обычной пропагандой, преувеличением или даже выдумкой? Примеры поведения красных почерпнуты нами со страниц «Донских ведомостей». Внимательное знакомство с этим изданием (редактором был Ф. Д. Крюков, ему помогал и иногда замещал Н. П. Асеев) свидетельствует о строгом отборе материала, продуманности и серьезности всей линии газеты, чувстве высокой ответственности со стороны участвовавших в издании представителей донской и российской интеллигенции.

Первый отрывок, который мы приведем, заимствован из очерка, где рассказано о судьбе станицы Константиновской, расположенной на Дону у впадения Северского Донца. Возникающая картина воссоздает ту атмосферу террора, ужаса и отчаяния, которую испытывали казаки занятых Красной Армией районов:

«21 февраля «мироновцы» ворвались в Константиновскую: началось советское строительство жизни, или, как писала «Донская правда», — «спала завеса с глаз, новые планы и новые мечты зародились из нового семени, разумного, доброго, вечного». Гомерическое пьянство по разграбленным винным погребам разлилось в первый же день, а из «новых мечтаний» осуществились самые главные: расстреляны были захваченные офицеры... и «казаки-красновцы» по доносу иногородних... другая осуществленная «новая мечта»: выпущены были все арестанты из тюрьмы, ибо «у нас нет тюрем»!..

Местные воры и конокрады, краса и гордость революции — матросы, озлобленные иногородние отплясывали дикую сарабанду над поверженной в прах станицей, захлебываясь в реках награбленного вина и потоках безвинной крови... Деятельно работали, как всегда у большевиков, л и ш ь чрезвычайка (военно-революционный суд), трибунал и военные власти. Главными заправилами чрезвычайки были два еврея — Аронштам и Склярский... За два месяца ими было расстреляно (приговоры утверждались латышом-комендантом) свыше 800 человек, из которых около 100 — жителей станицы... Расстреливали днем у тюрьмы китайцы, на виду у всех»<sup>20</sup>.

О составе восставших верхнедонцов и причинах, подвигнувших их на восстание, у нас имеется свидетельство казаков К. Е. Чайкина и Е. А. Мирошникова, посланцев станицы Мигулинской. В их сообщении Войсковому Кругу 16 мая 1919 года говорилось: «Верхне-Донской округ восстал против красных, обиженный расстрелами и грабежами, которые они производили...» Они привезли наказ казаков — «либо вождей добудете, либо дома не будете»<sup>21</sup>.

Мы видим из этих рассказов, что восстание было для казаков актом отчаяния, решимостью скорее умереть, чем быть обращенными в рабское состояние. Поэтому колебания Григория Мелехова, целесообразно ли восставать против «своей, родной» власти (например, эпизод с матросами под Климовкой или пьянка с повстанческими командирами), фальшивы от начала и до конца. Они не только противоречат авторскому образу Григория Мелехова, но и имеют совершенно

<sup>20</sup> П. Мар, «По разоренному Дону» («Донские ведомости», 22.6/5.7.19). Политком Аронштам даже переименовал станицу в город Розы Люксембург с улицами Подтелковской, Мироновской, Ленинской, Смерти. Не этот ли эпизод гражданской войны зародил у Андрея Платонова образы «Чевенура»?

<sup>21</sup> «Донские ведомости», 21 мая/3 июня 1919 г.; «Казачий путь», СПб, 1991, № 1.

фантастический характер на фоне той политики террора — расказачивания, — которую проводила на Дону «своя, родная» большевистская власть.

Вмешательство Шолохова в органично написанный, единый по замыслу, используемым художественным средствам и идейной направленности текст носит идеологический характер и имеет целью перекрасить героев книги, чуждой ему по внутреннему пафосу и духу. Обращение восставших в Новочеркасск за командирами для руководства восстанием прямо противоположно шолоховской «идее» о неприязни повстанцев (в их числе и Григория) к «кадетам» и к «генералам», опровергает ее.

Другое свидетельство — показания перебежчиков из Сердобского полка, направленного на подавление восстания: «Приказано... по прибытии в ст. Слащевскую (3 марта.— А. М., С. М.) перейти в ст. Букановскую, где был сконцентрирован весь карательный отряд 9-й армии... Мы получили задание преправиться на правую сторону Дона, двигаясь по этой стороне вплоть до ст. Мигулинской, с ж и г а т ь все восставшие хутора, всех же казаков от 18-летнего возраста р а с с т р е л и в а т ь . А в тех местах, где восстания не было, всех казаков не коммунистическим конвоем отправлять в ст. Михайловскую, откуда они должны были быть отправлены в Петроградскую губернию в концентрационные лагеря на всю жизнь, все же их имущество подлежит конфискации»<sup>22</sup>.

Жестокое и безжалостное отношение к населению казачьих районов, которое рисует нам свидетельство красноармейцев, вполне соответствует общей картине событий в «Тихом Доне». Иа его страницах практически нет эпизодов, где красноармейцы вели бы себя лояльно по отношению к казачьему населению занятых районов. «Тихий Дон» в целом написан с позиций враждебного отношения к Красной Армии как к армии поработителей. Именно по этой причине Шолохову так и не удалось коренным образом изменить первоначальный замысел. А его грубые вмешательства в основной текст слишком выделяются фальшивостью тона и надуманностью деталей.

Шолохов неоднократно стремится подчеркнуть враждебное отношение повстанцев, и особенно Григория Мелехова, к «генералам» и «кадетам» — фактически к своим освободителям, пришедшим в составе Донской армии. Все эти попытки выглядят клеветой на казаков, когда мы сравниваем шолоховские строки, например, с воспоминаниями П. Кудинова о незабываемой минуте соединения повстанцев с прорвавшейся ударной группой Донской армии: «В то время, когда неведомые пушки (группы Секретева под станицей Казанской.— А. М., С. М.) громили красные ряды, из главного штаба армии восставших была передана весть по всем дивизиям о соединении с конницей генерала Секретева. Передать впечатление той радости, которая охватила армию восставших, я не берусь... помню только одно, что в штабе звон телефона не прекращался; трубка мною из рук не выпускалась; все вызывали командующего, и на мой вопрос: «Говорит командующий, что угодно?» — вместо какого-либо ответа слышалось бесконечное «ура» множества голосов... 26 мая... Секретев... прибыл в Вешенскую... был встречен почетным караулом из седых стариков... При вступлении частей армии восставших в Усть-Медведицкую все и всё смеялось и плакало от радости»<sup>23</sup>.

Первые достоверные сведения о восставших Войсковому Кругу в Новочеркасск были доставлены летчиками, летавшими в район восстания. Поручик Веселовский, одним из первых попавший в Вешенскую, докладывал 8 мая (ст. ст.) 1919 года Войсковому Кругу:

«С чувством тревоги опускались мы недалеко от станицы (Вешенской.— А. М., С. М.). Но вскоре тревога рассеялась. Нас окружили женщины и дети, поднявшие ужасный рев, рассказывая о всех ужасах и насилиях «Коммуни». Но в этих слезах искрилась счастливая надежда на скорую нашу помощь. Трудно передать картину встречи. Торжественный колокольный звон, радостный и бодрящий, впервые огласил мертвые до того улицы станицы. Весь путь нашего следования был усыпан цветами. Кругом раздавались здравичи Войсковому Кругу, отцу-Атаману и Войску. Был отслужен благодарственный молебен. После молебна пошли осматривать лазареты... Больные и раненые просили передать, что восстали они сами без офицеров, и благодарили за присланный табак.

Летчик оглашает далее приветственные телеграммы из станиц Казанской и Мигулинской, в которых называют их весенними ласточками, принесшими с собой надежду на жизнь. «Был бы табак,— говорят казаки,— а снаряды и оружие добудем». Теперь же разрешите передать вам (обращается к председателю)

<sup>22</sup> «Донские ведомости», 12/25 мая 1919 г.

<sup>23</sup> «Отчина», 1991, № 8 стр. 70, 71.

цветы, присланные вам вешенцами». Летчик «при гробовом молчании разворачивает газетную бумагу и вынимает несколько увядших веток сирени — эмблему надежды. Буря аплодисментов огласила залу. Многие смущенно, виновато улыбаясь, подносили платки к глазам. Многие плакали навзрыд. С видимым волнением и слезами на глазах В. А. Харламов бережно принимает цветы»<sup>24</sup>.

Насколько же несовместимы эти лживые, фальсифицированные шолоховские страницы с духом «Тихого Дона», со вниманием, проявляемым автором к мельчайшим деталям казачьего мира, и точным воспроизведением самой жизни казачества! Насколько противоположны они бурной радости освобождения, которую мы встречаем буквально на соседних страницах «Тихого Дона»: «—Натальюшка! Родима моя! Наши едут!... — плача навзрыд, причитала выскочившая из кухни Ильинична... Старик (Пантелей Прокофьевич. — А. М., С. М.), спеша и прихрамывая, вошел на родное подворье — побледнел, упал на колени, широко перекрестился и, поклонившись на восток, долго не поднимал от горячей выжженной земли свою седую голову» (7, IV, 519).

### ПРОБЛЕМА «СОАВТОРА» В РОМАНЕ «ТИХИЙ ДОН»

Наше текстологическое исследование подошло к определенному логическому рубежу. Хотя возможности дальнейшего изучения текста далеко не исчерпаны и привлечение специалистов — филологов, лингвистов, этнографов, психологов — безусловно может углубить наши представления о тексте романа, для решения поставленных в начале исследования вопросов материала накоплено достаточно.

Выявленные особенности текста «Тихого Дона» коренным образом меняют ситуацию вокруг проблемы авторства: собран и систематизирован значительный объем сведений о тексте романа, таких важных характеристиках, как органичность и цельность повествования, историческая достоверность описываемых событий и их хронология, и т. д. При этом все полученные результаты наглядны и доступны восприятию и проверке любого непредвзятого читателя или исследователя.

Первым важным выводом стало обнаружение и выделение двух принципиально отличающихся друг от друга слоев текста.

#### Гетерогенность текста — вставные фрагменты

Расслоение текста «Тихого Дона» мы обнаружили уже в случаях грубых нарушений достоверности описываемых событий. В таких эпизодах, как «петлюровцы под Старобельском», «станица Ольгинская» или «пароход из Марселя», читатель сталкивается не просто с ошибкой автора в том или ином вопросе. Отклонение от достоверности, противоречие эпизодов остальному тексту, несовместимость с ним столь значительны, что при чтении возникает стойкое ощущение раздвоения текста: рядом с привычным, широкоизвестным на сегодняшний день образом вдруг появляется другая фигура, с иными чертами.

Сами по себе разрозненные «ошибки», конечно, не могут рассматриваться как прямое доказательство гипотезы «двух авторов». Но именно здесь начинается расслоение опубликованного Шолоховым текста «Тихого Дона» на две принципиально разные части.

Эпизод с генералом Фицхелауровым подвел к изучению большого количества фрагментов текста, написанных на основе заимствования из книг других авторов и составляющих внутренне единый и обособленный от основного слой текста. Общий характер этих фрагментов в сравнении со всем текстом «Тихого Дона» невелик, но их роль в композиции и структуре частей романа, с четвертой по седьмую, где заимствования встречаются, следует признать весьма значительной. Так, во второй половине четвертой части заимствования встречаются в четырех главах из десяти, в пятой — в одиннадцати из тридцати двух, в шестой — в четырех из четырнадцати (до начала восстания), в седьмой — в трех из двадцати девяти. Зачастую именно эти фрагменты служат соединительной тканью текста основного повествования, частично выполняя разрывы во времени и в развитии действия.

Типологическое единство этим весьма разнородным по происхождению и содержанию отрывкам придает несколько общих характеристик:

**их генезис** — прямое заимствование из ряда опубликованных в стране и в эмиграции книг или переложение их содержания;

<sup>24</sup> «Донские ведомости», 9/22 мая 1919 г.

**иллюстративность** большинства эпизодов, отсутствие в них основных персонажей, слабая связь содержания с остальным текстом;

**наличие серьезных ошибок**, нарушение единства и цельности изложения именно там, где заимствования соединены с основным текстом;

**раздвоение текста**, когда одни и те же событие, дата, название, понятие по-разному отображаются и вводятся в различных частях текста — заимствованной и основной;

**общий хронологический принцип** датировки событий в заимствованных эпизодах — точное копирование хронологии источника заимствования;

**два принципиально различных**, не совпадающих хронологических ряда, возникающих при описании событий, один из которых соответствует заимствованному тексту, а другой — основному;

**выраженная общая тенденциозность** при обработке вставляемых фрагментов в соответствии со стандартами советской пропаганды 20-х годов, направленность, которая подчас вступает в явное противоречие с духом и внутренним пафосом основного текста.

Случаи заимствований распределены в тексте романа неравномерно. Появляясь в середине четвертой части, они исчезают в конце седьмой. (В предшествующих главах «Тихого Дона» рассказано о событиях столь же масштабных и значительных, но ни одного случая прямых заимствований в этой части текста обнаружить не удалось. Если автором и использованы источники, то они полностью переплавлены и растворены в ткани романа, пропущены через главных героев.) Заимствованные фрагменты не несут, как правило, самостоятельной художественной нагрузки, а подчас они не имеют даже прямого отношения к основному художественному тексту. В качестве примера можно сослаться на эпизоды из книг Н. Е. Какурина («устье реки Икорец...»), А. И. Деникина («бригада Туземной дивизии...»), П. Н. Краснова («смотр Гундоровского полка в Бутурлиновке»). В последнем случае вставной эпизод не только ошибочно (хронологически) помещен в основной текст, но одновременно вступает по смыслу в прямое противоречие с ним.

Изучение композиции романа подтвердило сделанные нами выводы. До появления в тексте заимствований действие романа развивается последовательно, без скачков, образуя единый поступательный временной ряд событий. Появление в тексте вставок приводит в том числе и к изменению принципов соединения отдельных эпизодов. Произвольное подчас соединение разнородных фрагментов в одной главе сопровождается значительными хронологическими скачками при переходе повествования от одной главы к другой. В первых частях романа такой практики соединения отдельных эпизодов не наблюдается.

### Два авторских начала романа

Выявление источников заимствования, сравнение исходных и конечных текстов дает в руки исследователей прямую информацию о знании Шолоховым истории и географии Донского края, о его методах работы над текстом, информацию уникальную, если учесть, что иных надежных сведений о его работе над «Тихим Доном» крайне мало. Прямое сравнение сделанных им вставок с исходными текстами позволило выделить множество изменений, которые Шолохов внес в них.

Именно во вставных главах сосредоточено большинство грубых фактических и хронологических ошибок. Ошибки эти помогают определить уровень представлений автора вставных фрагментов текста. Уровень этот невысок. Именно здесь мы встретили Шолохова — автора «Донских рассказов» с его равнодушием к освободительной борьбе казачества, с политической тенденциозностью, грубостью языка.

Особое внимание привлекли ошибки в датировке некоторых событий в пятой и седьмой частях романа. Трижды соединение заимствований с основным текстом приводит к грубым анахронизмам — когда то или иное событие в тексте датируется по-разному, в зависимости от того, к какому слою относится. Читатель сталкивается со случаями анахронизмов, логических и иных несоответствий. При этом попытки М. А. Шолохова в поздних изданиях скрыть или замаскировать указанные несоответствия заменой дат или переводом их на другой стиль особого успеха не принесли.

Все это, вместе взятое — как сами нарушения, так и попытки их последующего исправления, — с большой долей вероятности свидетельствует о плохом понимании Шолоховым внутренних смысловых и логических взаимосвязей в тексте, который он восполняет с помощью заимствованных фрагментов. Прделанный нами системный анализ этих ошибок позволяет предположить, что в создании текста «Тихого Дона» участвовали по крайней мере два человека. При этом их роли были неравнозначны. Роль одного, составителя, могла быть лишь чисто внешней, механической — ролью

компилятора и редактора, но никак не создателя, не автора неповторимого художественного мира «Тихого Дона».

Для хронологии основного текста характерна внутренняя, относительная датировка событий с использованием православного календаря: «на третий день», «через неделю», «на Рождество», «после Покрова», «в страстную субботу». Эти даты даны по старому стилю и составляют единый, исторически достоверный, хронологический ряд, когда события развиваются поступательно, не совершая скачков во времени при переходе от одного персонажа к другому, создавая цельную картину жизни как отдельных людей, так и всего казачьего мира в целом.

Хронология вставных глав принципиально иная. Датировка вставных фрагментов целиком и без изменений взята из источников заимствований и дана стилем этих источников. При этом М. А. Шолохов нигде специально не делает каких-либо оговорок или пояснений насчет старого или нового стиля. Механически переписывая вставки из мемуарных источников, он не замечает подчас, что в основном тексте это событие уже присутствует и датировано иначе. Введение в текст вставных фрагментов сопровождается многочисленными разрывами и скачками во времени. ●они нарушают — особенно отчетливо это видно в пятой части романа — единую композицию, разрывая повествование на отдельные фрагменты, плохо координированные друг с другом.

Казачьи главы «Тихого Дона» написаны талантливо: не прерываясь и не разрывая единой системы образов, тянется художественная нить романа, захватывая читателя с первых строк повествования. По силе эмоционального воздействия и наполненности содержанием глава подчас становится самостоятельной повестью, отдельный ее эпизод — законченным рассказом. Логическая завершенность отдельных эпизодов романа, которые могут вполне существовать как самостоятельные произведения, сила создаваемых автором образов основываются на глубоких наблюдениях автора, хорошо знающего жизнь и людей. А возникающая из отдельных эпизодов и судеб героев различных поколений и социальных групп единая картина жизни свидетельствует о том, что автор давно определил свое место в жизни. И его мудрое и твердое отношение к людям, личный духовный опыт осмысления происходящего сплавляют в неразрывное целое отдельные эпизоды и зарисовки.

Все это не имеет ничего общего с представлениями и знаниями начинающего литератора, пробующего свои силы на литературном поприще, причем неудачно и неумело, что проявилось хотя бы в его неспособности совместить разнородные части текста без многочисленных ошибок и несообразностей.

### **«Соавтор» в романе — целенаправленность вносимых изменений**

К заимствованиям типологически примыкает еще один слой, производный от заимствований, связанный с ними «генетически». Это, например, несколько глав седьмой части, в которых упоминается генерал Фицхелауров. В основе этого эпизода лежит ошибочное использование отрывка из воспоминаний атамана Краснова, с грубым нарушением исторической достоверности и хронологии описываемых событий. Два связанных между собой обстоятельства, по-видимому, стали причиной появления в «Тихом Доне» этих неумело сконструированных страниц.

С одной стороны, это отсутствие у М. А. Шолохова в 20-е годы доступных письменных источников для компиляции по событиям Вешенского восстания в отличие от ситуации с предшествующими и последующими частями, в тексте которых встречаются заимствования. Если наша гипотеза об использовании заимствований как средства для соединения в единое целое готовых фрагментов незавершенного художественного произведения верна, то перед М. А. Шолоховым стояла непростая задача самостоятельно восполнить недостающий материал. В ограниченности его реальных возможностей и познаний и следует искать причины столь значительных неровностей в повествовании, достоверности, языке персонажей и т. п.

С другой стороны, отрывок с генералом Фицхелауровым повествует об одном из самых трагических и в то же время светлых событий освободительной борьбы донского казачества — соединении Донской армии с восставшими казаками Верхне-Донского округа и спасении их от поголовного истребления Красной Армией. Фальсифицированное отражение этих событий на страницах «Тихого Дона» говорит о стремлении максимально очернить как саму борьбу, так и представителей Донской армии, о намерении М. А. Шолохова втиснуть описываемые события в жесткие рамки советской пропаганды 20-х годов. Реализация такой установки и привела к появлению в тексте «Тихого Дона» еще одного чужеродного слоя.

По функциональному назначению к этому же слою можно отнести и такие места текста, которые явно подвергались грубой редакторской обработке, изменившей тот или иной художественный образ. Для примера можно указать на эпизод с атаманом

Красновым, когда добавление «вина» в сцену встречи союзнической миссии в Новочеркасске превращает эту трагическую сцену в фарс. Либо такие «авторские» (соавторские!) комментарии и добавления, как, например, вставка, очерняющая Козьму Крючкова, которые частично или полностью перечеркивают у читателя создаваемое художественным текстом впечатление и обеспечивают соответствие текста нормам официальной советской идеологии. Интересно отметить, что разрушение цельной художественной ткани романа совершенно не смущает и не останавливает Шолохова.

К «редакторским вставкам» по смыслу примыкают и «авторские примечания» в разных изданиях «Тихого Дона». Их можно рассматривать как некую единую, хотя и вспомогательную, производную часть текста «Тихого Дона». Для примечаний первых, довоенных изданий характерна прежде всего примитивность большинства из них, явная идеологическая тенденциозность. Стремление комментатора заявить о своей преданности «революционным принципам», как бы принести присягу на верность большевистской идеологии, проступало в них столь открыто, что значительная их часть в послевоенных изданиях была убрана или заменена на более «нейтральные»

«Идейность» примечаний и стремление разъяснить читателю множество слов и понятий, органически присутствующих в тексте и прекрасно знакомых любому мало-мальски образованному читателю начала века, дают обратный результат и лишь подчеркивают чужеродность примечаний «Тихому Дону». А грубейшие ошибки, вызванные непониманием некоторых мест основного комментируемого текста романа («Записки врача», «линейцы», «последняя турецкая кампания»), окончательно укрепляют это впечатление. И наконец последнее наблюдение. Публикация одних и тех же ошибочных примечаний от издания к изданию в течение длительного времени свидетельствует о том, что эти ошибки не случайно попали на страницы романа: они отражают знания и представления самого Шолохова.

### История создания «Тихого Дона» — версия Шолохова

Мы располагаем крайне ограниченным материалом для воссоздания истории работы Шолохова над «Тихим Доном». Одно из первых свидетельств о возникновении замысла романа и ходе работы над ним относится к 1932 году — это автобиография писателя<sup>25</sup>: «В 1925 году осенью стал было писать «Тихий Дон», но после того, как написал 3—4 п. л., — бросил. Показалось — не под силу. Начал первоначально с 1917 г., с похода на Петроград генерала Корнилова. Через год взялся снова и, отступив, решил показать довоенное казачество».

Через пять лет Шолохов почти дословно, с небольшими изменениями, повторил свою версию в интервью для «Известий»: «Начал я писать роман в 1925 году... первоначально я не мыслил так широко его развернуть. Привлекала задача показать казачество в революции. Начала с участия казачества в походе Корнилова на Петроград... Донские казаки были в этом походе в составе Третьего конного корпуса... Начал с этого... Написал листов 5—6 печатных. Когда написал, почувствовал: что-то не то... Для читателя остается непонятным — почему казачество приняло участие в подавлении революции?.. Что это за Область войска Донского? Не выглядит ли она, некоей terra incognita?. Поэтому я бросил начатую работу. Стал думать о более широком романе»<sup>26</sup>.

Изучение системы заимствований в «Тихом Доне» показало, что чужеродные вставки в тексте романа (заимствования) впервые появляются с середины четвертой части — с описания корниловского движения 1917 года. И именно на эти страницы как на самые ранние в своей работе указывает Шолохов. Столь важное совпадение многозначительно и может стать ключом к реконструкции истории создания известного нам текста и характера работы Шолохова над «Тихим Доном».

Непрофессиональный, малограмотный уровень обработки заимствуемых материалов рисует нам вполне определенный портрет начинающего литератора Шолохова. Беспорядочные и идеологически тенденциозные отрывки функционально зачастую никак не связаны с содержанием основной, художественной части. Характер их включения в основной текст сродни тем алогичным противоречивым и просто

<sup>25</sup> См. М. Шолохов. «Автобиография» (в кн.: Гуря В. Как создавался «Тихий Дон», стр. 96).

<sup>26</sup> «Известия», 31.12.37

сомнительным версиям работы над «Тихим Доном», которые мы встречаем у Шолохова.

Суммируя высказывания Шолохова о создании романа, можно выделить следующие основные положения его собственной версии.

1. **Н а ч а л о р а б о т ы** — описание корниловского движения в августе 1917 года.

2. **М о т и в р а б о т ы** — стремление «показать казачество в революции».

3. **Объем первоначальной работы** («Донщина») — 3—4 п. л. (1932), 5—6 п. л. (1937).

4. **П р е к р а щ е н и е р а б о т ы** над «Донщиной» — стремление расширить тему, пояснить читателю, «почему казачество приняло участие в подавлении революции».

5. **О т с т у п и е** на страницах четвертой части, созданной будто бы на основе «Донщины», центрального персонажа, Григория Мелехова, объяснялось тем, что знакомство Шолохова с Харлампием Ермаковым, с которого списана «только его военная биография: служивский период, война германская, война гражданская», состоялось лишь в 1926 году.

6. **П е р е х о д** от работы над «Донщиной» к окончательному замыслу «Тихого Дона» М. А. Шолохов характеризовал так: «Материала у меня о б и л и е...» («Комсомольская правда», 17.8.34), «Устранялись лишние, эпизодические лица. Посторонний эпизод, случайная глава — со всем этим пришлось в процессе работы распрощаться...» («Известия», 31.12.37).

Прежде всего в версии Шолохова вызывает удивление мотивация — показать причины участия казачества в подавлении революции. Здесь мы сталкиваемся с хорошо знакомыми нам по тексту «Тихого Дона» характерными (со-?)авторскими чертами:

**слабое знание истории.** Казачество не участвовало в подавлении революции в 1917 году, так как никакого «подавления» не было! Наоборот, в июльские дни казачьи полки поддержали ЦИК и Временное правительство (пришедшее к власти в результате революции и опиравшееся на социалистов). Шолохов, используя представления и штампы советской пропаганды 20-х годов, смещает понятия революции и гражданской войны и, соответственно, роль казачества в этих событиях;

**противоречивость версии Шолохова** по отношению к содержанию самого «Тихого Дона». Достаточно перечитать соответствующие главы четвертой части «Тихого Дона», чтобы увидеть: никакого подавления революции не было и не могло быть. Некому было подавлять в 1917-м, ибо казачьи части в той же мере, что и остальные армейские части, были разложены;

**идеологизированное мировоззрение Шолохова.** Защита казачеством родной земли представлена Шолоховым как участие казаков в подавлении революции, что указывает на восприятие революции с позиций советской пропаганды, для которой в сякое сопротивление действиям большевистской власти отождествлялось с борьбой против революции, а большевики изображались ее единственными выразителями;

**внутренняя противоречивость шолоховской версии.** В разное время объем написанного в 1925 году указывался с заметным разбросом.

Противоречия усугубляются, если соотнести все это с проведенным анализом шолоховских заимствований, впервые возникающих в той части текста, которую сам Шолохов связывает с «Донщиной». Начав с описания корниловского движения, Шолохов якобы возвращается к истории и жизни предвоенного казачества и работает, устраняя лишние эпизоды и лица.

Наше исследование обнаруживает заметную прерывистость и пуганость художественного повествования именно с того места, где «Донщина», по словам Шолохова, была включена в текст романа. Художественный текст фрагментируется, истончаются либо совсем прерываются отдельные сюжетные линии, выпадают важные персонажи, целые социальные слои (духовенство, купечество, интеллигенция, белое офицерство) полностью исчезают со страниц «Тихого Дона», сужается и упрощается «авторский» взгляд на происходящие (описываемые) события, многоцветие и многоплановость меркнут, тускнеют, уплощаются рельеф жизни.

И тогда Шолохов говорит о кропотливом изучении «военной литературы, разборке военных операций, многочисленных мемуаров, ознакомлении с зарубежными, даже белогвардейскими, источниками»<sup>27</sup>, то мы уже знаем, что:

работа с белогвардейскими источниками — прямое, часто случайное включение отрывков из этих воспоминаний в создаваемый текст;

кропотливое изучение военных операций — бездумное, механическое соединение разнородных текстов, вызывающее грубые хронологические и фактические ошибки.

<sup>27</sup> «Комсомольская правда», 17.8.34.

И наконец важный пункт шолоховской версии — отсутствие в первоначальных набросках «Донщины» Григория Мелехова. Недавняя публикация Л. Колодным<sup>28</sup> отрывков из пресловутой «Донщины» показала, что прообраз Григория Мелехова существовал в рукописи с самого начала. Даже его фамилия — Абрам ЕРМАКОВ — совпадала с фамилией прототипа. Следовательно, причины отсутствия (или исключения?) центрального персонажа в тексте четвертой части «Тихого Дона» иные, не те, что были публично указаны Шолоховым.

Мы проанализировали текст «Тихого Дона» в самых различных аспектах. И повсеместно обнаруживается раздвоение, расслоение текста. В романе существуют два различных пространства, в которых действуют герои, и лишь одно реально совпадает с исторической областью Войска, в то время как в другом пространстве совершаются путанные перемещения персонажей.

Два различных хронологических ряда, не только разных календарных стилей, но и не совпадающие в нескольких местах повествования, тянутся через всю книгу — там, где Шолохов вводил вставные эпизоды. Единому и исторически достоверному хронологическому ряду художественного текста противостоит другой, с ошибками и анахронизмами. Оба пространства романа различны по используемым художественным средствам: прямому заимствованию при крайне бедном, даже примитивном изображении действия противостоит творческий метод создания художественного повествования.

Различны и авторские понятия и представления в этих слоях. Если в одном мы находим энциклопедические познания автора о жизни, истории своего народа, детальные описания происходивших событий, то в другом сталкиваемся с явной безграмотностью и отсутствием ясного представления о самых общих обстоятельствах описываемого времени.

Идейные основы творчества в обоих слоях книги разительно не совпадают, прямо противоположны друг другу. «Тихий Дон» шолоховской редакции не может быть признан цельным художественным произведением. Через все вставные шолоховские места тянется отношение пришлого, чуждого казакам человека.

Итак, наша работа безусловно подтверждает авторство Шолохова, но при этом сразу возникает вопрос — авторство чего? Приписать Шолохову можно лишь один из выделенных в тексте слоев. Способ создания этих страниц «Тихого Дона» состоит в заимствовании и переложении текста других авторов, а характерные приемы и сопровождающие заимствованный текст ошибки вполне аналогичны во всех рассмотренных эпизодах заимствований.

Картина ясна. Но прежде чем произнести окончательное суждение, предоставим слово Михаилу Александровичу, чтобы узнать его отношение к проблеме авторства (соавторства).

## ПОЛЕВЫЕ СУМКИ

А Шолохов свое мнение по вопросу об авторстве и не скрывал!

В советской истории существовал короткий период после окончания «большого террора» 30-х годов, когда уцелевшие на вершине пирамиды власти, опьяненные тем, что угроза смерти, хоть и временно, обошла их стороной, решили, что можно уже ничем не стесняться. В стране, залитой кровью и слезами, новые люди — «кадры, которые решали все», — очевидно, уверились в незыблемости и вечности своей власти. Тогда, в 1939 году, они были в упоении своей «победы».

Главное действующее лицо нашего исследования — Михаил Александрович Шолохов — занимал отнюдь не последнее место в утвердившейся иерархии. На съезде «победителей» (XVIII) он не только присутствовал, но даже выступил с речью. Шолохов говорил в ней о многом, но нас в контексте нашего исследования интересует та часть его речи, которая была посвящена стоявшим перед писателями задачам:

«Советские писатели, надо прямо сказать, не принадлежат к сентиментальной породе западноевропейских пацифистов... Если враг нападет на нашу страну, мы, советские писатели, по зову партии и правительства отложим перо и возьмем в руки другое оружие...»

В частях Красной Армии, под ее овеянными славой красными знаменами, будем бить врага так, как никто никогда его не бивал, и смею вас уверить, товарищи делегаты съезда, что полевых сумок бросать не будем — нам этот японский обычай,

<sup>28</sup> См. «Московская правда», 20.5.90.

ну... не к лицу. Чужие сумки соберем... потому что в нашем литературном хозяйстве содержимое этих сумок впоследствии пригодится. Разгромив врагов, мы еще напишем книги о том, как мы этих врагов били. Книги эти послужат нашему народу и останутся в назидание тем из захватчиков, кто случайно окажется недобитым».

А ведь точно сказал Михаил Александрович — соберем и напишем! Случайно ли проговорился в запале своего выступления Шолохов или специально включил эти слова, косвенно подтверждая «отвлекающую» версию об убитом офицере и содержимом его полевой сумки<sup>29</sup>, мы не знаем и вряд ли сможем теперь это узнать. Но сами шолоховские слова знаменательны — Михаил Александрович публично, во всеуслышание признал допустимость и правомочность для себя подобных действий.

Вот и мы вправе теперь задать в его адрес вопрос:

**СОБРАЛ И НАПИСАЛ? —**

и, основываясь на данных, полученных в нашем исследовании, дать на него положительный ответ. Круг исследования замкнулся. Сам Шолохов дал нам недостающее звено по делу об авторстве — собственные показания. Вот уж воистину язык не даст соврать, как писал, хоть и по иному поводу, Александр Солженицын.

### ИТОГИ первой части исследования

Сформулируем кратко основные выводы нашей работы.

Первый вывод — о сложном составе текста «Тихого Дона». Текст заметно фрагментирован, а отдельные эпизоды замещены или дополнены особыми отрывками, заимствованными из нескольких опубликованных в 20-е годы книг. Сопоставление и системный анализ основного текста и заимствований указывает на разновременное участие в работе над текстом «Тихого Дона» нескольких авторов.

Второй вывод — о творческих возможностях и методах работы М. А. Шолохова. Изучение конкретных изменений, которые вносил в заимствуемый текст Шолохов, решительно показывает невысокий уровень его знаний по истории и географии Донщины, недостаточную осведомленность о самих описываемых в романе событиях. Повсеместно наблюдается пристрастное и идеологизированное отношение Шолохова к казачеству, характерное как раз для писателей-коммунистов 20-х годов. Контраст с тем, что мы встречаем в основном тексте «Тихого Дона», столь значителен, что сам собой напрашивается вывод: **незавершенная чужая рукопись Шолоховым была частично у него же на, а частично отредактирована и восполнена чужеродными заимствованиями для придания отдельным фрагментам текста видимости единства действия и последовательности повествования.**

И наконец третий вывод — проблема авторства в свете новых данных предстает по-иному. Вопрос о том, кто является автором «Тихого Дона» — Шолохов или, например, Крюков, — представляется некорректным. У известного нам текста несколько авторов, этот текст не является органически цельным, единым художественным произведением. Отделив в результате текстологического анализа от основного (художественного) текста чужеродные вставки, мы определили ту часть текста романа, относительно которой мы можем корректно поставить вопрос о р е к о н с т р у к ц и и а в т о р с т в е первоначального текста романа — протографа.

Можно твердо надеяться, что в результате упорной и настойчивой работы исследователей русская литература вернет себе еще одно достойное, но сегодня, к сожалению, забытое имя — имя настоящего автора «Тихого Дона».

*Конец первой части*

<sup>29</sup> Материал, лежавший в основу «Тихого Дона», столь огромен, что ни в какую «полевую сумку» вместиться не смог бы, скорее в «сундучок». Поэтому упоминание «сумок» косвенно о п р а в д ы в а л о Шолохова, намекая на большой объем работы, проделанной самим Шолоховым над «содержимым полевых сумок».

В. НЕПОМНЯЩИЙ

\*

## ПУШКИН ЧЕРЕЗ ДВЕСТИ ЛЕТ

*Глава из книги*

Пушкин... это русской человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет.

*Гоголь, 1832.*

Мы знаем, что ныне лежит на весах  
И что совершается ныне.

*Ахматова, 1942*

**В** журналистике и публицистике, как печатной, так звучащей, наблюдается любопытное явление: индекс цитирования Пушкина, частота ссылок на него, заметно сократившись применительно к области внутрикультурной, ошутимо возросли в сфере насущных проблем жизни; из русских классиков здесь, пожалуй, никто не поминается и не цитируется так часто, как Пушкин, — порой в ранге безымянной народной мудрости. Было что-то наивно-символическое в призыве одного депутата к российскому президенту: придя домой, перечитать «Бориса Годунова». Пушкин снова выступает в привычной для народного сознания сверххудожественной роли. И теперь, когда никто уже не наводит на наши отношения с поэтом официального глянца, когда государству не до Пушкина, вообще не до культуры, об этих отношениях можно судить без внешних помех.

На первых, однако, порах освобожденная от присмотра напряженная актуальность этих отношений проявилась весьма неприглядно, — но с тем культурным и нравственным багажом, что мы нажили в XX веке, иначе, пожалуй, и быть не могло. Я имею в виду то, что в числе первых детонаторов нынешней жестокой идеологической междоусобицы была журнальная публикация отрывка из книги о Пушкине<sup>1</sup>.

Правда, междоусобица и без того оказалась неизбежна — это так; и «Прогулки с Пушкиным» необходимо было напечатать, — но не так. Осуществленная с той самовлюбленной бестактностью (по отношению и к полуторавековой культурной традиции, и к простому народному чувству), — которая в духе самой книги, продолжающей, на мой взгляд, самые разрушительные традиции культуры начала века, — эта акция массового журнала повлекла не только безобразный и опять-таки морально разрушительный скандал в среде литераторов; она была болезненным ударом по национальному культурному достоинству и потому вызвала широкую (нарочито игнорированную) ответную реакцию читателей, почувствовавших себя оскорбленными, и породила — уже тогда, в пору не иссякшей еще эйфории «гласности», — нараставшее впоследствии недоверие к «свободной», «демократической» прессе, сомнение в ее культурном и моральном авторитете. Все это вместе, повторяю, выглядело крайне уродливо, что усугублялось очевидным присутствием идеологических спекуляций. Но ведь спекуляции возможны лишь там, где насущность ценности равна ее подлинности.

В итоге подтвердилось, что Пушкин по сию пору одна из самых горячих точек нашей душевной жизни, своего рода солнечное сплетение русской культуры, — культуры в самом широком смысле.

Мудрость знаменитых слов Гоголя, приведенных в эпиграфе, прежде всего в том, что смысл их выходит далеко за рамки литературы.

Слова эти цитировались часто, но неосмысленно. Они твердились как отвлеченный комплимент — то ли Пушкину, то ли «русскому человеку» — и воспринимались как некое приятное, хоть, в общем, и туманное, прорицание прогрессистской пифии,

<sup>1</sup> Абрам Терц, «Прогулки с Пушкиным». Фрагмент («Октябрь», 1989, № 4).

что мало идет Гоголю. Так же отвлеченно принимался и срок — просто-напросто как нечто очень большое и круглое, приятное и туманное «когда-нибудь», не налагающее никаких обязательств, не требующее усилий и жертв.

Оказалось, что срок вовсе не так велик и вот уже почти исчерпан; и это совпало с эпохой нашего кризиса, унижения и смятения; «Бывают странные сближения», — говорил Пушкин. Иные могут полагать, да и полагают, что нынешнее «сближение» — забавная и неизбежная ирония истории, щелкнувшей «русского человека» по носу: вот тебе твои «пророки», твой Пушкин, твой Гоголь, вот ты сам, в своем развятии, «через двести лет». Таков детерминистский, эмпирический взгляд, видящий в истории лишь цепочку причин и следствий. Наши пророки видели в истории России процесс телеологический, в котором все, в том числе и «странные сближения», происходит не просто «почему-то», а и для чего-то. И если Гоголь сегодня указывает нам на глубокую метафизическую связь судьбы России с Пушкиным, в котором дух и образ России «отразились в такой... чистоте, в такой очищенной красоте», если видит в Пушкине нынешний ориентир «русского человека в его развитии», то к его словам надо прислушаться всерьез.

Попытавшись сделать это и взглянуть на себя глазами Пушкина, мы обязательно столкнемся с самым, быть может, пророчесственным из сравнительно немногих инвариантных сюжетов Пушкина, который я назову сюжетом исполнения желаний. Именно в этом сюжете мы, приближаясь к названному Гоголем сроку, увидим себя: и в «Сказке о рыбаке и рыбке», и в «Медном всаднике», и в «Пиковой даме», и в «Сказке о золотом петушке», и в иных вариантах того же метасюжета. Мы увидим себя в качестве жертвы и одновременно продукта эпохи, по отношению к которой пушкинская трагедия о Смутном времени (законченная более полутора веков назад, в ноябре 1825 года) является, в некотором роде, предварительным конспектом того, что имело произойти с Россией спустя столетие. Мы увидим, что суть упомянутого метасюжета состоит в том, что желания исполняются всегда — исполняются так, как этого достойны желающие; иначе говоря — каждому дается по его вере, каждый заслужил то, что получает. Безмолвствование народа в финале «Бориса Годунова» есть начало этого понимания, начало подлинного самосознания. Тут не отражение исторического факта, а символ исторической цели, положенной «русскому человеку в его развятии», как ее понимает Пушкин («Что развися в ается в трагедии? какая цель ее? Человек и народ. Судьба человеческая, судьба народная»). При иной трактовке финал утверждает безнадежную бессмысленность истории и жизни русского человека.

В главах, одна из которых теперь предлагается, сделана попытка посмотреть, с помощью Пушкина, на наше «развитие» в тот его момент, который указан Гоголем. В первую очередь речь пойдет о том, у кого в этом развитии центральная роль и с кого главный спрос: о человеке культуры, которого я условно назову поэтом.

## ПОЭТ И ТОЛПА

История народа принадлежит поэту.

*Пушкин*

Из пушкинских реминисценций чаще других мелькает на печатных страницах и в эфире словосочетание *пир во время чумы*. Уже одно это побуждает внимательнее взглянуть в пушкинскую трагедию.

Вглядевшись, мы обнаружим, что трагическая ситуация, имеющая место на сцене, состоит не в самой чуме, не в эпидемии, не в надвигающейся смерти: ни того, ни другого в сюжете нет, никто не болеет и не умирает, поминаемый в начале Джексон умер до того, как действие началось; «телега, наполненная мертвыми телами», проезжает и исчезает, никого из присутствующих на ней не увозят. Трагедия же, происходящая на сцене, состоит в поведении действующих лиц, совершивших совместное и согласное духовное отступничество. «Я заклинаю вас святою кровью Спасителя, распятого за нас», — взывает Священник, но это ни на кого не производит никакого впечатления, хотя действие происходит в христианской стране. Священник напоминает Вальсингаму о матери, умершей всего три недели назад, но масштаб отступничества таков, что и память о матери ставится героем ни во что.

Среди падших женщин и не имеющих имен «молодых людей», пирующих на улице посреди страдающего города и страдающих сограждан, Вальсингам — человек особый, человек другого мира, других повадок, иного полета; потому-то он у них и

председатель, лидер, потому и выполняет миссию «идеолога» их пира — выполняет на таком уровне, который им не вполне даже понятен и тем более лестен им. Венец миссии Председателя — гимн Чуме. Возникает он замечательным образом:

...Я написал его  
Прошедшей ночью, как расстались мы.  
Мне странная нашла охота к рифмам  
Впервые в жизни.

Ночью, внезапно, странно. Почти как у пушкинского Моцарта: «Намедни ночью Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две, три мысли. Сегодня их я набросал». Но у Моцарта это не странно и не «впервые». А тут... человек никогда в жизни не писал стихов — и вдруг нечто сокрушительно гениальное: как у Моцарта, как у Пушкина; может быть, даже лучше, чем у Пушкина, — как у... Татьяны. Пушкин тут был бы впрямь вспомнить ее письмо, ошеломившее его: «Кто ей внушал?.. Я не могу понять». Вопрос оправданный: девочка вдруг стала гениальным поэтом. Как Вальсингам. Но е м у - т о «кто... внушал?»

«Как! Чужая мысль<sup>2</sup> чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью... Удивительно, удивительно!» — говорит Чарский Импровизатору («Египетские ночи»). На что тот резонно отвечает: «Всякий талант неизъясним». В самом деле, ситуация «гения одной ночи», как и феномен импровизации, это частные случаи, особые разновидности в д о х н о в е н и я (которое и прирожденных поэтов посещает не каждый день). Но в большом контексте Пушкина проблема вдохновения непростая. Вдохновение может быть и «признак Бога» (как в «Разговоре книгопродавца с поэтом», 1824, когда, кстати, само-то существование Бога было для Пушкина под вопросом), но вдохновение может посещать и тогда, когда созерцаешь «двух б е с о в изображенья» (стихотворение «В начале жизни школу помню я...» — написано в ту же осень 1830 года, что и «Пир во время чумы»)<sup>3</sup>.

Удивительно, что к этой непростой проблеме подходит вплотную именно Татьяна в своем письме: весь свой сердечный ум автор отдает здесь ей, и она, в д о х н о в л е н н а я любовью к Онегину, просто, прямо и трезво спрашивает о природе своей любви и своего вдохновения:

Кто ты, мой ангел ли хранитель,  
Или коварный искушитель:  
Мои сомненья разреши.

Вопрос этот для нее — страшный; и все же она не боится ни вопрошать, ни решать («Но так и быть...»), — она ничего не боится: все письмо ее — на которое Пушкин смотрит явно с н и з у в е р х, с той завистью, что когда-то была описана им в стихотворении «Безверие», — все это письмо, пронизанное мотивами простой и чистой веры в Бога, есть акт веры, пламенной и чистой, в человека, которого она полюбила. В этом, и ни в чем ином, неотразимая, непобедимая поэтическая мощь письма, разгадка того, почему с и и стихи, как выразился один критик, ж г у т с т р а н и ц ы. В этой импровизации (а письмо — конечно, импровизация) вдохновение поистине — «признак Бога».

Гимн Чуме — тоже импровизация. И тоже непостижимо, нечеловечески гениальная. Все пламенные уподобления, примененные Цветаевой к пафосу гимна в статье «Пушкин и Пугачев», можно возвести в квадрат, и преувеличения не будет. Цветаева права: в Чуме, этом образе гибели, воспеваемой в гимне, есть и «мятеж», «и метель, и ледоход, и землетрясение, и пожар, и столько еще, **не** перечисленного Пушкиным!». В итоге, однако, у нее получается так, будто Пушкин с а м восславил Чуму и прочие прелести, перечисленные и «**не** перечисленные» им. Но Пушкин — устами самого Председателя пира — «перечислял» еще и другое: и «отчаянье», и страх («Воспомянем страшным...»), и «сознание беззаконья», и «ужас... мертвой пустоты», и «новость сих б е ш е н ы х веселий», и «благодатный яд» отравленной кощунством «чаши», и «ласки... п о г и б ш е г о... созданья»...

Нет в гимне только одного. Нет веры, нет любви. Письмо Татьяны — акт веры, обогородившей ту грозную с т р а с т ь, которая сотрясает ее в третьей главе; веры,

<sup>2</sup> Разрядка в цитатах моя, курсив — авторов.

<sup>3</sup> Впрочем, в том же «Разговоре книгопродавца...» с вдохновением как «признаком Бога» «мирно» соседствуют такие признания: «Какой-то д е м о н обладал Моиими играми, досугом... Мне звуки дивные ш е п т а л, И тяжким, пламенным, н е д у г о м Была полна моя глава...» Из современных и широко известных случаев прямого «надиктовывания» можно вспомнить одну из самых духовно соблазнительных книг нашего века — «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» летчика Р. Баха.

которая из страсти сотворила высокую любовь, чему явно завидует Пушкин. Гимн Вальсингама — акт безверия, породившего страсть (страх) смерти, «ужас», «отчаянье», «сознание беззаконья».

Но ведь этот гимн — чудо, как и письмо Татьяны. Его воздействие так же неотразимо, его обаяние могущественно, его красота магична. Обольщенные этим, поколения читателей и исследователей и слышать не желали последующих слов Вальсингама, обращенных к умершей Матильде — и к себе самому:

О, если б от очей ее бессмертных  
Скрыть это зрелище! Меня когда-то  
Она считала чистым, гордым, вольным...  
.....  
Где я? Святое чадо света! вижу  
Тебя я там, куда мой падший дух  
Не достигнет уже...

*Женский голос.*

Он сумасшедший,—  
Он бредит о жене похороненной.

Поколения читателей и исследователей судили о покаянии Вальсингама с этого «женского голоса». Когда Вальсингам воспевал Чуму, смерть,— он был для нас «нормальным» (в свое время — и для пишущего эти строки). Теперь же, когда он увидел ее, увидел там, в свете, бессмертную, когда устыдился своего падения и магия кощунственного гимна рассеялась,— он стал «сумасшедшим»

Вершина гимна — строфа «Все, все, что гибелью грозит, Для сердца смертного таит Незыблемы наслажденья — Бессмертья, может быть, залог...». Извлеченная из контекста гимна, эта строфа заключает в себе великую правду: в наслаждении и смертельной опасности душа догадывается о том, что она сотворена бессмертной. Но внутри гимна правда интонационно извращена, и для этого употреблены три могучих художественных средства. Во-первых, сам контекст — контекст хвалы бедствию и страданиям, в том числе других людей; во-вторых, сокрушительная энергия стиха, его сила и стремительность, его напор, которые сметают на своем пути простые логические связи между словами (так смазанные чернилами соединяют несколько ясных слов в одно приблизительно угадываемое), — и в результате выходит, что не только человеческое восприятие угрозы гибели («незыблемы наслажденья») намекает на бессмертие, нет, — сама угроза, и притом любая, сама гибель, и притом всякая, они-то обещают бессмертие — обещают сами по себе! И это усиливается третьим средством — двумя мощными ударами: «Все, все, что гибелью грозит... бессмертья, может быть, залог!»

Цветаеву восхищало это «двоекратное» «все, все...» — упорное, не терпящее возражений и — словно само с кем-то или с чем-то пререкающееся. А именно — с теми истинами, с той системой ценностей, от которой отступился Вальсингам. В этой системе бессмертия и в самом деле может быть обеспечено самую гибелью — но не всякой, не любой; не все, «что гибелью грозит», заключает в себе бессмертия — а только такая гибель, которая осыщена верой и любовью. Как бы в ответ на гимн Священник напоминает о добровольной крестной смерти Спасителя, «распятого за нас», смертью смерть поправшего.

Вальсингам воспевает связь смерти и бессмертия за вычетом духовных основ этой связи — веры и любви; и потому под видом правды он поет ложь, под именем бессмертия воспекает смерть — черную, окончательную, абсолютную. Это и прочла в гимне Цветаева, это ее и увлекло, это она Пушкину и приписала, «переведя» интонационное извращение правды на словесный язык: «...Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее блаженстве».

Да, с и стихами, как и письмо Татьяны, жгут страницы. Но будь в Цветаевой частица духа Татьяны, она бы в ужасе отшатнулась от такого пламени: «...хвала тебе, Чума; тут излишне спрашивать: «Кто ты?», «кто... внушал» с и стихами герою трагедии, «надиктовав» ему черную литургию?

Но ведь гимн Чуме гениален, — «А гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ли?».

«Пир во время чумы», законченный всего спустя две недели после «Моцарта и Сальери», наводит на мысль: вопрос Моцарта разрешим лишь в связи с заветом ап. Иоанна Богослова: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4, 1), — заветом о различении духов. Ибо тот, кого Евангелие называет «отцом лжи» (Ин. 8, 44), может и из простой правды сотворить гениальную ложь.

Русское культурное сознание эта проблема всегда волновала, всегда тревожила. Да и в языке русском и с к у ш е н и е оказалось одного корня с и с к у с т в о м. Лингвистика объяснит это исторически, но духовное историческим не исчерпаешь.

В рамках сюжета трагедии — и в той компании, куда попал Вальсингам, — он человек культуры. Культуры, понятой, помимо прочего, как идейное водительство и духовная власть. Такому пониманию вполне соответствует и титул Председателя, и, конечно, гимн Чуме. Это не только поэтический, но и жреческий акт. Не случайно Пушкин тут в очередной раз применяет свой характерный сценический ход «лобового» типа: «...О Моцарт, Моцарт! *Входит Моцарт*»; в ответ на «черную литургию» молодого Председателя — «*Входит старый священник*». Гимн Чуме — это и «великое славословие», и проповедь, и «тайная вечеря» («Запремся... нальем бокалы...»), и, наконец, незримо реюший намек на Причастие (превращающий, в частности, «бокалы» в «чашу» с «благодатным ядом», — мысль М. Новиковой).

Вряд ли все это внятно участникам пира — их устраивает и им льстит главное: в качестве обоснования их занятия предлагается нечто могучее и возвышенное. До всего остального им дела нет. Культура выполняет здесь, во внешнем облике водительства, противоположную этому облику роль рупора толпы, ее неодухотворенных стихий. Этим стихиям средствами культуры сообщается подменный, ложный облик высокой одухотворенности — сообщается с тем большей убедительностью, что ложь и подмена, как это всегда и бывает, используют, так сказать, структуру правды, воспроизводя, однако, эту структуру из подменного материала. Пир д у х а, долженствующего управлять природными стихиями человека и толпы, подменяется другою «правдой» — натуральной, «дикой» правдой с а м и х этих стихий и страстей, одичавших без своего п а д ш е г о властелина («мой падший дух», говорит Вальсингам), ищущих, как водится, облагороженности облика — и находящих ее в экстазе «мятежного» романтизма и дионисического эстетизма.

В результате гимн Чуме с магической силой захватывает нас — не только эстетически, но и до душевных глубин. Мы открываем и опознаем в себе с о у ч а с т н и к о в кощунственного пира, в душе подымается ответное темное вдохновение, какие-то «пузыри земли», ложь излучает сияние ослепительной и высокой правды, нас сладостно влечет и притягивает то, что Вальсингам назовет «сознанием беззаконья». — прелесть горделивой исповеди без покаяния, признание в падении, но в падении вверх, в надзаконную высоту, где позволено, красиво и хорошо все. Из таких темных вдохновений и складывается чудовище т о л п ы, то духовное поле, в котором «отец лжи» может орудовать как у себя дома, придавая подмене ценностей и насмешке над верой («Он мастерски об аде говорит. Ступай, старик!.. пошел! пошел!» — хохочут пирующие в ответ на слова Священника) облик духовной высоты, характер подвига, ореол святости: святости черной, но оттого еще более влекущей — как разврат

\* \* \*

Этот ореол, или нимб, притом в его «канонической» расцветке, и был описан позже в стихах, чрезвычайно сходных по теме и пафосу с гимном Чуме

Есть в напевах твоих сокровенных  
Роковая о гибели весть  
Есть проклятье заветов священных,  
Поругание счастья есть

И такая влекущая сила,  
Что готов я твердить за молвой  
Будто ангелов ты низводила,  
Соблазняя своей красотой

И когда ты смеешься над верой  
Над тобой загорается вдруг  
Тот неяркий, пурпурово-серый  
И когда-то мной виденный круг

Я хотел, чтоб мы были врагами  
Так за что ж подарила мне ты  
Луг с цветами и твердь со звездами  
Все проклятье своей красоты?

И была роковая отрада  
В попираньи заветных святынь.

При всех сложностях духовного пути «русского человека в его развитии», свою систему ценностей он всегда строил на признании «влекущей силы» Христа и отталкивающей — сатаны, Антихриста, а «влечений» обратного рода боялся и стыдился, видя в них метафизическое «беззаконье». Блок прекрасно знает это («Я хотел, чтоб мы были врагами...») и в стихотворении «К Музе» (1912) рисует свои отношения с нею в свете трагическом, — однако уже не боясь и не стыдясь их, скорее наоборот. Но интересует меня сейчас другое: факт безоговорочного, добровольного и многолетнего подчинения нашего культурного сознания этому стихотворению и представленному в нем открыто сатанинскому образу. Факт этот, как и само стихотворение, ярко свидетельствует о катастрофе, созревшей в русском сознании на протяжении более двух веков и совершившейся в начале нашего столетия.

Одной из парадоксальных составляющих этого бедствия было то, что люди культуры отучались и отучали своих собратьев слышать в словах их прямой, нефигуральный смысл, — двадцать лет назад об этом написал Н. Коржавин в статье «Игра с дьяволом». За словами о поругании счастья, проклятии заветов, попирании святынь и пр. молчаливо предполагалось не их собственное содержание, а как бы некое другое, на самом-то деле чрезвычайно привлекательное («муки творчества»), — но только выраженное сильными, пронзительными, трагическими средствами; все это называлось «художественный образ» и освобождало от моральной ответственности (в таком «метафорическом» духе понимался и гимн Чуме). Парадоксальным же явлением «непрямое» понимание слова было потому, что в нем «влекущая сила» сатанического обаяния встречалась с исконно русским почитанием слова, доверием к его смыслу, боязнью произнести или даже понять кощунственное слово в серьез.

Примирение этих двух различных начал происходило в эстетизме. Не случайно в советскую эпоху именно эстетизм — как правило, самый отвлеченный, беспомощный и вульгарный — призван был компенсировать и украшать ложь и грубый социологизм многих литературных и литературоведческих сочинений. Однако именно в начало века, в пору расцвета «тонкого» эстетизма, уходит корнями та неуправляемая девальвация слова, то сознательно пропагандируемое — под лозунгом «все гораздо сложнее» — презрение к слову, к его прямому смыслу (когда, скажем, талантливый молодой критик высококолобо посмеивается в «Литературной газете» над теми, кто «на полном серьезе» возмущен порнографией на печатных страницах), — весь тот словесный блуд, выкормыш лживой эпохи, свидетелями которого мы сегодня являемся.

Упомянутая выше статья «Игра с дьяволом» Н. Коржавина представляет собой подробнейший, строфа за строфой и чуть ли не строка за строкой, «разбор содержания» стихотворения «К Музе». Разбор этот обнаруживает как точность, прямоту и буквальность кощунственных слов и поэтических формул стихотворения, так и туман в тех местах, где есть угроза слишком жесткого столкновения кощунственности с нашим доверием к слову и правдой нравственного чувства. Это взгляд прямо в лицо блоковскому слову и художественному миру, в нем воплощенному: по отважному и разоблачительному простодушию — поистине «взгляд Татьяны».

В свое время статья производила ошеломляющее впечатление на тех, кто мог ее прочесть. Напечатать ее тогда же было немислимо: не заключая в себе никакой «политики», она выглядела крамольной до крайности. Ведь речь шла о стихотворении, входившем, так сказать, в основной корпус тех произведений Блока, что составили его «вид на жительство» в мире, который был построен на месте разрушенного «до основания» старого мира с его «священными заветами» и «заветными святынями»; мира, которому, как показала история, и была подана поэтом «роковая о гибели весть». Стихотворение попало в круг тех произведений, в которых идейные основания «нового» мира, его новая религия санкционировались на самом, что называется, высоком уровне, самой «тонкой» культурой. Культура эта не только освящала «пролетарское» мировоззрение импозантно-«мятежным» пурпурово-серым сиянием, — вместе с этой культурой «новый» мир втаскивал в свои пределы и «луг с цветами и твердь со звездами», придавая себе облик мира подлинного, где все как у людей.

Не подвергая сомнению трагическую искренность блоковского стихотворения, Коржавин показал концептуальность, «преднамеренность» той метафизической лжи, в плен которой попал поэт, — лжи, неизбежно заключенной в принципе «неразличения духов»: собственно, стихотворение есть своего рода манифест такого неразличения<sup>4</sup> и само аттестует себя как антиевангелие (Н. Коржавин приводит пронизательное замечание математика Н. Нагорного о том, что «роковая о гибели весть» — буквальная антитеза «благой вести о спасении»).

<sup>4</sup> Из контекста понятно, что «неразличение» в данном случае вовсе не значит — нераспознавание.

Заслуживает внимания то, что антиевангельский пафос тут же оказывается и антипушкинским. Автор строк о «проклятье заветов» (ср., кстати, слова Вальсингама Священнику: «Но проклят будь, кто за тобой пойдет»), «попиране заветных святых» и «поруганий счастия» не мог не знать пушкинских слов о «святых не обоих Заветов», «обруганной» философией XVIII века, — и других слов: о том, что «Поэзия... не должна унижаться до того, чтоб силою слова потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое».

Вообще стихотворение «К Музе» есть настоящая духовная трагедия: ведь для Блока слово не было игрушкой, он сказал то, что на самом деле чувствовал и знал. Надо, видимо, верить и словам «...когда-то мной виденный круг», такие вещи тоже не говорятся «для красоты», тем более великими поэтами: им изредка и в самом деле что-то «показывают» — или дают услышать, «Шум и звон», наполнившие слух пушкинского Пророка, не просто «художественный образ», как и шумы и звоны Ахматовой («Бывает так: какая-то истома...»), — важно, кто показывает и дает услышать.

Да ведь и Блока однажды, спустя примерно пять лет после стихотворения «К Музе», увлек странный — но не звенящий, а жужжащий — звук.

Из этого звука и возникло произведение, возможность (быть может — и неизбежность) которого была уже заключена в стихотворении «К Музе», — а предсказана Пушкиным.

Это произведение, в котором Блок, по его признанию, второй раз в жизни и отдался Стихии (ср.: «Мне странная нашла охота к рифмам Впервые в жизни»), — своего рода двойник песни Вальсингама. И странное возникновение, «надиктованность», и осознание авторами (Вальсингамом — смутное, Блоком — уверенное) своей медиумичности, и «метельный» колорит «могущей Зимы» — все это так похоже, и даже голос автора похож на Вальсингамов («Охрипый голос мой приличен песне»), — где еще у Блока более «охрипый» голос, чем в «Двенадцати»?

Если блоковское «Благовещение» — это «Гавриилиада», написанная в серьеэ, то «Двенадцать» — гимн Чуме, пропетый в XX веке, и не в драме, а в жизни.

В обоих гимнах — Чуме и «музыке Революции» — поражают безукоризненное совершенство, огненный дионисийский темперамент, мятежность (в гимне Чуме — романтическая, в поэме — фольклорная, разгульно-разинская до размаху, фабрично-кабацкая по происхождению), наконец, неотразимая власть над нашими чувствами. И там и там — воспевание антиценностей и антисвятых (у Вальсингама — стихии чумы, смерти, у Блока — стихии социальной, хаоса, буйства, в сущности — уголовщины), вплоть до называния черного белым: смерти — бессмертием (Вальсингам), «черной злобы» — «свотой злобой» (Блок). И там и там — мотивы черной литургии, черной вечера («Черный вечер. Белый снег», двенадцать «антиапостолов», Христос).

Нет, кстати, никакого сомнения, что пушкинская ремарка «...*Несколько пирующих мужчин и женщин*» должна на сцене материализоваться в числе двенадцать. Тогда отпавший от пира Вальсингам, который увидел в небесах свою Матильду, превратится из Председателя черной вечера в подобие Предателя; а именно такая опасность угрожает, по мнению товарищей, Петьке, который, совсем раскиснув после смерти Катьки, вдруг возопил: «Ох, пурга какая, Спасе!» На это следует немедленный ответ: «Петька! Эй, не завирайся! От чего тебя упас Золотой иконостас? Бессознательный ты, право, Рассуди, подумай здраво...» — ну точь-в-точь «Женский голос. Он сумасшедший, — Он бредит о жене похороненной». В дальнейшем же «вразумлении» Петьки: «Али руки не в крови Из-за Катькиной любви?» — та повязанность «беззаконьем», которая напоминает уже самого Вальсингама, его угрозу: «Но проклят будь, кто за тобой пойдет», — в ответ на слова Священника, напомнившего пирующим о «Спасе». (Кстати, в «Двенадцати» есть и «свой» Священник: «Что нынче невеселый, Товарищ поп?» — могли бы сказать пирующие вслед за отповедью Вальсингама: «...юность любит радость».)

«Пир во время чумы» начинается озорным предложением поменять умершего Джексона так: «...выпить в его память С веселым звоном рюмок, с восклицаньем...» А поэма «Двенадцать» начинается у Блока писаться, по свидетельству К. И. Чуковского, именно с «озорного» эпизода поминания убитой Катьки, который был подсказан Блоку тем самым жужжащим звуком: «Ужь я времечко Проведу, проведу... Ужь я ножичком Полосну, полосну... Выпью кровушку За зазнобушку...» Сходно эти эпизоды и оканчиваются: «Пускай в молчанье Мы выпьем в честь его... *Все пьют молча*» — «Выпью кровушку... Упокой, Господи, душу рабы Твоея... С кучной!».

Многозначительно и соотношение финалов гимна Чуме и поэмы «Двенадцать». Предваряются они сходными мотивами: «Итак, хвала тебе, Чума! Нам не страшна могилы тьма, Нас не смутит твое призвание» — «...И идут без имени святого... Ко всему готовы, Ничего не жаль...». А сами финалы гимна и поэмы выглядят словно нарочито восходящими к общему источнику — последним строчкам самого кощунственного стихотворения молодого Пушкина, его послания к декабристу В. Л. Давыдову (1821), которое выражает надежду на успехи революции в таких словах: «Вот эвхаристия друга я... Мы счастьем насладимся, Кровавой чаши причастимся — И я скажу: Христос воскрес». Это пародия сразу на два мотива: эвхаристии и Пасхи. Именно эти два мотива звучат у Вальсингама и у Блока: финал гимна Чуме с его «бокалами»<sup>5</sup> намекает на черную («другую») эвхаристию, а в финале блоковской поэмы «Белый венчик из роз» — мотив пасхального украшения икон.

Послание к Давыдову вписывается в «блоковский» контекст и другими деталями: в начале стихотворения появляется «поп» — кишиневский митрополит, о кончине которого рассказывается с безжалостной издевкой, к тому же в духе «Гавриилиады», которая как раз в это время и пишется; поэтому нечего и говорить, что в конце послания имя Христа обозначает все что угодно, только не Христа на самом деле, — и это, вместе со словами о «другой» эвхаристии, словно бы предвещает знаменитые слова Блока о финальном образе его поэмы: «...Он идет с ними, а надо, чтобы шел Другой», «другого пока нет...».

Я убежден, что все эти (и многие другие) соответствия и совпадения — случайны (в том, впрочем, смысле, в каком «случай», по Пушкину, есть «орудие Провидения»): дело вовсе не в «наследовании» Блока Пушкину, не в «реминисценциях». Речь идет о воплощении в поэме Блока того типа сознания, того мировоззренческого комплекса, которые были Пушкиным испытаны на себе, преодолены, отчуждены и, наконец, художественно объективированы в ситуации «Пира во время чумы» и в главном герое трагедии. Речь идет не о «продолжении традиций» Пушкина Блоком, а о предвосхищении Пушкиным того феномена сознания, который нашел выражение в поэме Блока.

Поэтому не прав будет читатель, если упрекнет меня в некорректности анализа на том основании, что, назвав «Двенадцать» гимном Чуме, я затем сопоставляю поэму не только с гимном Вальсингама, но и с текстом трагедии. А как же иначе? Для начала напомним, что трагедию Пушкина советский человек понимал как большой гимн Чуме; гимн был выражением «последней истины» трагедии<sup>6</sup> — истины чуть ли не в ранге «другой» Нагорной проповеди: блаженны гибнущие («И как один умрем»); он подменял целое трагедии ее частью. Но именно такой тип сознания, такую мировоззренческую установку, такой способ мышления как раз и явила поэма Блока, ибо «Двенадцать» — это такой гимн Чуме, который, так сказать, разросся на всю драму, который считает себя окончательно истинной по отношению к окружающей его жизненной трагедии — к России, терзаемой чумой революции, — и потому стремится исчерпать собой всю эту трагедию, поглотить весь ее смысл своим смыслом, узурпировать ее правду, выдать себя за нее. Ведь поэма «Двенадцать» воспевает Стихию и выражает ее, а выше Стихии для автора поэмы ничего нет.

Именно так, по-блоковски (и по-цветаевски), с точки зрения Стихии, чумы, и понимал советский человек пушкинскую трагедию. Методологически таким же было и традиционное советское понимание поэмы самого Блока. в «Двенадцати» нет или почти нет автора как субъекта художественного высказывания, нет авторской концепции, авторского голоса — нет ничего, кроме «Стихии», «музыки Революции», ее «величавого рева» сама эпическая объективность.

То, что это — заблуждение, убедительно, на мой взгляд, показал С. Ломинадзе в своем тонком и глубоком исследовании<sup>7</sup>, как и то, что заблуждение восходит к самому «отдавшемуся Стихии» Блоку. И тем оно важнее — в частности, для понимания происхождения и смысла финала поэмы, своей «загадочностью» измучившего советское литературоведение.

Здесь пора заметить важное различие между гимном Чуме и поэмой Блока: в финале «Двенадцати» есть образ Христа, а в финале гимна ничего подобного нет.

<sup>5</sup> Ср. «Кровавой чаши причастимся» — с «благодатным ядом этой чаши»; у Блока — «Выпью кровушку За зазнобушку».

<sup>6</sup> Наглядный пример такого советского понимания дает трактовка «Пира во время чумы» в известном телесериале М. Швейцера «Маленькие трагедии»: режиссер разрушил пушкинскую композицию и перенес гимн Чуме из середины трагедии в самый конец — на правах окончательной и «жизнеутверждающей» правды.

<sup>7</sup> См. статью «Концептуальный стиль и музыка „мирового пожара“» в кн.: Ломинадзе С. О классиках и современниках. М. 1989.

Да и быть не может: гимн Чуме — это песня поистине «Эх, эх, без креста!». Имя Спасителя появляется, но только после гимна, в словах Священника. И хотя оно не производит никакого действия, однако играет громадную роль в структуре всей трагедии, восстанавливая перевернутую гимном Чуме шкалу ценностей, с которой трагедия соотносит себя. Что же до финала «Двенадцати», то автор, как говорится, и рад бы обойтись, как Вальсингам, без Христа, — но ведь образ этот, по признанию Блока, «надиктовывается» Блоку насильно, вопреки его «личной» авторской воле...

И какая тут может быть «личная воля», если поэма, как уже сказано, сознает себя выражением той самой С т и х и и, которая есть высшая эпическая объективность! В отличие от гимна Вальсингама, этот гимн не опускается до того, чтобы противостоять Христу, напротив: он готов, способен — и вправе — уже и Христа включить в себя, в свою эпическую, окончательную, высшую правду. «Я только констатировал факт: если взглянуть в столбы мятели на этом пути, то увидишь «Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак», — писал Блок. Следует обратить внимание на кавычки, в которые помещен «Иисус Христос»: условное, вынужденное, общепринятое обозначение чего-то или кого-то «другого» — безусловного, с чем (или кем) по праву надлежит связывать «луг с цветами и твердь со звездами» и прочие ценности, которые по традиции и все еще приписываются «женственному призраку».

Это снова напоминает молодого Пушкина, который в послании к Давыдову вынужден чаемое торжество революции «условно» обозначить пасхальным приветствием. И все же у Пушкина тут не более чем типичное либеральное вольнодумство, лишённое всякого напряжения, — просто «младая кровь играет». У Блока все неизмеримо серьезнее: тут новый этап борьбы с Христом — путем не отрицания, а поглощения, растворения... Это в духе новой теории «трех эр», сменяющих друг друга: «эры Отца», «эры Сына» и вот-вот наступающей «эры Духа», которая вбирает и поглощает предыдущие. Теория эта объективно и неизбежно отменяла завет о «различении духов», — она порождена была, собственно, жаждой духовного «плюрализма». В финале «Двенадцати» он уже реализован: Христос появляется из «столбов метели», откуда, по народному поверью, хорошо известному Блоку, появиться может только бес.

Столкнувшись с «метельным», «зимним» мотивом (которым открываются и гимн Чуме, и поэма Блока), мы выходим к новому повороту нашей темы, ибо «столбы метели», колорит «могущей Зимы» приводят к пушкинским «Бесам»<sup>8</sup>, законченным осенью того же 1830 года, когда написан «Пир во время чумы». А это стихотворение в свою очередь влечет за собой немало известных «сближений» с темой истории и судьбы России.

Одно из таких «сближений» относится к той жизненной ситуации, в какой оказались автор гимна Чуме и автор «Двенадцати».

Человек необыкновенно высокого душевного строя и духовного дара, человек элиты в лучшем смысле этого слова, один из тех «избранных», кому, быть может, говоря пушкинскими словами, «определено было высокое предназначение», — такой человек нисходит в толпу, точнее, опускается до нее, совершает духовное в нее падение («...мой падший дух», — говорит, напомним, Вальсингам, избавившийся от наваждения). Свой талант, свои духовные дары он употребляет на служение стихии и страсти толпы, исполняя роль идеолога-певца или идеолога-вожака, оформляющего эти стихии и страсти в виде высоких ценностей. По существу, это пародия на Божественный кеносис (вочеловечение Сына Божия для искупления грехов и спасения блудного сына Бога — человека): нисхождение самого блудного сына к свиньям (в стадо свиней Христос, как известно, изгнал легион бесов), его готовность метать перед ними бисер своей избранности, в конечном счете — отвержение Божественной жертвы, пренебрежение ею. Пародийность еще и в том, что если Бог Сын, Бог Слово вочеловечился, чтобы принести Себя в жертву ради спасения людей, то оба «гимнопевца» — сами, может быть, того не сознавая — «жертвуют» своим духовным даром и своим словом толпе ради того, чтобы самими спастись — от собственного ужаса перед Чумой, гибелью, «мировым пожаром»: спастись от одичавшей стихии как бы в ней самой, примкнув к ней, в нее вписавшись, ее воспев и прославив, одним словом — ей «отдавшись».

В результате этой измены своему человеческому предназначению, пренебрежения Божественной жертвой «Спасителя, распятого за нас», которая освящает наше предназначение, — с изменением происходит соответственное «изменение»:

<sup>8</sup> О мотивах «Бесов» в поэме Блока см. работу Д. Магомедовой «Блок и Волошин. Две интерпретации мифа о бесовстве» («Блоковский сборник» № XI. Тарту. 1990).

оставаясь собою, человек в то же время становится другим, играет роль другого, что является началом потери себя. Так, Вальсингам записывает и поет свой гимн, будучи в каком-то «другом» качестве, так что Священник, узнавая его (своего прихожанина), в то же время и не узнает: «ты ль это, Вальсингам? ты ль самый тот...» Блок записывал свою поэму также не вполне сам; оставаясь собою, он «играет» кого-то другого,— и такая «роль» есть у Пушкина в «Борисе Годунове»:

Мужик на амвоне

Народ, народ! в Кремль! в царские палаты!  
Ступай! вязать Борисова щенка!

Народ (*несется толпою*)

Вязать! топить!..

Вся эта трагипародийная ситуация тоже имеет отношение к «Бесам». Но уже не пушкинским. В эту ситуацию, как в мальстрем, затягивает героя романа, носящего пушкинское название и предваряемого двумя эпиграфами — из пушкинских «Бесов» и из евангельского эпизода об изгнании бесов в стадо свиней. Между автором гимна Чуме и автором гимна Революции оказывается Ставрогин<sup>9</sup>, автор исповеди без покаяния.

Устами Петра Верховенского толпа, чернь вербует Ставрогина в идеологи и вожди — и это звучит как предисловие к «Двенадцати»: «...мы сделаем смуту»; «Мы провозгласим разрушение... Мы пустим пожары»; «Аристократ, когда идет демократию, обаятелен!». Мы проникнем в самый народ... мы, пожалуй, и вылечим... Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького... А тут еще «свеженькой кровушки», чтоб по привычке<sup>10</sup>.

Главное сейчас не в том, удастся Петруше «соблазнить» Ставрогина или нет; главное в другом. «Если бы не глядел я на вас из угла, — признается Верховенский, — не пришло бы мне ничего в голову!..»

Вот где главное. Человек высокого предназначения, Ставрогин сам соблазнил Верховенского. И предстает он перед теми, кто знал его, другим — и перед Шатовым, и перед Марьей Тимофеевной. Не узнавая его, она кричит: «У тебя нож в кармане... Гришка От-реп-ев — а-на-фе-ма!»

Она кричит это, не зная, что цитирует «Евгения Онегина» и «Бориса Годунова».

Ставрогин ведь тоже предсказан Пушкиным — и не только в «Пире во время чумы»: он есть ступень деградации человека онегинского типа (к теме «Онегин и Ставрогин» мы с С. Г. Бочаровым подошли в свое время каждый своими путями).

Все поняли, что роман «Бесы» содержит пророческий анализ предпосылок катастрофы, постигшей Россию в XX веке; однако мы еще не вполне отдаем себе отчет в том, что предпосылки эти в концентрированном, свернутом, как пружина (и потому не очень явном на узкофилологический взгляд), виде содержатся уже в пушкинской картине мира, частью которого является судьба «русского человека в его развитии». Они предусмотрены так точно, что порой кажется, будто история послушно воплощала эту картину, перенося ее элементы в жизнь в качестве фактов культуры, исторических событий и человеческих судеб.

Предусмотрено у Пушкина даже то, что произошло с Блоком после «Двенадцати», к концу жизни,— предусмотрено в финале «Пира во время чумы», когда Вальсингам покидает пир и «остается погружен в глубокую задумчивость».

Отношение Блока к «Двенадцати» незадолго до кончины — если больше верить Андрею Белому, чем К. Федину и Е. Книпович,— в чем-то сходно с тем, что испытывал Пушкин при воспоминании о «Гавриилиаде». А последнее (или одно из последних) стихотворение — наверное, самое тихое, что есть у Блока:

Вот зачем, в часы заката  
Уходя в ночную тьму,  
С белой площади Сената  
Тихо кланяюсь ему.

<sup>9</sup> Фамилия эта — от греческого *stavros* («ставрос», крест) — объективно символизирует пародию на Божественный кеносис (что не исключает иных смыслов).

<sup>10</sup> «Выпью кровушку...», «Мировой пожар в крови» («Двенадцать»); «Ничего, кроме музыки, не спасет... Но музыка еще не помирится с моралью. Требуется длинный ряд *антиморальный*... требуется действительно похоронить отечество, честь, нравственность, право, патриотизм и прочих покойников, чтобы музыка согласилась помириться с миром» (дневник Блока, 4 марта 1918, года «Двенадцати»).

В этих строках о Пушкине — те же цвета, что в «Двенадцати» («Черный вечер. Белый снег», «Винтовок черные ремни», «Черная злоба», «В очи бьется Красный флаг» и пр.): но красный — не флаг и не бубновый туз, а закат; но черный исчез с переднего плана, перестал главенствовать, — и все стихотворение, полное и грусти, и тихого мажора, последними своими строками делается белым; и вместо «величавого рева» мы слышим тишину, «глубокую задумчивость» уходящего поэта.

Заметим, что нечто подобное было ведь у Пушкина: его ответ митрополиту Московскому Филарету («В часы забав иль праздной скуки...»), в котором поэт приносит покаяние за стихотворение «Дар напрасный, дар случайный...»<sup>11</sup>, осознанное им как духовное отступничество:

И ныне с высоты духовной  
Мне руку простираешь ты,  
И силой кроткой и любовной  
Смиряешь буйные мечты...

Что-то столь же смиренное говорит, обращаясь к Пушкину, Блок.

В тихом стихотворном увещании («Не напрасно, не случайный») московского святителя автор стихотворения «Дар напрасный, дар случайный...» внял «неба содроганье»; через несколько месяцев им будет написана трагедия «Пир во время чумы», где решающим моментом является диалог отступника веры со священником.

«Не твоих ли звуков сладость Вдохновляла в те года? Не твоя ли, Пушкин, радость Окрыляла нас тогда?» — писал Блок. Он хорошо слышал в Пушкине «звуков сладость» и музыку «тайной свободы». Но он не услышал в художественном мире Пушкина «неба содроганья», не внял пушкинским предостережениям. Он внял «музыке Революции», пропел свой гимн ее «величавому реву», а потом взглянул в лицо стихии, издававшей этот рев, — и умер.

Он умер, говорит где-то Ходасевич, не от старости или болезни, — он умер от смерти.

Такая смерть была частью биографии той культуры, которая устами Блока, и не только его, пропела гимн Чуме нашего столетия.

Пушкин, прошедший «великолепный мрак чужого сада» европейского Просвещения и преодолевший искусы романтизма, слышал, куда тянет культура послепетровского времени, он предсказал — в том числе в своей трагедии — неизбежности, подстерегавшие на таком пути. Ответить на пушкинские предостережения мог только великий поэт, и таким был Блок. Он лучше всех мог услышать Пушкина — ибо обладал трагическим и пророческим даром. Но тяготения Блока и его культуры были иные. Гений Пушкина создал произведение-диалог, а культура Блока и Цветаевой восприняла из него лишь один монолог — гимн Чуме. Пушкин произносил предостережения, а культура начала века расслышала в них призы в Трагедия этой культуры состояла в том, что если Пушкин умел и учился различать духов. то культура начала века считала это занятие наивным и устарелым, недостойным своих «бледных со взором горящим» (Брюсов) творцов.

Ведь и тихое «покаяние» Блока, при всей значительности и чистоте этого поэтического поступка, адресовано, в сущности, неизвестно кому. Пушкин в своем стихотворном ответе митрополиту Филарету обращался (это понятно из текста) через святителя к Богу — Живому Богу, с Которым у него произошла встреча («Пророке», обращался лично. Но к кому лично обращался в стихотворении Блок? К Пушкину? Да; но — отбросим лукавство метафор — ведь не к живому Пушкину а к «сладости звуков», «радости», «тайной свободе», — к явлению культуры. Но возможно ли лично е, в полном смысле слова, обращение к явлению, пусть самому изумительному?

И вот свои предсмертные, полные чистого душевного порыва стихи, свой последний тихий поклон великий поэт адресует «реальному» объекту — «Пушкинскому Дому в Академии Наук», почтенному учреждению где хранятся драгоценные рукописи и изучаются великие традиции культуры. В этом есть что-то почти детски грогательное — но, воля ваша, это напоминает мне и отчаянное предложение сделанное героем А. Вампилова жене давай обвенчаемся в Планетарии.

Личное обращение: но уже совсем иное прозвучало из уст Блока в адрес тех, чьему делу он так истово послужил в своей поэме кого поэтому тем яростнее возненавидел и в своей речи «О назначении поэта» заклеил пушкинским словом чернь «Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собира-

<sup>11</sup> Об этом стихотворении как попытке «отречения» от «Пророка», о стихотворном диалоге Пушкина с Филаретом и трагедии «Пир во время чумы» см. в моей статье «Дар» («Новый мир», 1989, № 6).

ются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на ее тайную свободу...»

«Когда он читал свой знаменитый доклад, — писал в одном из хранящихся у меня писем К. И. Чуковский, — он сидел (в Доме литераторов) за тем же столом, за которым сидел председатель комиссар Кристи. И в тех местах, где он выражал свою ненависть к казенным злодеям, задушившим Пушкина, он гневно обращался к злополучному Кристи (Кристи был неплохой человек, но для Блока он был — по своему положению — воплощение зла, насилия, бесчеловечия)<sup>12</sup>.

Блок в своей речи говорил о «предсмертных вздохах» пушкинской эпохи. Вздохом было и его стихотворение «Пушкинскому Дому». Сама же речь о Пушкине — другое. Ее отчаянные и грозные заклинания — это скорее вопль: то ли «Ужо тебе!» бедного Евгения, то ли запоздалый и застывший крик удушасемого Лаокоона.

С личными словами веры, надежды, покаяния, мольбы Блоку — как и большей части той культуры, гением которой он был, — обратиться было не к кому: каждому дается по его вере.



Изведав лично бездну проблемы «поэт и толпа» (или «чернь и культура»), Блок (как показывает, в частности, его пушкинская речь) в конце концов ужаснулся за судьбу культуры.

И все же она не погибла, не выродилась, не направилась вся теми руслами, по которым ее стали направлять уже при жизни Блока. В своей лучшей части она (я намеренно касаюсь только подцензурной литературы советского периода) продолжала — в условиях, когда чернь требовала «услужения» ей, — старую, Пушкиным окончательно утвержденную традицию служения, как она его понимала. И если она честно понимала его как служение народу, отечеству, даже коммунистической мечте, то большой талант купно с честностью и в самые страшные годы порой создавал нечто похожее на чудо — например, бессмертного «Василия Теркина», или «Голубую чашку», или сказы Бажова (не говоря уж о «Днях Турбиных», Платонове и многом другом). Во всем своем беспримерном унижении — а может быть, отчасти даже и в силу унижения, сменившего гордыню «серебряного» века, — она непостижимым образом умудрялась сохранять черты преемственности величия, затем нараставшие и крепнувшие начиная с конца 50-х годов и ярче всего воплотившиеся в «деревенской» литературе (не только в ней); и никто кроме тех, кто не изжил еще комплекса выпущенного из загона раба или чей «духовный» багаж ограничивается высшим образованием, не смеет отрицать, что русская литература советского периода оставалась, не только в лучших, но подчас и просто в честных произведениях, по меньшей мере одной из человечнейших культур мира.

Решающую роль (помимо объективной «духовной генетики») сыграли тут оглядка и опора на авторитет, опыт и традиции литературы, отцом которой был Пушкин. Одной из роковых ошибок большевиков, может быть, величайшей из них, было то, что они не вняли пролеткультовским призывам, не стерли с лица земли русскую классику XIX века, не истребили память о ней (что это было возможно, показывает пример истребления Достоевского), ведь она спасла русскую культуру — в известной мере и Россию — в XX веке.

Но отсюда следует и то, что заслуги подцензурной литературы советского периода были в первую очередь «наследственными» — как аристократизм, который русские князья и графини сохраняли, работая таксистами и посудомойками. А на одной наследственности далеко не уедешь, когда-то должно начаться и вырождение. Да, русская классика спасала, — но ее художественные традиции и нравственные ценности усваивались, как правило, за вычетом той духовной основы, какой было для русской классики православное христианство. Питаясь желудями, не помнили, а часто и не знали, откуда они взялись.

Если говорить о каком-то собственном духовном векторе «либеральной» части культуры второй половины века, то он, за немногими исключениями, был направлен не вверх, как, скажем, у летописца Пимена, и не вниз, как, скажем, у Вальсингама, а словно бы куда-то вбок — в сторону того, что с недавних пор уже безбоязненно называют «общечеловеческими ценностями». Эта загадочная категория (навеянная, припоминается, Марксом), неопределенностью своей сходная с каким-нибудь флогистоном, выдуманном для объяснения природы огня, в пору запретов

<sup>12</sup> Датировано 21 сентября 1966 года. Фрагмент публикуется впервые. Остальная часть письма опубликована в моем мемуаре «Учитель» (в кн.: «Воспоминания о Корнее Чуковском» М. 1977).

маскировалась различными псевдонимами и в таком качестве маскировала, в свою очередь, самые разные ценностные представления — от умеренно-диссидентских до сдержанно-религиозных. Это было нетрудно в силу условности и безупорности самой категории и совершенно отвечало безупорности и скудости распространенных понятий о «духовных ценностях» вообще: под таковыми люди культуры сплошь и рядом чистосердечно и упорно разумели ценности прежде всего эстетические и интеллектуальные, — но, конечно же, и социальные, и главным образом с в о б о д у: ценность ценностей и предел мечтаний.

И вот грянула свобода; и случилось «другое» чудо — на этот раз напоминающее то ли «Портрет Дориана Грея», то ли известную русскую сказку. Едва успевшая расцвести Василиса Премудрая во мгновение ока превратилась в одну из своих сестер, у которых вместо слов изо рта извергались жабы и змеи. Под знаменем свободы «мастера культуры», толкаясь, ринулись делать все то, против чего предостерегал Пушкин, — «...потрясать вечные истины, на которых основаны счастье и величие человеческое», и «превращать... божественный нектар в любострастный, воспалительный состав», — то есть воплощать мечту Петруши Верховенского: «...одно или два поколения разврата теперь необходимо...» и т. д.

Памятуя, что выше «в паре» с цитатой из Петруши приведена цитата из дневника Блока («...требуется длинный ряд *антиморальный*...»), вернемся в начало века.

Автор «Пира во время чумы» знал из своего опыта, что тень Чумы уже коснулась русской культуры. В начале нашего века это была уже не тень, а эпидемия. Я заранее согласен с тем, кто напомнит мне о гениях и драгоценных открытиях литературы «серебряного» века (который сегодня стал у нас драгоценнее «золотого»), я с готовностью и радостью подтвержу, что он прав; но и оппонент не должен, по совести, отрицать, что Блок, истинный и трагический гений эпохи, наиболее полно выразивший ее, выразил (и не один он) именно то, что являлось главным духовным вектором ее культуры: «проклятье заветов», «попиранье святынь», «поругание счастья», осознанное поклонение «и Господу, и Дьяволу» (как выразился в одном стихотворении Брюсов). Все это, под знаменем духовной свободы, перекрывая подлинно духовные тенденции, в том числе работу русской религиозной философии (но порой и ее заражая «благодатным ядом»), становилось своего рода специальностью «человеков-артистов», млевших в объятиях Ницше и Вагнера (так — из огня да в полымя — расплавивалась обезбоживающаяся русская мысль за то благотворное влияние немецкой философии, которое, как писал Пушкин, в прошлом веке спасло нашу молодежь от «холодного скептицизма» философии французской). Все это объединялось пафосом антиправославия, антихристианства — то открыто агрессивно, то изысканного, искавшего способов гармонично сочетать Христа с Дионисом, то стремившегося реформировать «архаическое» православие в плане наступающей «эры Духа»; и все это, будучи падением, принятым за с в о б о д н ы й п о л е т (Н. Коржавин, «Игра с дьяволом»), гимном Чуме, слепой стихии, расчищало «духовные» пути буйству стихии социальной.

Пафос разрушения, переполняющий поэму «Двенадцать», был тем, что объединяло блестящую, артистическую, рафинированную культуру с террористами в пенсне, со шпаной в пулеметных лентах, с чиновниками в сапожищах. «...Не живи настоящим, — призывал Брюсов «юношу бледного со взором горящим». — Только грядущее — область поэта»: совершенно большевистский призыв.

Пафос разрушения объединял — но и разделял. Ибо довершать дело разрушения «старого мира» и строить «новый» должен был кто-то один: «Строить *мы* будем, *мы*, одни *мы!*» (П. Верховенский). И тонкая, рафинированная, артистическая культура была растоптана теми самыми сапогами, расстреляна из тех самых «винтовочек стальных». выгнана на чужбину, загнана в лагерь и в петли — если не из «крепкого шелкового снурка», что у Ставрогина, так из простой пеньковой веревки для белья. Вообще самоубийство есть, пожалуй, наиболее выразительный образ того итога, той смерти «от смерти», к которому ведет «русского человека» культуры неразличение духов и попиранье святынь, — и тем вернее ведет, чем подлиннее и масштабнее его дар, чем очевиднее «высокое предназначение». В трагической судьбе этой культуры в очередной раз реализовался пушкинский сюжет «исполнения желаний». Не глядел бы Петруша Верховенский «из угла» на Ставрогина — не пришло бы ему ничего в голову...

В то же время — страшно сказать — катастрофа этой культуры была, может быть, жертвой. спасительной для культуры последующей, которая должна была, в какой-то степени м и н у я опыт «игры с дьяволом», обращаться в поисках опоры и преемственности напрямую к традициям классики XIX века с ее системой ценностей, генетически связанной с Православием — вместилищем и источником загадочной для всего мира «духовности» русской культуры (о чем я надеюсь подробнее сказать в другой главе). Что же касается судьбы самого Православия, то — лучше уж прямое

гонение на веру, чем тонкое разрушение и разложение ее со стороны артистической и блестящей культуры.

Все это я веду вот к чему. Нынешнее время наводит на мысль, что «игра с дьяволом» возобновилась чуть ли не с самого того места, на котором прервала ее воспетая ею же Чума. Словно внутри культуры проснулось — или разморозилось, как знаменитые замерзшие слова, — что-то такое, что немедленно потребовало «излиться наконец свободным проявлением»: что-то мучительно недоизлитое, недосказанное, недопетое — тот самый гимн разрушения с его проклятьем заветов, попираньем святых и пр., со стремлением объединить «Господа и Дьявола», упразднить границы между благом и грехом: «Свобода, свобода, Эх, эх...»

Не случайны настоячивые атаки, которым то и дело подвергаются традиционное русское понимание культуры как служения добру и правде; «литературоцентризм», то есть первенство слова, доверие к слову в русской культуре; «великая русская литература» (иронические кавычки); в главном и конечном счете атакуется опять-таки Православие — и притом вовсе не в силу его вероисповедного содержания (оно атакующих не интересует), а просто в силу того, что это твердая система ценностей. Впрочем, один молодой теоретик постмодернизма ставит вопрос о Православии не агрессивно: объявив представляемое им направление итогом и венцом культуры, теоретик обосновывает это тем, что постмодернизм упраздняет в ся к у ю систему ценностей: он универсален и может включить в себя все на свете — в том числе, если угодно, и Православие.

Но здесь возникает опасность сказки про белого бычка, поскольку мы имеем дело не с чем иным, как с неумышленной пародией на отношения поэмы «Двенадцать» с «включаемым» в нее Иисусом Христом. Казус этот, может быть, и забавен, но — «Боже, как грустна наша Россия!».

Смешно и стыдно видеть, как нынешние «мастера культуры», и не только молодые, но порой и довольно-таки убежденные, носятся с этой безграмотной, плебейской идеей насчет того, что хватит, мол, литературе (культуре) служить чему-то, что, мол, «Свобода, свобода!..». И так же горько, что внутри культуры столь слабо противостояние этому «верховенству», этому рабству навыворот. Помня о подвиге «деревенской», «почвеннической» литературы, можно, кажется, было бы ожидать достойного ответа с этой стороны, — но его (если не считать публицистических и иных выкриков) почти не слышно. Потому, думаю, не слышно, что для этой славной, сердечной, благородной, героической литературы главной опорой была — именно прежде всего, а порой и исключительно — почва. Да, без почвы русскому человеку и русской культуре нельзя; но почва, бывает, колеблется под ногами, — тут и классика не поможет. Остается то, что когда-то советовал Пушкину Чаадаев: «Возопите к небу — оно отзовется». Но вот с этим-то у нас большие сложности. Слишком многие у нас убеждены, что вера вообще — а православная по преимуществу — тоже идеология, только другая. Но тоже тоталитарная. Разница лишь в том, что одним это не нравится, а другим очень подходит. Мы ведь научены верить в идею. Но это все равно что венчаться в Планетарии:

«...цель художества есть *идеал*...», — писал Пушкин; и культура в России так и понималась. Культура есть, по определению, служение; культура по-латыни воздвигание. В России это понимается как воздвигание человеческой души. Цивилизация — воздвигание внешних условий обитания человека. его удобств и утех. Мировая культура — в целом, как таковая — переживает кризис своей природы, ей грозит, и с ней происходит, превращение из культуры в цивилизацию, в предмет потребления, в добычу толпы. Ответственность за то, чтобы культура не вся перестала быть собой, а значит, чтобы человечество не все превратилось в толпу, ложится на Россию — разваленную, обнищавшую, смятенную, развращаемую, но все еще не переставшую быть собой, — ложится потому, что в России еще живо понимание культуры как служения. Понимание это связано у нас с верой в Христа — не нашей собственной, сегодняшней, так наших дедов и прадедов. Вере этой тысяча лет, и благодаря ей Россия стала великой нацией, а ее культура до сих пор чудо и загадка для всего мира. Сегодня русская культура переживает дни позора и унижения. Наверное, это было неизбежно — чтобы Вальсингам пропел свой гимн Чуме, чтобы Блок воспел хаос и уголовщину как «музыку», чтобы «заветные святые» великой культуры были попраны, чтобы уроки «серебряного» века, усвоенные лишь со стороны «неразличения духов», помогли нам вляпаться в объятия антропологической порнографии м а с с к у л ь т а, обеспечивающей «одно или два поколения разврата». Все это — исполнение желаний, плата за отступничество — сверх морей «кровушки»; без этой катастрофы тоже, видно, нельзя было обойтись.

«Пир во время чумы» — образ катастрофы, вот почему так часто мелькают эти слова. Художественный мир Пушкина вообще катастрофичен, оттого что Пушкин —

поэт сущностей; ничто так не способствует проявлению сущности — личной, национальной, духовной,— как катастрофические обстоятельства. В катастрофичности, как ее понимает и воплощает Пушкин, есть смысл. Катастрофы не происходят без причин и не попускаются Богом без цели. Вальсингам должен был пройти через катастрофу, чтобы иметь возможность вновь обрести себя. Пушкин знал это из собственного опыта. Его трагедия обязана появлением не тому, что он прочел английскую драму «Чумный город»; трагедия возникла благодаря не литературе, а диалогу поэта с попом, который воззвал к нему и сказал ему: «Не напрасно, не случайно жизнь от Бога мне дана, не без воли Бога тайной и на казнь осуждена... Вспомнись мне, забвенный мною... и созиждется Тобою сердце чисто, светел ум». И в этом воззвании поэт услышал слова 50-го, покаянного псалма: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей» (Пс. 50, 12).

И Священник в «Пире во время чумы» воззвал к «падшему духу» Вальсингама: «Матильды чистый дух тебя зовет».

И слова Гоголя о Пушкине и русском человеке — не прорицание, а воззвание; это — пророчески услышанное Гоголем, через него переданное нам требование, провиденциальное и историческое.

Сегодня как никогда грустна наша Россия, — но не напрасно как раз на эту ее пору, когда на весах лежит будущее России (будет ли Россия), падает преддверие двухвековой годовщины человека, воплотившего в себе гений нации, запечатлевшего в слове ее чистый дух. Не напрасно, не случайно.

Стало быть, на самом деле «веселое имя: Пушкин»; Блок прав.

Блок прав: Христос на самом деле ведет Россию,— в «Двенадцати» Блок это увидел.

Он видит: Россия превратилась в стихию — дикую, слепую, очумевшую.

Он видит: Россия забыла, что впереди — Христос; она Его не знает и знать не хочет; она вообще ничего не знает — и того не знает, куда и зачем идет своим «державным шагом». Она слепа, больна, несчастна, Блок видит эту правду.

Более того: он эту правду записывает, — но он не верит ей. Он верит в идею, в Вагнера и Ницше. В слепоте, несчастье и очумелости он видит величавую, дикую мощь и кичение жизни. Он пишет Россию, забывшую о Христе, так, словно ей и забывать было нечего, словно Христа не существует<sup>13</sup>.

Блок видит правду и записывает правду,— а говорит неправду. Так Вальсингам записывает правду о смерти и бессмертии, но интонационно ее искажает.

Душа Блока — как душа Татьяны; душа знает больше, чем он. Она знает правду, а сам Блок знать ее не хочет. У него пророческий дар, ему дано видеть, — но он не верует<sup>14</sup>. Потому и дару, и глазам своим не верит. Впереди надвьюжной поступью идет Спаситель, не покинувший Россию, Блоку дано это увидеть, — а он удивляется: зачем Спаситель?

Он верит в идею. Его душа рыдает над Россией, а ему кажется: это величавый рев «мирового оркестра»

<sup>13</sup> «...«отвлеченное», вроде Христа» («Искусство и Революция»)

<sup>14</sup> «Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете» (Ин. 6, 36)

## *Литература и искусство*

### КОНЕЦ ТРАГЕДИИ

Анатолий Яковсон. *Конец трагедии*. Вильнюс — Москва. 1992. 197 стр.  
Анатолий Яковсон. *Почва и судьба*. Вильнюс — Москва. 1992. 352 стр.

**Ж**изнь крупная и деятельная, всякий час отодвигая уже созданное ради предстоящего, убеждает самой своей наличностью, напрямую; закончившаяся — и даже оборванная — жизнь несет мысль общую, взывая к полноте понимания. Длжщиеся и завершенные судьбы связывает искусство — образец воплощенности, сила одоления случайного. Связывает, но примирить, вероятно, не может.

Историк по дипломной специальности и читатель по содержанию жизни, литературовед и переводчик, любимый преподаватель и активный правозащитник, один из редакторов неподцензурной «Хроники текущих событий», Анатолий Александрович Яковсон не по своей воле покинул Россию двадцать лет назад, а через пять, едва переступив рубеж сорокалетия, ушел из жизни. Его ученики 60-х годов теперь намного старше своего учителя, а целое поколение читателей середины 70-х — начала 90-х выросло, практически не зная ни переводов Яковсона, ни его работ о русской словесности, ни повседневной деятельности морального сопротивления беззаконию. «Виңтики» той махины сносились и рассыпались, подробности дня отодвинулись в прошлое. Литература, бывшая потаенной и подсудной, опубликована и перекомментирована, Пастернак и Платонов встали между Островским и Фадеевым. Чем могут быть сегодня слова Анатолия Яковсона, выношенные им в противостоянии и подполье?

Выпущенные издательством «Весть» на средства почитателей, друзей и родных автора два тома включают большую часть написанного в России и в изгнании — самую крупную по объему, центральную по смыслу книгу о «Двенадцати» Блока и романтической идеологии русской интеллигенции начала века, фрагменты постепенно складывавшейся, но незаконченной монографии о Пастернаке, статьи, доклады и заметки об Ахматовой и Мандельштаме, Платонове и Шаламове, переводы из Лорки и Мигеля Эрнандеса, Верлена и Готье, Мицкевича и Петрарки, правозащитные письма и документы, интервью и дневни-

ки. Важная часть книги второй — дань памяти ушедшему: стихи Лидии Чуковской, Давида Самойлова, Георгия Ефремова, очерк Анатолия Гелескула, заметки и воспоминания Марии Петровых и Людмилы Алексеевой, Юны Вертман и Владимира Фромера, Юрия Гастева и других. Целое двух томов многосоставно. Подътоживающие формулы некрологов лишь несколькими страницами отделены от разговорных интонаций авторского дневника, образцы литературоведческого анализа соседствуют с подробностями биографии в интервью, высокие имена учителей перекликаются с мемуарными домашними прозвищами, — черта пронзительная и тоже как-то передающая и живой облик Яковсона, и строй эпохи, пору его юности.

Сам автор говорит о себе крайне редко, но всегда с обычной четкостью и непретенциозностью формулировок (я бы вообще обратил внимание на то, насколько его напряженная и страстная мысль не красуется и поглощена делом, не педалируя эффектный афоризм и не отвлекаясь на сторонние обобщения, а чаще всего — и как раз в самых «личных» местах — прибегая к цитате; может быть, наиболее интимная и глубокая работа — эссе об Ахматовой «Царственное слово» — вообще на девять десятых состоит из полновеснейших цитат<sup>1</sup>). В интервью о временах молодости сказано, что двигала им тогда «бескорыстная жажда понять мир». Насколько непрост труд понимания и каков груз его итогов, Яковсон — писатель и историк — вполне представлял. Но столь же ясно видел и альтернативу познанию: в том, что иные именовали покоем, он различал распад. Не зря эссе об Ахматовой объединяет тема противостояния забвенью, а в центре наиболее развернутой работы зрелых лет о «Вакханалии» Пастернака — усилие воскресения. «Как ни терзало бывшее, оно представлялось реальностью, а сегодняшнее — бредом. Пытка памятью была един-

<sup>1</sup> В «Избранном» М. С. Петровых (М 1991) автором «Царственного слова» в примечании к дневниковой записи назван А. Г. Найман, нужно же — А. А. Яковсон.

ственным спасением. Бегством от безумия» — это вырвалось в связи с Ахматовой, но сказано, вероятно, и о времени и о себе самом.

Яacobсон жил литературой, учиться пошел истории, а преподавал (может быть, верней было бы «исповедовал»?) и ту и другую. В этом тоже была здешняя традиция, черта эпохи. В середине 30-х воцарившийся режим запечатывал самостоятельную мысль, вводя в школы канон русской литературы и русской истории разом; приходя в себя во второй половине 50-х, молодежь обращалась и к начавшей просачиваться в печать «вычеркнутой» литературе серебряного века, а потом — Пастернаку и Цветаевой, Ахматовой и Мандельштаму, Платонову и Булгакову и к тогда же заново опубликованным «Сочинениям» Ключевского (иные предпочитали «Историю» Соловьева). Толчком к пробуждению нередко бывали учителя, и на тогдашних уроках, равно как и на страницах воскресшей после долгих лет журнальной публицистики, в качестве решающего довода цитировали и поэтов и историков.

Борьба памяти с безвременьем, противостояние слова обступающей глухоте — внутренняя тема Анатолия Яacobсона, нерв (а не только предмет) его работ. При этом сам он по неистовому темпераменту и деятельному складу ни пессимистом, ни созерцателем не был и отрыва от жизни других — как признавался в поздних дневниках — не чувствовал, иное дело разрыв со своей собственной, отдельной, которую (и по строю души, и по демократическим навыкам мысли), видимо, не слишком ценил, в которую, кажется, не очень верил и которую, в любом случае, не считал возможным выпивать. Веские слова хемингуэевского героя о том, что человек в одиночку ни черта не может, значили тогда много и были не признанием в слабости, а, вероятно, одним из первых свидетельств зрелости. И в тяге Яacobсона к преподаванию, и в его неутомимости правозащитника для меня не только масштаб личности, не успокаивающейся на частном и обособленном, но понимание, что слово одного без выстроенного совместным трудом пространства обшей речи невозможно.

Реальность же (Яacobсон не раз цитировал этот образ из пастернаковского стихотворения «Послы стрелок...») крошилась «по частям» Залогом общего понимания и вместе с тем примером осуществленности, по давней российской традиции, виделась литература. Она была не только зеркалом самопознания, но и вызовом окружающему, изоляции и немоте, расколотости жизни на безликий конформизм «службы» и высокое красноречие «кухни». Подобной дилеммы Яacobсон принять не мог. В открытом письме о демонстрации друзей и соратников 25 августа 1968 года на

Красной площади выделены курсивом два слова: «нравственный» («...явление борьбы *нравственной*») и «публичный» («...ни один акт произвола и насилия властей не прошел без *публичного* протеста»). Единство нравственного и публичного, для которого «честность в душе» такой же чудовишный кентавр, как «борьба за мир», выводило из дурной бесконечности двоемыслия.

Это пункт важнейший. О конфликтах подобного двоеверия — посвященная Блоку книга «Конец трагедии»; о его эпигонах, революционных романтиках советской эпохи, — эссе «О романтической идеологии». Для Яacobсона само романтическое противопоставление «тоскливой пошлости» и «священного безумия», что отнюдь не сразу понятно, множит и увековечивает пошлость, деля повседневную жизнь какого бы то ни было самостоятельного смысла. В истерическом пафосе, с каким над «низким» миром возносится образ Поэта, Яacobсон пронизательно различает и непомерность счета, предъявляемого жизни, и заведомое оправдание, даже восславление стихийности, сколь бы разрушительна она ни была. Околдовывающий разум Блока «всеобщий миф», при свете которого поэт «становится народным», его исследователю видится оборотной стороной блоковского признания об «инстинктивной ненависти к парламентам» и его столь будоражающих иные умы еще и сегодня слов: «Я — художник, следовательно, не либерал». Сами надмирные претензии европейского (Ибсен, Стриндберг), а потом и российского нищестанства (от символистов до Горького) выдают для Яacobсона его провинциальность. Ей противостоит «бесконечное достоинство отдельной души» у Честертона и трезвость аналитической мысли Рассела (его переведенная в 1959 году «История западной философии» — еще одна настольная книга тех лет, поры яacobсовской молодости).

Есть в этой раздвоенности («двойственном отношении к явлению», «сознании двух правд», определяющем для Блока романтический трагизм судьбы поэта, отделенного от народной «правды») еще и отзвук, а то и поза так и не пережитого детства. «Не пережитого» — значит, уже осознавшего себя детством, но лишь в одном смысле: когда не можешь ни стать взрослым, ни жить без «больших». И трагизм здесь, строго говоря, противоположен трагедии, увековечивая безвыходность раздвоения и преграждая путь к развязке, которая однократно и необратима. Личность или рождается, отделяясь от родового лона, или нет; быть между этими состояниями — судьба, цитируемого Яacobсоном «Недоноска» Баратынского, который «отбыл.. без бытия», обращая в бессмыслицу даже «вечность».

Не зря Анатолий Якобсон, столь чуткий к богатству детской оптики в художественном мире поэта (об этом его наброски о «Детском в творчестве Пастернака», фрагменты разбора пастернаковского «Зимнего утра» и записи из тетради «Детство»), так внимателен к свидетельствам взрослости в литературе, не говоря уж о жизненной установке и поведении. Он выделяет цветастые слова о пастернаковской лирике как «поэзии вечной мужественности», цитирует шамаломское: «Поэзия — вызревший плод». Конфликт детской позы и позиции взрослого — в основе якобсоновской работы «О поэзии гармонической и трагической». Полюс детского противостояния миру («тяжелой тяжбы» с ним, по цитируемому Якобсоном выражению Чуковского о Блоке) здесь связывается с такими фигурами, как Лермонтов, Блок, Маяковский. Полюс мужественности — с Пушкиным, Тютчевым, Пастернаком. Думаю, сдвиг внимания автора с Блока к Пастернаку не случаен. В последнем он видит «высшую концентрацию жизни», в первом — затаенную любовь к гибели (признание самого Блока; ср. с «боязнью и жаждой развязки» в пастернаковских стихах о нем).

Как можно понять Якобсона, именно раздвоенность поэта делает саму романтическую литературу столь предрасположенной к «идеологии». Расколотое сознание помещено в самый центр мира, и «отчуждение идеи совпадает с отчуждением личности» «Миф о поэте» раздавливает поэта, и агрессивность авторского «я» предвещает готовность принести себя в жертву целому. Для Якобсона, начавшего книгу о Блоке утверждением протагоровского человека как меры всех вещей («идея, которой освящены все духовные ценности, добытые европейской культурой»), необходимость поступиться индивидуальностью во имя родового неприемлема и биографически: об этом его мысли по поводу национально-самоопределения в «неофициальном интервью». Но обоснована эта позиция в немалой степени, думаю, самим строем и судьбой дорогого Якобсону искусства. Пушкинским «самостояньем человека» он не жертвует как его верный читатель (не для эрудиции же он его читал, в самом деле!), характерным образом замечая: «Пушкин не нуждается ни в чьем сочувствии, он никому не исповедуется».

По складу Якобсон, мне кажется, тяготел к гармонии, может быть, родился для нее. Но зоркость мемуариста — ближайшего друга — подмечает черты необъяснимого сиротства, о том же говорят дневники самого автора. Не думая даже касаться тайны личности, питающих и покидающих ее сил,

скажу лишь о глубочайшем внутреннем драматизме, сполна ощутимом, конечно же, в поэзии — в якобсоновских переводах. Помню его опубликованного в семидесятом Эрнандеса, еле переносимое соединение пылкой мощи с отчаянной недостижимостью цели. Сонеты гудели словом «мука». У Якобсона и Петрарка прочитан глазами Микеланджело. Но, как знать, не было ли здесь чего-то более общего, чем сугубо личные особенности или обстоятельства? О невыносимости безвременья, тесноте его рамок для недожиной личности уже говорилось. Может быть, и подспудная нота в строе российской поэзии, «крик рождением выброшенного в этот мир ребенка, испуганного этим миром до конца жизни», отвечали чему-то в складе характера — ведь услышал же он этот крик...

Тяжесть эпохи, сужающей горизонт мысли и поступка, нельзя сводить лишь к насилию власти. Давление принудительной партикулярности существования было не меньше. А возможность литературы не беспредельны. Распутать узел, в котором столько сошлось, одному и в краткие отпущенные годы вряд ли кому под силу. От выбора Якобсон ни на йоту не отступился, но чего этот выбор стоил, вправе был бы сказать только сам.

Среди последнего, о чем он думал на страницах дневника, — новый необходимый этап общей жизни и истории, этап негероический, повседневный, который он называл португальским путем, связывая с ним отказ от мессианизма и обретенное «чувство меры, ощущение своих границ, своего места на земле».

Что означает это для литературы, тем более литературы русской, — вот, думаю, один из вопросов, завещанных Якобсоном дню нынешнему и завтрашнему. Остаться при сугубо эпигонском повторении сызнова тех романтических клише, которые он с такой ясностью разглядел и разобрал в книге 60-х, не значит ли опять завязнуть в том же неразрешимом повторении, безысходной раздвоенности миров и правд прошлого века? И не это ли повторение составило подавляющую часть умственной жизни последних лет, наполнявшихся сначала столь знакомой по статьям Блока и страницам якобсоновской книги о нем эйфорией, а затем — все тем же унынием? Трагедия тем и отличается от абсурда, что имеет конец. В этой связи я бы предложил как нельзя более всерьез и во всей полноте смысла воспринять заглавие труда Якобсона — «К о н е ц т р а г е д и и»

Б. ДУБИН.

*Политика и наука***«С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ РОССИИ...»**

Архив русской революции. Изданный И. В. Гессеном. В 22-х томах. Тома 1—14. М. «Терра» — «Республика». 1991—1992. (Издание продолжается.)

Изучение нашего прошлого небесполезно — с отрицательной стороны. Оно оставило нам мало пригодных идеалов, но много поучительных уроков, мало умственных приобретений и нравственных заветов, но такой обильный запас ошибок и пороков, что нам достаточно не думать и не поступать, как наши предки, чтобы стать умнее и порядочнее, чем мы теперь.

*В. Ключевский.*

«...Орешек не славался» — на этой фразе обрывается «История государства Российского» Н. М. Карамзина. Если бы великий историограф решил завершить свое творение каким-либо новым символическим образом, он едва ли нашел бы что-нибудь более гениальное. С тех пор «Орешек» стал еще крепче и по-прежнему не сдается. «Орешек» русской истории теперь заключает в себе катастрофу 1917 года, катастрофу, в которой тугим узлом сошлись все проблемы предыдущего тысячелетнего прошлого России и откуда многочисленными метастазами узлы проблем расплзлись в будущее.

Как всегда, Россия запаздывает с осмыслением своего прошлого. Начиная чуть ли не с Петра I история в России оставалась наукой секретной. Примеров тому так много, что выбор их довольно затруднителен: убийство Павла I? восстание декабристов? Весьма знаменательно, что из трех великих историков России ни один не добрался до своего времени. Польза же истории заключается в том, что каждый отдельный человек усваивает историю своего отечества как свое собственное прошлое и мягко — без лагун и провалов памяти — начинает и современность постигать как историю, которая пишется сегодня, и, что особенно важно, пишется не без его участия.

Когда же в исторической памяти народа образуется «провал», народ перестает жить полноценной и полнокровной жизнью, причем даже не осознает этого. По-видимому, вообще самый лучший способ держать народ в полном повиновении — это лишить его истории, заменив ее мифами. Нечто подобное предугадал в своем «Государстве» еще Платон.

Программу античного утописта блестяще выполнили большевики. Несколько поколений советских граждан были носителями или по крайней мере пассивными объектами бесчеловечного воздействия антиисторической мифологии.

И как бы ни оценивать наше время, по крайней мере в одном пункте его значение несомненно: впервые за последние два века в России печатается и громко произносится п р а в д а о прошлом. Зло названо своим именем и показано без маски. Вполне естествен поэтому повышенный интерес к истории русской революции. В последнее время издано огромное количество документов, мемуаров современников и участников революционных событий, появилось «Красное Колесо» А. И. Солженицына. И, наконец, уже вышли в свет 14 (из 22) томов «Архива русской революции», который первоначально издавался в Берлине в 1922—1937 годах.

Это одно из тех изданий, мимо которого не может пройти никто, кого интересует история нашей революции да и история России вообще. Читая «Архив...», трудно отделаться от мысли, что эта чудовищная (по своему содержанию) книга странным образом корреспондирует с начальной нашей летописью — «Повестью временных лет».

«Се повести времянных лет, откуда есть пошла русская земля...» «Этими своими воспоминаниями, — пишет один из авторов «Архива...» как бы от лица всех его участников, — я отдаю на суд истории, для нахождения истины и для воздаяния каждому по делам его, лице де е в дня 25 октября 1917 года. И делаю я это в память погибших и пострадавших... Да простят мне то, что я еще жив!» (А. Синегуб, «Защита Зимнего дворца» — IV, 1971). «Повесть...» соответствует Книге Бытия («Вначале сотворил Бог небо и землю... И увидел Бог, что это хорошо...», «По многих же временах сели суть словени по Дунаеви, где есть ныне Угорьска земля и Болгарьска. От тех словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где

<sup>1</sup> После цитируемого текста в скобках указаны соответствующие том и страница «Архива...».

седше на котором месте...»), «Архив...» — Апокалипсису.

«Наше время, — пишет В. Краснов, — творит своею рукою, точно пророческие знамения апокалипсиса, и в жизни людей, и в жизни народов загадочные, полные ужаса письма, ни смысла, ни необходимости которых не поймет человеческий ум.

Быть может, только отдаленные потомки наши поймут и оценят, для кого и почему нужны были все эти муки и жертвы, и воздадут позднюю справедливость жертвенно-опустошенной жизни нашей» (В. Краснов, «Из воспоминаний о 1917—1920 гг.» — VIII, 165).

Картин этой «жертвенно-опустошенной жизни» в «Архиве...» так много, что подчас начинаешь вообще сомневаться в разумности существования человека на земле.

Бесчинствовали обе стороны. Так, например, в Сочи «произошли безобразные сцены: казаки врываются на квартиры, выволакивали на улицу перепуганных обывателей, переворачивали под предлогом обиска вверх дном всю квартиру, причем реквизировали все деньги и ценное имущество и свозили избитых арестантов к вокзалу строящейся железной дороги, близ которого расположился казачий бивак» (Н. Воронович, «Меж двух огней» — VII, 95).

Читая «Архив...», понимаешь, однако, что в сфере насилия большевикам не было равных.

«Председатель петроградской коммуны Зиновьев не испугался бросить в массы лозунг «Вы, буржуазия, убиваете отдельных личностей, а мы убиваем целые классы». И эти слова не остались пустой фразой. Послушная казенная пресса подхватила эти слова и сделала все от себя зависящее, чтоб разжечь в массах жажду крови. Зиновьев и присные с ним могли торжествовать победу» (М. Смильг-Бенарио, «На советской службе» — III, 150).

«Воля красного террора, — свидетельствует тот же мемуарист, — раскатилась затем по всей России. Комиссар внутренних дел Петровский издал приказ, по которому все местные советы обязаны были забирать определенное количество граждан и рассматривать эту «буржуазную сволочь», как дословно было сказано в том приказе, как заложников. В случае же если «контрреволюционеры, буржуи и кулаки» осмелились бы в данной местности поднять восстание, то местным советам предлагалось заложников безжалостно расстреливать. Вся Россия стонала от большевистского террора. Никто не знал, что принесет ему ближайший час».

Жизнь в России становилась не только тяжелее и страшнее, но и загаженнее. «Весна в этом году установилась ранняя, — читаем в воспоминаниях С. Воронова. — Благодаря теплым дням начали оттаивать

груды экскрементов, наваленных в каждом дворе. Запах на улицах стоял невообразимый. Городские власти распорядились вывезти накопившиеся за зиму нечистоты. Обязанность по этой уборке легла конечно на население. В местах, где проходила трамвайная сеть, жители домов вывозили нечистоты прямо на улицу, где они лежали 2—3 дня в ожидании вагонов, вывозивших их на свалку. Невообразимую картину представлял Невский, где по обе стороны проспекта тянулись сложенные таким образом возвышения» («Петроград—Вятка в 1919—20 г.» — I, 253—254).

Вспомним начало нашей истории: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет» (862 год). Тысячелетие с лишним прошло с тех пор, а порядка все нет как нет. С некоторым даже умилением читаешь в «Архиве...» о таком, например, факте: «Придя в Киев, немцы прежде всего вычистили невероятно загаженный при большевиках вокзал. Вычистили, убрали, декорировали и пригласили вечером на танцы тех торговцев, что по принуждению помогали в уборке вокзала...» (Н. М. Могилянский, «Трагедия Украины» — XI, 82). А вот как выглядели сами немцы: «Лица сосредоточенные, дисциплина образцовая, спокойная приветливость и сознание собственного достоинства».

Сегодня как никогда, пожалуй, для нас актуален вопрос о том, насколько мы способны учиться у других народов и извлекать положительные уроки из собственной истории. Может быть, именно от этой способности в немалой степени зависит сейчас и проблема нашего выживания...

Видимо, одним из главных побудительных стимулов, некогда подвигнувших эмигрантского историка и журналиста Иосифа Владимировича Гессена (1865—1943) на издание «Архива русской революции», было как раз стремление собрать, сберечь, а значит, и попытаться постичь уроки нашей недавней бурной истории. Недаром И. Гессен в предисловии к «Архиву...» пишет, что его «задача заключается в том, чтобы сохранить письменный след развертывающихся перед нами трагических событий».

К сожалению, в своих мемуарах «Годы изгнания» (Париж, 1979) И. Гессен очень скупо рассказал о том, как в трудных условиях эмигрантского существования удалось наладить столь внушительное издательское предприятие историко-мемуарного характера. Берлинское издательство «Слово» (И. Гессен был одним из его основателей) пятнадцать лет фактически осуществляло публикацию «Архива...», хотя официально не пожелало выпускать его под своей фирменной маркой. «Таким образом, — пишет И. Гессен, — большой успех, выпавший на долю «Архива», всецело достался мне». Правда, впоследствии популярность изда-

ния стала падать и тиражи последних выпусков с 3—4 тысяч съехали до нескольких сот экземпляров. Впрочем, такая метаморфоза понятна: заключительный, 22 том «Архива...» вышел в 1937 году, когда на мир надвигалась новая чудовищная война и всем стало не до осмысления прошлого, хотя бы и недавнего. Теперь, по-видимому, колесо истории описало очередной свой круг. В предисловии к новому изданию «Архива русской революции» профессор Г. Иоффе задается вопросом, который семьдесят лет назад, хотя и в другой форме, мучил И. Гессена (да и не только его): «Россия входит в 21-й век. Готовы ли мы извлечь уроки из трагического российского опыта 20-го века?.. Думается, уже недалекое будущее покажет...»

Не знаю, что следует разуметь под «недалеким будущим», но современность показывает, что брать у истории уроки мы, как и прежде, не очень-то способны.

Не случайно, думается, большинство авторов «Архива...» относительно будущего России были настроены довольно скептически. Так, один из мемуаристов, А. А. Гольденвейзер, пишет: «При здравой оценке, опыт советской власти должен был послужить предметным уроком политической грамоты. Но у нас, к сожалению, не любят брать элементарных уроков. Еще Тургенев<sup>2</sup> где-то сказал о том, что если дать русскому гимназисту карту звездного неба, то он и не подумает ее изучать, но через четверть часа возвратит ее вам со своими исправлениями. Страшнее всего подумать, какую умственную дисциплину и культуру вынесет из этой эпохи подрастающее поколение» (VI, 302).

Мы, к сожалению, знаем, какую «культуру» оно вынесло: родился новый человек — homo советикус, человек, который свое незнакомство с «западным силлогизмом» провозгласил основным своим достоинством, который не боится Бога, но боится заговорить с иностранцем...

Не все, конечно, так безнадежно. Ведь даже и Апокалипсис в конце концов вселяет надежду. «И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет... И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца».

Ощущение ирреальности всего происходящего с нами сегодня неотделимо от ощущения ирреальности и того, что происходило в России в 1917—1922 годах (таковы приблизительно хронологические рамки «Архива...»). Причем это ощущение в процессе чтения не рассеивается, а усиливается.

...Чтение это долгое и мучительное. Мучительное — потому что написано о нас. Пройдут десятилетия, века, быть может, и тысячелетие, но пока есть и будет на земле Россия, каждый русский человек будет нести на своих плечах этот тяжелый груз истории, революции — часть нашей биографии, хотим мы того или не хотим. Забыть нельзя, изменить нельзя, можно только осмыслить свершившееся.

Современный читатель «Архива...» не может, конечно, не искать в нем сегодня ответа на вопрос, который волнует и интересует его, пожалуй, больше всего: в чем причина революции? Разумеется, наивно было бы пытаться найти ответ по форме: революция произошла потому, что... (хотя многие, слишком многие пытаются дать именно такой ответ). Русская революция как событие глобального масштаба имела целый ряд, точнее даже комплекс, причин, но я сомневаюсь, что когда-нибудь весь этот комплекс будет выявлен, упорядочен, изучен и станет понятен любому школьнику. Если мы начнем раскручивать причинно-следственный ряд, то где именно можно остановиться и сказать: «Отсюда все началось?»

Следует отметить, что из авторов «Архива...» мало кто стремился дать исчерпывающий ответ на вопрос о причинах революции, да и те ответы, которые мы в нем находим, малоудовлетворительны. Это обстоятельство поначалу немного разочаровывает.

Многие авторы (и, по-видимому, вполне правомерно) считают, что вопрос о причинах следует оставить на будущее. «Не место здесь разбираться в причинах, приведших к этому печальному результату. Критика событий может быть ценной, только если она беспристрастна, а для этого нужно иметь в руках материалы, которые сейчас еще недоступны. Но что уже теперь можно сказать, это что вину нельзя сваливать на одного, а что мы должны принять во внимание стечение всех обстоятельств» («Из секретного доклада. О причинах неудачи борьбы с большевиками на северо-западном фронте» — II, 168).

...Прошло три четверти века, и мы, увы, по-прежнему в недоумении стоим все перед теми же вопросами: кто виноват? что делать? куда мы идем? «Архив русской революции» не дает ответы на эти вопросы, но помогает их найти.

Вообще в свете прошедшей истории правомернее говорить не о причинах, а о смысле русской революции. Поймем смысл — очевидны станут и причины ее. Я имею в виду не социологический смысл революции, который издалец «Архива...» И. Гессен видел «в нарушении установленного хода государственной и общественной жизни» (I, 5), а высший, или, если угодно, религиозный, смысл.

<sup>2</sup> Эти известные слова принадлежат Ф. М. Достоевскому.— *Прим. ред.*

Читая «Архив...» сегодня, приходишь все-таки в конце концов к оптимистическому выводу (и в этом, может быть, заключается самая высокая его ценность): как бы ни было тяжело в настоящее время и какие бы испытания ни ждали нас впереди — самое страшное позади. Языческая Русь в 1917 году восстала на Русь христианскую — и победила. Но это была пиррова победа. Все сбылось как бы по слову неизвестного автора уже упоминавшегося здесь «Секретного доклада»: «Да поймет наконец будущая Русь, что против извергов и преступников, какими являются вожаки коммунистов, можно бороться лишь с чистыми руками, доказывая не словами, а делом, что идейные крестоносцы приходят единственно для того, чтобы сломить ту нечистую антихристианскую силу, которая временно восторжествовала на Руси. Победа над большевиками из победы военной должна обратиться в победу нравственную; пока этого не будет, никакие военные победы, как бы блестящи они ни были, не дадут России того возрождения, ради которого ведется братоубийственная война».

В заключение еще несколько слов о новом издании «Архива русской революции». Как это ни парадоксально, но его нынешняя издательская судьба начинается в известной мере повторять давнюю судьбу берлинского детища Гессена. Сегодняшние наши бумажно-типографские трудности самым плачевным образом отозвались на репринтизации «Архива...». Первоначальный быстрый темп выхода очередных его томов нарушился, паузы между их появлением затянулись. Последний по времени выпуск (13—14 тома) появился год назад. Тираж издания с 75 сократился до 7 тысяч. Примечательно, что выпуск «Архива...», кроме издательств «Терра» и «Республика»,

начал осуществлять также «Современник», но там и вовсе выпло лишь два тома. Понятно, что нынешним издателям не хватает средств, но тем не менее подобные срывы крайне огорчительны.

И вот что еще настораживает. Издательство «Терра», судя по опубликованному им недавно проспекту выпуска «Архива...», вовсе не собирается снабдить его комментарием. Видимо, здесь на этот счет разделяют точку зрения, высказанную в заметке «От редактора», которой издательство «Современник» предварило свою публикацию «Архива...». Признавая полезность исторических комментариев «к субъективным свидетельствам очевидцев», редакция, по сути, однако, констатирует свою неспособность организовать для столь «напряженной работы коллектив исследователей».

Но почему же непременно необходим целый коллектив для комментирования того, что некогда было собрано и издано фактически одним человеком? Думается, ко всем 22 томам «Архива...» требуется дополнительный том комментариев, включая хронологические таблицы, географические карты, указатели имен, что вполне по плечу и одному достаточно квалифицированному историку.

Естественно, с комментариями или без оных — ценность «Архива...» и значимость его переиздания в России трудно переоценить. Но современный научный комментарий несомненно придал бы больший вес такому изданию. Он послужил бы и определенной данью уважения отечественных историков И. Гессену, начавшему семьдесят лет назад на чужбине свой труд «с верой в будущее России»

В. САПОВ.

В КОНЦЕ 1993 ГОДА  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ  
НОВЫЙ ФРАГМЕНТ КНИГИ А. Г. МАКАРОВА И С. Э. МАКАРОВОЙ  
«К ИСТОКАМ „ТИХОГО ДОНА”»

(«Соавторское» редактирование художественного текста романа)

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## СЮЖЕТ О ПОТЕРЯННОЙ ДОЧЕРИ

**Э** тот сюжет несомненно имеет древнейшие корни, но взяться за него меня побудила боль за нелепую участь теперешних юных особ «до шестнадцати и старше». С наступлением вечера невыносимая пустота жизни загоняет их в подвалы и подворотни «сексуально расковываться», дабы, отринув местные «стереотипы» прившейся моральной казенщины, взамен обрести якобы универсальные «стандарты». Хотя, хоть убей, не пойму: чем, собственно, «стандарты» лучше «стереотипов»? Разве что еще большей автоматической стертойстью. Что сразу же понимаешь, натываясь на массу поповых девиц, словно отштампованных по ублюдочной мерке какой-нибудь пятицентовой «куклы Барби», тусующихся на оскверненном... простите, обновленном Арбате, на «Краске» (Красной площади) или на «Пушке» (Пушкинской), ныне переименованной неофициально в «площадь Макдоналдса». А уж табунки «роковых фэнок» из «Лужи» (то бишь лужниковского Дворца спорта, ныне оккупированного антиспортсменами от шоу-бизнеса) особенно возбуждают тоскливые раздумья на тему «как дошли мы до жизни такой». Мы, то есть страна, народ, наше искусство, наш бывший «прекрасный пол», наконец, Московские «барби» с испытими мордашками и пустыми глазенками почитают за счастье то, что их старшие сестры начала века (припомните: таинственные Незнакомки в больших шляпах) сочли бы величайшим унижением. Да вообще-то сочла бы унижением и вся человеческая культура с ее «общечеловеческими ценностями», на которые невесть с чего полюбила все ссылаться наша прогрессивная и чадолюбивая экс-комсомольская пресса, та самая, что, давно изжив полноту собственного бытия, рьяно толкает несмышленишей от двенадцати до восемнадцати лет на «свободные рынки» души и тела в захламленных переходах метро, подъездах и подвалах.

Это новозавоеванное в нашей постперестройке уже не только зрелыми, тертыми, ко всему привычными матерями, но и юными дочерьми «право на бесчестье» побуждает поговорить о некоторых истоках проблемы, которую условно назовем хотя бы «самоопределением дочерей», — не обо всей проблеме, а об одном причудливом, очень «нашенском» ее витке на исторической спирали, во всяком случае в истории нашего отнюдь не богоспасаемого XX века. Возможно, я не права, считая именно этот сюжет одним из ключевых сегодня, но тем сильнее хочу подтвердить свою убежденность на нескольких ярких (и незаслуженно забытых) примерах из современной литературы и искусства.

Толпы сбитых с последнего панталыку маленьких тусовщиц весьма занимали мою давнюю знакомую — художницу Александру Николаевну Корсакову, вдову несравненного в своем роде зачинателя «революции в мире искусств» В. Е. Татлина, не без основания считавшую себя последней уцелевшей из сонма первых русских авангардистов. Из интереса к сегодняшней малообещающей «женской молодости» эксцентричная старая дама в качестве зрительницы даже разок посетила очередную заплыванную подворотню... то бишь дискотеку, следствием чего явилась весьма динамичная серия рисунков жутковато-веселого вида «Брейк-данс», имевшая ошеломляющий успех у забугорных ценителей творчества этой последней из могикан нашего революционного искусства.

Поначалу, признаться, меня удивляло любопытство художически и житейски умудренного мастера, в 60 — 70-е годы освоившего сложнейшие миры Достоевского и Булгакова, к крикливой одномерности сегодняшних подростков в удешевленной попсе — «чертовых кукол», как весело определяла она сама. Но постепенно я стала улавливать некие общие точки между тогдашней корсаковской сверхсложностью и нынешним «брейковым» сверхпримитивом. Подтверждения взирали со стен мастерской более или менее потрясенными, «говорящими» глазами. Российская истовая иконописность и судорога европейского экспрессионизма по-разному дозировались в изображениях Кроткой, Настасьи Филипповны из «Идиота» и Лизы Хохлаковой из «Братев Карамзовых», пребывая в напряженном симбиозе с «Горящими детьми Хиросимы» и девочкой из бомбоубежища времен второй мировой войны. Помимо одной и той же изощренной авторской руки роднила их, очень разных, некая единая

эмоциональная направленность. Условно назовем ее «бунтующая незащищенность» — бунт чистоты против грязи мира и обреченность ее перед грубым его лицом, сегодня к тому же все более обезличенным.

Искусство Корсаковой всегда питалось и подпитывалось книгами, хотя она никогда не была иллюстратором впрямую; зато со времени смерти «супруга и учителя» взамен некогда провозглашенной им со товарищи абсолютной ценности материальной культуры она устремилась к пренебреженной ими культуре духовной. Конструктивную энергию найденных ими лаконичных приемов художница заставила служить наиболее яркому выявлению того, что ее соратники по авангарду считали не более чем презренным «психоложством». Она же с конца 50-х годов стала подлинным «специалистом» по первому психологу русской литературы — Достоевскому. Вместе с тем очень любила вспоминать свою, как сама выражалась, «хулиганскую» юность и элементы такого бунтарского, если не прямо нигилистического, озорства сохраняла в душе до конца.

Многолетняя причастность болям эпохи, отразившаяся в устных и рисованных мемуарах старой авангардистки, в конце 70-х годов возбудила интерес любознательного иностранца, немецкого искусствоведа и знатока современных русских течений Гюнтера Файста. Проявив немалую проницательность по не устаревающему принципу «со стороны виднее», в начале 80-х годов г-н Файст подытожил долговременное изучение «загадочной русской души» обширной статьей в журнале «Бильденде кунст» под оригинальным названием «Восстание дочерей» с подзаголовком «Александра Корсакова и русские художницы-авангардистки»<sup>1</sup>. Пестрящая именами и фактами, статья захватывала живостью рассказа о головокружительном взлете этих молодых художниц, но настораживала переизбытком оптимизма. Не слишком ли радужно? Г-н Файст (в каждой строчке которого сквозила неподдельная привязанность к России и ее искусству) написал об эффектном начале «восстания» авангардисток в начале века, но обошел молчанием их совсем по-иному примечательный конец.

Любезному иностранцу, конечно, простительно не вникать до глубин в наши хляби, ибо и сами-то мы еще не раскопали всех нашенских повествований о прошлом, тем паче остерегающих литературных пророчеств — хотя бы о судьбе того же «дочернего восстания», так поразившего впечатлительного европейца. Он не обязан был непременно знать, что девичий бунт в искусстве явился скорее завершением, чем началом целой серии других российских бунтов, связанных с тем же доньине не разрешенным «женским вопросом». Забытое пророчество об общих началах и концах можно найти в малоизвестном стихотворении Федора Сологуба, которое не напрасно помечено 1905 годом, расколовшим надвое всю российскую жизнь, а затем и сознание и культуру. Даже невеселое заглавие стихов, «Искали дочь», отчасти перекликается из тогдашнего далека с бодрым названием Файста:

Печаль в груди была остра,  
Безумна ночь,—  
И мы блуждали до утра,  
Искали дочь.

Сологубовская героиня в тот год восстаний, должно быть в день 9 января или другой из ближайших, по-видимому, пошла если не «восставить» впрямую (что нередко случалось в островосприимчивой среде тогдашних гимназисток и курсисток), то поучаствовать в мирном гапоновском шествии или просто поглазеть на то или другое, как всякая любопытствующая юная особа. И не вернулась к ночи. Потерявшие голову родители до утра разыскивают ее по улицам сокрушенного катастрофой и застывшего в ожидании еще худших крушений Петербурга, «по участкам, по больницам», пока не находят в одном из подвалов, куда после массовых январских расстрелов штабелями складывали неопознанные останки «случайных» жертв.

Ступени скользкие вели  
В сырую мглу,—  
Под грудой тел мы дочь нашли  
Там, на полу..

Вот вроде бы и все. Камерный сюжет, житейская история, семейная трагедия, каких немало случалось в те дни. Так, но подана она с такой интенсивностью, что выглядит слишком типической, и погибшее существо не теряется, но становится

<sup>1</sup> Feist Gunter, «Der Außstand der Tochter Alexandra Korsakova und die russische Künstlerinnen — Avangarde» («Bildende Kunst», 1983, Hft. 7).

непостижимо рельефным на фоне огромного опустелого и как бы военного города. Учитывая, что в стихотворении сконцентрированы впечатления Сологуба от «кровавого воскресенья» первой русской революции, естественно предположить, что «дочь» — фигура символическая, да и «родители» пропавшей, неспроста обозначенные собирательным «мы», пожалуй, тоже. А если так, то кто же они и кого потеряли в лице неведомой «дочери»?

В русском изобразительном искусстве XX века мы не найдем буквальных аналогов этому сюжету, а в нерусском экспрессионизме — разве что цикл «Идея, ее рождение, ее жизнь, ее смерть» бельгийца Мазереля. Зато совершенное подобие такого сюжета можно видеть на клеймах древних икон с «историями» великомучениц или с изображениями «хождений души по мытарствам». 1905 год, заметнейший этап начала века, ставший началом всех наших бед, если и не подарил миру этот сюжет, то уж точно влил в него новую кровь — на материале до боли национальном:

Всю ночь мерещилась нам дочь,  
Еще жива,  
И нам нашептывала ночь  
Ее слова.

Да уж не всю ли опрокинутую Россию подразумевал Сологуб за призрачным образом «пропавшей дочери»? Привычнее всем образ «Родины-матери» — это прошлое, это корни. И это те самые «мы» — «родители» у Сологуба. «Родина-дочь» в таком случае — символ будущего, которое недавно еще (она умерла в 1990 году) любила то в виде ребенка, то в виде девушки-подростка воплощать моя последняя авангардистка, подлинная старейшина московского авангарда. А если это будущее (оно же душа, Идея, Истина) непоправимо искалечено, подвергнуто грубейшему насилию? А если оно вообще убито? Об этом трагическое пророчество стихов Сологуба, болевшего душою о многих «дочерях» — бунтующих или потерянных в бунте. Но почему все-таки именно «дочь»?

Да потому хотя бы, что с началом нового века российское вечно наклонное к переменам мировидение в который уже раз радикально омолодилось. Жадная до всех впечатлений, полная больших ожиданий и пламенного юношеского альтруизма «Россия молодая» воспрянула в сознаний литераторов около 1905 года, а в сознании художников несколько позже, вместе с их авангардными манифестами, — после 1910-го. «Россия-дочь» — это вносит особенно щемящую ноту в ныне старую и недобрую, а тогда казавшуюся свежей, как юность, тему российской революции.

Досьята нахлебавшись литературных утонченностей à la «серебряный век», года два назад натыкаюсь на рассказ одного из наших наиболее «сермяжных» (в сравнении с «серебряновечными» изысками) авторов и обнаруживаю в этом рассказе нечто щемяще знакомое. Место, время, герои — все это иное, не сологубовское, не символическое, заземленное (как то свойственно нашим маститым деревенщикам), однако сюжет — его значимость и весомость и, если угодно, явная «аномальность» его — тот же, что в символическо-историческом стихотворении Федора Сологуба. Но какой неисповедимостью судеб мог всплыть через восемьдесят лет как будто прочно забытый сюжет об ушедшей из родительского дома и пропавшей юной душе? Более того. Привычный к поэтизации природного «естественного» быта, в рассказе «Людочка» автор вздергивает этот быт на дыбы, и тот выглядит противоестественным, наподобие вздыбленных реалий провинции и столицы далекого 1905 года. По мнению некоторых далеко не любителей нашей «деревенщицкой» прозы, «Людочка» — лучшее произведение Виктора Астафьева. Самое напряженное и нелицеприятное — это уж точно. Всегда тяжеловатая, «развалистая» астафьевская проза в «Людочке» тяжелее, чем где-либо еще у него, давит почти физически. Но даже это работает на пользу сюжету. Видимо, присущее Астафьеву возмущение осквернением России и жалость к ней дошли до степени почти провидческой (не столько вперед, сколько назад — и такое ясновидение нелишне), и в образе своей неприметной девчонки-воробышка Людочки, печально узнаваемой немудрящей нашей современницы, он по-своему повторил сологубовскую «невинно убиенную дочь» так, словно и ему, Астафьеву, она тоже примерещилась таким кротким упреком: «еще жива».

Реальный кошмар «Людочки» как бы выворачивает наизнанку всю привычную «деревенщицкой» школе морализаторскую схему. Кроткая и по всем статьям слабенькая (коня на скаку отнюдь не остановит) дочь деревни, угодив, как кур в ощиц, во вместилище всех тлетворных веяний — город, упрямо не поддается душевной порче, за что подвергается физическому слому. При прочтении сразу же возникает бездна вопросов, и первый из них: для чего? Что имел в виду не на шутку разгневанный автор? Не очередную же нравоучительную совковую притчу о голубизне стойкой добродетели, о чем в наши дни дошестнадцатилетних тусовщиц и фэнк

даже как-то неловко уже поминать. Но ведь и не ужас же ради ужаса? Это уж совсем было бы не «по-деревенщицки». Ужас! — бормочет забитая героиня незадолго до смерти.

И это слово-эмоция являет нечаянный код для путаного астафьевского шифра. У неприкаянной Людочки, помимо поэтически обобщенной сологубовской «дочери», была в 1905 году еще одна — прозаическая — «старшая сестра». Как и она, названная одним уменьшительным именем, без фамилии (предреволюционная постдекадентская мода вся — от литературы до синематографа — переполнена была всяческими жалостно-ласкательными Мусеньками и Ликами). Ниночка — юная сельская учительница из «чернушного» (говоря нынешним языком) рассказа Михаила Арцыбашева «Ужас». В полном соответствии с названием в рассказе — ни тени той благостности, к какой от пеленок приучили нас последующие фильмы и повествования о героических представительницах этой гуманной профессии.

Заметил, прочел ли Астафьев забытый, не переизданный в 80-е, страшный без кавычек рассказ, похожий на емкий киносценарий, непостижимо впитавший в себя трагический материал целого романа? Сомневаюсь. Но сюжетное совпадение и здесь поразительно. Героиня «Ужаса» настолько юна, что на пороге наступающей весны совершенно по-детски мечтает еще даже не о первой любви, а всего лишь о предстоящих каникулах в далеком родительском доме. Но мартовская ночь в девичьей комнатке при школе, служащей по совместительству и деревенской гостиницей, становится последней в жизни Ниночки — по вине «загулявших» случайных постояльцев. И дело не столько в их персональной распущенности, сколько в назревающем беспределе «революционной» вседозволенности вообще.

Между хрупкими «вехами» — Ниночкой и Людочкой, условно говоря, вместились (если не по значимости произведений, то по времени) вся наша революционная и послереволюционная история. Как ни трудно увязать «интим» с глобальной проблематикой века, это тем не менее удалось в 1905 году одному «бульварному» писателю.

Кто первый назвал бульварным литератором Михаила Петровича Арцыбашева? В наше-то «оносороженное» грубой повальной безвкусицей время, когда столько бесспорной бульварщины в силу самых парадоксальных причин ничтоже сумняшеся зачисляется в «классику»? Ныне за давностью лет этого уже не установить. Арцыбашевых в русской словесности и публицистике, как я выяснила (понеже в материалах начала века приходится вести почти археологические раскопки), было несколько, но в данном случае речь о «том самом» скандально известном (хотя все им написанное значительно уступает в реальной скандалезности набоковской «Лолите») создателе той самой, тогда одиозной, а ныне почти неизвестной «арцыбашевщины», в свое время единодушно отвергнутой в заботе о стиле и нравственности компетентными литературными судьями от Бунина до... Жданова и от этой одиозной фигуры до нынешнего глубокоуважаемого академика Лихачева, решительно отказавшего Арцыбашеву в праве уже на сегодняшнюю добрую память.

Считаю нужным коротко оговориться, что очень немногие из коллег все-таки хорошо относились к автору нашумевшего (в 1907 году) романа «Санин», причем это были литераторы не менее серьезные, чем общепризнанный стилист Бунин: Блок, Ахматова, Куприн.

По-видимому, Арцыбашева, подобно Сологубу и Блоку, отличала особая чуткость к потаенным подземным толчкам назревавшего всероссийского землетрясения. Посему арцыбашевские рассказы-предвидения явились прежде времени, и современники автора в них если что и углядели, то разве лишь две-три глубоко порочных черты: во-первых, зловредный поклеп на интеллигенцию (в лице респектабельных Ниночкиных убийц), а во-вторых, ужас ради ужаса, как бы наперекор «искусству для искусства», столь вознесенному эстетам серебряного века. И совершенно проглядели то, что разительно заметно даже не слишком вооруженному глазу, но, увы, только сегодня: прежде всего пронзительную истинность рассказа, его несомненный историзм. Само собой, проглядели и не меньшую, чем у Сологуба, символичность сюжета и героини.

В апатирующем и сегодня жгучем воздействии «Ужаса», как и в астафьевском «жестоким» рассказе, очень мало повинна криминальность описанной ситуации и еще того меньше — элемент популярной ныне клубнички (особое пристрастие к коей традиционно, но совершенно безосновательно приписывалось Арцыбашеву), а вот предвидение уникального трагизма судеб «русских девочек», маленьких бунтарок XX века, в «Ужасе» несомненно. От Ниночки до Людочки — единая линия развития одной экстремальной ситуации.

Конечно, при столь обширном родстве у сюжета и образов «Ужаса» есть также свои истоки. В долго (едва ли не целое столетие) шокировавшем российских прогрессистов романе Достоевского «Бесы» была еще более всего романа «смутительная» глава «Исповедь Ставрогина», которая по своему написанию вызвала неприятие

и антипрогрессиста (но ревнителя строгой нравственности, как все ретрограды) М. Н. Каткова, тогда отказавшегося ее напечатать. Вопиющая по дерзости своей «достоевщины» глава о не замеченной трагедии незаметной девочки Матрешки только с приходом нового века увидела свет, и то как скандальная (наподобие «Санина») сенсация, отдельно от остального романа.

И дело тут не в ставрогинском преступлении как таковом, которое на протяжении XX века стало для несчетных авторов доходной статьей. Дело в особой непоправимости ставрогинского греха, которую можно выразить словами другого общеизвестного «достоевского» героя: «Разве я старушонку убил? Я себя убил», исправив, разумеется, «старушонку» на «девочку». То же самое мог бы сказать о себе и «подпольный» герой новеллы «Кроткая». Погубители «малых сих» у Арцыбашева с намерением написаны много мельче этих воистину гигантов греха. Зато образы Матрешки и Кроткой определенно наметили путь образного развития юных жертв уже XX века. И первые такие подробно-углубленные и самые жгучие разработки — в юных героинях Михаила Арцыбашева. Бессильно грозящий кулачок обезумевшей от обиды Матрешки, садистски зажатый рот Ниночки, Людочкина петля — таковы не парадные, а глубинные этапы «восстания дочерей»

Матреше у Достоевского двенадцать лет, Кроткой шестнадцать, Ниночке семнадцать-восемнадцать, Людочке, вероятно, столько же. Тут главное не в паспортном возрасте как таковом, а в особом юношески нерастратченном складе природы. Аркадий Долгорукий у Достоевского неспроста назван подростком, хотя в нынешнее время скороспелых, до срока изношенных акселератов его девятнадцатилетний возраст сочли бы более чем зрелым. Но главное — глаза, по-детски широко распахнутые на мир, не уставшие удивляться всему, что для взрослого видения застыло в привычной банальности, свежий, пылкий взгляд существа, только начинающего жить, стоящего перед множеством выборов и смутно, но интенсивно ощущающего безбрежность своих едва намеченных возможностей.

Натыкаясь на стену торгашеского конформизма и житейской обиденной грязи, такое существо упорствует в романтическом неприятии всей «взрослой» тупиковости — и восстает. Даже нарицательно Кроткая и та бунтует, что в одном из лучших рисунков Корсаковой запечатлено как некий прорыв — фигурка героини как бы прорывает замкнутый круг в полете по диагонали листа. Прорыв то ли в самость, то ли в смерть. А может, и в то и в другое?

Героини рассказов первых и 80-х годов нашего века, по-своему не менее «кроткие», это убедительно подтверждают. Ниночку, куда большую бунтовщицу (как-никак народная учительница), убили, инсценировав самоубийство. Людочка, и впрямь показательно кроткая (намного смиреннее героинь Достоевского), уходит из жизни сама. Но в экстремальнейших обстоятельствах это единственный оставшийся способ протеста, неприятия скверны мира сего, его растленности. Растление — ведь это как смерть, воистину начало смертного тления еще при жизни.

И думается, что бунтующая незащищенность (включая даже «бунт на коленях» бывших «девочек» Сони Мармеладовой и Настасьи Филипповны) — более исконно русское и, если угодно, более женственное свойство, нежели роль «Свободы на баррикадах», опрометчиво взятая на себя «дочерьми», восставшими в авангарде искусства XX века так же нерассуждающе, как Софья Перовская или Вера Фигнер ворвались в авангард революции политической.

Внимательный ко всем крайностям Арцыбашев не обошел вниманием революционеров, но принципиально не выбирал в свои героини «лидерствующие» фигуры типа Спиридоновой или Засулич. Он предпочел аутсайдеров и революции, и искусства, и жизни, тех, кого революция в первую очередь беспощадно ломала.

«Маленькие» герои Арцыбашева неизменно подвергаются этой ломке, однако на краткий миг своей экстремальной ситуации внезапно обретают иной, укрупняющий их обычную малость масштаб. В этом особенность да и новизна арцыбашевской трактовки изрядно заезженной темы «маленького человека». В критический момент — воистину единственный для него — самый обиденный арцыбашевский персонаж возрастает до героя, что, слава Богу, замечено еще Блоком. А я смиренно добавлю — или до преступника, с тою же степенью взрывчатой рискованной крайности.

Таковы безымянные, как последующие сталинские «гайки» и «винтики», убийцы Ниночки — доктор, следователь и становой. Современники автора не могли воспринять такой вопиющий нонсенс насчет «порядочных людей» из «среднего класса». На первый взгляд это люди вполне нормальные, добросовестные — исполнительные служаки, как становой, благовоспитанно-образованные, как следователь, и даже добродушно-семейственные, как доктор. Если бы только не подвела их «экстрема»! И тогда именно уютный добряк доктор в рассказе Арцыбашева становится зачинщи-

ком подлинных «ужасов», опережая в подлой инициативе и профессионально проницательного следователя, и профессионально распорядительного станového.

Арцыбашев вывел преступниками — законников, предвосхитив тем самым сквозной парадокс нашего века.

Наутро арцыбашевские преступники мечутся в поисках выхода. Как и следовало ожидать, первым готов «расколотся» добрячок доктор (по защитительной формуле еще «достоевских» подлецов: «помилуйте — жена, дети маленькие»), но двое «соратников» укрощают его угрозами. В отличие от жуткого, но аскетически сдержанно написанного эпизода насилия сцена «раскола» сделана в резко экспрессионистских бредовых тонах. Под конец облики вполне человекообразных в своей обыденной плотскости персонажей пережестывают за грань всего человеческого — и предстают вполне «конструктивистски»: в формах чего-то даже не животного, но прямо неорганического.

Заметим, что к 1905 году конструктивизм в искусстве еще не объявлялся. Зато у Корсаковой, прошедшей опыт конструктивизма, физиономии нежити, подобной троице арцыбашевских заправил, в изобилии представлены в серии «жителейских людшек» из иллюстраций к «Мастеру и Маргарите».

Антигерои «Ужаса» единодушно спихивают свое преступление — насилие с убийством — на «мелкую сошку», школьного сторожа, и все вроде бы шито-крыто. Тем не менее вечно неисповедимым (как и всегда бывало в истории) путем в народе распространяется истина: «Сами убили, а невинного осудили». Возмущение начинают детишки, не нашедшие поугру свою учительницу живой. Ропот и слух разрастаются как снежный ком, пока жертву спешат кое-как схоронить. Собравшаяся толпа требует жертве подобающей панихиды, а судьям-убийцам — суда. Память о замученном полурбенке, как некая орифламма, реет над восставшей за поруганную справедливость толпой деревенских мужиков и их соседей-рабочих; власть имущие преступники вызывают войска; общий протест перерастает в тотальный бунт. Восстание пережестывает границы деревни. Выстрелы и кровь на мартовском снегу. Первая жертва влечет за собой целую гекатомбу последующих, пока все и вся не мешается в кровавом хаосе:

Под грудой тел мы дочь нашли  
Там, на полу...

Питерская драма Ставрогина с Матрешей предвосхищала полосу бедствий, развязанных «бесовщиной» в губернском городе; катастрофа с Ниночкой непосредственно отмыкает дьявольский ящик Пандоры-истории в глухом уезде. Провинция Достоевского, деревня Арцыбашева, заштатный совковый городишко Астафьева, как и опустелые улицы оцепеневшей в апокалипсической тревоге сологубовской столицы, — все это на разных этапах одна Россия, в которой в лице незаметной девочки убили ее душу — она же Идея, Истина, она же юная Родина, «Родина-дочь».

И узколичная драма становится всеобщей — подобием той, которая разразится над страной. Такова обширная проекция «светлого будущего», данная не в одном только «Ужасе», но в целом ряде статей и рассказов забытого и поныне не «реабилитированного» Михаила Арцыбашева, умершего в варшавской эмиграции в 1927 году.

Если почувствовавший нарождающийся распад своей власти арцыбашевский преступник — заурядность, то у Астафьева он и того меньше — «простой советский» подонки. Это вполне отражает историческое развитие образа грядущего (ныне вполне нагрянувшего) Хама от первых до 80-х годов нашего века. Отличия астафьевского рассказа продиктованы безобразием реалий именно сегодняшнего дня, какие не снились в пророческих кошмарах не только эстету Мережковскому, но и великому знатоку «душевного подполья» Сологубу и от каких с отвращением отшатнулся бы во многом предощутивший их Арцыбашев.

От Ниночки до Людочки гротескно-фатальный неуют современной жизни возрастает крещендо. Серое, слякотное местечко у Арцыбашева сужается у Астафьева до захлавленного «променада» в неухоженном парке, превращенном в помойку, где блатари немотивированно и тупо истязают Людочку. Чисто «нашенская» специфика этого рассказа сказывается и в диком образе «цивилизованного» провинциального городишки, невозможного нигде на планете, кроме «Совдепии», и в абсолютном сиротстве героини, окруженной вроде бы неплохими людьми. Но ни добрая, измученная нескладным бытом мать, ни сочувствующая девичьей беде бабка-квартирохозяйка, ни даже бесспорно «сильный мужик» — отчим ничем не могут ей помочь; разве что, не в пример Ниночке, похоронят Людочку «как положено».

В отличие от Ниночкиной гибели Людочкин задуренный протест уже не влечет за собой никакой «революции». Все просто глохнет, как в тине болотной, даром что Людочкина лиходея настигает заслуженная кара. По логике «наказанного порока»

суд и расправу над батарами вершит их же потенциальный «пахан» — Людочкин отчим. Последнее оправданно и правдоподобно и все же далеко не так тонко, как совершенно неожиданный, по сути открытый, арцыбашевский финал.

«Так что же случилось с убийцами? Убили их?» — торопя справедливую развязку, спросила меня при чтении «Ужаса» Корсакова.

Убиты ли убийцы? Как знать. На глазах бушующей толпы хлипкий поборник справедливости неумело (не в пример опытному в драках могучему астафьевскому мстителю) вступает в бой, мертвую хваткой вцепляясь в наглого и могучего станового, и оба — злодей и неудачливый защитник — валятся в бурлящую человеческую массу и исчезают в ней. Так что не различить уже, какая кого постигла участь. И трое преступников как бы растворяются во всеобщей свалке, даже по-замятински «распыляются» в кровавой заварухе, куда (уж мы-то знаем!) без следа канут вскоре миллионы правых и виноватых, преступников и героев.

Как бы спохватившись, Астафьев под занавес «Людочки» сообщает, что имена и жертвы и «канувшего» злодея вскоре были бесследно забыты. В своем роде тоже «распыление» в истории, но более обыденное, чем страстно-романтическая при всей ее «чернухе» концовка Арцыбашева, предвосхитившая дурную бесконечность геометрической прогрессии жертв «революционного обновления» страны. Однако спасибо автору, заметившему в громящей современности этот тихий вскрик, одинокий протест, в литературе «конца века» XX пока не замеченный никем (из известных).

Так, но ведь «дочери» авангарда были, напротив, куда как заметны. В 20-е годы они оглушали дерзостью и ослепляли гордой красотой на выставках, диспутах, в декларациях и манифестах. Ну а потом? Нелишне сообщить не о рекламно-литературном, а о реальном их конце, намеренно обойденном не одним летописцем авангардистского «мифа XX века». Файстовские «дочери» авангарда пошли на агрессию сами, оттого и развязка для большинства революционерок от искусства была, в сущности, та же, что у революционерок от политики типа Марии Спиридоновой или Фанни Каплан.

Ступени скользкие вели  
В сырую мглу...

«Восстание дочерей», и впрямь небывало эффектное, как о каменную стену разбилось о воцарение того самого революционного режима, становлению коего они нетерпеливо способствовали. Можно считать, что повезло из них тем, которые угадали совсем молодыми — при начале или в апогее своей «революции», как Ольга Розанова или Любовь Попова. А те, кому на долю выпала долгая пестрая жизнь и, стало быть, хочешь не хочешь, преобразование из «дочерей» в «матерей», — те просто постепенно тускнели и гасли, покуда совсем не отошли в тень.

Так была отодвинута из «большого» кино, да отчасти и театра, если не вообще из актерского искусства, наша великая «травести», вечная «дочь» по своему амплу Мария Бабанова (ей бы сыграть арцыбашевскую и астафьевскую героини!), в молодости хорошая знакомая Татлина и Корсаковой. Но участь актрисы можно считать счастливой не только в сравнении с концом ее сценической соперницы Зинаиды Райх, но еще больше — в сравнении с поздней суицидальной развязкой таких давно сникших к 70 — 80-м годам «дочерей» авангарда, как Лиля Брик и Александра Корсакова.

Возможно ли — почти девятидесятилетние «девочки»? Подтверждение тому, хотя и косвенное, — «полуподпольное» изобразительное наследие Александры Корсаковой. Как в неизменяемо детском голоске Бабановой, в многолетнем рисованном «дневнике» художницы то и дело проглядывают лики вечной «дочери» — таково уж пожизненно взятое бунтарское «дочернее» амплу.

Но основательно приглядевшись и к самым ребячьим ее лицам: Лизе Хохлаковой, девочкам из бомбоубежищ Хиросимы и Москвы, даже к скачущим пустышкам из дискотечного зала, — я обнаружила единую для всех общую приметку. Во всех рисунках на темы классики и современности, где бы ни возникла корсаковская девочка, всюду из-за детской большоголовой фигурки, сквозь непроявленные ребячьи черты и чарующую незрелость «гадкого утенка» проступает не то чтобы взрослость, а облик утомленной жизнью старухи — просвечивает то же, что в рисованном «дневнике», лицо умудренного, все повидавшего, не однажды битого судьбой автора.

Тогда новым светом озаряются закоулки корсаковской «достоешчины» в обликах и Кроткой, и Лизы, и даже Настасьи Филипповны. Оттого и «Ниночкин» сюжет старая художница не могла не посчитать своим. Короче, с изумлением, но приходится признать, что последняя московская авангардистка вживалась в образ удивленной, возмущенной и обиженной «девочки» всю свою долгую, сложную и небезгрешную жизнь.

Сегодня, когда наши двенадцати-восемнадцатилетние «дочери» давят друг друга на дремучих тусовках вроде тушинской, глядя уже на нашу Москву, поневоле воспринимаешь ее как гигантскую помойку — совершенным подобием заплыванной душевно и телесно астафьевской провинции. В каждодневной бредовости нынешнего столичного бытия не только в своем роде «вечные» Ниночка Арцыбашева и «дочь» Сологуба, но и нетипичный последыш бодрой советской прозы, скорее падчерица ее, нежели «дочь» — Людочка обретает недобрую актуальность. Право, грешно было бы не принять во внимание остерегающий сюжет о пропавшей дочери.

И тем не менее я твердо знаю: чистота, которую душевно мертвые «паханы» одичалого большинства во всех областях — от политики до искусства — растлевали и «размазывали по стенке» в течение восьмидесяти с лишним лет, эта чистота и сегодня, как упрямый росток, все-таки пробивается на свет. Вот пример. Летом 1991 года я встретила в древнем Коломенском двух весьма искушенных в чтении Евангелия юных проповедниц-максималисток в возрасте не старше четырнадцати лет. На вопрос: кто вас послал? — обе малютки в детских розовых платьях гордо ответили: мы сами!

Воинствующая чистота этих принципиальных антитусовщиц не шутя мне напомнила легендарные времена пастушки из Домреми или детских крестовых походов. Подростки, бегущие из дому с Евангелием в руках! Такие, вырастая, сегодня уходят в монастыри так же решительно и безоглядно, как их «старшие сестры» бросились в «огонь революции». Ну и что с тобой станется, грядущая представительница гордого меньшинства, нетипичная «дочь». — будущая Россия?

Ольга ПЕТРОЧУК.

—◆—

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 ГОДА  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

**Л. АЙЗЕРМАН**

**Дети гласности**

«С одной стороны, в нас говорит злость. Злость за то, что теперь слишком хорошо видны ошибки, сделанные семьдесят пять лет на зад. Злость за то, что мы живем не в коммунизме, как нам обещали, но даже и не в социализме, а вообще в чем-то непонятном. А с другой стороны, нами властвует зависть. Дело в том, что у человека революции была идея. Была цель в жизни, было за что умирать. Теперь же умирать не за что. Теперь все мечтают побыстрее эмигрировать и уповают либо на случай, либо на знакомства. Теперь никто не умеет мечтать, нет романтиков, теперь мечтают реалистически — только о материальных благах.

Я не обвиняю людей, живших в то время. Им просто очень умело и продуманно затуманили мозги. Теперь мне предстоит жить в полуразрушенной стране, где люди ни во что не верят и ничего не хотят. Естественно, они во что-то верят и чего-то хотят, но в любой момент ждут подвоха, обмана и стараются всегда быть готовыми к ним. И меня не будет мучить совесть, если какой-нибудь негодяй, пытавшийся меня ограбить, умрет от моего ножа: ведь меня некому защитить».

*Из сочинений старшеклассников 1992 года.*

**ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1993 ГОДА  
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:**

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, книга вторая);  
о. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ. Письмо духовному сыну о евразийстве;  
ЭММА ГЕРШТЕЙН. Тогда, в тридцатые... (главы из воспоминаний);  
ЖИЗНЬ ДАНИИЛА АНДРЕЕВА, РАССКАЗАННАЯ ЕГО ЖЕНОЙ;  
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Заколдованный створ (роман);  
ДАУР ЗАНТАРИЯ. Судьба Чу-Якуба (перевод с абхазского автора);  
ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Эссе о литературе (из наследия);  
ИГОРЬ КЛЯМКИН. Общество и реформа;  
АНТОН КОЗЛОВ. Государство и коррупция;  
ЕВГЕНИЙ ЛАПУТИН. Приручение арлекинов (роман);  
АЛЛА ЛАТЫНИНА. На льдинах лавр не расцветет (о богатстве и бедности в русской литературе);  
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Квази;  
ЕВГЕНИЙ НОСОВ. Темная вода (рассказ);  
ИВАН ОГАНОВ. Песнь виноградаря осенью (фрагменты эпоса);  
ВИКТОР ПЕЛЕВИН. Желтая стрела (повесть);  
Л. ПЕТРУШЕВСКАЯ. Сказки, рассказанные детям;  
АНДРЕЙ ПЛАТОНОВ. «Увлекая в дальнюю Америку...» (пьесы и другие неизвестные материалы);  
К. П. ПОБЕДОНОСЦЕВ. Из частной переписки;  
ВЯЧЕСЛАВ ПЬЕЦУХ. О привидениях (рассказы);  
ВАСИЛИЙ СЕЛЮНИН. Заметки из зала Конституционного суда;  
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ. Портреты;  
С. М. СОЛОВЬЕВ. Детство (главы из воспоминаний);  
Е. Н. ТРУБЕЦКОЙ. Переписка с М. К. Морозовой;  
БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ. Деревенские рассказы;  
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. Гаяне и Маргарита (рассказы);  
С. И. ФУДЕЛЬ. Письма из ссылки;

а также новые произведения Л. БЕЖИНА, А. БИТОВА, Г. ВЛАДИМОВА, А. ВОЛОСА, Р. ГАЛЬЦЕВОЙ, З. ГАРЕЕВА, Н. ИЛЬИНОЙ, А. КИМА, Н. КОРЖАВИНА, А. КРИВОНОСОВА, Ю. КУБЛАНОВСКОГО, И. ЛИСНЯНСКОЙ, Ю. МАЛЕЦКОГО, Г. МЕДВЕДЕВА, Л. МИЛЛЕР, М. РОЩИНА, И. ТАРАСЕВИЧА и других авторов.

***СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АНОНСАМИ!***

---

---

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**МАТЬ МАРИЯ (СКОБЦОВА). Воспоминания, статьи, очерки.** В 2-х тт. Paris. YMCA-PRESS. 1992. 332+283 стр.

Духотомник составлен на основе имевшегося в распоряжении редакции сборника текстов, некогда подготовленного к печати матерью автора, но не увидевшего свет. В издание вошло 37 работ — как не собранных, рассыпанных по эмигрантской периодике («Путь», «Новый Град», «Воля России» и др.), так и ранее не публиковавшихся. Духотомник является наиболее полным собранием религиозно-философского и литературно-общественного наследия матери Марии (Скобцовой) и отражает различные этапы ее творческого и духовного пути.

**ВЕСТНИК РУССКОГО ХРИСТИАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ.** Париж — Нью-Йорк — Москва. № 164. 1992. 327 стр.

Настоящий тираж «Вестника...» впервые отпечатан в России, но в типографском отношении книжка не сильно отличается от предыдущих (бумага чуть хуже, шрифт чуть проще). Отрадно отметить, что журналы русского зарубежья продолжают, хотя и с меньшей регулярностью, поступать к читателю.

В качестве основной темы номера редакция предлагает материалы, посвященные теории и духовной практике исихастов (статьи В. Лепахина «Умное делание (О содержании и границах понятия «исихазм»)» и В. Бычкова «Православная эстетика в период позднего византийского исихазма»). Богословие традиционно широко представлено в журнале: рядом с исследованием выдающегося богослова архимандрита Киприана Керна «Александрийское богословие» (глава из курса по патрологии, читавшегося в Парижском Богословском институте) помещены «Поучения» иеромонаха Петра († 1972), духовника Пюхтинской обители — своеобразные «зернышки духовные» (так определяет их «жанр» публикатор В. Костерин), являющие «синтез соборного и личного духовного опыта». Небольшая статья К. Сигова «„Беззаконная комета“ русской философии и критерий права» затрагивает проблему взаимоотношения морали и права в русской философии. Отмечая «неудержимую склонность» русских мыслителей «перечеркнуть дистанцию между правом и правдой», автор рассматривает в качестве логического продолжения данной тенденции «поглощение» этики аскетикой (на материале произведений Н. Бердяева). В связи с продолжающейся догматической критикой трудов о. А. Меня особую актуальность приобретает статья А. Николаева, в которой он полемизирует с автором анонимной брошюры «Протоиерей Александр Мень как комментатор Библии», защищая о. Александра от обвинений в антихристианстве. Завершается отдел публикацией неизданных материалов из архива Л. П. Карсавина — статья «Основные тезисы метафизического миропонимания» (1950—1951) и четыре стихотворения, также написанных в лагере (публикация А. и С. Клементьевых).

Раздел «Литература и жизнь» открывается двумя стихотворениями С. Аверинцева; далее следует переписка И. Бунина и архимандрита Киприана Керна (1940—1948), публикуемая по автографам, предоставленным редакции проф. Миллией Грин, а также письма Б. Зайцева родным с Афона (1927) — по автографам, хранящимся в архиве Н. Б. Зайцевой-Соллогуб. Очень интересны материалы к биографии Н. С. Гумилева, отражающие обстоятельства службы поэта в русском экспедиционном корпусе во Франции, извлеченные И. А. Курлянским из фондов Центрального государственного военно-исторического архива.

Из других материалов, публикуемых «Вестником...», отметим небольшие, но очень любопытные воспоминания К. С. Родионова (1892—1991), записанные Анной Кивва и рассказывающие о религиозной жизни Москвы 20-х гг. (кружок М. А. Новоселова) Завершается публикация «Воспоминаний смертника о пережитом» прот. М. Чельцова.

«Вестник РХД» распространяется в России; обращаться к представителю журнала: Богословский А. Н. 129626 Москва, пр. Мира, д. 110/2, кв. 291.

А. Н.

---

## SUMMARY

Poetry section contains poems by Petersburg authors, Alexander Kushner and Elena Ushakova.

A small novel by Alexander Borodynya, «Matches», is published, and Mikhail Kurayev's «Montachka's Mirror» (begun in No. 5) is completed.

In the issue there are also two short stories by the late Nicolai Odoyev (N. G. Nikishin) who had not lived to see any of his twelve stories published (publication and foreword of Valentin German).

In the «Literary Heritage» section there are poems by Eugenia Nicolayeva (publication and afterword of Vladimir Glotzer), Anastasia Gornung (publication and afterword of Lev Gornung) and Alexander Gladkov (publication and afterword Iliia Solomonnik).

In «Religion and Modern World» section deacon Andrey Kurayev ponders upon the relations between Russian Orthodox Church and Foreign Protestant organizations in the Today Russia.

In «Comments» section Yury Kublanovsky gives his view of the two volume book on the writings of the Russian poet Fyodor Tyutchev published in the authoritative series «Literary Heritage».

The «Literary Criticism» section includes excerpts of Valentin Nepomnyatshy's new book «Pushkin in Two Hundreds Years».

Publication of «Sources of „The Quiet Don”», a textological analysis by A. Makarov and S. Makarova of the authorship of the famous novel, is completed in section «Publications and Reports» (begun in No. 5).

In «Book Review» section Boris Dubin reviews Anatoly Yakobson's «End of the Tragedy» and V. Sapov volumes of «Archiv of the Russian Revolution» — newly edited in Russia.

Materials of Olga Petrochuk's «The Plot About the Lost Daughter» are published in «Editorial Mail».

In our constant section «Russian Book Abroad» new editions of foreign Russian literature are briefly annotated.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ  
НОВУЮ ПОВЕСТЬ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА  
«ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА»

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

Главный редактор **С. П. Залыгин**

Редакционная коллегия:

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский** (ответственный секретарь), **Д. А. Гранин, Д. С. Лихачев, П. А. Николаев, В. Ю. Потапов, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов** (зам. главного редактора), **М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев**

Коммерческий директор **А. О. Петров**

Технический редактор **А. Гизбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г.  
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.03.93 г. Подписано к печати 8.04.93 г. Компьютерный оригинал-макет изготовлен в Издательском центре «Новый мир». Формат бумаги 70 × 108/16. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл.-печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 74.500 экз. Зак. 1609. Цена 47 р. (по подписке); розничная цена договорная.

При участии издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». Москва, Пушкинская пл., 5. Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия Советов народных депутатов Российской Федерации». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## *Уважаемые читатели!*

МП «Редакция журнала „Новый мир”» преобразовано в Товарищество с ограниченной ответственностью «Журнал „Новый мир”» и публикует список своих учредителей:

Редакция журнала «Новый мир» —  
*главный редактор С. Залыгин,*

А/О «Банк Санкт-Петербург» —  
*президент Ю. Львов,*

А/О «Гарант» —  
*председатель совета директоров И. Баскин,*

А/О «Биотехнология» —  
*генеральный директор совета Р. Василов,*

А/О финансовая корпорация «Арман» —  
*генеральный директор В. Яснопольский.*

**Физическое лицо**  
*г-жа Е. Жуковская.*